

ANNALES CONTEMPORAINES

# СОВРЕМЕННАЯ ЗАПИСКИ

ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
и ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
ЖУРНАЛЬ

LV

1934

ПАРИЖЪ

ANNALES CONTEMPORAINES

# СОВРЕМЕННЫЯ ЗАПИСКИ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКІЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
ЖУРНАЛЬ

при ближайшемъ участіи :

Н. Д. Алексантьева, Н. И. Бунакова, М. В. Вильяма,  
В. В. Руднева

LV

1934  
П А Р И Ж Ъ

---

Imprimerie «Union», 13, rue Méchain, Paris

---

## ОГЛАВЛЕНИЕ

---

1. Ив. Шмелевъ. — НЯНЯ ИЗЪ МОСКВЫ. . . . .	5
2. В. Сиринъ. — ОТЧАЯНИЕ. . . . .	70
3. М. Алдашовъ. — ПЕЩЕРА. . . . .	117
4. Георгій Ивановъ. — СТИХОТВОРЕНИЕ. . . . .	190
5. Ант. Ладинскій. — СТИХОТВОРЕНИЕ. . . . .	191
6. Георгій Мейеръ. — СТИХОТВОРЕНИЕ. . . . .	192
7. Татьяна Раггаузъ. — ВЕСЕННЕЕ (Стих.). . . . .	193
8. Ю. Терапиано. — ВЪ ДЕНЬ ПОКРОВА (Стих.). . . . .	193
9. Л. Червинская. — СТИХОТВОРЕНИЕ. . . . .	196
10. А. Штейгеръ. — ВЕСНА (Стих.). . . . .	197
11. М. Цвѣткова. — ПЛѢННЫИ ДУХЪ. . . . .	198
12. В. Ходасевичъ. — ТРИ ПИСЬМА АНДРЕЯ БЪЛАГО. . . . .	256
13. А. Керенскій. — СОЮЗНИКИ И ВРЕМ. ПРАВСТВО. . . . .	271
14. М. Ростовцевъ. — ИТАЛЬЯНСКАЯ АФРИКА. . . . .	290
15. Ф. Степунъ. — ХРИСТИАНСТВО И ПОЛИТИКА. . . . .	308
16. Г. Адамовичъ. — ВЪРНОСТЬ РОССИИ. . . . .	326
17. М. Вишнякъ. — ПАРЛАМЕНТЪ, СОВѢТЫ И КОРПОРАЦИИ. . . . .	339
18. Е. Юрьевскій. — ОТЪ ПЕРВОИ ПЯТИЛѢТКИ КО ВТОРОИ. . . . .	365
<b>КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ.</b>	
19. Т. Чернавина. — СОВѢТСКАЯ МОЛОДЕЖЬ. . . . .	385
20. П. Бицилли. — ОАЗИСЪ. . . . .	396
21. Н. Мельникова-Папоушкова. — ЖЕНСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ВЪ ЧЕШСКОЙ ЛИТЕРАТУРЪ. . . . .	408
<b>22. КРИТИКА И БИБЛИОГРАФІЯ.</b>	
М. Цетлингъ. — Л. Гомолцикій: Домъ. Стихи. . . . .	421
Т. Чернавина. — Дневники Маріэтты Шагинянь. 1917-1931. . . . .	422
А. Савельевъ. — Б. Темирязевъ: Повѣсть о пустякахъ. . . . .	427

П. Бицилли. — Antoine Martel: Michel Lomonosov et la langue littéraire russe. . . . .	428
П. Бицилли. — И. Малниниъ: Комплексъ Эдипа и судьба Михаила Бакунина. . . . .	429
Б. Вышеславцевъ. — Д. Мережковский: Исусъ Неизвѣстный.	430
В. Зыньковский. — Прот. С. Булгаковъ: Агнецъ Божій. О Богочеловѣкъ. . . . .	434
В. Вейдле. — D. R. Buxton: Russian Mediaval Architecture. — M. Alpatov-N.Brunov: Geschichte der altrussischen Kunst. . . . .	436
Д. Одинецъ. — Inna Lubimenko: Les relations commerciales et politiques de l'Angleterre avec la Russie avant Pierre le Grand. . . . .	438
Б. Бруцкунъ. — Проф. С. Н. Прокоповичъ: Идея планированія и итоги пятилѣтня. — Otto Auhagen: Die Bilanz des ersten Fünfjahrplanes der Sovetwirtschaft. . . . .	440
Б. Ижболдинъ. — Vladimir P. Timosenko: World agriculture and the depression. . . . .	442
М. Вишнякъ. — Отто Бауэръ: Возстаніе австрійскихъ рабочихъ. Его причины и слѣдствія. . . . .	444
В. Рудневъ. — Out of the deep. Letters from Soviet Timber Camps. . . . .	447
В. Рудневъ. — W. Ch. Huntington: The homesick Million.	449
Списокъ новыхъ книгъ, поступившихъ для отзыва въ Редакцію «Современныхъ Записокъ». . . . .	452
Объявленія. . . . .	454

## Няня изъ Москвы

### I.

...А вотъ и нашла, добрые люди указали, записочка ваша довела. Да хорошо-то какъ у васъ, барыня, — и тихо, и привольно, будто опять у себя въ Москвѣ живете. Ну, какъ не помнить, съ Катичкой еще все къ вамъ ходили, играть ее приводила къ Ниночкѣ. Покорно благодарю, что ужъ вамъ беспокоиться, я поимши чайку побѣхала. И самоварчикъ у васъ, смотрѣть пріятно. Вспомнишь-то, Го-споди... и куда дѣвалось! Бывало, приведу Катичку... — домъ у васъ, чисто дворецъ былъ, — онѣ съ лопаточками въ саду, снѣжокъ копаютъ, а меня економка ваша... носастенькая такая у васъ жила, — Аграфена Семеновна, ай Агафья Семеновна...? — чайкомъ, бывало, меня попить съ рябиновымъ вареньемъ, а то изъ китайскихъ яблочковъ, — любила я изъ китайскихъ. Тутъ ихъ чтой-то и не видать... — воду имъ, что ль, тутъ нѣтъ, и въ Америкѣ этой не видала. А какъ же, и тамъ я побывала... И гдѣ я не побывала, сказать только не сумѣю. И тераска у васъ, и лужаечка... березокъ вотъ только нѣтъ. Садъ у васъ, правда, побольше былъ, не сравнять, какъ парки... грибокъ разъ бѣлый нашла, хоть и Москва. Помню-то? Пустяки вотъ помню, а нужного чего и забудешь, голова ужъ не та, все путаю. Елка, помню, у васъ росла, бо-льшая... баринъ лампочки еще на ней зажигали

на Рождествѣ, и бутылочки все висѣли, а мы въ окошечки любовались, подъ музыку. И всѣмъ какіе подарки были!.. И все — какъ во снѣ словно.

А вы, барыня, не отчаивайтесь, зачѣмъ такъ.. какіе же вы нищіе! Живете слава Богу, и баринъ все-таки при занятіи, лавочку завели.. все лучше, чѣмъ подначальный какой. Извѣстно, скучно послѣ своихъ дѣловъ, ворочали-то какъ.. а надо Бога благодарить. Подъ мостами вонъ, говорятъ, ночуютъ.. А гдѣ я живу-то, генераль одинъ.. у француза на побѣгушкахъ служить! А вы все-таки при себѣ живете. И до радости, можетъ, доживете, не такія ужъ вы старыя. Со-рокъ седьмой.. а я — больше вамъ, думала. Ну, не то чтобы постарѣли, а.. погрузнѣли. Въ церкви какъ увидала — не узнала и не узнала.. маленько, словно, постарѣли. Горе-то одного рака красить.

А ужъ и красивыя вы были, барыня.. ну, прямо, купидомчикъ, залобуешься. Живыя, веселыя такія, а какъ бриліанты надѣнете, и тутъ, и тутъ, и на волосахъ, — ну, чисто царица-королева! Нѣтъ, не то чтобы подурнѣли, вы и теперь красивыя, а.. годы-то красоты не прибавляютъ, до кого ни доведись. Баринъ-покойникъ скажутъ, бывало, про васъ Глафирѣ Алексѣвнѣ, — «ужъ какъ я расположенъ къ Медынкѣ съ Ордынки!» — такъ вся и поблѣдетъ, истинный Богъ. Ну, понятно, ревновала. А какъ и не ревновать.. соколъ-то какой быть, и веселый, и обходительный, и занятіе ихъ такое, при женскомъ полѣ все, докторъ женскій!.. Только, бывало, и звонятъ, только и звонятъ, — прахтика, вѣдь, у нихъ была большая. И это случалось, вадорились, и меня въ ихніе разговоры путали, Глафира-то Алексѣвна. Я еще до Катички у нихъ жила, отъ мамы съ ними перешла, въ приданое словно, — ужъ какъ за свою и считали. А помирать когда баринъ, — Глафира Алексѣвна.. это ужъ въ Крыму было.. Ну, что покойниковъ ворошить, царство небесное, Господь съ ними.

И малинку сами варили, барыня? Мастерницы вы стали, обучились, — ягодка къ ягоджъ, налившыя всѣ. А то и не доходили ни до чего. А чего и доходить, прислуги полонъ домъ былъ. И дома рѣдко бывали, гости вотъ когда развѣ, а то театры, а то балы.. Ниночку замужъ выдали... такъ, такъ. Письмецо Катичка читала, въ Америкѣ этой получили. Да маленько, словно, поразстроилась, попеняла, — «всѣ вонъ судьбу нашли, одна я непритычная такая, мыкаюсь съ тобой, съ дурой...» Да нѣтъ, любить она меня, а это ужъ такъ. Не ей бы говорить, отбою отъ жениховъ не было, такъ хвостомъ и ходили, и посейчасъ все одолѣваютъ. Да что, милая барыня, и никто ее не пойметъ, чего ей надо, такая безпокойная. Ужъ и натерзалась я съ ней, наплакалась...

А въ Америкѣ апельсиновое больше варенье намъ подавали, а то персиковое. Просила Катичку, — купи мнѣ яблочковъ, вареньица я сварю, — такъ ни разу и не купила. А у нихъ тамъ американское, конечно, варенье, пусто-е... суропъ одинъ надушенный, и доро-го-е! А свое-то варить не дозволяютъ. Мы тамъ въ номерахъ жили, на самомъ наверху, на двадца-томъ этажу, чисто на каланчѣ, — ну, огня и не дозволяютъ, пожару бояться. Ужъ и высота-а!.. — въ окошечко какъ глянeshь, сердце и упадетъ. Эти гудѣлки вотъ — ну, какъ сплешенныя коробочки, а человекъ и не разглядѣтъ, — какъ соръ. Видала-то, говорите... Да ужъ чего-чего не видала. И по морямъ-то меня возили, и со звѣрями въ клеткѣ сидѣли... Сидѣли, барыня, съ самыми-то страшными, львы-тигры вотъ... истинный Господь. И еще обезьяна, ножикомъ насъ запороть хотѣла... и какъ царицу ихнюю на огнѣ жгли, глядѣтъ ходили, гдѣ вотъ... голые все тамъ ходятъ, а тутъ обвязочка. Скажи другой — сама бы не повѣрила. И чего же надумала, — на еропланахъ подымать меня собралась, съ идоломъ съ тѣмъ, съ американскимъ, съ трубкой все къ намъ ходилъ. Да я наземь упала, не далась. «Нѣтъ, голубушка, ты ужъ, говорю, хоть за небо лети, а я погожу,



по землѣ еще похожу». Она-то ужъ летала, сорви-голова стала, — не узнаете и не узнаете. А такое ужъ у ней теперь занятіе... и въ морѣ топиться возять, и изъ пистолетовъ въ нее паляютъ, и партреты съ нее сымаютъ... — понятно, для представленія, ужъ вамъ извѣстно. Въ такой-то славѣ она теперь... по ихнему — ужъ звѣзда стала, вонъ какъ!

Да съ чего ужъ вамъ и рассказывать — не знаю, отъ очумѣнья никакъ все не отойду. Увижу во снѣ — опять, будто, въ Америкѣ живу, на тычкѣ сижу, одна-одиношенька.. — такъ меня въ потъ и броситъ. Да какъ же, барыня... Перво-то время вмѣстѣ мы жили съ Катичкой, и каждый день у насъ съ ней непріятности: «да связала ты меня по рукамъ — по ногамъ, да куда мнѣ тебя, старую, дѣвать...» — характеръ ужъ у ней сталъ портиться. Присилась у ней — «стѣсняю тебя, можетъ, хоть въ Парижъ меня отвезли, тамъ знакомые у меня, будто свое ужъ мѣсто, и въ церкву дорогу знаю». Разнѣжится она, — «нѣтъ, погоди... и все-таки я къ тебѣ привышна... да ты мнѣ нужна, да какъ я безъ тебя буду?» А и часу со мной не посидитъ. Убѣжитъ въ омутъ этотъ страшный по своимъ дѣламъ, а я плачу-сижу, слѣзъ-то одна не смѣю, сижу-молось, ее бы не задавили на низу тамъ. А какъ наказала она себя ждать, а сама за тыщи верстъ улетѣла, на еропла-нахъ, мигалки вотъ гдѣ изготовляютъ... вотъ-вотъ, въ снима-то эти, сымаются на картинки гдѣ, я и конца себѣ не чаяла. Абраша, спасибо еще, попался, съ нашей стороны, жидъ-еврей, Тульской губерніи... Да легкое ли дѣло, одна-одиношенька, въ чужомъ мѣстѣ, въ американскомъ, на двадцатомъ этажу, сказать по ихнему не умѣю... Ну, наказала себя ждать, съ дилекторами все у ней разговоры шли, велѣла половымъ ихнимъ кушать мнѣ приносить. А они безъ зову не приходятъ, въ разныя имъ пуговки надо тыкать, въ иликтрической звонокъ. Ткнула разъ, — смерть, чайку захотѣлось, — приходитъ арапъ зубастый, давай на меня лаять, по ихнему, и на полсапож-

ки тычетъ, велить скидавать. Все и потѣшались. Три арапа приходили, всѣ одинаки. И объѣдъ-то отъ нихъ принимать неприятно, чисто тебѣ собака принесла. Абраша меня и вызволилъ, взялъ къ себѣ на постой, въ квартирку, деньги-то такія не платить.

Ну, возила она меня въ соборъ нашъ, въ русскій... хорошій такой соборъ, и образа богатые, наши образа, барыня. Все-таки они нашу вѣру почитаютъ. А потомъ меня Соломонъ Григорьичъ провожалъ, Абрашинъ папаша, старичокъ. Ну, малевко отойдешь тамъ, помолишься. А мы тогда, прямо, голову съ Катичкой потеряли, Васенька шибко заболѣлъ, она и помчалась служить молебень, на себя непохожа стала. Да вы его, словно, видали, въ Москвѣ онъ у насъ бывалъ. Да въ Ласковое вы прѣзжали передъ войной къ намъ, два денька гостили, еще баринъ верхомъ съ вами ускакалъ, и до ючи вы катались, а барыня сердца-ла!.. Въ имѣнни у нихъ, у Васеньки, и лошадокъ брали... ну, вотъ, вспомнили. Говорите, какъ я все помню. Гдѣ же всего упомнить, память старая — наметка рваная, рыбку не выловить, а грязи вытащить. Да я и хорошаго чего помню. Васенька въ студентахъ учился, а имѣнье ихъ съ нашимъ рядомъ, милловеры были, одинъ сынъ у отца. Вотъ-вотъ, самые Ковровы они и есть, припомнили. Какъ же, и онъ тоже въ Америку попалъ, полковникъ ужъ тогда былъ, а у нихъ въ анжерера вышелъ, хорошую должность получилъ, иликтрическую. Ужъ онъ съ нами канителился, и въ Костинтинополь, и въ Крыму... сласть вѣдь отъ смерти насъ! Убѣжить она изъ дому, чего-то имъ недовольна, онъ и сидитъ со мной, и молчитъ. А разъ и говорить:

— «Ахъ, няня-няня... сколько я всего вынесъ, три пули меня прострѣлили — и цѣлъ остался, а Катичка меня измучила!»

Черезъ себя сказалъ, скрытный онъ. Да это, барыня, знать надо, сразу-то не поймете. И нескладно я говорю, простите... голова чисто рѣшето стала. И то подумать:

гдѣ меня только не носило, весь свѣтъ исколесила. Я ужъ по череду вамъ лучше, а то собьюсь. Чего, можетъ, и при-совѣтуйте, душа за Катичку изболѣлась. И прѣвхала-то я затѣмъ больше, правду-то вамъ сказать...

## II.

Въ Америкѣ-то очутились? Это я вамъ скажу, а сперва-то я вамъ... Ну, что жъ, позвольте, чашечку еще выпью. Хорошій у васъ чай, барыня, деликатный, а съ прежнимъ все-таки не сравнять. Бывало, пьешь-пьешь... ну, не упьешься, дочего же духовитъ!

А вѣдь это Господь меня къ вамъ привелъ, Го-сподь. Стою наемни въ церкви, на Рю-Дарю, и такая тоска на меня напала... молюсь-плачу. У Марѳы Петровны я пристала, въ няняхъ она у графа Комарова раньше жила... Вотъ-вотъ, самый тотъ Комаровъ-графъ, сколько домовъ въ Москвѣ, высокаго положенія. Такъ и прижилась, они ее съ собой и вывезли. Всѣ ужъ у нихъ повьросли, и прожились они тутъ, ни синь-пороха не осталось, а графиня померла въ прошедшемъ году. Теперь одинъ сынъ на балалайкѣ играетъ въ ресторанѣ, офицеръ, а постарше — въ дипломата хотѣлъ попасть, да ужъ разстройство вышла, онъ теперь, Марѳа Петровна сказывала, дальше Америки уѣхалъ. А дочка у высокой княгини платя для показу примѣряетъ, вонъ какъ. Марѳу Петровну знакомые и взяли, — дочка у нихъ за рестораникомъ нашимъ, — ее и взяли за дѣвочкой ходить. И комнатка ей на чердачкѣ, тутъ ужъ такъ полагается. Она меня и приютила. Правду сказать, не бѣдная я какая, смиловался Господь, за себя плачу... Катичка мнѣ дала деньжонокъ, и не въ обрѣзъ... Деньги-то? Да она теперь, барыня, сто-лько добывать стала — не сосчитать! И богачи ихнѣ къ ней сватаются все, она только не желаетъ. Такія чудеса, никто и не повѣритъ.

Ну, стою въ церкви и плачу, себя жалѣю... бо-знять чего надумываю: вотъ, дожидла... обгрызочкомъ за порожкомъ стала, никому не нужна. Съ думы такъ. И за Катичку-то тревожусь, какъ она тамъ одна. Катичка-то? Да очень любить, и уѣжала я — плакала... да, говорится, одна слеза катилась, другая воротилась... молода, вѣтеркомъ обдуетъ, и... Пойду, думаю, поставлю свѣчку Николѣ-Угоднику-батушкѣ, забыла ему поставить. А онъ сколько спасаль-то насъ, съ иконкой его такъ и поѣхала изъ Москвы.. старинная, отъ тятеньки покойнаго. Такъ это въ умъ мнѣ — пойду-поставлю! А ужъ и обѣдня отходила, «Отче нашъ» проѣли. Подхожу къ ящику свѣчному, а вы меня и окликнули. Я даже затряслась; какъ вы меня окликнули — «ня-ничка!» И какъ вы меня узнали, неужъ по голосу... разговоръ у меня такой, тульской все? А-а, по «смородинкѣ» по моей... ишь, вѣдь, упомяли! А я бы васъ нипочемъ бы не признала. Чисто смородинка у меня на ликѣ, ваша Ниночка все, бывало, — «няня-смородинка», звала... а то — «родинка-уродинка». Вотъ и пригодилась уродинка.

Ниночка-то ничего живетъ? Такъ-такъ, за шофѣромъ, офицеръ тоже былъ. Такъ, такъ... красоту дѣлать обучается. Слыхала, какъ же, барышнямъ щеки натираютъ, боту дѣлаютъ. Ну-къ что жъ, что небогато живутъ... а кто теперь богато-то живетъ! Сыты, одѣты, обуты, — и слава тебѣ Господи. Катичка и въ богатствѣ вонъ, а... Мало чего она Ниночкѣ напишетъ, а сердечко ее я знаю. А чего она можетъ написать? При мнѣ и писала, на одной ногѣ плясала, все некогда. Видите, какъ я вѣрно, — открыточку... — не любить она толкомъ написать, знаю ее характеръ. Недолго наживетъ она тамъ, съ американцами, до первой обиды только. Мнѣ Абраша сказывалъ, а ужъ онъ тамъ всё-то дырки облазилъ, ихніе порядки знаетъ:

— «И зачѣмъ васъ барышня пускаетъ отъ себя, мамаша дорогая!» — все онъ меня такъ — мамаша дорогая.  
— «У насъ здѣсь одинъ разговоръ... то ли ты горло кому

перегрызи, то ли тебѣ голову оторвутъ!» — такъ все говорилъ. — «Старинный глазъ тутъ нуженъ, а то барышню могутъ оскандалить, которая красавица и безъ свидѣтелей, и отъ суда откупятся».

И папаша его, съ кѣмъ вотъ ѣхала я оттуда, Соломонъ Григорьичъ, хорошій такой мужчина, ужъ старичокъ... нашъ тоже, тульской, портной изъ Тулы военный, тоже сбѣжалъ отъ ихнихъ порядковъ, не могъ привыкнуть. А человекъ терпѣливый, во всѣхъ квасахъ, говоритъ, мочень. Такой-то жалѣтель душевный оказался... Ѣхали мы съ нимъ на кораблѣ, семеро сутокъ по морю-океяну ѣхали, вотъ я тошнилась, — помру, думала. И онъ со мной рядышкомъ тоже тошнился, все меня утѣшалъ:

— «Охъ, чуточку потерпѣть осталось, Дарья Степановна... охъ, зато отъ Америки этой дальше уѣзжаемъ, бѣль-свѣтъ увидимъ...» — все меня развлекалъ.

А его другой сынъ выписалъ къ себѣ, въ ихнія палестины, въ Старый Ерусалимъ, — и у нихъ тоже тамъ святое мѣсто. Про Катичку-то я вамъ... И рвалась я оттуда, а ради Катички ужъ терпѣла, какъ я ее одну оставляю. Дѣвочка она красивенькая, привлекающая, такъ кругъ ее и ходить, зубами щелкають... ну, долго ли съ путя сбиться. А она на такомъ виду, при такомъ парадѣ теперь... И всего тамъ за деньги можно, а де-негъ тамъ... душу купить и продадутъ, и въ карманъ покладутъ, вотъ какъ. Она и бойка-бойка, а и на бойку найдутъ опойку. Говорится-то — на тихаго Богъ нанесетъ, а бойкой самъ себѣ натрясетъ. Ну, она меня ужъ и отпустила, и попутчикъ такой надежный, Соломонъ Григорьичъ. Поняла, можетъ, что погибать мнѣ съ ними, не миновать... ну, непричальна я къ тѣмъ лорядкамъ, къ американскимъ ихнимъ. Да Васеньку-то она заканителила, и идолъ тотъ навязался, — романъ и романъ страшный. Ужъ какъ все расканителился — не скажу. Не подумайте чего, барыня... она вотъ-какъ не желала меня пускать, а я все... такъ ужъ Богу угодно, мысли все у меня такія были — поѣхать надо.

Ночи не спала, все думала — поѣхать и поѣхать, совѣта попросить. Да вотъ, про Катичку-то... Да сразу, барыня, не понять, это все знать надо. Идолъ тотъ, думатся мнѣ такъ, зубъ на меня точилъ. А вотъ, ее все, молъ, оберегаю. Онъ, можетъ, и уговорилъ Катичку отпустить меня, правды-то всея не знаю. Да еще я, барыня, попугать ее, просилась-то, отвезти-то меня, а сама нипочемъ бы не уѣхала, своей-то волей. Да нѣтъ, ничего, барыня, не путаю, а... на мысли вступило мнѣ, поѣхать и поѣхать, по одному дѣлу. Да дѣло-то не важное, а... Ужъ и натерпѣлась я тамъ, наплакалась-наглоталась. Ну, она мнѣ и... — «что жъ, поѣзжай, тамъ тебѣ повеселѣй будетъ...» — дозволеніе и дала. И люблю ее, а поѣхала... будто такъ надо, въ мысли набилось мнѣ. Можетъ, чего и выйдетъ, къ лучшему. Да и правда: тутъ-то я хоть въ церкву схожу, душу отведу, а тамъ, какъ привязанная я словно, да напужѣна-то, шумъ такой... чистый адъ! И всѣ будто сумашедчіе какіе, слова добраго не услышишь, дѣла до чело-вѣка нѣтъ. Тутъ народъ, барыня, вѣжливѣй, сравнять не-льзя: и улицу покажутъ, и... Уѣхала я, вотъ и ее, можетъ, подманю: соскучится по мнѣ — скорѣй пріѣдетъ.

Не окликните вы меня, такъ бы я васъ и не разыска-ла. Былъ у меня адресокъ на бумажкѣ вашъ, Катичка да-ла. Провела меня Марѳа Петровна до земной дороги, подъ землю лѣзть, въ вагонъ посадила, наказала пять станцій считать и вылѣзть. Ну, вывели меня изъ-подъ земли, стала бумажку совать чело-вѣку одному, а вѣтромъ ее и выхлестнуло. А тамъ омутъ чистый, автомобили гудуть, вагоны крутятся, — завертѣло мою бумажку подъ коле-са. Искали съ ихнимъ городовымъ, и чело-вѣкъ тотъ съ нами ходилъ-искалъ... хорошіе, спасибо, люди попались, вникающіе. Объясняю имъ — а-дристъ улетѣлъ, ф-фы! — поняли, пожалѣли — не нашли. Поѣхала я назадъ къ Марѳѣ Петровнѣ. Спасибо, карточка хозяина ее была съ адрескомъ, а то бы и ее не нашла. Да еще молодчикъ одинъ на меня поинтересовался, призналъ — русскаго я

роду, шоферъ: «садитесь, бабушка, я васъ доставлю въ сохранности, куды вамъ?» Заплакала я, прямо. Довезъ акурать до квартиры, ни копѣчки не взялъ. — «У меня, говорить, мамаша теперь такая же старушка, въ Россіи нашей». Ужъ такой обходительный, сурьезный, изъ офицеровъ тоже. А въ церкви вы меня и опознали, Господь привель.

Въ Америку-то какъ попали? А развѣ Катичка Ниночкѣ не отписала? Правда, голову ужъ она тутъ потеряла, Васенька заболѣлъ. Да вы сразу-то не поймете, идоль тотъ замѣшался. Идоль-то... Да онъ, можетъ, и ничего, а вродѣ какъ шатуцій, лизунъ. Это онъ меня такъ прозвалъ — и-доль! — осерчалъ. Привела его Катичка меня показать, чисто чуду какую.. много ему про меня наплела, что вотъ не можетъ безъ меня быть, — то-се. При немъ меня и поцѣловала, стала нахваливать, по голоску ужъ слышу. А онъ ощерился, и пальцемъ въ меня — «и-доль!» — говорить. А Катичка послѣ сказала — «иконкой» она меня назвала ему. Она меня, бывало, — «иконка ты моя, не могу я безъ тебя!» — это ужъ какъ разнѣжится. А тотъ на меня — и-доль! — почитаетъ, дескать, она меня шибко! А самъ вродѣ какъ истуканъ, лицо такое непріятнос, кирпичомъ, никогда и не улыбнется, зубы покажетъ только, какіе-то юни у него... желѣзные слово, а не золотые, смотрѣть даже непріятно. А бога-ачъ... — денегъ некуда дѣвать, полны подвалы. Всѣ при дѣлѣ тамъ, а онъ надоѣлъ звонками. Много ужъ за сорокъ ему, и одутлый, а навязался и навязался. И со всѣми дилехторами, будто, знакомъ, сымаются вотъ гдѣ. Гдѣ ужъ она его сыскала, — не отцѣпляется, такъ вотъ и стерегетъ. А она потѣшается: идоль къ намъ, она Васеньку вызвонить, повертится передъ ними и убѣжитъ. Они и сидятъ, какъ глухие. Говорила ей — «навязался человекъ, безъ путя ходить... да ну-ка еще женатый!» Да ужъ она волю-то взяла, узды на нее нѣту, развѣ она словъ слушаетъ. А ей голову закрутили, во всѣхъ вѣдностяхъ печатають, шмыга-

лы къ намъ повадились, карточки съ ея щелкають... — ужь она показная стала. А де-негъ у него... ни въ какіе банки не укладешь, самъ будто дѣлаеть! Не вздоръ, барыня, а сущая правда, А, можетъ, и нахвасталъ. Заѣхалъ какъ-то, въ телефонъ покричалъ минутку и говоритъ Катичкѣ: «сейчасъ я на ваше счастье миліонъ сдѣлалъ!» А она повернулась такъ, гордо ему — «что мало?» — и ушла, ни слова не говоря. Онъ глазами на меня похлопалъ, я ему и сказала: «и нечего, батюшка, вамъ тутъ, лучше бы домой шли». Съѣсть хотѣлъ меня, прямо. Чего ужь она наболтала про меня, только онъ меня не взлюбилъ.

Все и думала — господъ бы Медынкиныхъ повстрѣчать, про васъ. А гдѣ вы — и знать мы не знали, живы ли. Оборвется, думаю, у насъ съ Катичкой, гдѣ намъ искать защиты? А вы съ Катичкой ласковы всегда были, подарки какіе всегда дарили, — помога не помога, а все ей совѣтъ дадите, и все-таки одѣрка, очень она своевольная, меня не слушаетъ... и съ Васенькой, можетъ, уладили бы дѣло. Другой бы ее сразу обломалъ, а онъ благороднаго характера, все терпѣлъ. А какъ завоза въ нее засѣла... Да это по череду сказать надо, а то и не поймете. А это артистъ одинъ, бариновъ адресокъ Катичкѣ сказалъ, на лавочку, она и отписала Ниночкѣ. Артистъ-то? Онъ барину на лавочку писалъ, а баринъ и не отвѣтилъ. Нѣтъ, фамилію не упомяну, какая-то мудреная.. Мен-дриковъ, что ли? и еще какъ-то... Кан-дриховъ?.. Двѣ у него фамиліи, будто. Все бухвостили:

— «Я у нихъ на Ордынкѣ театры игралъ, безъ ума зсѣ отъ меня были, а Варвара Никитишна пер-стенъ — говорить — мнѣ изумрудный поднесла!»

Можетъ, что и напелелъ, какъ вы-то говорите. Будто за тотъ перстенъ домъ купить можно было, а онъ его за мѣшокъ муки вымѣнялъ, голодалъ. Вѣрно, барыня, мало ль чего наскажутъ. Краснобай такой, балахвость. Катичка ему — «а, пустая вы балаболка!» — а онъ въ ладош-



ки — «поклоняюсь, поклоняюсь!» — никакого стыда. Да больше ничего, словно, не говорилъ. Да, вотъ чего еще говорилъ:

— «Это Медынкинъ на меня серчаетъ — и адреска барыни не даетъ. А теперь старое помнить грѣхъ, всѣ мы какъ потонули, будто ужъ на томъ свѣтѣ. Все равно, я ее безпремѣнно разыщу!»

Разыщу, говорить, — такъ и сказалъ. Такой настойчивый... Въ соборѣ онъ намъ попался. Изъ себя-то? Да не такъ чтобъ ахтителный какой, и ужъ немолодой, а видный такой мужчина, брюзглый только, брыластый такой, губастый. Ну, попался онъ намъ въ соборѣ... совсѣмъ безъ колѣйки оказался, и ужъ стали его выгонять изъ Америки, что безпачпортный. А тоже чего-то тамъ представлялъ, разбойника, что ли, — Катичка говорила. А одѣта она шикарно, и къ собору мы съ ней на автомобиль подкатали, — онъ тутъ и подскочи. А разговоръ у нихъ свойскій, дерзкіе они всѣ, —

— «Какъ-такъ, не помните! А въ Парижѣ-то мы крутили съ вами!..»

Чего сказалъ! Катичка ему и отпѣла, перчаткой такъ:

— «Извините, не помню... и хочу молиться!»

Разстроены мы, Васенька заболѣлъ... а онъ присталъ и присталъ. Отслужили молебень, и онъ съ нами помоллся, на колѣнкахъ даже стоялъ, — не отцѣпляется. Плакалъ даже съ нами, такъ и расположилъ.

— «Каждый, говорить, день въ соборѣ плачу-молюсь, ничего больше намъ не осталось, потонули мы всѣ бездонно».

Такъ и расположилъ. И фамиліи всякія, и то, и се... и знаменитыя-то вы стали, и про Москву, слово за слово — васъ и помянулъ. Тутъ и распуталось. Сколько-то она ему помогла, зеленую бумажку даже поцѣловалъ. А то бы пропадать ему: велятъ сейчасъ же на пароходъ сажаться и отъѣзжать. Такіе тамъ порядки, чтобы выгонять, который безпачпортный. А кто и денегъ при себѣ

не имѣть, прямо въ тюрьму сажаютъ. А кто большія деньги имѣеть, ото всего можетъ откупиться. А онъ и въ Парижѣ нашемъ ужъ побываль, только васъ не могъ разыскать никакъ.

— «Лечу, говорить, на вокзалъ, счастья пытатъ въ Америку, и пароходъ меня дожидается. Глядь — русская лавочка! Дай, думаю, водочки прихвачу и хотъ котлетокъ нашихъ, а то въ Америкѣ не достать. Все, говорить, родимое вспомнилось, вбѣгаю въ лавочку... ба-а! — самъ господинъ Медынкинъ грешневую крупу совочкомъ въ пакетъ швыряетъ! Только расцѣловались, адресокъ лавочки записаль, — поѣздъ ждетъ, опоздаю на пароходъ».

Какъ заплетается-то у насъ, барыня, чисто въ жмурки играемъ по бѣлу-свѣту. А еще вотъ, — ну, прямо, не пофѣришь, какъ расшвыряло. Стало быть, лавошница наша, въ Москвѣ мы жили... хорошая такая, богомольная, Авдотья Васильевна Головкова... — и что же, барыня! Гдѣ это вотъ Дунай-рѣка... какъ это мѣсто-то?.. намъ цыганъ венгерскій еще попался, на гитарѣ все звонилъ..? Правда, ужъ по череду лучше, а то собьюсь. Ну, сулился безпремѣнно къ вамъ побыватъ, въ Америкѣ ужъ все у него оборвалось.

— «Только бы до Парижа докатиться, а тамъ опять, гсворить, встану на ноги. Я у нихъ свой человѣкъ былъ, танцы съ простыней танцовали... и у нихъ безпремѣнно деньги имѣются».

Такой нахаль, сущую правду говорите, дочего безстыжій. Ну, какое кому дѣло до чужого кармана, вывезли или не вывезли! А ужъ эти антилигенты, барыня, дочего же завистливы! Въ Москвѣ сколько насмотрѣлась. Ну, извѣстно, не всё... а насмотрѣлась.

— «Они, говорить, съ заграницей торговали, у нихъ безпремѣнно въ банкахъ тутъ капиталы спрятаны, а лавочка для прилику только». — Ужъ такой-то наглый, не дай Богъ. — «Должны быть деньги, секретныя». Какъ это

онъ..? не секретныя, а... Нѣтъ, не тайныя, а... Темныя, вотъ какъ. — «Я бы, говорить, и въ Америку не пустился, далищу такую, киселя хлебать, кабы знать, что Варвара Никитишна близко такъ». А ужъ говору-унь!.. — «Что мнѣ Америка-то, что мертвому греку пѣявка, пользы никакой нѣтъ». — Да ужъ билетъ выправилъ, и денегъ ему впередъ задали, дилехтора. — «Закадычные, говорить, друзья съ ней были, изъ одного стаканчика пили, и партретикъ ихній въ медальонѣ у меня былъ, да въ дорогѣ оторвался».

Прямо, са-нтажистъ, вѣрное ваше слово. Придетъ, а Катичка растереха, колечки-брошки валяются, гдѣ нѣ слѣдъ, бриліанты-жемчуга все какіе, большія тѣщи плачены, — упаси Богъ, человѣка соблазнимъ. Я и поприбе-ру. Все къ обѣду потрафлялъ, изголодался. А собирается, не разъ поминалъ. Развѣ вотъ съ идоломъ-то завертится. А какъ же, и къ нему прицѣпился, да они попусту давать не любятъ, тамъ и прикурить-то такъ не дадутъ. Думатся такъ, ужъ не приванялъ ли его идолъ-то на тайное какое дѣло, досматривать... Да нѣтъ, сразу-то не поймете, тутъ все по череду знать надо. Да нѣтъ, ничего, словно, больше не говорилъ, — про перстенецъ, да что вотъ партретикъ оторвался.

— «Теперь бы, говорить, этотъ перстенецъ... на автомобиляхъ бы раскатывалъ».

### III.

Про Васеньку-то я вамъ... А это она закозу свою все помнила, — знать-то все, — терзала-то его. Она и сама терзалась. Значить, Ковровъ, по фамиліи, сосѣди съ нашимъ имѣнникомъ. Сами знаете, какое у барина имѣннике было, отъ тетки имъ выпало, поскребушки. Тетку они давно ужъ начисто обглодали. Какъ померла, они въ банки побѣгли справиться, капиталы искали, а ничего и нѣтъ,

пустой ящикъ. Какъ-такъ, должны быть капиталы! А у ней лажей-старичскъ, сорокъ годовъ жилъ, — не онъ ли прибралъ къ рукамъ? Ну, оправдался, тыща рублей у него только сказалось, на книжкѣ на сберегательной. Выдало имъ начальство бумаги теткины, а тамъ все и прописано, сколько они съ нее денегъ перебрали, сами-то даже ахнули... весь ее капиталъ повыбрали. Ужъ такіе-то немыслёные... а хорошіе были люди, грѣхъ похулить.

Вѣрно говорите, много баринъ прахтикой добывалъ, съ другой барыни и по пять тыщъ за операцию бралъ, и приютъ на свою акушерку держали, а жили-то они какъ, барыня! Глафира Алексѣвна и одѣться любили, и въ за-границу ѣздили, и свои тоже расходы были, на студентовъ помогали, и... Ужъ покойники оба, а правду вамъ сказать, денежекъ что ушло на шатрану на всякую! Незаконные къ ней хсдили, полиція еоть лсвила... съ параднаго позвонится, часто такъ — дыр-дыр-дыр, она сама и бѣжить, по знаку. Посушукуются, — и сейчасъ въ шифонерку, за деѣгами. Конечно, не мое дѣло, а она прссстсердая, всему еѣрила. Сказала ей разъ, а она мнѣ:

— «Для тебя, глупая, стараются-страдають, да не по-нять тебѣ только!»

Баринъ поморщится, скажетъ:

— «Прорва какая-то, надо же разбираться, милочка!»

А она все такъ:

— Это же нашъ долгъ, Костикъ».

Какъ ужъ они столько задолжали, ужъ и не знаю. Да наскочила еще на хахаля одного, сталъ онъ съ нее денежки тащить. А онъ въ вѣдмостяхъ про жуликовъ печаталъ. Она глупое письмецо написала, а онъ прозналъ, сталъ грозиться: давайте три тыщи, а то пропечатаю письмо! Прибѣжала ко мнѣ, голову потеряла:

— «Ай, няничка... ославить на всю Москву, и Костикъ узнаеть!..»

Все мнѣ, бывало, довѣрялась, я ее съ семи лѣтъ, вѣдь, знала. А письмо-то къ музыканту было, Катичкину учи-

телю. Какъ ужъ онъ его выкраль — не скажу. Было-то чего съ музыкантомъ..? Въ доточности не знаю, а... Ну, что, барыня, ворошить, Господь съ ними, покойница давно. Ну, выкраль и выкраль. Достали мы за вексель у нашего лавошника Головкова три тыщи, а четыре заплати, на полгода, вонъ какъ. Я на образа божилась ужъ Головкову, отдадимъ, молъ, а онъ мнѣ какъ казнѣ вѣрилъ. И измытарили меня тѣ денежки. Барыня, прости ей, Господи, грѣхъ, у барина изъ кармановъ помалости вышаривала да мнѣ, грѣховодницѣ, — на, попрячь. Больше году набирали, грѣха что было... въ глаза я барину не могла смотрѣть, измучилась... за грѣхъ такой обѣщаніе дала сорокъ разъ къ Царицѣ Небесной Иверской сходить, сходила. Наберемъ сполна, она на себя потратитъ, а Головковъ меня теревитъ. Спасибо, Авдотья Васильевна, желанная такая, просила супруга потерпѣть. Вотъ святая душа! Тоже мотается по свѣту, глазочкомъ только разскъ и повидала, гдѣ вотъ Дунай-то-рѣчка.. А газетчикъ опять грозиться, вотъ-вотъ ославить, — тыщу еще дай! Совсѣмъ ужъ затеребилъ... подъ машину попаль, выпимши. И грѣхъ, а мы, правду сказать, перекрестились. А ее всѣ такъ почитали, Глафиру-то Алексѣвну, она всѣ книжки читала, и про все разговаривать умѣла, и въ налехціяхъ бывала, для простого народа все старалась. Двѣ зимы все ходила съ музыкантомъ книжки читать, а онъ на рояляхъ все игралъ. Да тутъ, можетъ, причина-то всему баринъ: очень она его любила, а онъ ее огорчалъ, ну, ей утѣшеніе и нужно было. Вотъ они съ тетушки и тачили. А она Катичкѣ крѣсна была, души въ ней не чаяла, — они на Катичку и выпрашивали.

Да много было... А какъ и не быть-то у Костинтина Аркадьича забавкамъ!.. Помните, небось, сами... барыни-то ему покою не давали. Все богачки, листократія самая, время дѣвать некуда, только на баловство. Онъ къ этому дѣлу и пристрастился. А умный, вѣдь, какой былъ, всѣ его такъ и слушаютъ, какъ заговорить. Ото всѣхъ ува-

женіе, подарки, чего-чего не было!.. Высокое бы ему мѣсто вышло, кабы не померъ, да безобразія бы не случилось, большевикѡвъ этихъ. Ну, много тоже и на забавки уходило. Да что я вамъ, барыня, скажу... я ужъ и не жалѣю, что за ними мои пропали, болѣ двухъ тыщъ пропало. Все едино, получи я свои зажитыя — пропали бы. Всѣмъ деньгамъ конецъ пришелъ, и тяжелой копѣечкѣ, и легкому рублику. Ну, нѣтъ и нѣтъ у нихъ денегъ, когда ни попроси.

— «А зачѣмъ тебѣ, скажутъ, няничка, деньги... у насъ цѣлѣй будутъ». — А то и такъ: — «Ты ужъ, нянь, потерли, вотъ получимъ скоро кушъ, сразу и отдадимъ».

Три рубли баринъ сунетъ, скажетъ — «это не въ счетъ», — и все. А это они отъ тетки наслѣдства ждали, кушъ-то. А хорошіе были господа, жалѣющіе, лучше и не найти. Ужъ такъ-то ласковы со мной были, такъ-то... Заболѣю я, баринъ мнѣ и градусникъ самъ поставитъ, и компрессъ, и чайку съ лимончикомъ принесетъ. И барыня, ночью даже вставала, такъ жалѣла.

— «Няничка, скажетъ, труженица ты наша... самое ты наше дорогое, простой ты народъ, тульская ты, мозолистая...» — и руку мнѣ все поглаживаетъ, истинный Богъ. А то скажетъ еще, прости ей, Господи: — «Да намъ на тебя молиться, какъ на икону, надо... вѣдь ты свята-я!..» — а у нихъ и иконъ-то не висѣло, и никогда и не молились.

А мнѣ и слушать страшно, и стыдно мнѣ, слезы и потекутъ. Гляжу на иконку на свою и молюсь: прости ей. Господи, неразуміе и меня не осуди. Грѣшница я, — бывало, сладенькаго чего возьмешь, безъ спросу. Конфекты у нихъ не переводились, и пастила, и печенья всякія, и прянички, и орѣшки заливные, чего-чего только не было! Въ деньгахъ, уберегъ Господь, не грѣшила, и Аксюшу, бывало, не разъ ловила. Расте-рехи-и... — вѣдь, это что жъ такое! У барыни, гдѣ ни поройся, то красенькую, то трешницу найдешь, въ книжку засунетъ и забудетъ. А у ба-

рина въ шубу за подкладку заваливались, да па-чки! А то прѣзжаеть разъ, а у нихъ въ ботикъ семь золотыхъ звенять, въ дырку изъ кармана проскочили. А сколько на улицѣ осталось, и не усчитали: много, говорить, было, карманъ прсрвали. Какъ въ домѣ денегъ нѣтъ, пойду-по-шарю — всегда найду. Баринъ, бывало, заторячится — «какъ-такъ нѣтъ? гдѣ-нибудь должны быть... въ диванъ не завалились ли, въ шубѣ глядите, за подкладкой!» А сладенкаго брала, по слабости. Баринъ, какъ газетку читать, передъ вѣсѣданіемъ своимъ, на турецкій диванъ завалится и коробками обкладется, и то изъ одной, то изъ другой не глядя въ ротъ суетъ. А денегъ вотъ не водилось. Имъ большое наслѣдство выходило, да оглашенные по Москвѣ палить стали, а тамъ и всѣ деньги отмѣнились. Мы тогда барина въ Крымъ свезли, не до того ужъ имъ было. И я бы зажитыя получила.

#### IV.

Про Васеньку-то я вамъ... Сосѣди по имѣнницу, Ковровы. Стало Катичкѣ счастье тутъ выходить, и въ самый-то бы разъ, потому совѣтъ барину удавка пришла: затребовали пять тыщъ за вексель, — какой-то онъ барышнѣ по секрету обѣщался, а платить не изъ чего. А барышнѣ сказала — старушку, моль, съ Федоромъ-лихачомъ они задавили и вексель дали внучкѣ старушкиной, мировую сдѣлать. А барыня всему вѣрила. А какую ужъ тамъ старушку, красная бы цѣна ей рублей двѣсти, — съ руками бы оторвали, небогатый кто, за старушку. Я Федора допытывала — смѣялся. Баринъ ходить-насвистываетъ. Какъ свистить, я ужъ и знаю, — деньги нужны. Ну, пересталь свистать... кто-то ужъ ему снабдилъ, а то и прахтиксѣ постарался, извернулся. Барыня, помню, говорила все:

— «Есть же мѣшки съ деньгами, и не умѣютъ распо-

рядиться!» — заеживовала вамъ, барыня, что шибко богаты вы. Завиствовала. Бывало, скажетъ: — «И образованія у купцовъ у этихъ на мѣдный грошь, а деньгами хоть подавись!»

Ссердшовъ, понятно... тревожилась семейнымъ положеніемъ. А тутъ баринъ въ бѣга ударился. Да нѣтъ, никуда не убѣгалъ, а по бѣгамъ сталъ ѣздить, деньги выигрывать. И вы, барыня, тогда ѣздили на бѣга глядѣть. Ниночка еще пѣсенку все намъ пѣла — «лошадки скачутъ, а денежки плачутъ». Катичка ее обучила, наслушалась стъ пагашеньки. Аграфена Семеновна, носастенькая, еконсмка, бывало, скажетъ:

— «Покатила наша барыня на бѣга, деньги лошадамъ повезла».

Ну, какъ не помнить, Ниночка съ Катичкой билетиками все играли, вы имъ изъ сумочки во-отъ какую кучку вытряхнете, гестренькія все, картоночки. Помню, пріѣхали вы домсой, веселья-развеселья, а снѣгъ валилъ, метель такая пошла, и ужъ тѣмно стало, домой Катичку отводить пора. А вы пріѣхали, всѣ-то въ снѣгу, разурмянены, горячія, сбросили шубку соболью и давай лю залѣ передъ зеркалами танцовать, и пальчиками все прищелкивали. Какъ же-съ, очень хорошо помню, въ платьѣ вы въ самомомъ были, рукава по сѣхъ поръ, и такія вы счастливыя были, барыня... и вдругъ мнѣ пять рублей золотой и подарили, ни за что! И Аграфенѣ Семеновнѣ золотой тоже выкинули, — сказали, что много наиграли. И красивыя же вы были... прямо, какъ купидомчикъ! Ну вотъ, вспомнуги... засвѣтились всѣ, вовсе даже, барыня, помолодѣли! такъ и вспомнидось, какія вы красивыя-то были. Да нѣтъ, вы и теперь красивыя, барыня.. да, вѣдь, у молоденькихъ сея красота, природная. И про билетики намъ сказали, — каждый по большому золотому. Ужъ мы счители-счители, сколько же вы золотыхъ-то наиграли... за двѣ, никакъ, сѣтти золотыхъ! А вы еще посмѣялись: «ахъ, глупыя-глупыя, да это же все проиграно, а то бы я за



картсночки денежки получила!» Теперь бы вотъ эти золотыс... Да тогда развѣ думалось, что свѣтопредставленье такое будетъ. Все въ свое удовольствіе, въ себя жили, — вотъ и не думалось.

И баринъ въ бѣга ударился, закружился. Его на практику требуютъ, а онъ по бѣгамъ гуляетъ. Барыня его какъ стыдила, ловить его ѣздила, бывало, для прахтики, — ни разу не поймала, увертливый очень былъ. И такой тоже развеселый, тоже Катичкѣ картоночки все выкидываль. У насъ тогда непріятность съ барынинимъ братцемъ вышла. А какъ же, братецъ у нихъ былъ, только незадачный вышелъ, по ихъ сословію. Никому про него и не поминали, и къ себѣ не пускали, отъ стыда. Аполитомъ его звали. Ну, не задался онъ у насъ, у мамашеньки я тогда жила, его изъ имназіи и выгнали, онъ и пошелъ на желѣзную дорогу, въ машинисты, и на портнишкѣ женился. Чернаго ужъ сталъ званія, они и брезговали. Онъ придетъ, а баринъ въ кабинетъ уйдутъ. И еще деньги онъ требсвалъ, отъ мамыши наслѣдство, а деньги-то они прожили, а онъ зналъ, что и на его долю было... тыщи четыре денегъ, записка у барыни была посмѣртная. Ну, и непріятности. Сперва-то онъ ничего, смирялся. Пришелъ къ барынѣ крестить звать, она отговорила. Обидѣлся онъ, шурами ихъ назвалъ да сгоряча вазу китайскую имъ и разбилъ, — баринъ его чуть палкой не ударилъ. Скажу имъ — «Аполитушка вамъ братецъ родной, хорошаго тоже роду, гнушаетесь-то зачѣмъ? а бѣдныхъ жалѣете. И онъ небогатый, руки мозолистыя, пожалѣли бы его!» Передъ знакомыми стыдились, что на портнишкѣ женился. Съ горя-то онъ, узнали мы потомъ, въ сацалисты пригисался, всѣхъ чтобы разорять, съ досады. Ну, разбилъ онъ вазу, она его выгнала, да разстроилась — побѣжала провѣтриться на морозъ. А вы тутъ и подкатили на стѣрхъ. Сансчки легонькія у васъ были, а кучеръ во-какой широченный, — какъ санючки не раздавить, дивились мы. Барыню не застали, а мы съ Аксюшей череп-

ки отъ вазы подбирали, какъ вы вошли. Ну вотъ, вспомнили. Баринъ съ вами и покатили на бѣга. Я еще въ окошечко залюбовалась, какія вы шикарныя были, шикъ! Баринъ въ ту зиму влухъ совсѣмъ проигрался, всѣ туда денежки ютвозилъ, какъ въ банки... столько онъ просадилъ, — никакой прахтики нехватало. Вотъ тетеньку они тогда и начали донимать.

## V.

Бывало, скажутъ: не миновать — Иверскую подымать. Я-то понимала, чего грѣховодники думаютъ. У насъ не то что Царицу Небесную никогда не приглашали, а и батюшку съ крестомъ не принимали. Какъ у насъ разстройка какая, барыня въ спальню запрется-плачетъ, я возьму водицы святой и покроплю, помолюсь за нихъ. Ну, будто они дѣти несмыслѣныя, жалко ихъ. Образовъ у насъ въ домѣ не было, барыня не желала, по своему образованию, и свое благословеніе, мамаша ихъ замужъ благословила, она на дно сундука упрятала. Въ дѣтской только, я ужъ настояла Катерины-мученицы повѣсить образокъ къ кроваткѣ, да въ прихожей иконка висѣла, отъ старыхъ жильцовъ осталась, вершочка два. А въ темненькой у меня и лампадочка теплилась, Никола-Угодникъ у меня висѣлъ, въ дорогу-то захватила, и еще Казанская-Матушка. А у нихъ, чисто какъ у татаровъ, паутина одна въ углахъ, болѣ ничего. Да, насмѣхъ будто, баринъ статуя голаго купилъ, «Винерка» называется, въ передній уголъ въ залѣ поставилъ, подъ филоденры, — вотъ и молись. И что я вамъ, барыня, скажу... — съ чего-то насъ пауки одолѣли! Ну, одолѣли и одолѣли, силъ нѣтъ. Навелось паука, такъ и распространяется. А чистоту строго наблюдали. Только обмела — опять паутина и паутина. Я ужъ барынѣ говорила:

— «Смотрите, барыня, паука у насъ сила несусвѣтная... не къ добру это».

Дернулась она, да съ сердцемъ на меня такъ:

— «Что ты мелешь? почему — не къ добру?!» — а затревожилась.

— «Къ пустотѣ, говорю, науки одолѣвають... думатся такъ, по-деревенски».

— «А, глупости.. любишь всегда тревожить!»

А я сколько примѣчала, про наука-то, что къ пустотѣ. Ну, нехорошо и нехорошо у насъ, такъ-то нехорошо-невесело... ну, вотъ чувству мнѣ пустота-глухота, чисто сарай. Барыня и давай зерькала оглядывать, хорошо ли привязаны. Ужась, какъ зерькаловъ боялись, какъ бы не разбились.

За тетеньку они, Иверскую-то подымать: тетеньку въ гости звать, хорошенечко засластить. Привезутъ въ каретѣ, давай угощать-улащивать:

— «Ахъ, тетечка... ахъ, милая... совсѣмъ-то вы насъ забыли, и какъ вамъ, тетечка золотая, не стыдно... а мы-то скушаемъ, а мы-то для васъ любимаго пирожка со сливками, да рябчиковъ съ мадерцовымъ соусомъ, и грушки душистыя, по зубкамъ вамъ... а Катюньчикъ безъ васъ жить не можетъ...»

Такъ она и растаетъ. И новую рояль Катюньчику, и на музыканта ей, и выгрышный билетъ ей... А какъ проигрался на бѣгахъ баринъ, они и подняли тетюшку, всурьезъ ужъ. А она на ладанъ ужъ дышала, чуть жива, и палець все сосала, какъ малоумная. Послѣ угощенья баринъ и бухъ передъ ней на колѣнки. Упалъ и зарыдалъ. Ужъ такъ-то возрыдалъ, и ручки ей цѣловать. А онъ умѣлъ зарыдать, и слезы потекутъ, исхитрялся, отъ чувства такъ. Да я-то ужъ знаю, барыня, какъ они исхитрялись... И это у нихъ сговорѣно такъ, съ Глафирой Алексѣвной. И глядѣть-то, бывало, надоѣсть, какъ они исхитряются. Какъ же не замѣчать-то, на моихъ глазахъ все... А гостей приглашать! спсру сколько, будто домъ покупать собираются: того не надо, какой отъ него прокъ, а эта практика можетъ дать, обязательно надо завлекать... И мѣсто

кому за столомъ какое — ну, все прикинуть, чисто шелками вышьютъ. За глаза и ругнуть, а зарятся. Фабрикантшу одну сколько годовъ ловили... только поймали, она и помри. Самую эту, Лопухову, доктору своему сто тыщъ отказала, какъ барыня жалѣла!

Ну, упаль-зарыдалъ, тетушка такъ и затрепыхалась, закеохтала, кудри ему давай ерошить, въ глаза глядѣть...

— «Ай, что такое, не пугай, Костинька... или опять накуролесилъ?..»

А она часто мирила ихъ. А онъ рыдаетъ..!

— «Ахъ, у Глирочки чахотка въ градусъ, доктора на горы въ границу посылаютъ, а у насъ нужда воиющая, бумаги потеряли... поглядите на эту тѣнь!..»

А барыня у притолоки стоитъ, бѣ-злая, напудрена, и въ платочекъ покашливаетъ. А тетенька слѣпая, за рукой не видитъ...

— «Что жъ вы мнѣ раньше не сказали?! какъ можно залустить?!..»

Она сразу тогда — де-сять тыщъ! Такъ всю и обглодали помаленьку. Проводятъ — и давай по залѣ танцовать. — «Ахъ, милая старушка... ахъ, славная дитѣ!» — такъ представляли хорошо, сама повѣришь. Шутили-шутили да и нашутили. А вотъ, доскажу. А померла она — и похоронить не въ чемъ было, — въ простомъ такъ гробу и схоронили, съ однимъ-то факельщикомъ. И панихидки съ нихъ не дождалась. И старичку-лакею ее не пришлось за пять лѣтъ зажитого получить. Они ему старый умывальникъ замѣсто того отдали да царскій партретъ большой, стараго царя.

А имѣннице она еще живѣ Катичкѣ отдала, лѣтомъ на дачахъ жить. Мы съ ней тамъ и живали, а они рѣдко когда заглянутъ. Тамъ и съ Васенькой познакомились, въ крокетъ прѣзжалъ играть къ намъ. Тогда еще, примѣчала я, Катичка ему нравилась. Ей годковъ десять было, а высокенькая ужъ была, въ паначеньку, а ему къ пятнадцати, пожалуй. Съ англичаномъ къ намъ прѣз-

жа..ъ, на высокихъ такихъ колесахъ, какъ въ ящикъ. И у насъ тогда миса жила, англичанка тоже, по фамилии Кислая... говорить Катичку по ихнему учила, гордая да капризная... — все мы ее «кислая кошка», звали. А такъ обучила хорошо, всѣ вонъ теперь дивятся, такъ за англичанку и признають, очень способная Катичка. А Кислая и влюбилась въ барина! Какъ на икону на него молилась. Такъ-то она недурна была, жильная только очень, костистая. Что-то у нихъ съ барыней вышло, она и разочлась, сумочкой въ барыню швырнула. А Катичкѣ сказала — «всегда для васъ все готова сдѣлать!» И что же, барыня... вѣдь она какъ намъ тутъ пригодилась, въ границу! черезъ ее мы англичанами чуть не стали, въ Костинтинополѣ когда бились... Она бо-знать чего про насъ наплела, чуть ни царскаго роду мы съ Катичкой, письмо послала старичку одному англичанскому со старушкой, а они по морямъ катались, вотъ къ намъ и прѣзжаютъ, къ «Золотой Клеткѣ», гдѣ мы служили... ресторанъ такой. И свой корабль у нихъ, страшенные богачи... А и вправду, ужъ я по порядку лучше.

Да, такъ встѣ тетеньку и похоронили.

## VI.

Вѣрно, барыня, много добывала, да на много и дыръ-то много. Сколько у нихъ утѣхъ-то было, на каждой тумбочкѣ! Да они всегда порядочные были, худого слова про нихъ не скажу, вѣрно вы говорите, — а все не ангель. Безъ пятнышка и курочки рябой нѣтъ. Лошадей они не держали, а былъ у нихъ Федоръ-лихачъ, такъ онъ всѣхъ по Москвѣ его канарескъ зналъ, нашему бутושнику сказывалъ. А бутושникъ у насъ заслуженный былъ, кресты-медали, крестнику моему дядей доводился. Вотъ мнѣ крестникъ и сказывалъ... рыбкой онъ въ Охотномъ торговалъ, рыбку мороженую намъ нашивалъ, судачковъ, наважку, колчушечекъ... — придетъ и шепнетъ:

— «А у доктора новенькая завелась, въ Таганкѣ».

А то на Арбатѣ. А барыня и не чуетъ. Начнетъ какъ барынь душестыхъ грушъ привозить, либо цвѣты въ корзинкахъ, такъ я и примѣчала — новенькую нашела. Да какія же сплетни, барыня... живая правда. И барыню дострасти любилъ, а изъ баловства, для разгулки такъ. Барыня, вѣдь, красавица была, графской крови, по дѣдушкѣ, а потомъ ихъ изъ графовъ отмѣнили... барыня мнѣ не сказывала, а баринъ ее корилъ когда, что, молъ, графы твою фамилію профуфукали за хорошія дѣла.. а она въ слезы, его корить — «а ты подзаборный мѣщанинъ!» Ну, мало чего бываетъ промежду супруговъ. Ужъ такая красавица, хрупенькая, на ладошку баринъ ее сажали и носили, какъ пирожокъ: «ахъ, галочка моя... дыахъ, цыганочка моя... ахъ, перышка моя!» — заласкивалъ. А баловство бывало. И по городамъ бывали, для прахтики когда ѣздилъ. А у кого не бываетъ-то, барыня, деньги у кого вольныя да человѣкъ веселый! И закону у нихъ не было, строгости-соблюденія, и въ церкву не ходили, о душѣ и не думалось. Матрось-большевикъ, помню, говорилъ, въ Крыму жили, — «всѣ теперь наши бабы!» Отъ Бога отказались, досыта лопали, ну и... — «у насъ, говорить, кровь играетъ... на сладкое положеніе выходимъ!» Вотъ гроза-то на насъ наша, за Катичку какъ дрожала... расскажу-то. Вотъ и баринъ, отъ сытой жизни.

И въ хорошихъ семействахъ у нихъ бывали, изъ прахтики. Да въ разныхъ... На этихъ ужъ онъ не тратился, а все партреты свои дарилъ, на память. Цѣльная у него пачка была въ запасъ, побольше, а то поменьше, по уваженію. Были-то какіе? Вотъ даже какіе были, съ аршинъ, самые ужъ уважительные. Да забыла я, барыня, фамиліи, гдѣ жъ упомянуть. Андра-шкина.? Помнится, была... Кто еще? Нѣтъ, про Сударикову не слыхала, а шелковиха одна была, только не Сударикова. Мѣлкова еще, въ ресторанѣ-то застрѣлилась, въ заграницу ее увезли

послѣ. Да Господь съ вами, барыня.. Нѣтъ, Старкову что-то не припомню... А Локоткову, можетъ, слыхали... у нихъ мѣховое дѣло было? Тоже уважительная была, шубу барину какую сдѣлали, за двѣсти рублей, а ей цѣна за двѣ тыщи. Тогда барынѣ соболью буу баринѣ подарилъ, что-то недорого тоже, а какая буа-то... отъ мамыши Катичкѣ досталась.

Какъ не знать, и барыня про партреты знала, а умѣла такъ разговорить, — для практики такъ надо, пациенки желаютъ, изъ уваженія. Это ужъ все потому раскрылось... и вспомнить страшно, — въ наказаніе такъ Господь послалъ. А то и въ испытаніе... Анна Ивановна говорила, милосердная сестра. Вотъ святая душа была-а... расскажу-то вамъ. Сметни-то доходили, и письма барынѣ подсылали, со зла которыя, пациенки. Растревожится она, закричитъ:

— «Негодникъ ты негодный, бабникъ ты, ю-бошникъ.. не смѣй до меня касаться!..» — кулачками такъ затрясется. А онъ ей, удивится словно:

— «Ты что, милая... белены объѣлась?..»

Она ему въ лицо шваркъ — письмо!

— «А это что?!.. Негодный ты, порститутъ!..»

Повертитъ письмо, плечомъ подернетъ.. —

— «А, стерва...» — скажетъ, — «теперь понятно, это же она со зла, шельма, что финтифлюшки ее не принимаю, вниманія не обращаю на эту рожу!..»

Она и разсахарится, повѣритъ словно:

— «Да-а...» — скажетъ, — «актерщикъ ты извѣстный!»

Всегда и извернется. Защѣлуется, у колѣнокъ поерзаетъ, грушъ привезетъ, — и все. Понятно, въ себѣ держала. А какъ накалить его, онъ шубу на плечо, дверью хлопъ, и на свое взысданіе, на всю ночь.

У нихъ ученыя взысданія были, и еще казенныя взысданія, чтобы царя смѣстить. Это мнѣ Глафира Алексѣевна по секрету говорила: партію они дѣлаютъ. Вотъ и смѣстили, добились своего... только вотъ порадовать-

ся-то не довелось. А ужъ ждали-ждали... барыня все сулилась:

— «Вотъ, няня, погоди, скоро всему перемѣнъ будетъ, по новому все будетъ, Костикъ тогда надъ всѣми больницами будетъ... и всѣмъ тогда хорошо будетъ... и тебѣ богадѣльню выстроимъ, для всѣхъ старушекъ, и всѣмъ хорошее занятіе будетъ, и жалованье большое будетъ, трудящимъ всѣмъ. Хлопочемъ всѣ, такъ хлопочемъ... партію дѣлаемъ, для всего народа чтобы».

Вотъ и схлопотали, въ Америку попала. Да что, про себя и не говорю, а... не поймешь ничего.

Ну, уѣдетъ онъ въ засѣданіе, и она въ свое вzasѣданіе, хлопотать. А то, подъ конецъ ужъ это, капли стала веселѣя въ бокъ впускать. Впускала, барыня, своими глазами видала, какъ... и испортила себя каплями. Завеселѣетъ, забѣгаетъ, а тамъ пуше еще разстроится, плакать ко мнѣ придетъ:

— «Ахъ, няничка... и что я за несчастная... и красивая я, и молодая я, а Костикъ меня обманываетъ, чую!»

А онѣ, вѣдь, хорошенькія были, красавица изъ красавиць, всѣ-то на нихъ заглядывались. Ну, можетъ, и не первая красавица, вы-то какъ говорите... а ужъ такая была красотка! Это вы правду, барыня, росточку небольшого, и на цыганочку маленько похожа... такъ это съ каплевъ у ней личико желтѣть стало, а то, прямо, ягодка была, какъ куколка какая. Баринъ дышали надъ ней, прямо, такъ любили. Онъ рослый былъ, рука, чисто тарелка... посадить на ладонь и носить по залѣ, какъ птичку какую, — «ахъ, галочка моя... ахъ, бабочка моя!» — всякія прибереть слова. Скажу ей — Богу молиться надо, мысли и разойдутся. А и вправду. Гдѣ душѣ-то спокой найти, о себѣ да о себѣ все, бо-звать чего и думается. Уѣдетъ баринъ, она всѣ ящики у него обшаритъ, — нѣтъ ничего, всѣ концы умѣлъ схоронить. А то прибѣгла ко мнѣ, веселая, — «любить меня Костикъ, одну меня!» Письмо нашла, а на письмѣ баринъ чего-то прописалъ, барыню ка-



кую-то обругалъ. А отъ такой раскрасавицы письмо было..! Маленько и отошла. А скажешь ей про Бога, она такъ и закинется:

— «Что ты, старая, заладила — Богу-Богу!..»

И Катичка вотъ, бывало. Это ужъ ее Анна Ивановна наставила, — молиться она стала, въ Крыму ужъ. Да что, и въ Америкѣ жили — попрекала:

— «И все-то не по тебѣ, ворчишь! Старый духъ въ тебѣ. Сколько было, всѣ другіе стали, все кверху ногами стало... съ чего ты одна такая, никакъ не мѣняешься, какъ тумба? Старый ты духъ!..»

А что вотъ и постарому говорю, и куча я муравьиная, и платье на мнѣ все то же, и платокъ ковровый съ собой взяла, и тальма на мнѣ съ висюльками, — старое ей все поминается. Скажешь ей — а чего мнѣ новой-то быть, не бѣлишко, не выстираешь, а какой мнѣ Богъ видѣ далъ, такой и ношу, не обортень какой, не скидаюсь... губы мнѣ красить, что ли! Это нечистый образины всякія принимаетъ, норовитъ все наоборотъ вывернуть. Ну, это какъ разстроится. А то — лучше меня и нѣтъ.

Про барыню-то я... страшно бывало слушать.

— «Богъ-Богъ... что жъ онъ мнѣ не поможетъ, твой Богъ!» — чумовая будто.

Такъ вся и исказится. Ну, извѣстно, астеричная. И баринъ все, какъ вотъ вы сказали, — астеричная ты! А то косы распустить, — а волосы у ней чуть не до пять быди, — обкрутится ими, шею замотаетъ и кричить незнамо чего:

— «Ахъ, разведусь! ахъ, задавлюсь... себя и его убью!..»

А безъ него и часу не могла, такъ могъ приворожить. Да вы ихъ, барыня, сами знали, какъ обойтись умѣлъ. Борода одна чего стоитъ, шелковая, кудрявая, за плечо, бывало, закинуть могъ. А какъ все поновому стало, они и бороду обстригли... не узнать, болѣзнь ужъ ихняя началась. Бывало, въ бороду духи льютъ, а потомъ вымо-

ють, въ постелецѣ закрутятъ, она и вьется. И голосъ пріятный, и манеры такія благородныя, все-то въ зеркало крассгались, хохолокъ взбивали. Барыня ему — «ахъ, какетъ какой!» Всѣ барыни отъ нихъ безъ ума были, барыня сама сказывала, и ей это, словно, пріятно было. А чистоту любила!. Принесетъ прачка трахмальные рубашки, все-то переглядитъ, перешукаетъ, все имъ трахмалу мало, — грудь все что-бы гремѣла, горбомъ стояла. Прачка, бывало, плачетъ: назадъ и назадъ, перетрахмаливать. Бѣлья полны комоды, да все тонкое самое, гола-нское... а галстуки эти, такъ и шваркали, чуть помяты. И помочи, и носки, и платки носовые — все шелковое, цвѣтное... и подштанники, извините, разноцвѣтные, шелковые, и эти госудь сѣки вездѣ, для громату, саше. Что говорить, любили покрасоваться.

Вы-то, барыня, сурьезная при семейной жизни, Глафира Алексѣвна за примѣръ васъ все ставила, а и васъ даже приревнуетъ. Да опасалась, ну-ка онъ съ вами завлекется. Миліонерки были, всѣмъ соблазнить могли. А брилліантамъ заежестьсвала..! И у ней чего показать было, отъ ихнихъ графовъ еще осталось, а не сравнять, какъ можно... горѣли-то на васъ, чисто вотъ какъ жарь-птица. То вотъ какъ расхваливаетъ васъ, до бѣговъ это еще, а то и давай честить, ужъ простите. Да что говорила... разное, какъ придется. Дѣло прошлое, ужъ не обижайтесь на поскѣйшу... а всякими, бывало, словами... мнѣ ужъ и говорить стѣснительно-сь. Ну, ужъ если угодю, правду скажу, не скрою... И хитрая-то она, и фабрикантша она фальшивая, да-а... и месалиная она... И сама не знаю, какая-такая мисалиная... а все, бывало, такъ — мисалиная. И нога лаптемъ, и кукла золотая... — ужъ извините, отъ слова не станется, а всердцахъ мало ли что съ языка соскочитъ!.. — и чего она къ намъ повадилась, и чего Катюньчика игрушками завалила... и деньги деруть съ народа, и какъ посмѣла запонки Костику подарить такія... А вы куклу Катичкѣ заграничную привезли, съ нее ро-

стомъ, и пелонъ ксробъ приданаго куклина, не видано никсгда, такъ всѣ и издивились. А запки... она ихъ, есердцалъ, етъ ететь... етъ клзеть спустила! Въ клзеть, барыня, сама барину повинилась. Только вы въ заграницу — она ихъ и спустила. Баринъ ее кали-иль:

— «Что ты надѣлала, безумная! болѣ пяти тыщъ запки, такіе бридіянты!..»

Цѣну они ужъ знали. Не помните.. А я упомнила, де-нежки-то какія! А, можетъ, и отъ другой-какой, спутала. Такъ серчалъ..!

— «Это мнѣ память дорогая, я Медынкѣ съ Ордынки жизнь спасъ!..»

За заставу покатишь, куда трубы подають. Да гдѣ-тамъ найти, со всей Москвы слываеть. Копались тамошніе золотари, — баринъ имъ посулилъ, — не нашли. Очень всъ, барыня, почиталъ. И партреть вашъ на столікѣ держалъ. Барыня схватитъ — и въ носъ ему:

— «На, повѣсь въ уголь, молись на свою святую!»

А онъ ей смѣхомъ:

— «Постой, лампадку вотъ дай куплю. Да глу-патъ... да одну, вѣдь, тебя цѣню, какъ золотой алмазь!»

Она и кинетъ къ нему на шею, и за шинпанскимъ сейчасъ пошлютъ. И меня угостятъ. Да я его не любила, по мнѣ нѣтъ лучше ланинской водицы червсмородиновой.

## VII.

Правду надо сказать, — съ горя и она себѣ утѣшенія искала. Въ церкву-то не ходила, о душѣ и не думала... ну, соблазь ей душеньку и смутилъ. И уберечь себя трудно, въ ихъ положеніи, — много народу увивалось. Ёда сладкая, никакой заботы, музыки да театры, и обхождение такое, вольное, — тѣлу и неспокойно, на всякую хочу и потянетъ.

Картинку съ нее красильщикъ одинъ писалъ, чуть не

голую расписалъ. Волоса распущены, одно плечо вовсе голое, грудь видать, на подушкахъ валяется съ папироской, и цвѣты на ней навалены, и фрукты всякіе, и кругомъ ее все бутылки, — будто арапскую царицу написалъ, за деньги показывать хотѣлъ. А ее вся Москва знала, баринъ и осерчалъ. И вправду, будто распутную женщину намазалъ: и глаза распутные ей навелъ, и ноги такъ непристойно, до неприличности. Онъ картинку-то у того и отнялъ, себѣ въ кабинетъ повѣсилъ. И ту даже занавѣсилъ, а тр и поглядить. Съ того все и началось, пожалуй. Стала она такая всльня, на себя непохожа, словно ужъ не своя, — испортилъ ее красильщикъ. Въ щелку гляжу, бывало, мазалъ ее когда... — и за руки-то хваталъ, и за ноги перекидывалъ, и всю, какъ есь, перетрогалъ онъ ее... отъ стыда псмаленьку и отучилъ. А она — хи-хи-хи... — чисто ее щекочуть. Вольныя платья стала нашивать, — стыдъ и страмъ. По портникамъ, по модисткамъ... вырядится — страмно на-люди показаться, барину и покажется. Онъ такъ и ахнетъ!.. —

— «Гли!.. да ты не ты!..»

Будто приворожить его. А который ее мазалъ-то, уродъ косоглазый, на козла похожъ... возьми да и влюбись въ нее. Проходу ей не давалъ. А у него вредный глазъ былъ, онъ ее и заколдовалъ, глазомъ-то. Смѣтеть, барыня... а сущую правду говорю. Сидить и глядеть, колдуетъ. Такъ, помаленьку и заколдовалъ. Она ужъ какъ почувствовала, станетъ его просить, руками укрывается:

— «Не развлекайте меня, не выношу вашего глазу!..» — и хохочеть.

А онъ пуше уставится. А баринъ на прахтику уѣхалъ, въ Богородскѣ. Вотъ тотъ прѣзжаетъ, глазъ на нее уставилъ, и говоритъ, чисто ее хозяйинъ:

— «Вы безпремѣнно поѣдете со мной кататься, картинки мои глядѣть!»

Въ мигъ собралась — покатила. Вернулась ужъ на разсвѣтъ, и виновомъ отъ нее, слышу... — сама не своя, ужъ

онъ ее испортилъ. Два дни изъ спальной не выходила. А тотъ телефономъ донимаетъ! Она трубку объ столъ и расколола. Тутъ его колдовство и кончилось. Долго она болѣла, послѣ-то. Ну, что тутъ, барыня, антереснаго?.. Ну, и еще было. Какъ сорвалась съ закону, грѣху какъ приложилась, — и не удержишься, Бога-то когда нѣтъ. Былъ еще одинъ словно, студентовъ училъ... ни разу его я не видала. Скажешь ей стороной, а она сердится — не смѣй грязнаго думать, тутъ только пріятельская дружба. А я ктому, что нехорошо передъ баринномъ, стыдно въ глаза смотрѣть... — за письмами, бывало, меня гоняла, въ секретъ, на почту. А у меня глазъ-то свой, не дареный... бѣлье шикарное стала покупать, тонкое-то-растонкое, прачкѣ отдавать страшно, я ужъ сама стирала. Ну, все и видно... что я, слѣбая, что ли! Исхитрялась передо мной, а свѣсть-то не заткнешь, — изъ глазъ глядится.

Да чего, барыня, пріятнаго тутъ...? Ну, музыкантъ былъ, учитель Катичкинъ. Ничего человекъ, смирный, играетъ, да вздыхаетъ, только и всего. Вотъ-вотъ, самый онъ, волоса долгіе, на грека похожъ, и съ бантомъ съ бѣлымъ, а только ти-хой. Греки — они шумные, я ихъ знаю, въ Костинтинополь какъ мы бились. Вотъ тамъ греки шумѣли!. Всѣхъ съ тортуваровъ сшибаютъ, никакой управы на нихъ, турковъ они прогнали, а англичаны городъ имъ не даютъ, забрали себѣ подъ флагъ. Имъ досадно, все и кричали: «сильнѣй насъ нѣтъ, всѣхъ покоримъ, со всѣхъ денежки требуемъ!» Офицеръ нашъ одинъ все ихъ дражилъ, бывало: «и у пѣтуха шпора, да не звенить!»

Ну, вмѣстѣ сидѣли и играли на рояляхъ. Поглядятъ другъ на дружку — и олять заиграютъ. Можетъ и не было ничего промежъ нихъ, очень ужъ тихой былъ, музыкантъ-то. А глаза лялилъ, правда. Въ зеркало разъ видала, какъ она его въ маковку поцѣловала... а онъ глаза такъ, черезъ лобъ, и воздохнулъ. Ну, въ налехціи съ

нимъ ходила... Баринъ разъ и перехвати письмецо! Подаетъ ей, ужъ распечатано.

— «Какъ ты смѣешь письма мои печатать?» — она ему. — «Тутъ ошибка, ничего я не понимаю...»

— «А я — говорить — понимаю. Былъ у музыканта, и была у насъ музыка!»

Божиться стала, а то и не перекрестится никогда, хоть тебѣ крестный ходъ. И разочли мы музыканта. Я ему и жалованье въ письмѣ носила, щека у него была завязана, полтинникъ начай мнѣ даль.

Ну, сами, барыня, посудите: какъ же имъ дитѣ воспитать, при такомъ-то хавосѣ. И давно бы отъ нихъ сошла, да къ Катюньчику привязалась, оставить жалко.

## VIII.

И чего только они надъ ней не вытворяли!.. А знаете, я чего думала, барыня?.. А вотъ чего я думала. Наше семейство взять... Ну, баринъ хорошій человекъ, такой благородный, чужой копѣчки не тронетъ, хошь ты ему тыщи-растыщи положи... очень по закону понималъ. И барыня... и добрая, и образованная, сочувственная очень. И всѣ барина уважали, и докторъ онъ ученый, самый умный, и практикой много помогаль... и такой тоже сочувственный!.. Лошадь подъ окнами у насъ упала, а ломовикъ ужъ извѣстно — въ брюхо ее ногой, ногой. Обѣдали они, какъ увидали... выбѣгли на мостовую прямо, кричать, — въ участокъ хулюгана-негодяя, въ протоколь писать!.. — животные были попечители... были, вѣдь, у насъ такіе? Вотъ-вотъ, изъ животнаго попечительства. А то въ вѣдмостяхъ чего прочитають... голодъ вотъ когда по деревнямъ былъ, или кого строго засудили, за царя... а то и казнили, кто въ высокихъ лицъ бонбы швырялъ. Вотъ барыня разстроится!.. Салфетку бросить въ супъ, кулачками себя въ грудь... кричить: «звѣри-звѣри!.. нельзя

терпѣть, нельзя жить, нельзя руки сложить! народъ мору, убиваютъ... а мы можемъ спокойно ѣсть!.. не могу, не могу!..» Баринъ ей капель, все успокаивалъ: «не волнуйся, мы это все скоро перемѣнимъ... все кончится!» Заплачешь — на нихъ глядѣть. Вотъ, думаешь, какъ побожьи надо, и въ церкву они не ходять, а имъ Господь за доброту все простить. Къ бѣднымъ-то? Правду сказать, къ бѣднымъ не ѣздилъ баринъ, а такъ сочувствовалъ... вредно въ грязи рожать, зараза будетъ, все говоритъ... пусть въ пріюты идутъ рожать, въ ламбалаторіи, и чистота тамъ, и денегъ не берутъ. А прачка наша, у ней ребеночекъ поперекъ шель... сразу ей баринъ выправилъ, ни копѣчки не взялъ, — только трахмаль потуже. И сколько стъ смерти спасъ, и женщинъ, и младенчиковъ... жертвенныхъ ужъ совстмъ выналъ и въ себя приводилъ!.. Вотъ какъ.

А иной раздумаешься — сколько же онъ ангельскихъ душекъ помори-илъ!.. Да я-то ужъ знаю, барыня... И за это деньги какія бралъ! и на что же денешки эти шли-и... въ грѣбу, на блочество, въ свой мамонъ. Барыня все мнѣ говорила, какъ и въ вотъ... — такая мадицина эта, требуется. А я-то знаю... грѣхъ покрыть помогаль, ангельскія души убиваль, лу-зырь колол! Когда мадицина эта, разродиться женщина не можетъ, это я знаю. Ну, грѣхъ страшный, а всякій грѣхъ замаливается, только не грѣши. Ну, на церкву бы годали, для души, или бы сиротамъ помогли... Скажешь барынѣ: нищѣ къ намъ заходятъ, гало бы на ухуѣ подавать, какъ у мамашеньки водилось. А она — «лодырей разводить! на попечительство даемъ, тамъ ужъ знаютъ». Да не всѣ попечительство-то знаютъ. И кашочки есть, и дармоѣды, а сколько и живой нужды есть. А господа нужды живой не любили, разстраивались отъ нужды. Страницу приняла я разъ, чайкомъ и спонла, а у ней палець гвилей, стъ морозу, всю она кухню пальцемъ намъ протушила, правда... — какъ же они заспасались. А у гась гъ гомейку котлеты выбрасывали,

а про хлѣбъ и говорить нечего. Это въ Крыму мы съ Катичкой узнали, какъ хлѣбушекъ добывается, и въ Костининополѣ повидали, какъ въ морѣ съ дѣтьми топились, себя продавали за кусокъ... — вспомнить страшно.

Ахъ, барыня... у нашего батюшки дѣвочка въ ихней больницѣ померла, англичаны помѣстили, отъ состраданія. А мать и не допустили попрощаться... отъ заразы, будто... — и похоронили не сказавши. Пришла, а они ужъ похоронили, и не стѣвали! Отъ состраданія, говорятъ. Такъ матушка и упала на ступенькѣ. Можетъ, и баринъ тоже, отъ состраданія... а думается мнѣ — грѣхъ и грѣхъ.

А добрые люди, какъ трудящій народъ жалѣли, очень помочь желали... у всѣхъ чтобы свои капиталы были, всѣмъ чтобы поровну. А вотъ, жили на такія деньги. Да я знаю, барыня, не всѣ такія деньги были, а... хоть половинка была такая, за младенчиковъ! Изъ Нижняго отъ мушника барышню привезли къ акушеркѣ ихней, грѣхъ покрывать: сколько хотите возьмите, остановите только послѣдствія. Десять тыщъ выклали! За грѣхъ-то и деньги платять. Остановилъ баринъ, прокололъ пузырь. Вдять сладкій пирогъ, за пять рублей, бывало, покупали... и мнѣ дадутъ. И придетъ въ думушку: а, вѣдь, это за пузырь мнѣ, за ангельскую душку, сладкій кусокъ... за грѣхъ! Да я не осужаю, барыня... а сумлѣніе во мнѣ было. А есть слово я каксе получила, отъ святого человѣка... а вотъ.

Это какъ намъ барина въ Крымъ везти, чисто вотъ сердце чужо. Поѣхала я за Троицу, въ пустынь, къ старцу Алексѣю. Мнѣ Авдотья Васильевна присовѣтовала, желанная такая. Ну, поговѣла я тамъ... а ужъ царя смѣстили, все будто лонарешку пошло, полети стало. Мнѣ старецъ и сказалъ... я ему покаядась, у такихъ, молъ, господъ живу, сладкіе куски принимаю... такъ онъ и засвѣтился, и глазки ручкой такъ заслонилъ... открылся — плачетъ. И пошенталъ мнѣ:

— «Родная ты моя, не смущайся, все принимай... и чу-



жой грѣхъ на себя прими, а не осуди. Безъ насъ съ тобой судить Судія... и всѣ мы грѣхомъ запутаны, а вотъ Судія и разсудить».

Всю тягость съ меня и снялъ. И баринъ вотъ, какъ ему помирать... И правда, а то собьюсь.

Катичку укладываю, бывало, и станетъ страшно, какъ про ихъ грѣхъ подумаю. Отплатится, вѣдь, за это! безъ того не пройдетъ, на комъ-нибудь да взыщется. Да неужь, думаю, Катичкѣ и отплатится?.. И что же, барыня... отплатилась, такъ-то имъ отплати-лось..! И Катичка, развѣ счастье ей? Да я, барыня, все знаю... вы не знаете, а я-то знаю. Ну, всѣ-то мы, за что мы-то теперь мызгаемся такъ? Самые, можетъ, хорошіе и страдаютъ больше, за чужіе грѣхи принимаютъ, а ужъ Господь разсудить, все у Него усчитано. Вотъ теперь и нужду узнали, и въ чужую бѣду стали преникаться, и какъ хлѣбушекъ добывается, слезами псизается... и въ церкву стали ходить... — все у Него усчитано.

Ночью проснешься, какъ все-то вспомнишь... — да какъ же я сюды попала, въ пустое мѣсто! да чего жъ мы всѣ толчемся тутъ не при чемъ, какъ цыганы бродяжные... оттуда гонятъ, туда не допускаютъ... Въ Костининополѣ жили мы, вотъ напугались какъ, слухъ прошелъ, — хотятъ власти насъ большевикамъ отдать! Чуть-чуть не сдали, кто-то ужъ за насъ вступился. Да какъ же такъ? — говорили всѣ, — да гдѣ жъ у нихъ Богъ-то?! А какъ же барыня говорила намъ — самые они образованные!.. Ужъ вотъ ужъ повидала-то... Катичка тогда изъ себя вышла, калила ихъ калила... такой скандалъ, расскажу вамъ по череду. Такъ встѣ, говорю-то я... — проснешься, Го-спсди, старая я, кому нужна, сызмала сирота, съ дѣвчонокъ по чужимъ людямъ... покарай ты меня, взыщи на мнѣ, а Катюнчика не оставь милостью! На всемъ свѣтѣ сдна сна у меня теперь, будто дитѣ родное. И покойный баринъ меня просилъ, помиралъ... не забуду и не забуду.

## IX.

Да, про Катичку я вамъ... И чего только они надъ ней не вытворяли! Баринъ никогда пальцемъ тронуть не дозволялъ. Бывало, постращаю, нашлепаю за прокуду за какую, надо жь острастку ребенку дать. Ну, моду взяла какую... безъ горшочка ходить, а ужь пять ей годочковъ было. По всей комнатѣ крендельковъ наставить, а я подбирай. Я ее полотенчикомъ по заднюшкѣ. Заголосила — и къ папенькѣ. Онъ меня, — а онъ высоченный, какъ жандаръ, былъ, — за руку меня, загорячился:

— «Ежели ты, такая-сякая, посмѣешь еще Катюньчика пальцемъ тронуть, — духу твоего тутъ не будетъ!»

Черезъ полчаса обошелся, въ руку мнѣ три рубли:

— «Прости, Дарьюшка, за горячку... пропадетъ Катичка безъ тебя».

Стала я ее молитвамъ учить. Они ее до ученья ни одной молитвѣ не обучили.

— «Не смѣй Катюньчика глупостямъ учить», — барыня мнѣ, — «въ молитвахъ твоихъ сна все равно ничего не пойметъ».

— «Да не мои, говорю, молитвы, а Господни... она не пойметъ, онъ зато понимаетъ, и не подступится».

— «Глупости! Мы хотимъ сдѣлать изъ нее своевольнаго челоуѣка... сна сама должна всего добиваться, а не на твоего Бога полагаться!»

Да чего же мнѣ наговаривать на нихъ, барыня, когда правда!

— «Да какой же это мой Богъ... опомнитесь, барыня! — говорю, — одинъ у насъ у всѣхъ Богъ... Исусъ Христосъ!»

— «Ну, я тебѣ сказала. Если еще услышу глупости, можешь искать себѣ мѣсто въ другомъ мѣстѣ!»

Стала ей внушать, какъ же вы ребенка безъ Бога на ноги поставите, крещеная вѣдь, она.. надо ее по-божьи

учить, или никакъ не надо учить, а какъ собаку какую? И у собаки хозяйинъ, а у ней... слушать-то ей ко-го? А горе будетъ, гдѣ у ней утѣшеніе?.. Повернулась и пошла. Да ови и не окрестили бы ее, кабы не тетка... для тетки и скрестили, да и то закосу надо, а то какъ же безъ имя-то? Ну, обучила ее «Богородицу» говорить, и «Отчу», и «Ангелу-Хранителю»... и просвирку за нее выну, и въ церкву съ ней зайдемъ къ вечернѣ, гулять пойдемъ. А она охотница до церкви была, такъ руку, бывало, и оттянетъ:

— «Въ телькву, няниська, въ телькву!..»

Не нарадуешься, прямо, на нее. И ангелочки ей тамъ вселенскіе вдравились, хирувинчики съ крылышками, — божьими туленьками все ихъ звала. Скажетъ, бывало, забавная такая:

— «А къ Боженькѣ я когда уйду, тоже хирувинчикъ буду? А ты, няниська, не будешь хирувинчикъ? ты большая, тяжелая, не можешь полетѣть на крылышкахъ, упадешь?»

Ужъ такая была смышленная да вострая... Я ей и накажу строго:

— «Мамочкѣ не сказывай-смотри, что мы къ Боженькѣ захсдили, а то прогонитъ она меня со двора».

Погрозится такъ пальчикомъ, губенки вытянетъ: —

— «Не сказу-у... мамотъка Боженьку не любитъ, а мы любимъ».

Истинный Богъ. Значитъ, у ней ужъ душенька говорила. Такъ бы и вести ребенка, страхъ божій бы она знала, грѣха боялась. А дома ей другое въ головку набиваютъ. Барыня начнетъ ей набивать — слушать страшно... про чело-вѣка да про чело-вѣка, все, что ни есть, онъ можетъ! И кости чело-вѣчьи въ книжкахъ показывала, и собачьи кости показывала, — одинаки, говоритъ. Баринъ и то серчалъ — рано ей, у ней мозги высохнуть. Годъ отъ году стала она своевольная, сладу нѣтъ. Крестикъ на ней былъ, гляжу — нѣтъ! Мамочка сняла, грудку ей оцарапалъ. Купила я ей, хорошій такой, серебряный. Опять

мамочка сняла, а мнѣ распѣкъ. Въ лицо мнѣ стала плевать! Скажу ей строго — «въ Господень ликъ плюешь, Боженка накажетъ!» А она, насмѣхъ чисто, въ глазъ попластьavorовить. Да еще спориться принялась, чужія слова лолочеть: «глупая ты, мамочка говоидить, делевня ты!» Какъ ее воспитать? Стала ее страшать, а къ ночи было:

— «Вотъ Ангель-Хранитель отойдетъ отъ тебя, нечистый и унесетъ, съ рогами!»

Она — кричать-биться, пологъ на кроваткѣ изорвала. Барыня на меня — «ты мнѣ ее уродомъ сдѣлаешь!» Заснетъ — я ее водицей святой и покроплю. А то какую манеру еще взяла: покрещу ее, зрячую, — она смѣется:

— «А вотъ и сказу завтра мамочкѣ.. крестила ты меня!»

Стало ужъ мнѣ съ ней страшно, — онъ ужъ, будто, изъ ее ротика кричить. Стала она меня по щекамъ кле-стать. Разъ спустила, другой спустила, — она меня прыгалкой по глазу, залился глазъ. Я ее по щекамъ и отхлестала, для остратки. Она къ мамочкѣ, съ ревомъ, а та, дѣла не разобрамши, да при ней на меня, съ ключами!. Такъ вся и искадилась:

— «Ты, хамка... посмѣла лица коснуться!..»

— «Погодите, говорю, скоро она и васъ примется колотить».

Ужъ на что миса, англичанка, и та все глазами ужахалась, что Бога не хстятъ. А она въ свою церкву ходила... и они тоже въ Бога вѣруютъ... — и у ней надъ кроватью крестъ костяной висѣлъ, въ вѣночкѣ. Я имъ и на мису указывала, — глупѣй она васъ, что ли? тоже образованная, да еще англичанка.

И рѣшила я отойти отъ нихъ. Укладочку собрала, извощика привела, а ни пачпорта, ни зажитого не отдають. А за ними сотъ за семь было. Не отдають и не отдають: «Катичка тебя отпускать не хочетъ». А та топочеть, прыгаетъ на меня, фартукъ на мнѣ порвала, по полу кататься стала, ножками бить, — въ мамашу. Барыня, бывало,

съ бариномъ какъ повздорятъ, сейчасъ разуются — и въ сѣни босикомъ, да зи-мой! Баринъ схватитъ ее въ охапку и принесетъ, а она по полу начнетъ кататься. Изъ графина окатитъ — сразу и приведетъ въ себя.

Ну, осталась я. И рада, привыкла къ нимъ, — и обидно-то, будто и за человѣка не считаютъ. Легла спать, а сердце не унимается. Плачу въ подушку... — хорошая у меня подушка была, пуховая, на корабль пропала, изъ Крыма какъ мы поѣхали. Плачу и плачу, себя жалѣю. Барыня и входитъ, давай причитывать:

— «Клянешь насъ, жалованье не отдаемъ... лучшаго мѣста ищешь, на насъ и выскиваешь! Ну, такъ бы и сказала, жалованья тебѣ мало...»

— «Бога-то побойтесь, — говорю, — сердца я не уйму, а вы съ грязью меня мѣшаете. Ну, семь моихъ сотъ за вами, не пропадутъ, знаю... а зачѣмъ надъ человѣкомъ мытарствуете! Есѣхъ жалѣете, говорите... Не могу я глядѣть на хавось вашу, родное дитѣ губите...»

За голову сна схватилась:

— «Стыдно мнѣ передъ тобой, няничка.. стыдно!..»

Упала ко мнѣ на шею, трясется вся. Душа у ней добрая была, съ семи годковъ ее знала. Ночь на дворѣ, метель, въ трубѣ воетъ, и барина нѣтъ дома. И образъ-то нѣту, а она бьется, чисто темная сила ее ломаетъ, — страшно мнѣ съ ней тутъ стало. Покрестила ее украдкой — она и стихла.

— «Виноваты мы передъ тобой, няничка. Ты хорошая, а мы передъ тобой... дрянъ мы! И нѣтъ мнѣ покою, и все-то ложь, и Костикъ меня обманываетъ...»

— «Бога у васъ нѣтъ, — говорю, — и покою нѣту. Худо у насъ въ домѣ, худо...» — все ей и выложила.

Такъ она и вострепенулась!..

— «Чего ты каркаешь, чего худо?.. что ты думаешь, умереть кто у насъ?..»

Въ Есга не вѣрили, а такіе-то опасливые, — судьбы боялись. За зерькала дрожали, какъ бы не треснуло. А я и

посмѣюсь: въ Бога не вѣрите, а зерькалу вѣрите? Да, вѣдь, это Господь зерькаломъ во-лю свою указываетъ, зараньше. А баринъ страсть покойниковъ не любилъ. Какъ завидитъ на улицѣ — назадъ, Федору кричитъ, въ объѣздъ. А по нашему, покойника встрѣтитъ — всегда къ добру. Ну, другое дѣло — свадьба... Все-то у нихъ на-выворотъ.

Да... такъ и вострепенулась:

— «Скажи, что тебѣ чудится, какое худо? или сонъ видала?..»

— «Образовъ у васъ, говорю, нѣтъ въ домѣ, у васъ все можетъ быть».

— «Что — все? что ты меня пугаешь? про Катюньчи-ка чего чувствуешь... что — худо?..»

А я чего могу знать, не святая, въ сам-дѣлѣ. А чудится — будетъ и будетъ худо. Катичка и заболѣй скарлати-ной. Чего-чего ужъ она не вытворяла!..

— «Ты накаркала... ты все!..»

— «Опомнитесь, барыня, — говорю, — Господь ви-дидъ, какъ же я могу скарлатину сдѣлать? Пригласите лучше Цѣлителя-Пантелемона».

А Катичкѣ хуже да хуже, хрипѣтъ ужъ стала. Доктора ѣздили безсмѣнно, а ей все хуже. Говорятъ — была скар-латина, а теперъ и вовсе дифтеритъ сталъ, будте готовы ко всему. Тутъ сна и погнала меня къ Пантелемону, при-вези. Монахъ и говорить, — дойдетъ вамъ чередъ дня черезъ три, а покуда помажьте болящую маслицемъ съ мощей. Сказала барынь, а она кулачками затрясла: «вотъ, когда хочешь — тутъ и нѣтъ!» А я помолилась и помаза-ла Катичку теплымъ маслицемъ, въ украдку, и въ глоточ-ку капельку ей влила, — она и уснула, хорошо такъ. По-утру глядимъ — она ужъ и повеселѣла. А доктора и го-ворятъ, — теперъ ужъ выздоровѣетъ. Что жъ вы думаете... не повѣрила, что съ маслица это! Это, моль, отъ нѣ-ваго лекарства, профессоръ далъ. Такъ Цѣлителю-Панте-лемону и отказали.

Такъ вотъ и росла Катичка. А умненькая была, такая-то дотошная, всё мои пѣсенки умѣла, гостямъ пѣла. А я ихъ много знала. Въ деревнѣ, какъ сиротой осталась, меня въ богатый дворъ взяли, дитю качать. А у нихъ баушка была, такая-то мастерица сказки сказывать, всего-то всего умѣла... съ волости за ней прѣзжали даже. Отъ нея и я наслушалась-набралась. Катичкѣ я даже и пѣвала, ужъ большая она стала, на театры когда училась. Можетъ за то и любить. То я ей глупая, дурѣй нѣтъ, а то.. -- «умнѣй тебя, нянь, нѣтъ!» — это ужъ какъ разнѣжится. Василисой-Премудрой назоветъ... Такая умненькая была, -- юла-огонь. И въ имназиі хорошо училась, листъ ей съ орлами дали. Пятнадцати годковъ кончила, --- хочу и хочу въ театры, въ наактрисы! Тутъ и пошла наша маега. Война пришла, а у насъ въ домѣ своя война. Вы тогда въ заграницѣ были, долго васъ оттолѣ не выпускали, прѣѣхали ужъ когда даря смѣстили... Мы тогда барина въ Крымъ повезли, а барыню ранѣ того свезли. А вотъ, я вамъ по порядку ужъ...

## Х.

Стала Катичка на театры учиться, и пошелъ у насъ дымъ коромысломъ. И барыня въ это дѣло пустилась. Пошли разныя къ намъ ходить, ватагами, наговариваютъ и наговориваютъ, бо-звать чего. А то еще въ стихи читали, да въ голось, чисто по упокойнику. И всѣхъ корми. А прожо-ры-ы..! Одинъ все себя въ грудь билъ, кричалъ все — «хочу помереть! дайте мнѣ яду сладкаго!» — а баринъ... надоѣли они ему, — насмѣхъ ему: «а хотите помереть, ступайте на войну лучше!» Ну, чистая волковалія! Баринъ все такъ, бывало:

— «Волковалія у насъ стала!» — шумъ его беспокоить сталь.

Да жадные всѣ, голодные... — со стола такъ и не уби-

ради, чисто трактиръ у насъ. Съ утра до ночи такъ и короводились, все наговаривали, чего на театрахъ вотъ представляютъ. А Катичка первая верховодка, такая-то блажная стала, умнаго слова не скажи. И еще съ простынями тащсвали, на-цыпочкахъ ходили, руками поводили, мода такя завелась... почестъ что голыя! И барыня туда же, съ простынями. Ну, страмъ и страмъ. Да какіе все самсслелье, по комнатамъ швырять, чисто родня прѣхала. Такъ за ними все и ходила, куда пойдуть. Поддюжины столовыхъ ложекъ серебряныхъ у насъ пропало, такъ и не доскались. Да колечко еще у Катички съ умывальника смылось, — всякаго народу было. Съ гитарой одинъ ходилъ, чистый домовикъ, все выпимши, глуыя пѣсни пѣлъ, да про альхерея... все привѣвалъ — «горчишникъ я ширлатанъ!» — а тѣ погочуть. Въ ванной я его и захватила, гелосу мсчилъ... колечко-то и примочилъ. А какъ скажешь, — друзья-пріатели! Ни время, ни порядку, — постоянный и постоянный дворъ. И кого-кого только не было... И цыганы ходили, и эти вотъ... пестрыя кофты, разные рукава, самыс-то оторвы. Съ ножомъ одинъ ходилъ, въ башлыкѣ, зубами на меня щелкалъ, — баушка ему стала! Ну, мамай и мамай пошелъ. Да что... подушки со всего дома на ковры навалить, шалями пестрыми накроютъ, и ломаются. Разуются всѣ, и молодчики, и дѣвчонки... на головахъ дутые винограды съ елки, и розаны, на образа-то вотъ продаютъ... всѣ въ простыняхъ, плечи голыя, ноги голыя, страмота... и вино изъ кувшиновъ пьютъ, и все-то наговариваютъ, и все-то кричать — «мы боги! мы боги!» — сушая правда, барыня. Ужъ на головахъ пошли. Ужъ это всегда передъ бѣдой такъ, чумѣтъ начинаютъ... — большевики вотъ и объявились. Да я понимаю, барыня... не съ пляски они, большевики... а — къ тому и шло, душа-то ужъ разболталась, ни туда, ни сюда... а такъ, по вѣтру. Ужъ къ тому и шло. А дуракъ тотъ, съ гитарой, такъ обнаглѣ-эль... закрылъ Катичку простыней и сбнялъ, совсѣмъ охальникъ. Баринъ какъ увидалъ,



— за руку его въ прихожую вывелъ да въ ше-ю... и гитара его по лѣстницѣ зазвонила. Скажу барынѣ — кабакъ у насъ, чему Катичка учится? А она все свое:

— «Не лѣзь не въ свое дѣло, глупая... не лонимаешь ты, это иску-ста!..»

И только у всѣхъ и разговоры — искуста-искусна, искусна-искуста... — а толку никакого, одни только неприятности.

А жизнь пошла безгокойная, военная. Барина тоже на войну забрали... ну, изъ уваженія оставили, лазареты наблюдать. Барыня, словно, хлопотала, — изъ уваженія ей и сдѣлали, каждаго могла заговорить. И мундиръ ему выдали, и саблю. Онъ сейчасъ пациенковъ порастресь, — хорошій у насъ на деорѣ лазаретъ открыли, на сорокъ человекъ. И барынѣ занятіе, раненыхъ солдатиковъ навѣщать. Правду сказать — старались. Какъ первую партію привезли... а у насъ актершики были, и читатели, въ стихи читали... «высыпали глядѣть. А солдатики грязные, повязки въ крови, залѣкши... молодчики наши папиросохъ имъ, бутенброты, нахваливаютъ... за нашу Россію стараетесь... очень собеслѣзновали. Еще одинъ, помню, все добивался — «а, страшно умирать, а?..» А солдатикъ, вѣжливый такой, — «страшно — нестрашно, — говорить, — а требуется!» — полонъ ротъ калачомъ набилъ, не проворотить. Баринъ, первое время, и дома не бывалъ, перекусить — и до ночи его не видимъ, на пріемъ только пріѣзжалъ, забота была большая. И денегъ намъ тутъ посыпалось!.. Докторовъ на войну забрали, — ну, барина, прямо, паразытъ. Другую горничную еще взяли, для гостей, да дѣвчонокъ еще наняли, у телефона записывать. Никогда столько пациенковъ не было. Да Катичкина еще орава, — ну, непротолченная труба всякаго народу стала. И откуда только бралось! Столько на войну забираютъ, а у насъ все молодчики, не убываютъ, а прибываютъ. И наговариваютъ, и начитываютъ, и скачутъ, и пляшутъ, и другъ съ дружкой въ обнимку жмутся и крутятъ

ся, страмота, — чисто всё посбѣсились. Театральщики, ужь извѣстно, какой народъ... все, будто, понарошку имъ, представляютъ и представляютъ. Правда, для раненыхъ старались-утѣшали, по лазаретамъ вѣдили представлять, а у насъ все и наговаривали. Катичка помостки велѣла въ залъ поставить, и рояль туда подняли, и картинки тамъ красили, представлять. Скажешь баринъ:

— «Никакихъ денегъ у васъ не хватитъ ораву такую кормить, — колбасы по пять фунтовъ на закуску, сыру, телятины что... бѣлыхъ хлѣбовъ десятка по три, сахару не напасешься, — тыщи на мѣсяць мало. Да диви бы на пользу шло!..»

А она, высуня языкъ, только отмахивается:

— «Война, всѣмъ надо помогать... надоѣла, не твое дѣло!»

Не мое-то не мое, а... Ну, мнѣ ужь подѣ двѣ тыщи задолжали, про себя не говорю, а лавошнику Головкову сколько должны, а онъ деликатный, только пошутить мнѣ:

— «Попомните доктору, Дарья Степановна... мы тоже и сахарокъ, и колбаску, и все прочее-иное и другое покупаемъ-ся, а не отъ Ильи-пророка по знакомству получаемъ-ся!»

Дадутъ ему сотню-другую — опять давай. Даваль. Прозналь, что баринъ на войну можетъ посылать, а у него сынка забрали, въ вошпиталѣ лежалъ, будто у него глазъ не глядитъ, — ну, и старался барину услужить. А баринъ строгсй былъ, никому поблажки отъ него не было, по закону очень. Ну, и забралъ сынка. Да еще сердчалъ на Головкова, что за царя приверженный. И вотъ какой богомольный, Головковъ-то... хироносець былъ! А такой, хирурги за крестнымъ ходомъ всегда носилъ, почтенный очень, собственный домъ. Онъ за царя стоялъ, а баринъ и слышать не хотѣлъ — долой и долой. Они съ барыней секретъ знали — только царя долой, все новое пойдеть, хорошее, имъ извѣстно. Ну, не внялъ, послалъ

на войну сына. А Головковъ въ полицію донесъ: у доктора какіе мсладцы пляшутъ, а на войну ихъ не посылаютъ. Это съ досады онъ. Дознавали, какъ же: по закону гуляютъ, отъ войны, — все калѣки, по бѣлому билету. Онъ тогда на насъ къ мировому подалъ, за долги. Это когда и судовъ ужъ сурьезныхъ не было, и баринъ заболѣли... намъ въ Крымъ бумага приходила, приносилъ съ красной лентой какой-то, не гордовой, а другой... говорилъ барину—теперь можете не платить, когда еще васъ разыщутъ, а теперь все похѣрено. А сколько-то много Головковъ на насъ насчиталъ. Такъ насъ и не достали, и платить ужъ намъ нечѣмъ стало, сами жили изъ милости у доктора одного. А у Головкова супруга Авдотья Васильевна, желанная такая... вотъ гдѣ это Дунай-рѣка-то... Ну, какъ угодно, не буду отбиваться. А ужъ такое дѣло вышло, ужъ такъ я горевала... Ну, какъ угодно, а то и вправду, залутаюсъ.

## ХІ.

Да-вотъ, представлять они стали... Катичка тутъ всѣхъ и покорила, такъ за ней и ходили табунами. Помните ее, барыня, — не такая она ужъ и красавица чтобы писаная, да еще и въ себя не вошла, какъ слѣдуетъ... что ей шешнадцатый только годокъ шель... и росточку была еще не полнаго, и тѣломъ еще не обошлась, цвѣточекъ еще, бутончикъ. Теперь бы и не узнали ее, какая авантажная стала, самостоятельная, и манеры теперь у ней, даромъ что тонкая-растонкая, а... на всѣхъ производить! Въ Америкѣ она голодомъ себя морила и на палкахъ крутилась, чтобы потощать... такъ ужъ тамъ полагается, а то и денегъ платить не стануть. А и тогда складненькая была, акуратенькая такая, куколка и куколка. А глазки у ней и мамашины, и папашины, черные, огромные, живые такіе... Баринъ все ее такъ — «ахъ, черные миндали, зажигають

издали!» — пѣлъ все. Бариновъ у ней взглядъ былъ, смѣлый. У царицъ вотъ такіе глаза бываютъ, гордые. А волосы темные, густые, папенькины, — «каштанчики мои», — все, бывало, такъ звалъ. А личикомъ бѣленькая-разбѣленькая, сквозная вся. Ужъ баринъ ее нахваливалъ, души не чаялъ, — «фарфорочка моя, варкизочка ты моя!» — все такъ. А можетъ и маркизочка... забыла ужъ. И что такое?.. ну, каждого мужчину приворожить! Все-то въ нее влюблялись. И чѣмъ только завлекала, я ужъ и не знаю. Еще совѣтъ дѣвочкой была, а знала, что глазки у ней красивые. И тогда ужъ глазками поводила-красовалась. А папенка ей все-то набивалъ: «охъ, глаза.. будешь ты пѣгубительница сердешная!» Ну, она и пріучилась заводить. Такъ вотъ головкой чуть повернетъ, глазками поведетъ... — откуда набралась! А то пройдетя, такъ вся и изгибается, очень гарціозная. Прибѣжитъ ко мнѣ, вытаращится, —

— «Правда, нянюкъ, особые у меня глаза, а?»

Посмѣюсь-скажу:

— «У кого какіе, а у тебя такіе».

А захвалили. Все-то ей про глаза ее, что вотъ какіе... Да не умѣю сказать-то, какъ говорили... нѣтъ, не выразительные, а... истомные, что ли?.. По нашему сказать — съ поволокою глаза, будто вотъ черезъ что глядятъ, чисто вотъ обмираетъ, какъ тѣнь на нихъ. Одинъ къ намъ ходилъ, актерщикъ... вотъ не любила бѣса!.. — тогда еще все внушалъ — «у васъ глаза же-нщины!» Развалится на креслахъ, ножичкомъ ногти точить, и все такъ, непристойно, — «женщи-на вы, малютка!» А наши, умные, слушаютъ. Поведетъ такъ, закатить, — будто она спросонковъ. И выучилась передъ зеркаломъ вертѣться. Особо плохого тутъ нѣтъ, пскрасветься-то... а ктому говорю, что ужъ очень собой-то занималась. И мамашенька ей примѣръ давала. На что ужъ со мной, и то — уставится на меня, какъ на пустое мѣсто, словно вотъ черезъ тѣнь глядится.

— «Ну, чего пялишься-то какъ нескладно, — скажу, — чисто ты пьяная!»

И все-то въ голсвку набивали: «мы тебя за заморскаго прынца выдадимъ!» И нагадали: повидали мы ихъ, заморскихъ. И стали въ нее, барыня, влюбляться. Конфетами завалили, вотъ-какія коробки!.. и шелковыя, и плюшевыя, и цвѣты шлютъ, и корзинами, и такъ, некуда ставить, садъ у насъ, прямо, сталъ. Богачи стали наѣзжать, на своихъ лошадяхъ, на автомобиляхъ, на высокихъ колесахъ — бѣговой богачъ былъ... приличный народъ, солидный. И шушеры много было, а и дилехтора бывали, и генералы... — медь-то какъ заведся, такъ вокругъ и закружились. И смѣхъ, и грѣхъ. Повадился старичокъ къ намъ, осенній докторъ, начальникъ бариновъ, только съ генералъ. Сталъ все цвѣты возить. Лѣтъ, пожалуй, за шестьдесятъ было, сухенькій только былъ и шустрый, и бородку брилъ, а подъ глазами-то наплыло, не покрасишь... видно, что битая посуда. И ротъ у него кривой былъ, раздерганный. А живой, ножкой объ ножку терся. И холостой. Та его и закружила, насмѣхъ. И печенье ему выбереть, скажетъ — «вотъ, любимое мое!» А онъ ей тоже — «теперь и мое любимое!» И цвѣточекъ въ петьельку ему, и душками попрыскаетъ, илиотропомъ, любимыми... Онъ возьми и посватайся, одурѣлъ! Такъ всѣ и обомлѣли, — начальникъ бариновъ. А она и глазомъ не моргнула: «дайте, подумаю... я, вѣдь, совсѣмъ ребенокъ!» Такъ онъ и засіялъ! И сгубила стараго челоуѣка: посылалъ-посылалъ цвѣты, да и простудился, померъ, — у училища все дежурилъ, гдѣ театрамъ-то обучали. И еще князь ее провожалъ, тоже немолодой, а со шпорами ходилъ, высокій пспечитель былъ... изъ училища ее привозилъ и письма ей все писалъ, по-французски. И она ему писала, для прахтики. Писемъ у ней бы-ло... полна штукатулка. А духсъв бы-ло... какъ въ магазинѣ, обливаться можно. Какъ въ ванную лѣзть, цѣльную бутылку вольеть, кожу шипеть... голова кружится, не войдешь. Баринъ,

бывало, — «дай-ка, Катюнъ, даровъ душистыхъ, а то всё вышди!» Меня душила... Приду къ себѣ спать ложиться, — не продохнешь, всё подушки позалиты. Въ церкву придешь, духъ такой отъ меня, — людей стыдно, — платье мнѣ обливала.

Ну, всё влюблялись. А молодые — такъ, высуня языкъ, и ходили, какъ опоенные. Чего жъ одинъ изгораздился для нее... Велѣла она ему изъ зоологическаго сада живую лисицу ей принести. Онъ за сурьезъ принялъ да и попались: ночью клѣтку лисицыну продралъ и потащилъ лисицу, — она ему все лицо ободрала. На мѣсяцъ въ «Титы» попалъ, а про Катичку не сказалъ. Она ему цвѣтовъ послала для утѣшенія. Такъ ужъ всё баловали — она и изсвоевольничалась, все-то ей нипочемъ, воображать стала изъ себя. А барыня не нарадуется. Меня ужъ и въ грошъ не ставила, только и слышишь: «заткнись, старая улитка!» — истинный Богъ. Спать ложиться, — ну, вертѣться передъ трюмой да охорашиваться, даже и рубашенку снять. Оправляю постельку ей... — шелковая, царская постелька у ней была, бѣлая вся, ангельская постелька, — смотрю-смотрю на нее, ну такъ непріятно станеть. Она ужъ и такъ, и такъ, и головкѣй, и плечиками, и... Да еще меня допытываетъ:

— «А что, нянь...» — это когда въ духѣ, ласково всегда — нянь, звала, а то все — ня-нька! а то еще выдумала — ня-нища! — «А что, нянь... красавица я, а? лучше меня нѣтъ?»

. Насмѣхъ и скажу — попова дочь лучше. Шутки-шутки, а такъ гогибель и начинается. Оглаживать себя приметя, по бочкамъ, и такъ, и сякъ извертываться, — издивившся, откудова набралась повадкамъ! Плюну-скажу:

— «Страмница ты, безстыдница... ну, пристало ли дѣвушкѣ такъ себя красовать! на рынокъ, что ли, себя готовишь? Дѣвушка скромностью красуется, а ты какъ солдать расхлѣстанный».

И ласкова бывала со мной, такъ и обовѣется, и въ глаза зацѣдуешь, и на лицо мнѣ дуетъ... ну, такая умильная. Она меня и теперь любить, всё мои мысли знаетъ. Только, вснятно, стѣсняла я ее. Она мнѣ тутъ шляпку носить велѣла, а мнѣ стыдъ, будто я пугала какая, голова неприбычная, не я и не я... И вотъ тальма со 'стеклярускомъ у меня, Авдотья Евсильевна подарила, износу нѣтъ, --- такъ ей сѣа не гидравилась: страмлю я ее, допотопная я, старинный духъ. Нѣтъ, любить она меня, горой за меня. Съ итальянцемъ схватилась разъ, расскажу-то...

Прибѣжить въ темненькую ко мнѣ, какъ мнѣ спать ложится, за шею обниметь, и ну цѣловать. Заерзаешь-заерзаешь у меня, прижмется комочкомъ... —

— «Скажи, нянь... буду я счастлива, буду я любима, буду я богата?..»

И глазки заведетъ въ потолокъ, будто чего тамъ видить. Я и скажу:

— «Ахъ, Катюньчикъ... и любима будешь, и богата... а вотъ счастлива ли будешь — это ужъ какъ Богъ дастъ».

Затискается-заерзаешь, словно ей невтерпежъ:

— «Ахъ!..» — вздохнетъ. А я и пошучу-поразвлеку:

— «Не вздыхай глубоко, не отдадимъ далеко, а хоть за курицу, да на свою улицу!»

Она такъ вся и возсіяетъ!

— «Да какъ ты хорошо-складно! да скажи еще... да какая ты мудрая... Василиса ты Премудрая!» — И затуманится вся, зажмурится... — «Ахъ, хочу быть счастливой, хочу-хочу, нянюкъ... большого-большого счастья хочу!..»

А выпало-то вонъ что. Счастье... да какое же это счастье, барыня... что крутимся-то такъ, партреты се печатаютъ? Душеньку вѣдь ее я знаю, спокою у ней нѣтъ ... и себя, и другихъ измучила. А ужъ про себя-то сказать... — не глядѣла бы ни на что. Къ чужому-то свое не прирастаетъ. На солнышко гляжу, — и солнышко-то не наше словно, и погода не наша, и... Ворона намедни, гляжу,

на суку сидить, каркаетъ... — совсѣмъ, будто, наша ворона, тульская!. Поглядѣла, — не та ворона, не наша... у насъ въ платочкѣ.

Ну, хорошо. И будоражная тогда у насъ жизнь пошла, хвостъ и хвостъ. Война такая, некрутовъ гонять, раненыхъ везуть и везуть, конца не видно, и по улицамъ на костыляхъ все, да партіями, у всѣхъ горе кругомъ такое... того забрала, того покалѣчило, того убили... у Авдотьи Васильевны брата убили, и крестника моего ранило, рука повисла, — рыбкой который торговалъ... А у насъ чисто балаганъ-пирь: гости и гости, безъ исходу, и музыка у насъ каждый вечеръ, и представлять подучаются, и... — такъ съ утра до ночи и кружили. Изъ нашего лазарета солдатиковъ поглядѣть пускали, а то и угостимъ. Меня то они шибко уважали, доврѣялись... Ну, и скажутъ, бывало:

— «Кому горе, кому смѣхъ. Господа все войну затѣяли, для удовольствія... ишь, какіе все жеребцы-то у васъ жируютъ, а воевать не идутъ».

Это какъ къ концу стало, а то все были деликатные. Мы имъ и вина для здоровья подносили, баринъ намъ доставалъ... и пироги имъ пекли на праздники, — такъ-то двольны были!.

И отыскала барыня въ лазаретѣ гдѣ-то полковника... тамъ-то-то сгдз-красна, въ крестахъ несъ, — ходила она за ними. У ней и косыночка была — милосердая сестрица. Сталъ съ къ намъ бывать, по виску черная обвязочка. Такъ объ немъ барыня пеклась, такое ему уваженіе у насъ было... — онъ и влюбись въ Катичку. А у него трясеніе мозговъ было, съ пушекъ. — онъ и помѣшался отъ любви. Придетъ и сидить. И Катичка, примѣчала я, задумывается стала. Ужъ всѣ разьѣдутся, а онъ сидить и сидить, въ усы себѣ глядитъ. Да Катичкѣ вдругъ и скажетъ, чисто вотъ на образъ молится:

— «Голубой вы ангелъ! вы сошли съ неба!..» — и руки къ ней, вотъ такъ вотъ.



А она губки кусаетъ, такъ жалко ей. Мука была смотрѣть. А то разъ и заплакала, убѣжала. А онъ и перекрестился вслѣдъ ей! Несвареніе мозговъ ужъ у него стало. Ну, намекать мы ему — лучше бы не ходить. И барыня все разстресена, и Катичка какая-то такая, ждетъ все, когда придетъ... а сидѣть мука съ нимъ, съ полоумнымъ, и жалко-то его... Онъ и не сталъ ходить, понялъ словно. Три дни не былъ, намъ изъ вошпитала звонять: гдѣ полковникъ, почему не явается. Поѣхала барыня, а тамъ и говорятъ: поглядите вонъ, обмерзлаго сейчасъ нашли за заставой, въ снѣгу сидѣлъ. Ногу ему и отпилили. Такъ мы его жалѣли, плакала даже Катичка. Да, забыла я... сказалъ-то чего онъ разъ:

— «Голубой ангелъ! зачѣмъ вы сошли къ намъ съ небя?.. Кро-ви сколько!..» — и за голову схватился.

Не разъ Катичка про это поминала, какъ всего ужъ мы псевдели, всмучились, и сколько всякихъ смертей видали, горя человѣческаго... Вотъ вамъ, и помѣшался, а правду чувствовалъ, прознавалъ.

И вотъ тутъ у насъ и случилось...

## XII.

Былъ у насъ вечеръ, для солдатиковъ изъ нашего лазарета представляли. И чего жъ Катичка со своими короводчиками надумала... Иванъ-Крестителя въ колодецъ представляли! Его, будто, въ темницу Иродъ-царь посадилъ, въ колодець, а Катичка царицу-поганку представляла, какъ она царя завлекала, чуть что не голая плясала, все у Ирода добивалась: струби ему голову, за любовь! Страшно, барыня, глядѣть было, — надъ святымъ, прямо, издѣвались, да еще и годъ музыку. И кляквы надавили, похоже чтобы на кровь было, какъ ей святую главу на серебряномъ блюдѣ подали. Мы съ Аксюшей, и еще набралось со двора народу, глядимъ изъ прихожей, --- да

чего жъ это такой дѣлають-то, а?!.. да какъ же такъ попускають!.. Пришелъ черный, огромный, съ косаремъ, по самое пузо голый, и несетъ ей голову на блюде, изъ глины они слѣпили, и кровь, будто, съ блюда капаетъ, прямо Катичкѣ на кисейку, и голую ее ногу видно. Стала она на голову глядѣть, хохотать... — стукъ!.. — позади меня объ полъ что-то. Я такъ и вздрогнула. А это иконка изъ угла упала, въ прихожей которая висѣла, отъ жильцовъ осталась. Надвое и раскололась! Не сказала я своимъ, что ихъ разстраивать, знаю — къ худу. И Аксюша тоже — «ой, нехорошо какъ, къ упокойнику!» Связала потомъ иконку, повѣсила. Лица на ней ужъ не видно было, старенькая, а словно Никола-Угодникъ-батюшка, по облику. И со двора которые были, стали уходить, — «ишь, говорятъ, какъ нехорошо!»

Кончили они представлять, барыня и спрашиваетъ, пондравилась ли. А они всегда деликатные съ господами, говорятъ — «благодаримъ покорно, хорошо представляли, ничего». А пошли къ себѣ, мнѣ солдатикъ и говорить, совсѣмъ молодой мальчишка... А онъ отъ божественнаго начитанъ былъ, хорошаго семейства... вотъ онъ и говорить, баушкой меня звалъ:

— «Зачѣмъ, баушка, господа такое показываютъ, это грѣхъ... про святого человѣка, Господа крестилъ, а она отъ него словно нехорошаго добивалась, соблазняла! Иванъ-Креститель это, и такъ нехорошо, и во-еть!..»

Мальчишка, а понялъ, что нехорошо. И постарше еще пеняли:

— «Чего бы повеселѣй показали, а то какъ голову святому отрубили! Этого мы на войнѣ вдосталь наглядѣлись».

Такъ мнѣ съ того вечера скушно стало, думалось все — такъ это не пройдетъ. А на другой день Васенька Катичкѣ предложеніе и сдѣлалъ.

## XIII.

Онъ въ ту зиму часто къ намъ наѣзжалъ, на рысакѣ, на саночкахъ. И баринъ къ нему очень располагался, и Катичка тоже ничего. Возьметъ ее и повезетъ кататься. У нихъ на Тверской домъ больше милліона стоилъ, и сколько имѣнцевъ было, и еще уголь они копали... угольные земли были. Одинъ сынъ у отца. Такой-то молодчикъ, черноусельскій, бобровая шинелька. А вѣ-жливыи... цѣльный мѣъ кусокъ шелковой матеріи привезъ, серебристая-муваровая, да плотная такая, износу нѣтъ. Я ее въ Крыму на мучку вымѣняла... не привелъ Господь поносить. На именины мѣъ подарилъ, такой уважительный. Ну, прямо, какъ королевичъ, лучше всѣхъ. Баринъ все Катичкѣ шутилъ: «угольная ты у насъ принцеса будешь!» Ей семнадцатый пошелъ, а ему полнолѣтіе выходило, только на войну его не требовали покуда. На анженера онъ учился, на иликтрическаго. И Катичкѣ, словно, больше другихъ онъ нравился. Да набалована, про себя счесть не смѣвала, естъ и взяла манеру его дражить. Скажетъ — заѣзжайте безпремѣнно, буду васъ ждать, — и честь укажетъ. Заѣдетъ, а ее нѣтъ. Прибѣжить, много ужъ спустя, и давай отпираться: «да вы всегда напутаете, да я не общалась, я вамъ въ пятницу общалась...» А у ней семь пятницъ на недѣлѣ. А то — «артисты меня провожали, совсѣмъ забыла!» А онъ у насъ ужъ за жениха считался, только отъ него разговору не было.

На масляной, — другой, никакъ, годъ войны былъ, — приѣзжаетъ вдругъ къ намъ его папаша, а раньше никогда не бывалъ... ослидный такой, въ бобровой шапкѣ, большая борода, съ просѣдью, — князь и князь. А раньше сказала барину по телефону. Баринъ его въ прихожей встрѣтилъ и въ кабинетъ увелъ. Поговорили, — уѣхалъ. Вечеромъ баринъ и спрашиваетъ Катичку:

— «Вотъ какое дѣло, рѣшай судьбу. Я поблагодарилъ за честь...»

— «Какая-токая честь?.. Это для нихъ честь!..»

Сказала ей, глупой, такъ всегда полагается, благодарить. Да какъ же не честь-то! Семейство хорошее, милёнщики, тайный онъ генералъ былъ, вотъ онъ какой былъ... вотъ-вотъ, совѣтчикъ. А у ней тѣло-душа, больше ни шиша, дюжины рубашекъ не наберется, мамашенька все не удосужилась принасти. И такъ всѣмъ понравилось, какъ Васенька благородно, черезъ напашу, а не то чтобы... взялъ подъ-ручку — и волоки къ вѣнцу.

— «Ну, какъ же ты думаешь? — говоритъ, — Василій Никандрычъ прѣдетъ завтра... Какъ ты думаешь?..»

Заюдила она, затеребилась, въ зеркало поглядѣлась... —

— «И чего это предки... — ишь, слово какое исхитрилась! — чего не въ свое дѣло путаются! Хорошо, прѣдетъ — поговоримъ».

Баринъ со смѣху, прямо, покатился, поцѣловалъ ее.

— «Откуда у тебя такія слова... артисточка ты моя!»

Пондравилось ему очень, какія слова умѣть.

— «Я, говоритъ, серьезно говорю... въ какое ты меня положеніе поставишь, какъ откажешь! Лучше по телефону предупредить, какъ-нибудь...»

— «Я, говоритъ, не думаю отказывать».

Такъ мы обрадовались, барыня расплакалась, что вотъ ужъ и выдастъ. И Катичка, губки подобрала, уставилась глазками въ пустое мѣсто, умѣетъ она такъ. Извѣстно, судьба подходитъ — каждая дѣвушка себя жалѣетъ. Заплакала я, пошла къ себѣ, три поклона положила, даль бы ей Господь счастья... радость-то, вѣдь, какая! А мамаша у Васеньки померла, вдвоемъ они жили. На что ужъ лучше, — сама себѣ хозяйка, и къ свекрови не при-выкать... ну, кладъ дается. Баринъ мундиръ надѣлъ, саблю прицѣпилъ, поѣхалъ съ визитомъ къ нимъ.

## XIV.

Говорять вотъ, барыня, — богатство-богатство... и на погибель оно, и къ лѣни пріучаетъ... — по человѣку глядя! Всего я повидала. Графа видала, несмѣтный богачъ былъ, а мнѣ полсапожки чинилъ въ Костантинополѣ. А генераль посуду со мной мылъ, въ «Золотой Клеткѣ» мы съ Катичкой служили. И Васенька, кѣмъ-кѣмъ только не былъ... а какъ поднялся опять, всѣ въ Америкѣ уважають. А простой-то какой, душевный... — вотъ и изъ богатства вышелъ. Все, вѣдь, по человѣку. Свиныю и золотомъ окуй — все свиныя. Я къ тому, что вотъ говорите — нищѣ да нищѣ стали. Это не страшно, барыня, нищимъ стать... страшно себя потерять. Графъ Комаровъ вотъ, какой неприступный былъ, на человѣка не глядѣлъ, раньше-то. А теперь онъ въ комнаткѣ живетъ и куколки красить... можетъ, и во святые попадетъ. Пришла къ нему Марѳа Петровна, бѣльцо ему починить, а у него только и есть, что на немъ, — бѣднымъ шораздавалъ. Принесла она ему пятокъ апельсиновъ. Онъ на нее даже перекрестился, совсѣмъ ужъ блаженный сталъ. И говорить — «садись, сестрица, чайку попьемъ... мы всѣ теперь братцы и сестрицы, насъ Богъ сравнивалъ... чума насъ излечила, душу свою найдемъ, и наша Россія-матушка душу свою найдетъ». Плакала на него Марѳа Петровна, такъ растрогала.

Ну вотъ, завтра Васенька пріѣзжаетъ, а я, любопытная я... за дверью послушать стала, а наши уѣхали, не мѣшать. Онъ и говоритъ:

— «Что вы, Катерина Костинтиновна, скажете... я прошу у васъ руки?..»

А то Катичкой даже звалъ, а она его и Васьюкой величала, — раньше, правда, это бывало. До слезъ ее доведеть, дражнится, — дочего дружны были. А не идравилось ей, что Катеригой ее назвали. И барынѣ все хотѣ-

лось... Му-за, назвать. Баринъ ее засмѣялъ, все такъ — «Муза-пуза!» Ради тетки Катериной называли. А я пѣсенку все ей пѣла, — баушка та, у кого я въ деревнѣ жила, пѣвала:

Катерина на перинѣ,  
Передъ ней стоить дѣтина,  
Просить Катеньку учливо,  
Ты скажи-скажи, Катюша,  
Скажи, любишь али нѣтъ?

Васенька ее и дражилъ — Катерина-наперина! А тутъ сурьезный такой, узнать нельзя. И она тоже въ сурьезъ вошла:

— «Ничего не могу сказать, подумаю».

Онъ такъ и обомлѣлъ, шатнулся. И я... — ахъ, ты, думаю, ломака-ломака... да что жъ ты дѣлаешь-то! Онъ ей опять:

— «Могу я надѣяться?..»

— «Можете, говорить, надѣяться».

Помялся-помялся... она молчить. Потомъ ужъ я догадалась: это она къ совѣтчику бѣгала... — а вотъ, доскажу. Ну, уѣхалъ. Стали ей говорить, а она —

— «Я ему не отказывала, а хочу подумать».

Хвазнить ее стали, за характеръ. Вѣдилъ Васенька, ждалъ, когда надумаетъ. На рожденье подарокъ ей привезъ, царскій, брилліантовый кулонъ, за пять тыщъ. Баринъ ему еще попенялъ, какъ такіе подарки дорогіе. Извинился онъ, а кулонъ у Катички остался. И пошла эта канитель.

Она все съ актершиками, съ подружками, а они вольные, никто ни во что... ну, ей и набили въ голову: такая мелодая, да что, дескать, связывать себя... не будете теперь на театрахъ представлять. — турусы на колесахъ, изъ зависти. Потомъ сама мнѣ сказывала. А первый заводчикъ — такой непріятный человекъ, актершикъ тоже... вотъ не любила я его!.. Лицо у него обсосаное было,

сѣрое, чисто бѣсъ. И прыщавый весь... все за Катичкѣй увивался, а самъ женатый. А знаменитый, будто... барышни все его партреты покупали, а плюнуть не на что. И у Катички вадъ постелькой харя его висѣла, а рядомъ картинка-Еггородина, только заграничная, не наша, Мадонна называется. Чего-чего у ней не висѣло!.. Люди какіе-то ненастоящіе, синіе всѣ, головы скошены... не поймешь — метлы не метлы, и снѣгъ синій, нарошно все. Ну, песья морда, а всѣ влюблялись будто. А Катичка такъ передь нимъ и трепетала... — чѣмъ ужъ заколдовать такъ могъ! Вотъ черезъ того бѣса все и пошло.

Ну, ѣздилъ Васенька. А характеръ у него благородный, покорливый, даромъ что богачи такіе. Приѣдетъ — посидить, а сна по Москвѣ шлѣндаеть, время не знаетъ. На Пасхѣ снѣ ей и говоритъ:

— «Отвѣйте мнѣ вокончательно, я долженъ рѣшить важное дѣло».

Она ему три дни сроку дала. Ну, приѣхалъ, она ему вынесла кулонъ... —

— «Я, говоритъ, рано замужъ не хочу... мнѣ надо учиться на театры.»

И давай свое: искусства-искусна... — ну, чисто у нихъ молитва это. И актерщикъ тотъ, выгоняли котораго, въ Америкѣ... тоже ей все — искусства, искусства!.. Да онъ-то хитрый, своего не упустить, а она разиня, жизнь-то ее и обобрала. Хорошо... Онъ ей — полная воля вамъ, учитесь, — все уговаривалъ. Одни мы въ квартирѣ были. Я въ столовѣй солдатикамъ варежки вязала, а они въ рукодѣльномъ салончикѣ. Слышу — стукнулось объ полъ чтой-то... гляжу въ щелку, а онъ на колѣняхъ передь ней! А она, сидитъ на креслахъ, чисто царица грозная, въ глазастую шаль закуталась, какъ кукла спеленута, — хоть бы что! Видно мнѣ ее въ зеркалѣ, какъ она пустыми глазами смотреть. А бѣ-злая сидитъ, губки поджала... а онъ на нее, какъ на икону, молится. Такое меня зло взяло... —будто это она театры представляетъ. Все, бывало, съ

бумажкѣй испредъ зеркаломъ вертится, нагсваривается бо-знать чего, языкъ выламывается. Да еще меня спросить: «что, хорошо я представляю?» Скажу — ничего не хорошо, еся ужъ испредставлялася, на себя непохожа стала, бормста една. Она и рада: вотъ выламываться начнетъ, наскрзъ есь зеркала проглядѣла. А то руку вытянуть, —

— «Смотри, какъ изъ слоновой кости рука у меня!»

— «Ну, и что хорошаго, — скажу, — у челоуѣка кость бося, а у тебя ужъ слововая стала».

Душить меня примется, хохотать. А лотому и вышучивала ее, въ умъ чтобы привести.

Въ зеркало все мнѣ видно, какъ она на себя глядится. Онъ ее молить, — скажите мнѣ послѣднее слово... — а она ему ераспѣтъ такъ, зѣваетъ словно:

— «Да я ещѣ не знаю... да хочу себя увѣрить, люблю или не люблю-у...»

Тутъ ужъ онъ осерчалъ. Всталъ и говоритъ, твердо такъ:

— «А долго это будетъ, когда вы себя увѣрите?»

— «А это какъ зависить... можетъ, и годъ... а можетъ — и пять..!»

Чуть я не крикнула -- ахъ, ты, ломака-ломака! Съ педенокъ, вѣдь, ее знаю, шлепала недавно... хорошей челоуѣкъ страдаетъ, а она — въ зеркало!.. Онъ походилъ, пальцами потрещалъ... А она головку такъ, и пальчиками перебираетъ, а сама глазкомъ на него выглядываетъ. Вотъ онъ и говоритъ:

— «Прощайте, и будьте счастливы».

И пошелъ. А она вдогонъ:

— «Погодите, не уходите...»

Онъ сразу обернулся, а она на столликъ показывается:

— «Вы забыли... возьмите вашъ кулонъ».

Такъ онъ и озирнулся! Сунулъ въ карманъ, какъ спички, и пошелъ, ни слова не говоря. Я ему пальто подала. А картузикъ онъ забылъ, — на лѣстницѣ окликнула, отдала. Только ушелъ — Катичка ко мнѣ:



— «Что, ничего не сказалъ?..»

— «Ничего, плюнула только!» — и сама плюнула. — «Швырайся, матушка, прошвыряешься».

— «Ахъ, надоѣла ты мнѣ, скрипучая улитка!» — мнѣ-то.

Навязалось на языкъ — улитка и улитка. Плакала отъ обиды: вотъ ужъ и улитка стала, какъ червь какой. Ходила за ней, ночей не спала, пеленокъ за ней что, за мокрохвостой, перестирала... — и теперь я улитка! Да знаю, барыня, не со зла она, а съ озорства, сердечко у ней доброе... а сбидю. Да что, къ тому и шло... а вотъ, что людей людьми перестали считать.

Васъ не было, какъ царя смѣстили, а мы всего повидали... какъ старичка мальчишки съ ружьями на грузовикѣ стоякомъ везли, за руки держали, да по шеѣ его, по шеѣ... Безъ шапки онъ, лысенькій, прикрыться нечѣмъ, а они его держать за руки, и по шеѣ, по шеѣ... Никто и не заступился, — онъ, гсворять, генераль! Что жъ онъ, не человекъкъ? Поди-ка, дослужись до генерала, — не золотарь. Крикнула — «старого человекъ, живодеры..!» — чуть меня бабы не разорвали. А старичокъ раньше генераль былъ, а потомъ домикъ рядомъ купилъ деревянный, съ садикомъ, и курамай на покоѣ занимался. Какъ царя смѣщали, хавось-то пошелъ, бабы у булочной шумѣть стали, хлѣба мало выдаютъ, нѣмицамъ, молъ, передаютъ. Ну, онъ вышелъ къ воротамъ, сталъ резонить, дурами и назвалъ. Его бунтари схватили — и давай! Выпустили послѣ, а никто и въ протоколъ не писалъ, били-то его... полицію ужъ разогнали. Ходила его утѣшать, — яички мы у него свѣженькія брали для Катички, — онъ мнѣ и жалится:

— «Два сына воюютъ, а отца тутъ бьютъ...» — и заплакалъ въ яички. — «Теперь намъ-старикамъ помирать надо».

Скоро и померъ, въ голову ему кинулось. И лучше, гсмеръ-то... дальше ужъ не видалъ, самаго свѣта-представленія.

## XV.

Ну — улитка и улитка. А то -- «выметайся-выметайся», -- чисто я пыль какая. Да любить она меня, а ктому гсворю, чему ее научили, какъ съ человѣкомъ обходить-ся. Не понимаютъ, барыня... сушую правду говорю. Вотъ, барыня гсрсила-то: «для сѣдлага сссловія хлопочемъ!» -- а вонь-какъ схлопотали, себя не сыщешь. Умные, будто, хлогстали, а... съ него спросишь-то! Они изъ книжекъ все, жизни нашей не понимаютъ, а книжки плохой, можетъ, человекъ писалъ. А, вѣдь, я имъ вѣрила, господамъ. Изъ заграницы прїѣдутъ — вотъ нахваливаютъ: чистый рай тамъ, никого не обижаютъ, всё другъ-дружкѣ вы-каютъ... и жалованье всѣмъ какое, и умные всё, и благосредбѣе... у насъ съ такъ! Раздумаешься, — несчастные мы какіе, а тамъ и бѣдныхъ нѣтъ, насъ-то зачто обошелъ Господь!

Повидала теперь... въ Крыму еще повидала заграничныхъ. Все понятея повидали съ Катичкой. Ни въ жисть бы не псѣрила, расскажу вотъ. Барыня померла, не повидала, какъ меня, старуху, за воротъ... да шеголи-то какіе, на ссрсева какъ насъ вывезли изъ Крыма. Катичка такъ и ажнула, что они говорятъ про насъ.

Стали насъ выпускать... Это ужъ какъ мы сколько дѣнь у берега качались, на корабль насъ держали, отъ заразы, будто. А которые говорили — пускать насъ не хотятъ, большевикамъ сдать чтобы. Ну, рѣшили допустить... усусгстала насъ кто-то. А сколько-то тыщъ казаконъ нашихъ, лотсманъ ужъ это мы узнали, они къ большевикамъ стослали, га муку-мученьскую. Хлѣбца имъ пожалѣли... А насъ-то, барыня... дочиста, вѣдь, ограбили! Мы сколько безъ хлѣбушка сидѣли на корабль, а округъ насъ на лодкахъ ихніе торгаша, хлѣбнемъ машутъ, гыманиваютъ!.. «Давай ба-ра-слеть... кольцо давай, дипломать давай!» -- съ голоду все отдашь. До ниточки раз-

дѣли, у кого не было запаса. Повидали... Ну, стали выпускать. А всё мы калужёны, разорёны, большие, лица на насъ нѣтъ, немытые, семьи всё поразбились... у того дѣвочка померла, та мужа не найдетъ, у того мать-старушка кончается... — ну, самые мы несчастные. Да все тошнились, страшные мы разстрашные. Говорили намъ — въ рай сейчасъ попадемъ, такъ-то насъ обласкаютъ, все тутъ самые образованные. А я-то ужъ ихъ знала, всё пороги у насъ обили, въ Крыму, изъ Катички. А на берегу они и стоятъ, такіе молодчики, хлыстами по сапогу бьютъ. И при нихъ стража съ ружьями, — для почета, говорили. Катичка и слышитъ, понимаетъ ихній разговоръ... а они думаютъ — всё мы неучсны, какъ-нибудь арапы, не понимаемъ: «и чего къ намъ везутъ сбродъ этотъ... корми еще ихъ, измѣнниковъ!» Такъ Катичка и обомлѣла. А она огонь-порохъ, сердца не удержала, и крикну имъ... истинный вотъ Господь, она мнѣ потомъ сказала:

— «А вы утопите весь этотъ сбродъ, и не придется кормить! съ младенчика и начните, съ грудного вотъ!..» — на младенчика, правда, показала, — «а потомъ вотъ старушку эту...» — и за руку меня къ нему дернула, къ молодчику-то съ хлыстомъ. А тутъ мурластый одинъ, въ золотыхъ тесемкахъ, кулакомъ меня отпихнулъ, а другой за есротъ дернулъ, къ Катичкѣ я рвалась. Стала она кричать: — «Топите насъ всѣхъ!.. утопите, утопите!..»

Нанугалась я, ну-ка она упадетъ безъ памяти, бывало съ ней. Тѣ — отъ нее, картузы посяжали, бормочутъ что-то, а она пу-ще душить!

— «Или рано еще топить?... не всё карманы вывернули, голызы мало?!.. Лучше зарѣжьте, съѣшьте!..»

А потому... все, вѣдь, барыня, знать надо, въ Крыму что они раздѣлывали. Показали они намъ себя, какъ всякое добро на корабли волокли, за грошъ. Потомъ молодчики эти въ гости къ намъ приходили, такіе вѣжливые... ну, вотъ подите, лукавые какіе.

Ну, хрощо... улитка и улитка. Ушелъ Васенька, на-

кричала на меня — и давай по залу танцовать-напѣвать. А на сердцѣ кошки скребуть, по голосу ужь слышу. Ужь такъ я ее знаю, лучше себя. Попрыгала и ушла къ себѣ, притихла. Пдслушала за дверью, слышу — въ подушки икаетъ-плачетъ. Я такъ и знаю — примется меня звать. Съ дѣтства у ней ужь такъ: чуть что, и — ня-ань! Слышу — ну, какъ маленькая когда была: — «ня-ань... поди-и...»

Вошла, сѣла къ ней на постельку. Она однимъ глазкомъ выглянула, — глазки-то у ней сухіе.

— «Скажи, не застрѣлится онъ отъ меня?» — въ подушку, стыдно ужь ей меня.

— «Есть съ чего стрѣляться! — говорю, — завтра за него первая графиня выскочитъ, не тебѣ чета... мигнетъ только».

Ну, чисто я нагадала! А вотъ, послушайте. Поулыбалась она какъ-то такъ, завела глазами... —

— «Завтра же прибѣжить».

И просчиталась, больше и не пришелъ. А она всё околки проглядѣла, два дни никуда не отлучалась. Въ телефонъ зазвонятъ — такъ и бѣжить. А баринъ и прочиталъ въ вѣдмостяхъ, — на раненыхъ бриліантовый кулонъ пожертвовали, и пропечатано такъ — «отъ русской дѣвушки», а по фамиліи не сказано. Сразу и догадались. И есімъ повдравилось, благородно какъ поступилъ. И Катичкѣ гсндравилось. Поджала губки — и говорить:

— «Какъ это красиво... я его уважаю...»

Я еще ей сказала:

— «Не красиво, а доброе дѣло сдѣлалъ... а красивая лошадка сива. Нужно ему твое уваженіе, какъ же. И сиди безъ кулса, за тебя кто вноситъ. А это ужь онъ, выходитъ, будто похоронилъ тебя».

— «Какъ-такъ, похоронилъ?!»

— «А такъ. Послѣ покойниковъ все такъ, либо на церкву подаютъ, либо на поминъ души бѣднымъ раздаютъ. Вотъ съ кулснъ за тебя на солдатиковъ и подалъ».

А бѣсъ тотъ твой развѣ бы подалъ, — самъ бы и прогулялъ. Какой-такой... а на стѣнкѣ припиленъ, молишься на него».

Маленько поскучала. А баринъ очень хотѣли. Партія такая, и приданого не спрашивалъ, и человѣкъ хорошей... А у барина долговъ... сразу бы и покрылъ. Онъ ужъ и проговаривался, съ барыней когда. А Глафира Алексѣвна еще и похвалила: умѣешь, дескать, себя цѣнить. Королевича, что ли, ей,—цѣнить-то! Набили ей въ голову... А я, про себя сказать, чего ждала... Богатства ихняго мнѣ не надо. А такъ, думалось по-человѣчески... — вотъ, гнѣздо завьютъ, къ Катичкѣ перейду, за хозяйствомъ попришлю, дѣтки пойдутъ... Да и на безалаберь ихнюю смотрѣть ужъ надоѣло, и къ Катичкѣ я привыкла. Она все мнѣ, бывало, сулилась:

— «Вотъ, нянь, погоди, выйду я замужъ... я тебя успокою, не покину, въ богадѣльню не отдамъ...» — Это еще когда ей годковъ двѣнадцать было, вонъ когда, разсудительная была какая. — Я тебѣ сама глаза закрою, похороню тебя честь-честью, какъ Иванъ-Царевичъ сѣраго волка хоронилъ...»

Что ужъ теперь, честь-честью... Свалить куда-нибудь, и лежи съ чужими, никто и не придетъ. И земля тутъ, словно, какая-то ненастоящая, не наша. Ни вербочки не видать, ни березки... и цвѣточки не наши, и травка на нашу непохожа, и снѣжкомъ не укроетъ на зиму, а все грязь... и не готзеть, бугерочковъ-могилковъ не покажетъ.. Господи-Господи!.. придешь, бывало, на Фоминой, на Даниловское... съ Авдотьей Есильевной мы все хаживали, закусить съ собой брали яичекъ крашенныхъ, пирожковъ съ яичками, кваску бутылошнаго. Весь день проведемъ, бывало, на могилкахъ, родные у ней тамъ схоронены, маргариточекъ мы сажали съ ней. Чер-с-мухи, рябинки, бузина-а... и вербочки ужъ, зеленя-зеленя... и куриная слѣпота, и одуванчики желтыя, и крапивка молоденькая, къ заборчикамъ... на ши зеленяя наберемъ дорогой... Вес-

ной нахнетъ, и грачи кричатъ, гнѣзда все по березамъ... весело такъ, и помирать-то не страшно. И крестики родные, и лампадки гдѣ горятъ... тишь такая. А къ вечерку какъ пойдёмъ, у прудовъ заросли такія... Пасха ежели поздняя, ословушки по-ютъ! Ну, что жъ это такое только..! И вездѣ народъ, родное все, барышня... и на пьяненькихъ не обижаешься, веснѣ-то рады. А тутъ... что ужъ и говорить. Въ церкви вонъ читаютъ, придетъ день Страшнаго Суда, всѣ воскреснемъ... — и очутишься бо-знять съ кѣмъ, не въ своей стаѣ-то. Тамъ, барыня, неизвѣстно, какъ очутишься, а думается такъ, по-живому...

Да-а, сама тебѣ глазки закрою... Одна осталась. А въ богадѣльню, правда, итти мнѣ не желалось. Баринъ меня все въ богадѣльню обрекали, а тамъ тоже не сладко, въ какую попадешь, а иной и наплачешься... характерныя старушки тоже бываютъ, съ утра до ночи другъ-другу поѣдомъ-ѣдятъ, сказывали бывалыя, — вотъ и живи изъ милости. А я ужъ обыкла сама по себѣ, на полной волѣ, захочу — къ заутренѣ пойду, захочу — самоварчикъ поставлю, чайку поплю съ теплымъ калачикомъ... Ну, такъ все и расклеилось.

**Ив. Шмелевъ.**

*(Продолженіе слѣдуетъ)*

## Отчаяніе

### ГЛАВА V.

Глядя въ землю, я лѣвой рукой пожалъ его правую руку, одновременно поднялъ его унавшую палку и сѣлъ рядомъ съ нимъ на скамью.

«Ты опоздалъ», — сказалъ я, не глядя на него.

Онъ засмѣялся. Все еще не глядя, я разстегнулъ пальто, снялъ шляпу, провелъ ладонью по головѣ, --- мнѣ почему-то стало жарко.

«Я васъ сразу узналъ», — сказалъ онъ льстивымъ, глупо-заговорщичьимъ тономъ.

Теперь я смотрѣлъ на палку, оказавшуюся у меня въ рукахъ: это была толстая, загорѣвшая палка, липовая, съ глазкомъ въ одномъ мѣстѣ и со тщательно выжженнымъ именемъ владѣльца — Феликсъ такой-то, — а подъ этимъ — годъ и названіе деревни. Я отложилъ ее, подумавъ мелкскмъ, что онъ, мошенникъ, пришелъ пѣшкомъ.

Рѣшившись наконецъ, я повернулся къ нему. Но посмотрѣлъ на его лицо несразу; я началъ съ ногъ, какъ бѣгаетъ въ кинематографѣ, когда форсить операторъ. Сперва: нелые башмачища, толстые носки, плохо подтянутые; затѣмъ — лоснящіеся синіе штаны (тогда были плюсовые, — вѣроятно сгнили) и рука, держащая сухой хлѣбецъ. Затѣмъ --- синій пиджакъ и лодь нимъ вязаный жилетъ дикаго цвѣта. Еще выше — знакомый воротничекъ, теперь сравнительно чистый. Тутъ я остановился. Оставить его безъ головы, или продолжать его строить? Прикрывшись рукой, я сквозь пальцы посмотрѣлъ на его лицо.

На мгновеніе мнѣ подумалось, что все прежнее было обманомъ, галлюцинаціей, что никакой онъ не двойникъ мой, этотъ дурень, поднявшій брови, выжидательно осмабившійся, еще несовсѣмъ знавшій, какое выраженіе принять, — отсюда: на всякій случай поднятыя брови. На мгновеніе, говорю я, онъ мнѣ показался такъ же на меня похожимъ, какъ былъ бы похожъ первый встрѣчный. Но вернулись успокоившіеся воробьи, одинъ запрыгаль совсѣмъ близко, и это отвлекло его вниманіе, черты его встали по своимъ мѣстамъ, и я вновь увидѣлъ чудо, явившееся мнѣ пять мѣсяцевъ тому назадъ.

Онъ кинулъ воробьямъ горсть крошекъ. Одинъ изъ нихъ суетливо клюнулъ, крошка подскочила, ее схватила другой и улетѣлъ. Феликсъ опять повернулся ко мнѣ съ выраженіемъ ожиданія и готовности.

«Вонъ тому не попало», — сказала я, указавъ пальцемъ на воробья, который стоялъ въ сторонкѣ, безпомощно хлопая клювомъ.

«Молодь, — замѣтилъ Фелѣксъ. — Видите, еще хвоста почти нѣтъ. Люблю птичекъ», — добавилъ онъ съ приторной ужимкой.

«Ты на войнѣ побывалъ?», — спросилъ я и нѣсколько разъ сряду прочистилъ горло, — голосъ былъ хриплый.

«Да, — отвѣтилъ онъ, — а что?»

«Такъ, ничего. Здорово боялся, что убьютъ, — правда?»

Онъ подмигнулъ и проговорилъ загадочно:

«У всякой мыши — свой домъ, но не всякая мышь выходитъ оттуда».

Я уже успѣлъ замѣтить, что онъ любитъ пошлыхъ грибаутки въ ривму; не стоило ломать себѣ голову надъ тѣмъ, какую собственно мысль онъ желалъ выразить.

«Все. Больше рѣту. — обратился онъ вскользь къ воробьямъ. — Бѣлокъ тоже люблю». (опять подмигнулъ). «Хорошо, когда въ лѣсу много бѣлскъ. Я люблю ихъ за то, что сѣбѣ гостить вѣмѣшковъ. Вотъ кроты — тоже».



«А воробьи? — спросилъ я ласково. — Они какъ — противъ?»

«Воробей среди птицъ нищій, — самый что ни на есть нищій. Нищій», — повторилъ онъ еще разъ. Онъ видимо считалъ себя необыкновенно разсудительнымъ и смѣливымъ парнемъ. Впрочемъ, онъ былъ не просто дуракъ, а дуракъ-меланхоликъ. Улыбка у него выходила скучная, — противно было смотрѣть. И все же я смотрѣлъ съ жадностью. Меня весьма занимало, какъ наше диковинное сходство нарушалось его случайными ужимками. Доживи онъ до старости, — подумалъ я, — сходство совсѣмъ пропадетъ, а сейчасъ оно въ полномъ расцвѣтѣ.

Германъ (игриво): «Ты, я вижу, философъ».

Онъ какъ будто слегка обидѣлся. «Философія — выдумка богачей, — возразилъ онъ съ глубокимъ убѣжденіемъ. — И вообще, все это пустыя выдумки: религія, поэзія... Ахъ, дѣвушка, какъ я страдаю, ахъ, мое бѣдное сердце... Я въ любовь не вѣрю. Вотъ дружба — другое дѣло. Дружба и музыка».

«Знаете что, — вдругъ обратился онъ ко мнѣ съ нѣкоторымъ жаромъ, — я бы хотѣлъ имѣть друга, — вѣрнаго друга, который всегда былъ бы готовъ подѣлиться со мной кускомъ хлѣба, а по завѣщанію оставилъ бы мнѣ немного земли, домишко. Да, я хотѣлъ бы настоящаго друга, — я служилъ бы у него въ садовникахъ, а потомъ его садъ сталъ бы моимъ, и я бы всегда поминалъ покойника со слезами благодарности. А еще — мы бы съ нимъ играли на скрипкахъ, или тамъ онъ на дудкѣ, я на мандолинѣ. А женщины... Ну скажите, развѣ есть жена, которая бы не измѣнила мужу?»

«Очень все это правильно. Очень правильно. Съ тобой пріятно говорить. Ты въ школѣ учился?»

«Недолго. Чему въ школѣ научишься? Ничему. Если человекъ умный, на что ему ученіе? Главное — природа. А политика, напримѣръ, меня не интересуетъ. И вообще мнѣ это, знаете, дерьмо».

«Заключеніе безукоризненно правильное, — сказала я. — Да, безукоризненно. Прямо удивляюсь. Вотъ что, умникъ, отдай-ка мнѣ моментально мой карандашъ!»

Этимъ я его здорово осадилъ и привелъ въ нужное мнѣ настроеніе.

«Вы забыли на травѣ, — пробормоталъ онъ растерянно. — Я не зналъ, увижу ли васъ опять...»

«Укралъ и продалъ!» — крикнулъ я, — даже притонулъ.

Отвѣтъ его былъ замѣчательнъ: сперва мотнулъ головой, что значило «Не красть», и тотчасъ кивнулъ, что значило «Продать». Въ немъ, мнѣ кажется, былъ собранъ весь букетъ человѣческой глупости.

«Чортъ съ тобою, — сказала я, — въ другой разъ будь осмотрительнѣе. Ужъ ладно. Бери папиросу».

Онъ размякъ, просіялъ, видя, что я не сержусь; принялся благодарить: «Спасибо, спасибо... Дѣйствительно, какъ мы съ вами похожи, какъ похожи... Можно подумать, что мой отецъ согрѣшилъ съ вашей матушкой!» — Подобострастно засмѣялся, чрезвычайно довольный своею шуткой.

«Къ дѣлу, — сказала я, притворившись вдругъ очень серьезнымъ. — Я пригласилъ тебя сюда не для однихъ отвлеченныхъ разговорчиковъ, какъ бы они ни были пріятны. Я тебѣ писалъ о помощи, которую собираюсь тебѣ оказать, о работѣ, которую нашелъ для тебя. Прежде всего, однако, хочу тебѣ задать вопросъ. Отвѣтъ мнѣ на него точно и правдиво. Кто я таковъ по твоему мнѣнію?»

Феликсъ осмотрѣлъ меня, отвернулся, пожалъ плечомъ.

«Я тебѣ не загадку задаю, — продолжалъ я терпѣливо. — Я отлично понимаю, что ты не можешь знать, кто я въ дѣйствительности. Отстранимъ на всякій случай возможность, о которой ты такъ остроумно упомянулъ. Кровь, Феликсъ, у насъ разная, — разная, голубчикъ, разная. Я

родился въ тысячѣ верстахъ отъ твоей колыбели, и честь моихъ родителей, какъ — надѣюсь — и твоихъ, безупречна. Ты единственный сынъ, я — тоже. Такъ что ни ко мнѣ, ни къ тебѣ никакъ не можетъ явиться этакій таинственный братъ, котораго, моль, ребенкомъ украли цыгане. Насъ не связываютъ никакія узы, у меня по отношенію къ тебѣ нѣтъ никакихъ обязательствъ, — заруби это себѣ на носу, — никакихъ обязательствъ, — все, что собираюсь сдѣлать для тебя, сдѣлаю по доброй волѣ. Запомни все это, пожалуйста. Теперь я тебя снова спрашиваю, кто я таковъ по твоему мнѣнію, чѣмъ я представляюсь тебѣ, — вѣдь какое-нибудь мнѣніе ты обо мнѣ составилъ, — неправда-ли?»

«Вы, можетъ быть, артистъ», — сказалъ Феликсъ неуверенно.

«Если я правильно понялъ тебя, дружокъ, ты значить, при пересмѣ нашемъ свиданіи, такъ примѣрно подумалъ: Э, да онъ, вѣроятно, играетъ въ театрѣ, человѣкъ съ норвѣгсмъ, чудакъ и франтъ, можетъ быть знаменитость. Такъ, значить?»

Феликсъ уставился на свой башмакъ, которымъ трамбсваль гравій, и лицо его приняло нѣсколько напряженное выраженіе.

«Я ничѣго не подумалъ, — проговорилъ онъ кисло. — Просто вижу: господинъ интересуется, ну и такъ далѣе. А хорошо платятъ вамъ-то, артистамъ?»

Примѣчаніе: мысль, которую онъ подаль мнѣ, показала мнѣ гибкой, — я рѣшилъ ее испытать. Она любознѣтнѣйшей излученной соприкасалась съ главнымъ моимъ планомъ.

«Ты угадалъ, — воскликнулъ я, — ты угадалъ. Да, я актеръ. Точнѣе — фильмный актеръ. Да, это вѣрно. Ты хорошо, ты великолѣпно это сказалъ. Ну, дальше. Что еще можешь сказать обо мнѣ?»

Тутъ я замѣтилъ, что онъ какъ то приунылъ. Моя профессія точно его разочаровала. Онъ сидѣлъ насупившись,

держа дымившійся окурокъ между большимъ пальцемъ и указательнымъ. Вдругъ онъ поднялъ голову, прищурился...

«А какую вы мнѣ работу хотите предложить?» — спросилъ онъ безъ прежней заискивающей нѣжности.

«Погоди, погоди. Все въ свое время. Я тебя спрашивалъ, — что ты еще обо мнѣ думаешь, — ну-съ, пожалуйста».

«Почемъ я знаю? — Вы любите развѣзжать, — вотъ это я знаю, — а больше не знаю ничего».

Между тѣмъ за вечерѣло, воробьи исчезли давно, всадникъ потемнѣлъ и какъ-то разросся. Изъ-за траурнаго дерева безшумно появилась луна, — мрачная, жирная. Облако мимоходомъ надѣло на нее маску; остался виденъ только ея полный подбородокъ.

«Вотъ что, Феликсъ, тутъ темно и неудобно. Ты, пожалуйста, голоденъ. Пойдемъ, закусимъ гдѣ-нибудь и за кружкой пива продолжимъ нашъ разговоръ. Ладно?»

«Ладно», — отозвался онъ, слегка оживившись и глубокомысленно присовокупилъ: — «Пустому желудку одно только и можно сказать» — (перевожу дословно, — по нѣмецки все это у него выходило въ рюмочку).

Мы встали и направились къ желтымъ огнямъ бульвара. Теперь, въ надвигающейся тѣмѣ, я нашего сходства почти не ощущалъ. Феликсъ шагаль рядомъ со мной, слезно въ какомъ-то раздумьѣ, — походка у него была такая же тупая, какъ онъ самъ.

Я спросилъ: «Ты здѣсь въ Тарницѣ еще никогда не бывалъ?»

«Нѣтъ, — отвѣтилъ онъ. — Городовъ не люблю. Въ городѣ нашему брату скучно».

Вывѣска трактира. Въ оконѣ боченокъ, а по сторонамъ два бородатыхъ карла. Ну, хотя бы сюда. Мы вошли и заняли столъ въ глубинѣ. Стягивая съ растопыренной руки перчатку, я зоркимъ взглядомъ окинулъ присутствующихъ. Было ихъ, впрочемъ, всего трое, и они не

обратили на насъ никакого вниманія. Подошелъ лакей, блѣдный человѣчекъ въ пенснэ (я не въ первый разъ видѣлъ лакея въ пенснэ, но не могъ вспомнить, гдѣ мнѣ уже такой попадался). Ожидая заказа, онъ посмотрѣлъ на меня, потомъ на Феликса. Конечно, изъ-за моихъ усовъ сходство не такъ бросалось въ глаза, — я и отпустилъ ихъ, собственно, для того, чтобы, появляясь съ Феликсомъ вмѣстѣ, не возбуждать чрезчуръ вниманія. Кажется у Паскаля встрѣчается гдѣ-то умная фраза о томъ, что двое похожихъ другъ на друга людей особаго интереса въ отдѣльности не представляютъ, но коль скоро появляются вмѣстѣ — сенсация. Паскаля самого я не читалъ и не помню, гдѣ слямзиль это изреченіе. Въ юности я увлекался такими штучками. Бѣда только въ томъ, что иной прикарманенной мыслью щеголялъ не я одинъ. Какъ то въ Петербургѣ, будучи въ гостяхъ, я сказалъ: «Есть чувства, какъ говорилъ Тургеневъ, которыя можетъ выразить одна только музыка». Черезъ нѣсколько минутъ явился еще гость и среди разговора вдругъ разрѣшился тою же сентенціей. Не я, конечно, а онъ, оказался въ дуракахъ, но мнѣ вчужѣ стало неловко, и я рѣшилъ больше не мудрить. Все это — отступленіе, отступленіе въ литературномъ смыслѣ разумѣется, отнюдь не въ военномъ. Я ничего не боюсь, все расскажу. Нужно признать: восхитительно владѣю не только собой, но и слогомъ. Сколько романовъ я понаписалъ въ молодости, такъ, между дѣломъ, и безъ малѣйшаго намѣренія ихъ опубликовать. Еще изреченіе: облубликованный манускриптъ, какъ говорилъ Свифтъ, становится похожъ на публичную женщину. Однажды, еще въ Россіи, я далъ Лидѣ прочесть одну вещьцу въ рукописи, сказавъ, что сочинилъ знакомый, — Лида нашла, что скучно, не дочитала, — моего почерка она до сихъ поръ не знаетъ, — у меня равнымъ счетомъ двадцать пять почерковъ, — лучшіе изъ нихъ, т. е. тѣ, котрые я охотнѣе всего употребляю, суть слѣдующіе: круглявый, съ пріятными сдобными утолщеніями, каждое

слово — прямо изъ кондитерской; засимъ: наклонный, востренькій, — даже не почеркъ, а почерченокъ, — такой мелкій, вѣтреный, — съ сокращеніями и безъ твердыхъ знаковъ; и наконецъ — почеркъ, который я особенно цѣню: крупный, четкій, твердый и совершенно безличный, словно пишетъ имъ абстрактная, въ схематической манжетѣ, рука, изображаемая въ учебникахъ физики и на указательныхъ столбахъ. Я началъ было именно этимъ почеркомъ писать предлагаемую читателю повѣсть, но вскорѣ сбился, — повѣсть эта написана всѣми двадцатью пятью почерками, вперемѣшку, такъ что наборщики или неизвѣстная мнѣ машинистка, или наконецъ, тотъ опредѣленный, выбранный мной человекъ, тотъ русскій писатель, которому я мою рукопись доставлю, когда подойдетъ срокъ, подумаютъ, быть можетъ, что писало мою повѣсть нѣсколько человекъ, — а также весьма возможно, что какой-нибудь крысopodobный экспертъ съ хитрымъ личикомъ усмотритъ въ этой какографической роскоши признакъ ненормальности. Тѣмъ лучше.

Вотъ я упомянулъ о тебѣ, мой первый читатель, о тебѣ, извѣстный авторъ психологическихъ романовъ, — я ихъ просматривалъ, — они очень искусственны, но не плохо скроены. Что ты почувствуешь, читатель-авторъ, когда приступишь къ этой рукописи? Восхищеніе? Зависть? Или даже — почему знать? — воспользовавшись моей безсрочной отлучкой, выдашь мое за свое, за плодъ собственной изощренной, не спорю, изощренной и опытной, — фантазіи, и я останусь на бобахъ? Мнѣ было бы нетрудно принять напередъ мѣры противъ такого наглаго похищенія. Приму ли ихъ, — это другой вопросъ. Мнѣ, можетъ быть, даже дестно, что ты украдешь мою вещь. Кража — лучший комплиментъ, который можно сдѣлать вещи. И, знаешь, что самое забавное? Вѣдь, рѣшившись на пріятное для меня воровство, ты исключишь какъ разъ вотъ эти компрометирующія тебя строки, — да и кромѣ того кое-что перелицуешь по своему, (это уже менѣе

пріятно), какъ автомобильный воръ красить въ другой цвѣтъ машину, которую угналъ. И по этому поводу позволю себѣ разсказать маленькую исторію, самую смѣшную исторію, какую я вообще знаю:

Недѣли полторы тому назадъ, т. е. около десятого марта тридцать перваго года, нѣкимъ человѣкомъ (или людьми), проходившимъ (или проходившими) по шоссе, а не то лѣсомъ (вѣроятно — еще выяснится), былъ обнаруженъ у самой опушки и незаконно присвоенъ небольшой синій автомобиль такой-то марки, такой-то силы (техническія подробности опускаю). Вотъ, собственно говоря, и все.

Я не утверждаю, что всякому будетъ смѣшонъ этотъ анекдотъ: соль его не очевидна. Меня онъ разсмѣшилъ — до слезъ — только потому, что я знаю подоплеку. Добавлю, что я его ни отъ кого не слышалъ, нигдѣ не вычиталъ, а строго логически вывелъ изъ факта исчезновенія автомобиля, факта совершенно превратно истолкованнаго газетами. Назадъ, рычагъ времени!

«Ты умѣешь править автомобилемъ?» — вдругъ спросилъ я, помнится, Феликса, когда лакей, ничего не замѣтивъ въ насъ особеннаго, поставилъ передъ нами двѣ кружки пива, и Феликсъ жадно окунулъ губу въ пышную пѣну.

«Что?» — переспросилъ онъ, сладостно крякнувъ.

«Я спрашиваю: ты умѣешь править автомобилемъ?»

«А какъ же, — отвѣтилъ онъ самодовольно. — У меня былъ пріятель шофферъ, — служилъ у одного нашего помѣщика. Мы съ нимъ однажды раздавили свинью. Какъ она визжала...»

Лакей принесъ какое-то рагу въ большемъ количествѣ и картофельное пюре. Гдѣ я уже видѣлъ пенснэ на носу у лакея? Вспомнилъ только сейчасъ, когда пишу это: въ паршивомъ русскомъ рестораничкѣ, въ Берлинѣ, — и тотъ лакей былъ похожъ на этого, — такой же маленький, унылый, бѣлобрысый.

«Ну вот, Феликсъ, мы попили, мы лоѣли, будемъ теперь говорить. Ты сдѣлалъ кое-какія предположенія на мой счетъ, и предположенія вѣрныя. Прежде, чѣмъ приступить вплотную къ нашему дѣлу, я хочу нарисовать тебѣ въ общихъ чертахъ мой обликъ, мою жизнь, — ты скоро поймешь, почему это необходимо. Итакъ...»

Я отпѣлъ нива и продолжалъ:

«Итакъ, родился я въ богатой семьѣ. У насъ былъ домъ и садъ, — ахъ, какой садъ, Феликсъ! Представь себѣ розовую чащобу, цѣлыя заросли розъ, розы всѣхъ сортовъ, каждый сортъ съ дощечкой, и на дощечкѣ — названіе: названія розамъ даютъ такія же звонкія, какъ скаковымъ лошадямъ. Кромѣ розъ, росло въ нашемъ саду множество другихъ цвѣтовъ, — и когда по утрамъ все это бывало обрызгано росой, зрѣлище, Феликсъ, получалось сказочное. Мальчикомъ я уже любилъ и умѣлъ ухаживать за нашимъ садомъ, у меня была маленькая лейка, Феликсъ, и маленькая мотыга, и родители мои сидѣли въ тѣни старой черешни, посаженной еще дѣдомъ, и глядѣли съ умиленіемъ, какъ я, маленький и дѣловитый, — вообрази, вообрази эту картину, — снимаю съ розъ и давлю гусеницъ, похожихъ на сучки. Было у насъ всякое домашнее звѣрье, какъ на примѣръ, кролики, — самое овальное животное, если понимаешь, что хочу сказать, — и сердитые сангвиники-индюки, и прелестныя козочки, и такъ далѣе, и такъ далѣе. Потомъ родители мои раззорились, померли, чудный садъ исчезъ, какъ сонъ, — и вотъ только теперь счастье какъ будто блеснуло опять. Мнѣ удалось недавно приобрести клочокъ земли на берегу озера, и тамъ будетъ разбитъ новый садъ, еще лучше стараго. Моя молодость вся насквозь проблагоухала тѣмъ же пѣтствомъ, скружавшей ее, а сосѣдній лѣсъ, густой и дремучій, наложилъ на мою душу тѣнь романтической меланхоліи. Я всегда былъ одинокъ, Феликсъ, одинокъ я и сейчасъ. Женщины... — Но что говорить объ этихъ измѣнчивыхъ, развратныхъ существахъ... Я много путеше-



ствоваль, люблю, какъ и ты, бродить съ котомкой, — хотя конечно, въ силу нѣкоторыхъ причинъ, которыя всецѣло осуждаю, мои скитанія пріятнѣе твоихъ. Философствовать не люблю, но все же слѣдуетъ признать, что мѣръ устроенъ несправедливо. Удивительная вещь, — задумывался ли ты когда-нибудь надъ этимъ? — что двое людей, одинаково бѣдныхъ, живутъ неодинаково, одинъ, скажемъ, какъ ты, откровенно и безнадежно нищенствуетъ, а другой, такой же бѣднякъ, ведетъ совсѣмъ иной образъ жизни, — прилично одѣтъ, безлеченъ, сытъ, вращается среди богатыхъ весельчаковъ, — почему это такъ? А потому, Феликсъ, что принадлежать они къ разнымъ классамъ, — и если уже мы заговорили о классахъ, то представь себѣ одного человѣка, который зайцемъ ѣдетъ въ четвертомъ классѣ, и другого, который зайцемъ ѣдетъ въ первомъ: одному твердо, другому мягко, а между тѣмъ у обоихъ кошелекъ пусть, — вѣрнѣе, у одного есть кошелекъ, хоть и пустой, а у другого и этого нѣтъ, — просто дырявая подкладка. Говорю такъ, чтобы ты осмыслилъ разницу между нами: я актеръ, живущій въ общемъ на фуфу, но у меня всегда есть резиновая надежды на будущее, которыя можно безъ конца растягивать, — у тебя же и этого нѣтъ, — ты всегда бы остался нищимъ, если бы не чудо, — это чудо: наша встрѣча.

Нѣтъ такой вещи, Феликсъ, которую нельзя было бы эксплуатировать. Скажу болѣе: нѣтъ такой вещи, которую нельзя было бы эксплуатировать очень долго и очень успѣшно. Тебѣ снилась, можетъ быть, въ самыхъ твоихъ заносчивыхъ снахъ двузначная цифра, — это предѣлъ твоихъ мечтаній. Нынѣ же рѣчь идетъ сразу, съ мѣста въ карьеръ, о цифрахъ трехзначныхъ, — это конечно нелегко охватить воображеніемъ, вѣдь и десятка была уже для тебя едва мыслимой безконечностью, а теперь мы какъ бы зашли за уголь безконечности, — и тамъ сіяетъ сотенка, а за нею другая, — и какъ знать, Феликсъ, можетъ быть зрѣть и еще одинъ, четвертый, знакъ, — кружится

голова, страшно, шекотно, — но это такъ, это такъ. Вотъ видишь, ты до такой степени привыкъ къ своей убогой судьбѣ, что сейчасъ едва ли улавливаешь мою мысль, — моя рѣчь тебѣ кажется непонятной, странной; то, что впереди, покажется тебѣ еще непонятнѣе и страннѣе.

Я долго говорилъ въ этомъ духѣ. Онъ глядѣлъ на меня съ опаской: ему, пожалуй, начинало сдаваться, что я издѣваюсь надъ нимъ. Такіе какъ онъ молодцы добродушны только до нѣкотораго предѣла. Какъ только впадаетъ имъ на мысль, что ихъ собираются околпачить, вся доброта съ нихъ слетаетъ, взглядъ принимаетъ неприятно-стеклянный оттѣнокъ, ихъ начинаетъ разбирать тяжелая, прочная ярость. Я говорилъ темно, но не задавался цѣлью его взбѣсить, напротивъ мнѣ хотѣлось расположить его къ себѣ, — озадачить, но вмѣстѣ съ тѣмъ привлечь; смутно, но все же убѣдительно, внушить ему образъ человѣка, во многомъ сходнаго съ нимъ, — однако фантазія моя разыгралась, и разыгралась нехорошо, увѣсисто, какъ пожилая, но все еще кокетливая дама, выпившая лишнее. Оцѣнивъ впечатлѣніе, которое на него произвожу, я на минуту остановился, пожалѣлъ было, что его напугалъ, но тутъ же ощутилъ нѣкоторую усладу отъ умѣнія моего заставлять слушателя чувствовать себя плохо. Я улыбнулся и продолжалъ примѣрно такъ:

«Ты прости меня, Феликсъ, я разболтался, — но мнѣ рѣдко приходится отводить душу. Кромѣ того, я очень спѣшу показать себя со всехъ сторонъ, дабы ты имѣлъ полное представленіе о человѣкѣ, съ которымъ тебѣ придется работать, — тѣмъ болѣе, что самая эта работа будетъ прямымъ использованіемъ нашего съ тобою сходства. Скажи мнѣ, знаешь ли ты, что такое дублеръ?»

Онъ покачалъ головою, губа отвисла, я давно замѣтилъ, что онъ дышитъ все больше ртомъ, носъ былъ у него, что-ли, заложенъ.

«Не знаешь, — такъ я тебѣ объясню. Представь себѣ,

что директоръ кинематографической фирмы, — ты въ кинематографѣ бывалъ?

«Бывалъ».

«Ну вотъ, — представь себѣ, значить, такого директора... Виноватъ, ты, дружокъ, что-то хочешь сказать?»

«Бывалъ, но рѣдко. Ужъ если тратить деньги, такъ на что-нибудь получше».

«Согласенъ, но не всѣ разсуждаютъ, какъ ты, — иначе не было бы и ремесла такого, какъ мое, — неправдали? Итакъ, мой директоръ предложилъ мнѣ за небольшую сумму, что-то около десяти тысячъ, — это конечно пустякъ, фуфу, но больше не даютъ, — сниматься въ фильмѣ, гдѣ герой — музыкантъ. Я кстати самъ обожаю музыку, играю на нѣсколькихъ инструментахъ. Бывало, лѣтнимъ вечеркомъ беру свою скрипку, иду въ ближній лѣсокъ... Ну такъ вотъ. Дублеръ, Феликсъ, это лицо, могущее въ случаѣ надобности замѣнить даннаго актера.

Актеръ играетъ, его снимаетъ аппаратъ, осталось до-снять пустяковую сценку, — скажемъ, герой долженъ проѣхать на автомобилѣ, — а тутъ возьми онъ, да и заболѣй, — а время не терпитъ. Тутъ то и вступаетъ въ свою должность дублеръ, — проѣзжаетъ на этомъ самомъ автомобилѣ, — вѣдь ты умѣешь управлять, — и когда зритель смотритъ фильму, ему и въ голову не приходитъ, что произошла замѣна. Чѣмъ сходство совершеннѣе, тѣмъ оно дороже цѣнится. Есть даже особыя организаціи, занимающіяся тѣмъ, что знаменитостямъ подыскиваютъ двойниковъ. И жизнь двойника прекрасна, — онъ получаетъ определенное жалованіе, а работать приходится ему только изрѣдка, — да и какая это работа, — одѣнется точь-въ-точь какъ одѣтъ герой и вмѣсто героя промелькнетъ въ нарядной машинѣ, — вотъ и все. Разумѣется, болтать о своей службѣ онъ не долженъ; вѣдь каково получится, если конкуррентъ или какой-нибудь журналистъ проникнетъ въ подлогъ, и публика узнаетъ,

что ея любимца въ одномъ мѣстѣ подмѣнили. Ты понимаешь теперь, почему я пришелъ въ такой восторгъ, въ такое волненіе, когда нашель въ тебѣ точную копию своего лица. Я всегда мечталъ съ этомъ. Подумай, какъ важно для меня — особенно сейчасъ, когда производятся съемки, и я, человекъ хрупкаго здоровья, исполняю главную роль. Въ случаѣ чего тебя сразу вызываютъ, ты являешься — — »

«Никто меня не вызываетъ, и никуда я не являюсь», — перебилъ меня Феликсъ.

«Почему ты такъ говоришь, голубчикъ?» — спросилъ я съ ласковой укоризной.

«Потому, — отвѣтилъ Феликсъ, — что нехорошо съ вашей стороны морочить бѣднаго человѣка. Я вамъ повѣрилъ. Я думалъ, вы мнѣ предложите честную работу. Я притащился сюда издалека. У меня подметки — смотрите, въ какомъ видѣ... А вмѣсто работы — — Нѣтъ, это мнѣ не подходитъ».

«Тутъ недоразумѣніе, — сказала я мягко. — Ничего унизительнаго или чрезмѣрно тяжелаго я не предлагаю тебѣ. Мы заключимъ договоръ. Ты будешь получать отъ меня сто марокъ ежемѣсячно. Работа, повторяю, до смѣшного легкая, — прямо дѣтская, — вотъ какъ дѣти переодеваются и изображаютъ солдатъ, привидѣнія, авіаторовъ. Подумай, вѣдь ты будешь получать сто марокъ въ мѣсяць только за то, чтобы изрѣдка, — можетъ быть разъ въ году, — надѣть вотъ такой костюмъ, какъ сейчасъ на мнѣ. Давай, знаешь, вотъ что сдѣлаемъ: условимся встрѣтиться какъ-нибудь и прорепетировать какую-нибудь сценку, — посмотримъ, что изъ этого выйдетъ».

«Ничего о такихъ вѣшахъ я не слыхалъ и не знаю, — довольно грубо возразилъ Феликсъ. — У тетки моей былъ сынъ, который паясничалъ на ярмаркахъ, — вотъ все, что я знаю, — былъ онъ пьяница и развратникъ, и тетка моя всѣ глаза изъ-за него выплакала, пока онъ, сла-

ва Богу, не разбился на смерть, грохнувшись съ качелей. Эти кинематографы да цирки — — »

Такъ ли все это было? Вѣрно-ли слѣдую моей памяти, или же, выбившись изъ строя, своевольно пляшетъ мое перо? Что-то уже слишкомъ литературенъ этотъ нашъ разговоръ, смахиваетъ на застѣночныя бесѣды въ бутфорскихъ кабакахъ имени Достоевскаго; еще немного, и появится «сударь», даже въ квадратѣ: «сударь-съ»,—знакомый взволнованный говорокъ: «и уже непременно, непременно...», а тамъ и весь мистическій гарниръ нашего отечественнаго Пинкертона. Меня даже нѣкоторымъ образомъ мучить, то-есть даже не мучить, а совсѣмъ, совсѣмъ сбиваетъ съ толку и, пожалуй, губить меня мысль, что я какъ то слишкомъ понадѣялся на свое перо... Узнаете тонъ этой фразы? Вотъ именно. И еще мнѣ кажется, что разговоръ-то нашъ помню превосходно, со всѣми его оттѣнками, и всю его подноготную (вотъ опять, — любимсе слово нашего специалиста по душевнымъ лихорадкамъ и абераціямъ человѣческаго достоинства, — «подноготная» и еще, пожалуй, курсивомъ). Да, помню этотъ разговоръ, но передать его въ точности не могу, что-то мѣшаетъ мнѣ, что-то жгучее, нестерпимое, гнусное, — отъ чего я не могу отвязаться, прилипло, все равно какъ если въ потемкахъ нарваться на мухоморную бумагу, — и, главное, не знаешь, гдѣ зажигается свѣтъ. Нѣтъ, разговоръ нашъ былъ не таковъ, какимъ онъ изложенъ, — то-есть можетъ быть слова-то и были именно такія (вотъ опять), но не удалось мнѣ, или не посмѣлъ я, передать особые шумы, сопровождавшіе его, — были какіе-то провалы и удаленія звука, и затѣмъ снова бормотаніе и шушуканіе, и вдругъ деревянный голосъ, ясно выговаривающій: «Давай, Феликсъ, выпьемъ еще пивца». Узоръ коричневыхъ цвѣтовъ на обояхъ, какая-то надпись, обиженно объясняющая, что кабакъ не отвѣчаетъ за пролажу вещей, картонные круги, служащіе базой для пива, на одномъ изъ вострѣвъ былъ косо начертанъ карандашомъ

торопливый итогъ, и отдаленная стойка, подлѣ которой пиль, свивъ ноги чернымъ кренделемъ, окруженный дымомъ человѣкъ, — все это было комментаріями къ нашей бесѣдѣ, столь же бессмысленными, впрочемъ, какъ помѣтки на поляхъ Лидиныхъ паскудныхъ книгъ. Если бы тѣ трое, которые сидѣли у завѣшеннаго пылью-кровавой портьерой окна, далеко отъ насъ, если бы они обернулись и на насъ посмотрѣли — эти трое тихихъ и печальныхъ бражниковъ, — то они бы увидѣли: брата благополучнаго и брата-неудачника, брата, съ усиками надъ губой и блескомъ на волосахъ и брата бритаго, но не стриженнаго давно, съ подобіемъ гривки на худой шеѣ, сидѣвшихъ другъ противъ друга, положившихъ локти на столъ и одинаково подпершихъ скулы. Такими насъ отражало тусклое, слегка повидимому ненормальное, зеркало, съ кривизной, съ безуминкой, которое вѣроятно сразу бы треснуло, отразись въ немъ хоть одно подлинное человеческое лицо. Такъ мы сидѣли, и я продолжалъ уговорчиво бормотать, — говорю я вообще съ трудомъ, тѣ рѣчи, которыя какъ будто дословно привожу, вовсе не текли такъ плавно, какъ текутъ онѣ теперь на бумагу, — да и нельзя начертательно передать мое косноязычіе, повтореніе словъ, спотыканіе, глупое положеніе придаточныхъ предложенийъ, заплутавшихъ, потерявшихъ матку, и всѣ тѣ лишніе нечленораздѣльные звуки, которые даютъ словамъ podporку или лазейку. Но мысль моя работала такъ стройно, шла къ цѣли такой мѣрной и твердой поступью, что впечатлѣніе, сохраненное мной отъ хода собственныхъ словъ, не является чѣмъ-то путаннымъ и сбивчивымъ, — напротивъ. Цѣль однако была еще далеко; сопротивление Феликса, сопротивление ограниченнаго и боязливаго человѣка, слѣдовало какъ-нибудь сломить. Соблазнившись изящной естественностью темы, я упустилъ изъ виду, что эта тема можетъ ему не понравиться, отпугнуть его такъ же естественно, какъ меня она привлекла. Не то, чтобъ я имѣлъ хоть малѣйшее касатель-

ство къ сценѣ, — единственный разъ, когда я выступалъ, было лѣтъ двадцать тому назадъ, ставился домашній спектакль въ усадьбѣ помѣщика, у котораго служилъ мой отецъ, и я долженъ былъ сказать всего нѣсколько словъ: «Его сіятельство велѣли доложить, что сейчасъ будутъ-съ... Да вотъ и они сами идутъ», — вмѣсто чего я съ какимъ то тончайшимъ наслажденіемъ, ликуя и дрожа всѣмъ тѣломъ, сказалъ такъ: «Его сіятельство придти не могутъ-съ, снѣ зарѣзались бритвой», — а между тѣмъ любитель-актеръ, игравшій князя, уже выходилъ, въ бѣлыхъ штанахъ, съ улыбкой на радужномъ отъ грима лицѣ, — и все повисло, ходъ міра былъ мгновенно пресѣченъ, и я до сихъ поръ помню, какъ глубоко я вдохнулъ этотъ дивный, грозовой озонъ чудовищныхъ катастрофъ. Но хотя я актеромъ въ узкомъ смыслѣ слова никогда не былъ, я все же въ жизни всегда носилъ съ собой какъ бы небольшой складной театр, игралъ не одну роль и игралъ отменно, — и если вы думаете, что суфлеръ мой звался Рыгода, — есть такая славянская фамилья, — то вы здорово ошибаетесь, — все это не такъ просто, господа. Въ данномъ же случаѣ моя игра оказалась пустой затратой времени, — я вдругъ понялъ, что, продли я монологъ о кинематографѣ, Феликсъ встанетъ и уйдетъ, вернувъ мнѣ десять марокъ, — нѣтъ, впрочемъ онъ не вернулъ бы, — могу поручиться, — слово «деньги», по-нѣмски такое увѣсистоое («деньги» по-нѣмецки золото, по-французски — серебро, по-русски — мѣдь), произносилось имъ съ необычайнымъ уваженіемъ и даже сладострастіемъ. Но ушелъ бы онъ непремѣнно, да еще съ оскорбленнымъ видомъ... По правдѣ сказать, я до сихъ поръ несомнѣнно понимаю, почему все связанное съ кинематографомъ и театромъ было ему такъ невыносимо противно; чуждо — допустимъ, — но противно? Постараемся это объяснить отсталостью простонародья, — нѣмецкій мужикъ старомоденъ и стыдливъ, — пройдите-ка по деревнѣ въ фуфельныхъ трусикахъ, — я пробовалъ, — уви-

дите, что будетъ: мужчины остолбеньютъ, женщины будутъ фыркать въ ладошку, какъ горничныя въ старосвѣтскихъ комедіяхъ.

Я умолкъ. Феликсъ молчалъ тоже, водя пальцемъ по столу. Онъ полагалъ, вѣроятно, что я ему предложу мѣсто садовника или шофера, и теперь былъ сердитъ и разочарованъ. Я подозвалъ лакея, расплатился. Мы опять оказались на улицѣ. Ночь была рѣзкая, пустынная. Въ тучахъ, похожихъ на черный мѣхъ, скользила яркая, плоская луна, поминутно скрываясь.

«Вотъ что, Феликсъ. Мы разговоръ нашъ не кончили. Я этого такъ не оставлю. У меня есть номеръ въ гостиницѣ, пойдешь, переночуешь у меня».

Онъ принялъ это какъ должное. Несмотря на свою тупость, онъ понималъ, что нуженъ мнѣ, и что неблагоразумно было бы оборвать наши сношенія, недоговорившись до чего-нибудь. Мы снова прошли мимо двойника мѣднаго всадника. На бульварѣ не встрѣтили ни души. Въ домахъ не было ни одного огня; если бы я замѣтилъ хоть одно освѣщенное окно, то подумалъ бы, что тамъ кто-нибудь повѣсилъ, оставивъ горѣть лампу, настолько свѣтъ казался бы неожиданнымъ и противозаконнымъ. Мы молча дошли до гостиницы. Насъ впустилъ сомнамбуль безъ вратничка. Когда мы вошли въ номеръ, то у меня было опять ощущеніе чего-то очень знакомаго, — но другое занимало мои мысли. Садись. Онъ сѣлъ на стулъ, опустилъ кулаки на колѣни и полуоткрылъ ротъ. Я скинулъ пиджакъ и, засунувъ руки въ карманы штановъ, брэнча мелкой деньгой, принялся ходить взадъ и впередъ по комнатѣ. На мнѣ былъ, между прочимъ, сиреневый въ черную мушку галстукъ, который слегка взлеталъ, когда я поворачивался на каблукъ. Нѣкоторое время продолжалось молчаніе, моя ходьба, вѣтерокъ. Внезапно Феликсъ, какъ будто убитый наповаль, уронилъ голову, — и сталъ развязывать шнурки башмаковъ. Я взглянулъ на его безпомощную шею, на грустное выраже-



нѣ шейныхъ позвонковъ, и мнѣ сдѣлалось какъ-то странно, что вотъ буду спать со своимъ двойникомъ въ одной комнатѣ, чуть ли не въ одной постели, — кровати стояли другъ къ другѣ вплотную. Вмѣстѣ съ тѣмъ меня пронзила ужасная мысль, что, можетъ быть, у него какой-нибудь тѣлесный недостатокъ, красный крапъ накожной болѣзни или грубая татуировка, — я требовалъ отъ его тѣла минимумъ сходства съ моимъ, — за лицо я былъ спокоенъ. «Да-да, раздѣвайся», — сказалъ я, продолжая шагать. Онъ поднималъ голову, держа въ рукѣ безобразный башмакъ.

«Я давно не спалъ въ постели, — проговорилъ онъ съ улыбкой (не показывай десенъ, дуракъ), — въ настоящей постели».

«Снимай все съ себя, — сказалъ я нетерпѣливо. — Ты вѣроятно грязенъ, пыленъ. Дамъ тебѣ рубашку для сна. И вымойся».

Ухмыляясь и побрякивая, нѣсколько какъ будто стѣсняясь меня, онъ раздѣлся до-нага и сталъ мыть подмышками, склонившись надъ чашкой комодобразнаго умывальника. Ловкими взглядами я жадно осматривалъ этого совершенно голаго человѣка. Онъ былъ худъ и блѣдъ, — тораздо блѣде своего лица, — такъ что мое сохранившее лѣтній загаръ лицо казалось приставленнымъ къ его блѣдному тѣлу, — была даже замѣтна черта на шеѣ, гдѣ приставили голову. Я испыталъ необыкновенное удовольствіе отъ этого осмотра, отжего, непоправимыхъ при-мѣтъ не оказалось.

Когда, надѣвъ чистую рубашку, выданную ему изъ чемодана, онъ легъ въ постель, я сѣлъ у него въ ногахъ и уставился на него съ откровенной усмѣшкой. Не знаю, что онъ подумалъ, — но, разомлѣвшій отъ непривычной чистоты, онъ стыдливѣмъ, сентиментальнымъ, даже просто вѣжливѣмъ движеніемъ, погладилъ меня по рукѣ и сказалъ, — персвожу дословно: «Ты добрый парень». Не разжимая зубовъ, я затрясся отъ смѣха, и тутъ онъ вѣ-

роятно усмотрѣлъ въ выраженіи моего лица нѣчто странное, — брови его полѣзли наверхъ, онъ повернулъ голову, какъ птица. Уже открыто смѣясь, я сунулъ ему въ ротъ папиросу, онъ чуть не поперхнулся.

«Эхъ ты, дубина! — воскликнулъ я, хлопнувъ его по выступу колѣна, — неужели ты не смекнулъ, что я вызвалъ тебя для важнаго, совершенно исключительно важнаго дѣла», — и вынувъ изъ бумажника тысячемарковый билетъ, и продолжая смѣяться, я поднесъ его къ самому лицу дурака.

«Это мнѣ?» — спросилъ онъ и выронилъ папиросу: видно пальцы у него невольно раздвинулись, готовясь схватить.

«Прожжешь простыню, — проговорилъ я сквозь смѣхъ. — Всякъ тамъ, у локтя. Я вижу, ты взволновался. Да, эти деньги будутъ твоими, ты ихъ даже получишь впередъ, если согласишься на дѣло, которое я тебѣ предложу. Вѣдь неужели ты не сообразилъ, что о кинематографѣ я говорилъ такъ, въ видѣ пробы. Что никакой я не актеръ, а человѣкъ дѣловой, толковый. Короче говоря, вотъ въ чемъ состоитъ дѣло. Я собираюсь произвести кос-какую операцию, и есть маленькая возможность, что впоследствии до меня доберутся. Но подозрѣнія сразу отпадутъ, ибо будетъ доказано, что въ день и въ часъ совершенія этой операцин, я былъ отъ мѣста дѣйствія очень далеко».

«Кража?» — спросилъ Феликсъ, и что-то мелькнуло въ его лицѣ, — странное удовлетвореніе...

«Я вижу, что ты не такъ глупъ, — продолжалъ я, понизивъ голосъ до шопота. — Ты повидимому давно подозревалъ неладное и теперь доволенъ, что не ошибся, какъ бываетъ доволенъ всякій, убѣдившись въ правильности своей догадки. Мы оба съ тобой падки на серебряныя вещи. — ты такъ подумалъ, неправда-ли? А можетъ быть, тебѣ просто пріятно, что я не чужакъ, не мечтатель съ бзикомъ, а дѣльный человѣкъ».

«Кража?» — снова спросилъ Феликсъ, глядя на меня ожившими глазами.

«Операция во всякомъ случаѣ незаконная. Подробности узнаешь погода. Позволь мнѣ сперва тебѣ объяснить, въ чемъ будетъ состоять твоя работа. У меня есть автомобиль. Ты сядешь въ него, надѣвъ мой костюмъ, и поѣдешь по указанной мною дорогѣ. Вотъ и все. За это ты получишь тысячу марокъ».

«Тысячу, — повторилъ за мной Феликсъ. — А когда вы мнѣ ихъ дадите?»

«Это произойдетъ совершенно естественно, другъ мой. Надѣвъ мой пиджакъ, ты въ немъ найдешь мой бумажникъ, а въ бумажникѣ — деньги».

«Что же я долженъ дальше дѣлать?»

«Я тебѣ уже сказалъ. Прокатиться. Скажемъ такъ: я тебя снаряжаю, а на слѣдующій день, когда самъ то я уже далеко, ты ѣдешь кататься, тебя видятъ, тебя принимаютъ за меня, возвращаешься, а я уже тутъ какъ тутъ, слѣлавъ свое дѣло. Хочешь точнѣе? Изволь. Ты поѣдешь черезъ деревню, гдѣ меня знаютъ въ лицо; ни съ кѣмъ говорить тебѣ не придется, это продолжится всего нѣсколько минутъ, но за эти нѣсколько минутъ я заплачу дорого, ибо онѣ дадутъ мнѣ чудесную возможность быть сразу въ двухъ мѣстахъ».

«Васъ накроютъ съ полчинымъ, — сказалъ Феликсъ, — а потомъ дсберутся и до меня. На судъ все откроется, вы меня предадите».

Я опять разсмѣялся: «Мнѣ, знаешь, нравится, дружокъ, какъ это ты сразу освоился съ мыслью, что я мошенникъ».

Онъ возразилъ, что не любить тюремъ, что въ тюрьмахъ гибнетъ молодость, что ничего нѣтъ лучше свободы и лѣтнія птицъ. Говорилъ онъ это довольно вяло и безъ еся ой неспрязни ко мнѣ. Потомъ задумался, облокотившись на подушку. Стояла душная тишина. Я зѣвнулъ и, не раздѣваясь, легъ навзничъ на постель. Меня посетила

забавная думка, что Феликсъ среди ночи убьетъ и ограбить меня. Вытянувъ въ бокъ ногу, я шаркнулъ подошвой по стѣнѣ, дотронулся носкомъ до выключателя, сорвался, еще сильнѣе вытянулся, и ударомъ каблука погасить свѣтъ.

«А можетъ быть это все вранье? — раздался въ тишинѣ его глупый голосъ. — Можетъ быть, я вамъ не вѣрю...»

Я не шелохнулся.

«Вранье», — повторилъ онъ черезъ минуту.

Я не шелохнулся, а немного погода принялся дышать съ безстрастнымъ ритмомъ сна.

Онъ повидимому прислушивался. Я прислушивался къ тому, какъ онъ прислушивается. Онъ прислушивался къ тому, какъ я прислушиваюсь къ его прислушиванію. Что-то оборвалось. Я замѣтилъ, что думаю вовсе не о томъ, о чемъ мнѣ казалось, что думаю, — попытался поймать свое сознаніе врасплохъ, но запутался.

Мнѣ приснился отвратительный сонъ: Мнѣ приснилась собачка, — но не просто собачка, а лже-собачка, маленькая, съ черными глазками жучьей личинки, и вся бѣленькая, холодненькая, — мясо не мясо, а скорѣе сальце или бланманже, а вѣрнѣе всего мясо бѣлаго червя, да притомъ съ волной и рѣзбой, какъ бываетъ на пасхальномъ баранѣ изъ масла, — гнусная мимикрія, холоднокровное существо, созданное природой подъ собачку, съ хвостомъ, съ лапками, — все какъ слѣдуетъ. Она то и дѣло попадались мнѣ подругу, невозможно было отвязаться, — и когда она прикасалась ко мнѣ, то это было какъ электрической разрядъ. Я проснулся. На простынѣ сосѣдней постели лежала, свернувшись холоднымъ бѣлымъ пирожкомъ, все та же гнусная лже-собачка, — такъ впрочемъ сворачиваются личинки, — я застоналъ отъ отвращения, — и проснулся совсѣмъ. Крутомъ слыли тѣни, постель рядомъ была пуста, и тихо серебрились тѣ широкіе долухи, которье, благодаря сырости, вырастаютъ изъ

рядки кровати. На листьяхъ видѣлись подозрительныя пятна, вродѣ слизи, я всмотрѣлся: среди листьевъ, прилѣпившись къ мякоти стебля, сидѣла маленькая, сальная, съ черными пуговками глазъ... но тутъ ужъ я проснулся по-настоящему.

Въ комнатѣ было уже довольно свѣтло. Мои часики остановились. Должно-быть -- пять, половина шестого. Феликсъ спалъ, завернувшись въ пуховикъ, спиной ко мнѣ, я видѣлъ только его макушку. Странное пробужденіе, странный разсвѣтъ. Я вспомнилъ нашъ разговоръ, вспомнилъ, что мнѣ не удалось его убѣдить, — и новая, занимательнѣйшая мысль овладѣла мной. Читатель, я чувствовалъ себя по-дѣтски свѣжимъ, послѣ недолгаго сна, душа моя была какъ-бы промыта, мнѣ въ концѣ концовъ шелъ всего только тридцать шестой годокъ, щедрый остатокъ жизни могъ быть посвященъ кое-чему другому, нежели мерзкой мечтѣ. Въ самомъ дѣлѣ, — какая занимательная, какая ковая и прекрасная мысль, — воспользоваться совѣтомъ судьбы, и вотъ сейчасъ, сію минуту, уйти изъ этой комнаты, навсегда покинуть, навсегда забыть моего двойника, да можетъ быть онъ и вовсе непохожъ на меня, — я видѣлъ только макушку, онъ крѣпко спалъ, повернувшись ко мнѣ спиной. Какъ отрокъ послѣ одинокой схватки стыднаго порока съ необыкновенной силой и ясностью говорить себѣ: конечно, больше никогда, съ этой минуты чистота, счастье чистоты, — такъ и я, высказавъ вчера все, все уже впередъ испытавъ, измучившись и насладившись въ полной мѣрѣ, былъ съвѣрно готовъ отказаться навсегда отъ соблазна. Все стало такъ просто: на сосѣдней кровати спалъ случайно пригрѣтый мною бродяга, его пыльные бѣдные башмаки, носками внутрь, стояли на полу, и съ пролетарской аккумулятесією было сложено на стулѣ его платье. Что я собственно дѣлалъ въ этомъ номерѣ провинціальной гостиницы, какой смыслъ былъ дальше оставаться тутъ? И этотъ трезвый, тяжелый запахъ чужого пота, это блѣдно-

сѣрое небо въ окнѣ, большая черная муха, сидѣвшая на графинѣ, — все говорило мнѣ: уйди, встань и уйди.

Я спустилъ ноги на завернувшійся коврикъ, зачесалъ карманнымъ гребешкомъ волосы съ висковъ назадъ, безшумно прошелъ по комнатѣ, надѣлъ пиджакъ, пальто, шляпу, подхватилъ чемоданъ и вышелъ, неслышно прикрывъ за собою дверь. Думаю, что если бы даже я и взглянулъ невзначай на лицо моего спящаго двойника, то я бы все-таки ушелъ, — но я и не почувствовалъ побужденія взглянуть, — какъ тотъ же отрокъ, только-что мною помянутый, уже утромъ не удостаиваетъ взглядомъ обольстительную фотографію, которой ночью уливался.

Быстрымъ шагомъ, испытывая легкое головокруженіе, я спустился по лѣстницѣ, заплатилъ за комнату, и, провожаемый соннымъ взглядомъ лакея, вышелъ на улицу. Черезъ полчаса я уже сидѣлъ въ вагонѣ, веселила душу коньячная отрыжка, а въ уголкахъ рта остались соленые слѣды яичницы, торопливо съѣденной въ вокзальномъ буфетѣ. Такъ, на низкой лицеводной нотѣ кончается эта смутная глава.

## ГЛАВА VI.

Небытіе Божье доказывается просто. Невозможно допустить, на примѣръ, что нѣкій серьезный Сый, всемогущій и всемудрый, занимался бы такимъ пустымъ дѣломъ, какъ игра въ человѣчки, — да притомъ — и это, можетъ быть, самое несурзадное — ограничивая свою игру пошлѣйшими законами механики, химіи, математики, — и никогда — замѣтите, никогда! — не показывая своего лица, а развѣ только исподтишка, обиняками, по-воровски — какія ужъ тутъ откровенія! — высказывая спорныя истины изъ-за спины нѣжнаго истерика. Все это божественное является, полагаю я, великой мистификаціей, въ которой разумѣется ужъ отнюдь неповинны попы: они

сами — ея жертвы. Идею Бога изобрѣлъ въ утро міра талантливый шелолай, — какъ то слишкомъ отдастъ чело-вѣчнѣйшая эта самая идея, чтобы можно было вѣрить въ ея лазурное происхожденіе, — но это не значитъ, что она порождена невѣжествомъ, — шелолай мой зналъ толкъ въ горнихъ дѣлахъ — и право не знаю, какой вариантъ небесъ мудрѣе: ослѣпительный плескъ многоочитыхъ ангеловъ или кривое зеркало, въ которое уходитъ, безконечно уменьшаясь, самодовольный профессоръ физики. Я не могу, не хочу въ Бога вѣрить, еще и потому, что сказка о немъ — не моя, чужая, всеобщая сказка, — она пропитана неблагоприятными испареніями миллионѣвъ другихъ людскихъ душъ, повертѣвшихся въ мірѣ и лопнувшихъ; въ ней кишатъ древніе страхи, въ ней звучатъ, мѣшаясь и стараясь другъ друга перекричать, неисчислимые голоса, въ ней — глубокая одышка органа, ревъ дьякона, рулады кантора, негритянской вой, павось рѣчистаго пастора, гонги, громы, жлокотаніе кликушъ, въ ней просвѣчиваютъ блѣдныя страницы всѣхъ философій, какъ пѣна давно разбившихся волнъ, она мнѣ чужда и противна, и совершенно ненужна.

Если я не хозяинъ своей жизни, не деспотъ своего бытія, то никакая логика и ничьи экстазы не разубѣдятъ меня въ невозможной глупости моего положенія, — положенія раба божьяго, — даже не раба, а какой-то спички, которую зря зажигаетъ и потомъ гаситъ любознательный ребенокъ — гроза своихъ игрушекъ. Но безпокоиться не о чемъ, Бога нѣтъ, какъ нѣтъ и безсмертія, — это второе чудище можно такъ же легко уничтожить, какъ и первое. Въ самомъ дѣлѣ, — представьте себѣ, что вы умерли и вотъ очнулись въ раю, гдѣ съ улыбками васъ встрѣчаютъ дорогіе покойники. Такъ вотъ, скажите на милость, какая у васъ гарантія, что это покойники подлинныя, что это дѣйствительно ваша покойная матушка, а не какой-нибудь мелкій демонъ-мистификаторъ, изображающій, играющій вашу матушку съ большимъ искус-

ствомъ и правдоподобіемъ. Вотъ въ чемъ заторъ, вотъ въ чемъ ужась, и вѣдь игра-то будетъ долгая, безконечная, никогда, никогда, никогда душа на томъ свѣтѣ не будетъ увѣрена, что ласковыя, родныя души, окружившія ее, не ряженые демоны, — и вѣчно, вѣчно, вѣчно душа будетъ пребывать въ сомнѣніи, ждать страшной, издѣвательской переменны въ любимомъ лицѣ, наклонившемся къ ней. Поэтому я все приму, пускай рослый палачъ въ цилиндрѣ; а затѣмъ — раковинный гулъ вѣчнаго небытія, но только не пытка безсмертіемъ, только не эти бѣлыя, холодныя собачки, — увольте, — я не вынесу ни малѣйшей нѣжности, предупреждаю васъ, ибо все — обманъ, все — гнусный фокусъ, я не довѣряю ничему и никому, — и когда самый близкій мнѣ человѣкъ, встрѣтивъ меня на томъ свѣтѣ, подойдетъ ко мнѣ и протянетъ знакомыя руки, я заору отъ ужаса, я трохнусь на райскій дернъ, я забьюсь, я не знаю, что сдѣлаю, — нѣтъ, закрой-те для посторожныхъ входъ въ области блаженства.

Однако, несмотря на мое невѣріе, я по природѣ своей не унылъ и не золь. Когда я изъ Тарница вернулся въ Берлинъ и произвелъ опись своего душевнаго имущества, я, какъ ребенокъ, обрадовался тому небольшому, но несомнѣнному богатству, которое оказалось у меня, и почувствовалъ, что, обновленный, освѣженный, освобожденный, вступаю, какъ говорится, въ новую полосу жизни. У меня была глупая, но симпатичная, преклонявшаяся предо мной жена, славная квартирка, прекрасное пищевареніе и синий автомобиль. Я ощущалъ въ себѣ поэтическій, писательскій даръ, а сверхъ того — крупныя дѣловыя способности. — даромъ, что мои дѣла шли неважно. Феліксъ, двойникъ мой, казался мнѣ безобиднымъ курьезомъ, и я бы въ тѣ дни, пожалуй, рассказалъ о немъ другу, подвернись такой другъ. Мнѣ приходило въ голову, что слѣдуетъ бросить шоколадъ и заняться другимъ, — напримѣръ, изданіемъ дорогихъ роскошныхъ книгъ, посвященныхъ всестороннему освѣщенію эроса — въ ли-



тературѣ, въ искусствѣ, въ медицинѣ... Вообще во мнѣ проснулась пламенная энергія, которую я не зналъ къ чему приложить. Особенно помню одинъ вечеръ, — вернувшись изъ конторы домой, я не засталъ жены, она оставила записку, что ушла въ кинематографъ на первый сеансъ, — я не зналъ, что дѣлать съ собой, ходилъ по комнатамъ и щелкалъ пальцами, — потомъ сѣлъ за письменный столъ, -- думалъ заняться художественной прозой, но только замусолилъ перо да нарисовалъ нѣсколько каплющихъ носовъ, — всталъ и вышелъ, мучимый жаждой хоть какого-нибудь общенія съ міромъ, — собственное общество мнѣ было невыносимо, оно слишкомъ возбуждало меня, и возбуждало впустую. Отправился я къ Ардаліону, — человекъ онъ съ шутовской душой, полнокровный, презрѣнный, — когда онъ наконецъ открылъ мнѣ (боясь кредиторовъ, онъ запиралъ комнату на ключъ), я удивился, почему я къ нему пришелъ.

«Лида у меня, — сказалъ онъ, жуя что-то (потомъ оказалось: резинку). — Барынѣ нездоровится, разблещайтесь».

На постели Ардаліона, полуодѣтая, то-есть безъ туфель и въ мятомъ зеленомъ чехлѣ, лежала Лида и курила.

«О, Германъ, — проговорила она, — какъ хорошо, что ты догадался придти, у меня что-то съ животикомъ. Садись ко мнѣ. Теперь мнѣ лучше, а въ кинематографъ было совсѣмъ худо».

«Недосмотрѣли боевика, — пожаловался Ардаліонъ, ковыряя въ трубкѣ и просыпая черную золу на полъ. — Вотъ ужъ полчаса, какъ валяется. Все это дамскія штучки, -- здорова, какъ корова».

«Попроси его замолчать», — сказала Лида.

«Послушайте, — обратился я къ Ардаліону, — вѣдь не ошибаюсь я, вѣдь у васъ дѣйствительно есть такой натюр-мортъ, — трубка и двѣ розы?»

Онъ издалъ звукъ, который неразборчивые въ средствахъ романисты изображаютъ такъ: «Гмъ».

«Нѣту. Вы что-то путаете, синьоръ».

«Мое первое, — сказала Лида, лежа съ закрытыми глазами, — мое первое — большая и неприятная группа людей, мое второе... мое второе — звѣрь по-французски, — а мое цѣлое — такой маляръ».

«Не обращайтесь на нее вниманія, — сказалъ Ардаліонъ. — А насчетъ трубки и розъ, — нѣтъ, не помню, — впрочемъ, посмотрите сами».

Его произведенія висѣли по стѣнамъ, валялись на столѣ, громоздились въ углу въ пыльных папкахъ. Все вообще было покрыто сѣрымъ пушкомъ пыли. Я посмотрѣлъ на грязныя фіолетовыя пятна акварелей, безразлично перебралъ нѣсколько жирныхъ листовъ, лежавшихъ на валкомъ стулѣ.

«Во-первыхъ «орда» пишется черезъ «о», — сказалъ Ардаліонъ. — Изволили спутать съ арбой».

Я вышелъ изъ комнаты и направился къ хозяйкѣ въ столовую. Хозяйка, старуха, похожая на сову, сидѣла у окна, на ступень выше псла, въ готическомъ креслѣ и штопала чулокъ на грибѣ. «Посмотрѣть на картины», — сказалъ я.

«Прошу васъ», — отвѣтила она милостиво.

Справа отъ буфета висѣло какъ разъ то, что я искалъ, — но оказалось, что это несомнѣнъ двѣ розы и несомнѣнъ трубка, а два большихъ персика и стеклянная пепельница.

Вернулся я въ сильнѣйшемъ раздраженіи.

«Ну что, — спросилъ Ардаліонъ, — нашли?»

Я покачалъ головой. Лида уже была въ платьѣ и пригладивала передъ зеркаломъ волосы грязнѣйшей Ардаліоновой щеткой.

«Главное, — ничего такого не бѣла», — сказала она, суживая по привычкѣ носъ.

«Просто газы, — замѣтилъ Ардаліонъ. — Погодите,

господа, я выйду съ вами вмѣстѣ, — только одѣнусь. Отвернись, Лидуша».

Онъ былъ въ заплатанномъ, испачканномъ краской малярскомъ балахонѣ почти до пятъ. Снялъ его. Внизу были кальсоны, — больше ничего. Я ненавижу неряшливость и нечистоплотность. Ей-Богу, Феликсъ былъ какъ-то чище его. Лида глядѣла въ окно и напѣвала, дурно произнося нѣмецкія слова, уже успѣвшую выйти изъ моды пѣсенку. Ардалионъ бродилъ по комнатѣ, одѣваясь по мѣрѣ тою, какъ находилъ — въ самыхъ неожиданныхъ мѣстахъ — разныя части своего туалета.

«Эхъ-ма! — воскликнулъ онъ вдругъ. — Что можетъ быть банальнѣе бѣднаго художника? Если бы мнѣ кто-нибудь помогъ устроить выставку, я сталъ бы сразу славенъ и богатъ».

Онъ у насъ ужиналъ, потомъ игралъ съ Лидой въ дураки и ушелъ за полночь. Даю все это, какъ образецъ весело и плодотворно проведеннаго вечера. Да, все было хорошо, все было отлично, — я чувствовалъ себя другимъ человѣкомъ, — освѣженнымъ, обновленнымъ, освобожденнымъ, — и такъ далѣе, — квартира, жена, балагуры-друзья, пріятный, пронизывающій холодъ желѣзной берлинской зимы, — и такъ далѣе. Не могу удержаться и отъ того, чтобы не привести примѣра тѣхъ литературныхъ забавъ, коимъ я началъ предаваться, — бессознательная тренировка, должно быть, передъ теперешней работой моей надъ сей изнурительной повѣстью. Сочиненища той зимы я давно уничтожилъ, но довольно живо у меня осталось въ памяти одно изъ нихъ. Какъ хороши, какъ свѣжи... Музыка, пожалуйста!

Жиль-былъ на свѣтѣ слабый, вялый, но состоятельный человѣкъ, нѣкто Игрекъ Иксовичъ. Онъ любилъ оболстительную барышню, которая, увы, не обращала на него никакого вниманія. Однажды, путешествуя, этотъ блѣдный, скучный человѣкъ увидѣлъ на берегу моря молодого рыбака, по имени Дика, веселаго, загорѣлаго,

сильнаго, и вмѣстѣ съ тѣмъ — о чудо! — поразительно, невѣроятно похожаго на него. Интересная мысль зародилась въ немъ: онъ пригласилъ барышню поѣхать съ нимъ къ морю. Они остановились въ разныхъ гостиницахъ. Въ первое же утро она, отираившись гулять, увидѣла съ обрыва — кого? неужели Игрека Иксовича? — вотъ не думала! Онъ стоялъ внизу на пескѣ, веселый, загорѣлый, въ полосатой фуфайкѣ, съ голыми могучими руками (но это былъ Дикъ). Барышня вернулась въ гостиницу и, трепета полна, принялась его ждать. Минуты ей казались часами. Онъ же, настоящій Игрекъ Иксовичъ, видѣлъ изъ-за куста, какъ она смотритъ съ обрыва на Дика, его двойника, и теперь, выжидая, чтобъ окончательно созрѣло ее сердце, безпокойно слонялся по поселку въ городской парѣ, въ сиреновомъ галстукѣ, въ бѣлыхъ башмакахъ. Внезапно какая-то смуглая, яркоглазая дѣвушка въ красной юбкѣ окликнула его съ порога хижины, — всплеснула руками: «Какъ ты чудно одѣтъ, Дикъ! Я думала, что ты просто грубый рыбакъ, какъ всѣ наши молодые люди, и я не любила тебя, — но теперь, теперь...» Она увлекла его въ хижину. Шопотъ, запахъ рыбы, жгучія ласки... протекали часы... я открыла глаза, мой покой былъ весь облитъ зарею... Наконецъ, Игрекъ Иксовичъ направился въ гостиницу, гдѣ ждала его та... нѣжная, единственная, которую онъ такъ любилъ. «Я была слѣпа! — воскликнула она, какъ только онъ вошелъ. — И вотъ — прозрѣла, увидя на солнечномъ побережьѣ твою бронзовую наготу. Да, я люблю тебя, дѣлай со мной все, что хочешь!» Шопотъ? Жгучія ласки? Протекали часы? — Нѣтъ, увя нѣтъ, отнюдь нѣтъ. Бѣдняга былъ истощенъ недавнимъ развлеченіемъ, и грустно, понуро сидѣлъ, раздумывая надъ тѣмъ, какъ самъ сдуру предаль, обратилъ въ ничто свой остроумнѣйшій замыселъ...

Литература неважная, — самъ знаю. Покамѣстъ я это писалъ, мнѣ казалось, что выходитъ очень умно и ловко, — такъ иногда бываетъ со снами, — во снѣ великолѣп-

но, съ блескомъ, говоришь, — а проснешься, вспоминаешь: вялая чепуха. Съ другой же стороны эта псевдоуайльдовская сказочка вполне пригодна для напечатанія въ газетѣ, — редактора любятъ потчевать читателей такими чуть-чуть вольными, кокетливыми рассказиками въ сорокъ строкъ, съ элегантною пуантой и съ тѣмъ, что невѣжды называютъ парадоксъ («Его разговоръ былъ усыпанъ парадоксами»). Да, пустякъ, шалость пера, но какъ вы удивитесь сейчасъ, когда скажу, что пошлятину эту я писалъ въ мукахъ, съ ужасомъ и скрежетомъ зубнымъ, яростно облегчая себя и вмѣстѣ съ тѣмъ сознавая, что никакое это не облегченіе, а изысканное самоистязаніе, и что этимъ путемъ я ни отъ чего не освобожусь, а только пуще себя разстрою.

Въ такомъ приблизительно расположеніи духа я встрѣтилъ Новый Годъ, — помню эту черную тушу ночи, дурночь, затаившую дыханіе, ожидавшую боя часовъ, сакраментальнаго срока. За столомъ сидятъ Лида, Ардалионъ, Орловіусъ и я, неподвижные и стилизованные, какъ звѣрье на гербахъ: — Лида, положившая локоть на столъ и настороженно поднявшая палецъ, голоплечая, въ пестромъ, какъ рубашка игральной карты, платьѣ; Ардалионъ, завернувшійся въ пледъ (дверь на балконъ открыта), съ краснымъ отблескомъ на толстомъ львиномъ лицѣ; Орловіусъ — въ черномъ сюртукѣ, очки блестятъ, отложной воротничекъ поглотилъ края крохотнаго чернаго галстука; — и я, человѣкъ-молнія, озарившій эту картину. Конечно, разрешаю вамъ двигаться, скорѣе сюда бутылку, сейчасъ пробьютъ часы. Ардалионъ разлилъ по бокаламъ шампанское, и всѣ замерли опять. Бокомъ и поверхъ очковъ, Орловіусъ глядѣлъ на старые серебряные часы, выложенные имъ на скатерть: еще двѣ минуты. Кто-то на улицѣ не выдержалъ — затрещалъ и лопнулъ, — а потомъ снова — напряженная тишина. Фиксируя часы, Орловіусъ медленно протянулъ къ бокалу старческую, съ когтями грифона, руку.

Внезапно ночь стала рваться по швамъ, съ улицы раздались заздравные крики, мы по-королевски вышли съ бокалами на балконъ, — надъ улицей взвивались и, бахнувъ, раздражались цвѣтными рыданіями ракеты, — и во всѣхъ окнахъ, на всѣхъ балконахъ, въ клиньяxъ и квадратахъ праздничнаго свѣта, стояли люди, выкрикивали одни и тѣ же бессмысленно радостныя слова.

Мы всѣ четверо чокнулись, я отпилъ глотокъ.

«За что пьеть Германъ?» — спросила Лида у Ардалиона.

«А и почему знаю, — отвѣтилъ тотъ. — Все равно онъ въ этомъ году будетъ обезглавленъ, — за сокрытіе доходовъ».

«Фу, какъ нехорошо, — сказалъ Орловиусъ. — Я пью за всеобщее здоровье».

«Естественно», — замѣтилъ я.

Спустя нѣсколько дней, въ воскресное утро, пока я мылся въ ваннѣ, постучала въ дверь прислуга, — она что-то говорила, — шумъ льющейся воды заглушалъ слова, — я закричалъ: «въ чемъ дѣло? что вамъ надо?» — но мой собственный крикъ и шумъ воды заглушали то, что Эльза говорила, и всякій разъ, что она начинала сызнова говорить, я опять кричалъ, — какъ иногда двое не могутъ разминуться на широкомъ, пустомъ тротуарѣ, — но наконецъ я догадался завернуть кранъ, подскочилъ къ двери, и среди внезапной тишины Эльза отчетливо сказала:

«Васъ хочетъ видѣть человекъ».

«Какой человекъ?» — спросилъ я и отворилъ на дюймъ дверь.

«Какой-то человекъ», — повторила Эльза.

«Что ему нужно?» — спросилъ я и почувствовалъ, что вспотѣлъ съ головы до пятъ.

«Говорить, что по дѣлу, и что вы знаете, какое дѣло».

«Какой у него видъ?» — спросилъ я черезъ силу.

«Онъ ждетъ въ прихожей», — сказала Эльза.

«Видъ какой, — я спрашиваю».

«Бѣдный на видъ, съ рюкзакомъ», — отвѣтила она.

«Такъ пошлите его ко всѣмъ чертямъ! — крикнулъ я. — Пускай уберется мгновенно, меня нѣтъ дома, меня нѣтъ въ Берлинѣ, меня нѣтъ на свѣтѣ!..»

Я прихлопнулъ дверь, щелкнулъ задвижкой. Сердце прыгало до горла. Прошло можетъ быть подминуты. Не знаю, что со мной случилось, но, уже крича, я вдругъ отперъ дверь, полуголый выскочилъ изъ ванны, встрѣтилъ Эльзу, шедшую по коридору на кухню.

«Задержите его, — кричалъ я. — Гдѣ онъ? Задержите!»

«Ушелъ, — ничего не сказалъ и ушелъ».

«Кто вамъ велѣлъ...», — началъ я, но не докончилъ, рсмычался въ спальню, сдѣлся, выбѣжалъ на лѣстницу, на улицу. Никого, никого. Я дошелъ до угла, постоялъ, сзираясь, и вернулся въ домъ. Лиды не было, спозаранку ушла къ какой-то своей знакомой. Когда она вернулась, я сказалъ ей, что дурно себя чувствую и не пойду съ ней въ кафе, какъ было условлено.

«Бѣдный, — сказала она. — Ложись. Прими что-нибудь, у насъ есть салипиринъ. Я, знаешь, пойду въ кафе одна».

Ушла. Прислуга ушла тоже. Я мучительно прислушивался, ожидая звонка. «Какой болванъ, — повторялъ я, — какой неслыханный болванъ!» Я находился въ ужасномъ, прямо-таки болѣзненномъ и нестерпимомъ волненіи, я не зналъ, что дѣлать, я готовъ былъ молиться несбытному Богу, чтобы раздался звонокъ. Когда стемнѣло, я не зажигаю свѣта, а продолжалъ лежать на диванѣ и все слушалъ, слушалъ, — онъ навѣрное еще придетъ до закрытія наружныхъ дверей, а если нѣтъ, то ужъ завтра или послѣзавтра совсѣмъ, совсѣмъ навѣрное, — я умру, если онъ не придетъ, — снѣ долженъ придти. Около восьми звонокъ наконецъ раздался. Я выбѣжалъ въ прихожую.

«Фу, устала!» — по-домашнему сказала Лида, сдергивая на ходу шляпу и тряся волосами.

Ее сопровождалъ Ардалионъ. Мы съ нимъ прошли въ гостиную, а жена отправилась на кухню.

«Холдно, странничекъ, голодно», — сказалъ Ардалионъ, грѣя ладони у радиатора.

Пауза.

«А все-таки, — произнесъ онъ, щурясь на мой портретъ, — очень похоже, замѣчательно похоже. Это нескромно, но я всякій разъ люблюсь имъ, — и вы хорошо сдѣлали, сэръ, что опять сбрили усы».

«Кушать пожалуйста», — нѣжно сказала Лида, приоткрывъ дверь.

Я не могъ ѣсть, я продолжалъ прислушиваться, хотя теперь уже было поздно.

«Двѣ мечты, — говорилъ Ардалионъ, складывая пласты ветчины, какъ это дѣлаютъ съ блинами, и жирно чавкая. — Двѣ райскихъ мечты: выставка и поѣздка въ Италію».

«Человѣкъ, знаешь, больше мѣсяца, какъ не пьетъ», — объяснила мнѣ Лида.

«Ахъ, кстати, — Перебродовъ у васъ былъ?» — спросилъ Ардалионъ.

Лида прижала ладонь ко рту. «Забула, — проговорила она сквозь пальцы. — Сувѣмъ забула».

«Экая ты росомаха! Я ее просилъ васъ предупредить. Есть такой несчастный художникъ, Васька Перебродовъ, пѣшкомъ пришелъ изъ Данцига, — по крайней мѣрѣ говорить, что изъ Данцига и пѣшкомъ. Продаетъ расписные портсигары. Я его направилъ къ вамъ, Лида сказала, что поможете».

«Заходилъ, — отвѣтилъ я, — заходилъ, какъ же, и я его послалъ къ чертовой матери. Былъ бы очень вамъ обязанъ, если бы вы не посылали ко мнѣ всякихъ проходимцевъ. Можете передать вашему коллегѣ, чтобы онъ больше не утруждалъ себя хожденіемъ ко мнѣ. Это въ самомъ дѣлѣ страшно. Можно подумать, что я присяжный



благотворитель. (Пойдите къ чорту съ вашимъ Перебродовымъ, я вамъ просто запрещаю!..)

«Германъ, Германъ», — мягко вставила Лида.

Ардаліонъ пукнулъ губами. «Грустная исторія», — сказалъ онъ.

Еще нѣкоторое время я продолжалъ браниться, точныхъ словъ не помню, да это и неважно.

«Дѣйствительно, — сказалъ Ардаліонъ, косясь на Лиду, — кажется маху далъ. Винувать».

Вдругъ замолчавъ, я задумался, мѣшая ложечкой давно размѣшанный чай, и погода проговорилъ вслухъ:

«Какой я все-таки остолопъ».

«Ну, зачѣмъ же сразу такъ перебарщивать», — добродушно оказалъ Ардаліонъ.

Моя глупость меня самого развеселила. Какъ мнѣ не пришло въ голову, что, если бы онъ вправду явился (а уже одно его появленіе было бы чудомъ, — вѣдь онъ даже имени моего не зналъ), съ горничной долженъ былъ бы сдѣлаться родимчикъ, ибо передъ нею стоялъ бы мой двѣйникъ! Теперь я живо представилъ себѣ, какъ она бы вскрикнула, какъ прибѣжала бы ко мнѣ, какъ, захлебываясь, завопила бы о сходствѣ.. Я бы ей объяснилъ, что это мой братъ, неожиданно прибывшій изъ Россіи.. Между тѣмъ, я провелъ длинный, одинокій день въ бессмысленныхъ страданіяхъ, — и вмѣсто того, чтобы дивиться его появленію, старался рѣшить, что случится дальше, — ушелъ ли онъ навсегда или явится, и что у него на умѣ, и возможно ли теперь воплощеніе моей такъ и непобѣжденной, моей дикой и чудной мечты, — или уже двадцать человѣкъ, знающихъ меня въ лицо, видѣли его на улицѣ, и все пошло прахомъ. Пораздумавъ надъ своимъ недомысліемъ, и надъ опасностью, такъ просто разсѣявшейся, я гочувствовалъ, какъ уже сказалъ, наплывъ веселія и добросердія.

«Я сегодня нервень. Простите. Честно говоря, я просто не видалъ вашего симпатичнаго Перебродова. Онъ при-

шелъ некстати, я мылся, и Эльза сказала ему, что меня нѣтъ дома. Вотъ: передайте ему эти три марки, когда увидите его — чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъ, — но скажите ему, что больше дать не въ состояннн, лускай обратится, напрімѣръ, къ Давыдову, Владиміру Исаковичу».

«Это идѣя, — сказалъ Ардаліонъ. — Я и самъ тамъ стрѣльну. Пьетъ онъ, между прочимъ, какъ звѣрь, Васька Перебродовъ. Спросите мою тетушку, ту, которая вышла за французскаго фермера, — я вамъ рассказывалъ, — очень живая особа, но несосвѣтимо скупа. У нея около Феодосіи было имѣніе, мы тамъ съ Васькой весь погребъ выпили въ двадцатомъ году».

«А насчетъ Италіи еще поговоримъ, — сказалъ я, улыбаясь, — да-да, поговоримъ».

«У Германа золотое сердце», — замѣтила Лида.

«Передай-ка мнѣ колбасу, дорогая», — сказалъ я все съ той же улыбкой.

Я тогда несосвѣтъ понималъ, что со мною творилось, — но теперь понимаю: глухо, но буйно — и вотъ: уже не удержимо — вновь нарастала во мнѣ страсть къ моему двѣйнику. Первымъ дѣломъ это выразилось въ томъ, что въ Берлинѣ появилась для меня нѣкая смутная точка, вокругъ которой почти безсознательно, движимый невнятной силой, я началъ замыкать круги. Густая синева почтового ящика, желтый толстошинный автомобиль со стилизованнымъ чернымъ орломъ подъ рѣшетчатымъ оконцемъ, почталіонъ съ сумой на животѣ, идущій по улицѣ медленно, съ той особой медленностью, какая бываетъ въ ухваткахъ опытныхъ рабочихъ, синій, прищуренный марочный автоматъ у вокзала и даже лавка, гдѣ въ конвертахъ съ прюсвѣтомъ заманчиво тѣснятся аппетитно смѣшанныя марки всѣхъ странъ, — все вообще, связанное съ почтой, стало оказывать на меня какое-то давленіе, какое-то неотразимое вліяніе. Однажды, помнится, почти какъ сомнамбулъ, я оказался въ одномъ знакомомъ мнѣ переулкѣ, и вотъ уже близился къ той смутной и

притягательной точкѣ, которая стала серединой моего бытія, — но какъ разъ слохватился, ушелъ, — а черезъ нѣкоторое время, — черезъ нѣсколько минутъ, а можетъ быть черезъ нѣсколько дней, — замѣтилъ, что снова, но съ другой стороны, вступилъ въ тотъ переулочекъ. Навстрѣчу мнѣ съ развалцемъ шли сивіе почтальоны и на углу разбрелись кто куда. Я повернулъ, кусая заусеницы, — я тряхнулъ головой, я еще противился. Главное: вѣдь я зналъ, страстнымъ и безшибочнымъ чутьемъ, что письмо для меня есть, что ждетъ оно моего востребованія, — и зналъ, что рано или поздно поддамся соблазну.

## VII.

Ес-первыхъ: эпиграфъ, но не къ этой главѣ, а такъ, вообще: литература это любовь къ людямъ. Теперь продолжимъ.

Въ помѣщеніи почтамта было темновато. У окошекъ стояло по два по три человѣка, все больше женщины. Въ каждомъ окошкѣ, какъ тусклый портретъ, видѣлось лицо чиновника. Вонъ тамъ — номеръ девятый. Я несразу рѣшился... Подойдя сначала къ столу посреди помѣщенія — столу, раздѣленному перегородками на конторки, я притворился передъ самимъ собой, что мнѣ нужно кое-что написать, нашель въ карманѣ старый счетъ и на оборотѣ принялся выводить первыя попавшіяся слова. Казенное перо неприятно трещало, я соваль его въ дырку чернильницы, въ черный плевокъ, по блѣдному бювару, на который я облакостился, шли, такъ и сякъ скрещивались, стисчатки невѣдомыхъ строкъ, — ирраціональный почеркъ, минусъ-почеркъ, — что всегда напоминаетъ мнѣ зеркало, — минусъ на минусъ даетъ плюсъ. Мнѣ пришло въ голову, что и Феликсъ нѣкій минусъ я, — изумительной важности мысль, которую я напрасно, напрасно до конца не предумалъ. Между тѣмъ худосочное перо въ мсей рукѣ писало такія слова: Не надо, не хочу, хочу, чу-

хснецъ, хочу, не надо, адъ. Я смялъ листокъ въ кулакѣ, нетерпѣливая толстая женщина протиснулась и схватила освободившееся перо, отбросивъ меня ударомъ каракулевого крупа. Я вдругъ оказался передъ окошкомъ номеръ девять. Большое лицо съ блѣдными усами вопросительно посмотрѣло на меня. Шопотомъ я сказалъ пароль. Рука съ чернымъ чехольчикомъ на указательномъ пальцѣ протянула мнѣ цѣлыхъ три письма. Мнѣ кажется, все это произошло мгновенно, — и черезъ мгновеніе я уже шагаль по улицѣ, прижимая руку къ груди. Дойдя до ближайшей скамьи, сѣлъ и жадно распечаталъ письма.

Поставьте тамъ памятникъ, — на примѣръ желтый столбъ. Пусть будетъ отмѣчена вещественной вѣхой эта минута. Я сидѣлъ и читалъ, — и вдругъ меня сталъ душиить неожиданный и неудержимый смѣхъ. Господа, то были письма шантажного свойства! Шантажное письмо, за которымъ можетъ быть никто и никогда не придетъ, шантажное письмо, которое посылается до востребованія и подъ условнымъ шифромъ, то-есть съ откровеннымъ признаніемъ, что отправитель не знаетъ ни адреса, ни имени получателя, — это безумно смѣшной парадоксъ! Въ первомъ изъ этихъ трехъ писемъ — отъ середины ноября, — шантажный мотивъ еще звучалъ подъ сурдинкой. Оно дышало обидой, оно требовало отъ меня объясненій, — пишущій поднималъ брови, готовый впрочемъ улыбнуться своей высокобрововой улыбкой, — онъ не понималъ, снѣ счень хотѣлъ понять, почему я ведъ себя такъ таинственно, ничего не договсрилъ, скрылся посреди ночи... Нѣкоторыя все-же подозрѣнія у него были, — но онъ еще не желалъ играть въ открытую, былъ готовъ эти подозрѣнія утаить отъ міра, ежели я поступлю, какъ нужно, — и съ достоинствомъ выражалъ свое недоумѣніе, и съ достоинствомъ ждалъ свѣта. Все это было до-нельзя безграмотно и вмѣстѣ съ тѣмъ манерно, — эта смѣсь и была его стилемъ. Въ слѣдующемъ письмѣ — отъ конца декабря (каксе терпѣніе: ждалъ мѣсяцы!) — шантажная

музычка уже доносилась гораздо отчетливѣе. Уже ясно было, отчего онъ вообще писалъ. Воспоминаніе о тысячемарковомъ билетѣ, объ этомъ сѣро-голубомъ виднѣи, мелькнувшемъ передъ его носомъ и вдругъ исчезнувшимъ, терзало душу, вожелѣніе его было возбуждено до крайности, онъ облизывалъ сухія губы, не могъ простить себѣ, что выпустилъ меня и со мной — обольстительный шелестъ, отъ котораго зудѣло въ кончикахъ пальцевъ. Онъ писалъ, что готовъ встрѣтиться со мной снова, что многое за это время обдумалъ, — но что если я отъ встрѣчи уклонюсь или просто не отвѣчу, то онъ принужденъ будетъ... и тутъ распласталась огромная клякса, которую подлецъ поставилъ нарочно — съ цѣлью меня заинтриговать, — ибо самъ совершенно не зналъ, какую именно объявить угрозу. Наконецъ, третье письмо, январское, было для Феликса настоящимъ шедевромъ. Я его помню подробнѣе другихъ, такъ какъ нѣсколько дольше другихъ оно у меня пребывало... «Не получивъ отвѣта на мои прежнія письма, мнѣ начинаетъ казаться, что пора-пора принять извѣстныя мѣры, но все-жъ-таки я вамъ даю еще мѣсяцъ на размышленія, послѣ чего обращусь въ такое мѣсто, гдѣ ваши поступки будутъ вполнѣ и полностью оцѣнены, а если и тамъ симпатіи не встрѣчу, ибо кто неподкупенъ, то прибѣгну къ воздѣйствію особаго рода, что вообразить я всецѣло предоставляю вамъ, такъ какъ считаю, что когда власти не желаютъ да и только карать мошенниковъ, долгъ всякаго честнаго гражданина учинить по отношенію къ нежелательному лицу такой разгромъ и шумъ, что поневоля государство будетъ принуждено реагировать, но входя въ ваше личное положеніе, я готовъ по соображеніямъ доброты и услужливости отъ своихъ намѣреній отказаться и никакого грохота не дѣлать подъ тѣмъ условіемъ, что вы въ теченіе сего мѣсяца пришлете мнѣ, пожалуйста, довольно большую сумму для покрытія всѣхъ тревогъ, мною понесенныхъ, размѣръ которой оставляю

на ваше почтенное усмотрѣніе». Подпись: «Воробей», а ниже — адресъ провинціального почтамта.

Я долго наслаждался этимъ послѣднимъ письмомъ, всю прелесть котораго едва-ли можетъ передать послышанный мой переводъ. Мнѣ все нравилось въ немъ — и торжественный потокъ словъ, не стѣсненныхъ ни одной точкой, и тупая, мелкая подлость этого невиннаго на видъ человѣка, и подразумеваемое согласіе на любое мое предложеніе, какъ бы оно ни было гнусно, лишь бы пресловутая сумма попала ему въ руки. Но главное, что доставляло мнѣ наслажденіе, — наслажденіе такой силы и тѣлоты, что трудно было его выдержать, — состояло въ томъ, что Феликсъ самъ, безъ всякаго моего принужденія, вновь появлялся, предлагалъ мнѣ свои услуги, — болѣе того, заставлялъ меня эти услуги принять и, дѣлая все то, что мнѣ хотѣлось, при этомъ какъ бы снималъ съ меня всякую отвѣтственность за роковую послѣдовательность событій.

Я тряса отъ смѣха, сидя на той скамьѣ, — о поставьте тамъ памятникъ — желтый столбъ — непременно поставьте! Какъ онъ себѣ представлялъ, этотъ балда: что его письма будутъ какимъ-то телепатическимъ образомъ передавать мнѣ вѣсть о своемъ прибытіи? что, чудомъ прочтя ихъ, я чудомъ повѣрю въ силу его призрачныхъ угрозъ? А вѣдь забавно, что я дѣйствительно почувля лоявленіе его писемъ за окномъ номеръ девять и дѣйствительно собирался отвѣтить на нихъ, — точно впрямъ убоясь ихъ угрозъ, — то-есть исполнялось все, что онъ по неслыханной, наглой глупости своей предполагалъ, что исполнится. И сидя на скамьѣ, и держа эти письма въ горячихъ ссисяхъ объятіяхъ, я почувствовалъ, что замысль мой намѣтился окончательно, что все готово или почти готово, — не хватало двухъ-трехъ штриховъ, наложеніе которыхъ труда не представляло. Да и что такое трудъ въ этой области? Все дѣлалось само собой, все текло и плавно сливалось, принимая неизбѣжныя фор-

мы — съ того самаго мига, какъ я впервые увидѣлъ Феликса, — ахъ, развѣ можно говорить о трудѣ, когда рѣчь идетъ о гармоніи математическихъ величинъ, о движеніи планетъ, о планомерности природныхъ законовъ? Чудесное зданіе строилось какъ бы помимо меня, — да, все съ самаго начала мнѣ пособляло, — и теперь, когда я спросилъ себя, что напишу Феликсу, я понялъ, безъ большого впрсчемъ удивленія, что это письмо уже имѣется въ моемъ мозгу, — готово, какъ тѣ поздравительныя телеграммы съ виньеткой, которыя за известную приплату можно послать новобрачнымъ. Слѣдовало только вписать въ готовый формуляръ дату, — вотъ и все.

Поговоримъ о преступленіяхъ, объ искусствахъ преступленія, о карточныхъ фокусахъ, я очень сейчасъ возбужденъ. Конанъ Дойль! Какъ чудесно ты могъ завершить свое теореніе, когда надоѣли тебѣ герои твои! Какую возможность, какую тему ты профукалъ! Вѣдь ты могъ написать еще одинъ послѣдній рассказъ, — заключеніе всей шерлоковой эпопеи, эпизодъ, вѣнчающій всѣ предыдущіе: убійцей въ немъ долженъ былъ бы оказаться не одноногий бухгалтеръ, не китаецъ Чингъ, и не женщина въ красномъ, а самъ Пименъ всей криминальной лѣтописи, самъ докторъ Ватсонъ, — чтобы Ватсонъ былъ бы, такъ сказать, винсентсонъ... Безмерное удивленіе читателя! Да что Дойль, Достоевскій, Лебланъ, Уоллесъ, что всѣ великіе романисты, писавшіе о ловкихъ преступникахъ, что всѣ великіе преступники, не читавшіе ловкихъ романистовъ! Всѣ они невѣжды по сравненію со мной. Какъ бываетъ съ гениальными изобрѣтателями, мнѣ конечно неслучай (встрѣча съ Феликсомъ), но этотъ случай попалъ какъ разъ въ формочку, которую я для него уготовилъ, этотъ случай я замѣтилъ и использовалъ, чего другой на моемъ мѣстѣ не сдѣлалъ бы. Мое созданіе похоже на пасьянсъ, составленный напередъ: я разложилъ открытыя карты такъ, чтобы онъ выходилъ наизвѣрняка, собралъ ихъ въ обратномъ порядкѣ, далъ при-

готовленную колоду другимъ, — пожалуйста, разложите, — ручаюсь, что выйдеть! Ошибка моихъ безчисленныхъ предтечѣй состояла въ томъ, что они разсматривали самый актъ, какъ главное и удѣляли больше вниманія тому, какъ потомъ замести слѣды, нежели тому, какъ наиболѣе естественно довести дѣло до этого самаго акта, ибо онъ только одно звено, одна деталь, одна строка, онъ долженъ естественно вытекать изъ всего предыдущаго, — таково свойство всѣхъ искусствъ. Если правильно задумано и выполнено дѣло, сила искусства такова, что, явись преступникъ на другой день съ повинной, ему бы никто не повѣрилъ, — настолько вымыселъ искусства правдивѣе жизненной правды.

Все это, помнится, промелькнуло у меня въ головѣ именно тогда, когда я сидѣлъ на скамьѣ съ письмами въ рукахъ, — но тогда было одно, теперь — другое; я внесъ теперь небольшую поправку, а именно ту, что, какъ бываетъ и съ волшебными произведеніями искусства, которыхъ чернь долгое время не признаеть, не понимаетъ, коихъ обаянію не поддается, такъ случается и съ самымъ гениально продуманнымъ преступленіемъ: гениальности его не признають, не дивятся ей, а сразу выскиваютъ, что бы такое раскритиковать, охаять, чѣмъ бы такимъ побольнѣе уязвить автора, и кажется имъ, что они нашли желанный промахъ, — вотъ они гогочуть, но ошиблись они, а не авторъ, — нѣтъ у нихъ тѣхъ изумительно зоркихъ глазъ, которыми снабженъ авторъ, и не видять они ничего особеннаго тамъ, гдѣ авторъ увидѣлъ нуду.

Посмѣявшись, успокоившись, ясно обдумавъ дальнѣйшія свои дѣйствія, я положилъ третье, самое озорное, письмо въ бумажникъ, а два остальныхъ разорвалъ на мелкіе клочки, бросилъ ихъ въ кусты сосѣдняго сквера, при чемъ мигомъ слетѣлось нѣсколько воробьевъ, принявъ ихъ за крошки. Затѣмъ, отправившись къ себѣ въ контору, я настучалъ письмо къ Феликсу съ подроб-



ными указаніями, куда и когда явиться, приложилъ двадцать марокъ и вышелъ опять. Мнѣ всегда трудно разжать пальцы, держащіе письмо надъ щелью — это вродѣ того, какъ прыгнуть въ холодную воду или въ воздухъ съ парашютомъ, — и теперь мнѣ было особенно трудно выпустить письмо, — я, помнится, переглотнулъ, зарябило подъ ложечкой, — и, все еще держа письмо въ рукѣ, я пошелъ по улицѣ, остановился у слѣдующаго ящика, и повторилась та же исторія. Я пошелъ дальше, все еще нагруженный письмомъ, какъ бы сгибаясь подъ бременемъ этой огромной бѣлой ноши, и снова черезъ кварталъ увидѣлъ ящикъ. Мнѣ уже надоѣла моя нерѣшительность — совершенно безпричинная и бессмысленная въ виду твердости моихъ намѣреній, — быть можетъ, просто физическая, машинальная нерѣшительность, нежеланіе мышцъ ослабнуть, — или еще, какъ сказалъ бы марксистскій комментаторъ (а марксизмъ подходитъ ближе всего къ абсолютной истинѣ, да-съ), нерѣшительность собственника, все немогущаго, такая ужъ традиція въ крови, разстаться съ имуществомъ, — при чемъ въ данномъ случаѣ имущество измѣрялось не просто деньгами, ксерья я посылалъ, а той долей моей души, которую я вложилъ въ строки письма. Но какъ бы тамъ ни было, я клесбѣвля сѣси предсѣлѣлъ, когда подходилъ къ четвертому или пятому ящику и зналъ съ той же опредѣленностью, какъ знаю сейчасъ, что напишу эту фразу, зналъ, что ужъ теперь навѣрное опущу письмо въ ящикъ — и даже сдѣлаю потомъ этакій жестикъ, лобью ладонь о ладонь, точно могли къ перчаткамъ пристать какія то пылинки отъ этого письма, уже брошеннаго, уже не моего, и потому и пыль отъ него тоже не моя, дѣло сдѣлано, все чисто, все кончено, — но письма я въ ящикъ все-таки не бросилъ, а замеръ, еще согбенный подъ ношей, глядя исподлсбѣя на двухъ дѣвчекъ, игравшихъ возлѣ меня на панели: онѣ по очереди кидали стеклянно-радужный шарикъ, мѣтя въ ямку, тамъ, гдѣ панель граничила съ зем-

лей. Я выбралъ младшую, — худенькую, темноволосую, въ клѣтчатомъ платьицѣ, — какъ ей не было холодно въ этотъ суровый февральскій день? — и, потрепавъ ее по головѣ, сказалъ ей: «Вотъ что, дѣтка, я плохо вижу, очень близорукъ, боюсь, что не попаду въ щель, — опусти письмо за меня вонъ въ тотъ ящикъ». Она посмотрѣла, поднялась съ корточекъ, у нея лицо было маленькое, прозрачно-блѣдное и необыкновенно красивое, взяла письмо, чудно улыбнулась, хлопнувъ длинными рѣсницами, и побѣжала къ ящику. Остального я не доглядѣлъ, а пересѣкъ улицу, — шурясь, (это слѣдуетъ отмѣтить), какъ будто дѣйствительно плохо видѣлъ, и это было искусство ради искусства, ибо я уже отошелъ далеко. На углу слѣдующей площади я вошелъ въ стеклянную будку и позвонилъ Ардаліону: мнѣ было необходимо кое-что предпринять по отношенію къ нему, я давно рѣшилъ, что именно этотъ вѣдливый портретистъ — единственный человѣкъ, для меня опасный. Пускай психологи выясняютъ, навела ли меня притворная близорукость на мысль тотчасъ исполнить то, что я насчетъ Ардаліона давно задумалъ, или же напротивъ постоянное воспоминаніе о его опасныхъ глазахъ толкнуло меня на изображеніе близорукости. Ахъ, кстати, кстати... она подрастетъ, эта дѣвочка, будетъ хороша собой и вѣроятно счастлива, и никогда не будетъ знать, въ какомъ диковинномъ и страшномъ дѣлѣ она послужила посредницей, — а впрочемъ возможно и другое: судьба, нетерпящая такого безсознательнаго, наивнаго маклерства, завистливая судьба, у которой самой губа не дура, которая сама знаетъ толкъ въ мелкомъ жульничествѣ, жестоко дѣвочку эту оскаржаетъ, за вмѣшательство, а та станетъ удивляться, почему я такая несчастная, за что мнѣ это, и никогда, никогда, никогда ничего не пойметъ. Моя же совѣсть чиста. Не я написалъ Феликсу, а онъ мнѣ, не я послалъ ему отвѣтъ, а неизвѣстный ребенокъ.

Когда я пришелъ въ скромное, но пріятное кафе, на-

противъ котораго, въ скверѣ, бьетъ въ лѣтніе вечера и какъ будто вертится муаровый фонтанъ, остроумно освѣщаемый снизу разноцвѣтными лампами (а теперь все было голо и тускло, и не цвѣлъ фонтанъ, и въ кафе толстыя портьеры торжествовали побѣду въ классовой борьбѣ съ бродячими сквозняками, — какъ я здорово лишу и, главное, спокоенъ, совершенно спокоенъ), когда я пришелъ, Ардалионъ уже тамъ сидѣлъ и, увидѣвъ меня, поднялъ по-римски руку. Я снялъ перчатки, бѣлое шелковое кашне и сѣлъ рядомъ съ Ардалиономъ, выложивъ на столъ коробку дорогихъ папирозъ.

«Что скажете новенькаго?» — спросилъ Ардалионъ, всегда говорившій со мной шутовскимъ тономъ.

Я заказалъ кофе и началъ примѣрно такъ:

«Кое-что у меня для васъ дѣйствительно есть. Последнее время, другъ мой, меня мучитъ сознаніе, что вы погибаете. Мнѣ кажется, что изъ-за матеріальныхъ невзгодъ и общей затхлости вашего быта талантъ вашъ умираетъ, чахнетъ, не бьетъ ключемъ, все равно какъ теперь зимою не бьетъ цвѣтной фонтанъ въ скверѣ напротивъ».

«Спасибо за сравненіе, — обиженно сказалъ Ардалионъ. — Какой ужасъ... хорошенькое освѣщеніе подъ монпансье. Да и вообще — зачѣмъ говорить о талантѣ, вы же не понимаете въ искусствѣ ни кія».

«Мы съ Лидой не разъ обсуждали, — продолжалъ я, игнорируя его пошлое замѣчаніе, — незавидное ваше положеніе. Мнѣ кажется, что вамъ слѣдовало бы переменить атмосферу, освѣжиться, набраться новыхъ впечатлѣній».

«При чемъ тутъ атмосфера», — поморщился Ардалионъ.

«Я считаю, что здѣшняя губить васъ, — значить при чемъ. Эти розы и персики, которыми вы украшаете столовую вашей хозяйки, эти портреты почтенныхъ лицъ, у которыхъ вы норвите поужинать — — »

«Ну ужъ и норовлю...»

« — — все это можетъ быть превосходно, даже геніально, но — простите за откровенность — какъ то однообразно, вынужденно. Вамъ слѣдовало бы пожить среди другой природы, въ лучахъ солнца, — солнце другъ худсяжниковъ. Епрсчемъ, этотъ разговоръ вамъ повидимому неинтересенъ. Поговоримъ о другомъ. Скажите, на примѣръ, какъ обстоитъ дѣло съ вашимъ участкомъ?»

«А чортъ его знаетъ. Мнѣ присылають какія-то письма по-нѣмецки, я съ спросилъ васъ перевести, но скучно, да и письма эти либо теряю, либо рву. Требуютъ кажется добавочныхъ взносовъ. Лѣтомъ возьму и построю тамъ домъ. Они ужъ тогда не вытянуть изъ-подъ него землю. Но вы что-то говорили, дорогой, о перемѣнѣ климата. Ваяйте, — я слушаю».

«Ахъ зачѣмъ же, вамъ это неинтересно. Я говорю резонныя вещи, а вы раздражаетесь».

«Христокъ съ вами, — съ чего бы я сталъ раздражаться? Напротивъ, напротивъ...»

«Да нѣтъ, зачѣмъ же».

«Вы, дорогой, упомянули объ Италіи. Жарьте дальше. Мнѣ нравится эта тема».

«Еще не упоминалъ, — сказалъ я со смѣхомъ. — Но разъ вы уже сказали это слово... Здѣсь, между прочимъ, довольно уютно. Вы, говорятъ, временно перестали...?» — я многозначительно пощелкалъ себя по шеѣ.

«Онаго больше не потребляю. Но сейчасъ, знаете, я бы чего-нибудь такого за компанію... Соснакъ изъ легкихъ виноградныхъ винъ... Нѣтъ, шучу».

«Да, не нужно, это ни къ чему, меня все равно напоить невозможно. Вотъ, значитъ, какія дѣла. Охъ, плохо я сегодня спалъ... Охъ-о-хохъ. Ужасная вещь бессонница», — продолжалъ я, глядя на него сквозь слезы. — «Охъ... Простите, раззѣвался».

Ардамонъ, мечтательно улыбаясь, игралъ ложечкой. Его толстое лицо съ львиной переносицей было наклонено, и рыжія вѣки въ бородавкахъ рѣсницъ полупри-

крывали его возмутительно яркіе глаза. Вдругъ, блеснувъ на меня, онъ сказалъ:

«Если бы я съѣздилъ въ Италію, то дѣйствительно написалъ бы роскошныя вещи. Изъ выручки за нихъ я бы сразу погасилъ свой долгъ».

«Долгъ? У васъ есть долги?» — спросилъ я насмѣшливо.

«Полно-те, Германъ Карловичъ, — проговорилъ онъ, впервые кажется назвавъ меня по имени-отчеству, — вы же понимаете, куда я гну. Одолжите мнѣ сотенку, другую, и я буду молиться за васъ во всѣхъ флорентійскихъ церквахъ».

«Вотъ вамъ пока-что на визу, — сказала я, распахнувъ бумажникъ. — Только сдѣлайте это немедленно, а то пропъете. Завтра же утромъ пойдите».

«Дай лапу», — сказалъ Ардаліонъ.

Нѣкоторое время мы оба молчали, — онъ отъ избытка малоинтересныхъ мнѣ чувствъ, я потому, что дѣло было сдѣлано, говорить же было не о чемъ.

«Идея, — вдругъ воскликнулъ Ардаліонъ, — почему бы вамъ, дорогой, не отпустить со мной Лидку, вѣдь тутъ тощица страшная, барынькѣ нужны развлеченія. Я, знаете, если поѣду одинъ... Она вѣдь ревнующая, — ей все будетъ казаться, что гдѣ-то нализываюсь. Право же, отпустите ее со мной на мѣсяць, а?»

«Можетъ быть, погода пріѣдетъ, — оба пріѣдемъ. — я тоже давно мечтаю о небольшомъ путешествіи. Ну съ, мнѣ нужно итти. Два кофе, — все, кажется».

В. Сиринъ.

*(Окончаніе слѣдуетъ)*

# Пещера

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

(Продолженіе) \*)

Жюльеттъ, Мишель и Витя вернулись въ Парижъ изъ Довилля въ жаркое пыльное утро. По пути съ вокзала, въ автомобилѣ, Мишель, со снисходительнымъ вниманіемъ парижанина къ провинціалу, называлъ Витѣ улицы и зданія. Витя послушно восхищался, поглядывая на счетчикъ. «Насъ трое, но заплатить надо будетъ половиною: барышни не платять», — соображалъ онъ; денегъ Муся, все по педагогическимъ соображеніямъ, дала ему немного, ссылаясь на то, что скоро сама вернется въ Парижъ.

Жюльеттъ молчала. Она и въ поѣздѣ за всю дорогу едва вымолвила нѣсколько словъ: такъ и просидѣла три часа въ углу купэ, уткнувшись въ книгу, въ которой иногда, спохватившись, перевертывала страницы.

По приглашенію хозяевъ и по настоянію Муси, Витя долженъ былъ остановиться на квартирѣ Георгеску. Домъ встрѣтилъ ихъ непривѣтливо. Шофферъ отказывался носить вещи на четвертый этажъ, молодымъ людямъ пришлось ему помогать, Витя оцарапалъ руку до крови

---

\*) См. «Совр. Записки», № 54.

о зазубренную скобку чемодана. Неуютно было и въ квартирѣ со сдвинутой мебелью, съ задернутыми занавѣсками: ее только что отремонтировали, было душно, сильно пахло краской и нафталиномъ. Жюльеттѣ надолго зажала ванную комнату. Перевязать палець было нечѣмъ, Витя запачкалъ кровью костюмъ, полотенце, наволочку подушки и самъ былъ себѣ гадокъ, какъ убійца. Потомъ, одѣваясь, онъ угрюмо думалъ, что на немъ все поддѣлянсе: часы томпаковые подъ золото, костюмъ полушерстяной подъ шевіотъ, галстухъ искусственнаго шелка. Только подаренныя Мусей запонки были настоящія, но ихъ онъ далеко запряталъ на дно чемодана.

Жюльеттѣ пріодѣлась и ушла, ни о чемъ не условившись съ молодыми людьми и даже не простившись съ ними. Когда дверь за ней захлопнулась, Мишель только пожалъ плечами съ дѣланно-веселымъ видомъ: онъ привыкъ къ независимому характеру сестры, ко всякимъ ея выходкамъ, но все же недоумѣвалъ и злился. У него у самого, по его словамъ, была въ Парижѣ «тысяча дѣлъ» (Витя немного въ этомъ сомнѣвался). Они уговорились встрѣтиться дома въ семь часовъ вечера.

— Вотъ вамъ ключъ отъ входной двери... Вы, конечно, пойдете осматривать Парижъ, — сказала Мишель; онъ далъ нѣсколько полезныхъ указаній и попросилъ Еттю купить на обратномъ пути кое-что по хозяйству. — Пожалуйста, извините, что утруждаю васъ, у меня сегодня до вечера ни единой свободной минуты...

Витя погулялъ по городу, стараясь не отходить очень далеко отъ дома. На извозчика тратиться не приходилось, — надо было беречь деньги на предстоявшій ночной кутежъ. Въ автобусахъ и трамваяхъ онъ не разбирался, несмотря на пріобрѣтенный еще въ Берлинѣ старый русскій путеводитель по Парижу съ картами и планами; указанія Мишеля тотчасъ позабылъ. Вѣсть ему же хотѣлось, однако онъ зашелъ во второмъ часу въ маленькій ресторанъ, прочитавъ на дверяхъ, на бумажкѣ,

списокъ блюдъ, выбисанный расплывшимися фиолетовыми чернилами: цѣны были пріемлемыя. Витя позавтракалъ, стараясь восхищаться парижской кухней, еще побродилъ по улицѣ, наблюдая «разлитое въ воздухъ неуловимое изящество Парижа», о которомъ говорилъ путешеводитель. Въ дѣйствительности все казалось ему грязноватымъ, потертымъ, недокрашеннымъ. Гулялъ онъ довольно долго, — стыдно было возвращаться домой: столько интереснаго! Онъ смотрѣлъ на настоящихъ парижанъ, останавливался у витринъ разныхъ магазинововъ, — бѣлья, шляпъ, книгъ, произведеній искусства. Слѣдовало бы купить многое, но денегъ на это не было.

Въ одной антикварной лавкѣ его вниманіе привлекла картина, изображавшая Парижскій Соборъ Богоматери. Витя мелькомъ видѣлъ этотъ соборъ: по пути изъ Берлина въ Довилль, часа три пробылъ въ Парижѣ и успѣлъ на послѣдній деньги покататься по городу. Онъ долго стоялъ передъ витриной, не могъ свести глазъ съ картины. Соборъ на ней былъ другой, но, быть можетъ, еще лучше настоящаго. «Странная картина... Въ чемъ же дѣло? Ни объ одномъ искусствѣ собственно нельзя судить, если не знаешь его техники...» Въ нижнемъ углу полотна четкимъ аккуратненькимъ почеркомъ была выведена фамилія художника, иностранная и незнакомая Витѣ. Его удивило сочетаніе съ иностранной фамиліей французскаго имени «Морисъ» и то, что послѣ «Морисъ» была запятая. Въ дверяхъ показался приказчикъ.

— Сколько стоитъ эта картина? — робко спросилъ Витя.

— Сто франковъ, — отвѣтилъ приказчикъ, оглядѣвъ его.

Витя вздохнулъ и отошелъ. Цѣна картины показывала, что онъ ошибся: художникъ незначительный. Но и сто франковъ были Витѣ не по карману. Онъ зашелъ въ лавку съѣстныхъ припасовъ, купилъ заказанное Мишелемъ и вернулся домой.



Дома онъ съ жадностью съѣлъ апельсинъ, запилъ телловатой водой изъ-подъ крана, осмотрѣлся подлучше въ квартирѣ, — при хозяевахъ было неловко. Мебель тоже была вродѣ его вещей: дешевая подъ дорожку. Особенно не понравилась ему неестественная, какъ бы театральная, гостиная. «Сюда бы еще стѣну съ нарисованными переплетами книгъ... Да, не только Кременецкіе, но и мы въ Петербургѣ жили побогаче», — подумалъ Витя почему-то съ нѣкоторымъ удовольствіемъ. Онъ заглянулъ въ комнату Жюльетты и вздохнулъ. Квартира была непріятная, все же у молодыхъ Георгеску былъ свой уголъ. Такъ одинокій холостякъ съ завистью смотритъ на жизнь чужой семьи, догадываясь, что въ ней, должно быть, не все мило и уютно. Дѣлать Витѣ было нечего. Ему самому было странно, что онъ скучаетъ въ первый день своего пребыванія въ Парижѣ, — такъ хотѣлось сюда попасть. «Развѣ въ Луврѣ поѣхать? Но для музейевъ времени еще будетъ достаточно. Ужъ очень жарко»... Сидѣть было негдѣ: на диванахъ, на креслахъ былъ разсыпанъ нафталинъ. Витя легъ на постель, опять съ непріятнымъ чувствомъ замѣтивъ пятно отъ крови на наволочкѣ, пробѣжалъ газету, всталъ и неожиданно для самого себя позвонилъ по телефону Тamarѣ Матвѣевнѣ.

Онъ не успѣлъ ее повидать по пути въ Довилль и чувствовалъ, что Муся была этимъ не совсѣмъ довольна. «Собственно, за три часа ты отлично могъ заѣхать къ мамѣ», — сказала она какъ-то вскользь на пляжѣ. «З а т ѣ?» — мысленно отмѣтилъ Витя. — «У меня послѣ той прогулки оставалось въ карманѣ семь франковъ»...

Тамара Матвѣевна чрезвычайно обрадовалась телефонному звонку Вити. Онъ хотѣлъ было выразить ей соболѣзнованіе по случаю кончины Семена Исидоровича, но раздумалъ. Витя далъ по телефону первый отчетъ о Мусѣ, объ ея здоровьѣ, о томъ, какъ она проводитъ время. Тамара Матвѣевна не отпустила его отъ аппарата.

...— Да, конечно, Витенька, пріѣзжайте ко мнѣ сего-

## ПЕЩЕРА

дня же, я такъ хочу васъ видѣть. Да хоть сейчасъ... Нѣтъ, я не отдыхаю, я очень рада! Такъ вы будете помнить: метро Буассьеръ, оттуда очень близко. Я васъ жду, голубчикъ!

Витя съ облегченіемъ повѣсилъ трубку: въ этомъ огромномъ городѣ нашелся близкій, хоть старый и скучный, человѣкъ: Мишель, Жюльеттъ были все-таки чужіе, да въ сущности и не очень пріятные люди. «Кажется, надо было сказать хоть нѣсколько словъ объ ея несчастьѣ. Но по телефону неловко. Я вѣдь написалъ имъ изъ Германіи въ Люцернъ длинное письмо»... Онъ былъ тогда очень пораженъ кончиной Семена Исидоровича, котораго искренне любилъ.

Въ подземной дорогѣ все сошло благополучно. Витя не ошибся при пересадкѣ, попасть на станцію Буассьеръ оказалось не такъ трудно, какъ можно было думать. Легко разыскалъ онъ и пансіонъ, показавшійся ему крошечнымъ и бѣднымъ послѣ Довильской гостиницы Клервиллей.

Тамара Матвѣевна прослезилась, увидѣвъ Витю. Онъ едва ее узналъ, — такъ она измѣнилась. Въ небольшой, тѣсно заставленной комнатѣ, вездѣ, на каминѣ, на столѣ, на ночномъ столикѣ, стояли фотографіи Семена Исидоровича. Одна изъ нихъ, гдѣ Кременецкій былъ изображенъ во фракѣ, особенно взволновала Витю и необыкновеннымъ сходствомъ, и тѣмъ, что на картонѣ были выдавлены буквы имени петербургскаго фотографа. Витя вспомнилъ Невскій, отца, свое первое появленіе въ домѣ Кременецкихъ, въ тотъ вечеръ, когда у нихъ пѣлъ Шаляпинъ, и также прослезился, цѣлуя руки Тамары Матвѣевны.

Тамара Матвѣевна все не могла привыкнуть къ тому, что жизнь въ мірѣ не измѣнилась послѣ кончины Семена Исидоровича. Газеты писали о какихъ-то событіяхъ, о которыхъ Семень Исидоровичъ не зналъ, въ пансіонѣ за

столомъ разговаривали и смѣялись люди, въ городѣ дѣйствовали театры, ходили трамваи, автобусы. Тамара Матвѣевна понимала, что это не можетъ быть иначе, что удивляться этому совершенно нелѣпо. Но внутренне она не могла примириться съ полнымъ равнодушіемъ міра къ катастрофѣ, навсегда разбившей ея жизнь. Ей было не съ кѣмъ и поговорить. Муся въ послѣдніе дни неохотно шла на разговоры объ отцѣ. Тамара Матвѣевна давала этому какое-то сложное психологическое объясненіе. Она не допускала мысли, что Муся просто объ отцѣ забываетъ, что ей некогда о немъ думать; когда это подозрѣніе все же закрадывалось въ душу Тамары Матвѣевны, она гнала его со стыдомъ и ужасомъ.

Послѣ отъѣзда Муси на море, не оставалось и вообще никого. Немногочисленные парижскіе знакомые не показывались. Близкихъ среди нихъ у Кременецкихъ не было, но были люди, которые заходили бы, если-бъ былъ живъ Семень Исидоровичъ. Тамара Матвѣевна сама по себѣ, безъ мужа, точно и не существовала. Всѣ отдавали должное ея чувствамъ и, послѣ первой недѣли визитовъ соболѣзнованія, всѣ говорили, что ее лучше оставить одну.

Съ Витей она отвела душу. Тамара Матвѣевна долго, подробно, безсвязно рассказывала о Семенѣ Исидоровичѣ, объ его болѣзни, объ его послѣднихъ дняхъ, плакала и просила извинить ее. Витя сначала слушалъ съ волненіемъ, потомъ сталъ немного скучать. Онъ спросилъ о Мусѣ, — какъ она узнала о смерти отца, какъ перенесла горе (въ Довиллѣ Муся ему объ этомъ сказала очень кратко). — «Ахъ, она такъ убивалась. Я думала, она съ ума сойдетъ!» — съ жаромъ отвѣтила Тамара Матвѣевна.

Потомъ разговоръ перешелъ на Довилльское времяпрепровожденіе Муси. Витя чувствовалъ, что говорить надо грустно, и изобразилъ ихъ пребываніе на морѣ въ траурномъ тонѣ: Муся дѣлала только то, что было строго необходимо для поддержанія здоровья, купалась по тре-

бованію врача, поддерживала силы морскимъ воздухомъ и весь день говорила съ нимъ о Семенѣ Исидоровичѣ. Витѣ было стыдно, что онъ такъ лжетъ; но Тамару Матвѣвну его слова, видимо, утѣшили чрезвычайно. «Бѣдная моя Мусенька, несчастная дѣвочка!» — умиленно говорила она. — «Но она, должно быть, ужасно выглядитъ!» — «Нѣтъ, видъ у нея недурной», — отвѣчала Витя, — «морской воздухъ беретъ свое». Поговорили они и о Клервиллѣ. Въ словахъ Тамары Матвѣвны Витя съ нѣкоторой радостью почувствовалъ недоброжелательство, хоть она осыпала Клервилля похвалами.

— Онъ такой джентльмэнъ, Вивіанъ... И потомъ такой красавецъ! — говорила Тамара Матвѣвна; на лицѣ ея выступило однако не шедшее къ словамъ отвращеніе.

— Онъ очень красивый человѣкъ, — нехотя соглашался Витя.

— Мусенька такъ съ нимъ счастлива. — Тамара Матвѣвна вопросительно смотрѣла на Витю. — Это рѣдкій джентльмэнъ!

— Да...

— Да... Мое единственное утѣшеніе, что они такъ счастливы... Ну, а этотъ ихъ другъ? Этотъ Серизье... Онъ все еще съ ними? — вдругъ испуганно спросила Тамара Матвѣвна. Витя измѣнился въ лицѣ.

— Нѣтъ, онъ вчера вернулся въ Парижъ. «Не можетъ быть! Конечно, я тогда ошибся: онъ просто прикоснулся случайно къ ея рукѣ», — твердо объявилъ себѣ Витя. — Вчера вернулся, у него дѣла, — сказалъ онъ и, встрѣтившись взглядомъ съ Тамарой Матвѣвной, опустил глаза.

— Миѣ онъ почему-то не особенно нравится, — тоже смущенно замѣтила Тамара Матвѣвна. — Хотя, конечно, онъ очень замѣчательный человѣкъ... Онъ со временемъ будетъ, говорятъ, главой французскаго правительства. Я очень рада, что Вивіанъ такъ съ нимъ сошелся, — добавила она, снова взглянувъ на Витю.

— Этого я не думаю. До социалистическаго кабинета во Франціи еще очень далеко, — сказалъ Витя, какъ бы отвѣчая на вопросъ о будущемъ Серизье. Они вяло поговорили о политическихъ событіяхъ. Тамара Матвѣевна по утрамъ читала газеты, больше потому, что такъ дѣлала при жизни Семена Исидоровича. Витѣ, къ его удивленію, показалось, что Тамара Матвѣевна говоритъ теперь о политикѣ тверже, свободнѣе, даже по формѣ опредѣленнѣе, чѣмъ въ прежнія времена (прежде она, напримѣръ, не употребила бы выраженія «глава правительства»). Онъ объяснилъ себѣ это именно исчезновеніемъ Семена Исидоровича, авторитетъ котораго разъ навсегда подавилъ его жену. Это замѣчаніе показалось Витѣ тонкимъ. «Что, если-бъ я сталъ писателемъ?» — вдругъ промелькнула у него дикая мысль. Онъ взглянулъ на часы и сталъ прощаться. Тамара Матвѣевна упросила его посидѣть еще немного. Они опять заговорили о Семенѣ Исидоровичѣ.

— Онъ и васъ, Витенька, очень, очень любилъ... И вашу бѣдную маму, и вашего отца... Вы не имѣете о немъ извѣстій?.. Я думаю, съ нимъ все благополучно, — говорила со слезами Тамара Матвѣевна. — Послушайте, Витенька, останьтесь у меня обѣдать.

— Благодарю васъ... Къ сожалѣнію, не могу. Я условился встрѣтиться съ Мишедемъ.

— Съ кѣмъ? Ахъ, да, тотъ молодой человекъ. — Тамара Матвѣевна видѣла одинъ разъ румынскихъ друзей Муси; они сдѣлали ей визитъ. Ей было странно, что она знаетъ людей, которыхъ не зналъ Семенъ Исидоровичъ. — Ну, хорошо, тогда завтра приходите ко мнѣ завтракать. Чѣмъ вы меня стѣсните? Мнѣ съ вами было такъ пріятно... Я просто скажу хозяйкѣ пансіона поставить лишній приборъ. Здѣсь кормятъ сносно, а въ ресторанахъ въ такую жару васъ еще отравятъ, голубчикъ, — говорила, вытирая слезы, Тамара Матвѣевна.

## XII.

## XIII.

Серизье не удалось выѣхать изъ Довилля въ первомъ поѣздѣ; вернулся онъ въ Парижъ поздно вечеромъ. Подѣзжая къ своему дому, онъ, какъ всегда послѣ отлучки, испытывалъ безпокойное чувство: какія еще будутъ непріятности? Такое ожиданіе, онъ зналъ, отъ непріятностей страхуетъ: онѣ приходятъ неожиданно. Серизье не любилъ возвращаться въ Парижъ до начала большого сезона: по его наблюденіямъ, главныя огорченія, да и общественыя несчастья, какъ міровая война, чаще всего случались именно въ мертвый сезонъ.

Сухо щелкнулъ автоматическій замокъ. Консьержка выглянула изъ завѣшенной стеклянной двери. Узнавъ Серизье, она что-то на себя накинула, вышла на площадку, и стыдливо, таинственнымъ шепотомъ, съ радостной улыбкой, освѣдомилась, хорошо ли онъ отдохнулъ. Серизье поздоровался съ ней за руку, спросилъ, здоровъ ли ея ребенокъ, и все ли благополучно въ домѣ. Оказалось, что ребенокъ здоровъ и что въ домѣ все благополучно. Жюстинъ должна вернуться только послѣзавтра, — мосье это вѣдь ей разрѣшилъ? Мадмуазель Лансель приходила днемъ; она такъ и думала, что мосье пріѣдетъ вечеромъ. Квартира въ полномъ порядкѣ, письма и газеты сложены на письменномъ столѣ въ кабинетъ мосье. Серизье, нѣсколько успокоенный (хоть консьержка о непріятностяхъ не могла знать), пожелалъ, тоже полушепотомъ, покойной ночи и поднялся наверхъ. Электрическая лампочка, какъ всегда, погасла, когда онъ вступилъ на лѣстницу третьяго этажа; это тоже произвело на него успо-

коительное дѣйствіе, — такъ было давно знакомо и привычно. Онъ не успѣлъ нажать кнопку, какъ лампочка зажглась: консьержка, изъ вниманія къ лучшему жильцу дома, оставалась внизу, пока онъ не повернулъ ключа въ дверяхъ своей квартиры.

На письменномъ столѣ лежала груда конвертовъ. Серизье пробѣжалъ письма. Никакихъ неприятностей не оказалось. Напротивъ, въ одномъ письмѣ было очень пріятное извѣстіе: большое дѣло, которое онъ велъ въ судѣ и которое могло затянуться, заканчивалось примиреніемъ сторонъ, на предложенной имъ основѣ. Оставалось только составить документъ. Это для Серизье означало заработокъ тысячь въ двадцать пять. Письменнаго условія, правда, съ кліентомъ не было, — запрещала традиція парижской адвокатуры, казавшаяся ему нелѣпной. Однако были твердый словесный уговоръ.

Подъ пресспапье лежали вырѣзки изъ газетъ, — «зеленая ванна». Но Серизье былъ въ такомъ радостномъ настроеніи духа, что даже не заглянулъ въ вырѣзки. Онъ съ усмѣшкой посмотрѣлъ на пресс-папье, точно говоря невидимымъ противникамъ: «Сдѣлайте одолженіе, друзья мои, мнѣ совершенно все равно!» Снявъ воротникъ, онъ прошелъ въ ванную, зажегъ синенькое пламя надъ трубкой газоваго аппарата, повернулъ кранъ, пламя вспыхнуло по рожкамъ, — все это тоже было такъ привычно, уютно, пріятно. Онъ подумалъ, что на курортѣ хорошо, но дома лучше: ужъ очень благоустроена его парижская квартира. Серизье раздѣлся, вернулся въ кабинетъ за нессесеромъ и опять, выдержавъ характеръ, съ торжествующей усмѣшкой поглядѣлъ на коварное пресс-папье. «Пожалуйста, не стѣсняйтесь, друзья мои»... Принявъ ванну, онъ легъ и мгновенно заснулъ крѣпкимъ сномъ.

Серизье проснулся на слѣдующее утро много позже обыкновеннаго, въ самомъ лучшемъ настроеніи духа: въ переходную минуту отъ сна къ сознанію, радостно смѣшалось что-то довилльское съ чѣмъ-то парижскимъ. Потому со-

знание уточнило: Муся Клервилль, выигранное дѣло. Онъ сладостно потянулся. «Да, дѣло кончено, двадцать пять тысячъ. Надо только написать бумагу»... Серизье не всталъ, а вскочилъ, какъ юноша, — несмотря на брюшко. — надѣлъ халатъ и вышелъ въ столовую. На столѣ лежали свѣжій хлѣбъ, масло, газета; все это безшумно приготовила консьержка, заботившаяся о немъ, какъ о родномъ.

Напившись кофе, наскоро пробѣжавъ газету, онъ сѣлъ за письменный столъ. На столѣ все было на мѣстѣ: бумага съ верблюдомъ на розовой обложкѣ блокнота, суживающаяся кверху ручка съ резиновой обкладкой внизу, англійская коробка съ золочеными тупыми перьями. Настольные часы показывали четверть десятого. Серизье снялъ трубку аппарата и вызвалъ по телефону контору кліента - промышленника. Онъ ждалъ «*ray libre*», номеръ дали немедленно; все удавалось, — и большое, и малое.

Разговоръ былъ любезный и твердый. Быть можетъ, кліентъ былъ бы и не прочь заплатить Серизье часть гонорара комплиментами; но ему сразу стало ясно, что придется заплатить деньгами, и не двадцать тысячъ, а именно двадцать пять, хоть дѣло до суда не дошло. Кліентъ не торговался и даже предложилъ продать на эту сумму, по номинальной цѣнѣ, паевъ только что основаннаго имъ предпріятія. Серизье вѣжливо отклонилъ предложеніе. Онъ никакъ не думалъ, что его хотятъ обмануть: слишкомъ это было бы мелко для птицы большого полета. Напротивъ, кліентъ, навѣрное, предлагалъ очень выгодное дѣло, искренно желая упрочить добрыя отношенія съ вліятельнымъ человѣкомъ противнаго лагеря, — мало ли что можетъ случиться? Буржуазія становилась все менѣе самоувѣренной и смѣлой. Но Серизье, человѣкъ безукоризненно щепетильный, не считалъ возможнымъ имѣть съ промышленникомъ какія-бы то ни было дѣла, кромѣ адвокатскихъ. Его политическое положеніе требовало



большой осторожности. «Если завтра тамъ вспыхнетъ забастовка, то ихъ газеты поднимутъ вой, я окажусь главнымъ собственникомъ завода, эксплуататоромъ рабочихъ! Нѣтъ, мы это знаемъ»... Все состояніе Серизье было вложено въ государственныя бумаги. Государства были разныя — для уменьшенія риска, — но это были демократическія государства.

Онъ досталъ свою счетную книгу и съ удовольствіемъ вписалъ въ графу доходовъ пятизначную сумму. Между вертикальными столбцами графы было мѣсто только для четырехъ цифръ; первая пріятно выдавалась за черту. Серизье подвелъ итогъ: за двѣ трети года онъ не только не прикоснулся къ доходамъ съ унаслѣдованнаго капитала, но отъ одного заработка, послѣ покрытія всѣхъ расходовъ, отложилъ до сорока тысячъ.

Затѣмъ онъ вынулъ изъ-подъ прессы-папье вырѣзки, — онѣ стали почти безобидными, такъ было доказано полное къ нимъ презрѣніе. Все же Серизье съ удовлетвореніемъ убѣдился, что и въ вырѣзкахъ ничего непріятнаго не было. По тону статей онъ съ радостью почувствовалъ, какъ выросло, послѣ Люцернской конференціи, его положеніе въ политическомъ мірѣ. Враждебныя газеты теперь то и дѣло называли его вождемъ социалістовъ. Въ одной статьѣ социалистическая партія была даже названа «партіей господина Серизье». Это было неточно: партійнымъ вождемъ оставался Шазаль, котораго такая неточность должна была привести въ ярость. Однако Серизье себя теперь чувствовалъ какъ писатель, становящійся при жизни классикомъ, какъ художникъ, картины котораго переносятся изъ Люксембурга въ Лувръ.

Раздался звонокъ, онъ открылъ дверь, появилась секретарша. Они дружески поздоровались. Серизье извинился, что выходитъ къ ней въ халатѣ, и на первую минуту прикрылъ ладонью шею: давно былъ увѣренъ, что секретарша тайно въ него влюблена, и не ошибался. Такъ

и теперь онъ прочелъ это на ея лицѣ, при встрѣчѣ послѣ трехнедѣльной разлуки. Мадмуазель Лансель, какъ женщина, для него не существовала, хоть ее нельзя было назвать безобразной. Было ей лѣтъ тридцать, замужъ она не выходила, не имѣла, повидимому, и друга. Въ тѣ рѣдкія минуты, когда у Серизье было время и желаніе заниматься чужой душой, онъ себя спрашивалъ, чѣмъ можетъ внутренно жить мадмуазель Лансель. Партийная работа какъ будто ее увлекала, — однако на сколько-нибудь значительное повышеніе въ партіи секретарша рассчитывать не могла. Она была *militante* и должна была, очевидно, оставаться въ этомъ званіи до самой смерти. Серизье иногда приходило въ голову, что хорошо было бы выдать замужъ мадмуазель Лансель за какого-нибудь *militant*. Но подходящаго человѣка у него на примѣтѣ не было; онъ, вдобавокъ, боялся лишиться секретарши, которой очень дорожилъ. «Каждый долженъ самъ находить свою дорогу въ жизни!» — со вздохомъ говорилъ себѣ въ такихъ случаяхъ Серизье. Мадмуазель Лансель никогда на судьбу не жаловалась, была неизмѣнно въ добромъ настроеніи, ничего ни отъ кого не требовала, жила изо дня въ день, какъ живутъ всѣ. Ея стиль былъ: *le frais sourire d'une petite parisienne toujours gaie et toujours courageuse*, — такой же стиль, какъ у тысячь другихъ бѣдныхъ барышень, работающихъ, правда, не въ партіи, а въ магазинахъ, въ банкахъ, въ контрактахъ, и тоже понемногу теряющихъ надежду выйти замужъ.

-- ...*Mais c'est vrai, patron! Il y a beau temps que je ne vous ai pas vu comme ça!* — весело говорила секретарша.

Фамиліарности между ними не было. При самыхъ добрыхъ отношеніяхъ, мадмуазель Лансель отлично знала и свое мѣсто, и разницу въ ихъ общественномъ положе-

ни. Она шутивно-официально называла его патрономъ, — вначалѣ ея интонація показывала, что слово это употребляется ею въ кавычкахъ; потомъ кавычки отпали, осталось удобное обращеніе: «Monsieur» было неприятно, «maitre» не очень годилось, — она была по преимуществу политическая секретарша, — «camarade» и «citoyen» предназначались, разумѣется, лишь для митинговъ. Серизье обычно никакъ не называлъ секретаршу, но въ особенно добрыя минуты говорилъ «ma petite» или «mon petit», что доставляло мадмуазель Лансель необыкновенное наслажденіе.

Они поговорили о морѣ, затѣмъ перешли къ дѣламъ. Выяснилось, что Серизье такъ и не отвѣтилъ на два письма, которыя мадмуазель Лансель переслала ему въ Довиль и которыя требовали личнаго отвѣта, не на машинкѣ, а отъ руки. — «Какъ жѣ такъ, патронъ? Развѣ вы не умѣете писать письма?» — спросила весело секретарша такимъ тономъ, какимъ на маленькомъ балу въ частномъ домѣ шутивно настроенный хозяинъ могъ бы спросить Анну Павлову: «Развѣ вы не умѣете танцевать вальсъ?» Серизье смущенно улыбался. — «Да, я раздѣнился на морѣ»... — «Надѣюсь, хоть Шазалу вы отвѣтили?» Лицо мадмуазель Лансель стало озабоченнымъ. Она сообщила о послѣднихъ событіяхъ въ партіи. Тонъ секретарши ясно показывалъ, что и она понимаетъ, какъ выросъ престижъ патрона послѣ Люцернской конференціи. Мадмуазель Лансель теперь говорила о Шазалѣ какъ бы даже съ собождѣнованіемъ.

— Вы пробѣжали мои вырѣзки, патронъ? — вскользь спросила она. — Я принесла вамъ утреннія газеты... Кстати, появилась одна гнусная статья... О Шазалѣ, — поспѣшно добавила мадмуазель Лансель, увидѣвъ, что Серизье слегка измѣнился въ лицѣ. Она протянула ему газету. Въ ней вождя социалистической партіи ругали не просто (что не составляло бы почти никакой неприятности), а съ пренебреженіемъ и, главное, со ссылкой

на давно якобы установившееся о немъ общее мнѣніе, раздѣляемое и его собственными сторонниками. Ссылка на сторонниковъ была неопредѣленная, но должна была поселить подозрѣніе у Шазалья: можетъ быть, и правда? Въ статьѣ говорилось о томъ, что Шазаль давно выжилъ изъ ума, да собственно никогда умомъ и не отличался. На смѣну этому признанному ничтожеству, — писала правая газета, — идутъ новые честолюбцы, впереди всѣхъ, разумѣется, Серизье, имѣвшій въ Люцернѣ такой шумный успѣхъ. «*Sous la direction autrement ferme de ce jeune ambitieux, qui est déjà, paraît-il, une des plus pures lumières de l'Internationale rouge, le parti du désordre et de la guerre civile ne manquera pas de donner un vigoureux assaut à tout ce qui fait l'honneur, la grandeur, la force morale de la société française.*»

— Какая гадость! — сказалъ Серизье, борясь съ охватившей его радостью. — Какая гадость!

— Они потеряли послѣдніе слѣды совѣсти, — подтвердила секретарша. — Нашъ старикъ будетъ однако разстроены этой гнусностью.

— Не думаю. Вы знаете, мы люди обстрѣлянные, бранью насъ не удивишь. Травля — нашъ профессиональный рискъ.

— Есть брань и брань... Боюсь, какъ бы старикъ немало не разсердился и на васъ.

— При чемъ же тутъ я!

— Вы, конечно, ни при чемъ, патронъ, но мы всѣ люди, — сказала, улыбаясь, секретарша.

Серизье не понравилась ея улыбка. Онъ иногда подводилъ мины подъ Шазалья, — вродѣ какъ Расинъ писалъ «*Андромаху*» на зло Корнелю. Но въ глазахъ рядовыхъ членовъ партіи оба они должны были стоять на недостижимой высотѣ: Корнель и Расинъ. Лицо у него приняло сосредоточенное выраженіе (Муся въ такихъ случаяхъ говорила, что онъ похожъ на министра - президента *se recueillant devant la tombe d'une victime*

du devoir). Онъ въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ отозвался о Шазаль: у этого человѣка огромныя заслуги передъ партіей, передъ рабочимъ классомъ, передъ международнымъ социализмомъ. «А что до клеветы», — закончилъ Серизье, — «то я всегда думалъ: лучший урокъ смиренія — узнать, что за одинъ день говорятъ о тебѣ и враги, и друзья»...

Улыбка на лицѣ у мадмуазель Лансель стерлась. Она почувствовала легкой выговоръ, но оцѣнила благородство патрона и смотрѣла на него съ искреннимъ восторгомъ. Серизье зналъ, что секретарша видитъ в немъ высшее духовное явленіе; это сознание отчасти имъ руководило въ его бесѣдахъ съ ней: держался на должной духовной высотѣ (съ многими товарищами по партіи онъ разговаривалъ совершенно иначе). Давъ косвенный урокъ секретаршѣ, которая заподозрила въ немъ земныя чувства, Серизье перемѣнилъ разговоръ и напомнилъ мадмуазель Лансель, что, кромѣ двухъ недѣль отпуска, полученнаго ею въ юнѣ, ей теперь полагается еще недѣля.

— Не полагается, но вы, по вашей добротѣ, дѣйствительно мнѣ предложили третью недѣлю, — живо перебила его секретарша. Лицо ея просвѣтлѣло. Она надѣялась, что онъ вспомнитъ о своемъ обѣщаніи; однако ни за что не напомнила бы ему, если-бъ онъ не вспомнилъ.

— Двухъ недѣль отдыха недостаточно послѣ года такой работы! Предстоящій годъ будетъ еще труднѣе. Мнѣ и то жаль, что я не даю вамъ болѣе продолжительнаго отпуска, но вы сами знаете, какъ мнѣ безъ васъ трудно.

— Въ такомъ случаѣ я останусь съ вами, патронъ!

— Объ этомъ не можетъ быть рѣчи! — сказалъ Серизье. Онъ говорилъ теперь съ секретаршей, какъ Наполеонъ могъ говорить съ беззавѣтно преданнымъ сержантомъ старой гвардіи: притворно-строго, но по существу отечески-любовно. — Куда вы поѣдете? На море?

Секретарша потупила глаза. Она тотчасъ безсознательно усвоила тонъ преданнаго сержанта.

— Патронъ, я, можетъ быть, не поѣду никуда. Парижъ, что бы тамъ ни говорили, очарователенъ въ это время года. Ужь если вы такъ любезны, я просто отдохну дома. Буду ѣздить по окрестностямъ...

— Знаю, знаю! Это значитъ, что у васъ нѣтъ денегъ. — сказала Серизье съ улыбкой. — Моя милая, я непременно хочу, чтобы хоть эту недѣлю вы прожили въ хорошихъ условіяхъ. — Онъ вынулъ изъ бумажника пятьсотъ франковъ. — Вы поѣдете на мой счетъ.

— Патронъ, я, право, не знаю, какъ васъ благодарить, — дрогнувшимъ голосомъ сказала мадмуазель Лансель. Эти деньги — очевидно, не авансъ, а подарокъ, — были для нея неожиданностью. Она была тронута чрезвычайно. «Никто другой этого не сдѣлалъ бы или сдѣлалъ бы не такъ»...

— Не благодарите меня и уѣзжайте лучше всего сегодня же. На морѣ теперь чудесно, по крайней мѣрѣ, въ Нормандіи. — Серизье чуть не сказалъ: «въ Довиллѣ», но поправился: странно было бы предлагать самый дорогой курортъ Франціи секретаршѣ, получающей шестьсотъ франковъ въ мѣсяцъ жалованья.

— Но этого слишкомъ много, патронъ! Недѣля на морѣ обойдется мнѣ франковъ въ двѣсти, самое большее.

— Пожалуйста, не жалѣйте моихъ денегъ. Остановитесь въ хорошей гостиницѣ. Я хочу, чтобы вы отдохнули, какъ слѣдуетъ.

— Но даже въ хорошемъ пансіонѣ...

— *En voilà assez, mon petit!* — строго сказала Серизье. Секретарша опустила глаза, замирая отъ счастья.

#### XIV.

Отпустивъ секретаршу, онъ просмотрѣлъ принесенныя ею газеты. Особенно важныхъ событій не было. Какъ будто подготовлялся финансовый скандалъ, — одна газет-

ка зловѣщимъ тономъ общала его разоблачить, грозя всякими ужасами виновнымъ. Дѣло шло о хищеніяхъ. Имена пока не назывались, но Серизье приблизительно догадывался, о комъ идетъ рѣчь, — газетка все сдѣлала, чтобы догадаться было нетрудно. И по суммѣ хищений, и по значенію газеты, и по вѣсу обличаемыхъ людей, скандалъ былъ не очень большой, — средній рядовой скандалъ, отъ котораго виновные — или невинные — люди могли, вѣроятно, откупиться не слишкомъ крупной суммой. «Возможно, что все выдуманно, отъ перваго слова до послѣдняго. Но, можетъ быть, и правда», — думалъ Серизье, какъ думало громадное большинство читателей газетки, отлично знавшихъ ей цѣну и неизмѣнно ее покупавшихъ. Редакторъ этого изданія былъ вполнѣ способенъ на шантажъ. Но обличаемый политическій дѣятель былъ не менѣе способенъ на взятки. — «Кажется, все-таки похоже на правду»...

Серизье брезгливо морщился. Онъ всегда искренно удивлялся тому, что люди могутъ идти на грязныя дѣла. Правда, онъ былъ богатъ отъ рожденія; если-бъ родился бѣднымъ человѣкомъ, то безупречность досталась бы ему труднѣе, — но это была одна изъ тѣхъ гипотетическихъ мыслей, на которыхъ у Серизье не было ни времени, ни охоты останавливаться. — «Да, какъ будто правда»... — Онъ соображалъ, можетъ ли скандалъ имѣть политическое значеніе. Это зависѣло отъ силъ, которымъ будетъ выгодно раздуть дѣло; само по себѣ оно большого значенія не имѣло: «*Commovent homines non res sed de rebus opiniones...* Однако, на его положеніи скандалъ отразится во всякомъ случаѣ. Если это правда, то его значеніе понизится на 50 процентовъ; а если клевета, то процентовъ на 25», — думалъ Серизье, любившій опредѣленныя формулы со скептическимъ оттѣнкомъ. — «Какъ все-таки онъ могъ пойти на такое дѣло? Онъ не богатъ, но вѣдь не голодалъ же! Я считалъ его порядочнымъ человѣкомъ. Очевидно, рѣшилъ сдѣлать

въ жизни одну большую гадость, чтобы потомъ имѣть возможность больше никогда не дѣлать маленькихъ. А можетъ быть, связь?» — Въ парламентѣ обычно знали, какія у кого любовныя дѣла, но объ этомъ политическомъ дѣятелѣ Серизье ничего не слышалъ. — «Вѣроятно, связь. Такъ это объясняется въ громадномъ большинствѣ случаевъ». — Онъ вспомнилъ объ одномъ преступникѣ, котораго защищалъ по назначенію суда. Этотъ убійца, совершившій звѣрское преступленіе, цѣликомъ потратилъ похищенные 150 франковъ на подарокъ своей возлюбленной. «Да, вотъ онъ, ихъ хваленый капиталистическій строй. Конечно, деньги — послѣднее рабство исторіи!.. Только социалистическій строй можетъ положить конецъ всей этой грязи, взяткамъ, хищеніямъ, шантажу».

Эта мысль его поддерживала въ трудныя минуты, когда политическая кухня становилась особенно грязной и противной. «Я не дѣлаю того, что дѣлаютъ другіе, — не дѣлаю и десятой доли! — но, быть можетъ, не все можно оправдать и въ моихъ собственныхъ дѣйствіяхъ», — покаянно, съ нѣкоторымъ умиленіемъ, думалъ Серизье. — «Имъ легко говорить: прямой путь», — онъ разумѣлъ сѣрую массу militants. — «Совершенно прямой путь можетъ привести въ монастырь — или въ ночлежку. Въ политикѣ все относительно... Если-бъ я позволялъ наступать себѣ на ноги, то я и въ партіи не занималъ бы никакого положенія», — неожиданно подумалъ онъ, нѣсколько склонившись отъ хода своихъ мыслей. — «Тѣ прохвосты говорятъ «честолюбецъ»! Я не ищю власти, она сама придетъ ко мнѣ неизбежно, безболѣзненно, волей народа, когда все начнетъ тонуть въ капиталистической грязи. Старый міръ будетъ сопротивляться, въ его пучкахъ все, — армія, полиція, государственный, административный аппаратъ. За нами будетъ только принципъ народной воли. Но этого вполне достаточно!»... — Онъ въ душѣ не былъ увѣренъ, что этого вполне достаточно. Однако пока думать объ этомъ было рано. «Кажется,



Наполеонъ сказалъ, что о будущемъ говорятъ безумцы»... Серизье зналъ (выписывалъ въ записную тетрадь изъ книгъ и газетъ) много изреченій знаменитыхъ государственныхъ людей; были подходящія изреченія на всѣ случаи политической жизни, и, въ зависимости отъ надобности, онъ могъ цитировать то «о будущемъ говорятъ безумцы», то «управлять это предвидѣть».

Раздался звонокъ, нѣсколько странный: кто-то чуть надавилъ кнопку, затѣмъ тотчасъ надавилъ во второй разъ сильнѣе. Серизье удивленно направился въ переднюю; объ его возвращеніи въ Парижъ еще не могъ знать никто, кромѣ секретарши и клиента. Онъ отворилъ дверь. На площадкѣ стояла Жюльеттъ Георгеску. Серизье вытаращилъ глаза и опять прикрылъ ладонью шею.

— Мадмуазель Жюльеттъ! Простите меня, я не одѣтъ.

— Я..

— Ничего не случилось?

— Нѣтъ... Мнѣ нужно было васъ видѣть.

— Пожалуйста вонъ въ ту дверь, въ гостиную. Я сейчасъ къ вамъ выйду.

— Ради Бога!..

— Три минуты.

Серизье съ досадой удалился въ спальную. Секретаршу онъ могъ принимать въ халатѣ, въ туфляхъ на босу ногу; принять такъ барышню, съ которой онъ на дняхъ пилъ шампанское въ Довиллѣ, было невозможно. «Чего ей нужно?» — спрашивалъ онъ себя съ недоумѣніемъ. Серизье поспѣшно снялъ халатъ, натянулъ носки на пинталоны пижамы. «Вѣрно, опять разговоръ о томъ, чтобы стать моею помощницей. Но почему такая спѣшка? Вѣдь они, кажется, только сегодня должны были пріѣхать».. Подвязка все не застегивалась; онъ раздраженно сорвалъ ее съ носка, надѣлъ брюки, пиджакъ, и оглянулъ себя въ зеркало; такъ на худой конецъ можно было показаться. Серизье вышелъ въ гостиную. Жюльеттъ, опустивъ голову, стояла у стѣны.

— Мадмуазель Жюльеттъ, я чувствую себя опозореннымъ человѣкомъ, — сказалъ онъ шутливо, подвигая ей кресло. — Вы все-таки, надѣюсь, не думаете, что я встаю въ двѣнадцать часовъ? У меня дурная привычка работать по утрамъ въ халатѣ, когда я никого не жду.

Въ томъ, что она ожидала его почему-то стоя у стѣны, во всей ея позѣ, въ опущенной головѣ, въ блѣдномъ лицѣ было что-то странное и безпокойное.

— Садитесь, пожалуйста.

— Благодарю васъ. — Она сѣла, держась въ креслѣ неестественно прямо.

— Когда вы пріѣхали? Неужели вчера вечеромъ? Тогда мы, очевидно, путешествовали въ одномъ поѣздѣ.

— Нѣтъ, я пріѣхала сегодня.. Часа два тому назадъ.

— Надѣюсь, ничего не случилось? — освѣдомился уже съ нѣкоторой тревогой Серизье, садясь противъ нея въ кресло.

— Нѣтъ, не случилось ничего, — медленно произнесла Жюльеттъ.

Все выходило не такъ, какъ она хотѣла, какъ она ждала. Его халатъ былъ первой неожиданностью. Какъ было сказать все это человѣку, который первымъ дѣломъ пошелъ надѣвать брюки? Серизье глядѣлъ на нее съ удивленіемъ. Онъ хотѣлъ было спросить: «чѣмъ могу служить?» — но почувствовалъ, что это неудобно послѣ ихъ болѣе тѣснаго знакомства въ Довиллѣ.

— Вашъ братъ тоже пріѣхалъ съ вами?

— Да.

— Ваша мама здорова?

— Да, здорова.

Серизье замолчалъ. Удивленіе его все росло.

— Вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, ничего не случилось? — повторилъ онъ черезъ минуту.

— Я хотѣла вамъ сказать одну вещь.

— Я васъ слушаю. — Серизье вдругъ почувствовалъ, что у него безъ подвязки начинается спускаться лѣвый

носокъ на ногѣ, это могло быть видно. Садясь, онъ механически, какъ всегда, одернулъ брюки у колѣнъ. — Я васъ слушаю, мадмуазель Жюльеттъ, — сказалъ онъ, стараясь поставить ногу такъ, чтобы носка не было видно.

— Я вамъ хотѣла сказать одну вещь... Я знаю, что это глупо... Можетъ быть, гадко... Я хочу остаться у васъ!

— Остаться у меня? — повторилъ Серизье. «Что такое: гадко?» — удивленно подумалъ онъ. — Я знаю, мадмуазель Жюльеттъ, вы хотите у меня работать. Я уже говорилъ вашей мамѣ, что съ удовольствіемъ сдѣлаю все отъ меня зависящее. Хотя долженъ предупредить васъ, что...

— Я говорю не объ этомъ. — Жюльеттъ собрала всѣ силы. — Я была бы счастлива служить вамъ и помощницей, но... Я люблю васъ...

И это вышло худо, совсѣмъ худо: она не «выпалила» этихъ словъ и не «выговорила ихъ едва слышно». Привычка къ спокойной разсудительной рѣчи была въ ней слишкомъ сильна: слова сказались просто, безъ интонаціи, какъ самая обыкновенная фраза, въ ужасномъ противорѣчьи со смысломъ.

Серизье вытаращилъ глаза.

— Вы меня любите? — растерянно повторилъ онъ. Носокъ на его ногѣ опустился до туфли, открывъ волосатую ногу.

— Я хочу быть вашей любовницей.

Эти слова Жюльеттъ приготовила заранѣе. Она приготовила заранѣе много, — теперь все забыла, кромѣ этихъ короткихъ страшныхъ словъ, — но они тоже прозвучали такъ обнаженно, просто, грубо. «Вышелъ фарсъ», — промелькнуло у нея въ головѣ.

— Хочу быть вашей любовницей, — сказала она снова, съ отчаяньемъ.

— Вы хотите быть... Вы шутите, мадмуазель, — наивно произнесъ Серизье.

Въ ту же секунду онъ пришелъ въ себя. «Вотъ оно

что: экзальтированная дѣвчонка! Такъ она въ меня влюблена! И она!..» — На него нахлынула радость. Навность сразу соскочила съ Серизье. Съ нимъ никогда подобныхъ происшествій не было, но экзальтированныхъ дѣвчонокъ онъ видалъ на сценѣ, какъ видалъ и сходныя положенія. Изъ глубины подсознанія Серизье выплылъ первый любовникъ, высокаго роста, съ сильными увѣренными движеніями, съ мощнымъ груднымъ голосомъ. Онъ спокойно, не торопясь, разсматривалъ Жюльеттъ. Носокъ на лѣвой ногѣ пересталъ его беспокоить. «Да, она недурна собой. Какъ это я ея не замѣчалъ? Муся Клервилль гораздо лучше, но...» Онъ раздѣлъ Жюльеттъ взглядомъ. Желаніе вдругъ овладѣло имъ съ такой силой, какой онъ давно не испытывалъ. «Въ спальной постель не убрана»...

Онъ взялъ ее за руку. Независимо отъ волненія, жесты его, взглядъ, интонація голоса почти всецѣло опредѣлялись полусознательными воспоминаніями о томъ, что онъ гдѣ-то когда-то видѣлъ на сценѣ. — «Дитя мое», — началъ онъ и это «дитя мое» было изъ какой-то пьесы или книги. — «А вѣдь ей въ самомъ дѣлѣ нѣтъ двадцати лѣтъ!» — вдругъ подумалъ онъ. «Конечно, несовершеннолѣтняя и, должно быть, дѣвушка».

Эта мысль немного его охладила. Онъ хотѣлъ сказать: «Дитя мое, какой лучъ свѣта, какое счастье вы внесли въ мою жизнь!» — и обнять ее. вмѣсто этого Серизье поцѣловалъ Жюльеттъ руку — выше перчатки — и сказалъ: «Дитя мое, вы безконечно меня тронули!» Жюльеттъ заговорила, объясняя свой поступокъ, свои чувства. Но слова, которыя дема казались безразсудно-красивыми, здѣсь звучали плоско, глупо, безстыдно. Съ растущимъ отчаяніемъ она чувствовала, что все пропало, что она тонетъ. Жюльеттъ остановилась, съ ужасомъ на него глядя. Серизье представились многочисленныя непріятности, которыя неизбѣжно должно было повлечь то, что онъ уже — впередъ, на болѣе позднее время — называлъ въ мыс-

ляхъ минутой увлеченья. — «Имѣть дѣло съ Леони! «Вы обезчестили мою дочь! Вы обязаны жениться!» Она не очень хороша собой. Муся Клервилль гораздо лучше, да и Люси не хуже... Нѣтъ, нѣтъ, я не могу связать судьбу ребенка съ бурной жизнью социалистическаго агитатора!» Эта отчетливая формула сразу все рѣшила. — «Связаться съ Леони и съ ея салономъ! Черезъ недѣлю объ этомъ напишутъ въ газетахъ: я окажусь содержателемъ салона Леони или на его содержаніи!» — Серизье совсѣмъ остылъ. — «Дитя мое», — сказалъ онъ снова, проникновеннымъ голосомъ. Жюльеттѣ вздрогнула, опустила глаза, скользнула взглядомъ по его волосатой ногѣ и снова подняла голову. — «Дитя мое, вы не представляете себѣ, какъ меня тронулъ вашъ безразсудный поступокъ!»

Онъ говорилъ минуты три, совершенно овладѣвъ собой: связная гладкая рѣчь успокаивала его въ самыхъ трудныхъ случаяхъ жизни. Серизье и теперь говорилъ какъ первый любовникъ, но такъ, какъ можетъ говорить съ экзальтированной дѣвчонкой первый любовникъ, страстно влюбленный въ другую женщину. Онъ сказалъ все то, что могъ бы сказать экзальтированной дѣвчонкѣ большой человѣкъ рѣдкой порядочности.

... — Я увѣренъ, вы скоро забудете это трогательное дѣтское чувство. Мой долгъ, забота о вашей молодой жизни, о вашихъ интересахъ заставляетъ меня сказать вамъ это, — произнесъ онъ проникновеннымъ тономъ, такъ, какъ, случалось, на митингахъ предостерегалъ рабочихъ отъ всеобщей забастовки, въ принципѣ вполнѣ законной, но сейчасъ неподходящей и опасной: надо имѣть мужество говорить пролетариату правду. Серизье вдругъ опять вспомнилъ о носкѣ. Улучивъ минуту — Жюльеттѣ мертвымъ взглядомъ смотрѣла на стѣну, — онъ наклонился и быстро подтянулъ носокъ.

Жюльеттѣ встала.

— Простите меня...

— Не мнѣ васъ прощать, — еще болѣе глубокимъ,

мягкимъ, проникающимъ въ душу голосомъ произнесъ Серизье. — Я должёнъ отъ всей души благодарить васъ за... — Онъ не сразу придумалъ, за что именно слѣдуетъ благодарить Жюльеттѣ, и кончилъ: «за этотъ лучъ свѣта», — теперь можно было сказать «лучъ свѣта», но въ другомъ смыслѣ и съ совершенно другой интонаціей. Жюльеттѣ быстро направилась въ переднюю.

## XV.

Большинство мелодій этой оперетки было знакомо Витѣ; но онъ не зналъ, что взяты эти мелодіи изъ нея, и принималъ ихъ съ удовольствіемъ, какъ неожиданно встрѣченныхъ старыхъ пріятелей. «Конечно, забавная вещь. Но каковъ, по вашему, ея тонъ?» — спрашивалъ Витя Мишеля. — «То-есть какъ, тонъ?» — «Что вы могли бы сказать о человѣкѣ, написавшемъ эту оперетку, объ его мировоззрѣніи?» (онъ шутивно подчеркнул ученое слово). — «По совѣсти, меня мало интересуетъ мировоззрѣніе опереточныхъ композиторовъ». — «Я сказалъ бы, что онъ такъ понимаетъ жизнь: все чудесно, всѣ живутъ очень весело, у всѣхъ есть деньги, всѣ влюбляются, всѣ имѣютъ успѣхъ въ любви, кромѣ развѣ глупыхъ, выжившихъ изъ ума старичковъ, да и тѣмъ собственно тоже довольно весело, хоть не такъ весело, какъ другимъ: въ концѣ дѣйствія поютъ вѣдь и старички». — «Ну, и что же?» — «Ничего, конечно... Добавлю, что въ каждомъ дѣйствіи всѣ пьютъ шампанское. Все-таки, какъ можно такъ грубо лгать на жизнь?» — «Во-первыхъ, въ жизни есть и это, многіе люди именно такъ живутъ, не мы съ вами, конечно. А, во-вторыхъ, кто-же, чудакъ вы этакій, ищеть правды въ опереткѣ! Все это ваша русская манера: философствовать по каждому удобному и неудобному случаю», — сказалъ рѣшительно Мишель. Онъ былъ очень доволенъ опереткой; какъ всѣ люди, не безнадежно ли-

шенные слуха, но и не музыкальные, онъ любилъ всякую музыку. — «Нѣтъ, я въ искусствѣ требую полной правды. Вотъ, въ «Урокѣ анатоміи» Рембрандта отъ трупа чуть только не идетъ трупный запахъ. Это я понимаю». — «Такъ-то Рембрандтъ! Русская маѣра!» — повторилъ Мишель.

«Собственно, это общее мѣсто невѣрно», — подумалъ Витя. — «Мишель гдѣ-то слышалъ и повторяетъ. Но и у Достоевскаго неправда, будто русскіе мальчики обычно разговариваютъ другъ съ другомъ о Богѣ и о безсмертіи души, и будто, если русскому мальчику дать карту звѣзднаго неба, то онъ на слѣдующій день вернетъ ее исправленной. Я русскій, а почти никогда о Богѣ съ товарищами не говорилъ. А ужъ карту звѣзднаго неба и не подумалъ бы исправлять: напротивъ, всегда благоговѣлъ передъ чужой ученостью... А вдругъ я въ самомъ дѣлѣ стану писателемъ?» — съ наслажденіемъ вернулся онъ къ мысли, которая не покидала его весь вечеръ. — «Тогда не забыть вставить въ книгу и про Рембрандта, и про Достоевскаго».

Заигралъ оркестръ. Актеръ, переходившій отъ разговора къ лѣвнью, повернулся лицомъ къ публикѣ и съ веселой улыбкой потаптывался съ ноги на ногу, ожидая дирижерскаго сигнала. Дирижеръ изогнулся и стремительно подалъ знакъ. Актеръ затанулъ куплеты, все такъ же изображая на лицѣ крайнее веселье. — «Говорятъ, революція въ Венгріи началась послѣ исполненія Берлюзовскаго марша. Венгры бросились на баррикады», — сказалъ Витя, — «интересно, куда можно броситься послѣ этихъ куплетовъ?» — «Именно туда, куда мы съ вами и собираемся броситься сегодня ночью». — «Да, правда»... — «Но, если я стану писателемъ, то что же мнѣ писать, гдѣ печататься?..»

Первый комикъ заливался смѣхомъ, хлопалъ другихъ актеровъ по животу, прыгалъ на столъ, падалъ съ хохотомъ въ кресло, дрыгалъ ногами. «Можетъ быть, я:

тоньше другихъ людей, если меня это нисколько не смѣшить. Мишель тоже хохочетъ. Онъ воображаетъ себя призваннымъ вождемъ людей.. Я вижу его насквозь, мнѣ дана отъ Бога наблюдательность. Я не такъ уменъ, какъ Браунъ, и знаю очень мало. Но я умнѣ Мишеля. Да, надо, надо стать писателемъ!.. Что скажетъ Муся, когда прочтеть мой романъ? Я выпущу его подъ псевдонимомъ?..»

Третье дѣйствіе подходило къ концу. Обманутый старикъ изъ пустой бутылки налилъ шампанскаго обманувшей его женщины и ея любовнику, затѣмъ всѣ трое выстроились съ пустыми стаканами въ рукахъ и, необыкновенно-весело поглядывая на публику, запѣли заключительныя куплеты. Въ ложахъ мужчины, стоя, помогали дамамъ одѣваться. — «Ничего, для лѣтняго спектакля очень недурно», — сказалъ Мишель, аплодируя актерамъ. — «Публика, вѣрно, провинціальная?» — «Да, это вамъ не Довилль.. Но надо же было намъ гдѣ-нибудь посидѣть до двѣнадцати. Такъ какъ же, идемъ?» — «Я думаю, да? Пойдемъ въ самое дѣлѣ», — столь же небрежно отвѣтилъ, замирая, Витя. — «Я васъ предупредилъ: денегъ у меня нѣтъ. Я могу истратить не болѣе сорока франковъ». — «Я заплачу за все». — «Я хочу сказать, что у меня сейчасъ нѣтъ, я взялъ въ обрѣзъ. Разумѣется, какъ только татап пріѣдетъ, я верну вамъ свою долю». — Мишель въ самое дѣлѣ не любилъ, чтобы за него платили другіе.

.....

Они вернулись домой въ четвертомъ часу ночи. Ключъ былъ у Вити. Когда онъ отворилъ дверь, ему показалось, что на полу бокового корридора исчезла полоса свѣта; въ этотъ корридоръ выходила комната Жюльетты. «Нужели она еще не спитъ? Но зачѣмъ же было тушить свѣтъ при нашемъ появленіи. Нѣтъ, вѣрно, мнѣ такъ показалось», — подумалъ онъ. Въ квартирѣ было совершен-



но тихо. Противный запахъ краски и нафталина точно еще усилился.

Они на цыпочкахъ прошли въ столовую. На столѣ въ бумажкахъ лежала провизія, купленная днемъ Витей. Мишель только на него посмотрѣлъ, — «Экій лѣнтяй», — подумалъ онъ, морщась. — «Въ такую жару оставилъ все на столѣ, да еще безъ тарелокъ!..»

— Очень кстати, что можно закусить, — сказалъ онъ. — Я обычно не ужинаю, это нездорово. Но сегодня я проголодался, вы вѣрно тоже. Странно, что Жюльеттъ не убрала все въ *garde-manger*.

— Я забылъ убрать. Я не такой хозяйственный, какъ вы оба, — разсѣянно отвѣтилъ Вита. Онъ думалъ о другомъ, весь полный, пресыщенный впечатлѣніями, грустью, стыдомъ, гордостью, радостными укорами совѣсти.

— О, да, мы люди аккуратные, въ этомъ мы съ сестрой сходимся. Такъ воспитаны, — сказалъ Мишель, доставая изъ буфета тарелки, ножи, вилки. Засаленныя бумажки тотчасъ исчезли. — Ветчина... Колбаса... Сыръ... Такъ. Все, что нужно для чelовѣческаго счастья. А хлѣбъ?

— Хлѣба я не купилъ. Вы мнѣ не сказали.

Мишель качалъ головой, глядя на него съ укоромъ и жалостью.

— Какой вы безтолковый, мосье Викторъ!.. Что-жъ, тѣмъ хуже: будемъ ѣсть безъ хлѣба. А это что? — онъ взялъ со стола сложенную тонкую бумажку. — Верональ. Развѣ вы плохо спите?.. Послушайте, какъ вы насчетъ винца?

— Не много ли? Тамъ пили шампанское.

— То-есть, это я пилъ и онѣ. Вы не пили.

— Мнѣ было не до вина, — сознался Вита. Мишель засмѣялся. — Пожалуй, если есть вино, я готовъ.

— Настоящаго погреба у насъ нѣтъ, но бутылокъ десять недурного вина всегда есть. — Онъ отворилъ дверцы второго, маленькаго буфета; видно хорошо зналъ, гдѣ что находится въ ихъ квартирѣ. — *Graves*. Нѣтъ, бѣла-

го я теплымъ пить не стану... Moulin-à-vent. Какъ вы къ нему относитесь?

— Сочувственно.

— Вотъ и отлично. — Мишель досталъ пробочникъ и очень ловко откупорилъ бутылку. — Ваше здоровье, мосье Викторъ... Можно васъ называть просто Викторъ?

— Разумѣется, можно.

— Ваше здоровье, Викторъ, хоть вы на рѣдкость безтолковы. — Мишель былъ чуть навеселѣ и въ самомъ лучшемъ настроеніи духа. Онъ жадно ѣлъ, болталъ безъ умолку, гораздо откровеннѣе, чѣмъ обычно, и, не переставая, прилилъ Витю за то, что онъ не купилъ хлѣба, за то, что онъ баба и не знаетъ жизни. «Еще нѣсколько уроковъ, и я буду ее знать»,—подумалъ Витя.—Ветчина отличная, — говорилъ Мишель, — и вино тоже недурное. Въ графинѣ есть коньякъ, но его я вамъ не рекомендую. Нашъ метръ-д'отель, Альберъ, систематически пилъ коньякъ изъ графина и доливалъ водой.

— У васъ есть метръ-д'отель?

— Былъ. Его расчислили, когда дѣла стали хуже. Я былъ этому очень радъ... Не тому радъ, что дѣла пошли хуже, а тому, что расчислили метръ-д'отеля. Во-первыхъ, только татап могла держать завѣдомаго вора, а, во-вторыхъ, къ чему намъ метръ-д'отель? Видѣть не могу, когда люди лускаютъ пыль въ глаза. Состояніе у насъ крошечное. Матап его временно прибрала къ рукамъ... Вамъ не нравится вино?

— Нѣтъ, вино отличное, — отвѣтилъ лѣнливо Витя. Онъ думалъ, что Мишель отъ всего — отъ оперетки, отъ вина, отъ женщинъ, отъ жизни — получаетъ въ десять разъ больше удовольствія, чѣмъ онъ. — Ваше здоровье!

— Въ общемъ, вы довольны вечеромъ? Не скучали?

— Не притворяйтесь, Мишель: «скучали» самое неподходящее слово, вы это отлично знаете.

Мишель опять весело засмѣялся.

— Вы правы. — Онъ налилъ еще вина въ стаканы. —

Женщины очень ко мнѣ лѣзутъ, но я знаю имъ цѣну. Всѣ онѣ одинаковыя: и герцогини, и наши сегодняшнія. Моя, кстати, была гораздо лучше вашей!

— Я не нахожу.

— Ужъ вы мнѣ повѣрьте! Я это дѣло знаю. И тутъ вы сплеховали!

— Послушайте, Мишель, а мы не заболѣемъ?

— Ни въ какомъ случаѣ! — увѣренно отвѣтилъ Мишель и далъ техническія разъясненія. — А заболѣете, такъ будете лѣчиться. Нельзя заранѣе отравлять себѣ существованіе.

— Въ этомъ вы правы. Это главное несчастье. Я недавно научился бриться; пока боялся бритвы, ничего не выходило. Такова и жизнь.

— Я во всемъ правъ, но не умѣю говорить такъ образно, какъ вы. Сыръ отличный... Два семьдесятъ пять? Неужели три двадцать? И здѣсь переплатили! Скажите, другъ мой, зачѣмъ вы заказали ту третью бутылку шампанскаго? Можно было отлично отдѣлаться двумя.

— Не я спросилъ. Онѣ сами потребовали.

— Еще бы онѣ не требовали! — Мишель смотрѣлъ на Витю съ благодушнымъ пренебреженіемъ, видимо ни въ грошъ его не ставя. — Это стало у него привычкой: все, что дѣлалъ Витя, Мишель тотчасъ объявлялъ верхомъ непрактичности. — Давайте теперь считаться.

— Потомъ сочтемся, не къ спѣху. «Никогда не откладывай на завтра того, что можно отложить на послѣзавтра».

— Эта вашъ жизненный девизъ? Нѣтъ, нѣтъ, сегодня! — Мишель вынулъ карандашъ и сталъ подсчитывать на валявшейся тонкой бумажкѣ отъ вероналя. — За автомобиль заплатилъ я, двѣнадцать франковъ, такъ что шесть скинуть.. Я вамъ долженъ 154 франка.

— Однако!.. Неужели мы истратили больше трехсотъ?

— А вы думали? Что? Большая брешь въ вашемъ бюджетѣ?

— Да, — кратко отвѣтилъ Витя. Онъ сразу пришелъ въ дурное настроеніе. «Хорошъ бюджетъ — деньги отъ Муси!.. Мишель хочетъ знать, сколько я отъ нея получаю. И, конечно, думаетъ, что это гадко: жить на чужія деньги и тратить по полтора ста франковъ въ ночь на развратъ. Въ самомъ дѣлѣ, это очень гадко! Да, нашелъ, чѣмъ гордиться!..»

Въ корридорѣ послышался шорохъ. Мишель поспѣшно всталъ и отворилъ дверь.

— Жюльеттѣ, это ты? Ты не спишь!

— Дай, пожалуйста, мнѣ стаканъ, Мишель. Мнѣ хочется пить.

— Хочешь вина? Зайди, ты въ пеньюарѣ отлично можешь ему показаться.

— Нѣтъ, я налью воды изъ-подъ крана... Впрочемъ, дай вина. — Она подогнулась къ двери, оставаясь въ неосвѣщенномъ корридорѣ.

— Доброй ночи, мадмуазель Жюльеттѣ, — сказала Витя. — Надѣюсь, это не мы васъ разбудили?

Жюльеттѣ ничего не отвѣтила. Мишель протянулъ ей стаканъ съ виномъ.

— Ты здорова ли?

— Здорова... Спокойной ночи... Мишель, который часъ?

— Три часа. Что это у тебя такой странный видъ? Ты бы, знаешь, закрыла лицо руками, какъ преступникъ изъ общества, проходя передъ газетными фотографами!

— У меня болитъ голова... Спокойной ночи. Не пей такъ много. Спокойной ночи, Мишель!

— Спокойной ночи, — проворчалъ Мишель съ досадою. Онъ вернулся къ столу.

— Странная дѣвушка, моя сестра; — сказалъ онъ, на-

ливая себѣ еще вина, какъ бы наперекоръ совѣту Жюльеттъ.

— Она на меня не сердится?

— За что?

— Не знаю. Быть можетъ, за то, что мы такъ поздно вернулись.

— Только не хватало бы, чтобы я терпѣлъ ея контроль! Достаточно того, что я не слѣжу за ней.

— Она ничего худого, кажется, не дѣлаетъ.

— О, нѣтъ! Жюльеттъ всю свою жизнь построила на логикѣ. Она самая разсудительная женщина въ мірѣ. Именно поэтому она не имѣетъ у мужчинъ успѣха... А въ самомъ дѣлѣ, пора спать, — сказалъ онъ, потягиваясь. — Я отлично сплю послѣ вина. Но недолго, часовъ пять, а мнѣ нужно ровно восемь часовъ сна.

— Спокойной ночи... Такъ не заболѣемъ?

— Какія глупости!.. Вы посмотрѣли, у васъ есть все, что нужно? Одѣяло? Подушка?

— Благодарю васъ. Вотъ читать нечего. Дайте мнѣ какую-нибудь книгу, — зѣвая сказалъ Витя.

— У меня книги больше политическія. Вѣдь вамъ романъ?

— Что хотите... Какую это книгу такъ хвалили тогда въ казино Серизье?

— Не интересовался. Романовъ у меня нѣтъ, а книгу, которую хвалили Серизье, я буду читать послѣдней.

— Вы очень его не любите? — небрежно спросилъ Витя, тоже вставая.

— Терпѣть не могу.

— Потому, что онъ социалистъ?

— И поэтому, и по другимъ причинамъ. А вы его любите?

— Цѣню.

— Я забылъ: вѣдь вы демократъ. Можно ли васъ спросить: пошли бы вы на смерть ради Серизье?

— Ну, на смерть! Я не увѣренъ, есть ли такіе идеи или люди, ради которыхъ вы пойдете на смерть.

— Это другой разговоръ! Нѣтъ, сознайтесь, у вашей Муси отвратительный вкусъ.

— У Муси? Почему у Муси?

— Полноте прикидываться, — сказала Мишель, искося на него взглянувъ съ порога. — Вы замѣтили, гдѣ въ корридорѣ выключатель?

— Да, замѣтилъ. Въ чемъ прикидываться?

— Точно вы не знаете, что она любовница Серизье... Такъ не забудьте же потушить въ столовой и въ корридорѣ. Спокойной ночи, мой другъ.

## XVI.

Сонъ не приходилъ. Сказанное Мишелемъ сливалось съ впечатлѣніями ночи, съ головной болью, съ тяжелымъ запахомъ краски и нафталина въ общее чувство отвращенія отъ всего на свѣтѣ. «Да, теперь мнѣ все — все равно», — думалъ Витя. — «Моральныхъ преградъ больше нѣтъ. Покончить съ собой не жалко, убить — не грѣшно... Все могу сдѣлать. Я сейчасъ готовый преступникъ. Но и всѣ люди, вѣрно, такіе же. Очень мало нужно самому обыкновенному человѣку, чтобы перейти эту грань»...

Въ столовой онъ выдержалъ характеръ. На слова Мишеля «Точно вы не знаете, что она любовница Серизье?» Витя равнодушнымъ, не дрогнувшимъ голосомъ отвѣтилъ: «Полноте, какая ерунда!..» Мишель саркастически засмѣялся. — «Собственно, почему вы знаете?..» Не получивъ отвѣта (молчаніе Мишеля было необыкновенно значительно), Витя небрежно добавилъ: «Обо всѣхъ вѣдь говорятъ гадости»... — «Да, да, конечно, конечно!» — сказала Мишель подчеркнуто-уступчивымъ тономъ. Такъ семь летчика, пропавшаго въ морѣ безъ вѣсти двѣ не-

дѣли назадъ, близкіе говорятъ, что въ самомъ дѣлѣ, онъ вѣрно опустился гдѣ-нибудь на необитаемомъ островѣ. — «А впрочемъ!» — произвесь Витя и потянулся; — «мнѣ то что?.. Эхъ, спать хочу»... «Что потянулся, это отлично, но не нужно было говорить: «спать хочу»... Кажется, я какъ разъ до этого сказалъ, что не засну, и просилъ дать мнѣ книгу. А впрочемъ не все ли равно? И если поблѣднѣль, тоже все равно, хотя бы онъ и замѣтилъ»...

Затѣмъ онъ остался одинъ. Витя и себѣ сначала попробовалъ сказать: «мнѣ-то что?» Но это не вышло. У него рыданія подступили къ горлу. Онъ раздѣлся и легъ въ постель. Ему пришло въ голову, что до этой ночи онъ просто никогда не имѣлъ времени или, вѣрнѣе, случая подумать о себѣ, о своей жизни, о жизни вообще. «Можетъ быть, и у другихъ людей то же самое? Многие вѣрно, умираютъ, такъ и не успѣвъ о себѣ подумать правдиво, по настоящему»... Онъ долго разбирался въ своихъ чувствахъ къ Мусѣ. «Да, конечно, влюбился въ первый же день, когда ее увидѣлъ. Но въ Берлинѣ я думалъ о ней гораздо меньше. Одно время почти совсѣмъ не думалъ, мнѣ нравилась фрекенъ Дженни. То было спрятано наднѣ души. Въ Довиллѣ моя страсть вспыхнула съ новой силой. Но если-бъ я олять уѣхалъ, если-бъ зажилъ другой жизнью, быть можетъ, я забылъ бы о Мусѣ опять, — не черезъ недѣлю, но черезъ годъ, черезъ два. И потомъ, перенесъ же я ея бракъ! Въ сущности, не все ли равно, съ кѣмъ она живетъ, если не со мной: съ мужемъ или съ любовникомъ», — нарочно самыми грубыми словами говорилъ себѣ Витя.

Онъ себѣ представлялъ, гдѣ Муся можетъ встрѣчаться съ Серизье. «Вѣрно, въ гарсоньеркѣ. У него достаточно денегъ, онъ, должно быть, имѣетъ для всякихъ такихъ дѣлъ постоянную гарсоньерку», — Витя съ особенной радостью повторялъ мысленно это пошленькое и по звуку слово. Происходившее, по его мнѣнію, въ гар-

соньеркѣ онъ воображалъ съ полной наглядностью, въ картинахъ прошедшей ночи (сопоставленіе это своей грубостью было мучительно-приятно). «А въ Довиллѣ она, вѣрно, приходила къ нему въ гостиницу, — когда говорила намъ, что идетъ играть. Такъ было и въ тотъ день, когда она пришла на поло... «Раздѣвать женщину надо медленно», — вспомнились ему слова Мишеля. Чтобы совершенно вымазать Мусю своимъ цинизмомъ, Витя отнесся къ дѣлу х л а д н о к р о в н о и о б ъ е к т и в н о : «Если-бъ это въ той же гарсоньеркѣ было, у нея со мной, я смотрѣлъ бы на дѣло иначе. Серизье ничѣмъ не хуже меня, только то, что онъ богатъ. И, разумѣется, я ему завидую, что у него есть деньги, что у него есть гарсоньерка. Конечно, готтентотская мораль. Весь міръ состоитъ изъ готтентотовъ»... И Витя долго себѣ представлялъ, что сдѣлалъ бы съ Мусей, если-бъ она оказалась въ гарсоньеркѣ, въ полной его власти. «Вѣдь и она говорила, тогда въ Казино, что самыя лучшія мысли человѣка, самыя острыя его желанія, тѣ, въ которыхъ онъ и себѣ почти никогда не признается. Это неправда, конечно. Но почему же надо говорить или даже думать правду?..»

Потомъ онъ вдругъ, со злорадствомъ, вспомнилъ о Клервиллѣ. «Собственно, онъ здѣсь наиболѣе заинтересованное лицо! Знаетъ ли онъ? Нѣтъ, конечно, не можетъ знать: мужья узнаютъ послѣдними. Но нужно, нужно, чтобы онъ узналъ»... Витя вдругъ подумалъ объ анонимномъ письмѣ. «Что-жъ, Лермонтовъ вѣдь писалъ анонимныя письма. Страсть все оправдываетъ». Онъ долго соображалъ, что сдѣлалъ бы Клервилля. Мысль о физической силѣ Клервилля, всегда неприятная Витѣ, впервые доставила ему удовольствіе. «Какъ было бы хорошо обладать самому такой силой, какъ у того негра въ Довиллѣ!.. Но если-бъ я въ самомъ дѣлѣ вздумалъ написать Клервиллю, — значитъ, на пишущей машинѣ? Анонимныя письма (онъ почти съ наслажденіемъ повторилъ мысленно эти отвратительныя слова), анонимныя



письма всегда пишутся на машинѣ. Тамъ, за угломъ, я видѣлъ бюро переписки. Но вѣдь въ переписку нельзя отдать такое письмо, продиктовать тоже нельзя. Значить, надо взять машину напрокатъ. Это не можетъ стоить дорого... Говорять, эксперты умѣютъ различать почеркъ машины. Но какіе же тутъ эксперты, и не все ли мнѣ равно? Пусть знаетъ, что это я! По англійски написать? Онъ догадается по стилю, что писалъ не англичанинъ. Лучше по французски». Витя сталъ мысленно сочинять — и вдругъ, ужаснувшись, опомнился. «Да, я не могу написать анонимное письмо, какъ не могу вытащить въ трамваѣ бумажникъ у сосѣда. Но если-бъ случилось что-либо другое, случилось безъ меня, само собой? Если-бъ, напримеръ, Серизье оказался тайнымъ большевистскимъ агентомъ?..» Онъ остановился въ мысляхъ и на этомъ. «Да, это нелѣпое предположеніе. Ревнивыцы всегда такія предположенія и дѣлаютъ»...

Несмотря на душевныя мученія Вити, ему была смутно-пріятна мысль — почти незамѣтная мысль — о томъ, что онъ ревнивецъ, что герои романовъ, больше всего ему нравившіеся, именно такъ переживали измѣну любимой женщины. «Все-же объ измѣнѣ говорить тутъ не приходится... А вдругъ Мишель просто совралъ или повторилъ сплетню? У Муси столько враговъ»,—Витя никакихъ враговъ Муси не зналъ.—«Собственно, я не долженъ былъ его слушать. Можетъ быть, я долженъ былъ бы дать ему пощечину?» — Онъ представилъ себѣ пощечину, изумленіе Мишеля, затѣмъ безобразную драку. «Онъ занимается боксомъ, онъ навѣрное избилъ бы меня, и, быть можетъ, я именно поэтому и не далъ ему пощечины. Нѣтъ, не поэтому, но... Я у нихъ живу въ домѣ, да и вообще пощечина это не отвѣтъ, не выходъ. Но онъ не вралъ! Я чувствую, что онъ говорилъ правду. Кажется, онъ сказалъ это нарочно, для меня, хоть и съ пьяныхъ глазъ. Онъ вѣдь думаетъ, что я живу съ Мусей, и завидуетъ мнѣ. Въ Довиллѣ онъ намекалъ на это, — правда,

шутливо, — и я не остановилъ его потому, что его намеки были мнѣ пріятны. Но если онъ такъ думаетъ обо мнѣ, то, можетъ быть, и о Серизье такая же ложь? Нѣтъ, нѣтъ! Развѣ я не видѣлъ того, что было на матчѣ бокса? Только по моей глупости я могъ истолковать это какъ-то иначе. У меня просто не укладывалось въ головѣ: Муся и этотъ бородатый фразеръ!» — Онъ вспоминалъ разные поступки, слова, улыбки Муси, — изъ нихъ изъ всѣхъ теперь слѣдовало, что Муся въ связи съ Серизье.

Снизу послышался шумъ оторвавшейся отъ пола подъемной машины. Витя напряженно ждалъ, гдѣ она остановится, — точно кто-нибудь могъ прійти къ нимъ въ этотъ часъ. Машина проплыла мимо ихъ этажа. «Кто это возвращается такъ поздно?..» Витя зачѣмъ-то зажегъ лампочку, взглянулъ на часы и изумился: еще не было пяти. «Я думалъ, прошла — не «цѣлая вѣчность», какъ пишутъ въ книгахъ, но прошло пять-шесть часовъ послѣ этого...» Машина остановилась гдѣ-то далеко наверху, отдохнула, сухо щелкнула и медленно поплыла внизъ. Вдругъ ему пришло въ голову: что, если сбѣжать по лѣстницѣ и положить голову на рѣшетку? — недавно онъ читалъ въ газетахъ о такомъ случаѣ. Витя рассчиталъ, что никакъ не успѣетъ сбѣжать. «Да и нельзя: я не одѣтъ... Впрочемъ, это очень просто: можно одѣться, сойти внизъ, подняться на машинѣ, оставить ее наверху, спуститься опять по лѣстницѣ и нажать внизу на кнопку. Рѣшетка у нихъ невысокая, положить голову какъ-нибудь можно». Ему вспомнилась подъемная машина въ домѣ Кременецкихъ, не дѣйствовавшая въ послѣдній петербургскій годъ: тамъ рѣшетка была, кажется, много выше. «Смерть мучительная: вѣдь машина не срѣжетъ голову, а задушить. Закричать не успѣю, но буду хрипѣть, выбѣжить консьержка. Поднять машину вѣрно невозможно. Крикъ, суматоха, полиція, пошлютъ телеграмму Мусѣ. Она, конечно, пріѣдетъ: «Витенька, Витенька!..» Знаю я теперь цѣну этому «Витенькѣ»! А можетъ быть, она и не

пріѣдетъ? Нѣтъ, она пріѣдетъ именно подъ этимъ предлогомъ, это такъ легко объяснить мужу. А въ Парижѣ Серизье съ гарсоньеркой. Что-жь, пусть передъ гарсоньеркой полюбуется на меня съ высунутымъ языкомъ! Странно, что у нихъ такая низкая рѣшетка. У насъ въ Петербургѣ и вообще не было подъемной машины. Папа снялъ нашу квартиру тогда, когда ихъ не знали. Но я хотя бы изъ-за папы не могу кончить самоубійствомъ! Да и вообще не могу и не хочу, все это вздоръ!.. У кого изъ нашихъ знакомыхъ была подъемная машина?..»

Витя заснулъ на мысли о самоубійствѣ. Ему снилось что-то дикое, ни съ чѣмъ несообразное, но во снѣ казавшееся вполне естественнымъ и понятнымъ: надъ картиной, изображавшей Парижскій Соборъ Богоматери, виталъ Богъ, — не такой, какимъ всегда изображали Бога художники, а безъ бороды, — Витя сначала недоумѣвалъ, почему Богъ безъ бороды, но потомъ понялъ, что это вполне возможно и даже правильно. Къ собору неслись два поѣзда, — въ одномъ былъ онъ, въ другомъ Серизье и Муся. Тамара Матвѣевна пыталась предупредить Клервилля и отчаянно кричала Витѣ, что онъ будетъ великимъ писателемъ, почти такимъ, какъ Семень Исидоровичъ. Поѣздъ наскочилъ на Соборъ и порвалъ картину, раздался крикъ, Витя проснулся и, задыхаясь, сѣлъ на постели.

Сквозь ставни пробивался свѣтъ. Витя съ ужасомъ соображалъ: онъ ли это крикнулъ? Въ корридорѣ какъ будто снова прозвучалъ не то крикъ, не то стонъ. «Да, это послышалось оттуда! Я никогда во снѣ не кричу. Жюльеттъ?.. Плачетъ? Ну, и пусть плачетъ. Мы достаточно плачемъ изъ-за нихъ»... Больше ничего не было слышно. Нелегко справляясь съ дыханіемъ, Витя опять легъ. «Спать никакъ не болѣе получаса. О чемъ я тогда думалъ? Да, подъемная машина, рѣшетка, все это вздоръ. Никто не кончаетъ съ собой изъ-за любви. Но ясно одно: оставаться здѣсь мнѣ больше невозможно. Мѣсто у донь-

Педро? Нѣтъ, на это идти нельзя. И это нужно было бы сдѣлать черезъ Мусю, покорно благодарю. Браунъ? Онъ самъ сказалъ, что шансовъ мало. Въ лучшемъ случаѣ это будетъ не скоро. Что же дѣлать теперь, сейчасъ? Черезъ двѣ недѣли оячь получить деньги у Муси, — уже не въ письмѣ, а просто изъ рукъ въ руки? «Вотъ твой окладъ, Витенька», — сказала она тогда, не глядя на меня. Ей самой было за меня стыдно. Такъ богатымъ людямъ стыдно за тѣхъ, кому они даютъ деньги... Будь проклята эта жизнь, при которой одни люди почему-то, безъ заслугъ, богаты, а другіе почему-то, безъ вины, нищіе. Но во всякомъ случаѣ теперь снова услышать «вотъ твой окладъ» я не согласенъ. Мнѣ за нее стыдно гораздо больше, чѣмъ ей можетъ быть за меня! Куда же мнѣ дѣться?»

Онъ сталъ мысленно подсчитывать, сколько у него оставалось денегъ. «Если уѣхать тотчасъ, то съ Мишеля получить долгъ нельзя. Какъ это некстати вышло! Весь сегодняшній вечеръ!..» Счетъ не выходилъ, Витя сбивался, считая. Внезапно ему показалось, что по ошибкѣ онъ заплатилъ въ томъ заведеніи лишніе сто франковъ. «Недаромъ она тотчасъ спрятала деньги!..» Несмотря на мысли о самоубійствѣ и о преступленіяхъ, эти потерянные, быть можетъ, сто франковъ привели Витю въ ужасъ. Онъ снова зажегъ свѣтъ, всталъ, отыскалъ пиджакъ; изъ бокового внутренняго кармана лѣзло все кромѣ бумажника: паспортъ, какіе-то счета, крышка самопишущаго пера, — перо отвинтилось, онъ укололъ палецъ и подумалъ съ радостью, что, быть можетъ, умретъ отъ зараженія крови. Бумажникъ, наконецъ, былъ вытащенъ. Витя пересчиталъ деньги. Было франковъ на тридцать меньше, чѣмъ выходило по его счету, но на тридцать, а не на сто: значитъ, лишней бумажки не далъ. «Двѣсти сорокъ пять франковъ. Куда же уѣхать?..»

Вдругъ его пронзила мысль: «Въ армію!..» Витя захлопнулъ отъ радости. «Какъ только раньше не пришло въ голову! Вѣдь цѣлый годъ говорилъ, не думая объ

этомъ по настоящему, а въ такую минуту забыть, когда это единственный достойный выходъ! Если убьютъ, то умру за Россію. Если останусь живъ, начнется новая жизнь!..»

Онъ долго лежалъ, уставившись въ окно. Щель въ ставняхъ медленно свѣтлѣла. На улицѣ начинался шумъ дня. Радость переполняла сердце Вити, онъ чувствовалъ, что спасенъ, точно принялъ душевную ванну, послѣ тѣхъ чувствъ, которые его измучили. «Вѣдь въ мысляхъ я дошелъ до полной низости, до анонимнаго письма! Да, теперь я спасенъ», — думалъ Витя. — «Отчаянный летчикъ, бросившійся внизъ съ горящаго аэроплана, вѣрно, такъ себя чувствуетъ въ въ то мгновенье, когда раскрывается парашютъ. Да, мой парашютъ раскрылся!.. Тамъ, на фронтѣ, напишу и романъ о себѣ, о своей жизни. Вотъ и этого летчика съ парашютомъ вставлю!..»

Теперь оставалось только обдумать дѣло практически. Можно отправиться на югъ Россіи, можно поѣхать въ сѣверо-западную армію. Витя зналъ, что существуютъ полуоткрытыя вербовочныя организаци. Главная борьба была на югѣ. Ею преемственно руководили знаменитѣйшіе генералы Россіи, — самыя слова «подъ знамена Деникина» ласкали душу Вити. Зато сѣверо-западная армія шла на Петербургъ. «Тамъ папа, Сонечка, Григорій Ивановичъ»... Онъ представилъ себя въ авангардномъ отрядѣ, врывающемся на коняхъ въ Петропавловскую крѣпость. «Если ѣхать на югъ, то нужно отправиться въ Марсель, а если въ сѣверо-западную армію, то въ Берлинъ. Хорошо, что запасся обратной визой! Тамъ уже денежная забота отпадаетъ: и отправятъ, и кормить будутъ за счетъ правительства. Но уѣхать изъ Парижа надо сегодня же! Прощаться не буду. Оставлю Мишелю записку, что возвращаюсь въ Довилль. Или, лучше, что получилъ черезъ Брауна работу въ провинціи. Пока они спишутся съ Музей, искать меня будетъ поздно. Муся впрочемъ не можетъ ничего сдѣлать, она мнѣ не опекунша. Да и не будетъ она особенно искать меня... Можетъ быть, будетъ

рада: обуза съ плечъ свалилась! Когда-нибудь я ей все напишу — изъ Петербурга»...

Потомъ онъ подумалъ, что денегъ все-таки недостаточно. На дорогу, на жизнь въ первые дни, пока не кончатся формальности, двухсотъ сорока пяти франковъ не хватить, — если ѣхать въ Берлинъ, то не хватить и на билетъ. Витя злобно-радостно вспомнилъ: вѣдь есть запонки Муси! «Теперь сантименты кончены. Отлично можно продать подарокъ любовницы господина Серизье!..» Онъ зналъ, что запонки стоили 2.800 франковъ: Муся объ этомъ проговорила Мишелю («а можетъ, и не проговорила, а похвастала: вотъ какъ она меня осчастливила!») Если продать, вѣрно тысячи полторы дадутъ? Но гдѣ-же продать? Зайти къ ювелиру? Еще покажется подозрительнымъ: молодой человѣкъ продаетъ такія дорогія запонки. Проще заложить въ ломбардъ, тамъ ко всему привыкли. Да, все-таки заложить пріятнѣе: когда-нибудь выкуплю и верну ей. Не изъ сантиментовъ, а такъ, просто, съ короткимъ письмомъ, безъ обращенія. «Позвольте вамъ вернуть съ извиненіями»... — онъ довольно долго сочинялъ въ мысляхъ и это письмо, потомъ вернулся къ дѣлу. — «Въ ломбардъ дадутъ, скажемъ, тысячу, но и этого за глаза достаточно. Можно будетъ даже револьверъ купить — на всякій случай. Гдѣ ломбардъ въ Парижѣ? Ну, это узнать нетрудно»... Витя всталъ и пошелъ въ ванную.

Черезъ полчаса онъ, съ чемоданомъ въ рукѣ, на цыпочкахъ прокрался къ выходной двери. Въ передней у телефона лежалъ толстый указатель. «Ломбардъ по французски *Mont de piété*»... Такого учрежденія въ телефонной книгѣ не было. Витя сообразилъ, что это не официальное, а бытовое названіе. «Ахъ, да, *Crédit Municipal*». Онъ записалъ адресъ, вернулся въ спальную, — не забылъ ли чего, — заглянулъ въ столовую, гдѣ объ этомъ узналъ: «больше никогда не увижу» — и вышелъ на лѣстницу, безшумно затворивъ за собой дверь.

## XVII - XX.

.....  
.....  
.....

## XXI.

Для Клервилля наступило тяжелое время. Ему по природѣ было несвойственно раздраженное состояніе. Теперь онъ изъ этого состоянія почти не выходилъ и вдобавокъ долженъ былъ тщательно скрывать свои чувства, приблизительно выражавшіяся словами: «Однако все это начинаетъ очень мнѣ надоѣдать!..»

Полусознательное значеніе «однако» сводилось къ тому, что Муся, въ концѣ концовъ, ни въ чемъ или почти ни въ чемъ не виновата. Что такое было «все это», Клервилль не могъ бы сказать опредѣленно. Сюда входили и беременность Муси, и ея мать, и ея друзья, — русскіе, французскіе, румынскіе, — мальчики, безъ причины исчезающіе неизвѣстно куда, дѣвочки, покушающіяся на самоубійство неизвѣстно почему. Исчезновеніе Вити, попытка самоубійства Жюльетты вызвали у Клервилля, несмотря на его доброту, не сожалѣніе, а злобу. Муся внесла въ его жизнь *fait divers*, — самое неприятное и неприличное изъ всего, что могло случиться съ порядочнымъ человѣкомъ.

«Но вѣдь это только послѣдняя капля, переполнившая чашу», — говорилъ себѣ онъ, съ тяжелымъ чувствомъ оглядываясь на послѣдній годъ своей жизни. Клервилль не любилъ самоанализа, — видѣлъ и въ самоанализѣ русское вліяніе. Въ послѣднее время это вліяніе становилось все болѣе ему неприятнымъ: здѣсь семья и окруженіе

Кременецкихъ страннымъ образомъ смѣшивались съ революціей, съ Петербургскими островами, съ «Бродячей собакой», съ Достоевскимъ. Онъ называлъ все это «экзотикой», съ удивленіемъ вспоминая, какъ нравилась ему экзотика въ ту пору, когда онъ былъ влюбленъ въ Мусю. «Да, все это было самообманомъ: ложная значительность пустыхъ разговоровъ, вѣра въ глубину балалаечныхъ оркестровъ и балалаечныхъ чувствъ»... Обычное въ кругу Муси противопоставленіе англійской элементарности и русской сложности казалось ему поверхностнымъ, если не просто глупымъ. «Видитъ Богъ, я не страдаю маніей величія, но, право, я какъ человѣкъ, сложнѣе, чѣмъ она и чѣмъ большинство ея друзей».

Онъ сознавалъ теперь ясно свою непоправимую ошибку. Еще въ Довиллѣ до происшествій съ друзьями Муси, жизнь съ женой, разговоры съ ней стали чрезвычайно тяготить Клервилля, несмотря на весь его, казалось, неисчерпаемый, запасъ благодушія, оптимизма, *savoir vivre*. Онъ зналъ напередъ каждое слово и въ своихъ, и въ ея рѣчахъ; но говорить и слушать эти слова было совершенно необходимо. Обрядъ былъ разработанъ точно. При всякой встрѣчѣ съ женой онъ заботливо освѣдомлялся объ ея здоровьѣ, спрашивалъ, какъ она провела два часа ихъ разлуки, была ли въ Казино, рассказывалъ, что дѣлалъ онъ самъ, сообщалъ новости изъ газетъ, и, разставаясь снова часа на два, цѣловалъ Мусю въ волосы и просилъ твердо помнить о своемъ положеніи — не дѣлать ничего неблагоразумнаго. Это было не слишкомъ утомительно. Но однажды, къ концу обряда, Клервилль поймалъ себя на мысли, что больше этого выдержать не можетъ.

Въ Парижъ они выѣхали экстренно. Утромъ, на пляжѣ, Елена Федоровна взволнованно сообщила Мусѣ, что Леони вдругъ уѣхала въ Парижъ, не простившись, ничего не объяснивъ: ее вызвалъ по телефону Мишель. Объясненія такъ и не послѣдовало. Дня черезъ два изъ Па-



рижа вызвали по телефону Мусю. Мишель кратко сообщил объ исчезновеніи Вити — и повѣсилъ трубку при первомъ ея восклицаніи ужаса.

Началась экзотика: нервы, суматоха. Клервилль успокаивалъ жену, — ничего страшнаго съ Витей случиться не могло: ушелъ и, по всей вѣроятности, скоро вернется; а если въ самомъ дѣлѣ уѣхалъ въ бѣлую армію, какъ она предполагаетъ, то это его право и, быть можетъ, его долгъ. Муся посмотрѣла на мужа почти съ ненавистью. Ему это доставило удовольствіе, — онъ самъ изумился. Клервилль согласился съ женой, что ей необходимо вернуться въ Парижъ и что онъ долженъ ее сопровождать. Согласился, стиснувъ зубы, уѣхать немедленно. Онъ успѣлъ только забѣжать на поло, проститься съ лошадами, сдѣлать о нихъ распоряженія.

Не пожелала остаться одна на морѣ и Елена Федоровна, — ее терзало любопытство: что такое случилось въ домѣ Георгеску? Къ тому же, погода рѣзко измѣнилась, жаркіе дни, затянувшіеся необычно поздно, кончились, — сразу наступили холода. Елена Федоровна заявила, что тоже покидаетъ Довилль. Она, видимо, надѣялась, что Клервилли предложить ей мѣсто въ своемъ автомобилѣ. Они однако этого не сдѣлали. Вернувшись въ Парижъ по желѣзной дорогѣ, Елена Федоровна тотчасъ все о Жюльеттѣ узнала, какъ ни старались Леони и Мишель скрыть семейную тайну. Никакой опасности больше не было. Елена Федоровна, закатывая глаза, всѣмъ рассказывала подъ строжайшимъ секретомъ, что шальная дѣвчонка отравилась вероналемъ изъ-за Серизье и что спасло ее лишь промываніе желудка: «Слава Богу, что Мишель не растерялся, — если-бъ врачъ пришелъ однимъ часомъ позже, она навѣрное погибла бы! И какое еще счастье, что дѣло не попало въ газеты!» Несмотря на свое джентльмэнское отсутствіе интереса къ чужой психологій, Клервилль ясно видѣлъ, что эта румынская баронесса, которую онъ всегда терпѣть не могъ, чрезвычайно

рада униженію Жюльеттъ, скандалу, промыванію желудка, и была бы совсѣмъ счастлива, если-бъ дѣло попало въ газеты.

Но ему было не до Елены Федоровны. Мусю оба происшествія потрясли необыкновенно. Она плакала цѣлые дни. Бѣда съ Жюльеттъ, по крайней мѣрѣ, была понятна, не вызывала у Муси угрызеній совѣсти и не требовала съ ея стороны никакихъ дѣйствій. Но относительно Вити она терялась въ догадкахъ. Если уѣхалъ въ армію, почему ничего не сказалъ, почему не оставилъ письма, хотя бы записки въ нѣсколько словъ? Муся не чувствовала, а знала, что дѣло связано съ ней; но какъ связано, она понять не могла. Клервилль нехотя предложилъ обратиться къ Серизье за рекомендательнымъ письмомъ въ префектуру. Муся поспѣшно отклонила предложеніе, сказавъ, что это неудобно изъ-за Георгеску, — мужъ тотчасъ съ ней согласился. вмѣстѣ съ тѣмъ она требовала, чтобы на ноги была поднята вся французская полиція. Клервилль дѣлалъ что могъ, всюду сопровождалъ жену, ѣздилъ по ея порученіямъ.

Толку выходило немного. Въ участкѣ, куда они бросились первымъ дѣломъ, комиссаръ внимательно выслушалъ рассказъ Муси, освѣдомился, сколько лѣтъ молодому человѣку, и затѣмъ саркастически-гробовымъ тономъ заявилъ, что, къ несчастью, никакого сомнѣнія быть не можетъ: конечно, 19-лѣтнее дитя убито, ограблено и брошено въ Сену, — всѣ доказательства налицо: ужъ если оно ушло изъ дому и не возвращается четыре дня! Не только Муся растерялась, но и Клервилль нѣсколько оторопѣлъ. Комиссаръ, фыркая, что-то куда-то записалъ, — было достаточно ясно, что онъ не спать ночей изъ-за этого дѣла не станетъ. Позднѣе Клервилль немало веселился, вспоминая фізіономію, слова, интонацію голоса комиссара.

Ничего не дала и бѣготня по другимъ инстанціямъ, хотя вездѣ Мусю вѣжливо выслушивали, записывали ея

заявленіе въ вѣдомость и общали тотчасъ дать знать, если что выяснится.

Витя пропалъ безъ вѣсти.

Клервилль долженъ былъ проводить съ женой почти весь день, — нельзя было сослаться и на службу: срокъ его отпуска еще не истекъ. Тамара Матвѣевна, какъ ему казалось, воспользовалась случаемъ и отъ нихъ не выходила. Она разъ десять рассказывала со всѣми подробностями свой разговоръ съ Витей, — ей сразу показалось, что онъ какой-то странный!.. Высказывались о бѣгствѣ Вити (такъ же, какъ о причинахъ поступка Жюльетты) самыя разнообразныя догадки. Спорили обычно Тамара Матвѣевна и Елена Федоровна, — какъ спорить большинство людей: каждая утверждала свое потому, что другая утверждала противоположное. Клервилль чувствовалъ, что Витя ему осточертѣлъ. Ему было рѣшительно все равно, куда бѣжалъ этотъ нелѣпный юноша, и зачѣмъ бѣжалъ, и что съ нимъ будетъ: лишь бы только не возвращался возможно дольше. Но высказать это было, очевидно, неудобно. Напротивъ, требовалось поддерживать разговоръ, придумывать свои догадки, обсуждать чужія, умолять Мусю не волноваться, — волненіемъ дѣлу не поможешь. Скрытое раздраженіе Клервилля все росло.

Зато отъ Вити же, значительно позднѣе, пришло и спасеніе — или, по крайней мѣрѣ, передышка. Писемъ отъ него не было, полиція ничего не выяснила, Муся была неутѣшна и отравляла жизнь мужу. Объявила она ему — совершенно некстати — и то, что не хочетъ имѣть ребенка: «Онъ родился бы въ такой обстановкѣ сумасшедшимъ!» — «Это вполне возможно», — подумалъ съ негодованіемъ Клервилль. Хоть онъ и самъ не слишкомъ хотѣлъ имѣть дѣтей, все же съ этого дня отчужденіе между ними еще усилилось.

Однажды, выслушивая въ сотый разъ, съ тихой злобой, жалобы Муси на Мишеля, на себя, на полицію, Клер-

вилль сказалъ, что англійское военное вѣдомство тѣснѣе связано съ бѣлыми, чѣмъ французское: ему, навѣрное, гораздо легче навести справки. Сказалъ онъ это безъ всякой затаенной мысли, — и вдругъ его такъ и ошбило! Муся встрепенулась. «Отчего же ты молчалъ до сихъ поръ? Надо сейчасъ же принять всѣ мѣры! Вѣдь мистеръ Блэквудъ давно уѣхалъ изъ Довилля въ Лондонъ, надо попросить, чтобъ онъ похлопоталъ!» — «Отличная мысль», — подтвердилъ Клервилль, — «у него большія связи. Вотъ только захочетъ ли онъ? Да и адреса его я не знаю. Развѣ написать наудачу въ посольство?» — «Не написать, а телеграфировать!» — «Куда же? Да въ телеграммѣ всего этого не изложишь, даже въ письмѣ трудно. Разумѣется, и у меня нашлись бы въ Лондонѣ связи»... — «Но отчего же ты молчалъ до сихъ поръ! Умоляю тебя, напиши сейчасъ же всѣмъ, кому только можно! А можетъ быть, ты самъ туда поѣдешь?» — «Поѣхать?» — раздумчиво спросилъ Клервилль, — «конечно, такія дѣла не устраиваются письмами, надо хлопотать лично». Съ видомъ готовности на всякія жертвы, Клервилль согласился завтра же выѣхать въ Лондонъ.

Несмотря на его жертвенность, передъ самымъ отъѣздомъ вышла размолвка, чуть только не ссора. Клервилль, допивая утреннее кофе, съ энергичнымъ видомъ излагалъ свой планъ дѣйствій: онъ первымъ дѣломъ бросится въ министерство, въ Intelligence Service, въ штабъ, затѣмъ разыщетъ мистера Блэквуда и попроситъ его поговорить съ министромъ. Муся слушала мужа недоброжелательно: его рвеніе показалось ей подозрительнымъ. Она не очень удачно придралась къ тому, что первымъ пришло ей въ голову. — «Все-таки это странно, что въ вашей Англій англичане должны обращаться за протекціей къ американцу!» — «Къ сожалѣнію, я съ этимъ министромъ не знакомъ». — «Ни съ этимъ, ни съ другими. Но я не думала, что власть денегъ въ Англій такъ велика». — «Я собственно не вижу, при чемъ тутъ власть денегъ?

Англія въ деньгахъ мистера Блэквуда не нуждается, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ иностранцу бываетъ легче похлопотать: за нимъ дипломатическая поддержка». — «Однако если-бъ этотъ иностранецъ былъ не американскій миллиардеръ, а, на примѣръ, сербскій пастухъ, то было бы иначе». — «Возможно. Дѣйствительно, съ миллиардерами вездѣ больше считаются, чѣмъ съ пастухами». — «Я именно это и говорю». — «Поздравляю съ открытіемъ». — Клервилль хотѣлъ было добавить: «Впрочемъ, если вамъ не нравятся англичане и англійскіе порядки, то...» Онъ однако сдержался; да и самъ не зналъ, что собственно послѣдуетъ за «то». Ссориться теперь, передъ самымъ отъѣздомъ, было бы бессмысленно. Онъ улыбнулся, посмотрѣлъ на часы, по телефону попросилъ швейцара подозвать автомобиль и приступилъ къ исполненію прощальнаго обряда. Въмѣсто обыкновеннаго поцѣлуя полагался поцѣлуй длинный, — Клервилль мысленно называлъ его «экраннымъ». Муся, по просьбѣ мужа, на вокзалъ его не провожала.

## XXII.

Клервилль оживился еще въ автомобилѣ, отвозившемъ его на вокзалъ. Но по настоящему онъ воспрянулъ духомъ только ступивъ на британскую территорию. Въ купѣ ему принесли чай, настоящій англійскій чай, о которомъ никто въ Парижѣ не имѣлъ понятія. Въ Лондонѣ почтительные носильщики, безъ шума, безъ крика, перенесли его вещи въ изящный экипажъ съ почтительнымъ кучеромъ позади. Экипажъ этотъ держался не правой, а лѣвой стороны улицы. На перекресткахъ великаны-полицейскіе стояли съ видомъ джентльменски-привѣтливимъ, а не угрюмымъ и злымъ, — полицейскіе другихъ странъ точно всегда составляли протоколъ за нарушеніе какихъ-то правилъ. Клервилль радовался все-

му этому какъ школьникъ на каникулахъ. Можетъ быть, Парижъ или Петербургъ были красивѣе Лондона, можетъ быть, и Муся была лучше молодыхъ англичанокъ, — это дѣла не мѣняло.

Остановился онъ въ своемъ клубѣ. Въ комнатахъ этого клуба было что-то приятно-старомодное, — какъ въ итальянской оперѣ или въ драмѣ въ стихахъ. О клубѣ ходилъ анекдотъ, будто одинъ изъ его членовъ, которому кто-то, по неопытности, сказалъ въ гостиной «Добрый вечеръ», немедленно послалъ дирекціи заявленіе о своемъ уходѣ, не желая состоять въ обществѣ столь назойливыхъ и болтливыхъ людей. Клубъ очень гордился этимъ анекдотомъ; но Клервилль зналъ, что понимать его надо въ переносномъ смыслѣ. Въ столовой онъ встрѣтилъ старыхъ друзей и пообѣдалъ такъ весело, какъ съ нимъ давно не случалось. Обѣдъ былъ безъ тонкостей; но и *Clear Turtle*, и *Fried fillets of Sole*, и *Baron of Beef*, и *Stilton* были солидные, честные, — самыя слова эти, тоже солидные, честныя, англійскія, доставляли ему наслажденіе. Превосходный портвейнъ, хранившійся въ погребахъ клуба болѣе полувѣка, окончательно умилилъ Клервилля.

Говорили за столомъ не по французски, а по англійски, — почему собственно онъ, коренной англичанинъ, долженъ былъ разговаривать по французски съ женой? это его утомляло. Говорили о погодѣ съ надеждой на ея улучшеніе, о недавнемъ провалѣ всеобщей стачки съ призваніемъ полной побѣды разумной части населенія надъ забастовщиками, о пріѣздѣ Пуэнкаре въ Англію, о проискахъ Франціи, которая явно стремилась установить свою гегемонію вмѣсто германской. Ругали Ллойдъ-Джорджа за лукавство, но отдавали должное его уму и гениальности. Вспоминали войну, погибшихъ товарищей, обсуждали служебныя новости, награды, повышенія. Всѣ продвинулись впередъ, но лишь немногіе быстрѣе Клервилля.

Онъ слушалъ друзей съ удовольствіемъ, даже съ

нѣкоторой завистью, — ни у кого изъ нихъ въ жизни экзотики не было. Клервилль былъ умнѣе и образованнѣе большинства своихъ товарищей и не считалъ нужнымъ блистать въ ихъ обществѣ. Въ глубинѣ души онъ и въ Петербургѣ думалъ, что по образованію, по уму стоитъ отнюдь не ниже своихъ русскихъ собесѣдниковъ, быть можетъ, выше очень многихъ изъ нихъ. Но тонъ и характеръ петербургскихъ разговоровъ часто его утомляли. «Что мнѣ въ ихъ тонкости, если и есть у нихъ тонкость? Она просто не нужна, какъ не нужно разрѣзывать хлѣбъ бритвой... Да и бритва, можетъ быть, у нихъ не такая ужъ острая»... Здѣсь, въ клубѣ, прекрасно воспитанные люди просто, весело болтали и о мудреныхъ, и о немудреныхъ предметахъ. О предметахъ мудреныхъ они высказывали не свои мысли, но это было настолько всѣмъ очевидно, что тутъ стыдиться было нечего: столь же условно король говоритъ тронную рѣчь отъ своего имени, хотя всѣмъ извѣстно, что въ ней нѣтъ ни одного сочиненнаго имъ слова. За всѣхъ думалъ вѣковой, превосходно работающій аппаратъ накопленной мудрости. Это нисколько не мѣшало каждому изъ нихъ имѣть внутреннюю жизнь, иногда богатую и напряженную. Клервилль зналъ и то, что во всей Англии эти нехитрые люди, послѣ выигранной ими войны — которая оказалась войной за наслѣдство русскихъ царей, — ведутъ огромную социальную-политическую работу, ведутъ безъ шума, безъ рекламы, безъ истерики — и главное безъ крови. До сихъ поръ Клервилль никогда такъ не радовался тому, что онъ англичанинъ, такъ этимъ не гордился. «Браунъ говорить, что нѣсколько бесспорныхъ цѣнностей въ мірѣ еще все-таки осталось: «свобода мысли, таблица умноженія»... Что-жь, мы именно бесспорныя цѣнности и сохранили»...

Послѣ обѣда онъ позвонилъ къ мистеру Блэквуду (отлично зналъ, что тотъ остановился въ Savoy) и по телефону изложилъ ему дѣло такъ подробно, что, собственно, во встрѣчѣ не было надобности. Мистеръ Блэквудъ вы-

слушалъ, записавъ имя и фамилію Вити, и предложилъ встрѣтиться завтра въ галлерей Палаты Общинъ. Онъ не былъ знакомъ съ тѣмъ министромъ, отъ котораго зависѣло дѣло, но сказала, что это ничего не значитъ: познакомиться будетъ очень просто. Его тонъ чуть-чуть покоробилъ Клервилля. Несмотря на свой споръ съ Музей, онъ былъ немного задѣтъ тѣмъ, что иностранецъ достаетъ для него билетъ въ парламентъ и общается, да еще съ такой увѣренностью, повліять на британскихъ министровъ. Кромѣ того не было никакой необходимости торопиться съ этимъ дѣломъ.

Затѣмъ Клервилль позвонилъ по телефону одной своей молодой пріятельницѣ. Хотѣлъ встрѣтиться съ ней еще сегодня,—это оказалось, къ его огорченію, невозможнымъ; они условились вмѣстѣ позавтракать на слѣдующій день. Вернувшись въ гостиную, Клервилль, вопреки анекдоту, весело бесѣдовалъ съ пріятелями за портвейномъ и сигарами.

Поздно вечеромъ, въ своей комнатѣ, онъ отворилъ окно настежь, — Муся съ октября не соглашалась спать при открытыхъ окнахъ, — принялъ вторую за день ванну и передъ сномъ открылъ новый романъ Голсуорси, купленный въ Дуврѣ, — не въ Таухницевоу, а въ настоящемъ, переплетенномъ англійскомъ изданіи. Клервилль читалъ съ восхищеніемъ: здѣсь никто не сжигалъ и печкѣ ста тысячъ, но и безъ балалаекъ (метафора эта очень ему нравилась) сложная жизнь могла описываться чрезвычайно умно и тонко. Онъ встрѣтилъ разъ въ обществѣ автора этой книги; тотъ учтиво и просто поблагодарилъ его за комплименты, съ видомъ достойнымъ и искреннимъ,—хоть Клервилль догадывался, что этого признаннаго всѣми писателя можетъ по настоящему интересовать лишь мнѣніе пяти или шести человѣкъ въ Англии, знающихъ толкъ въ литературѣ.

Онъ читалъ внимательно, слѣдя за поступками, за словами героевъ романа, провѣряя мысленно ихъ, какъ



знакомыхъ. О себѣ Клервилль почти не думалъ, но всей душой чувствовалъ ту же тихую радость освобожденія. Въ третьемъ часу ночи онъ оторвался отъ книги, потушилъ лампу и сказалъ себѣ твердо, что экзотика кончена, кончена навсегда. Точно въ тугомъ, не развязывавшемся узлѣ онъ вдругъ оттянулъ одну нить, — теперь долженъ развязаться и весь узелъ. Та неясная мысль о разводѣ, которая тревожно у него вставала въ послѣдніе дни, утратила непосредственное значеніе. Навожденіе разсѣялось и независимо отъ развода съ Мусей.

Клервилль вернулся на родину.

### XXIII.

Мистеръ Блэквудъ сожалѣлъ, что назначилъ на этотъ день свиданье Клервиллю въ Вестминстерскомъ дворцѣ. Онъ чувствовалъ себя плохо, печень разболѣлась, и съ утра его мучила мысль о томъ, что жизнь кончена, — «надо укладываться». Было не до встрѣчъ съ посторонними людьми и не до ходатайствъ за постороннихъ людей передъ англійскими министрами. Но мистеръ Блэквудъ всегда держалъ слово и въ условленное время, въ четверть третьяго, уже находился во дворцѣ.

Билетъ для него приготовилъ знакомый членъ палаты общинъ, очень любезный, прекрасно одѣтый старикъ, состоявшій членомъ парламента лѣтъ двадцать. По профессіи онъ былъ банкиръ. Мистеръ Блэквудъ терпѣть не могъ банкировъ и чуть только не считалъ ихъ вампирами, почти сходясь въ этомъ съ коммунистами. Онъ былъ убѣжденъ, что если-бы судить даже не по высшей справедливости, но просто по духу закона, а не по его буквѣ, то для громаднаго большинства банковыхъ дѣятелей — и ужь, конечно, для всѣхъ почти банкировъ новѣйшаго, чисто-спекулятивнаго поколѣнія, — нашлось бы мѣсто въ арестантскихъ отдѣленіяхъ. Между тѣмъ, въ арестантскія

отдѣленія они не попадали, — напротивъ, пользовались въ обществѣ не меньшимъ почетомъ, чѣмъ онъ самъ. Къ нимъ, вдобавокъ, въ послѣдніе годы переходило рѣшительно все: промышленныя предпріятія, дома, желѣзныя дороги, газеты. Это чрезвычайно раздражало мистера Блэквуда; онъ и свой планъ производственнаго банка разработалъ отчасти для борьбы съ банковыми вампирами. Однако нѣкоторыя исключенія онъ дѣлалъ: членъ парламента, человекъ очень порядочный, былъ банкиромъ стараго поколѣнія, и банкъ у него былъ семейный, наследственный, а не акціонерный съ ограниченной отвѣтственностью, — въ ограниченной отвѣтственности акціонерныхъ обществъ мистеръ Блэквудъ усматривалъ огромное общественное зло.

Они долго ходили по Вестминстерскому дворцу, — мистеръ Блэквудъ никогда въ этомъ дворцѣ не былъ. Ему хотѣлось сѣсть, хотѣлось поскорѣе отдѣлаться отъ учтиваго члена палаты, — раздражали и длинныя скучныя объясненія старика, и его монокль, и его брюки, напоминашія лезвіе ножа, и даже его необычная любезность. Мистеръ Блэквудъ привыкъ къ тому, что знакомство съ нимъ считалось особой честью, далеко не всѣмъ доступной. Обычю онъ принималъ это, какъ должное. Но въ дурные дни чрезмѣрная любезность людей тяготила мистера Блэквуда: почтеніе, очевидно, относилось не къ нему самому, а къ его богатству. Здѣсь оно было, по существу, вполнѣ безкорыстно: старый членъ парламента не ждалъ и не могъ ждать отъ него ни денежныхъ, ни какихъ бы то ни было иныхъ услугъ. И тѣмъ не менѣе разговаривалъ онъ съ нимъ — мистеръ Блэквудъ чувствовалъ — не совсѣмъ такъ, какъ говорилъ бы съ другимъ человекомъ.

Достопримѣчательности Вестминстерскаго дворца не заинтересовали мистера Блэквуда. Исторію онъ зналъ плохо, культа старины у него не было, да и старина была здѣсь какъ будто подкрашенная, не совсѣмъ настоящая.

Онъ дѣлалъ надъ собою усиліе, чтобы хоть въ малой степени изображать интересъ къ огромнымъ историческимъ картинамъ, очень похожимъ одна на другую, и къ той плиткѣ на полу Вестминстеръ-холла, на которой стоялъ Карль I во время своего процесса.

Затѣмъ любезный членъ парламента повелъ его въ «лобби», — внутренніе апартаменты палаты общинъ. Входъ туда, собственно, запрещался постороннимъ людямъ, но для мистера Блэквуда, очевидно, запретовъ не существовало. Въ переполненномъ шумномъ лобби тоже не было ничего интереснаго. Клервилль все еще не появлялся; начало засѣданія близилось. Мистеръ Блэквудъ подумалъ, что можетъ выполнить порученіе и не дожидаясь пріѣзда Клервилля. Онъ попросилъ члена парламента познакомить его съ тѣмъ министромъ, отъ котораго зависѣло дѣло. Произошло опять то же самое: несмотря на то, что министру рѣшительно ничего не было нужно отъ американскаго богача, онъ проявилъ къ дѣлу необыкновенное вниманіе и предложилъ одному изъ секретарей спѣшно затребовать справку. «Да, и здѣсь царство денегъ», — угрюмо думалъ мистеръ Блэквудъ, благодаря министра. «Другому для этой справки, вѣрно, потребовалась бы недѣля». Онъ тотчасъ самъ почувствовалъ несправедливость своей мысли; но печень у него болѣла все сильнѣе.

Какъ разъ тогда, когда мистеръ Блэквудъ заканчивалъ разговоръ съ министромъ — оба не знали, что еще сказать другъ другу, — двери лобби отворились; за ними кто-то громко неестественнымъ, параднымъ голосомъ прокричалъ нараспѣвъ: «Шляпы долой! Дорогу спикеру!» У дверей тотчасъ всѣ почтительно склонились. По корридору шла странная процессія: за людьми въ камзолахъ, въ короткихъ панталонахъ, въ шелковыхъ чулкахъ проходилъ, тоже не совсѣмъ естественной, парадной походкой, немолодой, очень представительный человѣкъ въ огромномъ парикѣ, въ длин-

ной мантии, которую сзади поддерживали, какъ шлейфъ, другіе неестественно одѣтые люди. Передъ спикеромъ кто-то несъ на плечѣ странный предметъ. «Масе! Масе!» — прошепталъ членъ парламента, видимо ждавшій выраженій восторга. Онъ пояснилъ мистеру Блэквуду, что это древняя реликвія палаты общинъ, правда, не настоящая, — настоящая, кажется, находится гдѣ-то на Ямайкѣ, — но очень старая, знаменитая реликвія. «Шляпы долой! Дорогу спикеру!» — опять съ точно той-же строго-внушительной интонаціей пропѣлъ впереди голосъ.

Депутаты устремились въ залъ вслѣдъ за процессіей. Министръ простился съ американскимъ гостемъ, выразивъ радость по случаю знакомства. Старый членъ парламента сдалъ мистера Блэквуда лакею, который по лѣстницѣ проводилъ его въ галерею для почетныхъ иностранцевъ. «Надо дать на-чай», — подумалъ мистеръ Блэквудъ, опуская руку въ жилетный карманъ. Какъ на зло, у него оказалась только монета въ полкроны. Давать такъ много было неразумно и неприлично, но выбора не было. Мистеръ Блэквудъ сердито сунулъ монету лакею, который вытаращилъ глаза. «Спикеръ молится», — прокричалъ внизу голосъ. Сразу во всемъ зданіи наступила тишина.

Входить въ галерею для почетныхъ иностранцевъ еще не дозволялось. Однако, лакей не рѣшился затворить дверь передъ носомъ такого гостя и избралъ полумѣру: оставивъ дворъ незапертой, онъ почтительнымъ шепотомъ попросилъ немного подождать. Мистеръ Блэквудъ остановился на порогѣ; ему была видна только часть зала. Спикеръ торжественно вошелъ въ залъ и, не сядя, поклонился собственному креслу. Послышались слова молитвы, ее читали въ два голоса капелланъ и спикеръ. Боль у мистера Блэквуда усилилась; онъ ухватился за бортъ двери, чтобы не упасть. Лакей безпокойно взглянулъ на его руку: это движеніе, очевидно, не было предусмотрено правилами.

Внизу послышался шумъ, говоръ голосовъ; члены палаты занимали мѣста. Мистеръ Блэквудъ сѣлъ и передохнулъ. Стало легче.

Первое его впечатлѣніе было неблагоприятное. Все здѣсь напоминало ему масонскіе обряды. Какъ большинство американцевъ его круга, мистеръ Блэквудъ былъ масономъ. Въ свое время онъ вошелъ въ лучшую ложу Нью-Йорка; это произошло само собой, — почти такъ же, какъ онъ сталъ членомъ лучшаго нью-йоркскаго клуба. Бывалъ онъ въ ложѣ рѣдко, и всякій разъ его тамъ неприятно поражало несоотвѣтствіе между стариннымъ, торжественнымъ, хотъ не очень стройно (много хуже, чѣмъ здѣсь) выполнявшимся обрядомъ и тѣми незначительными, прозаическими, въ большинствѣ благотворительными, дѣлами, къ которымъ переходили въ ложѣ послѣ обрядовъ.

Дверь въ галерею отворилась, на порогѣ появился Клервилль. Онъ подошелъ на цыпочкахъ къ мистеру Блэквуду и сѣлъ рядомъ съ нимъ, особенно крѣпко пожавъ ему руку. Лицо у него было веселое, возбужденное, отъ него пахло виномъ. — «Это не такъ важно», — сухо проговорилъ вполголоса мистеръ Блэквудъ въ отвѣтъ на извиненія Клервилля, — «засѣданіе только что началось». — «Я страшно сожалью, что опоздалъ: совершенно неотложное дѣло...» — «Я такъ и думалъ». — «Говорятъ, сегодня очень интересное засѣданіе... А, военный министръ уже здѣсь». — «Гдѣ?» — «На правительственныхъ мѣстахъ. Это мѣста по правую отъ сникера сторону стола. Противъ нихъ, по лѣвую сторону, сидятъ вожди оппозиціи... Военный министръ вотъ этотъ второй», — шепталъ Клервилль, показывая глазами на плотнаго коренастаго человѣка съ умнымъ, очень подвижнымъ и выразительнымъ лицомъ.

Лакей, считавшій себя теперь обязаннымъ заботиться объ американскомъ гостѣ, принесъ ему большой бѣлый листъ и, почтительно наклонившись, прошепталъ, что особое вниманіе надо обратить на номеръ 66-й. На листѣ,

подъ заголовкомъ «Вопросы для устнаго отвѣта», были красиво, съ шестиконечными звѣздочками въ началѣ строчекъ, отпечатаны разные вопросы подъ номерами. Ихъ было очень много. Мистеръ Блэквудъ заглянулъ въ 66-ой номеръ. Перваго министра запрашивали объ Украинѣ: не подвергаются ли тамъ преслѣдованіямъ Петлюра и его сторонники, не доставляетъ ли британское правительство оружіе врагамъ Петлюры, не дѣлается ли это съ одобренія перваго министра, и не намѣренъ ли первый министръ принять какія-либо мѣры для того, чтобы положить конецъ подобнымъ дѣйствіямъ.

— Какъ это произносится и кто этотъ человѣкъ? — строго спросилъ Клервилля шепотомъ мистеръ Блэквудъ, тыча пальцемъ въ имя Петлюры.

— Это диктаторъ на югѣ Россіи, — неувѣренно отвѣтилъ Клервилль.

— Развѣ диктаторъ на югѣ Россіи не генераль Деникинъ?

— Да, конечно. Кажется, ихъ два... Петлюра либеральнѣе генерала Деникина. Странно, что въ вопросѣ помѣщено имя, обычно это не дѣлается, — сказала Клервилль, не разъ бывавшій въ палатѣ общинъ.

Мистеръ Блэквудъ сердито пожалъ плечами, отвернулся отъ Клервилля и уставился внизъ. Вопросы уже начались. Одинъ изъ членовъ оппозиціи поднялся съ мѣста и попросилъ министра, значившагося въ первой строчкѣ бѣлаго листа, отвѣтить на вопросъ номеръ первый. Министръ заглянулъ въ бѣлый листъ, всталъ и очень ясно, кратко, толково далъ отвѣтъ. Рѣчь шла о доставкѣ молока въ какія-то благотворительныя учрежденія. Закончивъ объясненія, министръ сѣлъ. Спрашивавшій членъ палаты неопредѣленно кивнулъ головой, съ видомъ неполнаго довѣрія. Выраженіе его лица какъ будто означало: «Спорить не буду, а можетъ быть, все это совершенно не такъ»... Затѣмъ другой членъ палаты попросилъ другого министра отвѣтить на вопросъ номеръ второй — о по-

стройкѣ казеннаго зданія въ Манчестерѣ — и помучилъ столь же краткій, простой и дѣловитый отвѣтъ. Мистеру Блэквуду хотѣлось находить здѣсь все дурнымъ, смѣшнымъ или нелѣпымъ, но по совѣсти онъ не могъ этого сдѣлать. То, что происходило внизу, было похоже на столь ему привычныя засѣданія правленій хорошихъ, процвѣтающихъ акціонерныхъ обществъ: акціонеры вѣжливо и дѣловито отвѣчали. Риторикой никто не занимался, люди дѣлали дѣло. Удивило мистера Блэквуда лишь то, что на одной изъ заднихъ скамей спалъ какой-то членъ палаты въ цилиндрѣ. Видимо, это никого здѣсь не смущало. У себя въ правленіи мистеръ Блэквудъ этого не допустилъ бы. «Знаете, каковы обязанности того человѣка, что сидитъ у входа? — тихо объяснилъ Клервилль. — Онъ защищаетъ палату отъ короля. Если бѣ король пожелалъ сюда войти, этотъ человѣкъ обязанъ захлопнуть дверь у него подъ носомъ». — «Ничего умнаго въ этомъ нѣтъ, — подумалъ раздраженно мистеръ Блэквудъ. — Вѣроятно, въ старину эту штуку изобрѣлъ какой-нибудь озорникъ. Серьезному человѣку она не могла придти въ голову. Традиція лишь закрѣпила озорство, только и всего»... — «Видите эту шкатулку, что стоитъ на столѣ рядомъ съ тасе? На ней остались слѣды перстня Гладстона! Увлекаясь во время рѣчи, онъ съ силой ударялъ рукой по шкатулкѣ»... Мистеръ Блэквудъ недовольно мычалъ. — «Обратите также вниманіе на кресло спикера, — шепталъ Клервилль. — Оно сдѣлано изъ дерева фрегата Нельсона». — «Мнѣ въ одной вашей школѣ, помнится, говорили, что у нихъ столы сдѣланы изъ дерева Непобѣдимой Армады», — сердито сказала мистеръ Блэквудъ. Его злило то, что Клервилль, видимо, всѣмъ здѣсь очень восхищался, и что отъ него пахло виномъ.

Члены палаты продолжали задавать дѣловые вопросы. Вслушиваясь въ объясненія министровъ, мистеръ Блэквудъ долженъ былъ признать, что трудно говорить проще, разумнѣе, лучше по тону, чѣмъ говорили они. Это

прямо было ему неприятно, — такъ сильно въ немъ было желаніе все находить дурнымъ. «Но какія же это государственныя дѣла! Да, именно правленіе общества, не хватаетъ только сигаръ и виски»... Сходству способствовало и залъ, не очень большой, не очень роскошный, безъ ораторской трибуны. «Все торжественно и все крайне скучно». Нѣкоторые депутаты выходили изъ зала, — въ концѣ прохода они поворачивались къ спикеру, кланялись ему и исчезали. Одинъ изъ министровъ, отвѣчая на вопросъ, нехитро пошутилъ. Весь залъ засмѣялся; члены оппозиціи смѣялись такъ же весело-благодарушно, какъ депутаты правительственнаго большинства. Джентльменъ въ цилиндрѣ проснулся, спросилъ о чемъ-то собесѣда, тоже посмѣялся и снова заснулъ. Вождь оппозиціи, смѣясь, откинулся на спинку кресла и на радостяхъ, къ изумленію мистера Блэквуда, положилъ ноги на столъ. — на тотъ самый, на которомъ находились реликвіи, паче и Гладстонова шкатулка. Мистеръ Блэквудъ въ первую минуту подумалъ, что вождь оппозиціи внезапно сошелъ съ ума, и что его тотчасъ выведутъ изъ зала. Однако, никто въ палатѣ не нашелъ ничего страннаго въ поступкѣ вождя оппозиціи. Мистеръ Блэквудъ возмущенно оглянулся. Клервилль тоже весело смѣялся. «Вотъ тебѣ и ритуалъ! Странные люди англичане», — подумалъ мистеръ Блэквудъ.

— Гдѣ же первый министръ? — спросилъ онъ строгимъ тономъ, точно Клервилль отвѣчалъ за все, что здѣсь происходило.

— Первый министръ не бываетъ здѣсь въ эти часы. Свѣтила палаты обычно выступаютъ только часамъ къ пяти или вечеромъ, послѣ обѣда. Я думаю...

— Вы знаете, я уже сдѣлалъ то, о чемъ ваша жена меня просила, — перебилъ его мистеръ Блэквудъ. — Министръ приказалъ секретарю завтра снестись съ вами по телефону.

— Правда? Я чрезвычайно вамъ благодаренъ...



Внизу что-то произошло. «Withdraw! Withdraw! Order!», — закричали голоса. Мистеръ Блэквудъ, занятый разговоромъ, не слышалъ сказаннаго. Въ залѣ, скрестивъ руки, стояли, съ нахмуренными лицами, другъ противъ друга, два члена палаты. Шумъ все росъ. «Возьмите это слово назадъ! Къ порядку!» — кричали на правительственныхъ скамьяхъ. Лица у многихъ стали злобными. Джентльменъ въ цилиндрѣ окончательно проснулся, освѣдомился о случившемся у сосѣда и возмущенно закричалъ: «Withdraw!..» Мистеръ Блэквудъ нѣсколько оживился. До него долетѣло слово «шиннъ-файнъ». «А, Ирландія! Это имъ не молоко и не домъ въ Манчестерѣ», — подумалъ онъ не безъ радости.

Спикеръ наклонился въ креслѣ и необыкновенно внушительно поднялъ руку съ вытянутымъ указательнымъ пальцемъ. Тотчасъ возстановилась тишина. Изъ разъяренія спикера выяснилось, что достопочтенный членъ палаты отъ Дауна назвалъ дерзкимъ заявленіе главнаго секретаря лорда намѣстника Ирландіи. Спикеръ желалъ знать, употребилъ ли достопочтенный членъ палаты отъ Дауна слово «дерзкій» — impertinent — въ смыслѣ обычномъ или, быть можетъ, въ какомъ либо иномъ смыслѣ.

Всѣ насторожились. Вождь оппозиціи снялъ ноги со стола. Членъ палаты отъ Дауна, подумавъ съ минуту, сказалъ, что употребилъ слово «дерзкій» въ обычномъ смыслѣ, ибо иначе и нельзя было квалифицировать замѣчаніе главнаго секретаря лорда намѣстника Ирландіи, который назвалъ его адвокатомъ шиннъ-файнеровъ. «Order! Withdraw! Withdraw!», — снова закричали сердитые голоса. На заднихъ мѣстахъ люди повставали съ мѣстъ. Кое-гдѣ началась перебранка. Спикеръ холодно сказалъ, что въ своемъ обычномъ смыслѣ выраженіе это непарламентарно: достопочтенный членъ палаты отъ Дауна долженъ взять его назадъ. Членъ палаты отъ Дауна еще подумалъ и отказался взять назадъ свое выраженіе. Спикеръ ледя-

нымъ тономъ предложилъ достопочтенному члену палаты отъ Дауна покинуть засѣданіе. Въ противномъ случаѣ, ему придется назвать по фамиліи достопочтеннаго члена палаты отъ Дауна.

Настала мертвая тишина. Членъ палаты отъ Дауна, поблѣднѣвъ, отвѣтилъ, что подчиняется распоряженію спикера. «Наступитъ, однако, время, — произнесъ онъ торжественнымъ голосомъ, — когда всѣ члены этого дома будутъ одного мнѣнія въ оцѣнкѣ словъ, произнесенныхъ главнымъ секретаремъ лорда намѣстника Ирландіи». Сказавъ это, членъ палаты отъ Дауна направился къ выходу, отвѣсилъ поклонъ спикеру и вышелъ.

Палата подавленно молчала. Вождь оппозиціи снова положилъ ноги на столъ. Настроеніе въ залѣ перемѣнилось. Мистеръ Блэквудъ былъ очень доволенъ, у него и печень стала болѣть меньше. «Да, Ирландія, это имъ не молоко...» — «Очень забавный инцидентъ, — сказалъ онъ Клервиллю. — Какъ жаль все-таки, что вамъ не удастся наладить добрыя отношенія съ Ирландіей». — «Ахъ, да, этотъ вѣчный вопросъ, — отвѣтилъ Клервилль, улыбаясь нѣсколько принужденно. — Кажется, это Таллейранъ сказалъ: «Небо и земля пройдутъ, но шлезвигъ-гольштейнскій вопросъ не пройдетъ»...

Въ это время одинъ изъ членовъ палаты послѣшно подошелъ къ правительственнымъ мѣстамъ и что-то сказалъ съ радостнымъ видомъ военному министру, который тотчасъ вышелъ изъ зала. Внизу зашептались. Черезъ минуту на галлерею пришло извѣстіе, что пріѣхалъ первый министръ. Это, съ такой же радостью на лицѣ, сообщилъ мистеру Блэквуду лакей. — «Подобнаго случая не было больше трехъ лѣтъ!..» — «Какого случая?» — «Чтобы первый министръ пріѣхалъ во время вопросовъ». Клервилль кивнулъ головой мистеру Блэквуду, какъ бы говоря, что вотъ теперь-то самое настоящее и начнется.

Въ залъ засѣданій быстро вошелъ Ллойдъ-Джорджъ. Онъ, собственно, даже не вошелъ, а вбѣжалъ вприпрыж-

ку, весело улыбаясь, видимо, нисколько не заботясь ни о церемоніалѣ, ни объ эффектномъ появленіи. Съ правительственныхъ скамей неслись бурные знаки одобренія. Оппозиція угрюмо молчала. Первый министръ пробѣжалъ къ своему мѣсту, сѣлъ, поздоровался съ сосѣдями, что-то сказалъ, о чемъ-то спросилъ, заглянулъ въ бѣлый листъ, заглянулъ въ бумаги, которыя ему подавались съ разныхъ сторонъ, — онъ какъ будто дѣлалъ все это одновременно. Отъ него шель токъ энергіи, бодрости, оживленія. Разговаривая съ министрами, онъ искоса бросилъ лукавый взглядъ на скамьи оппозиціи, засмѣялся, положилъ ноги на столъ и, углубившись въ бумаги, сталъ разсѣянно подталкивать ногой къ башмакамъ сидѣвшаго противъ него вождя оппозиціи шкатулку, — ту самую, на которой были слѣды перстня Гладстона. Мистеръ Блэквудъ не вѣрилъ собственнымъ глазамъ.

#### XXIV.

Первый министръ не успѣлъ въ этотъ день по настоящему ознакомиться съ запросами. Войдя въ свой кабинетъ въ Вестминстерскомъ дворцѣ, онъ съ досадой пробѣжалъ бѣлый листъ. Вопросовъ, относившихся лично къ нему, было довольно много; всѣ они касались Россіи и почти всѣ были непріятны Ллойдъ-Джорджу: на одни онъ не могъ отвѣтить правду, на другіе не желалъ отвѣчать ничего, а на третьи не могъ бы отвѣтить вообще никто въ мірѣ, ибо они разумнаго смысла не имѣли.

Самымъ каверзнымъ по намѣренію былъ вопросъ 66-ой. Его задалъ необычайно лѣвый полковникъ, специализировавшійся съ нѣкоторыхъ поръ на русскихъ дѣлахъ. Первый министръ былъ не очень высокаго мнѣнія объ умѣ этого полковника (какъ и объ умѣ громаднаго большинства своихъ товарищей по парламенту). Однако, онъ не сомнѣвался, что и самъ полковникъ отлично понима-

еть нелѣпность своего вопроса; выступаетъ же отчасти изъ озорства, отчасти по непреодолимой потребности въ работѣ, въ шумѣ, въ рекламѣ, а больше всего изъ желанія сдѣлать непріятность правительству.

Сущность этой непріятности заключалась въ проявленіи разногласія, намѣтившагося по русскому вопросу между главой кабинета и военнымъ министромъ. Со времени гилдхоллской рѣчи Ллойдъ-Джорджа, вся Англія говорила о томъ, что онъ рѣшилъ пойти на соглашеніе съ большевиками, и что этому противится военное министерство, ведущее свою собственную политику.

Имя Петлюры было знакомо Ллойдъ-Джорджу. Но онъ ежедневно слышалъ такое число иностранныхъ, трудно произносимыхъ именъ, что связывать съ каждымъ изъ нихъ вполне опредѣленные представленія было совершенно невозможно. Зазвонилъ телефонъ, секретари понеслись за справками, подоспѣлъ главный секретарь, который какимъ-то чудомъ помнилъ всѣ безчисленныя бумаги, поступавшія на разсмотрѣніе перваго министра. Личность и дѣла Петлюры были тотчасъ установлены.

Затѣмъ въ кабинетъ вошелъ военный министръ, спѣшно вызванный изъ зала засѣданій. Они дружески-радостно поздоровались и поболтали. Ллойдъ-Джорджъ зналъ, что военный министръ страстно желаетъ сѣсть на его мѣсто, — продѣлать съ нимъ точно такую же штуку, какую самъ онъ продѣлалъ со своимъ предшественникомъ. Это было довольно естественно и почти не вызывало раздраженія у перваго министра. Вражды между ними не было. Они давно знали другъ друга наизусть, въ душѣ другъ друга считали шарлатанами, но очень любили и цѣнили: въ самомъ мастерствѣ политическаго шарлатанства, доведенномъ до такой высоты, была и геніальность. Такъ и теперь они съ полуслова поняли одинъ другого. На разрывъ идти было рано. Военный министръ не имѣлъ пока никакихъ шансовъ стать главой правительства;

Ллойдъ-Джорджъ еще не раскрывалъ своихъ картъ по русскому вопросу.

Это принятое въ политикѣ выраженіе обычно его забавляло, — въ большинствѣ случаевъ, никакихъ картъ у него не было: онъ правилъ Англійей осторожно, считаясь съ обстоятельствами, слѣдуя инстинкту государственнаго человѣка, и рѣдко могъ сказать напередъ, какую политику будетъ вести на слѣдующей недѣлѣ. Однако, въ русскомъ вопросѣ нѣкоторое подобіе плана у него, дѣйствительно, было. Ему давно хотѣлось порвать съ бѣлыми генералами, — Ллойдъ-Джорджъ вообще недолюбливалъ генераловъ, — и завязать добрыя отношенія съ большевиками. Причины для этого было много. На первомъ мѣстѣ среди нихъ стояли государственные интересы Англии; но однимъ изъ второстепенныхъ, почти безсознательныхъ побужденій Ллойдъ-Джорджа былъ тайный сочувственный интересъ, который ему внушали большевики.

Первый министръ былъ искрененъ въ своихъ демократическихъ взглядахъ. По его внутреннему убѣжденію (распространяться объ этомъ не слѣдовало), сущность демократіи заключалась въ томъ, чтобы въ процессѣ не очень нужныхъ, но безвредныхъ и порою занимательныхъ прений въ парламентѣ, на выборахъ, на разныхъ собраніяхъ, могли въ короткое время выдвигаться настоящіе, замѣчательные люди, какъ онъ самъ. Этимъ настоящимъ людямъ затѣмъ и надо было предоставить всю полноту власти, съ тѣмъ, чтобы другіе имъ мѣшали возможно меньше.

Настоящіе люди могли, правда, выдвигаться и по другому способу подбора, на примѣръ, по обыкновенной государственной службѣ. Но это былъ порядокъ и слишкомъ медленный, и недостаточно надежный. Вдобавокъ, демократическій, парламентскій способъ перехода власти къ настоящимъ людямъ имѣлъ то громадное преимущество, что онъ въ Англии уже существовалъ.

Большевики вышли въ люди другимъ путемъ, въ Англии непринятымъ и невозможнымъ. Первый министръ,

человѣкъ довольно добродушный, не любилъ диктаторскаго пути къ власти: уличные бои, кровь, насилія внушали ему отвращеніе и ужасъ. Но, подобно всѣмъ государственнымъ людямъ, онъ принималъ факты безъ лишнихъ споровъ. Въ Россіи существовала диктатура, какъ въ Великобританіи существовалъ парламентскій строй. У парламентскаго строя (какъ у всего англійскаго вообще) были несомнѣнныя преимущества, — пріятнѣе и разумнѣе было править при помощи британскихъ политическихъ пріемовъ, чѣмъ посредствомъ казней и ссылокъ. Но нѣкоторыя преимущества были и у диктатуры. Изъ нихъ особенную зависть внушала Ллойдъ-Джорджу несмѣняемость диктаторовъ со всѣми тѣми возможностями, которыя она открывала въ политикѣ. Онъ и самъ теперь обладалъ такой степенью несмѣняемости, какой не имѣлъ до него никто въ Англии со времени Питта. И все же, при благопріятной обстановкѣ, въ удачно выбранный моментъ, его могли свергнуть этотъ лѣвый полковникъ и другіе подобные ему люди; по принятымъ правиламъ игры, они имѣли полную возможность дѣлать ему непріятности (какъ, впрочемъ, и онъ имъ), хоть къ дѣлу правленія были совершенно неспособны (наименѣе неспособныхъ онъ взялъ въ свой кабинетъ). Съ этимъ можно было мириться: въ трудной, утомительной, но въ общемъ интересной, парламентской игрѣ онъ не имѣлъ соперниковъ и неизмѣнно входилъ въ залъ засѣданій палаты съ той радостной, бодрой самоувѣренностью, съ какой входитъ въ свой классъ всѣми признанный первый ученикъ.

Какъ только очередной ораторъ получилъ разъясненіе по очередному вопросу, лѣвый полковникъ, обращаясь къ спикеру, замѣтилъ учтиво-ядовитымъ тономъ, что надо было бы воспользоваться столь рѣдкимъ и счастливымъ обстоятельствомъ — появленіемъ перваго министра: быть можетъ, онъ согласится дать отвѣтъ на вопросъ 66-й, давно интересующій палату общинъ и эту страну?

Въ залѣ наступила тишина.

Ллойдъ-Джорджъ неторопливо всталъ. Лицо его сіяло улыбкой: повидимому, онъ даже и не замѣтилъ ироніи относившихся къ нему словъ, — такъ ласково онъ улыбался полковнику. Первый министр сказалъ, что ему будетъ чрезвычайно пріятно дать обстоятельныя, откровенныя объясненія, которыхъ отъ него съ полнымъ основаніемъ ждетъ его достопочтенный и храбрый другъ, членъ палаты отъ Ньюкестля. Однако, онъ желалъ бы высказаться также и по нѣкоторымъ другимъ вопросамъ. Поэтому онъ позволить себѣ соединить въ своемъ отвѣтѣ сразу нѣсколько вопросовъ, а именно — онъ заглянулъ въ листъ, — а именно: 47-й, 52, 54, 56, 60, 63, 64, 66, 70, 72, 73, 74, 75 и 76-й.

Спикеръ изумленно взглянулъ на главу правительства. На мѣстахъ оппозиціи поднялась буря. Маневръ сразу обозначился довольно ясно: соединяя 14 вопросовъ, первый министр, очевидно, собирался все запутать. На лицѣ лѣваго полковника выразился послѣдній предѣлъ возмущенія. Онъ только молча переводилъ глаза съ перваго министра на своихъ товарищей. Видъ его говорилъ: «Нѣтъ, этого даже отъ него ждать было невозможно! Человѣкъ, способный на это, можетъ отравить свою мать!..»

Одинъ изъ членовъ оппозиціи вскочилъ и повышеннымъ голосомъ спросилъ спикера, имѣетъ ли первый министръ право соединять въ своемъ отвѣтѣ множество вопросовъ: соответствуетъ ли это традиціямъ и достоинству палаты общинъ. Спикеръ не безъ смущенія объяснилъ, что палата желаетъ получить отъ главы правительства отвѣтъ на всѣ вопросы; въ какой формѣ отвѣтъ будетъ данъ, быть можетъ, не такъ важно. Первый министр смотрѣлъ на оппозицію съ выраженіемъ глубокаго изумленія въ широко раскрытыхъ, честныхъ глазахъ: онъ, видимо, не могъ понять, въ чемъ дѣло и чего, собственно, отъ него хотять. Рядомъ съ Ллойдъ-Джорджемъ, военный министръ смѣялся безъ всякаго стѣсненія. Однако, онъ испытывалъ нѣкоторое безпокойство: если первый

министръ ничего не хотѣлъ сказать, то ему незачѣмъ было приѣзжать въ палату.

Спикеръ протянулъ руку, магнетическимъ жестомъ прекративъ бурю. Ллойдъ-Джорджъ началъ рѣчь.

Говорилъ онъ дѣланно-просто, — такъ, какъ говорятъ на сценѣ очень хорошіе актеры въ первомъ дѣйствіи реалистической пьесы (пока ничего не произошло), — чуть-чуть проще и отчетливѣе, чѣмъ разговариваютъ люди въ жизни. Клервилль съ гордостью сравнивалъ ораторскую манеру перваго министра съ пѣвучей декламаціей, съ истерическими выкриками Серизье и другихъ ораторовъ, которыхъ онъ недавно слышалъ въ Люцернѣ. Отдавалъ должное искусству Ллойдъ-Джорджа и мистеръ Блэквудъ. «Собственно, главное въ томъ, чтобы заставить себя слушать, — угрюмо думалъ онъ. — А это не его заслуга. На моихъ собраніяхъ такъ слушали меня акціонеры. Другой, мелкій акціонеръ, случалось, говорилъ очень умно, но никому не было интересно знать, что онъ думаетъ... Однако, здѣсь дѣло не только въ томъ, что выступаетъ первый министръ Англии. Да, конечно, онъ замѣчательный ораторъ...» Ллойдъ-Джорджъ говорилъ о Россіи, объ ея громадной величинѣ, о непонятномъ характерѣ русскаго народа, и, несмотря на простоту его интонацій, почти у всѣхъ слушателей было одно впечатлѣніе: первый министръ произноситъ необыкновенно важную рѣчь, которая надѣляетъ много шума въ мірѣ. Знатки парламентскаго дѣла взволнованно отмѣтили и прецедентъ: большая рѣчь произносилась во время, положенное для вопросовъ.

Военный министръ, какъ вся палата, слушалъ съ чрезвычайнымъ вниманіемъ. Его совершенно не интересовали мысли Ллойдъ-Джорджа о русскомъ національномъ характерѣ; онъ отлично зналъ, что первый министръ не имѣетъ объ этомъ ни малѣйшаго представленія и пока просто чешетъ языкъ, отбывая скучную обязанность: приличіе требовало, чтобъ онъ поговорилъ съ полчаса. Тѣмъ не ме-



нѣе, беспокойство у военного министра все росло: тактика Ллойдъ-Джорджа еще была ему неясна, — будетъ ли замечать слѣды, на сколько именно градусовъ сегодня повернетъ руль? Первый министръ сказалъ, что къ русскимъ дѣламъ никакъ нельзя подходить съ британской мѣркой. Мысль была всѣмъ довольно знакомая, но интонація у Ллойдъ-Джорджа вдругъ стала чрезвычайно значительной, точно въ этихъ словахъ заключался огромный политическій смыслъ. Именно изъ значительности этихъ интонацій военный министръ заключилъ, что Ллойдъ-Джорджъ еще только заговариваетъ слушателей, ничего серьезнаго не сообщая: такъ, по словамъ какого-то композитора, для передачи тишины въ музыкѣ, необходимы три оркестра. Оппозиція настрожилась. Съ лица дѣваго полковника стало сползать возмущенное выраженіе. Ллойдъ-Джорджъ обвелъ взглядомъ свои скамьи — и затормозилъ. Его спрашиваютъ, ведетъ-ли правительство тайные переговоры съ большевиками. Нѣтъ, правительство не ведетъ тайныхъ переговоровъ съ большевиками! Лицо перваго министра такъ и засвѣтилось искренностью: самое предположеніе это видимо, крайне его обижало.

На мѣстахъ правительственнаго большинства послышалось шумное одобреніе. Военный министръ только вздохнулъ. Какъ онъ ни привыкъ къ наивности рядовыхъ членовъ парламента, эта наивность всякій разъ его сокрушала. Они, очевидно, думали, что Ллойдъ-Джорджъ говоритъ имъ чистую правду, и что можетъ быть правда или неправда въ отвѣтъ на подобный вопросъ! Тайные переговоры и велись и не велись, — въ зависимости отъ того, что называть тайными переговорами.

Ллойдъ-Джорджъ медленно, осторожно передвигалъ руль. Онъ говорилъ объ услугахъ, оказанныхъ Россіей общему дѣлу союзниковъ въ пору міровой войны. — «Слушайте! Слушайте!» — слышались обрадованные возгласы на правительственныхъ скамьяхъ. Говорилъ также,

съ искреннимъ горемъ, объ ужасахъ постигшей Россію гражданской войны. Говорилъ о прежнемъ богатствѣ Россіи, которая была житницей всего міра, — и вдругъ, какъ бы вскользь, вставилъ, что, если теперь въ Англии цѣны на хлѣбъ такъ высоки, то это отчасти объясняется русской гражданской войной, столь затянувшейся къ несчастію для всего міра. — «Слушайте! Слушайте!» — радостно закричалъ вождь оппозиціи. — «Слушайте! Слушайте!» — хоромъ за нимъ повторили его сторонники.

— Я не совсѣмъ понимаю, — сказала сердито вполголоса мистерь Блэквудъ. — Вѣдь его запрашивали не объ этомъ, а о другомъ: о томъ диктаторѣ на югѣ Россіи.

— Вѣроятно, онъ знаетъ, о чемъ ему надо говорить, — отвѣтилъ Клервилль съ легкимъ раздраженіемъ. Онъ считалъ Ллойдъ-Джорджа гениальнымъ человѣкомъ и вѣрилъ ему слѣпо почти во всемъ. Такъ Буало утверждалъ, что и въ медицинскихъ вопросахъ гораздо больше вѣрить Людовику XIV, чѣмъ всѣмъ врачамъ вмѣстѣ взятымъ. Кромѣ того мистеру Блэквуду, какъ Мусъ, слишкомъ многое очевидно не нравилось въ Англии.

Заглядывая изрѣдка въ бѣлый листъ, Ллойдъ-Джорджъ давалъ объясненія по заданнымъ ему вопросамъ. Пока онъ говорилъ, всѣмъ казалось, будто онъ именно на эти вопросы и отвѣчаетъ. Но впослѣдствіи никто не могъ вспомнить, что именно отвѣтилъ первый министръ. Интонаціи его становились все значительнѣе, улыбка исчезла, голосъ измѣнился, — это теперь была голосъ большой сцены второго дѣйствія.—«Кто, кто можетъ понять, что происходитъ въ сыпучихъ пескахъ Россіи?» — вдругъ вскрикнулъ Ллойдъ-Джорджъ, поднимая руки. — «Туманъ, туманъ, куда ни повернешь, туманъ!» — глухо, почти съ отчаяніемъ, проговорилъ онъ. Многие изъ слушателей вздрогнули, и даже военный министръ, тоже отличный ораторъ, почувствовалъ волненіе: слова, жестъ, глухой голосъ Ллойдъ-Джорджа, все это было настоящимъ произведеніемъ искусства. Первый ми-

нистръ объяснялъ палатѣ, что въ Россіи огромныя территоріи переходятъ отъ бѣлыхъ къ большевикамъ, отъ большевиковъ къ бѣлымъ, — кто побѣдитъ, неизвѣстно. Однако, — голосъ его вдругъ прозвучалъ рѣзко, — однако, бесполезно скрывать отъ палаты, что дѣла адмирала Колчака идутъ очень плохо.

Члены палаты взволнованно переглядывались, хоть въ этомъ сообщеніи тоже не было ничего новаго: всѣ изъ газетъ знали, что бѣлая армія въ Сибири отступаетъ. Военный министръ все тревожнѣе ерзалъ на мѣстѣ. Ллойдъ-Джорджъ искоса на него посмотрѣлъ и снова заговорилъ объ услугахъ, оказанныхъ Россіей во время войны. У Англіи есть долгъ чести въ отношеніи русскаго народа. Тѣмъ не менѣе, — онъ остановился, какъ бы соображая, можно ли открыть всю правду, — и, чеканя каждое слово, съ необыкновенной силой въ выраженіи, сказалъ, что люди, имѣющіе честь управлять государственнымъ кораблемъ Великобританіи, не могутъ и не должны забывать о нѣкоторыхъ основныхъ принципахъ британской политики въ отношеніи Россіи: «Большой государственный членъ, принадлежавшій къ консервативной партіи, лордъ Беконсфильдъ, утверждалъ, что великая, все растущая, принимающая колоссальные размѣры Россія, подвигающаяся, какъ ледникъ, на Персію, на Афганистанъ, на Индію, представляетъ собой самую страшную опасность, которая когда либо грозила британской имперіи».

Въ залѣ была совершенная тишина. Ллойдъ-Джорджъ помолчалъ, давая возможность палатѣ оцѣнить всю силу сказаннаго. Затѣмъ онъ вздохнулъ, заглянулъ въ бѣлый листъ и, точно вспомнивъ о чемъ-то мало существующемъ, совершенно другимъ голосомъ, — снова голосомъ перваго дѣйствія реалистической пьесы, — добавилъ: его спрашивали, сколько именно денегъ истратило британское правительство на помощь бѣлымъ русскимъ генераламъ. Онъ не можетъ, къ сожалѣнію, сказать съ совер-

шенной точностью, но, во всякомъ случаѣ, эта сумма превышаетъ сто милліоновъ фунтовъ.

На скамьяхъ противниковъ правительства опять поднялась буря. «Позоръ, позоръ!» — закричалъ лѣвый полковникъ. Освѣдомленные люди переглядывались все значительное: слова главы кабинета заключали въ себѣ прямой выпадъ противъ военнаго министра, — всѣ знали, что деньги на поддержку бѣлыхъ армій тратились по его настоянію. Военный министръ побагровѣлъ. Онъ было, всталъ, хотѣлъ что-то сказать, но сдержался. Въ небесно-ясныхъ глазахъ Ллойдъ-Джорджа снова выразилось изумленіе: онъ совершенно не понималъ, почему его слова вызываютъ такое волненіе. Когда спокойствіе возстановилось, онъ сказалъ, что не сожалѣеть объ истраченныхъ суммахъ. Но достаточно ясно всѣмъ: британскія деньги не могутъ такъ расходоваться долго. — «Слушайте! слушайте!» — закричалъ съ торжествомъ вождь оппозиціи.

Поднялся бѣдно одѣтый, пожилой, усталаго вида челоуѣкъ съ печальными, кроткими чмчными глазами. Мистеръ Блэквудъ не разслышалъ первыхъ его словъ, — разобралъ только, что говорить онъ о большевикахъ. На галлерею доносились отдѣльныя фразы: «Вся ихъ исторія есть лѣтопись убійствъ и злодѣяній»... «Нельзя вести переговоры съ такимъ правительствомъ»... «Морально недопустимо и невозможно»... — «Кто этотъ субъектъ?» — хмуро спросилъ мистеръ Блэквудъ. — «Это одинъ изъ знатнѣйшихъ людей Англіи, лордъ Робертъ Сесиль», — отвѣтилъ Клервилль, съ видимымъ удовольствіемъ произнося знаменитую фамилію. — «Неужели это онъ? Я забылъ, какихъ онъ взглядовъ?» — «Никто не можетъ сказать, какихъ взглядовъ лордъ Робертъ Сесиль. Онъ во многомъ лѣвѣе социалистовъ, но значитъ независимымъ консерваторомъ». — «Почему же онъ значитъ консерваторомъ, если онъ лѣвѣе социалистовъ?» — «Потому, что онъ сынъ маркиза Сольсбери».

Мистеръ Блэквудъ пожалъ плечами. Онъ попытался

вслушаться въ слова Сесилия. Ему показалось, что слушаютъ этого члена палаты безъ большого вниманія: онъ явно говорилъ не къ дѣлу. Первый министръ поглядывалъ на него съ нетерпѣнiемъ; они, видимо, недолюбливали другъ друга. Лордъ Робертъ Сесиль заговорилъ объ убійствѣ царской семьи. «Неслыханное убійство ни въ чемъ неповинныхъ дѣтей»... — донеслось на галерею. Лѣвый полковникъ вскочилъ съ возмущеннымъ видомъ. «Какія доказательства есть у достопочтеннаго джентльмена, что эти убійства совершены по приказанiю совѣтскаго правительства или хотя бы только съ его согласія?» — съ негодованiемъ закричалъ онъ.

Больше мистеръ Блэквудъ ничего не могъ разобратъ. Лордъ Робертъ Сесиль, махнувъ рукой, сѣлъ съ усталобезнадежнымъ видомъ.

Ллойдъ-Джорджъ вдругъ точно вспомнилъ о лѣвомъ полковникѣ. Лицо перваго министра снова просіяло улыбкой. Онъ сказалъ, что переходитъ, въ заключенiе, къ 66-му вопросу. Однако, ему не совсѣмъ понятно, чего именно хочетъ его храбрый другъ, интересующiйся взаимоотношенiями между генераломъ Деникинымъ и Петлюрой. Повидимому, онъ покровительствуетъ Петлюрѣ (послышался смѣхъ) и ни за что не желаетъ, чтобы оружіе, доставленное Англiей генералу Деникину, употреблялось противъ Петлюры? Это очень цѣнная мысль, — сказалъ бархатнымъ голосомъ Ллойдъ-Джорджъ, — но правительство не совсѣмъ увѣрено, что ее можно осуществить. Очевидно, по мысли достопочтеннаго члена палаты отъ Ньюкестли, британское правительство должно заявить генералу Деникину: «Мы вамъ дали, генераль, оружіе для борьбы съ большевиками; если же на васъ нападетъ кто-нибудь другой, напримѣръ, Петлюра, то сдѣлайте одолженiе, отложите тотчасъ въ сторону британскiя ружья и британскiе патроны, достаньте какія-нибудь другія ружья и зарядите ихъ какими-нибудь другими патронами»...

Конец фразы Ллойд-Джорджа потонулъ въ общемъ смѣхѣ палаты. «Какой удивительный ораторъ!» — подумалъ мистеръ Блэквудъ, — «ни одинъ актеръ не сказалъ бы этого лучше»... Первый министр сѣлъ очень довольный, — полковникъ былъ уничтоженъ. Правительственное большинство шумно выражало восторгъ. Руль повернулся ровно настолько, насколько можно было его повернуть въ этотъ день.

**М. Алдановъ.**

*(Послѣдній отрывокъ слѣдуетъ).*

## I.

Былъ замыселъ странно-порочень  
И все-таки жизнь подняла  
Въ туманѣ холодныя очи  
И два лебединыхъ крыла.

И все-таки тѣни качнулись —  
Пока оплывала свѣча —  
И все-таки струны рванулись  
Безмысленнымъ счастьемъ звуча.

## II.

Такъ иль этакъ. Такъ иль этакъ.  
Все равно. Все рѣшено —  
Колыханьемъ черныхъ вѣтокъ  
Сквозь морозное окно.

Годы долгіе рѣшалось,  
А задача такъ проста.  
Нѣжность подъ ноги бросалась  
Суетилась суета...

Все равно. Качнулись вѣтки  
Снѣжнымъ вѣтромъ по судьбѣ,  
Слезы медленны и ѣдки  
Льются сами по себѣ.

Но тому, кто тихо плачетъ,  
Молча стоя у окна,  
Ничего уже не значить,  
Что задача рѣшена.

## III.

Звѣзды синѣютъ, деревья качаются,  
Вечеръ, какъ вечеръ. Зима, какъ зима.

Все прощено. Ничего не прощается.  
Музыка. Тьма.  
Всѣ мы герои и всѣ мы измѣнники,  
Всѣмъ, одинаково, вѣримъ словамъ.  
Что-жъ, дорогіе мои современники,  
Весело вамъ?

Георгій Ивановъ.

Судьба поэта? — Не болѣ,  
Какъ призрачный міръ стиховъ.  
Немного лавровъ и соли  
Въ похлебкѣ полубоговъ.

И по канату хожденье  
Надъ площадью городской,  
Опасный полетъ и паренье  
Надъ шуткою площадной.

Внизу волнуются груди,  
Въ лазурь зѣваки глядятъ,  
На площади ходятъ люди  
И бутерброды ѣдятъ.

Одинъ, склоняясь къ подругѣ:  
— Пожалуй, онъ упадетъ!  
Должно быть, страшно въ испугѣ  
Вдругъ падать съ этихъ высотъ!

Она плечами пожала:  
— Ну, что жъ, конецъ есть всему,  
Дирекція вѣдь не мало  
За это платитъ ему...

За это онъ по канату  
Обязанъ ловко ходить



И рифму къ рифмѣ за плату  
Торжественно находить.

И только ангель за это  
Не требуетъ ничего,  
Хранить надъ бездной поэта  
Поддерживаетъ его.

**Ант. Ладинскій.**

Мы одно съ этой распрей всегдашней,  
Обагрющей отчий нашъ край,  
Гдѣ лѣса и угрюмыя пашни  
Да вороній уродливый грай.

Помню, помню, какъ вѣтеръ упругій  
Среди ночи дохнулъ и понесъ,  
Трепетали и бились въ испугъ  
Порѣдѣвшія листья березъ.

И качали деревья надъ кручей  
Пятна черныя брошенныхъ гнѣздъ,  
А на небѣ недвижномъ ни тучи  
И блистанье пронзительныхъ звѣздъ.

Бушевала двуликая сила,  
Отрѣшенно мерцала въ ночи,  
Надъ смятеньемъ и тьмой заносила  
Золотые и злые лучи.

Этотъ вѣтеръ несчастную землю  
Взбороздиль, истомилъ и притихъ...  
Погибаю, клянупу, не приѣмлю,  
Но не жду ли невѣсты — женихъ!

**Георгій Мейеръ.**

## СТИХОТВОРЕНІЯ

### ВЕСЕННЕЕ.

По размытымъ дождями недѣлямъ,  
Черезъ свѣжесть туманную вбродъ  
Завершается новымъ апрѣлемъ  
Тяжелѣющей солнцеворотъ.  
Даже ты, утомленный отъ стужи,  
Въ городскомъ задыхаясь плѣну,  
Въ голубой распластавшейся лужѣ  
Удивленно замѣтилъ весну.  
И опять велика и бессонна  
Иступленная гулкость ночей,  
Отъ большого трамвайнаго звона  
Отъ мятущейся грусти твоей.  
И опять задрожитъ у запястья  
Кровь живымъ воскрешеннымъ крыломъ,  
Чтобъ къ почти небывалому счастью  
Черезъ сонъ полетѣть напроломъ.  
Но такъ мало отъ счастья осталось  
Въ зацвѣтающемъ шумѣ и вотъ:  
Поцѣлуй и большая усталость  
У распахнутыхъ бѣлыхъ воротъ.

Татьяна Ратгаузъ.

### ВЪ ДЕНЬ ПОКРОВА.

#### 1.

Какъ звѣзда надъ снѣжными полями,  
Въ августѣ — надъ золотомъ садовъ,  
Въ ночь весеннюю — надъ тополями  
Русскихъ сель и русскихъ городовъ

Ты восходишь, нашъ покровъ незримый,  
 Матерь Божія! Любви Твоей  
 Надъ землею, нѣкогда любимой,  
 Милость драгоцѣнную пролей.  
 Дни проходятъ, тишиной томимы,  
 Гибели и смерти нѣтъ конца;  
 Ты, которой служатъ серафимы,  
 Ты, которой служатъ всѣ сердца,  
 Милость ниспосли свою святую,  
 Молнѣй къ странѣ своей прійди,  
 Подними и оправдай такую,  
 Падшую, спаси и пощади.

## 2.

Падать безъ конца... Быть снова нищимъ,  
 Вновь идти — все это ни къ чему.  
 Только вѣрность въ горнее жилище  
 Долетитъ къ престолу Твоему.  
 Вѣрность, а не этотъ несвободный,  
 Скучный даръ — сухихъ сердець зерно;  
 Въ плевелахъ и на скалѣ бесплодной  
 Все истрачено, расточено.  
 Оступившіе отъ благодати,  
 Мы утратили Тебя — и вотъ  
 Въ этомъ мірѣ нѣтъ сестеръ и братій,  
 Жжетъ кольцо мнѣ руку, руку жжетъ...

## 3.

Только гибель и воспоминанье!  
 Ясны сумерки. Гроза прошла.  
 За рѣкой на дальнемъ разстоянн  
 Въ городѣ звонятъ колокола.  
 Гулкій, смутный звонъ средневѣковый,  
 И, какъ въ дѣтствѣ, въ церкви на стѣнѣ  
 Пальцемъ мнѣ грозитъ старикъ суровый  
 И Святой Георгій на конѣ

Топчетъ разъяреннаго дракона,  
 И звучать въ душѣ, звучать слова —  
 Строфы покаяннаго канона —  
 О тщетѣ земнаго естества,  
 О безстрастіи, объ одолѣньи  
 Духа злобы, о грѣхѣ моемъ  
 Темномъ, тайномъ, данномъ отъ рожденья —  
 Страшно быть съ душой своей вдвоемъ:  
 Раздвоившись, мудрый и безгрѣшный  
 Видитъ грѣшнаго себя тогда,  
 Видитъ вдругъ въ себѣ весь адъ кромѣшный,  
 Богомъ сотворенный для суда.

. . . . .  
 Раненый, въ Ростовѣ, въ часъ безсонный,  
 На больничной койкѣ, въ смертный часъ,  
 Тихій, лучшій, свѣтлый, примиренный,  
 До разсвѣта не смыкая глазъ,  
 Я лежалъ. Звѣзда въ окно свѣтила  
 И, сквозь бредъ, постель оправить мнѣ  
 Женщина чужая подходила,  
 Ложечкой звенѣла въ тишинѣ.

## 4.

Матерь Божья, сердце всякой твари,  
 Вѣчная, святая красота!  
 Я молюсь — лишь о небесномъ дарѣ,  
 О любви, которая чиста,  
 О любви, которая безгрѣшна,  
 О любви ко всѣмъ и ко всему,  
 Я молюсь — и снова мракъ кромѣшный  
 Къ сердцу приступаетъ моему.  
 Милость ниспошли свою святую,  
 Молніей къ душѣ моей прійди,  
 Подними и оправдай такую,  
 Падшую — спаси и пощади.

Ю. Терапиано.

## 1.

Господи, откуда это?  
Столько грусти, столько свѣта,  
Столько неба голубого...

Не скажу ни единого слова  
Въ оправданіе скитанья такого,  
Въ оправданье такой пустоты...

Сердце, сердце, какъ-же ты  
Не устало ждать отвѣта?  
Господи, откуда это...

## 2.

Кто сказалъ, что самое ужасное  
Смерть Ивана Ильича?  
Если жизнь — взволнованно-несчастливая  
Только слѣдъ разсвѣтнаго луча,

Только отраженье одиночества,  
Выдумка — герой которой Вы  
Исполненье смутнаго пророчества,  
Отблескъ недоступной синевы...

Только...

Сердце, что съ тобой случилось  
Въ чемъ ошиблось ты, когда солгало  
Ты, которое почти молчало,  
Ты, которое почти смирилось?

## 3.

Я знаю, что остался только смѣхъ,  
 И все-таки смѣяться не умѣю...  
 Всегда одно (мучительно) у всѣхъ  
 Значительнѣй, взволнованнѣй, темнѣе...  
 То, что — почти никакъ не назовешь —  
 То, отчего необходима ложь,  
 Чтобъ сердце (отъ сочувствія) забилося...

Лидія Червинская.

## ВЕСНА.

## 1.

Снова въ Парижѣ весна начинается,  
 Очень застѣнчива, очень слаба.  
 Что-то какъ будто-бы даже мѣняется...  
 Ужъ не судьба-ли? Едва-ли судьба...

## 2.

Все-таки насъ это тоже касается:  
 Ландыши, что продають на мосту;  
 Лица прохожихъ (ихъ взгляды, что встрѣчается);  
 Облако; день, что за днемъ удлиняется;  
 Русскія службы (вечерня въ посту)...

## 3.

Жизнь, — въ этой жизни всегда невесело,  
 Миръ холоднѣй, чѣмъ казалось, умнѣй...  
 Сердце давно все измѣрило, взвѣсило,  
 Даже весну, — и тоску, что въ ней...

А. Штейгеръ.

## Плѣнный духъ

(Моя встрѣча съ Андреемъ Бѣлымъ).

Посвящается Владиславу Фелиціановичу Ходасевичу.

### I.

#### Предшествующая легенда.

Легкій огонь надъ кудрями пляшущій,  
Дуновение — вдохновение!

— Спаси, Господи, и помилуй папу, маму, няню, Асю, Андрюшу, Наташу, Машу и Андрея Бѣлаго...

— Ну, помолилась за Андрея Бѣлаго, теперь за Сашу Чернаго помолись!

Самое забавное, что нянька и не подозрѣвала о существованіи Саши Чернаго (а существовать ли онъ уже тогда какъ дѣтскій поэтъ? 1916 г.), что она его въ противовѣсь: въ противовѣтъ Андрею Бѣлому — сама сочинила, по женскому деревенскому добросердечію смягчивъ полное имя на уменьшительное.

Почему молилась о немъ сама трехлѣтняя Аля? Бѣлый у насъ въ домѣ не бывалъ. Но книгу его «Серебряный Голубь» часто называли. Серебряный Голубь Андрея Бѣлаго. Какой-то Андрей, у котораго есть серебряный голубь. а этотъ Андрей еще и бѣлый. У кого же можетъ быть серебряный голубь, какъ не у ангела, и кто же еще, кромѣ ангела, можетъ называться — Бѣлый? Всѣ Ивановичи, Александровичи, Петровичи, а этотъ просто — Бѣлый. Бѣлый ангелъ съ серебрянымъ голубемъ на рукахъ. За него и молилась трехлѣтняя дѣвочка, помѣщая его, какъ самое любимое — или самое важное — на самый послѣдокъ молитвы. (Объ ангелахъ тоже нужно молиться, особенно, когда на землѣ. Вспомнимъ бѣднаго уэльсовскаго ангела, который въ земномъ бытовомъ окруженіи былъ просто непристоенъ!).

Но имя Бѣлаго прозвучало въ нашемъ домѣ еще до Алиной молитвы, задолго до самой Али, и совсѣмъ не въ

этомъ домѣ, и совсѣмъ иначе, ибо произнесено оно было далеко не трехлѣтнимъ ангеломъ, а именно: моею теткой, женой моего дяди, историка, профессора Димитрія Владиміровича Цвѣтаева, и съ далеко не молитвенной интонаціей.

— Послѣднія времена пришли! кипѣла она и пѣнилась на моего тихонько отсаживавшагося отца. — Вотъ еще какой-то Андрей Бѣлый завелся, завтра читаетъ лекцію Мало имъ Горькаго — Максима, Бѣлый — Андрей понадобился! А то еще какой-то Александръ Блокъ (что за фамилія такая? Изъ жидовъ, должно-быть!) сочинилъ «Прекрасную Даму», ужъ одно название чего стѣбитъ, стыда нѣтъ! Раньше тоже про да м ь писали, только не печатали, а въ столъ прятали, — развѣ-что въ пріятельской компаніи. А всего хуже, что изъ приличной семьи, профессорскій сынъ, Николая Димитріевича Бугаева — сынъ Почему не Бугаевъ — Борисъ, а Бѣлый — Андрей? Отъ отца отрекаться? Видно ужъ такого насочинилъ, что подписать стыдно? Что за Бѣлый такой? Ангель или въ нижнемъ бѣльѣ сумасшедшій на улицу выскочилъ? — разозрялась она, вся трясясь брилліантами, крючковатымъ носомъ и непрестанно моргающими (нервный тикъ) желтыми глазами.

— Молодость, Елизавета Евграфовна, молодость! — крото отвѣчалъ мой отецъ, — а о чемъ лекція?

— О символизмѣ, изволите ли видѣть! То-то символизмъ какой-то выдумали, что символа вѣры не знаютъ!

— Ну, ничего такого особо-вреднаго я въ этомъ еще не вижу... осторожно (такъ по неизбѣжности просовывають руку въ клѣтку къ злому попугаю) вставляя мой отецъ, опасавшійся раздражать людей, а особенно — дамъ, а особенно — родственныхъ, а особенно — родственныхъ съ нервнымъ тикомъ (всегда — вся — тряслась, какъ ненадежно поставленная, неосторожно задѣтая, перегруженная свѣчами и мелочами зажженная елка, ежесекундно угрожающая рухнуть, загорѣться и сжечь) — Всѣ лучше, чѣмъ ходить на сходки...

— Студентъ! уже кричала Какаду (прозвище изъ-за крючковатости носа и желтизны птичьихъ глазъ.) — — Учиться надо, а не лекціи читать, отца позорить!

— Ну, полно, полно, голубушка, — ввязался во-время подоспѣвшій добродушнѣйшій мой дядя Митя, заслуженный профессоръ, авторъ капитальнаго труда о смуч-



нѣйшемъ изъ царей — Василии Шуйскомъ и директоръ Коммерческаго Училища на Остоженкѣ, воспитанниками котораго за малый ростъ, огромную черную бороду, прыть и черносотенство былъ прозванъ Черноморь. — Что ты такъ разволновалась? Одни въ юности за хорошенькими женщинами ухаживаютъ, другіе — про символизмъ докладываютъ, ха-ха-ха! Отецъ — почтенный, можетъ-быть еще и изъ сына выйдетъ прокъ. — А ты какъ думаешь, Марина? Что лучше: на балахъ отплясывать или про символизмъ докладывать? Впрочемъ, тебѣ еще рано... — неизвѣстно къ чему относя это «рано», къ баламъ или символизму...

И не мы одни были такая семья. Такъ встрѣчало молодой символизмъ, за рѣдчайшими исключеніями, все старое поколѣніе Москвы.

Такъ я и унесла изъ розовыхъ стѣнъ Коммерческаго Училища на Остоженкѣ въ шоколадныя стѣны нашего дома въ Трехпрудномъ имя Андрея Бѣлаго гдѣ оно и осталось до поры до срока, заглохло, притаилось, легло спать.

Разбудилъ его, года два спустя, поэтъ Эллисъ (Левъ Львовичъ Кобылинскій, сынъ педагога Поливанова, переводчикъ Бодлера, одинъ изъ самыхъ страстныхъ раннихъ символистовъ, разбросанный поэтъ, гениальный чело-вѣкъ.)

— Вчера Борисъ Николаевичъ... — Я отъ васъ къ Борису Николаевичу... Какъ бы это понравилось Борису Николаевичу...

Естественно, что мы съ Асей, сгоравшія отъ желанія его увидѣть, никогда не попросили Эллиса насъ съ нимъ познакомить и — естественно, а можетъ-быть не естественно? — что Эллисъ, дорожившій нашимъ домомъ, всѣмъ міромъ нашего дома: тополинымъ дворомъ, мезониномъ, моими никѣмъ не слышанными стихами, полновластнымъ царствомъ надъ двумя дѣтскими душами — никогда намъ этого не предложилъ. Андрей Бѣлый — табу. Видѣть его нельзя, только о немъ слышать. Почему? Потому что онъ — знаменитый поэтъ, а мы среднихъ классовъ гимназистки.

Русскихъ — и дѣтей — и поэтовъ — фатализмъ.

Эллисъ жилъ въ меблированныхъ комнатахъ «Донъ», съ синей трактирной вывѣской, на Смоленскомъ Рынкѣ.

Однажды мы съ Асей, зайдя къ нему вмѣсто гимназiи, застали посреди ея темной, съ утра темной, всегда темной, съ опущенными шторами — не выносилъ дня! — и двумя свѣчами передъ бюстомъ Данте — комнаты — что-то летящее, разлетающееся, явно на отлетѣ — ухода. И, прежде чѣмъ мы опомниться могли, Эллисъ: — Борисъ Николаевичъ Бугаевъ. А это — Цвѣтаевы, Марина и Ася.

Поворотъ, почти пируэтъ, тутъ же повторенный на стѣнѣ его огромной отъ свѣчей тѣнью, острый взглядъ, даже уколъ, глазъ, конецъ перебитой нашимъ входомъ фразы, — человѣкъ уходилъ и ничто уже его не могло остановить, и, съ поклономъ, похожимъ на пѣ какого-то балетнаго отступленiя: — Всего хорошаго. — Всего лучшаго.

Дома, ложась спать: — А всё-таки увидѣли Андрея Бѣлаго. Онъ мнѣ сказалъ: — Всего лучшаго. — Нѣтъ, мнѣ — всего лучшаго. Тебѣ — всего хорошаго. — Нѣтъ, именно тебѣ — всего хорошаго, а мнѣ... — Ну, т е б ѣ — лучшаго! (Про себя: сама знаешь, что — мнѣ!)

«Хорошаго» или «лучшаго» — осуществилось оно не черезъ него. Встрѣча не повторилась. Странно, что вращаясь въ самомъ близкомъ его кругу: Эллисъ, его другъ Нилендеръ, К. П. Христофорова, сестры Тургеневы, Сережа Соловьевъ, братъ и сестра Виноградовы — я его въ той моей дозамужней юности больше не встрѣтила. Никогда и не искала. Дала судьба разъ — не надо просить второго. Слава Богу, что — разъ. Могло бы и не быть.

Впрочемъ, видѣла его часто, года два спустя, въ Мусagetѣ, но именно — видѣла, и чаще — спиной, съ бѣлымъ мѣлкомъ въ рукѣ обтанцовывающаго черную доску, тутъ же испещряемую — какъ изъ рукава сыпались! — залятыми, полудунiями и зигзагами ритмическихъ схемъ, такъ напоминавшихъ гимназическiя геометрическiя, что я, по естественному чувству самосохраненiя (а вдругъ обернется и вызоветъ къ доскѣ?), съ танцующей спины Бѣлаго переходила на недвижные фасы Тайнаго Совѣтника Гёте и Доктора Штейнера, во всѣ свои огромные глаза глядѣвшiе или не глядѣвшiе на насъ со стѣны.

Такъ это у меня и осталось: первый Бѣлый, танцующий передъ Гёте и Штейнеромъ, какъ нѣкогда Давидъ передъ Крвчемомъ. Въ жизни символиста всё — символъ. Не-символовъ — нѣтъ.

...Но есть у меня еще одно, болѣе раннее, до знакомства, воспоминаніе, незначительное, но разказа стоящее, хотя бы уже изъ-за тургеневскихъ мѣстъ, съ которыми Бѣлый вдвойнѣ связанъ: какъ писатель и какъ страдатель.

Тульская губернія, развѣздъ «Толстое», тутъ же городъ Чернь, гдѣ Иванъ бесѣдовалъ съ Чортомъ, тутъ же Бѣжинъ Лугъ. И вотъ, на какихъ-то именинахъ, въ сновидѣнномъ бѣломъ домѣ съ сновидѣннымъ чернымъ паркомъ —

— Какая вы розовая, здоровая, навѣрное разсудительная, поеть, охая отъ жары и жиру, хозяйка-помѣщица — миѣ, — а вотъ мои — сухія, какъ козы, и совѣмъ сумасшедшія. Особенно Бишетка — это ее бабушка такъ назвала, за глаза и за прыжки. Ну, подумайте, голубушка, сижу я, это, у насъ въ Москвѣ въ столовой и слышу, Бишетка въ передней по телефону: — «Позовите, пожалуйста, къ телефону Андрея Бѣлаго». Ну, тутъ я сразу настожила, ужъ странно очень — вѣдь либо Андрей, либо Андрей Петровичъ, скажемъ, а то что же это за «Андрей Бѣлый» такой, точно каторжникъ или дворникъ?

Стоить, ждетъ, долго ждетъ, должно-быть не идетъ, и вдругъ, голубушка моя, ушамъ своимъ не вѣрую: — «Вы — Андрей Бѣлый? Будьте такъ любезны, скажите, пожалуйста, какіе у васъ глаза? Мы съ сестрами держали пари...» Тутъ молчаніе настало, долгое, — ну, думаю, навѣрное ее отчитываетъ — Богъ знаетъ за кого принялъ! — ужъ встать хочу, объяснить тому господину, что она — по молодости, и безъ отца росла, и безъ всякаго тамъ, скажемъ, какого-нибудь умысла... словомъ: дура — что... — и вдругъ, опять заговорила: — «Значить, сѣрые? Правда, сѣрые? Нѣтъ, вовсе не какъ у всѣхъ людей, а какъ ни у кого въ Москвѣ и на всемъ свѣтѣ! Я на лекціи была и сама видѣла, только не знала, сѣрые или зеленые... Вотъ и выиграла пари... Ура! Ура! Ура! Спасибо вамъ, Андрей Бѣлый, за сѣрые!»

Влетаетъ ко миѣ: — Ма-ама! Сѣрые! — Да ужъ слышу, что сѣрые, а отдала бы я тебя лучше въ Екатерининскій Институтъ, какъ миѣ Анна Семеновна совѣтовала... — Да какіе тамъ Екатерининскіе Институты? Ты знаешь, съ кѣмъ я сейчасъ по телефону говорила? (А сама скачетъ вверхъ внизъ, вверхъ внизъ, подъ самый потолокъ, — вы вѣдь видите, какая она у меня высокая, а потолоки-то у насъ въ Москвѣ низкіе, сейчасъ люстру башкой шинбеть!)

Съ Андреемъ Бѣлымъ, съ самымъ знаменитымъ писателемъ Россіи! А ты знаешь, что онъ мнѣ отвѣтилъ? «Совсѣмъ не знаю, сейчасъ посмотрю». И пошелъ смотрѣться въ зеркало, оттого такъ долго. И конечно оказались — сѣрые. Ты понимаешь, мама: Андрей Бѣлый, тотъ, что читалъ лекцію, еще скандалъ былъ, страшно свистѣли... Я теперь и съ Блокомъ познакомлюсь...

Разсказчица переводить духъ и, упавшимъ голосомъ: — Ужъ какой онъ тамъ самый великій писатель — не знаю. Мы Тургенева читали, благо и мѣста наши... Ну, великій или не великій, писатель или не писатель, а все-жь человѣкъ порядочный, не выругалъ, не заподозрилъ, а сразу понялъ — дура... и пошелъ въ зеркало смотрѣться... какъ дуракъ... Потомъ я ее спрашиваю: — А не спросилъ ли онъ, Бишетка, какіе у тебѣ глаза? — «Да что ты, мама, очень ему интересно, какіе у меня глаза? Развѣ я знаменитость какая-нибудь?»

Милый Борисъ Николаевичъ, когда я четырнадцать лѣтъ спустя въ берлинской Pragerdiele Вамъ это разсказала, Вашъ первый вопросъ былъ:

— А какіе у нея были? Бишетъ? Bichette? Козочка? Сѣрые, навѣрное? И вотъ такіе? (перерѣзаетъ воздухъ вкось) — какъ у настоящей козы? Сколько ей тогда было лѣтъ? Семнадцать? Такая, такая, такая высокая? Пепельно-русая? И прыгала неподвижно (чуть не опрокидываетъ столъ) — вотъ такъ, вотъ такъ, вотъ такъ?

(«Борисъ Николаевичъ показываетъ Маринѣ Ивановнѣ эвритмію» — шепотъ съ сосѣдняго столика.) — Почему же она мнѣ никогда не написала? Родная, голубушка, ее нельзя было бы найти? Нельзя — нигдѣ? Она, конечно, умерла. Всѣ, всѣ онѣ умираютъ — или уходятъ. (Вызывающей взглядъ на круговую) — Вы не понимаете! Абрамъ Григорьевичъ, и вы слушайте! Дѣвушка съ козьими глазами, Бишетъ, которая была на моемъ чтеніи.. Издатель, вяло: — На какомъ чтеніи? Уже здѣсь? Онъ, вперяясь: — Конечно, здѣсь, потому-что я сейчасъ тамъ. потому-что тамъ сейчасъ здѣсь, и никакого здѣсь, кромѣ тамъ! Никакого сейчасъ, кромѣ тогда, потому-что тогда вѣчно, вѣчно, вѣчно!.. Это и есть фетовское теперь. (Подходитъ и другой его издатель.) Бѣлый, моляще: — Соломонъ Гитмановичъ, слушайте и вы. Дѣвушка. Четырнадцать лѣтъ назадъ. Bichette, съ козьими глазами, которая вотъ такъ прыгала отъ ра-

дости, что я ей отвѣтилъ по телефону, какіе у меня глаза... Четырнадцать лѣтъ назадъ. Она сейчасъ — Валькирія... Вѣрнѣе, она была бы Валькирія... Я знаю, что она умерла...

(Почтительное, сочувственно-недоумѣнное и чуть-чуть комическое молчаніе. Такъ молчать, когда внезапно узнають о смерти человѣка, о которомъ впервые слышать и о которомъ тутъ же убивается одинъ изъ присутствующихъ.) Бѣлый, съ внезапнымъ поворотомъ всего тѣла, хотя странно о немъ говорить все го и тѣла, до того этого все го было мало, и до того это было не тѣло, — напуская на меня всю птицу своего тѣла:

— А эта Bichette — дѣйствительно была? Вы это не... сочинили? (Подозрительно и агрессивно) Потому-что я ничего не помню, никакихъ глазъ по телефону... Я Вамъ, конечно, вѣрю, но... (Окружающимъ) Потому-что это чрезвычайно важно. Потому-что, если она была — то это была моя судьба. Моя несудьба. Потому у меня и не было судьбы. И я только теперь знаю, отчего я погибъ. До чего я погибъ!

Не зная, что сказать и чувствуя, что дѣвушка уже исчерпана, что остается одно бѣловское бѣснованіе, издатели съ женами и писатели съ женами незамѣтно и молниеносно... даже не: исчезаютъ: ихъ — нѣтъ. Бѣлый, изучающій тисненіе скатерти, точно ища въ ней рунъ, письменъ, слѣдовъ — внезапно вскинувъ голову и заливая меня свѣтомъ — какихъ угодно, только не сѣрыхъ глазъ, явно меня не видящихъ:

— Bichette... Bichette... Я что-то, что-то, что-то помню... Но... не совпадаетъ! Я тогда былъ совсѣмъ маленькимъ, меня почти еще не было, меня просто не было...

Не зная и я, что сказать въ отвѣтъ на такое полное небытіе, жду, зная, что черезъ секунду онъ уже опять будетъ.

— Меня не было, было: я, оно. Вы, конечно, меня понимаете? (Вѣчный вопросъ всѣхъ на пониманіе до того не рассчитывающихъ, что даже не пережидаютъ отвѣта.) Одну секунду... Стойте! Сейчасъ всплыветъ. (Властный жестъ мага.) Сейчасъ появится! Но почему Bichette, когда — Biquette? Потому-что — на эшафотъ готовъ взойти, что — Biquette! Но почему Biquette, когда Bichette?

— Борисъ Николаевичъ, теперь ужъ Вы — стойте!

(и, напѣвомъ)

Ah, tu sortiras Biquette, Biquette,  
Ah, tu sortiras de ce chou là!

Потому что Вамъ въ младенчествѣ, когда Васъ еще не было, это Вамъ пѣла Ваша французская — нѣтъ, швейцарская Миле, которая у Васъ была.

Пауза. Сажу, буквально залитая восторгомъ изъ его глазъ, одѣтая имъ, какъ плащемъ, какъ лучемъ, какъ дождемъ, вся, отъ темени до подола моего пока еще новаго, пока еще синяго, пока еще единственного берлинскаго платья. Беря черезъ столъ мою руку, неся ее къ губамъ, не донеся до губъ:

— Вы, Вы мнѣ повѣрите, что я за эту Biquette — замѣтите, что я сейчасъ о Biquette — капустной козѣ говорю, что я за эту швейцарскую молочную капустную младенческую козу готовъ для Васъ десять лѣтъ подрядъ съ утра до поздней ночи таскать на себѣ булыжники.

Я, потрясенная: — Господи!

Онъ, императивно: — Булыжники. (Пауза.) И долженъ сказать Вамъ, что я никого въ жизни еще такъ не уважалъ, какъ Васъ въ эту минуту.

Милая Bichette, можетъ-быть Вы всё-таки еще живы и это прочтете? А можетъ-быть уже сейчасъ, черезъ плечо, пока пишу, нѣтъ, до написаннаго — читаете? А что если Вы первая встрѣтили его у входа и взяли за-руку и повели, сѣроглазая — сѣроглазого, вѣчно-юная — вѣчно-юнаго, по Роцамъ Блаженныхъ, его настоящей родинѣ...

Изъ Берлина 1922 г. въ Москву 1910 г.

Странно, только сейчасъ замѣчаю, что имя Бѣлаго до встрѣчи съ нимъ дважды представало мнѣ въ окруженіи трехъ сестеръ. Въ первый разъ — въ кругу трехъ сестеръ, изъ которыхъ старшая была Bichette, во второй разъ въ трехсестринскомъ кругу Тургеневыхъ.

О сестрахъ Тургеневыхъ шла своя отдѣльная легенда. Двоюродныя внучки Тургенева, въ одну влюбленъ поэтъ Сережа Соловьевъ, племянникъ Владиміра, въ другую — Андрей Бѣлый, въ третью, пока, никто, потому-что двѣнадцать лѣтъ, но скоро влюбятся всѣ. Первая Наташа, вторая Ася, третья Таня. Говорю, легенда, ибо при зна-

комствѣ оказалось, что Наташа — уже замужемъ, что Татьяна пока что самая обыкновенная гимназистка, а что въ Асю — и Андрей Бѣлый, и Сережа Соловьевъ.

Асю Тургеневу я впервые увидѣла въ Мусagetъ, куда привелъ меня Максъ. Пряменькая, съ отъ природы занесенной головкой въ обрамленіи гравюрныхъ ламартиновскихъ «anglaises», съ вѣчно-дымящей изъ точеныхъ пальцевъ папиросой, въ вѣчномъ сизомъ облакѣ своего и мусagetского дыма, изъ котораго только еще точнѣе и точнѣй выступала ея прямизна. Красивѣе ея рукъ не видала. Кудри и шейка и руки, — вся она была съ англійской гравюры, и сама была гравёръ, и уже сдѣлала обложку для книги стиховъ Элліса Stigmata, съ какимъ-то храмомъ. Съ англійской гравюры — брюссельской школы гравёръ, а, главное, Ася Тургенева — тургеневская Ася. любовь того Сергѣя Соловьева съ глазами Владимира, «Жемчужная Головка» его сказокъ, невѣста Андрея Бѣлаго и Катя его Серебрянаго Голубя, Дарьяльскій котораго — Сережа Соловьевъ. (Все это, гордясь за всѣхъ дѣйствующихъ лицъ, а немножечко и за себя, захлебываясь сообщилъ мнѣ Владиміръ Оттоновичъ Нилденеръ, должно-быть самъ безнадежно-влюбленный въ Асю. Да не влюбиться было нельзя.)

Не говорила она въ Мусagetъ никогда, развѣ что — «да», впрочемъ какъ развѣ не «да», а «нѣтъ» и это «нѣтъ» звучало такъ же вѣско, какъ первая капля дождя передъ грозой. Только глядѣла и дымила, и потомъ внезапно вставала и исчезала, развѣвая за собой пепель локоновъ и дымокъ папиросы. Помню, какъ я въ общей сизой тучѣ всѣхъ дымящихся папиросъ всегда ловила ея отдѣльную струйку, слѣдя ея отъ исхода губъ до моря — морей — потолка. На лекціяхъ Мусagetа, честно говоря, я ничего не слушала, потому-что ничего не понимала, а можетъ-быть и не понимала, потому-что не слыхала, вся занятая неуловимо-вскользнувшей Асей, влетающимъ Бѣлымъ, недвижнымъ Штейнеромъ, чернымъ окомъ царящимъ со стѣны, гримасой его бодлеровскаго рта. Только слышала: гносеологія и гностики, значенія которыхъ не понимала и, отвращенная носовымъ звучаніемъ которыхъ, никогда не спросила. Въ гимназій — геометрія, въ Мусagetъ — гносеологія. А это, что сейчасъ вотъ какъ-то коварно извизнуло, а ужъ черезъ секунду, чуть повернувшись (какъ осколокъ въ калейдоскопѣ!), уже отвѣсно сверху Гершен-

зону возражаетъ, это — Андрей Бѣлый, тотъ самый, который — вѣчность! уже двѣ зимы назадъ — сказалъ намъ тогда съ Асей, мнѣ (утверждаю и сейчасъ, а вѣдь какъ не сбылось!) — «Всего лучшаго», ей — «Всего добраго!» Со мной онъ не говорилъ никогда, только, случайно при- сѣвъ на смежный стулъ, съ буйной и несказанно-изумленной радостью: — «Ахъ! Это — Вы?» за которымъ никогда ничего не слѣдовало, ибо я-то знала, что это — онъ.

Въ Мусагетѣ я, какъ Ася Тургенева, никогда ничего не говорила, только она отъ превосходства — своего надъ всѣми, я — всѣхъ надъ собой. Она — отъ торжествующей, я отъ непрерывно-ранимой гордости. Не говорила, конечно, и съ ней, которую я съ первой встрѣчи ощутила «царицей здѣшнихъ мѣсть».

Какимъ чудомъ осуществилось наше сближеніе? Кто настоялъ? Думаю — никто, а нѣчто: простой голый фактъ, та срочная дѣловая необходимость, служащая намъ несравненно больше чужой доброй воли и нашего собственного страстнаго желанія, когда нужно — горы сводящая! въ данномъ случаѣ предполагавшееся изданіе Мусагетомъ моей второй книги и порученіе Асѣ для нея обложки.

Помню, что первая пришла я — къ ней. Въ какіе то переулочные снѣга. Кажется — на Арбатъ.

Изъ какихъ-то неосвѣщенныхъ глубинъ на слабый ламповый исподлобный свѣтъ Ася въ барсовой шкурѣ на плечахъ, въ дыму «anglaises» и папиросы, кланяющаяся — исподлобья, руку жмущая по мужски.

Прелесть ея была именно въ этой смѣси мужскихъ, юношескихъ повадокъ, я бы даже сказала — мужской дѣловитости, съ крайней лиричностью, дѣвичествомъ, дѣвченчествомъ чертъ и очертаній. Когда огромная женщина руку жметъ по мужски — одно, но — такой рукою! Съ гравюры! Отъ такой руки — такое пожатье!

На диванѣ старшая сестра Наташа, и вбѣгъ Тани, трепаной, розовой, гимназической и которую я въ свой культъ включила явно въ придачу, для ровнаго счету. Достоверно зная отъ м о е й, Аси, учившейся съ ней въ гимназіи, что она самая обыкновенная дѣвчонка, безъ никакого ни отношенія ни интереса къ литературѣ, читать совсѣмъ не любящая, и съ которой м о я Ася, несмотря ни на какія мои просьбы, не соглашалась дружить. — Очень нужно, дружи сама, что мнѣ отъ ея тургеневства,



только и говорить, что о пирогахъ и о грудныхъ дѣтяхъ — какъ на-зло! (Можетъ-быть дѣйствительно — на-зло? Зная, что отъ нея ждуть «поэзіи»? Вѣрнѣе же — просто настоящая четырнадцатилѣтняя дѣвчонка, помѣщицья дочка, дитя природы.)

Водяная диванная гладь Наташи, самостоятельный громъ Тани и зоркое безмолвіе застывшей передо мной Аси — въ барсовомъ плэдѣ.

— Какая киса чудная! — Барсъ. — Барсъ, это съ кистями на ухахъ? — Рысь.

(Не поговоришь!). Оттянувъ къ себѣ барсью полу, глазу, счастливая, что нашла себѣ безмолвное увлекательное занятіе. И вдругъ, со всей безудержностью настоящего откровенія: — Да вы сама, Ася, барсъ! Это вы съ себѣ шкуру сняли: надѣли.

Чудный смѣхъ, взблескъ чудныхъ глазъ, — волшебная смѣна изъ «Цвѣтовъ маленькой Иды» — хватая мою руку, другой съ лампы колпакъ:

— А у васъ какіе? Ну, конечно, зеленые, я такъ и знала!

Дитя символистической эпохи, ея героиня, что же для нея могло быть важнѣй — цвѣта глазъ? И что больше цѣнилось — зеленыхъ, открытыхъ Бальмонтомъ и канонизированныхъ его послѣдователями.

— И какое у васъ чудное имя. (Испытующе:) А вы дѣйствительно Марина, а не Марія? Марина: морская. Вы курите? (Молча протягиваю портсигаръ.) И курить, и глаза зеленые, и морская — Ася, тономъ счетовода — се страмъ.

Сидимъ уже на диванѣ, уже стихи, подъ неугомонный громъ Тани — такая тонкая дѣвчонка, а какъ гремитъ! — разнообразный дребезгомъ со всего размаху ставимыхъ на столъ чашекъ, блюдецъ, вазочекъ.

Ни слова не помню про обложку. (Такъ кончались всѣ мои дѣловыя свиданія!) Зато все помню про барса, этого вотъ барсенка: бѣсенка съ собственной шкурой на плечахъ, зябкаго, знобкаго... Ни слова и про Андрея Бѣлаго. (Слово «женихъ» тогда ощущалось неприличнымъ, а «мужъ» (и слово и вещь) просто невозможнымъ.)

И, странно (впрочемъ, здѣсь все странно или ничего), уже начало какой-то ревности, уже явное занываніе, уже первый уколъ *Zahnschmerzen im Herzen*, что вотъ — уѣдетъ, меня — разлюбить, и чувство болѣе благородное,

болѣе глубокое: тоска за всю расу, плачь амазонокъ по уходящей, переходящей на тотъ берегъ, тѣмъ отходящей — сестрѣ.

— Чудный барсъ. Въ слѣдующій разъ въ Мусагетъ приходите въ барсъ. Приводите барса, чтобы было на чемъ отвести душу.

(Молча: Ася! Ася! Ася! Не выходите замужъ, хотя бы за Андрея Бѣлаго!)

Вслухъ: — Я не понимаю, что такое гносеология и почему все время о ней говорятъ. И почему всѣ — разное, когда она — одна.

(Молча: — Ася! Вѣдь вы — Mignon, не изъ оперы, а изъ Гёте. Mignon не должна выходить замужъ — даже за молодого Гёте...)

Вслухъ: — Я не люблю Вячеслава Иванова, потому что онъ мнѣ сказалъ, что мои стихи — выжатый лимонъ. Чтобы посмотреть, что я на это скажу. А я сказала: «Совершенно вѣрно». Тогда на меня очень рассердился, сразу разъярился — Гершензонъ.

(Молча: — O lasst mich scheinen, bis ich werde! Zieht mir das weiße Kleid nicht aus! Ася, вѣдь это измѣна этому же, вашему же — Бѣлому! Вы должны быть умнѣе, сильнѣе, потому что вы женщина... За него понять!)

Вслухъ: — «Вы отлично знаете, что ваши стихи — не выжатый лимонъ! За чѣмъ же вы смѣтаетесь надъ Вячеславомъ Ивановичемъ — и всѣми нами?»

(Молча: — Ася, у меня, конечно, квадратные пальцы, совсѣмъ не художественные, и я вся не стою вашего мизинца и ногтя Бѣлаго, но, Ася, я все-таки пишу стихи и сама не знаю, чѣмъ еще буду — знаю, что буду! — такъ вотъ, Ася, не выходите замужъ за Бѣлаго, пусть онъ одинъ ѣдетъ въ Сицилію и въ Египетъ, оставайтесь одна, оставайтесь съ барсомъ, оставайтесь — барсомъ.)

— Марина, о чемъ вы думаете?

Замѣчаю, что я совсѣмъ забыла говорить про Гершензона. (О, потрясеніе чловѣка, который вдругъ осозналъ, что молчить и совсѣмъ не знаетъ, сколько.)

— Бойтесь меня, я умѣю читать мысли.

И оборотомъ головы на сестрѣ: — Почему у Цвѣтскихъ такія красныя губы? И у Марины и у Аси. Онѣ — не вампиры? Можеть-быть мнѣ васъ, Марина, надо бояться? Вы не придете ко мнѣ ночью? Вы не будете пить мою кровь?

— А вашъ барсъ на что? Ночью онъ спитъ у вашей постели и у него — кдыки!

Другое явленіе — видѣніе — Аси, знобкой и зябкой, безъ барса, но незримо — въ немъ, на границѣ нашей залы и гостиной въ Трехпрудномъ, съ потолками такими высокими, что всякому дыму есть куда уйти.

Между нами уже простота любви, смѣнившая во мнѣ веревку — удавку — влюбленности. Я знаю, что она знаетъ, что мы одной породы. Влюбляешься вѣдь только въ чужое, родное — любишь. Про ея отъѣздъ не говоримъ, его не называемъ, не назовемъ никогда. Это еще пока — дѣвичество, вольница, по сю сторону той рѣки.

Ей нужно уходить, ей не хочется уходить, стягиваетъ, натягиваетъ, перебрасываетъ съ плеча на плечо невидимаго барса. Не удерживаю, ибо въ жизни свое мѣсто знаю, и если оно не послѣднее, то только потому, что вовсе не становлюсь въ рядъ... (А со мной, въ моей простой любви (а есть — простая?), въ моемъ веселомъ дѣвичьемъ дружествѣ, въ Трехпрудномъ пер., домъ № 8, шоколадный, со ставнями, ты бы всё-таки была счастливейше, чѣмъ съ нимъ въ Сициліи, съ нимъ, котораго ты неизбежно потеряешь...)

— Ася, вы скоро ѣдете? — Скоро ѣду, а сейчасъ иду.

Простившись съ ней со всѣмъ въ нашемъ полосатомъ, въ винно-бѣлую полоску, матрасномъ парадномъ, естественнымъ слѣдствіемъ всѣхъ послѣднихъ прощаній влѣзаю въ своего гимназическаго синяго барана (мнѣ — баранъ, тебѣ — барсъ, все какъ слѣдуетъ, и они бар (анъ) и бар(съ) всё-таки родня) и иду съ ней вдоль снѣжнаго переулка — ряда переулковъ — до какого-то бѣлаго дома (можетъ-быть — ея, можетъ-быть — его, можетъ-быть — ничьего), который зовется «здѣсь». Здѣсь — прощаемся.

— А завтра Ася съ Борисомъ Николаевичемъ увѣзжаютъ въ Сицилію!

Это Владиміръ Оттоновичъ Нилендеръ, тоже мятущаяся и смѣщенная разомъ со всѣхъ земныхъ мѣстъ душа, *âme en peine* — *l'éternité*, уже съ порога, вознесся надъ головой руки, точно моля ими зальную Афродиту отвести отъ этой головы бѣду. (Теперь замѣчаю, что и

у Нилендера и у Эллиса были бѣловскіе жесты. Подвѣянность? Сродство?)

— Вы можете передать отъ меня Асѣ стихи?

— А Вы на вокзалѣ не будете?

— Нѣтъ. Въ руки. Въ руку. Послѣ третьяго звонка, конечно, чтобы...

— Понялъ. Понялъ.

— Нѣтъ. Не поняли и не послѣ третьяго, потому что послѣ третьяго всѣ сразу лѣзутъ на подножку опять прощаться. Такъ вотъ, послѣ послѣдней подножки и послѣдней руки. Ей, въ машущую...

День спустя, выпрастывая шею изъ сѣдого и отъ снѣга бобра (барсъ, баранъ, боберь... Бобромъ онъ этимъ потомъ тушилъ свой филологическій пожаръ. Боберь сгорѣлъ, но зато были спасены всѣ книги филолога!)

— Марина! Уѣхали! Это было растравительно. Она, бѣдняжка, храбрилась, не плакала, но вся сжалась, скрутилась въ жгутъ, какъ собственный платочекъ — и ни слезы!

(Точно въ Нерчинскъ! А вѣдь кажется — въ Монреале, да еще съ любимымъ, да еще этотъ любимый — Андрей Бѣлый! Но таковы тогда были души и чувства.)

— А онъ? — Онъ, кажется, былъ (съ глубочайшимъ недоумѣніемъ) — просто счастливъ? Отъ него шло сияніе! — Отъ него всегда идетъ сияніе. — Вы правы. Но вчера — особенное. Онъ не уѣзжалъ — отлеталъ! Точно на паромъ двинулись вагоны, а его... Я: — Вдохновеніемъ. — Счастливая Ася. Бѣдная Ася. — И я, вторя:

Никому, съ участьемъ или гнѣвно,

Не позволь въ былое заглянуть.

Добрый путь, погибшая царевна,

Добрый путь!

— Марина, какое безуміе, какое преступленіе — брак!

Это говорить — мнѣ говорить! въ глаза говорить! — челоуѣкъ, котораго... который... — и весь разговоръ объ Асѣ и Бѣломъ — о насъ разговоръ, если бы одинъ изъ насъ былъ хоть чуточку безумнѣе или преступнѣе другаго изъ насъ. Но зато — и какое въ этомъ несравненное сияніе! — знаю, что если я, сейчасъ, столько лѣтъ спустя, или еще черезъ десять лѣтъ, или черезъ всѣ двадцать, войду въ его филологическую берлогу, въ гротъ Орфея,

въ пещеру Сивиллы, онъ правой оттолкнетъ молодую жену, лѣвой обвалитъ мнѣ же на голову подпотолочную стопу старыхъ книгъ — и кинется ко мнѣ, раскрывши руки, которыя будутъ — крылья.

Это намъ и всѣмъ подобнымъ намъ награда за всѣ нами отвергнутые Монреале.

Отъ Аси, годъ спустя, уже не знаю откуда, прилетѣло письмо: разумное, точное, дѣловое. Съ адресами и съ цѣнами. Въ отвѣтъ на мой такой же запросъ: куда ѣхать въ Сицилію. И мое свадебное путешествіе, годъ спустя, было только хожденіе по ея — Аси, Кати, Психей — слѣдамъ. И та глухонѣмая сиракузская дѣвочка въ черномъ дикомъ лавровомъ саду, въ дикій полдневный синій до черна часъ, отъ котораго у меня и сейчасъ въ глазахъ синѣ и черно, бѣжавшая передо мною по краю обрыва и внезапно остановившаяся съ поднятымъ пальчикомъ: — вотъ! а «вотъ» была статуя благороднѣйшаго изъ поэтовъ Гр. Августа Платена — August von Platen — seine Freunde — та глухонѣмая дѣвочка, самовозникшая изъ чащи была, конечно, душа Аси, или хоть маленькій ея, м о й, отрѣзъ! — стерегшая меня въ этомъ черномъ саду.

Больше я Аси никогда не видала.

Дѣвочка... козочка... Bichette... ахъ, это ты, Bichette?

1920 годъ. Въ филологической берлогѣ Нилендера встрѣчаю священника съ страшными глазами: синими поднебесными безднами. Я эти глаза — знаю. Только это глаза со стѣны и не подобаешь имъ глядѣть на меня черезъ совѣтскій примусъ.

— Вы меня не узнаете? Неузнаваемъ? Соловьевъ. Сережа Соловьевъ. (Да, да, нужно было именно сказать: Сережа, чтобы не подумала — среди бѣла дня, въ гостяхъ Владиміръ! Но куда же дѣвался чудный, розоваго мрамора, кругъ лица? Священникъ, — куда стихи?)

— Какъ Таня? — Таня въ деревнѣ. У Тани три дѣвочки. — Опять — три? — Опять — три. — Тургеневской породы? — Тургеневской. И одна очень похожа на Асю. — Спасибо.

Для поясненія нужно прибавить, что Таня Тургенева, прельщенная примѣромъ моей Аси, вышла замужъ изъ того же VI кл. гимназіи — за Сережу Соловьева. Такъ-

что разговоръ шель о соловьевско-тургеневскихъ дѣвочкахъ.

По выходѣ этого прекрасно- и страшно-глазого священника, Нилендеръ — мнѣ: — Мечаетъ о воссоединеніи церкви. Сначала былъ православнымъ, потомъ перешелъ въ католичество, а теперь — уніать. — Сначала былъ поэтъ!

Знають, стройно и напѣвно  
Въ полночь вставшіе снѣга,  
Что свершаетъ путь царевна,  
Взявъ оленя за рога...

— О, это давно... Это былъ — другой человекъ... Это было въ Асины времена... — съ той особенной отраженной нѣжностью мужчины, самого не бывшаго влюбленнымъ — не рѣшившагося! — но возлѣ влюбленного, влюбленныхъ стоящаго, и ихъ нѣжностью кормившагося...

У—нѣ—атъ... Какая сосущая гимназическая жуть: разсвѣтъ... водовозъ... вставать... жить... отвѣчать про польскую Унію...

Но не сбылись вторично сестры Тургеневы. Въ 1922 г., на Воздвиженкѣ, меня окликнула молодая женщина съ той обычной совѣтской присыпкой пепла на лицѣ, сѣризной заботы и золы, уравнивающей и полъ и возрастъ, молодость заравнивающей какъ лопатой.

— Таня. Таня Тургенева. Но вы тоже очень изменились. А у меня (все еще тѣ глаза внезапно и до краевъ наливаются слезами) — умерла дочка. Вторая. Вотъ карточка, гдѣ онѣ еще три.

На меня съ дешевой, уже постѣрѣвшей, какъ Танино и мое лицо, открытки глядятъ три маленькихъ Тургеневы, три Лэди Джэнъ. Таня, тыча все еще точенымъ пальчикомъ съ чернымъ ногтемъ въ одну изъ головокъ: — Эта умерла.

Эта, конечно, «Ася».

Аси я больше никогда не видала. Есть встрѣчи, есть чувства, когда дается сразу все и продолженія не нужно. Продолжать, вѣдь это — провѣрять.

Онѣ даже не оставляютъ тоски. Тоска (зарѣзъ), когда не додано, тѣмъ или мною, нами. Пустота, когда — недостойному — передано. (Достойному не передашь!) Асию

я съ первой секунды ощутила — уѣзжающей, для себя, въ длительности — потерянной. Такъ любятъ умирающаго: разомъ — все, всѣ слова послѣднія, или никакихъ словъ. Встрѣча началась съ моего безусловнаго, на довѣрїи, подчиненія, съ полнаго признанія ея превосходства. Я сразу внутренне уступила ей всѣ мѣста, на которыхъ мы когда-либо могли столкнуться. Такъ же естественно, какъ уступаютъ мѣсто видѣнью, привидѣнью: вѣдь все равно пройдетъ насквозь.

Уже шестнадцать лѣтъ я поняла, что внушать стихи больше, чѣмъ писать стихи, больше «даръ Божій», большая богоизбранность, что не будь въ мірѣ «Ась» — не было бы въ мірѣ поэмъ.

Проще же говоря, я поступила, какъ всѣ меня окружавшіе мужские друзья: я просто въ нее влюбилась, душевно ей предалась, со всей беззавѣтностью и безкорыстностью поэта.

Не хочешь ревности, обиды, равенія, ущерба — не тягайся — предайся, растворишься всѣмъ, что въ тебѣ растворимо, изъ оставшагося же создай видѣніе, безсмертное. Вотъ мой завѣтъ какой-нибудь моей дальней преемницѣ, поэту, возникшему въ женскомъ образѣ.

Бѣлаго послѣ его возвращенія изъ Дорнаха я просто не помню. Помню только, что онъ сразу сталъ налетать на меня со всѣхъ лѣстницъ Тео и Наркомпроса: рѣдкихъ лѣстницъ, ибо я присутственныя мѣста всегда огибала, рѣдкихъ, но всѣхъ. Два крыла, ореолъ кудрей, сіяніе.

— Вы? Вы? Вы? Какъ всегда пріятно Васъ видѣть! Вы всегда улыбаетесь!

И обѣжавъ какъ цирковая лошадка по кругу, овѣявъ какъ птица шумомъ разсѣкаемаго воздуха, оставляя въ глазахъ сіяніе, въ ушахъ и въ волосахъ — вѣяніе, — куда-то трещащими отъ машинокъ корридорами, на бѣгу уже обвѣшиваемый слушателями, слушательницами. Въ такія минуты онъ напоминалъ совѣтскій перегруженный, не всегда безопасный трамвай.

Или, во Дворцѣ Искусствъ (домъ Ростовыхъ на Поварской) на зеленой лужайкѣ. Что это? Воблу выдаютъ? Нѣтъ, хвоста нѣтъ, и хвостовъ нѣтъ, что-то безпорядочнѣе и праздничнѣе и воблы вдохновительнѣе, ибо даже рыжебородый лежебокъ, поэтъ Рукавишниковъ, всталъ и, руки въ карманы, прислонился къ березѣ.

Я, какой-то барышня: — Что это? — Борисъ Николаевичъ. — Лекцію читаетъ? — Нѣтъ, слушаетъ ничего-ковъ. — Ничего — что? (Барышня, дѣловито:) — Это новое направленіе, группа. Они говорятъ, что ничего нѣтъ.

Подхожу. То-есть какъ же слушаетъ, когда говоритъ? Говоритъ не закрывая рта, а обступившіе его молодые люди, эти самые ничегоки, только свои раскрыли. И, должно-быть, давно говоритъ, потому-что, вотъ, вытеръ съ сіяющаго лба потъ.

— Ничего: чего: черно. Ч — о, ч — чернота — о — пустота: зѣго. Кругъ пустоты и черноты. Замѣьте, что ч — само черно: ч: ночь, чортъ, чара. Ничегоки.. а ки — ваша множественность, заселенность этой черной дыры мелочью: чью, мелкой черной мелочью: меленькой, меленькой.. Ничегоки, это блохи въ опустѣломъ домѣ, изъ котораго хозяева выѣхали на лѣто. А хозяева (подымая палецъ и медленно его устремляя въ землю и слѣдя за нимъ и заставляя всѣхъ слѣдить) — выѣхали! Выбыли! Пустая дача: ча, и въ ней ничего, и еще ки, ничего, разродившееся... ки... Дача! Не та бревенчатая дача въ Сокольникахъ, а дача — даръ, чей-то даръ, и вотъ, русская литература была чѣмъ-то такимъ даромъ, даче й, но... (палецъ къ губамъ, таинственно) хо—зя—е—ва вы—ѣ—ха—ли. И не осталось — ничего. Одно ничего осталось, поселилось. Но это еще не вся бѣда, совсѣмъ не бѣда, когда о д н о ничего, о н о, ничего, с а м о ничего, бѣда, когда — ки... Ки, вѣдь это.. кхи... При—шель смѣ—шокъ. При—тан—це—валь на тонкихъ ножкахъ смѣ—шокъ, кхи—шокъ. Кхи... И отъ всего осталось... кхи... Отъ всего осталось не ничего, а кхи.. хи... На черныхъ ножкахъ — блошки... И какъ онѣ колотся! Язвятъ! Какъ онѣ неуязвимы.. какъ вы неуязвимы, господа, въ своемъ ничего-ше-ствѣ! По краю черной дыры, проваленной дыры, гдѣ погребена русская литература (таинственно:)... и еще что-то... на спичечныхъ ножкахъ — ничегошки. А дѣтки ваши будутъ — ничегошеньки.

Блокъ оборвался, потому-что Блокъ — чего, и если у Блока — черно, то это черно — чего, весь плюсъ черноты, чернота, какъ присутствіе, наличность, данность. Въ комнатѣ, изъ которой унесли свѣтъ — темно,



но ночь, въ которую ты вышелъ изъ комнаты, есть сама чернота, она.

...Не потому что отъ нея свѣтло,  
А потому что съ ней --не надо свѣта...

Съ ночью — не надо свѣта.

И Блокъ, не выйдя съ лампой въ ночь — мудрецъ, та- кой же мудрецъ, какъ Діогенъ вышедшій съ фонаремь — днемъ, въ бѣлый день — съ фонаремь. Одинъ свѣтъ прибавилъ, другой — тьмы. Блокъ, отдавшій себя ночи, растворившій себя въ ней—правъ. Онъ къ чернотѣ прибавилъ, онъ ее сгустилъ, усугубилъ, углубилъ, учернилъ, онъ сдѣлалъ ночь еще чернѣй — обогатилъ стихію... а вы — хи-хи? По краю, не срываясь, хи-хи-хи... Не платя — хи-хи... Сти — хи..?

...Но если вы мнѣ скажете, что... — тогда я вамъ скажу, что... А если вы мнѣ на это отвѣтите, что... — я вамъ уже заранѣе объявляю, что... Замятьте, что — сейчасъ. въ данную минуту, когда вы еще ничего не-сказали.

«Не сказали»... А поди — скажи! Скажешь тутъ...

Но это не просто вдохновеніе словесное, это — та- нець. Барышня съ такимъ же успѣхомъ могла бы ска- зать: — Это Бѣлый ūbertantzt ничевоковъ... Ровная лужайка, утыканная желтыми цвѣточками, стала коврикомъ подъ его ногами — и сквозь кружашагося, приподыма- ющагося, вспархивающаго, припадающаго, уклоняюща- гося, вотъ-вотъ имѣющаго отдѣлиться отъ земли — ви- дѣніе дѣвушки съ козочкой, на только-что разверну- томъ коврикъ, подъ двубашеннымъ видѣніемъ вѣковъ... — Эсмеральда! Джали!

То съ периль, то съ каѳедры, то съ зеленой ладони вмѣстѣ съ нимъ улетавшей лужайки, всегда обступлен- ный, всегда свободный, разступаться не нужно, ich ūber- flieg euch! въ вѣчномъ сопроводительномъ танцѣ сюр- тучныхъ фалдъ (пиджачныхъ? все равно — сюртуч- ныхъ!), старинный, изящный, изысканный, птичій — смѣсь магистра съ фокусникомъ, въ двойномъ, тройномъ, четверномъ танцѣ: смысловъ, словъ, сюртучныхъ ласточ- киныхъ фалдъ, ногъ — о, не ногъ! всего тѣла, всей вто- рой души, еще-души своего тѣла, съ отдѣльной жизнью своей дирижерской спины, за которой — въ два крыла. въ двѣ восходящихъ лѣстницы оркестръ безплотныхъ духовъ...

— о, такимъ тебя видѣли всѣ, отъ швейцарскаго тайновидца до цоссенской хозяйки, о, такимъ ты останешься, пребудешь, легкій духъ, одинокій другъ!

Прелесть — вотъ тебѣ слово: прельститель, и, какъ всѣ говорятъ, впрочемъ съ нѣжнѣйшей улыбкой — предатель! О, въ высококомъ смыслѣ, какъ все — здѣсь, заведетъ тебя въ дебри, занесетъ за облака и тамъ, одного, внезапно уклонившись, нырнувъ въ сосѣдную смежную родную бездну — бросить: задумается, воззрится, забудетъ тебя, котораго только-что, съ мольбой и надеждою (— Мы никогда не разстанемся? Мы никогда не разстанемся?) звалъ своимъ лучшимъ другомъ.

Не вѣрь, не вѣрь поэту, дѣва,  
Его своимъ ты не зови...

О, не только «дѣва», — дѣва — что! — а лучший другъ, потому-что у поэта надъ самымъ лучшимъ другомъ — другъ еще лучший, еще ближайшій, которому онъ не измѣнитъ никогда и ради котораго измѣнитъ всѣмъ, которому онъ преданъ — не въ переводномъ смыслѣ вѣрности, а въ первичномъ страшномъ страдательномъ преданности: кѣмъ-нибудь кому-нибудь въ руки: преданъ — какъ проданъ, преданъ — какъ пригвожденъ.

— Бисеръ передъ свиньями... шепчетъ милая человѣчная поэтесса Ада Чумаченко, тамошняя служащая, — и то разстраиваюсь, когда онъ передо мной начинается... Стыдно... Точно — разбрасываетъ, а я подбираю...

— А эти не разстраиваются.

— Потому-что не понимаютъ, кто — онъ.

— И кто — они.

Но кромѣ Ады Чумаченки, да меня, случайной рѣдкой гостыи, не смѣвшей и близко подойти, да такого же рѣдкаго и робкаго гостя Бориса Пастернака — никто Бѣлаго не жалѣлъ, о немъ не болѣлъ, всѣ его использовали, лѣниво, вяло, какъ сытыя кошки сливки, — подлизывали, подлизывали, иные даже полеживая на лужку, бѣловскій жемчугъ прикарманная — лёжа.

— Что это? — Да опять Бѣлый изъ себя выходитъ.

Не входя въ васъ. Ибо когда наше входитъ, доходитъ, растраты нѣтъ, пустоты нѣтъ — есть разгрузка и пополненіе, обмѣнъ, общеніе, взаимопроникновеніе, гармонія.

А такъ...

Бѣдный, бѣдный, бѣдный Бѣлый, изъ «Дворцовъ Ис-

кусствъ» шедшій домой, въ грязную нору, съ дубящимъ теплоромъ справа, визжащей пилой слѣва, сапожищами надъ головой и грязницей подъ ногами въ то ужасное одиночество совмѣстности, столь обратное благословенному уединенію.

Въ 1921 г., вскорѣ послѣ смерти Блока, въ мою послѣднюю совѣтскую зиму я подружилась съ послѣдними друзьями Блока, Коганами, имъ и ею. Коганъ недавно умеръ, и если я раньше не сказала всего того добраго, что о немъ знаю и къ нему чувствую, то только потому, что не пришлось.

П. С. Коганъ ни поэтовъ ни стиховъ не понималъ, но любилъ и читалъ и дѣлалъ для тѣхъ и другихъ, что могъ: и тѣхъ и другіе — устраивалъ. И между пониманіемъ, пальцемъ не шевелящимъ, и непониманіемъ, руками и ногами помогающимъ (да, и ногами, ибо въ тѣ годы, чтобы устроить человѣка — ходили!) каждый поэтъ и вся поэзія, конечно, выберетъ непониманіе.

Восхищаться стихами — и не помочь поэту! Пить воду и давать источнику засоряться грязью, не вызволить его изъ земной тины, смотрѣть руки сложа и даже любуйся его «поэтической» зеленью. Слушать Бѣлаго и не пойти ему вслѣдъ, не затопить ему печь, не вынести ему соръ, не отблагодарить его за то, что онъ — есть. Если я не шла вслѣдъ, то только потому же, почему и близко подойти не смѣла: по устоявшему благоговѣнію моихъ четырнадцати лѣтъ. Помочь, вѣдь, тоже — посмѣть. И еще потому, что какъ-то съ рожденія рѣшила, (и тѣмъ, можетъ-быть, въ своей жизни и предрѣшила), что всѣ мѣста возлѣ несчастнаго величія, всѣ бертрановскіе посты преданности уже заняты. Отъ священной робости — помѣхи.

— А еще писатель, большой человѣкъ, скандалъ!.. — вяло, безъ малѣйшей интонаціи негодованія, надрывается Петръ Семеновичъ Коганъ, ероша и волосы и усы (одни у него ввысь, другіе внизъ.)

— Кто? Что?

— Да Бѣлый. Настояшій скандалъ. Думали — докладъ о Блакѣ, литературныя воспоминанія, оцѣнка. И вдругъ: — Съ голоду! Съ голоду! Съ голоду! Голодная подагра, какъ бываетъ — сытая! Душевная астма!

— Вы же сами посылали Блоку мороженую картошку изъ Москвы въ Петербургъ.

— Но я объ этомъ не кричу. Не время. Но это еще не всё. И вдругъ — съ Блока — на себя. «У меня нѣтъ комнаты! Я — писатель русской земли (такъ и сказалъ!), а у меня нѣтъ камня, гдѣ бы я могъ преклонить свою голову, то-есть именно камень, камень — есть, но — позвольте — мы не въ каменной Галилеѣ, мы въ революціонной Москвѣ, гдѣ писателю должно быть оказано содѣйствіе. Я написалъ Петербургъ! Я провидѣлъ крушеніе Царской Россіи, я видѣлъ во снѣ конецъ Царя, въ 1905 еще году видѣлъ, — слѣва пила, справа топоръ...»

Я: — Такой сонъ?

Коганъ, съ гримасой: — Да нѣтъ же! Это уже не сонъ, это у него рядомъ: одинъ пилить, другой рубить. — «Я не могу писать! Это позоръ! Я долженъ стоять въ очереди за воблой! Я писать хочу! Но я и ѣсть хочу! Я — не духъ! Ва м ѣ я не духъ! Я хочу ѣсть на чистой тарелкѣ, сеledку на мелкой тарелкѣ, и чтобы не я ее мылъ. Я заслужилъ! Я съ дѣтства работалъ! Я вижу здѣсь же въ залѣ лѣнтыевъ, дармоѣдовъ (такъ и сказалъ!), у которыхъ по двѣ, по три комнаты. — подъ различными предлогами, да: по комнатамъ на предлогъ — да, и они ничего не пишутъ, только подписываютъ. Спекулянтовъ! Паразитовъ! А я — пролетаріатъ: Lumpenproletariat! Потому-что на мнѣ лохмотья! Потому-что уморили Блока и меня хотягь! Я не дамся! Я буду кричать, пока меня услышатъ! А—а—а—а!» Блѣдный, красный, потъ градомъ. и такіе страшные глаза, еще страшнѣе, чѣмъ всегда, видно, что ничего не видятъ. А еще — интеллигентъ, культурный человѣкъ, серьезный писатель. Вотъ такъ почтилъ память вставаніемъ...

— А по вашему — все это неправда?

— Правда, конечно. Должна у него быть комната, во-первыхъ — потому-что у всѣхъ должна быть, во-вторыхъ — потому-что онъ писатель, и на м ѣ писатель не враждебный. И, вообще, мы всячески... Но нельзя же — такъ. Вслухъ. Крикомъ. При всѣхъ. Точно на эшафотѣ передъ казнью. И если Блокъ дѣйствительно умеръ отъ послѣдствій недоѣданія, то — кто же его ближе зналъ, чѣмъ я? — только потому-что былъ настолькій великій человѣкъ, скромный, о себѣ не только не кричалъ, но по-

нали его разгружать баржу — пошелъ, себя не назвавъ. Это — дѣйствительное величіе.

— Но такъ вѣдь можетъ не остаться писателей...

— И это — вѣрно. Писатели нужны. И не только общественные. Вы, можетъ-быть, удивитесь, что это слышите отъ стараго убѣжденнаго марксиста, но я, напимѣръ, самъ люблю поваляться на диванѣ и почитать Бальмонта — потребность въ красотѣ есть и у насъ, и она, съ улучшеніемъ экономическаго положенія, все будетъ расти — и потребность, и красота... Писатели нужны, и мы все для нихъ готовы сдѣлать — дали же вамъ лекціи и беремъ же вашу Царь-Дѣвицу — но при условіи — какъ бы сказать? — сдержанности. Какъ же теперь, послѣ происшедшаго, дать ему комнату? Вѣдь выйдетъ, что мы его... испугались?

— Дадите?

— Дадимъ, конечно. Свою бы отдалъ, чтобы только не произошло — то, что произошло. За него непріятно подумаютъ — эгоистъ. А я вѣдь знаю, что это не эгоизмъ, что онъ это изъ-за Блока себѣ комнаты требуетъ, во имя Блока, Блок у — комнату, Блока любя — и насъ любя (потому-что онъ насъ всё-таки какъ-то чѣмъ-то любить — какъ и вы) — чтобы опять чего-нибудь не произошло, за что бы намъ пришлось отвѣчать. Но, позвольте, не можемъ же мы допустить, чтобы писатели на насъ... кричали? Это ужъ (съ добрымъ вопросительнымъ выраженіемъ близорукихъ глазъ)... слишкомъ?

Жилье Бѣлому устроилъ мгновенно, и не страха людскаго ради, а страха Божія, изъ уваженія къ человѣку, а также и потому, что вдругъ какъ-то особенно ясно понялъ, что писателю комната — нужна. Хорошій былъ человѣкъ, сердечный человѣкъ. Все могъ понять и принять — всякое сумасбродство поэта и всякое темнѣйшее мѣсто поэмы, — только ему нужно было хорошо объяснить. Но шутокъ онъ не понималъ. Когда на одной его вечеринкѣ — праздновали его свѣжее университетское ректорство — жена одного писателя, съ размаху хлопнувъ его не то по плечу, не то по животу (хлопала кого попало, куда попало — и всегда попадало) — «Да ну ихъ всѣхъ, П. С., пускай ихъ домой идутъ, если спать хотятъ. А мы съ вами здѣсь — а? — вдвоемъ — такое раздѣлаемъ — наединѣ-то! А?» — онъ, не понявъ шутки: — Съ удовольствіемъ, но я, собственно, нынче ночью

долженъ еще работать, статью кончать...» на что она: — А ужъ испугался! Эхъ ты, Юсифъ Прекрасный, хотя ты и Петръ, Семеновъ сынъ. А все-таки — а, Маринушка? — хороший онъ, нашъ Петръ Семенычъ-то? Красавецъ бы мужчина, если бы не очки, а? И тебѣ нравится? Впрочемъ, всѣ они хорошиѣ. Плохихъ — нѣтъ...

Съ чѣмъ онъ, въ виду гуманности вывода, а главное понявъ, что — пронесло, почтительно и радостно согласился...

Нынѣ, двѣнадцать лѣтъ спустя, не могу безъ благодарности вспомнить этого очкастаго и усатаго ангела-хранителя писателей, ходатая по ихъ земнымъ дѣламъ. Когда буду когда-нибудь рассказывать о Блокѣ, вспомню его еще.

Это былъ мой послѣдній московскій заочный Бѣлый, изустный Бѣлый, какъ ни упрощаемый — всегда узнаваемый. Бѣлый легенды, длившейся 1908 г. — 1922 г. — четырнадцать лѣтъ.

Теперь — наша встрѣча.

## II.

### ВСТРѢЧА.

(Geister auf dem Gange)  
Drinnen gefangen ist Einer!

Берлинъ. Pragerdiele на Pragerplatz'ѣ. Столикъ Эренбурга, обрастающій знакомыми и незнакомыми. Оживленіе издателей, окрыленіе писателей. Обмѣнъ гонорарами и рукописями. (Страхъ, что и то и другое скоро падетъ въ цѣнѣ.) Сажу частью круга, окружающаго.

И вдругъ черезъ все — черезъ всѣхъ — протянутыя руки — кудри — сіяніе:

— Вы? Вы? (Онъ такъ и не зналъ, какъ меня зовутъ.) Здѣсь? Какъ я счастливъ! Давно пріѣхали? Навсегда пріѣхали? А за Вами, по дорогѣ, не слѣдили? Не было тако-го... (скашиваетъ глаза)... брюнета? Продвиженія за Вами брюнета по вагонному ущелью, по вокзальнымъ сталкитивымъ пространствамъ... Пристукиванья тросточкой... не было? Заглядыванія въ купѣ: «виноватъ, ошибся!» И черезъ часъ опять «виноватъ», а на третій разъ

ужь Вы — ему: «Виноваты: ошиблись!» — Нѣтъ? Не было? Вы... хорошо помните, что не было?

— Я очень близорука.

— А онъ въ очкахъ. Да-съ. Въ томъ то и суть, что Вы, которая не видитъ, безъ очковъ, а онъ, который видитъ, — въ очкахъ. Угадываете?

— Значить, онъ тоже ничего не видитъ.

— Видитъ. Ибо стекла не для видѣнія, а для видоизмѣненія... видимости. Простыя. Или даже — пустыя. Вы понимаете этотъ ужасъ: пустыя стекла, нечаянно ткнешь пальцемъ — и теплый глазъ, какъ только-что очищенное облупленное подрагивающее крутое яйцо. И такими глазами — въ крутую сваренными — онъ осмѣливается глядѣть въ ваши: ясныя, свѣтлыя, съ живымъ зрачкомъ. Удивительной чистоты цвѣтъ. Гдѣ я такіе видѣлъ? Когда?

...Почему мы съ Вами такъ мало встрѣчались въ Москвѣ, такъ мимолетно? Я все дѣтство о Васѣ слышалъ, все Ваше дѣтство, конечно, — но Вы были невидимы. Все Ваше дѣтство я слышалъ о Васѣ. У насъ съ вами былъ общій другъ: Эллисъ, онъ мнѣ всегда рассказывалъ о Васѣ и о Вашей сестрѣ — Асѣ: Маринѣ и Асѣ. Но въ послѣднюю минуту, когда нужно было вдвоемъ идти къ Вамъ, онъ — уклонялся.

— А мы съ Асей такъ мечтали когда-нибудь Васѣ увидѣть! И какъ мы были счастливы тогда, въ «Донѣ», когда случайно...

— Вы? Вы? Это были — Вы! Неужели та — Вы? Но гдѣ же тотъ румянецъ?! Я тогда такъ залюбовался! Восхитился! Самая румяная и серьезная дѣвочка на свѣтѣ. Я тогда всѣмъ рассказывалъ: — Я сегодня видѣлъ самую румяную и серьезную дѣвочку на свѣтѣ!

— Еще бы! Морозъ, владимірская кровь -- и Вы!

— А Вы... владимірская? (Интонация: изъ Рюриковичей?) Изъ тѣхъ дѣсовъ дремучі—ихъ?

— Мало, изъ тѣхъ дѣсовъ! А еще изъ города Тарусы, Калужской губерніи, гдѣ на каждой могилѣ серебряный голубь. Хлыстовское гнѣздо — Таруса.

— Таруса? Родная! («Таруса» онъ произнесъ какъ бы «Маруса», а «родную» намъ съ Тарусой пришлось подлѣнить.) Вѣдь съ Тарусы и начался Серебряный Голубь: Съ рассказовъ Сережи Соловьева — про тѣ могилы...

(Нашъ столъ уже давно опустѣлъ, растолкнутый яв-

нымъ лиризмомъ встрѣчи: скукой ея чистоты. Теперь, при двукратномъ упоминаніи могилъ, уходитъ и послѣдній.)

— Такъ Вы — родная? Я всегда зналъ, что Вы родная! Вы — дочь профессора Цвѣтаева. А я — сынъ профессора Бугаева. Вы — дочь профессора и я сынъ профессора. Вы — дочь, я — сынъ.

Сраженная неопровержимостью, молчу.

— Мы — профессорскія дѣти. Вы понимаете, что это значитъ: профессорскія дѣти? Это вѣдь цѣлый кругъ, цѣлое *Credo*. (Углубляющая пауза.) Вы не можете понять, какъ Вы меня обрадовали. Я вѣдь всю жизнь, не знаю почему, одинъ былъ профессорскій сынъ, и это на мнѣ было, какъ клеймо. — о, я ничего не хочу дурного сказать о профессорахъ, я иногда думаю, что я самъ профессоръ, самый настоящий профессоръ — но, всё-таки... одиноко? *schicksalschwer*? Если ужъ непременно нужно быть чьимъ-то сыномъ, я бы предпочелъ, какъ Андерсенъ, быть сыномъ гробовщика. Или наборщика... Честное слово. Чистота и уютъ ремесла. Вы этого не ощущаете. Клеймомъ? Нѣтъ, конечно, Вы же — дочь. Вы не несете на себѣ тяжести преемственности. Вы — просто вышли замужъ, сразу замужъ — да. А сынъ можетъ только жениться, и это совсѣмъ не то. тогда его жена — жена сына профессора Бугаева. (Шепотомъ: А бугай, это — быкъ.) И, уже громко, съ обворожительной улыбкой: — Производитель.

Но оставимъ профессорскихъ дѣтей, оставимъ только однихъ дѣтей. Мы съ вами, какъ оказалось, дѣти (вызывающе:) — всё равно чьи! И наши отцы — умерли. Мы съ вами — сироты, и — Вы вѣдь тоже пишете стихи? — сироты и поэты. Вотъ! И какое счастье, что это за однимъ столомъ, что мы можемъ оба заказать кофе, и что намъ обоимъ дадутъ — тотъ же самый, изъ одного кофейника, въ двѣ одинаковыхъ чашки. Вѣдь это роднить? Это уже — связь?? (Не удивляйтесь: я очень одинокъ, и мнѣ грозитъ страшная, страшная, страшная бѣда. Я — подъ ударомъ.) Вы вѣдь могли оказаться — въ Сибири? А я — въ Сербіи. Есть еще такое простое счастье.

На другое утро издатель, жившій въ томъ же пансіонѣ и у котораго ночевалъ Бѣлый, когда запаздывать въ свой за-городъ, передалъ мнѣ большой песочный конвертъ съ императивнымъ латинскимъ Б (В), надписанный



вершковыми буквами, отъ величины казавшимися нарисованными.

— Бѣлый уѣхалъ. Я далъ ему на-ночь Вашу «Разлуку». Онъ всю ночь читалъ и страшно взволновался. Просилъ Вамъ передать.

Читаю:

Zossen 16 мая 22 г.

Глубокоуважаемая Марина Ивановна,

Позвольте мнѣ высказать глубокое восхищеніе передъ \*) совершенно крылатой мелодіей Вашей книги «Разлука».

Я весь вечеръ читаю — почти вслухъ; и — почти распѣваю. Давно я не имѣлъ такого эстетическаго наслажденія.

А въ отношеніи къ мелодикѣ стиха, столь нужной послѣ расхлябанности Москвичей и мертвенности Акмеистовъ, — Ваша книга первая (это — безусловно).

Пишу — и спрашиваю себя, не переоцѣниваю ли я свое впечатлѣніе? Не приснилась ли мнѣ Мелодія?

И — нѣтъ, нѣтъ: я съ большой скукой развертываю всѣ новыя книги стиховъ. Со скукою развернулъ и сегодня «Разлуку». И вотъ — весь вечеръ подъ властью чаръ ея. Простите за неподдѣльное выраженіе моего восхищенія и примите увѣреніе въ совершенномъ уваженіи и преданности.

Борисъ Бугаевъ.

Письмо это написано такой величины буквами, что каждый изъ тѣхъ немногихъ, которымъ я послѣ бѣловской смерти его показывала: — «Такъ не пишутъ. Это письмо сумасшедшаго». Нѣтъ, не сумасшедшаго, а человѣка, желающаго остаться въ границахъ, величиной буквъ занявъ все то мѣсто, оставшееся бы безмѣрности и безпредметности, во-вторыхъ-же, виѣшней вѣскостью выявить вѣскость внутреннюю. Такъ ребенокъ, напрімѣръ, въ обычномъ текстѣ письма, вдругъ, до сустава обмакнувъ и отъ плеча нажавъ: «Мама, я очень выросъ!» Или: «Мама, я страшно тебя люблю». Такъ то, гос-

\*) «передъ» вставлено потомъ.

пода, мы въ поэтѣ объявляемъ сумасшествіемъ вещи самыя разумныя, первичныя и законныя.

Я сразу отвѣтила — про мелодію. Помню образъ рѣки, несущей на хребтѣ — всё. Именно на хребтѣ, мощномъ и гибкомъ хребтѣ рѣки: рыбы: русалки. Рѣку, данную въ образѣ пловца, расталкивающего плечами берега, плечами пролагающаго себѣ русло, движеніемъ создающаго теченіе. Мелодію — въ образѣ этой рѣки. Онъ отвѣтилъ — письма этого у меня здѣсь нѣтъ, мнѣ — письмомъ, себѣ-самому статьей (въ «Дняхъ», кажется) о моей «Разлукѣ». Помню, что трехъ четвертей статьи я не поняла, а именно всего ритмическаго изслѣдованія, всѣхъ его доказательствъ. Вечеромъ опять встрѣтились.

— Вы прочли? Не очень неграмотно?

— Такъ грамотно, что я не поняла.

— Значить, плохо.

— Значить, я — неграмотная. Я, честное слово, никогда не могла понять, когда мнѣ пытались объяснить, что я дѣлаю. Просто, сразу теряю связь, какъ въ геометріи. — «Понимаете?» — «Понимаю», — и только одинъ страхъ, какъ бы не начали провѣрять. Если бы для писанія пришлось понимать, я бы никогда ничего не смогла. Просто отъ страха.

— Значить, Вы — чудо? Настоящее чудо поэта? И это дается — мнѣ? За что? Вы знаете, что Ваша книга изумительна, что у меня отъ нея физическое сердцебіеніе. Вы знаете, что это не книга, а пѣсня: голось, самый чистый изъ всѣхъ, которые я когда-либо слышалъ. Голось самой тоски: Sehnsucht. (Я долженъ, я долженъ, я долженъ написать объ этомъ изслѣдованіе!) Вѣдь — никакого искусства, и рѣмы, въ концѣ концовъ, бѣдныя.. Руки — разлуки — кто не рѣмоваль? Вѣдь каждый... ублюдокъ лучше сриемуетъ... Но развѣ дѣло въ этомъ?.. Какъ же я могъ до сихъ поръ Васъ не знать? Ибо я долженъ Вамъ признаться, что я до сихъ поръ, до той ночи, не читалъ ни одной Вашей строки. Скучно — читать. Вѣдь вѣры нѣтъ въ стихи. Изолгались стихи. Стихи изолгались или поэты? Когда стали ихъ писать безъ нужды, они сказали нѣтъ. Когда стали ихъ писать, составляя, они уклонились.

Я никогда не читаю стиховъ. И никогда ихъ уже не пишу. Разъ въ три года — развѣ это поэтъ? Стихи должны быть единственною возможностью выраженія

и постоянной насущной потребностью, человекъ долженъ быть на стихи обреченъ, какъ волкъ на вой. Тогда — поэтъ. А Вы, Вы — птица! Вы поете! Вы во мнѣ каждой строкой поете, я пою Васъ дальше, Вы во мнѣ постесь дальше, я Васъ остановить въ себѣ не могу. Съ этого уже два дня прошло... Думалъ — раздѣлаюсь письмомъ, статьей, — нѣтъ! И боюсь (хотя не надо этого бояться), что теперь скоро самъ...

Статьей и устной хвалой не ограничился. Измученный, ничего для себя не умѣющий, самъ, безъ всякой моей просьбы устроилъ двѣ моихъ рукописи: «Царь-Дѣвицу» въ Эпоху и «Версты» въ Огоньки, подробно оговоривъ всѣ мои права и преимущества. Для себя не умѣющий — для другого смогъ. Съ смущенной и все же удовлетворенной улыбкой (а глаза у него все-таки были самые невѣрные, въ которые я когда-либо глядѣла, глядѣлась):

— Вы меня простите, это Васъ ни къ чему не обязываетъ, но я подумалъ, что можетъ-быть такъ — проще, что другому, со стороны — легче... Не примите это за внимательство въ Вашу личную жизнь...

Такого другого, съ той стороны, съ которой — легче, всей той стороны, съ которой легче — у Бѣлаго въ жизни не оказалось.

Такъ мы опять просидѣли дѣ-темна. Такъ онъ опять пропустилъ свой послѣдній поѣздъ, и на этотъ разъ съ утра въ дверную щель (влѣзалъ всегда, какъ звѣрь, головой, причемъ глядѣлъ не на васъ, а вкось, точно чего-то на стѣнѣ или на полу ища или опасаясь), итакъ, въ дверную щель его робкое сіяющее лицо въ разсѣяніи серебрящихся волосъ. (И, вдругъ, озареніе: да вѣдь онъ самъ былъ серебряный голубь, хлыстовскій, грозный, но все же робкій, но все же голубь, серебряный голубь. А ко мнѣ приручился потому, что я его не пугала — и не боялась.)

— Встали? Кофе пили? Можно еще разъ вмѣстѣ? Хорошо? — И захватывая въ одинъ круговой взглядъ: балконную синь, дужу солнца на полу, собственный букетъ на столѣ, сѣрый съ ремнями чемоданъ, меня въ синемъ платьѣ:

— Хорошо? (Все.)

Въ одну изъ такихъ ночевокъ, на этотъ разъ рѣшенную заранѣе (зачѣмъ уважать, когда съ утра опять при-

уѣзжать? и зачѣмъ бояться пропустить послѣдній поѣздъ, на которомъ все равно не поѣдешь?) бѣдный Бѣлый сильно пострадалъ отъ моей восьмилѣтней дочери и пятилѣтняго сына издателя, объединившихся. Гадкія дѣти, догадавшись, что съ Бѣлымъ можно то, чего нельзя ни съ кѣмъ, потому-что самъ онъ съ ними таковъ, какъ никто, потихоньку, никому не сказавъ, положили ему въ постель всѣхъ своихъ резиновыхъ звѣрей, наполненныхъ водою. Утромъ къ столу Бѣлый съ видомъ настоящаго Побѣдоносца. У дѣтей лица вытягиваются. И Бѣлый, радостно: — Нашель! Нашель! Обнаружилъ, ложась, и выбросилъ — полными. Я на нихъ не легъ, я только чего-то толстаго и холоднаго... коснулся. Какого-то... живота. (Шелотомъ:) Это былъ животъ свиньи.

Сынъ издателя: — Моя свинья. — Ваша? И Вы ее... любите? Вы въ нее... играете? Вы ее... берете въ руки? (уже осуждающе:) Вы можете взять ее въ руки: холодную, вялую, трясущуюся, или еще хуже: страшную, раздутую? Это называется... играть? Что же Вы съ ней дѣлаете, когда Вы въ нее играете?

Ошеломленный «Вы», выкативъ чудные каріе глаза, явн и спѣшно глотаетъ. Бѣлый, оторвавъ отъ него невидящіе (свинимъ видѣніемъ заполненные) глаза и скосивъ ихъ въ полъ, какъ Георгій на дракона, со страхомъ и угрозой:

— Я... не люблю свинью... Я — боюсь свинью!.

Этимъ ю какъ перстомъ или даже копыемъ упираюсь въ свинойрыльный пятакъ.

---

Перерывъ, который лучше всего бы заполнить графически — тирэ: уѣзжалъ, писалъ, тосковалъ, — не знаю. Просто пропалъ на недѣлю или десять дней. И вдругъ возникъ, днемъ, въ кафэ Pragerdiele. Я сидѣла съ однимъ писателемъ и двумя издателями, столикъ былъ крохотный и весь загроможденный посудой и локтями и еще рукописями и еще рукопожатьями непрерывно подходящихъ и здоровающихся. И вдругъ — двѣ руки. Черезъ головы и чашки и локти двѣ руки, хватающія мою. — Вы! Я по Васъ соскучился! Стосковался! Я все время чувствовалъ, что мнѣ чего-то не хватаетъ, главнаго не хватаетъ. только не могъ догадаться, какъ курильщикъ, который забылъ, что можно курить и, не зная чего, все вре-

мя ищетъ: перемѣщаетъ предметы, заглядываетъ подъ вѣшалку, подъ бюварь...

Кто-то ставитъ стулъ, расчищаетъ столъ. — Нѣтъ, нѣтъ, я хочу рядомъ съ... ней. Голубушка, родная, я — погибшій человѣкъ! Вы, конечно, знаете? Всѣ — уже знаютъ! И всѣ знаютъ, почему, а я — нѣтъ! Но не надо объ этомъ, не спрашивайте, дайте мнѣ просто быть счастливымъ. Потому-что сейчасъ я — счастливъ, потому-что отъ нея — всегда сіяніе. Господа, вы видите, что отъ нея идетъ сіяніе?

Писатель встрясъ трубку, одинъ издатель полупоклонился въ мою сторону, а другой, Бѣлаго отечески любившій и олекавшій, отчетливо сказалъ:

— Конечно, видимъ всѣ.

— Сіяніе и успокоеніе. Мнѣ съ ней сразу спокойно, покойно. Мнѣ даже сейчасъ, вотъ, внезапно захотѣлось спать, я бы могъ сейчасъ заснуть. А вѣдь это, господа, высшее довѣріе спать при человѣкѣ. Еще большее, чѣмъ раздѣться до-нага. Потому-что спящій — сугубо-нагъ, весь обнаженъ враждѣ и суду. Потому-что спящаго — такъ легко убить! Такъ — соблазнительно убить! (Въ себѣ, въ себѣ, въ себѣ убить, въ себѣ уничтожить, развѣнчать, изобличить, поймать съ поличнымъ, заклеить, закатать въ Сибирь!)

Кто-то: — Борисъ Николаевичъ, Вамъ, можетъ-быть, кофе?

— Да. Потому-что на лбу у спящаго, какъ тѣни облаковъ, проходятъ самыя тайныя мысли. Глядящій на спящаго читаетъ тайну. Потому такъ страшно спать при человѣкѣ. Я совсѣмъ не могу спать при другомъ. Иногда, въ Россіи, (оборотъ головы на Россію) я этимъ страшно мучился, среди ночи вставалъ и уходилъ. Заснешь, а тотъ проснется — и взглянетъ. Слишкомъ пристально посмотритъ — и сглазитъ. Даже не отъ зла, просто — отъ глаз. Я больше всего боялся, когда ѣхалъ изъ Россіи, что очнусь — подъ взглядомъ. Я просто боялся спать, старался не спать, стоялъ въ корридорѣ и глядѣлъ на звѣзды... (Къ одному изъ издателей:) — Вы говорите во снѣ? Я — кричу...

...А при ней — могу... Она на меня наводитъ сонъ. Я буду спать, спать, спать. Ну, дайте Вашу руку, ну, дайте мнѣ руку и не берите обратно, совершенно все равно, что они всѣ здѣсь...

Смущенная, все-жъ руку даю, обратно не беру, улыбкой на шутку не свожу, на окружающія улыбки — не иду. И онъ, должно-быть по напряженности моей руки, везапно понявъ: — Простите! Я можетъ-быть не такъ себя велъ. Я вѣдь отлично знаю, что нельзя среди бѣла дня, въ кафѣ, говорить вещи — разъ-навсегда. Но я — всегда въ кафѣ! Я — обреченъ на кафѣ! Я какъ безпризорный пестъ шляюсь по чужимъ мѣстамъ. У меня нѣтъ дома, своего мѣста. (Будка есть, но я не пестъ!) Я всегда долженъ пить кофе... или пиво... эту гадость!.. весь день что-то пить, маленькими порціями, и потомъ звенѣть ложкой о кружку или чашку и вынимать бумажку... Не можетъ человѣкъ весь день пить! Вотъ опять кофе... Я долженъ его выпить, а я не хочу: я не бегемотъ, наконецъ, чтобы весь день глотать, съ утра до вечера и даже ночью, потому-что въ Берлинѣ ночи нѣтъ. Родная! Голубушка! Уйдемъ отсюда, пусть они сами пьютъ...

Не забывъ заплатить за кофе (такихъ вещей не забывай никогда), выводитъ меня, почти бѣгомъ, но никого и ничего не задѣвъ, за руку между столиками.

— Теперь куда? Хотите — просто къ Вамъ? Но у Васъ дочка, обязанности... А нельзя же, чтобы маленькая двѣточка сей часъ знала, какъ поступить черезъ двѣдцать лѣтъ, когда человѣкъ отдастъ ей всю свою жизнь, а она на нее наступить... хуже! Перешагнуть — какъ черезъ лужу.

...Какъ чистъ Берлинъ! Я иногда устаю отъ его чистоты... Хотите просто ходить? Но ходить это вѣдь (дукаво) заходить: и опять пить, а я отъ этого бѣгу...

— Можно просто на скамейку.

— А Вы знаете такую скамейку? Безъ глазъ? Потому-что, если даже шутцманъ — какъ это у нихъ издѣвательски: мужъ защитить! — если даже такой мужъ защиты, такъ мало похожій на человѣка, такъ сильно похожій на столбъ — вдругъ вперить, нѣтъ, вопрѣтъ, свое око, не обернувъ головы: только око, оловянное око — какъ, знаете, были въ дѣтствѣ такія приманки въ кофейныхъ витринахъ, на Неглинномъ: неподвижная рожа, съ вращающимися глазами. Точно прозрѣвшій голландскій сыръ... Я въ дѣтствѣ такъ боялся. Мамочка думала развлечь, а я изъ деликатности дѣлалъ видъ — устарѣлое слово «деликатность» — изъ деликатности, гово-

рю, дѣлалъ видъ, что страшно весело, а самъ дрожаль, дрожаль... Рожа не двигается, а глаза вотъ такъ, вотъ такъ, ни разу — эдакъ. Какъ я тогда молча молилъ: — Сломайся!

Значить, Вы знаете такую скамейку? Какъ на Никитскомъ бульварѣ, подойдетъ собака, погладишь, опять уйдетъ... Желтая, съ желтыми глазами... Здѣсь нѣтъ такой собаки, я уже смотрѣлъ, здѣсь всѣ — чьи-нибудь, все — чье-нибудь, здѣсь только люди — ничьи, а можетъ-быть я одинъ — ничей? Потому-что самое главное — быть чьимъ, о, чьимъ бы ни было! Мнѣ совершенно все равно — Вамъ тоже? — чей я, лишь бы тотъ зналъ, что я — его, лишь бы меня не «забылъ», какъ я въ кафэ забываю палку. Я тогда бы и кафэ любилъ. Вотъ Иксъ, Игрекъ, всѣ, что съ нами сидятъ, вѣдь у нихъ, кромѣ насъ, есть еще что-то — неважно, что у нихъ есть и неважно, что у нихъ есть, но каждый изъ нихъ чей-то, принадлежность. Они могутъ идти въ кафэ, потому-что могутъ изъ него уйти не въ кафэ... Въ кафэ — всѣ Вамъ это уже рассказали, а теперь я скажу — три дня назадъ кончилась моя жизнь.

— Но Вы гдѣ-то всё-таки...

— По—ка—жу. Сами увидите, что это за «гдѣ-то» и какое это «все-таки». Именно — все-таки. Вы гениально сказали: все-таки. О, я бы Васъ сейчасъ съ собой повезъ, нно... это ужасно далѣко: сначала на трамваѣ, потомъ по желѣзной дорогѣ, и гораздо дольше и дальше это уже за краемъ всѣхъ... возможностей. Это — безъ адреса... Удивительно, что туда доходятъ письма, Ваши письма, потому-что другія — вполне естественно, нельзя болѣе естественно. По существу, туда бы должны доходить только одни счета — за шляпу въ англійскомъ магазинѣ «Жакъ» двадцать лѣтъ назадъ или за мою будущую могилу на Ваганьковѣ...

А знаете? Мы туда возьмемъ дочь, Вы пріѣдете съ ней, мы будемъ втроемъ, ребенокъ — это всегда имманентность мгновенно, это разгоняетъ всякія видѣнія...

— А теперь я поѣду, нѣтъ, нѣтъ, не провожайте, я Васъ уже измучилъ, я Вамъ безконечно-благодаренъ... Видите? На шпъ трамвай!

Привычнымъ движеніемъ — сына, отродясь подсаживавшаго мать въ карету — подсаживаетъ. Вскакиваетъ слѣдомъ. Стоимъ на летящей площадкѣ, плечо къ плечу.

чу. Беря мою руку: — Я больше всего на свѣтѣ хотѣлъ бы сейчасъ положить Вамъ голову на плечо... И спать стая. Лошади стая вѣдь спятъ.

Передъ зданіемъ вокзала, отпустивъ наконецъ руку (держалъ ее все время у сердца, вжималъ въ него):

— Нѣтъ. Сегодня — нѣтъ. Я вѣдь знаю, сколько я беру силъ. Берегите на когда совѣмъ задохнусь. Сейчасъ я — счастливъ, совѣмъ успокоенъ. Приѣду домой и буду писать Вамъ письмо.

— Какъ Бѣлый сегодня къ Вамъ кинулся! Вѣдь — на глазахъ загорѣлся! Это былъ настоящий *coup de foudre*! сказалъ мнѣ за ужиномъ издатель.

— Человѣкъ, громомъ пораженный, можетъ упасть и на человѣка, былъ мой отвѣтъ.

*Coup de foudre*? Нѣтъ. Не такъ они происходятъ. Это было обшеніе съ моимъ покоемъ, основнымъ здоровьемъ, всей моей неизбывной жизненностью. Больше — ничего. Но такая малость въ такія минуты — много. Все.

А минута была тяжелая. Полный передомъ хребта.

Держа въ рукахъ подробнѣйшій трогательнѣйшій рукописный и рисованный маршрутъ — въ мужчиныхъ того поколѣнія всегда было что-то отеческое, старинный страхъ, что заблудимся, испугаемся, гдѣ-нибудь на поворотѣ будемъ сидѣть и плакать, — маршрутъ, мало въ стрѣлкахъ и въ крестикахъ, но съ трамваями въ видѣ трамваевъ, съ нарисованнымъ вокзаломъ и ужъ конечно собственнымъ, какъ дѣти рисуютъ, домикомъ: вотъ домъ, вотъ труба, вотъ дымъ идетъ изъ трубы, а вотъ я стою —

— Я бы съ величайшимъ счастьемъ самъ за Вами захалъ и довезъ бы, но — Вы не сердитесь, я знаю, что это безсовѣстнѣйшій готтентотскій эгоизмъ — мнѣ такъ хочется завидѣть Васъ издали, синей точкой на бѣломъ шоссе — какъ хорошо, что Вы носите синее, какая въ этомъ благодать! — сначала точкой синей, потомъ тѣнью синей, такой же синей, какъ Ваша собственная, Вашей же тѣнью, длинной утренней тѣнью, вставшей съ земли и на меня идущей... Знаете, синяя тѣнь, напоенная небесной лазурью...

— Золото въ лазури! — по ассоціаціи говорю я. Онъ, хватая мою руку: — Вы не знаете, что Вы сейчасъ сказа-



ли! Вы — назвали. Я объ этомъ все время думаю — и боюсь. Боюсь — начать. Боюсь — все выйдеть по другому... Для нихъ — «переиздать»... Для нихъ — «стихи». Но теперь, когда Вы это слово сказали, я начну... Я со всѣмъ теперемъ примусь, это будетъ Ваша лазурь.

...Выйдя съ вокзала — прямо, потомъ (переводя меня черезъ нарисованный шляхъ) перейти шоссе (умоляюще:) только разъ перейти! Не сердитесь, не сердитесь, родная! Но мнѣ такъ безумно хочется Васъ ждть, Васъ на вѣрное ждть. Завидѣть Васъ издали, въ синемъ платьѣ, ведущей дочь за-руку...

Не отрываясь отъ маршрута, тщательностью котораго больше смущена, чѣмъ просвѣщена: столько нарисоваль и написалъ, такъ крестиками и стрѣлками путь къ себѣ заставилъ, что, кажется, добраться невозможно; утрашенная силой его ожиданія — когда такъ ждуть, всегда что-нибудь случается, ясно сознавая, что дѣло не во мнѣ, а въ моей синевѣ — сначала ѣду, потомъ еще ѣду, а затѣмъ, наконецъ, иду, держа дочь за руку, по тому бѣлому шоссе, на которомъ должна возникнуть синей тѣнью.

Пустынно. Неуютъ новорожденного поселка. Новостроеннаго, а не рожденного. Весь неуютъ муниципальной преданрвенности. Была равнина, рѣшили — стройтесъ. И построились какъ солдаты. Дома одинаковые, заселенно-нежилые. Постройки, а не дома. Сюда можно прѣзжать и отсюда можно — нужно! — уѣзжать, жить здѣсь нельзя. И странное населеніе. Странное, во-первыхъ, чернотою: въ такую жару — всѣ въ черномъ. (Впрочемъ, эту же черноту отмѣтила уже въ вагонѣ, и слѣзла она вся на моей станціи.) Въ черномъ суконномъ душномъ непродышанномъ. То и дѣло обгоняютъ повозки съ очень краснолицыми господами въ цилиндрахъ и такими же краснолицыми дамами, очень толстыми, съ букетами — и, кажется, вѣнками? — на толстыхъ животахъ. Цвѣты — лиловые.

Наконецъ — домъ, все тотъ же первый увидѣнный и сопровождавшій насъ слѣва и справа вдоль всего шоссе. Баракъ, а не домъ. Между насѣстомъ и будкой. Съ крыльцомъ. А на крыльцѣ, съ крыльца:

— Вы? Вы? Родная! Родная!

Ведеть вверхъ по новѣйшей и отзывчивѣйшей лѣсенкѣ, явно для пожара — ужъ и спички готовы: перила! —

вводитъ въ совершенно голую комнату съ бѣлымъ некрашеннымъ столомъ посрединѣ, усаживаетъ.

— Какъ Вамъ здѣсь нравится? Мнѣ... не нравится. Не знаю почему, но не нравится... Не понравилось сразу, какъ вошелъ... Уже когда ѣхалъ — не понравилось... Говорили, у Берлина чудныя окрестности... Я ждалъ... вроде Звенигорода... А здѣсь... какъ-то... голо? Вы замѣтили деревья? (Не замѣтила никакихъ, ибо нельзя же счесть деревьями тончайшіе прутья, обнесенные толстенными рѣшетками.) Безъ тѣни! Это человѣкъ былъ безъ тѣни — въ какомъ-то нѣмецкомъ преданіи, но это былъ — человѣкъ, деревья — обязаны отбрасывать тѣнь! И птицы не поютъ — понятно: въ такихъ деревьяхъ! У меня въ Москвѣ по утрамъ — всегда пѣли, даже въ двадцатомъ году — пѣли, даже въ больницѣ — пѣли, даже въ тифу — пѣли...

И населеніе противное. Подозрительно-тихое. Ступаютъ, точно на войлочныхъ подошвахъ, Вы не замѣтили? И — можетъ-быть это подъ Берлиномъ мода такая? — всё въ черномъ, ни одного даже коричневаго и сѣраго пятна, всё черное, даже женщины — въ черномъ.

(Я, мысленно: — А, милый, вотъ откуда твоя страсть къ моей синевѣ!)

— А мебель — бѣлая, и пахнетъ свѣжимъ тесомъ. Въ этомъ что-то (отрясаясь)... зловѣщее? Можетъ-быть это какой-нибудь особенный поселокъ?

Я, быстро отвоя: — Нѣтъ, нѣтъ, послѣ войны — вездѣ такъ.

Онъ, явно-облегченно: — Ахъ! значить — вдовы и вдовцы? Отдѣльный поселокъ для вдовъ и вдовцовъ... Какъ это по нѣмецки... по прусски.. И какъ по нѣмецки, что они не догадаются пережениться и одѣться во что-нибудь другое... Теперь я понимаю и вѣнки, это обиліе вѣнковъ и букетовъ — совершенно необъяснимое при отсутствіи цвѣтовъ, — потому-что цвѣтовъ, Вы замѣтили, нѣтъ, потому-что — садовъ нѣтъ, только сухіе дворы. Здѣсь навѣрное гдѣ-нибудь близко кладбище? Гигантское кладбище! Они просто построились на кладбищѣ, теперь я понимаю однородность построекъ... Но вотъ что изумительно: видъ у нихъ, при всемъ ихъ вдовствѣ, цвѣтуцій, я нигдѣ не видалъ такихъ красныхъ лицъ... Впрочемъ, понятно: постоянныя поминки... Какъ съ кладбища, тамъ поминать — сосисками и пивомъ, помянули —

опять на кладбище! Но такъ вѣдь поправиться можно! Ожирѣніе сердца нажить — съ тоски!

Теперь я и цилиндры понимаю. Когда онъ идетъ на могилу къ женѣ, онъ надѣваетъ цилиндръ, который передъ могилой снимаетъ, — въ этомъ жестѣ весь обрядъ. Но, знаете, странно, о ни на могилу вѣдятъ цѣлыми фургами, фургонами... Вы таковыхъ не встрѣчали? Полные фургоны черныхъ людей... Нѣмецкій корпораціонный духъ: и слезы вмѣстѣ, и расходы вмѣстѣ... Вдовье мѣсто, удовцово мѣсто, противное мѣсто...

И слово не нравится: Zossen. Острое и какое-то плотское, точно клетка.

Простите, что я Васъ сюда позвалъ!

Но мы вѣдь ничѣмъ не связаны? (наклоняясь къ моему уху:) Мы вѣдь можемъ уѣхать? Сначала — посидѣть, а потомъ — уѣхать? Провести чудный день?

Я только-что самъ прѣхалъ. Вы знаете, вѣдь я вчера туда — сюда! — не поѣхалъ, я тотчасъ же свернулъ Вамъ вслѣдъ, слѣдующимъ же трамваемъ — въ Prager-diele, но... устыдился... Весь вечеръ ходилъ по кафѣ и въ одномъ встрѣтилъ (называетъ язвящее его имя). Что Вы объ этомъ думаете? Можетъ она его любить?

Я, твердо: — Нѣтъ.

— Не правда-ли: нѣтъ? Такъ что же все это значить? Инсценировка? Чтобы сдѣлать больно — мнѣ? Но вѣдь она же меня не любитъ, зачѣмъ же ей тогда мнѣ дѣлать больно? Но вѣдь это же прежде всего — дѣлать больно себѣ. Вы его знаете?

Разсказываю.

— Значитъ, неллохой человѣкъ... Я пробовалъ читать его стихи, но... ничего не чувствую: слова. Можетъ-быть я — устарѣлъ? Я очень усердно читалъ, всячески пытался что-нибудь вычитать, почувствовать, обрѣсть. Такъ мнѣ было бы легче.

...Можно любить и совершенно даже естественно по-любить послѣ писателя человѣка совсѣмъ простого, дикаря... Но этотъ дикарь не долженъ писать теоретическихъ стиховъ!

(Взрывомъ) О, Вы не знаете, какъ она зла! Вы думаете — онъ ей нуженъ, дикарь ей нуженъ, ей, которой (отлетъ головы) ...тысячелѣтія... Ей нужно (шепотомъ) ранить меня въ самое сердце, ей нужно было убить прошлое, убить себя — ту, сдѣлать, чтобы то я — нико-

гда не было. Это — месть. Месть, которую оцѣнили я одинъ. Потому-что для другихъ это просто увлеченіе. Такъ... естественно. Послѣ сорокалѣтняго лысъющаго нелѣпаго — двадцатилѣтній черноволосый, съ кинжаломъ и такъ далѣе... Ну, влюбилась и забылась: разбила всю жизненную форму. О, если бы это было такъ! Но Вы ея не знаете: она холодна, какъ ножъ. Все это — голый расчетъ. Она къ нему ничего не чувствуетъ. Я даже убѣжденъ, что она его ненавидитъ... О, Вы не знаете, какъ она умѣетъ молчать, вотъ такъ: състь — и молчать, стать — и молчать, глядѣть — и молчать.

— Месть? Но за что?

— За Сицилію. За «Офейру». «Я Вамъ больше не жена». Но — прочтите мою книгу! Гдѣ же я говорю, что она мнѣ — жена? Она мнѣ — она... Мерцающее видѣніе... Козочка на уступѣ... Нѣлли. Что же я такого о ней сказалъ? Да и книга уже была отпечатана... Гдѣ она увидѣла «интимность», «собственничество», печать (недоумѣнно) мужа?

Гордость демона, а поступокъ маленькой дѣвочки. Я тебѣ настолько не жена, что, вотъ... жена другого. Точно я безъ этого не ощутилъ. Точно я всегда этого не зналъ. И вотъ, изъ сложнѣйшихъ душевныхъ источниковъ, грубѣйшій фактъ, которымъ оскорблены все, кромѣ меня.

...Мнѣ ее такъ жаль.

Вы ее видѣли? Она прекрасна. Она за эти годы разлуки такъ выросла, такъ возмужала. Была Пенхей, стала Валькирія. Въ ней — сила! Сила, данная ей ея одиночествомъ. О, если бы она по человѣчески, не проѣздомъ съ группой, съ трупой, полчаса въ кафѣ, а дружески, по человѣчески, по глубокому, по высокому — я бы, обливаясь кровью, первый привѣтствовалъ и порадовался...

Вы не знаете, какъ я ее любилъ, какъ ждалъ! Всѣ эти годы — ужаса, смерти, тьмы — какъ ждалъ. Какъ она на меня сіяла...

И его мнѣ жаль. Если онъ человѣкъ съ сердцемъ, онъ за это жестоко заплатитъ. Она зальетъ его презрѣніемъ... «Мавръ сдѣлалъ свое дѣло, Мавръ можетъ уйти». А онъ, должно-быть, ее безумно любить!

(— Какъ у тебя все по высокому, говорю я внутри рта, вотъ онъ ужъ у тебя и Мавръ... И какъ съ мужской, по крайней мѣрѣ, стороны все несравненно проще, — той

простотой, которой тебѣ не дано понять. А «безумная любовь» — сидитъ въ Pragerdiele, зугрюмый, какъ сычъ и, заглывая зѣвоту: «Ну и скучища же съ ней! Молчитъ, не разговариваетъ, никогда не улыбнется. Точно сова какая-то...» Но этого ты не узнаешь никогда.)

— Простите, я Васъ измучилъ! Такое солнце, а я Васъ измучилъ! Только прѣхали, а я Васъ уже измучилъ. Не надо больше о ней. Вѣдь — кончено. Будемъ о другомъ. Вѣдь я — стихи пишу. Вѣдь я послѣ Вашей Разлуки опять стихи пишу. Я думаю — я не поэтъ. Я могу — годами не писать стиховъ. Значить, не поэтъ. А тутъ, послѣ Вашей Разлуки — хлынуло. Остановить не могу. Я пишу Васъ — дальше. Это будетъ цѣлая книга: «Послѣ Разлуки», — послѣ разлуки — съ нею, и Разлуки — Вашей. Я мысленно посвящаю ее Вамъ и если не проставляю посвященія, то только потому, что она Ваша, изъ Васъ, я не могу дарить Вамъ Вашего, это было бы — нескромно.

Можно Вамъ прочесть? Когда устанете, остановите, я самъ не останюсь, я никогда не останюсь...

И вотъ, надъ уныніемъ цоссенскаго ландшафта:

Ты вставая, сказала, что — нѣтъ!  
И какіе-то призраки мы.  
Не осиливаетъ — свѣтъ,  
Не осиливаетъ — тьмы.

Ты ушла. Между нами года —  
Проливаемая — куда  
Проливаемая — вода?  
Не увижу тебя никогда.

Пробѣгаетъ листки, какъ клавиши.

Да, ты выпрениной ложью обводишь  
Злой кругъ вкругъ себя.  
И ты съ искренней дрожью уходишь  
Навѣки, злой другъ, отъ меня  
Безъ отвѣта.  
И я никогда не увижу тебя.  
И — се б я — ненавижу за это!

— И еще это! — Въ его рукѣ листки какъ стайка бѣлыхъ, готовыхъ сорваться, крыльевъ.

— Ты — тѣнь тѣней, тебя не назову.  
 Твое лицо холодное и злое...  
 Плыву туда, за дымку дней, зову  
 За дымкой дней, — нѣтъ, не Тебя: бывое,  
 Которое я рву (въ который разъ!)  
 Которое, въ который разъ? восходить,  
 Которое, въ который разъ, алмазь,  
 Алмазь звѣзды, звѣзды любви, н и з в о д и т ъ...

И точно удивившись внезапно проступившей тиши-  
 нѣ: — А какая тихая дочь. Ничего не говорить. (Зажму-  
 рившись!) Приятно! Вы знаете, я вѣдь боюсь дѣтей. (Гля-  
 дя изъ всѣхъ глазъ и этимъ ихъ безмѣрно расширяя:) Я  
 бе—зум—но ихъ боюсь. О, съ дѣтства! Съ Пречистенска-  
 го бульвара. Съ каждой елки, съ каждаго дня рожденія.  
 (Шепотомъ, какъ жалуются на могущественнаго врага:)  
 Они у меня все ломали, ихъ приходъ былъ иашествіе...  
 (Вскипая:) Ангелы? Я и сейчасъ еще слышу трескъ стра-  
 ницы: листаецъ такой ангельскую любимую книгу и пере-  
 рветъ вкось — точно рваная рана... И не скажите — не-  
 чаянно, рѣдко — нечаянно, всегда — нарочно, все нароч-  
 но, на-зло, искоса, изподлбья — скажу или нѣтъ. О, они  
 какъ звѣри не выносятъ чужого и чуютъ слабого. Все  
 дѣло только — не показать страха, не дрогнуть... Боль-  
 ной волкъ, вѣдь, когда заболѣетъ, наступаетъ на боль-  
 ную лапу... Знаетъ, что разорветъ. О, какъ я ихъ боюсь!  
 А Вы — не бонтесь? — Своихъ — нѣтъ. — А у меня сво-  
 ихъ — нѣтъ. И навѣрное уже не будетъ. Можетъ-быть  
 — жаль? Можетъ-быть лучше было бы, если бы — были?  
 Я ииогда жалѣю. Можетъ-быть я какъ-то... прочнѣе былъ  
 бы на землѣ..?

Аля, давно уже хмуро и многозначительно на меня по-  
 глядывавшая: — Ма—ама!

Я, съ самонасильственной простотой: — Борисъ Ни-  
 колаевичъ, гдѣ у васъ здѣсь, а то дѣвочкѣ нужно.

— Конечно, дѣвочкѣ нужно. Дѣвочкѣ нужно, нужно,  
 нужно.

Убѣдившись, что другого отвѣта не будетъ, настой-  
 чивѣе: — Ей въ одно мѣстечко нужно.

— А—ахъ! Этого у насъ нѣтъ. Мѣстечка у насъ нѣтъ,  
 но мѣсто есть, сколько угодно — все мѣсто, которое Вы  
 видите изъ окна. На лонѣ природы, вездѣ, вездѣ, вездѣ!

Это называется — Западъ (шипя, какъ змѣй): цивилизація.

— Но кто же Васъ здѣсь.. поселилъ? (Сказавъ это, понимаю, что онъ здѣсь именно на поселеніи.)

— Друзья. Не знаю. Уложили. Привезли. Очевидно — такъ нужно. Очевидно, это кому-то нужно. — И, уже какъ узаконенный припѣвъ: — Дѣвочкѣ нужно, нужно, нужно.

— Аля! Какъ тебѣ не стыдно! Прямо передъ окномъ!

— Во-первыхъ, Вы слишкомъ долго съ нимъ разговаривали, во-вторыхъ, онъ все равно ничего не видитъ. — Какъ не видитъ? Ты думаешь, онъ слѣпой? — Не слѣпой, а сумасшедшій. Очень тихій, очень вѣжливый, но настоящій сумасшедшій. Развѣ Вы не видите, что онъ все время глядитъ на невидимаго врага?

Чтобы кончить о «дѣвочкѣ, которой нужно» и Бѣломъ. Нѣсколько дней спустя приѣхалъ изъ Праги ея отецъ и ужаснулся ея страсти къ пиву. — Бездонная бочка какая-то! Въ восемь лѣтъ! Нѣтъ, этому нужно положить конецъ. Сегодня я ей дамъ столько пива, сколько она захочетъ — чтобы навсегда отучить.

И вотъ, послѣ которой-то кружки, Аля, внезапно:

— А теперь я иду спать, а то я уже чувствую, что скоро начну говорить такія глупости, какъ Андрей Бѣлый.

— Конечно, Пушкинъ, писалъ своего Годунова въ банѣ, говорить Бѣлый, обозрѣвая со мной изъ окна свои цоссенскіе просторы. — Но развѣ это сравнимо съ баней? О, я бы дорого далъ за баню! (Шепотомъ, стыдливо улыбаясь:) Я же вѣдь здѣсь совершенно пересталъ мыться. Воды нѣтъ, таза нѣтъ — развѣ это таза? Вѣдь сюда — только носъ! Такъ и не моюсь, пока не попаду въ Берлинъ, оттого я такъ часто и ѣзжу въ Берлинъ и, въ концѣ концовъ, ничего не пишу. (Уже угрожающе:) Чтобы вымыть лицо мнѣ нужно ѣхать въ Берлинъ!

А теперь... (дверь безъ стука, но съ трескомъ открывается, впуская сначала поднось, потомъ женскій клѣтчатый животъ) — чѣмъ богаты, тѣмъ и рады! Не осудите: я обреченъ на полное отсутствіе кулинарной фантазіи моей хозяйки.

Супъ безмолвно и отрывисто розлить по тарелкамъ. Послѣ хозяйкинаго ухода, Бѣлый, упавшимъ голосомъ:

— Haferbrühe... Овсянка... Я такъ и зналъ...

Сидимъ, bravo хлебаемъ не то супъ, не то кашу, для гуши — жидкое, для жидкости — густое...

— Haferbrühe, Haferbrühe, Haferbrühe... бормочетъ Бѣлый. Brühe... brüten... точно она этотъ овесъ высиживаетъ... въ жару собственнаго тѣла его размариваетъ, собою его морить... Milchsuppe — Haferbrühe, Haferbrühe — Milchsuppe...

И дохлебавъ послѣднюю ложку, просіявъ какъ больной, у котораго вырвали зубъ:

— А теперь ѣдьте обѣдать!

Берлинъ. Ресторанъ «Медвѣдь»: «zum Bären».

— Никакихъ суповъ, да? Супы мы уже ѣли! Мы будемъ ѣсть мясо, мясо, мясо! Два мясныхъ блюда! Три? (Съ любопытствомъ и даже любознательностью:) — А дочь сможетъ съѣсть три мясныхъ блюда? — Пива. — Флегматическій отвѣтъ. — Какъ она у васъ хорошо говорить — лаконически. Конечно, пива. А мы — вина. А дочь не пьетъ вина?

Первое изъ трехъ мясныхъ блюдъ. (Потомъ Аля, мнѣ: — Мама, онъ ѣлъ совершенно какъ волкъ. Съ улыбкой и кося... Онъ точно нападалъ на мясо...)

По окончаніи второго и въ нетерпѣніи третьяго. Бѣлый, мнѣ: — Не примите меня за волка! Я три дня на овсѣ. Одинъ — я не смѣю: некрасиво какъ-то и предательство по отношенію къ хозяйкѣ. Она ѣдь то-же ѣсть и въ Берлинъ не ѣздить... Но сегодня я себя разрѣшилъ, потому-что Вы-то съ моей хозяйкой никакими узами совместной бѣды не связаны. За что же Вы будете терпѣть? Да еще съ дочерью. А я ужъ къ Вамъ — присосѣдился.

И, по явной ассоціаціи съ волкомъ:

— А теперь — ѣдемъ въ Zoo.

Въ Zoo, передъ клѣткой огромнаго льва, львамъ — льва, Аля: — Мама, смотрите! Совершенный Левъ Толстой! Такія же брови, такой же широкий носъ и такіе же сѣрые маленькіе злые глаза — точно всѣ врутъ.

— Не скажите! — учтиво и агрессивно сорокалѣтній — восьмилѣтней — Левъ Толстой, это единственный че-



ловѣкъ, который самъ себя посадилъ подъ стеклянный колпакъ и продѣлалъ надъ собой вивисекцію.

Поглощенная спутникомъ, кромѣ льва изъ всего Зоо на этотъ разъ помню только бегемота, и то изъ-за слѣдующаго бѣловскаго примѣчанія: — Въ прошлый разъ я попалъ сюда на свадьбу бегемотовъ. За это иные любители деньги платятъ! Я не разслышалъ, что говорить смотритель и пошелъ за нимъ, потому-что онъ шелъ. Это былъ такой ужасъ! Я чуть въ обморокъ не упалъ...

Помню еще, что съ тигромъ онъ поздоровался по-тигрячи: какъ-то «iau», между лаемъ и мяуканьемъ, сопровождаемымъ изворотомъ всего тѣла, съ котораго какъ водопадъ хлынулъ плащъ. (Ходилъ онъ въ пелеринѣ, которая въ просторѣчѣ зовется размахайкой, а на немъ выглядѣла крылаткой. Оттого, можетъ-быть, я такъ остро помню его руки, совсѣмъ свободныя и бѣдныя, точно голыя безъ верхнихъ рукавовъ, вѣроломнымъ покроемъ якобы освобожденныя, на самомъ же дѣлѣ — связанныя. Оттого онъ такъ и метался, что пелерина за нимъ повторяя, усугубляла каждый его жестъ, какъ разбухшая и разбушевавшаяся тѣнь. Пелерина была его живымъ фономъ, античнымъ хоромъ. Изъ Kaufhaus des Westens или еще старинная московская — не знаю. Сѣрая.)

Простоявши по клѣткѣ точно весь садъ:

— Я очень люблю звѣрей. Но Вы не находите, что ихъ здѣсь ...слишкомъ много? Почему я на нихъ долженъ смотреть, а они на меня — нѣтъ? Отворачиваются!

Сидимъ на какомъ-то бревнѣ, невозможномъ бы въ Германской Имперіи, — совсѣмъ прѣсенскомъ! — другъ съ другомъ и безъ звѣрей, и вдругъ, какъ въ прорвавшуюся плотину — повѣсть о молодомъ Блокѣ, его молодой женѣ и молодомъ немъ-самомъ. Лихорадочная повѣсть, сложнѣйшая безфабульная повѣсть сердца, возстановить которую совершенно не могу и оставшаяся въ моихъ ушахъ и жилахъ какимъ-то малярійнымъ хиннымъ звономъ, съ обрывочными видѣніями какой-то ржи — какихъ-то косъ — чьего-то шелковаго пояса — ранній Блокъ у него вставалъ добрымъ молодцемъ изъ Некрасовской Коробушки, иконописнымъ ямщикомъ съ лукутинской табакерки, — чѣмъ-то сплошь-цвѣтнымъ, совсѣмъ безъ бѣлаго, и — сцена мѣняется — Петербургъ, метель, синій плащъ..., вступленіе въ игру юнаго генія, демона, союзъ трехъ, смущенный союзъ двухъ, неосуше-

стившійся союзъ новыхъ двухъ — отъѣзды — прїѣзды — точное чувство, что отъѣздовъ въ этой встрѣчѣ было больше, чѣмъ прїѣздовъ, можетъ-быть оттого, что прїѣзды были короткіе, а отъѣзды — такіе длинные, начинавшіеся съ самой секунды прїѣзда и все оттягиваемые, откладываемые до мгновенія внезапнаго бѣгства... Узелъ стягивается, всѣ въ петлѣ, не развязать, не разрубить. И послѣднее, отчетливо мною помнимое слово: — Я очень плохо съ ней встрѣтился въ послѣдній разъ. Въ ней ничего отъ прежней не осталось. Ничего. Пустота.

Тутъ же я впервые узнала о сынѣ Любви Дмитріевны, ея собственномъ, не блоковскомъ, не бѣловскомъ — Митькѣ, о которомъ такъ пѣкъся Блокъ: «Какъ мы Митьку будемъ воспитывать?» и котораго такъ сердечно оплакалъ въ стихахъ, кончающихся обращеніемъ къ Богу:

Нѣтъ, надъ младенцемъ надъ блаженнымъ  
Стоять я буду безъ Тебя!

Строки, которыхъ я никогда не читаю безъ однозвучащихъ во мнѣ строкъ пушкинской эпитафїи первенцу Марїи Раевской:

Съ улыбкой очь глядитъ въ изгнаніе земное,  
Благословляетъ мать и молить за отца.

Помню еще одно: что слово «любовь» въ этой сложнѣйшей любовной повѣсти не было названо ни разу, — только подразумевалось, каждый разъ благополучно миновалось, въ послѣднюю секунду замѣнялось — ближайшимъ и отдаляющимъ, такъ-что я нѣсколько разъ въ теченіе рассказа ловила себя на мысли: «что-жъ это было?» — именно на мысли, ибо чувствомъ знала: то. Убѣждена, что такъ же обходилось, миновалось, замѣнялось, не называлось оно героями и въ жизни. Такова была эпоха. Такovy тогда были души. Лучшія изъ душъ. Символизмъ меньше всего литературное теченіе.

И — еще одно. Если нынѣшніе не говорятъ «люблю», то отъ страха, во-первыхъ — себя связать, во-вторыхъ — передать: снизить себя цѣну. Изъ чистѣйшаго себя-любья. Тѣ — мы — не говорили «люблю» изъ мистическаго страха, назвавъ, убить любовь, и еще отъ глубокой увѣренности, что есть нѣчто высшее любви, отъ страха это высшее — снизить, сказавъ «люблю» — недодать.

Оттого насъ такъ мало и любили.

Тогда же, въ Zoo, я узнала, что Синій плащъ, всей Россіей до тоски любимой...

Я звалъ тебя, но ты не оглянулась,  
Я слезы дилъ, но ты не снизошла.  
Ты въ синій плащъ печально завернулась,  
Въ сырую ночь ты изъ дому ушла...

— синій плащъ Любви Димитріевны. — «О, онъ всю жизнь о ней заботился, какъ о больной, ея комната всегда была готова, она всегда могла вернуться... отдохнуть... но то было разбито, жизни шли врозь и никогда больше не сошлись».

Zoo закончилось очереднымъ Алинымъ пивомъ въ длинномъ сквозномъ бревенчатомъ строеніи, тоже похожемъ на клѣтку. Никогда не забуду Бѣлаго, загорѣвшаго за этотъ день до какого-то чайнаго, самоварнаго цвѣта, отъ котораго еще синѣй синѣли его явно-азиатскіе глаза, на фонѣ сквозь брусья клѣтки зеленюю и солнцемъ брызжущей лужайки. Откидывая серебро волосъ надъ мѣдью лба:

— Хорошо вѣдь? Какъ я все это люблю. Трава, вдалекѣ большіе звѣри, Вы, такая простая... И дочь тихая, разумная, ничего не говоритъ... (И, уже какъ припѣвъ!) — Пріятно!

Оттого ли, что было лѣто, оттого ли, что онъ всегда былъ взволнованъ, оттого ли, что въ немъ уже сидѣла его смертная болѣзнь — сосудовъ, я никогда не видѣла его блѣднымъ, всегда—розовымъ, желто-ярко-розовымъ, мѣднымъ. Отъ розовости этой усугублялась, и синева глазъ и серебро волосъ. Отъ серебра же волосъ и сѣрый костюмъ казался серебрянымъ, мерцающимъ. Серебро, мѣдъ, лазурь — вотъ въ какихъ цвѣтахъ у меня остался Бѣлый, лѣтній Бѣлый, берлинскій Бѣлый, Бѣлый бѣдоваго своего тысяча девятьсотъ двадцать второго лѣта.

Въ первый разъ войдя въ мою комнату въ Prager-pension'ѣ Бѣлый на столѣ увидѣлъ — вѣрнѣе: стола не увидѣлъ, ибо весь онъ былъ покрытъ фотографіями Царской Семьи: Наслѣдника всѣхъ возрастовъ, четырехъ Великихъ Князей, различно сгруппированныхъ, какъ цвѣты въ дворцовыхъ вазахъ, матери, отца...

И онъ, наклоняясь: — Вы это... любите?

Беря въ руки Великихъ Княженъ: — Какія милыя!.. Милыя, милыя, милыя!

И, съ какимъ-то отчаяніемъ: — Люблю тотъ міръ!

Стоимъ съ нимъ на какой-то вышкѣ, гдѣ — не помню, только очень-очень высоко. И онъ, съ разлету беря меня за руку, точно открывая со мной мазурку:

— Васъ тянетъ броситься? Вотъ такъ (младенческая улыбка) ...кувырнуться!

Честно отвѣчаю, что не только не тянетъ, а отъ одной мысли мутить.

— Ахъ? Какъ странно! А я, я оторвать своихъ ногъ не могу отъ пустоты! Вотъ такъ (сгибается подъ прямымъ угломъ, распластавши руки)... Или еще лучше (обратный загибъ, отливъ волосъ) — вотъ такъ...

Черезъ нѣсколько дней послѣ Zoo и Zossen'a пріѣхалъ изъ Праги мой мужъ — послѣ многихъ лѣтъ боевъ пражскій студентъ-филологъ.

Помню особую усиленную внимательность къ нему Бѣлаго, вниманіе къ каждому слову, вниманіе каждому слову, ту особую жадность поэта къ міру дѣйствія, жадность, даже съ искоркой зависти... (Не забудемъ, что всѣ поэты міра любили военныхъ.)

— Какой хорошій Вашъ мужъ, — говорилъ онъ мнѣ потомъ — какой выдержанный, спокойный, безукоризненный. Такимъ и долженъ быть воинъ. Какъ я хотѣлъ бы быть офицеромъ! (Быстро сбавляя:) Даже солдатомъ! Противникъ, свои, черное, бѣлое — какой покой. Вѣдь я этого искалъ у Доктора, этого не нашель.

Выдержанность воина скоро была взята на испытаніе, и вотъ какъ: Бѣлый потерялъ рукопись. Рукопись своего Золота въ Лазури, о которой его издатель мнѣ съ ужасомъ: — Милая М. И., повліяйте на Б. Н. Убѣдите его, что раньше — тоже было хорошо. Вѣдь противъ первоначальнаго текста — камня на камень не оставилъ. Былъ разговоръ о переизданіи, а это — новая книга, неизнаваемая! Да я противъ новой ничего не имѣю, но зачѣмъ тогда было набирать старую? Вѣдь каждая его корректура — цѣлая новая книга! Книга неудержимо и неостановимо новѣетъ, у наборщиковъ руки опускаются...

И вотъ, эту новизну, этотъ весь ворохъ новизнъ —

огромную, уже не вмѣщающую папку — Бѣлый вдругъ потерялъ.

— Потерялъ рукопись! — съ этимъ крикомъ онъ вошелъ ко мнѣ въ комнату. — Рукопись потерялъ! Золото потерялъ! Въ Лазури — потерялъ! Потерялъ, обронилъ, оставилъ, провалилъ! Въ какомъ-то изъ проклятыхъ кафэ, на которыя я обреченъ, будь они трекляты! Я шелъ къ Вамъ, но потомъ рѣшилъ — я хоть погибшій человекъ, но я приличный человекъ — что сейчасъ Вамъ не до меня, не хотѣлъ смрачать радости Вашей встрѣчи — вы же дѣти по сравнению со мной! вы еще въ Парадизѣ! а я горю въ аду! — не хотѣлъ вносить этого сѣрнаго Ада съ дирижирующимъ въ немъ Докторомъ — въ Вашъ Парадизъ, рѣшилъ: сверну, одинъ свергнусь, словомъ — зашелъ въ кафэ: то, или другое, или третье, (съ язвительной усмѣшкой:) сначала въ то, потомъ въ другое, потомъ въ третье... И послѣ — котораго? — ударъ по ногамъ: нѣтъ рукописи! Слишкомъ ужъ стало легко идти, рука лѣвая слишкомъ зажала своей жизнью — точно въ этомъ суть: зажать своей жизнью! — въ правой трость, а въ лѣвой — ничего... И это «ничего» — моя рукопись, трудъ трехъ мѣсяцевъ, что — трехъ мѣсяцевъ! это — сплавъ тогда и теперя, я двадцать лѣтъ своей жизни оставилъ въ кабацкѣ... Въ какомъ изъ семи?

На порогѣ — недоумѣнное явленіе С. Я.

— Борисъ Николаевичъ рукопись потерялъ, — говорю я спѣшно, объясняя крикъ.

— Вы меня простите! — Бѣлый къ нему навстрѣчу — я самъ временами слышу, какъ я ужасно кричу. Но — передъ Вами погибшій человекъ.

— Борисъ Николаевичъ, дорогой, успокойтесь, найдемъ, отыщемъ, обойдемъ всѣ мѣста, гдѣ Вы сидѣли — Вы же нѣгѣрнѣе куда-нибудь заходили? Вы ее навѣрное гдѣ-нибудь оставили, не могли же Вы потерять ее на улицѣ.

Бѣлый, упавшимъ голосомъ: — Боюсь, что могъ.

— Не могли. Это же вещь, у которой есть вѣсь. Вы гдѣ-нибудь ее уже искали?

— Нигдѣ, я прямо кинулся сюда.

— Такъ идемъ.

И — пошли. И — пошло! Во-первыхъ, не могъ точно сказать въ которое кафэ заходилъ, въ которое — нѣтъ. То, выходило, во всѣ заходилъ, то — ни въ одно. Пол-

ходимъ — то, войдемъ — не то. И ничего не спросивъ, только обозрѣвъ, ни слова не сказавъ — вонъ. — Die Herrschaften wünschen? (Господа желаютъ?) Бѣлый, агрессивно: — Nichts! Nichts! (Ничего, ничего.) Легкое пожатіе кельнерскихъ плечей — и мы опять на улицѣ. Но, выйди: — А вдругъ — это? Тамъ еще вторая зала, я туда не заглянулъ. Сережа, великодушно: — Зайдемъ опять? Но и вторая зала — неузнаваема.

Въ другомъ кафэ — обратное: убѣжденъ, что былъ, — и столъ тотъ, и окно такъ, и у кассирши та же брошь, все совпадаетъ, только рукописи нѣтъ. — Aber der Herr war ja gar nicht bei uns. (Но господинъ къ намъ вовсе не заходилъ.) сдержанно-раздраженно — оберъ. — Полчаса назадъ? За этимъ столомъ? Я бы помнилъ. (Въ чемъ не сомнѣваемся, ибо Бѣлый — красный, съ взлетѣвшей шляпой, съ взлетѣвшими волосами, съ взлетѣвшей тростью — дѣйствительно незабываемъ.) — Ich habe hier meine Handschrift vergessen! Manuscript, verstehen Sie? Hier, auf diesem Stuhl! Eine schwarze Pappe: Mappe! (Я здѣсь забылъ свою рукопись! Манускриптъ, понимаете? Здѣсь, на этомъ стулѣ! Черную папку! \*) кричитъ все болѣе и болѣе раскраснѣвающимся Бѣлый, стуча палкой. — Ich bin Schriftsteller, russischer Schriftsteller! Meine Handschrift ist alles für mich! (Я — писатель, русскій писатель, моя рукопись для меня — все!) — Борисъ Николаевичъ, посмотримъ въ сосѣднемъ, спокойно совѣтуется Сережа, мягко, но твердо увлекая его за порогъ, — тутъ вѣдь рядомъ еще одно есть. Вы легко могли перепутать.

— Это? Чтобы я въ этомъ сидѣлъ? (Ехидно:) Нѣтъ, я въ этомъ не сидѣлъ! Это — явно-нерасполагающее, я бы въ такое и не зашелъ. (Упираясь палкой въ асфальтъ.) И сейчасъ не зайду. — Сережа, облегченно: — Ну, тогда зайду — я. А Вы съ Мариной здѣсь постоитъ.

Стоимъ. Выходитъ съ пустыми руками. Бѣлый, торжествующе: — Вотъ видите? Развѣ я могъ въ такое зайти? Да въ такомъ кафэ не то, что рукопись, — руки-ноги оставшись. Развѣ Вы не видите, что это — кокаинъ??

Очередное по маршруту — просто минуемъ. Несмотря на наши увѣщеванія даже не оборачиваетъ головы и ясно-ускоряетъ шагъ. — Но почему же Вы даже поглядѣть

\*) Папка, по-нѣмски. Mappe, а Pappe — бессмыслица.

не хотите? — Вы не замѣтили, что тамъ сидитъ бронець? Я не говорю Вамъ, что тотъ самый, но во всякомъ случаѣ — изъ тѣхъ. Крашенныхъ. Потому-что такихъ черныхъ в оло сь нѣтъ. Есть только такая черная краска. Они всѣ — крашенные. Это ихъ тавро.

И, останавливаясь посреди тротуара, съ страшной улыбкой: — А не продѣлки ли это — Доктора? Не повелѣлъ ли онъ оттуда моей рукописи пропасть: упасть со стула и провалиться сквозь полъ? Чтобы я больше никогда не писалъ стиховъ, потому-что теперь — конечно, я уже ни строки не напишу. Вы не знаете этого чепуха. Это — Дьяволъ.

И, поднявъ трость, въ тактъ, ею — по чемъ попало: по торцамъ, прямымъ берлинскимъ стволамъ, по рѣшеткамъ, и вдругъ — со всего размаху ярости — по огромному желтому догу, за которымъ, во весь ростъ своего самодовольства, вырастаетъ лейтенантъ.

— Verzeihen Sie, Herr Leutenant, ich habe meine Handschrift verloren. (Простите, Г-нъ Лейтенантъ, я потерялъ свою рукопись.) — Ja was? (Что такое?) — Der Herr ist Dichter, ein grosser russischer Dichter. (Этотъ господинъ — поэтъ, большой русскій поэтъ) спѣшно и съ мольбою оповѣщаю я. — Ja was? Dichter? (Что такое? Поэтъ?) — и не снисходя до обиды, заливъ со всего высока своего прусскаго роста всѣмъ своимъ лейтенантовымъ презрѣніемъ этого штатскаго — да еще русскаго — да еще Dichter'a, оттянувъ собаку — минуетъ.

— Дьяволъ! Дьяволъ! вопитъ Бѣлый, бѣя и бѣясь.

— Ради Бога, Борисъ Николаевичъ, вѣдь лейтенантъ подумаетъ, что Вы — о немъ!

— О немъ? Пусть успокоится. Есть только одинъ Дьяволъ — Докторъ Штейнеръ.

И, выпустивъ этотъ послѣдній зарядъ, совершенно спокойно: — Больше не будемъ искать. Пропала. И можетъ-быть лучше, что пропала. Вѣдь я, по существу, не поэтъ, я годы могу не писать стиховъ, а кто можетъ не писать — писать не смѣетъ.

Замѣчаю, что въ моемъ повѣствованіи нѣтъ никакого crescendo. Нѣтъ въ повѣствованіи, потому-что не было въ жизни. Наши отношенія не развивались. Мы сразу начали съ лучшаго. На немъ и простояли — весь нашъ недолгій срокъ.

Лично онъ меня никогда не разглядѣлъ, но можетъ-быть больше ошутить меня, мое цѣлое, живое цѣлое моей силы, чѣмъ самый внимательный цѣнитель и толкователь, и можетъ-быть никому я въ жизни, со всей и всей моей любовью, не дала столько, сколько ему — простымъ присутствіемъ дружбы. Присутствіемъ въ комнатѣ. Сопутствіемъ на улицѣ. Возлѣ.

Рядомъ съ нимъ я себя всегда чувствовала въ сохранности полного анонимата.

Онъ не собой былъ занятъ, а своей бѣдой, не только данной, а отрожденной: бѣдой своего рожденія въ міръ.

Не эгонистъ, а эгоцентрикъ боли, неизлѣчимой болѣзни — жизни, отъ которой вотъ только 8-го января 1934 г. излѣчился.

Чтобы не забыть. Къ моему имени-отчеству онъ прибѣгалъ только въ крайнихъ случаяхъ, съ третьими лицами, и всегда въ третьемъ лицѣ, говоря обо мнѣ, не мнѣ, со мной же — Вы, просто — Вы, только — Вы. Мое имя-отчество для него было что-то постороннее, для постороннихъ, со мной не связанное, съ той мной, съ которой такъ сразу связалъ себя онъ, условное наименование, которое онъ сразу забывалъ наединѣ. Я у него звалась съ. (Какъ у Каспара Гаузера сторожъ звался «der Du».)

И, въ нашемъ случаѣ, онъ былъ правъ. Имя, вѣдь, останавливается на человѣкѣ, другомъ, именно-этомъ, Вы — включаетъ всѣхъ, включаетъ всё. И еще: имя разграничиваетъ, имя это явно — не-я. Вы (какъ и ты) это тотъ же я. (Вы не думаете, что...? Читайте: — Я думаю, что...) Вы — включительное и собирательное, имя-отчество — отграничительное и исключительное.

И еще: что ему было «Марина Ивановна» и даже Марина, когда онъ даже собственнымъ ни Борисомъ, ни Андреемъ себя не ошутить, ни съ однимъ изъ нихъ себя не отождествилъ, ни въ одномъ изъ нихъ себя не узналъ, такъ и прокачался всю жизнь между нареченнымъ Борисомъ и сотвореннымъ Андреемъ, отъзываясь только на я.

Такъ я и осталась для него «Вы», та Вы, которая въ Берлинѣ, Вы — неизбежно-второго лица, Вы — присутствія, наличности, очности, потому-то онъ меня такъ скоро и забылъ, ибо рассказывая обо мнѣ онъ долженъ былъ



неминуемо говорить «Марина Ивановна», а съ Мариной Ивановной онъ никогда никакого дѣла не имѣлъ.

Единственный разъ, когда онъ меня назвалъ по имени, было, когда онъ за мной въ нашу первую «Prager-diele» повторилъ слово «Таруса». Меня назвалъ и позвалъ.

Двойственность его не только сказалась на Борисѣ Николаевичѣ Бугаевѣ и Андреѣ Бѣломъ, она была вызвана ими. — Съ кѣмъ говорите? Со мной, Борисомъ Николаевичемъ, или со мной, Андреемъ Бѣлымъ? Конечно, и каждый пишущій, и я, наприимѣръ, могу сказать: съ кѣмъ говорите, со мной «Мариной Цвѣтаевой» или мной — мной (я, М. И., для себя такъ же не существую, какъ для А. Б.), но и Марина — я, и Цвѣтаева — я, значить и «Марина Цвѣтаева» — я. А Бѣлый долженъ былъ разрывать-ся между нареченнымъ Борисомъ и самовольно-созданнымъ Андреемъ. Разорвался — навѣкъ.

Каждый литературный псевдонимъ прежде всего отказъ отъ отчества, ибо отца не включаетъ, исключаетъ. Максимъ Горькій, Андрей Бѣлый, — кто имъ отецъ?

Каждый псевдонимъ, подсознательно, отказъ отъ преемственности, потомственности, сыновности. Отказъ отъ отца. Но не только отъ отца отказъ, но и отъ святого, подъ защиту котораго поставлень, и отъ вѣры, въ которую былъ крещень, и отъ собственного младенчества, и отъ матери, звавшей Боря и никакого «Андрея» не знавшей, отказъ отъ всѣхъ корней, то ли церковныхъ, то ли кровныхъ. *Avant moi le déluge!* Я — самъ!

Полная и страшная свобода маски: личины: не-своего лица. Полная безотвѣтственность и полная беззащитность.

Не этого ли искалъ Андрей Бѣлый у Доктора Штейнера, не отца ли, соединя въ немъ и защитника земного и заступника небеснаго, отъ которыхъ, обоихъ, на зарѣ своихъ дней столь вдохновенно и дерзновенно отрёкся?

Безотчестъ и безпочвенность, ибо, какъ почва, Россія слишкомъ всё безъ исключенія, чтобы только собою, на себѣ, продержатъ человѣка.

«Родился въ Россіи», это почти-что — родился вездѣ, родился — нигдѣ.

---

Ничего одиноче его вѣчной обступленности, обсмотрѣнности, обслушанности я не знала. На него смотрѣли, вѣрнѣй: его смотрѣли, какъ спектакль, сра-

зу, послѣ занавѣса бросая его одного, какъ огромный Императорскій Театръ, гдѣ остаются однѣ мыши.

А смотрѣть было на что. Всякая земля подъ его ногою становилась теннисной площадкой: ракеткой: ладонью. Земля его какъ будто отдавала — туда, откуда бросили, а то — опять возвращало. Просто, имъ небо и земля играли въ мячъ.

Мы — смотрѣли.

---

Его довѣрчивость равнялась только его недоувѣрчивости. Онъ довѣрялъ — ввѣрялся! первому встрѣчному, но что-то въ немъ недоувѣряло — лучшему другу. Потому ихъ и не было.

---

Какъ онъ всегда боялся: задѣть, помѣшать, оказать — лишнимъ! Какъ даже не во-время, а раньше времени — исчезалъ, тутъ же, по мнительности своей, выдумавъ себѣ срочное дѣло, которое оказывалось сидѣниемъ въ первомъ встрѣчномъ осточертѣломъ кафѣ. Какой опережающій входъ, опережающій взглядъ, сами глаза опережающій страхъ изъ глазъ, страхъ, которымъ онъ какъ щупальцами ощупывалъ, какъ рукой обшаривалъ, и въ неупрѣннѣе пруда, какъ метлой обмахивалъ полъ и стѣны — всю почву, весь воздухъ, всю атмосферу данной комнаты, страхъ — меня бы первую ввергшій въ столбнякъ, если бы я разомъ вскочивъ на обѣ ноги, не давъ себѣ понять и подпасть — на его страхъ, какъ Дуровъ на злого дота: — Борисъ Николаевичъ! Господи, какъ я Вамъ рада!

Страхъ, смѣнявшійся — какимъ сіяниемъ!

Не знаю его жизни до меня, знаю, что передо мною былъ затравленный человѣкъ. Затравленность и умученность вѣдь вовсе не требуютъ травителей и мучителей, для нихъ достаточно самыхъ простыхъ насъ, если только передъ нами — не-свой: негръ, дикій звѣрь, марсианинъ, поэтъ, призракъ. Не-свой рожденъ затравленнымъ.

---

О Бѣломъ всегда говорили съ интонаціей «бѣдный». — Ну, какъ вчера Бѣлый? — Ничего. Какъ будто немножко лучше. Или: — А Бѣлый нынче былъ совсѣмъ хорошъ. Какъ у трудно-больномъ. Безнадежно-больномъ. Съ тѣмъ

пусть крохотнымъ, пусть іотовымъ, но непремѣннымъ отъѣнкомъ превосходства: здоровья надъ болѣзнию, здраваго смысла надъ безуміемъ, нормы — хотя бы надъ самымъ прекраснымъ казусомъ.

Остается послѣднее: вечерне-ночная поѣздка съ нимъ въ Шарлоттенбургъ. И это послѣднее осталось во мнѣ совершеннымъ сновидѣніемъ. Просто — какъ схватило духъ, такъ до самаго подъѣзда и не отпустило, какъ я до самаго подъѣзда не отпустила его руки, которую на этотъ разъ — сама взяла.

Помню только разступающіяся статуи, разсѣкаемые перекрестки, круто огибаемые площади — сѣризу — розовизну — голубизну...

Словъ не помню, кромѣ отрывистаго: «Weiter! Weiter!» звучавшаго совсѣмъ не за предѣлы Берлина, а за предѣлы земли.

Думаю, что въ этой поѣздкѣ я впервые увидѣла Бѣлаго въ его основной стихіи: полетѣ, въ родной и страшной его стихіи — пустыхъ пространствъ, потому и руку взяла, чтобы еще удержать на землѣ.

Рядомъ со мной сидѣлъ плѣнный духъ.

Какъ это было? Этого вовсе не было. Прощанія вовсе не было. Было — исчезновеніе.

Думаю, его просто увезли — друзья, такъ же просто на неуютное нѣмецкое море, какъ раньше въ то самое Zossen, и онъ такъ же просто далъ себя увезти. Бѣлый всякаго встрѣчнаго принималъ за судьбу и всякое случайное жилище за сужденное.

Одно знаю — что я его не провожала, а не проводить я его могла только потому, что не знала, что онъ ѣдетъ. Думаю, онъ и самъ до послѣдней секунды не зналъ.

А дальше уже начинается — танцующій Бѣлый, какимъ я его не видѣла ни разу и навѣрное не увидѣла бы, мнѣ танцующаго Бѣлаго, о которомъ такъ глубоко сказалъ Ходасевичъ, вообще о немъ сказавшій лучше нельзя, и къ чьему толкованію танцующаго Бѣлаго я прибавлю только одно: фокстроттъ Бѣлаго — чистѣйшее хлыстовство: даже не свистопляска, а (мое слово) — христо-

пляска, то-есть опять-таки Серебряный Голубь, до котораго онъ, къ сорока годамъ, физически дотанцовался.

---

Со своего моря онъ мнѣ не писалъ.

Но былъ еще одинъ привѣтъ — послѣдній. И прощаніе все-таки было — и какое бѣловское!

Въ ноябрѣ 1923 г. — вопль, письменный вопль въ четыре страницы, изъ Берлина въ Прагу: — Голубушка! Родная! Только Вы! Только къ Вамъ! Найдите комнату рядомъ, гдѣ бы Вы ни были — рядомъ, я не буду мѣшать, я не буду заходить, мнѣ только нужно знать, что за стѣной — живое, — живое тепло! — Вы. Я измученъ! Я истѣрзанъ! Къ Вамъ — подъ крыло! (и такъ далѣе, и такъ далѣе, полныя четыре страницы лирическаго вопля вперемѣшку съ младенчески-беспомощными практическими указаніями и даже описаніями вождельной комнаты: чтобы было окно, чтобы этотъ столъ стоялъ, чтобы было окно, куда глядѣть, и если возможно — не въ стѣну квартирнаго дома, но если мое — въ такую стѣну, то пусть и его, ничего, лишь бы рядомъ.) — Моя жизнь этотъ годъ — кошмаръ. Вы мое единственное спасеніе. Сдѣлайте чудо! Устройте! Укройте! Найдите, найдите комнату.

Тотчасъ же отвѣтила ему, что комната имѣется: рядомъ со мной, на высокомъ пражскомъ холму — Смиховѣ, что изъ окна деревья и просторы: косогоры, овраги, старики и ребята пускаютъ змѣевъ, что и мы будемъ пускать... Что М. Л. Слонимъ почти навѣрное устроитъ ему чешскую стипендію въ тысячу кронъ ежемѣсячно, что обѣдать будемъ вмѣстѣ и никогда не будемъ ѣсть овса, что заходить будетъ, когда захочетъ и даже, если захочетъ, не выходить, ибо онъ мнѣ дороже дорогаго и поднѣе родного, что въ Прагѣ археологическое свѣтило — восьмидесятилѣтній Кондаковъ, что у меня, кромѣ Кондакова, есть друзья, которыхъ я ему подарю и даже, если нужно, отдамъ въ рабство...

Чего не написала! Все написала!

Комната ждала, чешская стипендія ждала. И чехи ждали. И друзья, обреченные на рабство, ждали.

И я — ждала.

---

Черезъ нѣсколько дней, раскрывши «Руль», читаю въ отдѣлѣ хроники, что такого-то ноября 1923 г. отбылъ въ Совѣтскую Россію писатель Андрей Бѣлый.

Такое-то ноябрь было такимъ-то ноябрь его: вопля ко мнѣ. То-есть уѣхалъ онъ именно въ тотъ день, когда писалъ ко мнѣ то письмо въ Прагу. Можетъ-быть въ вечеръ того же дня.

— А меня онъ все-таки когда-нибудь вспоминалъ? — спросила я въ 1924 г. одного изъ послѣднихъ очевидцевъ Бѣлаго въ Берлинѣ, пріѣхавшаго въ Прагу.

Тотъ, съ заминкой: — Да... но странно какъ-то...

— То-есть какъ — странно?

— А — такъ: «Конечно, я люблю Цвѣтаеву, какъ же мнѣ не любить Цвѣтаеву, когда она тоже дочь профессора...» Сами посудите, что...

Но я, молча, посудила — иначе.

Больше я о немъ ничего не слыхала.

Ничего, кромѣ смутныхъ слуховъ, что живетъ онъ гдѣ-то подл Москвой, не то въ Серебряномъ Бору, не то въ Звенигородѣ (еще порадовалась чудному названію!), пишетъ много, печатаетъ мало, въ современности не участвуетъ и порядочно-таки -- забыть.

(Geister auf dem Gange)

...Und er hat sich losgemacht!

10-го января 1934 г. мой восьмилѣтній сынъ Муръ, хватая запретныя «Послѣднія Новости»:

— Мама! Умеръ Андрей Бѣлый!

— Что??

— Нѣтъ, не тамъ, гдѣ покойники. Вотъ здѣсь.

Между этимъ возгласомъ моего восьмилѣтняго сына и тогдашней молитвой моей трехлѣтней дочери — вся моя молодость, быть-можетъ — вся моя жизнь.

Умеръ Андрей Бѣлый «отъ солнечныхъ стрѣлъ», согласно своему пророчеству 1907 г.

Золотому блеску вѣришь.

А умеръ отъ солнечныхъ стрѣлъ...

то-есть отъ послѣдствій солнечнаго удара, случившагося

съ нимъ въ Коктебелѣ, на бывшей дачѣ Волощина, нынѣ писательскомъ домѣ. Передъ смертью Бѣлый просилъ кого-то изъ друзей прочесть ему эти стихи, этимъ въ послѣдній разъ опережая событія: наше посмертное, этихъ его солнце, сопоставленіе: свое посмертье.

Господа, взгляните въ два послѣднихъ портрета Андрея Бѣлаго въ «Послѣднихъ Новостяхъ».

Вотъ на васъ по какимъ-то мосткамъ, отдѣляясь отъ какого-то зданія, съ тростью въ рукѣ, въ застывшей позѣ полета — идетъ человекъ. Человекъ? А не та послѣдняя форма человека, которая остается послѣ сожженія: дохнешь — разсыпется. Не чистый духъ? Да, духъ въ пальто, и на пальто шесть пуговицъ — считала, но какой счетъ, какой вѣсъ когда-либо кого-либо убѣдиль? разубѣдиль?

Случайная фотографія? Прогулка? Не знаю, какъ другіе, я, только взглянувъ на этотъ снимокъ, сразу назвала его: переходъ. Такъ, а не иначе, тѣмъ же шагомъ, въ той же старой шляпѣ, съ той же тростью, оттолкнувшись отъ того же зданія, по тѣмъ же мосткамъ и такъ же перехода не замѣтивъ, перешелъ Андрей Бѣлый на тотъ свѣтъ.

Этотъ снимокъ — астральный снимокъ.

Другой: сдно лицо. Человѣческое? О, нѣтъ. Глаза — человѣческіе? Вы у человека видали такіе глаза? Не ссылайтесь на неясность отпечатка, плохость газетной бумаги, и т. д. Все это, всѣ эти газетные изьяны, на этотъ разъ, на этотъ рѣдкій разъ поэту — послужило. На насъ со страницы «Послѣднихъ Новостей» глядитъ лицо духа, съ просковожженными тѣмъ свѣтомъ глазами. На насъ — сквозить.

-----

На панихидѣ по немъ въ Сергіевскомъ Подворьѣ, — православныхъ проводакъ сожженного, которыми мы обязаны заботѣ Ходасевича и христіанской широтѣ о. Сергія Булгакова, на панихидѣ по Бѣлому было всего семнадцать человекъ — считала по свѣчамъ — съ десяткомъ изъ нищущаго міра, остальные завсегдашніи. Никого изъ писателей, связанныхъ съ нимъ не только временемъ и ремесломъ, но долгой личной дружбой, кромѣ Ходасевича, не было. Зато съ умиленіемъ обнаружила среди стоящихъ Соломона Гитмановича Каплуна, издателя, при-

шедшаго въ послѣдній разъ проводить своего труднаго, неуловимаго, подчасъ невыносимаго опекаемаго и писателя. Убѣждена, что не меньше, чѣмъ я, и больше, чѣмъ всѣмъ намъ, порадовался ему и самъ Бѣлый.

Странно, я все время забывала, вѣрнѣе, я ни разу не осознала, что гроба — нѣтъ, что его — нѣтъ: казалось — о. Сергій его только заститъ, отойдетъ о. Сергій — и я увижу — увидимъ — и настолько сильно было во мнѣ это чувство, что я нѣсколько разъ ловила себя на мысли: «Сначала всѣ, потомъ -- я. Прощусь послѣдняя...»

До того, должно-быть, эта панихида была ему необходима и до того сильно онъ на ней присутствовалъ.

И никогда еще, можетъ-быть, я за всю свою жизнь съ такимъ рвеніемъ и осознаніемъ не повторяла за священникомъ, какъ въ той темной, отъ пустоты огромной церкви Сергіевского Подворья, надъ мерещащимся гробомъ за тридевять земель сожженнаго:

— Упокой, Господи, душу новопреставленнаго раба Твоего — Бориса.

#### Post Scriptum.

Я иногда думаю, что конца — нѣтъ. Такъ у меня было съ Максимъ, когда, много спустя по окончаніи моей рукописи, все еще долетали о немъ какія-то вѣсти, какъ послѣдніе отъ него привѣты.

Вчера, 26-го февраля, С. Я., вечеромъ, мнѣ:

— Досталъ «Послѣ Разлуки». Прочелъ стихи — Вамъ.

— Какъ — мнѣ? Вы шутите!

— Это Вы — шутите, не можете же Вы не помнить этихъ стиховъ. Послѣдніе стихи въ книгѣ. Единственное посвященіе. Больше никому нѣтъ.

Все еще не вѣря, беру въ руки и на послѣдней страницѣ, въ постепенности узнаванія, читаю:

М. И. Цвѣтаевой.

Неисчисляемы  
Орбиты серебрянаго прискорбія,  
Гдѣ праздномыслія  
Повисли тучи.  
Среди нихъ —

Тихо пою стихъ  
Въ неосязаемыя угодія  
Вашихъ образовъ.  
Ваши молитвы —  
Малиновыя мелодіи  
И —  
Непобѣдимыя  
Ритмы.

Цоссенъ, 1922 года.

Марина Цветаева.



## Три письма Андрея Бѣлаго

Переписка Андрея Бѣлаго со временемъ будетъ, конечно, собрана и напечатана полностью. Сейчасъ мнѣ хотѣлось бы лишь положить начало этому дѣлу, подѣлившись съ читателями «Современныхъ Записокъ» тремя документами изъ числа тѣхъ, которые у меня имѣются. Каждому изъ нихъ я предпощлю нѣсколько пояснительныхъ словъ. Сверхъ того въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ я даю нѣсколько мелкихъ поясненій и оговариваю нѣкоторыя особенности рукописей, воспроизводимыхъ съ сохраненіемъ орѳографіи и пунктуациі. Въ этомъ послѣднемъ обстоятельстве видѣтъ педагогизма: поправки, описки, знаки препинанія, а порой и орѳографическія ошибки немало свидѣтельствуютъ о душевномъ состояніи пишущаго.

Первое изъ предлагаемыхъ писемъ привезено мною изъ совѣтской Россіи. Въ ночь съ 3 на 4 августа 1921 г. (со вторника на среду) былъ арестованъ Гумилевъ, о чемъ я узналъ поутру, а въ три часа дня ко мнѣ прибѣжала поэтесса Надежда Павловнѣ и сообщила, что у Блока началась агонія. Въ тотъ же день подъ вечеръ мнѣ предстояло ѣхать въ Порховскій уѣздъ Псковской губерніи. Во Псковѣ мнѣ пришлось двое сутокъ ждать пересадки на Порховъ, и я, тревожась о Блокѣ, написалъ Бѣлому, чтобы онъ меня извѣстилъ о ходѣ болѣзни. Печатаемое письмо и есть отвѣтъ на мой запросъ.

Между словами Павловнѣ и сообщеніемъ Бѣлаго есть нѣкоторыя противорѣчія, которыхъ я разрѣшить не берусь. Павловнѣ сказала мнѣ, что агонія началась въ среду; Бѣлый пишетъ, что Блоку особенно плохо стало съ понедѣльника. Возможно, что оба правы, то-есть, что уже въ понедѣльникъ Блоку стало особенно плохо,

а полная агонія началась со среды. Возможно и то, что Павловичъ лишь въ среду узнала о томъ, что домашнимъ Блока было извѣстно уже съ понедѣльника. Но можно предположить ошибку со стороны Бѣлаго, который гостилъ въ Царскомъ Селѣ и пріѣхалъ въ Петербургъ лишь на другой день послѣ смерти Блока; судя по пометкамъ въ письмѣ, Бѣлый даже не зналъ точно, въ какой именно день Блокъ умеръ; послѣ нѣкоторыхъ колебаній, онъ остановился на 8 сентября — и неудачно, потому что это было 7-го.

Второе расхождение заключается въ слѣдующемъ. Бѣлый пишетъ, что Блокъ умеръ въ полномъ сознании. Между тѣмъ, Павловичъ подѣ строгою тайною сообщила мнѣ, что «Блокъ сошелъ съ ума» (ея точное выраженіе). Правдивость Павловичъ не подлежитъ сомнѣнію. Однако, возможно, во-первыхъ, что передъ самой конечною сознаниемъ къ Блоку вернулось. Но возможно, что Бѣлому была сообщена лишь «официальная» версія. Наконецъ, не исключено и то, что Бѣлый зналъ правду, но не зналъ, что и я о ней знаю, а потому въ письмѣ ко мнѣ изобразилъ событія такъ, какъ ихъ хотѣла представить мать Блока. Впослѣдствіи, при личныхъ свиданіяхъ, мнѣ не случилось говорить съ Бѣлымъ на эту тему.

Слова о томъ, что Блокъ «задохся» въ воздухѣ 1921 года, впослѣдствіи повторялись многими много разъ. Судя по тому, что въ письмѣ ко мнѣ это слово сказано уже черезъ день послѣ смерти Блока, и потому, что не въ духѣ Бѣлаго было повторять сказанное другими. — я увѣренъ, что это выраженіе именно ему первому и принадлежитъ. Очень вѣроятно, что на панихидахъ и на похоронахъ онъ не разъ это слово повторилъ (что какъ разъ было въ его обычай) — и такимъ образомъ оно получило распространение.

## I.

9 августа 21 года.

Дорогой Владиславъ Фелиціановичъ,  
пріѣхалъ лишь 8 августа изъ Царскаго: засталъ Ваше письмо. Отвѣчаю: — Блока не стало. Онъ скончался 8\*)

\*) Эта цифра вписана надъ строкой, послѣ того, какъ въ строкѣ она нѣсколько разъ переѣлывалась: 8, 7 и опять 8.

августа въ 11 часовъ утра послѣ сильныхъ мученій: ему особенно плохо стало съ понедѣльника. Умеръ онъ въ полномъ оознани. Сегодня и завтра панихиды. Вынось тѣла въ среду 11-го въ 10 часовъ утра. Похороны на Смоленскомъ кладбищѣ.

Да! —

— Что жъ тутъ сказать? Просто для меня ясно: такая полоса; \*) онъ задохся ютъ очень труднаго воздуха жизни; другіе говорили вслухъ: «Душно». Онъ просто замолчалъ, да и... задохся.

Эта смерть для меня — роковой часовъ бой: чувствую, что часть меня самого ушла съ нимъ. Въдь вотъ: не видались, почти не говорили, а просто «бытіе» Блока на физическомъ планѣ было для меня, \*\*) какъ органъ зрѣнія или слуха; это чувствую теперь. Можно и\*\*\*) слѣпымъ прожить. Слепые или умираютъ или просвѣтляются внутренно: вотъ и стукнуло мнѣ его смертью: пробудись, или умри: начнись или кончись.

И встаетъ: «быть или не быть».

Когда душа просилась ты  
Погибнуть, иль любить...

Дельвигъ.

И душа просить! любви или гибели; настоящей человеческой, гуманной жизни, иль смерти. Оранжевымъ душа жить не можетъ. И смерть Блока для меня это зовъ «погибнуть иль любить».

Онъ былъ поэтомъ, т. е. человѣкомъ вполнѣ; стало быть: поэтомъ любви (не въ пошломъ смыслѣ). А жизнь такъ жестока: онъ и задохся.

Эта смерть — первый ударъ колокола: «поминальнаго», или «благовѣстяго». Мы всѣ, какъ люди вполнѣ, «на роковой стоимъ очереди»: «погибнуть, иль... любить». Душой съ Вами. Б. Бугаевъ.

\*) Здѣсь было слово «просто», но затѣмъ зачеркнуто.

\*\*) Здѣсь было слово «просто», но зачеркнуто, какъ и въ предыдущій разъ.

\*\*\*) Первоначально было: «силы».

\*\*

Осенью 1921 г. Бѣлый поѣхалъ изъ Россіи въ Германію. Однако, у него не было германской визы, въ хлопотахъ о которой онъ довольно надолго задержался въ Литвѣ. Нижеслѣдующее письмо написано имъ изъ Ковно, какъ разъ въ этотъ періодъ. Оно обращено не ко мнѣ, а къ другому лицу, которое находилось въ Западной Европѣ, гдѣ провело все время войны и революціи. Это письмо не было отправлено по адресу. Бѣлый мнѣ отдалъ его въ 1923 году вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими документами. Оно очень обширно: содержитъ двадцать страницъ большого формата, исписанныхъ мелкимъ, убогимъ почеркомъ. Я печатаю его съ большими сокращеніями (приблизительно наполовину), исключивъ все то, что по обстоятельствамъ момента не можетъ быть опубликовано, и сохранивъ лишь то, что составляетъ рассказъ Бѣлаго о его жизни съ 1918 по 1921 годъ. Этотъ рассказъ тѣсно связанъ съ главнымъ содержаніемъ письма, но имѣетъ и вполне самостоятельный интересъ. Пропуски, мною сдѣланные, вездѣ обозначены многоточіями, заключенными въ квадратныя скобки. Нѣкоторыя имена собственные я счелъ нужнымъ обозначить инициалами по обычнымъ причинамъ.

## II.

11 ноября 21 года. Ковно.

[....] до Рождества 1918 года я: 1) читалъ курсъ лекцій, велъ семинаріи съ рабочими, разрабатывалъ программу Театр. Университета, читалъ лекціи въ нетопленномъ помѣщеніи «Антр[опософскаго] О-ва», посѣщалъ засѣданія О-ва; — а съ января 1919 года: я все бросилъ: посѣщеніе О-ва, чтеніе лекцій для интересующихся Антропософіей; легъ подъ шубу; и — пролежалъ въ полной простраціи до весны, когда оттепель немного согрѣла мою душу и тѣло...

[....] Это чувство невозможности открыто разговаривать съ Тобой до личнаго свиданія (а гдѣ, когда оно будетъ?) соотвѣтствуетъ ощущенію каждаго русскаго, попадающаго за границу и выслушивающаго вопросы со стс-

роны людей, долго въ Россіи не бывшихъ: «Ну что же въ Россіи?» И — дѣлается неловко и мучительно: вѣд спрашивающій — младенецъ, ничего не понимающій; заговорить «правдиво» съ нимъ невозможно: «неугасимую ярость» къ инымъ типамъ изъ коммунистовъ истолкуеть онъ чего добраго, какъ «большевизмъ»; ясную свѣтлость и примиренность (итогъ мученій) истолкуеть, какъ «бей жидовъ» чего добраго; и приходится вымучивать изъ себя готовые, трафаретныя фразы: что Россія сдала экзамень, что Россія, быть можетъ, впервые родилась въ нашемъ чувствѣ глубочайшаго страданія, что «буди, буди» Достоевскаго становится уже «естъ» — да развѣ такой человѣкъ пойметъ? Онъ ребенокъ; и не намъ, старикамъ, вынесшимъ на плечахъ 1917, 1918, 1919, 1920, 1921 годы, рассказать о Россіи. И хочется говорить: «Да, вотъ, — когда я лежалъ 2½ мѣсяца во шгахъ, то мнѣ...» Тутъ собесѣдникъ перебьетъ: «Ахъ, ужасъ: и вши по васъ ползали?» Посмотришь, и скажешь снисходительно: «Ползали, ползали: 2 недѣли лѣчился отъ экземы, которая началась отъ вшей» и т. д. Или начнешь говорить: «Когда у меня за толкой переродкой кричалъ дни и ночи тифозный». И опять перебьютъ: «Ахъ, вы жили съ тифознымъ!» Опять улыбнешься и скажешь: «Да, жилъ: и ходилъ читать лекціи, готовился къ лекціямъ подъ крикъ этотъ!»...

[....] Всѣ мы въ 1919 году были полны этой тьмой: въ Москвѣ разстрѣляли Астровыхъ, Щепкина, Пашуканиса, Михаила Анатол. Мамонтова, сошелъ съ ума отъ голода Юрочка Веселовскій, профессоръ Хвостовъ перерѣзалъ себѣ горло въ припадкѣ меланхоліи; не было дома безъ тифознаго. Въ комнатахъ стояла температура не ниже — 8° мороза, но и не выше 7° тепла. Москва была темна. По почамъ растаскивали деревянные особняки: А. С. П. кралъ чужія полянья растапливать печурку и т. д.; прожиточный минимумъ стоилъ не менѣе 15.000 рублей (теперь 600.000, не менѣе), а мама получала лишь 200 рублей пенсіи, жила еще безъ печурки въ комнатѣ при 0° (и — ниже), каждый день выходя на Смоленскій Рынокъ продавать старье свое (я ей отдавала все, что могъ, но этого было мало). Я жилъ это время вотъ какъ: —

— въ небольшой комнатѣ, окруженный С-ми (за стѣной — баранье бляенье М. И. С-ой и брюзжанье В-ва; за другой — отвратительное клохтанье старухи матери С-

ой); у меня въ комнатѣ, въ углу была свалена груда мѣхъ рукописей, которыми 5 мѣсяцевъ подтапливали печку; всюду были навалены груды г-вскаго старья, и моя комната напоминала комнату старьевщика; среди мусора и хлама при температурѣ въ 6-4°, въ зимнихъ перчаткахъ, съ шапкой на головѣ, съ коченъющими до колѣнъ ногами просиживалъ я при тусклѣйшемъ свѣтѣ перегорѣвшей лампочки или готовя матеріаль для лекцій слѣдующаго дня или разрабатывая мнѣ порученный проектъ въ Т. О. (Театралън. Отдѣлъ), или пишучи «З а п и с к и ч у д а к а», въ изнеможеніи бросаясь въ постель часу въ 4-омъ ночи; отчего просыпался я не въ 8, какъ С-вы (глубокіе мѣшчане, мѣшчанствомъ загнавшіе меня въ уголь), а въ 10 и мнѣ никто не оставлялъ горячей воды; такъ, безъ чаю подчасъ, дрожа отъ холода я вставалъ и въ 11 бѣжать съ Садовой къ Кремлю (гдѣ былъ Т. О.), попадая съ засѣданія на засѣданіе (я тогда завѣдовалъ Научно-Теор. секціей); въ 3½ отъ Кремля по отвратительной скользкой мостовой, въ чужой шубѣ, душившей грудь и горло, я тащился къ Дѣвичьему Полю, чтобы пообѣдать (обѣдъ лучше «с о вѣ т с к а г о», ибо кормился я въ частномъ домѣ — у друзей — Васильевыхъ). Послѣ обѣда надо было «п е р е т ь» съ Дѣв. Поля на Смоленскій Рынокъ, чтобы къ ужину заpastись «г н и л ы м и л е п е ш к а м и», толкаясь среди вшивой, воню-\*) толпы и дохлахъ собакъ (помню вывѣску на углу «В с е д л я ж е л у д к а» — развѣ посмотрѣлъ въ окно, что такое это «в с е»; это были — пустыя бутылки: матерія потребленія утекла для нихъ; и это называлось: «В с е д л я ж е л у д к а»...); оттуда, со Смоленскаго Рынка, тащился часовъ въ 5-6 домой, чтобы въ 7 уже бѣжать обратно по Поварской въ Пролетъ-Культь, гдѣ училъ молодыхъ поэтовъ и ѣвнить поэзію Пушкина, увлекаясь ихъ увлеченіемъ поэзіей; и уже оттуда часовъ въ 11 брелъ домой, въ абсолютной тьмѣ, спотыкаясь о невозможные ухабы; и почти плача оттого, что чай, который мнѣ оставили опять простыла, и что ждеть холодъ, отъ котораго хочется кричать.

Пойми, — такъ продолжалось: не день, не два, а рядъ мѣсяцевъ, въ которыхъ каждый часъ — терзаніе: на холодные, огромные дома, въ которыхъ попались водопроводы (и квартиры заливались то водой то нечистотами)

\*) Послѣ переноса слово недописано.

— на дома сыпался снѣгъ; и — казалось: засыпаетъ за-  
сыпаетъ, — навсегда засыпаетъ; и каждая снѣжинка, ка-  
залось, отдѣляетъ разстояніе между этой унылой тьмой  
сплошныхъ физическихъ и нравственныхъ мученій и  
тѣмъ, гдѣ «все, что сердцу мило» [...]. Вспоми-  
налось «Winterreise» Шуберта; и высѣкался свѣтъ; и я  
находилъ все же силы: читать лекціи, которыя \*) въ лю-  
дяхъ зажигалась надежда (люди ждали моихъ лекцій,  
какъ нравственной поддержки въ ихъ тѣмѣ); и я, пере-  
могая тьму, давая другимъ силу переносить тьму,  
не имѣя этой силы, и какъ бы протягивая руки за по-  
мощью [...]. Я ждалъ нравственной помощи: вѣдь мы  
[...] должны были для Васъ выглядѣть умирающими:  
вѣдь дѣйствительно: холодъ, голодъ, аресты, тифъ, ис-  
панка, нервное переутомленіе сводило вокругъ въ моги-  
лы цѣлыя шеренги людей. Я думалъ, что изъ чувства  
естественнаго человѣческаго сожалѣнія или просто ду-  
ховной чуткости — вы [...] должны были бы понять, въ  
чемъ мы. «Трахъ!» [...] А я и сказать ничего не могъ о  
томъ, въ какихъ тяготахъ мы живемъ: цензура писемъ!

[...] Оставалось воскликнуть словами Гиппліусъ: «Ни-  
че-го не понимають!»

[...] А теперь: вотъ я вырвался, — и меня не пускаютъ  
въ Германію; и не къ кому обратиться. Докторъ Штей-  
неръ сейчасъ въ Берлинѣ (это я знаю, по объявленію лек-  
цій его въ «Berliner Tageblatt»). Мнѣ всѣ говорятъ, что  
онъ въ 24 минуты могъ бы устроить мнѣ визу, чтобы изъ  
«Auswertiges Amt» въ Ковно мнѣ была послана виза; но  
наученный опытомъ, что такого «великаго человѣ-  
ка» не беспокоятъ по пустякамъ [...] и не напишу ниче-  
го «великому человѣку» — изъ гордости и изъ  
недовѣрія. [...] Въ Ковно мнѣ долго жить нельзя (тран-  
зитная виза); и мнѣ остается уѣхать обратно въ Россію,  
если люди, безмѣрно менѣе вліятельные, чѣмъ Штейнеръ,  
не сумѣютъ мнѣ достать визы. Можетъ быть, когда Ты  
получишь это письмо, я уже буду опять въ Россіи. И на  
этотъ разъ уже никуда не поѣду. Прощай. Б.

---

\*) Передѣлано изъ: «въ которыхъ». Повидимому, написавъ сна-  
чала: «въ которыхъ въ людяхъ зажигалась надежда», Бѣлый началъ  
исправлять фразу, чтобы получилось: «которыя въ людяхъ зажига-  
ли надежду» — но исправленій не докончилъ.

P. S. И опять пишу Тебѣ.

[...] Вотъ списокъ цѣнъ въ Москвѣ и Петербургѣ за продукты: фунтъ сомнительнаго хлѣба (въ Петербургѣ смѣшаннаго съ мохомъ) — 3.000. Коробка спичекъ — 1.200 рублей; 10 папиросъ — отъ 1.000 (дряньнѣйшія) до 2.500 (болѣе сносныхъ); крошечная буточка бѣлая — 3.000; маленькій пирожокъ сладкій — 4.000; сажень дровъ 1.000.000. Проѣздъ изъ Москвы въ Петербургъ 150.000 р. (а когда уѣзжалъ, то цѣны скакнули: проѣздъ долженъ былъ стоить 700.000 рублей); пара дрянныхъ ботинокъ — отъ 600.000, 700.000 до милліона. И т. д.

Ужасно! Подумай, какъ живутъ въ Москвѣ? Я пять лѣтъ не могъ сшить себѣ шубы; такъ и ходилъ въ чужой шубѣ, жалѣя, что свою старую оставилъ въ Швейцаріи; мои невыразимые были въ такомъ состояніи все лѣто, что я долженъ былъ все лѣто ходить въ русской рубашкѣ, чтобы прикрыть неприличіе своихъ панталонъ, а когда наступила осень, я сталъ простужаться отъ легкой одежды; мнѣ пришлось вооружиться иглой и нитками (катушка нитокъ — 20.000) и просидѣлъ 2 вечера за штопаньемъ, абсолютно не умѣя справиться съ одеждой (нужно было быть искусной мастерицей, а я едва владѣю иглой). Въ такихъ панталонахъ читалъ лекціи, появлялся въ публичныхъ мѣстахъ, предсѣдательствовалъ на многочисленныхъ собраніяхъ; шляпа моя — была драная; мы всѣ выглядѣли оборванцами; очереди получить что-либо отъ казны таковы, что ждутъ годами; 3 дня въ Петроградѣ ходилъ въ туфляхъ, ибо сапогъ не было.

[...] Я бы погибъ, если бы отдѣльные добрыя души (чаще женскія) иногда добровольно мнѣ не помогали. т. е. немного заботились о тысячахъ мелочей нашей усложненной хозяйственной жизни.

Подумай: вездѣ хвосты; Ты получаешь карточки на все; и долженъ слѣдить за всѣмъ: когда выдаются спички, селедки, хлѣбъ, папиросы; о днѣ выдачи опубликовывается въ газетахъ; далѣе узнавъ ты долженъ за получениемъ 2 коробокъ спичекъ, или  $\frac{1}{2}$  фунта хлѣба во-время занять мѣсто въ очереди передъ продовольственной давкой; и иногда часами стоять на дождѣ, морозѣ и т. д. Сегодня выдаютъ спички, завтра 2 селедки, послѣзавтра  $\frac{1}{2}$  ф. хлѣба и т. д. Изъ хвоста — въ хвостъ. Подумай, а у меня по 6 засѣданій въ день; у кого семейство — пошлютъ сына; онъ — отстоятъ; а когда человекъ одинъ,



онъ долженъ и стоять въ хвостахъ, и служить; и вернувшись домой натаскать дровъ, наколоть дрова; и пуститься въ хвосты.

Естественно, что я манкировалъ всюду: напримѣръ узналъ, что 20 огромныхъ селедокъ выдаютъ писателямъ гдѣ-то на Мясницкой въ часъ, когда у меня было отвѣтственное дѣло, — пропали селедки. Самой простой вещи, таскальнаго мѣшка у меня не было, пока мнѣ одна дама не сшила его (уже передъ отъездомъ); вѣдь сколько пришлось перетаскать на спитѣ.

Вотъ какъ я жилъ съ осени 1919 года до февраля 1920 года: намучившись ледяной с-вской комнатой 1918-1919 года я переѣхалъ къ тройнымъ рамамъ одной квартиры, гдѣ жила моя знакомая писательница N (бывшая хлыстовка и «распутника», а нынѣ нервная, калпризная эвироманка, хотя — добрый человекъ). Она пріютила меня вродѣ какъ изъ милости въ комнату, имѣвшей лишь 2 шага въ длину и 1½ въ ширину; комнату замазали; форточки т. е. вентиляци въ ней не было. Книги, рукописи лежали грудями на полу (не было ни шкафа, ни комода): постель, столъ, кресло; и — все. Комнату топили дровами черезъ день или черезъ 2; температура стояла сносная отъ 7 до 9 градусовъ; но въ дни топки я рисковалъ умереть отъ угара, ибо печка просачивала угаръ. Въ квартирѣ порой стоялъ крикъ хозяйки, пронизывающій мои стѣны; кромѣ того, очень часто въ моей печкѣ варился нашъ обѣдъ т. е. часто готовили у меня; и открывая утромъ глаза, я заставалъ мою хозяйку въ дезабильтѣ, сидящей передъ лочкой и что-то варящей тамъ не взирая на то что я не одѣтъ. Картофель мѣшался съ рукописями, а когда разъ я уѣхалъ на нѣсколько недѣль и потомъ вернулся, я увидѣлъ, что ряда листовъ цѣннаго матеріала, собраннаго въ музеяхъ, — итѣтъ: вѣроятно, имъ завертывали селедки. Днемъ я бѣжалъ отъ Прѣсни къ Историческому и Рум[янцевскому] Музею сидѣлъ въ температурѣ 0 и ниже 0 дѣлая выписки, пока ноги не оцеснѣвали до колѣнъ; тогда я читалъ, прыгая отъ холода. Возвращался въ 5 часовъ въ свою комнатушку. Въ то время я читалъ въ А[нтропософскомъ] О-вѣ курсъ «Антропософія» въ помѣщеніи, гдѣ отъ холода леденѣлъ мозгъ и гдѣ всѣ сидѣли въ шубахъ и шапкахъ; тѣмъ не менѣе: когда одинъ старикъ, почтенный человекъ, В. А. Паппе, уже старикъ, умиралъ отъ испанки, то онъ умеръ съ ро-

зенкрейдерскимъ лозунгомъ на устахъ: такъ людямъ были нужны мои лекціи; и я думаю, что наша Антр. работа была очень цѣнна, ибо мы поднимали духъ въ человѣкѣ, а этимъ духомъ только и отапливались люди. Тѣмъ не менѣе, я съ Рождества бросилъ курсъ: не могъ его выдержать; тягота и физич. страданія бременили меня. Мой хозяинъ за тонкой стѣнкой заболѣлъ тифомъ: и днями, и ночами кричалъ въ безпамятствѣ. И вотъ среди варки обѣда, угаровъ печки, картофеля, супа и истерическихъ воплей хозяйки я долженъ былъ раскидывать свои груды рукописей; и — работать.

[...]

Этихъ горькихъ минутъ личной покинутости («Б о ж е мой, за что Ты оставилъ меня!») я не забуду. Наконецъ я не выдержалъ, сорвался и бѣжалъ изъ Москвы въ Петербургъ (усталый, разбитый); и — февраль, мартъ, апрѣль, май, июнь я какъ волъ заработалъ въ нашей Петербургской «В о л ь ф и л ь...» \*) [...] какъ за меня тамъ цѣплялись десятки душъ, которыхъ я общалъ къ «самопознанію»: меня буквально выпили; и выпитый, я кинулся обратно въ Москву, потому что уже не могъ давать ничего людямъ (въ Петербургѣ я прочелъ до 60 лекцій), опять попадая въ Москву и опять окруженный крикомъ: «Д а й, д а й, д а й, д а й д у х о в н о й п и щ и!» [...] не легко было эту пищу давать, потому что я то ни отъ кого не получалъ и н и ч е г о... Не забудь, что одновременно, въ то же время я неустанно хлопоталъ о выѣздѣ: меня не пустили въ февралѣ 1920 года; потомъ въ августѣ 1920 года не пустили вторично, и въ сентябрѣ меня подобралъ А. И. Анненковъ и увезъ жить за Москву къ себѣ на заводъ; отсюда я дѣлалъ выѣзги на лекціи (которыми жилъ я матеріально и которыми жили морально многія души); съ сентября до января: я написалъ книгу по ф и л о с о ф і и к у л ь т у р ы и черновикъ Э п о п е и (1-го тома), работа безумно много, до нервнаго изнеможения; книга по «Ф и л о с о ф і и К у л ь т у р ы» потеряна \*\*) (это была

\*) «Вольная философская ассоціація», основанная въ 1920 г. и существовавшая до 1925 г.

\*\*) Впослѣдствіи она отыскалась и была доставлена Бѣлому въ Берлинъ, но напечатать ее ему не удалось. Она до сихъ поръ находится въ рукописи.

лучшая моя книга теоретическая: антропософское обоснованіе культуры: не я потерялъ, но мнѣ потеряли ее — Виноградовъ, который хотѣлъ для меня снять копию); а вторую книгу, мной написанную, «Т о л с т о й и к у л ь т у р а» увезъ латвійскій спекулянтъ (печатать за границу) за миллионъ аванса (списка снять не было времени); и — исчезъ безслѣдно: и эта книга потеряна.

Видишь, мнѣ не везло.

Въ декабрѣ я упалъ въ ваннѣ и 10 дней таскался въ Москву изъ подъ Москвы, пока не сдѣлалась воспаленіе надкостницы крестца и не обнаружилось, что я раздробилъ крестецъ: меня сволокли въ больницу, гдѣ я 2½ мѣсяца лежалъ, покрытый вшами. И я опять рванулся изъ Москвы, опять попалъ въ Петроградъ; опять съ марта до сентября впрягся въ работу «В о л ь ф и л ы» — съ какими же силами? Опять хлопоталъ объ отъѣздѣ; и опять не пустила чрезвычайка (въ іюнѣ); тогда я нервно заболѣлъ; меня лѣчилъ невропатологъ проф. Троицкій; тутъ я рѣшилъ бѣжать, но и объ этомъ узнала чрезвычайка; и побѣгъ — рухнулъ. Тутъ умеръ Блокъ, расстреляли Гумилева; и — устыдились: молодежь стала кричать: «Пусти́те Бѣлаго за границу а то и онъ какъ Блокъ умретъ!» Друзья надавили; и — пустили.

[...] какъ провожала меня молодежь въ Петербургѣ, какія слова благодарности я слышать (Кто то изъ публики мнѣ крикнулъ: «Милый, Котикъ Летаевъ, — когда вамъ будетъ одиноко тамъ, помните, что мы, здѣсь, васъ любимъ!» Такъ же меня провожали въ Москвѣ: представители студій, писатели, молодежь. Да, [...], меня крѣпко любить Россія!»

Но я все бросилъ: рванулся [...]

И сижу закупоренный въ Ковно безъ цѣли и смысла, безъ отдыха, но и безъ дѣла: можно эдакъ просидѣть энное количество мѣсяцевъ. Визы еще нѣтъ изъ Берлина. Нужно, чтобы Auswertiges Amt дало разрѣшеніе, а разрѣшенія — нѣтъ. Докторъ могъ бы въ 24 часа меня выпарпать отсюда; онъ — въ Берлинѣ, но... «великаго челоуѣка» не безгокоятъ по пустякамъ. [...]

И мнѣ остается ѣхать обратно, ибо въ Россіи есть хоть смыслъ пасть отъ усталости, а здѣсь, въ Ков-

но, нѣтъ никакого смысла сидѣть. Уже прочелъ 3 лекціи. Срокъ права на жительство — до 17.

P. P. S. Кажется, — все же прорвуся въ Берлинъ (пишу это 12-го); виза прислана, но нѣмцы въ Ковно выдвигаютъ новое требованіе: поручительство; и съ поручительствомъ налаживается, — но не знаютъ, какія еще новыя препятствія ждутъ. Сейчасъ я такъ измученъ, что не думаю ни о чемъ, лишь бы устроиться гдѣ-нибудь въ Германіи: «отоспаться [...] — чтобы, отоспавшись, заработать надъ «Эпопеей»...

[...] все, что подлинно любить меня, все, чему я нуженъ, — въ Россіи. Русская эмиграція мнѣ столь же чужда, какъ и большевики; въ Берлинѣ я буду одинъ. Антроп[ософское] О-во? Но — нѣтъ, нѣтъ; тамъ я былъ бы бараномъ въ стадѣ; моя работа въ Антропософіи — въ Россіи. Но Россія меня измучила.

Стало быть: я стараюсь, пока что разсматривать Ausland, какъ санаторій, въ которомъ мнѣ надо окрѣпить нервами, написать начатыя книги, издать ихъ; [...]

Пока не буду въ Берлинѣ, не увѣренъ, что не придется ѣхать обратно.

Читаю послѣзавтра въ Ковенскомъ Городск. Театрѣ о Толстомъ (это моя 4-ая лекція здѣсь).

Ну, Господь съ Тобой.

P. S. Все, что я писалъ о Россіи, не рассказывай, что именно я писалъ: помни, что за нами, Русскими, и за границей слѣдятъ агенты Чрезвычайной Комиссіи. А я оставляю маму въ Россіи\*), которую могутъ арестовать за меня; да и кромѣ того: обратнаго вѣзда не хочу испортить, ибо близкіе сердцу друзья — въ Россіи.

Литовцы очень милый народъ. Я сошелся съ Обществомъ Литовскихъ Художниковъ (включающее и литераторовъ); среди нихъ нашлись милые, тонкіе, сердечные люди. Литва переживаетъ начало строительства своей государственности. Литовскій языкъ очень звученъ и красивъ.

Двѣ мои лекціи (техническія) о худ. формѣ сильно запали въ сознаніе здѣшней молодежи; предсѣдатель драмат. секціи обратился ко мнѣ съ просьбой дать планъ организаціи работъ Литературно-Художественной Студіи т. е. программу литературныхъ курсовъ, постановку семи-

\*) Мать Андрея Бѣлаго скончалась въ 1923 г. въ Петербургѣ.

наря: просили меня изъ Берлина прислать разработаннымъ этотъ планъ.

Познакомился съ очень симпатичнымъ литовск. общественнымъ дѣятелемъ, ксендзомъ Tumas'омъ и нѣкоторыми другими литовцами.

Последніе дни въ Россіи въ слѣшкѣ выѣзда организовалъ въ Москвѣ отдѣленіе «Вольной Философской Ассоціаціи» и провелъ первое засѣданіе. Меня выбрали безсмѣннымъ предсѣдателемъ Московскаго и Петербургскаго Отдѣленія, хотя я и уѣзжаю за границу. И въ Москвѣ, и въ Петербургѣ прочелъ нѣсколько лекцій въ послѣдній мѣсяцъ передъ отъѣздомъ; въ Петербургѣ: «Философія поэзіи Блока», «Воспоминанія о Блокѣ» и олять «Воспоминанія о Блокѣ»; и въ Москвѣ: «Поэзія Блока» и «Кризисъ культуры и Достоевскій».

Въ Совѣтъ Петербургской Вольной-Фил.-Ассоціаціи я (предсѣдатель), Ивановъ-Разумникъ (Пом. предсѣдателя), А. Штейнбергъ (ученый Секретарь), Эрбергъ. Въ Совѣтъ Московской «Вольно-Фил. Асс.» я (предсѣдатель), Столяровъ (пом. предсѣдателя), Шпеттъ (пом. предсѣдателя), Новомірскій (ученый секретарь). Среди дѣйствит. членовъ — Гершензонъ, Бердяевъ, Вышеславцевъ, Степунъ, Кандинскій и др. У Бердяева есть другое О-во, предсѣдателемъ котораго онъ состоитъ: «Академія духовной культуры». (Но «Вольфила» и «Академія» — суть братскіе антиподы и конкуренты: «Вольфила» — новаго духа, «Академія» — стараго). Духъ Dreigliederung — духъ «Вольфила».

А[нтропософское] О-во полно теперь жизнью: произошли рѣшительныя перемѣны. [...]

Довольно. Кончаю это горькое письмо. Сдѣлаю все возможно, чтобы оно дошло до Тебя. Прощай. Б. В.

\*1

Былъ часто терялъ рукописи — свои и чужія: не потому, что былъ разстѣянъ въ простомъ, обывательскомъ смыслѣ, а потому, что жилъ въ нѣкоей фантазмагоріи. Казалось, предметы, попадавшіе въ его обиходъ, подхватывались тѣмъ вихремъ, которымъ онъ самъ былъ всегда подхваченъ. Объ одномъ такомъ случаѣ чудесно рассказала Марина Цвѣтаева. Иллюстраціей къ другому мо-

жетъ быть письмо, само по себѣ незначительное, но выразительно представляющее ту суматошную смѣсь дѣйствительности съ бредомъ, которая то и дѣло заваривалась въ кругъ Бѣлаго.

Въ началѣ 1923 г. издатель З. И. Гржебинъ поручилъ мнѣ составить томъ избранныхъ сочиненій Державина. Я отиѣтилъ нужные стихи по Академическому изданію, послѣ чего они были ремингтонированы. Въ то же время Бѣлый съ нашимъ общимъ переводчикомъ В. Грегеромъ задумывали издать антологию русскихъ поэтовъ на нѣмецкомъ языкѣ. Бѣлый взялъ у меня нѣсколько стихотвореній Державина, чтобы показать ихъ Грегеру, а затѣмъ уѣхалъ въ Штуттгартъ и Гарцбургъ, съ К. Н. Васильевой, будущею своею женою. Межъ тѣмъ, Гржебинъ рѣшилъ приступить къ набору книги, и я написалъ Бѣлому, прося вернуть взятые у меня листки изъ рукописи. Въ отвѣтъ получилъ я 17 іюня 1923 г. нижеслѣдующее (недатированное) письмо изъ Гарцбурга:

### III.

Дорогой, милый Владиславъ Фелиціановичъ, весь день сегодня я бѣгаю по комнатамъ съ внутреннимъ жестомъ, что я схватилъ себя за голову, что я рву волосы на \*) головѣ отъ отчаянія, боли, обиды за Васъ злясь, что даже нечего мнѣ сказать въ защиту себя съ полнымъ сознаниемъ той гадости, которую я Вамъ сдѣлалъ; и безъ всякой возможности поправить бѣду; мнѣ остается одно: написать Гржебину письмо съ указаніемъ на то, что Вы въ дѣлѣ съ Державинымъ не при чемъ, а во всемъ виноватъ я. Не давайте мнѣ больше ничего: ни строчки! Я постоянно въ потопѣ бумагъ; и при всѣхъ усиліяхъ безъ секретаря я не могу справиться съ порядкомъ, барахтаюсь въ волнахъ своихъ и чужихъ рукописей съ пересыпающимися другъ въ друга архивами... Все «шесносны й» Грегеръ, выматывавшій изъ меня матеріалы... Понимаете, что произошло? Я старательно спряталъ листки Державина въ сундукъ, вѣзая въ Штуттгартъ; вернувшись перерылъ все — листковъ не было; и я подумалъ, что недосмотрѣлъ; при спѣшной перекладкѣ пони-

\*) Сперва было «на себѣ», но зачеркнуто

шлось перекопаться въ бумагахъ скопившихся за 7 мѣсяцевъ: спѣшно; и груду дряни выбросить (съ ними и рядъ чьихъ то рукописей, которыхъ не было возможности вернуть); пришлось въ \*) трехъ мѣстахъ запрятать бумаги (иныя въ несгораемый шкафъ, ключа отъ котораго у меня нѣтъ: гдѣ-то въ Центрo-Союзъ; но тамъ, ручаюсь: нѣтъ листковъ съ Державиннымъ. Словомъ при генеральной разборкѣ ихъ не оказалось: и я былъ увѣренъ, что листки въ Вашемъ Лермонтовѣ; но въ Гарцбургѣ обнаружилось, что ихъ и здѣсь нѣтъ. И стало быть: они оказались въ кучѣ бумагъ, вѣроятно, выброшенныхъ... Ужасно! Я волосы на себѣ рву; если... паче чаянія я не передалъ Грегеру этихъ листковъ (навѣрное, — нѣтъ); снесите съ Грегеромъ: Wolfgang E. Gröger. Berlin-Steglitz. Sedanstr. 11. Kurfürst. 52-66 или 52-67. Я могу написать въ Москву, чтобы спѣшно выслали текстъ, если Вы тотчасъ дадите мнѣ перечень стиховъ, которые дали мнѣ: Кл. Ник. Васильева ручается за спѣшную высылку текста. Еще разъ — \*\*) вѣрите, что я совершенно не нахожу себѣ мѣста и покоя съ отчаянія. Не смѣю даже просить Васъ о смѣнѣ гнѣва на милость.

Совершенно несчастный Борисъ Бугаевъ.

(На верху страницы): P. S. Я не разъ страдалъ отъ такихъ «казусахъ», которыя мнѣ подносили друзья: и оттого то я, вѣрите, переживаю съ особою болью то, что именно я подложилъ Вамъ «с в и н ъ»...

\*\*

Въ концѣ октября 1923 г. Бѣлый уѣхалъ въ Россію. Послѣ его отъѣзда хозяйка пансіона, въ которомъ онъ жилъ весной, принесла мнѣ груду бумагъ, брошенныхъ Бѣлымъ на произволъ судьбы. Листки изъ Державина нашлись въ этой грудѣ, которая была мною тогда же передана одному лицу, положившему много труда на заботы о Бѣломъ во время его трагическаго пребыванія въ Берлинѣ. Судьба этихъ бумагъ мнѣ неизвѣстна.

Владиславъ Ходасевичъ.

\*) Начато: Бер(линѣ), но зачеркнуто.

\*\*\*) Здѣсь было начато слово «рву», но зачеркнуто.

## Союзники и Временное Правительство \*)

Нельзя забывать о томъ, что Февральская революція произошла во время войны, что война эта продолжалась, что кромѣ непріятельскихъ войскъ на фронтѣ, въ тылу дѣйствовали начиненныя внѣшнимъ врагомъ и Ленинымъ живыя бомбы. Безъ яснаго представленія обо всемъ этомъ, нельзя правильно понять исторію трагической борьбы Россіи за свою свободу, внѣшнюю и политическую, со дня паденія монархіи вплоть даже до нынѣшнихъ дней. Судьба нашей революціи разрѣшилась не въ порядкѣ борьбы партій внутри страны, а на поляхъ сраженій и въ кабинетахъ министровъ иностранныхъ дѣлъ въ сѣхъ воюющихъ державъ.

Существуетъ вздорная легенда, что союзники Россіи содѣйствовали Февральской революціи, даже чуть ли не сами ее устроили. По методу исключенія роль организатора русской революціи приписывается, главнымъ образомъ, англійскому послу сэру Джоржу Бьюкенену. Итальянскій посолъ, жизнерадостный, подвижной маркизь Карлотти, больше наблюдалъ, чѣмъ дѣйствовалъ, былъ всегда кромѣ того третьимъ послѣ Бьюкенена и французскаго посла Палеолога. Сказать о послѣднемъ, что онъ въ какой-либо степени могъ содѣйствовать не только что революціонному, но даже и оппозиционному движенію, было прямо невозможно. Это былъ весьма свѣтскій челоувѣкъ, не выходившій изъ великокняжескихъ салоновъ, особенно изъ салона Вел. Княгини Маріи Павловны. По

---

\*) Печатаемый здѣсь очеркъ А. Ф. Керенскаго представляетъ собою главу, съ небольшими сокращеніями, изъ его недавно вышедшей по англійски книги Crucifixion of Liberty — Ред.



озвучію своей фамиліи съ именемъ знаменитой династіи Византійскихъ императоровъ онъ чувствовалъ себя аристократомъ, едва ли не кузеномъ особъ царской крови. Онъ написалъ о своемъ пребываніи въ Петербургѣ полубеллетристическій дневникъ. Уже изъ помѣщенныхъ тамъ историко-философскихъ разсужденій о Россіи, о русскомъ народѣ, видно, что для него въ Россіи за узкимъ кругомъ людей «изъ общества» Европа кончалась; начинался загадочный, мистическій, варварскій и темный Востокъ. Уже въ послѣдніе мѣсяцы передъ паденіемъ монархіи Палеологъ сталъ склоняться къ мысли, что Россія не выдержитъ до конца войны и что слѣдуетъ на всякій случай заранѣе перестраховать интересы Франціи по другую сторону фронта. Его личное тяготѣніе къ реакціоннымъ католическимъ кругамъ указало ему путь въ Будапештъ и Вѣну. Конецъ же монархіи былъ для Палеолога концомъ той Россіи, съ которой еще можно было какъ нибудь считаться. Онъ сталъ слать въ Парижъ весьма пессимистическіе доклады и настойчивыя указанія: нужно искать путей къ миру за счетъ Россіи. Такъ мнѣ разсказывалъ Альберъ Тома, который былъ срочно, въ началѣ революціи, присланъ въ Петербургъ съ особыми полномочіями, сначала дублировать, а затѣмъ временно и совсѣмъ замѣнить Палеолога. Отношеніе французскаго посла къ Россіи послѣ паденія монархіи было столь своеобразно, что англійскій и итальянскій послы первые возбудили передъ Временнымъ Правительствомъ вопросъ о необходимости дать понять Парижу, что аристократъ-посолъ не совсѣмъ удобно сталъ себя чувствовать въ Петербургѣ, потерявшемъ вдругъ вкусъ къ придворнымъ мундирамъ... Вернувшись въ Парижъ, Палеологъ въ правительственныхъ и дипломатическихъ кругахъ Франціи не оказался вовсе «одинокимъ» въ своемъ отношеніи къ Россіи, оставшейся безъ «вѣрнаго союзника Франціи — царя».

Такъ, за вычетомъ по явной непригодности къ роли организаторовъ революціи Палеолога и Карлотти, оставался только одинъ Бьюкененъ. Во время революціи мнѣ пришлось довольно часто встрѣчаться съ англійскимъ посломъ. Этотъ подлинный джентлеменъ не былъ лично способенъ ни на малѣйшую недоброжелательность. Состоять въ организаторахъ революціи противъ Императора Николая II онъ и потому еще не могъ, что очень хорошо

относился лично къ бывшему царю. Это отношеніе особенно ясно проявилось лѣтомъ, когда изъ Лондона пришелъ категорическій отказъ оказать бывшему Императору и его семьѣ гостепримство въ Англии впредь до окончанія войны: Бюкененъ перенесъ этотъ отказъ, какъ лично свое горе. Какъ же могла родиться все-таки легенда о Бюкененѣ — вдохновителѣ русской революціи? Она, во-первыхъ, возникла изъ особой ненависти тогда всѣхъ сановныхъ германофиловъ къ Англии. Во-вторыхъ, — какъ разъ изъ очень лояльнаго отношенія англійскаго посла къ царю и къ династіи. Бюкененъ видѣлъ, куда ведетъ не только Россію, но и династію кружокъ Распутина и онъ неоднократно пытался совѣтовать Императору разумную и спасительную для монархіи болѣе либеральную политику. Въ послѣдній разъ онъ старался спасти царя отъ его собственнаго упрямаго безумія очень незадолго до катастрофы, но совершенно безуспѣшно. Какъ разъ въ это послѣднее свиданіе царь принялъ англійскаго посла необычно сдержанно, почти враждебно; подчеркнул весьма недвусмысленно свое совершенное нежеланіе слушать какіе бы то ни было совѣты со стороны. Совѣты же англійскаго посла шли навстрѣчу пожеланіямъ прогрессивнаго блока. Вотъ было единственное основаніе для рожденной въ окруженіи Императрицы Александры Федоровны легенды.

На самомъ дѣлѣ до паденія монархіи всѣ официальныя иностранцы въ Россіи держали себя строго въ рамкахъ «протокола» и никакого вмѣшательства во внутреннія дѣла Россіи себѣ не позволяли. Только послѣ революціи тутъ многое, очень многое измѣнилось. Прежде всего, исчезла очень строгая традиція дипломатическаго обихода въ Петербургѣ. Послѣ паденія монархіи дипломатическій корпусъ впервые получилъ полную свободу общенія со всѣми кругами общества. Конечно, и до революціи никакихъ формальныхъ ограниченій въ этой области не существовало. Но имѣлась очень крѣпкая традиція: иностранные дипломаты должны были вращаться въ узкомъ кругу придворнаго и свѣтскаго общества. Общеніе кого-либо изъ нихъ съ представителями оппозиционныхъ, а тѣмъ болѣе революціонныхъ партій было бы открытымъ и неприемлемымъ для двора скандаломъ. Теперь, при Временномъ Правительствѣ, каждый иностранный дипломатъ шелъ, куда хотѣлъ. — къ любому мини-

стру, въ Совѣты, на митинги. Встрѣчался съ кѣмъ Богъ на душу положить: одни, по старому, въ опредѣленные дни ѣздили въ опредѣленные салоны, другіе торопились познакомиться съ вчерашними каторжниками-революционерами. Къ Временному Правительству большинство союзныхъ дипломатовъ относились критически, даже оппозиционно: насъ обвиняли въ слабости, въ безволиі и прочихъ смертныхъ для правителей грѣхахъ. Однако, сами дипломаты скоро привыкли злоупотреблять «чрезмѣрной свободой», не менѣе, чѣмъ и любой рядовой рабочій или солдатъ. Изъ свободы общенія съ кѣмъ угодно сами собой возникли болѣе интимныя связи съ лицами, настроенія которыхъ соответствовали вкусамъ того или иного посольства, того или иного военного союзнаго агента. А тамъ недалеко уже было и до содѣйствія лицамъ, которыя, по оцѣнкѣ, конечно, самихъ иностранцевъ, были настоящими русскими патріотами и хотѣли дѣйствительно спасать Россію отъ «засилія Совѣтовъ». Еисмаркъ вѣдь не объ однихъ нѣмцахъ сказалъ: въ борьбѣ на животь и на смерть умѣстно любое оружіе, не считаясь ни съ какими моральными предразсудками.

А развѣ есть что-нибудь аморальное въ желаніи придти на помощь союзнику, попавшему въ бѣду; союзнику, оказавшемуся вдругъ въ рукахъ «слабаго» и неопытнаго въ военныхъ и международныхъ дѣлахъ правительства, состоявшаго или изъ далекихъ отъ жизни идеалистовъ или изъ подозрительныхъ пацифистовъ? И что-же удивительнаго, если по всей своей собственной психологіи, по всѣмъ своимъ петербургскимъ связямъ, огромнѣе большинство членовъ союзныхъ посольствъ и военныхъ миссій легко и быстро нашли общій языкъ и въ столицѣ, и въ ставкѣ, — съ кругами, оппозиционными Врем. Правительству?

Оппозиція слѣва нашла себѣ опору въ Германіи. Оппозиція справа — въ посольскихъ зданіяхъ на набережныхъ Невы, въ самомъ Петербургѣ! Вотъ почему послѣ надеяній монархіи, лѣтомъ 1917 года, силы двухъ борющихся всенныхъ коалицій расположились въ Россіи не по двумъ параллельнымъ линіямъ: Врем. Правительство съ союзниками — большевики съ Германіей, а по сторонамъ нѣкоего треугольника: Времен. Правительство — Ставка съ союзниками — большевики съ Германіей. Са-

мое курьезное въ этомъ положеніи было то, что мы — Временное Правительство — изображались лѣвыми демагогами, какъ «наймиты англійскаго капитала»; даже многіе добросовѣстные сторонники Врем. Правительства въ демократической средѣ все-таки находили, что мы слишкомъ «не самостоятельны» въ отношеніи къ союзникамъ. Намъ же, главнымъ образомъ министру иностранныхъ дѣлъ М. И. Терещенкѣ, приходилось въ это время упорно отстаивать новую военно-дипломатическую политику свободной Россіи и въ Парижѣ и въ Лондонѣ; добиваться тамъ, большей частью тщетно, нужнаго дипломатическаго содѣйствія для подъема боеспособности русской арміи. И дѣлать это нужно было съ чрезвычайной осторожностью, въ порядкѣ «тайгой дипломатіи», дабы не давать повода возбужденному революціей общественному мнѣнію Россіи заподозрить искренности дружескихъ отношеній главныхъ нашихъ союзниковъ къ Россіи, свергнувшей монархію.

Я до сихъ поръ сдержанно писалъ о дѣйствительной политикѣ Парижа и Лондона по отношенію къ Россіи по поводу революціи; по отношенію, въ частности, къ Временному Правительству. Теперь, мнѣ кажется, настало время сказать правду, какъ она была: въ союзныхъ Россіи столицахъ побѣдила въ основныхъ чертахъ точка зрѣнія отозваннаго изъ Петербурга Палеолога. Революція сразу какъ бы исключила изъ круга полноправныхъ членовъ Антанты Россію. Конечно, нужно все сдѣлать, чтобы удержать Россію на фронтѣ, нужно терпѣливо выслушивать дипломатическій лепетъ неопытныхъ министровъ; по существу же — вести войну самостоятельно, не привлекая къ этому Россіи и не считаясь вовсе съ ея требованіями. Скептическое, выражаясь мягко, отношеніе руководящихъ круговъ Лондона и Парижа къ союзному Временному Правительству мнѣ было, конечно, хорошо извѣстно, но все-таки я былъ прямо пораженъ, когда уже въ эмиграціи, кажется въ 1920 году, подробно узналъ исторію переговоровъ о сепаратномъ мирѣ съ Австріей. Переговоры эти велись какъ разъ въ апрѣлѣ 1917 года между Лондономъ, Парижемъ, а затѣмъ и Римомъ, съ императоромъ Карломъ Австрійскимъ черезъ принца Сикета Бурбонскаго, брата императрицы Зиты. Это были весьма серьезные переговоры, они сорвались въ самую послѣднюю минуту изъ-за упрямства Итали, Римъ ни-

какъ не хотѣлъ отказаться отъ какого-то куска обѣщанныхъ ему австрійскихъ земель, котораго Италія затѣмъ все-таки не получила. Но всѣ эти переговоры, непосредственно и болѣе всего задѣвавшіе интересы Россіи, до конца происходили въ строгомъ секретѣ отъ Врем. Правительства. Въ случаѣ удачи переговоровъ Россія была бы поставлена передъ совершившимся фактомъ. Я подчеркиваю, что этотъ вопіющій случай нарушенія союзной этики по отношенію къ намъ произошелъ въ самомъ началѣ революціи, при самомъ «буржуазномъ» правительствѣ, при министрѣ иностранныхъ дѣлъ Миллюковѣ, который всячески стремился продолжать въ сношеніяхъ съ Лондономъ и Парижемъ Сазоновскую политику. «Революція ничего не измѣнила въ нашей иностранной политикѣ», — повторялъ онъ ежедневно.

Теперь часто говорятъ, что наступленіе русскихъ армій въ іюль 1917 года было авантюрой, вызванной давленіемъ союзниковъ. Конечно, Парижъ и Лондонъ очень хотѣли, чтобы наши войска вернулись къ активнымъ операціямъ на фронтѣ. Конечно, ведя коалиціонную войну, и мы, весьма дружески и лояльно относясь къ союзникамъ, должны были считаться не только съ интересами Россіи, но и съ интересами всего союза. Однако, возстановленіе боевыхъ дѣйствій на фронтѣ диктовалось намъ прежде всего интересами Россіи, его требовала отъ насъ сама логика революціи. Родившись въ значительной мѣрѣ изъ протеста противъ сепаратнаго мира, революція могла укрѣпить свободу и демократію только въ случаѣ благополучнаго исхода войны. А кромѣ того, наблюдая отношеніе къ Россіи нашихъ союзниковъ, намъ было ясно, что только возстановленіе боеспособности армій, демонстрація нѣкоторой нашей силы заставили бы нашихъ союзниковъ съ большей оглядкой прятать дипломатическія ноты Врем. Правительства подъ сукно. Заставили бы ихъ по крайней мѣрѣ вспомнить, что на союзныхъ конференціяхъ представители Россіи присутствуютъ по праву и, приходя въ залъ засѣданій, должны находить тамъ приготовленное и для нихъ мѣсто...

Почему же Лондонъ и Парижъ такъ усердно толкали Россію въ объятія Германіи, всемирно саботируя Врем. Правительство? Я много раздумывалъ надъ этимъ вопросомъ. Многое мнѣ стало ясно только въ эмиграціи, здѣсь мнѣ пришлось, впервые въ жизни, столкнуться съ насто-

ящей, реально существующей Европой, — и правящей, и буржуазной, и социалистической. И я понял, что той Европы, которую носила в своем сознании русская интеллигенция, никогда вообще в природу не существовало. Мы думали, что там, за далекими, безкрайними, русскими просторами, вдали от жестокой царской реакции, есть блаженные страны всяческого демократического и гуманистического совершенства! Увы, этой, я бы сказала, «русской Европы», созданной по образу и подобию наших собственных политических идеалов, мы, оказавшись в эмиграции, нигде не нашли. «Нашей» Европы так же нигде не существует, как не существует идеального СССР, созданного ныне воображением европейцев, чающих нового, справедливого социального порядка. За наш самобман мы отомщены самообманом горшим европейцев!

Где же все-таки источник недоброжелательства, а иногда и нескрываемой враждебности к Врем. Правительству союзных кабинетов? Прежде всего, в общей тогда всем воюющим западным странам максималистической психологии. Ведь тогда общественное мнение только еще созревало — в Германии к Бресть-Литовским, в Париже — к Версальским дням войны. А тут вдруг, перед самой трудной боевой кампанией 1917 года, «вельпсе», донь-кихотское заявление Временного Правительства, о каких-то новых, демократических днях войны. «Свободный русский народ, защищая свои границы, не стремится к завоеванию чужих земель, не хочет ни с кого взыскивать дани и стремится к скорейшему заключению справедливого всеобщего мира на началах самоопределения народов».

Музыка будущего! Конспект знаменитых впоследствии 14 пунктов мирной программы президента Вильсона осенью 1918 г. оказался опубликованным слишком рано. Оказался ласточкой, которая еще ждала весны! «Тайные договоры» союзников, оглашения которых так настойчиво требовали — в своих воззваниях к русским солдатам — принц Рупрехт Баварский, и в своих прокламациях, речах и статьях Ленин, отстояли от этой новой программы войны на таком же почти расстоянии, как Марс от земли. (Конечно, программа войны центральных держав в своем утопи-

ческомъ максимализмѣ ни въ чемъ не уступала проектамъ Антанты). Враждебная реакція союзниковъ на новую военную политику революціонной Россіи была вполне естественна: вѣдь они оставались въ старомъ психологическомъ мірѣ довоенной Европы, мы же, первые въ Европѣ, — перешагнули за черту этого міра, ощутили новый строй международныхъ отношеній, намѣченный, но неосуществленный Лигой Націй!

Теперь, въ 1933 г., слова манифеста Врем. Правительства о цѣляхъ войны едва ли кому-нибудь въ Европѣ покажутся столь возмутительными и неприемлемыми. Но намъ пришлось писать его чуть ли не черезъ двѣ недѣли послѣ того, какъ изъ Парижа пришло телеграфное согласіе на желаніе наше включить всю Польшу (австрійскую, германскую и русскую) въ границы Россійской имперіи (на автосомныхъ, впрочемъ, началахъ). Телеграмма же эта съ своею очередь послѣдовала въ отвѣтъ на согласіе царя образовать изъ германскихъ земель по лѣвому берегу Рейна независимое буферное государство подъ протекторатомъ Франціи.

Впрочемъ, напряженная борьба между Врем. Правительствомъ и кабинетами Лондона и Парижа во все время Февральской революціи шла не столько о самомъ пересмотрѣ цѣлей войны, сколько по его поводу. Временное Правительство вовсе не собиралось ссориться съ союзниками изъ-за шкуры еще не убитаго медвѣдя. Мы просто хотѣли побѣдить! Намъ нужна была боеспособная армія! А для того, чтобы сдѣлать ее способной къ бою, нужно было дать войнѣ новыя цѣли, понятныя рядовымъ бойцамъ, съ новой, рожденной революціей психологіей. Во всякомъ случаѣ нужно было говорить другимъ, новымъ дипломатическимъ языкомъ, который не напоминалъ бы ненавистный фронтъ старый «империалистическій» языкъ царизма. Если въ мирное время армія — послѣдній аргументъ дипломатіи, то во время войны вся дипломатія — только служанка арміи. «Говорите, что хотите, и какъ хотите, — зывайте въ засѣданіяхъ Врем. Правительства А. И. Гучковъ къ министру иностранныхъ дѣлъ Милюкову, — только говорите такія слова, которыя поднимаютъ боеспособность арміи». Война имѣетъ свою психологію, побѣда — другую, часто совсѣмъ противоположную. Послѣ революціи намъ

нужны были на фронтъ такіа дипломатическія выступленія Антанты, которыя приблизили бы и Россію и всѣхъ ея союзниковъ къ побѣдѣ, а побѣда создала бы въ сердцахъ людей новыя настроенія, навѣрное, совѣмъ непохожія на настроенія армии, переутомленной войной. И развѣ мы всѣ не видѣли, какъ Версальскій договоръ, въ атмосферѣ первыхъ мѣсяцевъ побѣды, подписаль не только Клемансо, но и Вандервельде — лидеръ II-го социалистическаго интернационала, теперь требующій всеобщей, въ случаѣ войны, забастовки. Кто знаетъ, что бы подписали столь ненавидимые союзникамъ пацифисты изъ Совѣтовъ, если бы Россія побѣдила... А дѣломъ 1917 г. и Россіи и союзникамъ нужно было только одно, чтобы наша армія изъ состоянія фактическаго перемирія, установившагося въ первые два мѣсяца послѣ паденія монархіи на всемъ русско-германскомъ фронтѣ, вернулась къ активнымъ боевымъ дѣйствіямъ.

Долженъ съ удовольствіемъ сказать: сэръ Джордж Бьюкененъ и Альбертъ Тома, замѣститель Палеолога, отлично понимали смыслъ военной дипломатіи Временнаго Правительства. Они видѣли, что словесный «империализмъ» способенъ только укрѣпить влѣяніе пораженцевъ на фронтѣ, озлобить Совѣты противъ Врем. Правительства, разрушить столь необходимое тогда для успѣха войны единство націи. Они оба понимали, что случившаяся въ началѣ мая смѣна лицъ на посту министра иностранныхъ дѣлъ (вмѣсто Милюкова — Терещенко) была не результатомъ «интригъ», пріѣхавшихъ въ Петербургъ послѣ революціи делегаций иностранныхъ социалистовъ, а неизбежнымъ актомъ Времен. Правительства на пути къ восстановленію активныхъ операцій русскихъ армій. Можно сказать, что уходъ Милюкова изъ Министерства Иностр. Дѣлъ совпалъ съ моментомъ самыхъ лучшихъ отношеній между союзниками и Врем. Правительствомъ. Увы, тутъ случилось недоразумѣніе. Оно состояло въ томъ, что сначала въ дипломатическихъ кругахъ Лондона и Парижа смѣну лицъ въ Министерствѣ Иностр. Дѣлъ поняли, какъ рѣшеніе Врем. Правительства свою новую дипломатію ограничить одностороннимъ отказомъ Россіи отъ тѣхъ выгодъ, которыя въ случаѣ побѣды выпали бы на ея долю. Особенно одобряли Парижъ и Лондонъ нашъ отказъ отъ Константинополя. Ибо сама «военная» необходимость уступить его Россіи весьма раздражала



Парижъ и очень не нравилась Лондону\*). Новые представители революціонной Россіи казались изощренными государственными дѣятелями Антанты наивными дурачками, которые горѣли страстнымъ желаніемъ, совершенно безкорыстно, во имя, такъ сказать, революціонной идеи, голыми руками выхватить изъ огня войны горячіе каштаны для союзниковъ. Я помню, какъ одинъ изъ союзныхъ дипломатовъ въ разговорѣ со мной еще въ самомъ началѣ революціи сказалъ: — «Ну что-же, если Россія отказывается отъ Константинополя, тѣмъ лучше для насъ; это приблизитъ конецъ войны». Но можно ли было русскому переутомленному солдату вотъ такъ просто заявить: отказавшись отъ всѣхъ матеріальныхъ выгодъ побѣды и всѣхъ земель въ Польшѣ, вѣдь мы будемъ сеять только для того, чтобы Англія получила колоніи Германіи и ея флотъ, Франція — Эльзасъ-Лотарингію, «Ренанію» и огромную контрибуцію, Италия — славянскую Далмачію и т. д. Такое толкованіе демократической программы войны было бы явнымъ безуміемъ! Ни Терещенкѣ, ни кн. Львову, ни мнѣ никогда и въ голову не приходило, что въ Лондонѣ и въ Парижѣ могутъ такъ упрощенно истолковать военную политику Врем. Правительства. При первыхъ же разговорахъ новаго министра иностранныхъ дѣлъ съ иностранными дипломатами недоразумѣніе разъяснилось. Въ переводѣ на дипломатическій языкъ манифестъ Врем. Правительства о новыхъ цѣляхъ войны гласилъ: Временное Правительство предлагаетъ союзнымъ державамъ всѣмъ вмѣстѣ пересмотрѣть цѣли войны и съ своей стороны заранѣе заявляеть, что для скорѣйшаго заключенія мира Россія готова отказаться отъ своей доли военной добычи въ мѣру уступокъ въ этомъ вопросѣ другихъ, союзныхъ съ ней, великихъ державъ. Все лѣто мы добивались отъ Лондона и Парижа скорѣйшаго созыва междусоюзнической конференціи для пересмотра цѣлей войны. Все лѣто въ Лондонѣ и Парижѣ такой созывъ всячески оттягивали. Самое согласіе на конференцію было получено толь-

---

\*) Кстати, въ предложеніяхъ сепаратнаго мира, которыя дѣлались Россіи до революціи, всегда въ качествѣ главнаго козыря фигурировалъ все тотъ же Стамбулъ. И, заключая сепаратный миръ съ Германіей, императоръ Николай II имѣлъ бы хорошій козырь въ рукахъ; онъ лично изъ рукъ Германіи его не хотѣлъ. — А. К.

ко послѣ нашего наступленія. Нудные и раздражавшіе обѣ стороны переговоры тянулись мѣсяцами. Въ союзныхъ намъ столицахъ просто не хотѣли понять или, скорѣе, признать, что революція не только актъ сверженія монарха, но еще и длительный процессъ коренного перерожденія всей психологіи страны. Теперь, послѣ вихря революцій и контръ-революцій по всей Европѣ, политики и государственные дѣятели лучше понимаютъ, что такое революція. Тогда союзники относились къ дѣйствіямъ Врем. Правительства такъ, какъ будто такое непомѣрно огромное событіе, какъ исчезновеніе монархіи въ Россіи, никакого вліянія на международную политику Россіи не должно было и не могло оказать. А если все-таки оказывало, то въ этомъ вина слабой, безвольной, находящейся въ плѣну у совѣтовъ новой государственной власти.

А между тѣмъ на нашихъ глазахъ иѣмцы забрасывали русскіе окопы воззваніями, созвучными съ новыми настроеніями ошеломленныхъ революціей солдатъ. И эти непрерывныя психологическія атаки давали превосходные для Берлина результаты! Чтобы сохранить фронтъ, намъ нужно было броситься сейчасъ же въ словесную контръ-атаку. И союзники обязаны были въ этомъ намъ помочь! Развѣ «14 пунктовъ» мирной программы Вильсона не сыграли въ 1918 г. огромной роли въ психологической подготовкѣ капитуляціи Германіи?! Временное Правительство предлагало союзникамъ провозглашеніемъ новыхъ, демократическихъ цѣлей войны начать «Вильсоновскую» атаку Германіи на 18 мѣсяцевъ раньше. И такая атака, смѣло и дружно проведенная, дала бы блестящіе, рѣшающіе результаты.

Говорю я это, опираясь на нашъ собственный опытъ. Одинъ отказъ Временнаго Правительства отъ Константинополя по своимъ послѣдствіямъ равнялся большому, выигранному противъ Турціи сраженію! И послѣ русской революціи настроеніе въ правящихъ кругахъ Стамбула стало быстро и рѣзко мѣняться: къ осени Турція была совершенно готова къ сепаратному выходу изъ войны. Всю подготовительную работу велъ министръ иностр. дѣлъ Терещенко вмѣстѣ съ американскими дипломатами въ Константинополѣ. (Какъ извѣстно Соед. Штаты не объявили войны Турціи, какъ и Болгаріи). И миръ Турція заключила бы, вѣроятно, въ ноябрѣ. Одновременно

съ Турціей созрѣвала къ выходу изъ войны и Болгарія. Свободная Россія сразу морально разоружила также болгаръ. Сама австро-венгерская армія на русскомъ фронтѣ, подъ влияніемъ все той же Февральской революціи, стала сильно разлагаться. «Австро-славянскія войска въ подавляющемъ большинствѣ, — пишетъ генераль-фельдмаршалъ Гинденбургъ, — теперь, къ концу лѣта 1917 г., еще меньше будутъ сопротивляться русскому наступленію, чѣмъ въ 1916 году, ибо они политически разложились одновременно съ русскими войсками. Изъ учета этого положенія, какъ передаютъ перебѣжчики, должнъ былъ состоять и военный планъ Керенскаго, а именно: мѣстныя нападенія на нѣмцевъ, для того, чтобы ихъ прикрѣпить; главный же ударъ — противъ Австро-Венгерской стѣны. Такъ и случилось. Подъ Ригой, Двинскомъ, Сморгонью русскіе атакуютъ нѣмецкія позиціи и отрѣжутъ. Стѣна въ Галиціи оказывается каменной лишь тамъ, гдѣ австро-венгерскія войска перемѣшаны съ германскими. Напротивъ того, австро-славянская стѣна подъ Станиславовымъ рушится отъ простаго соприкосновенія съ арміей Керенскаго».

Совершенно очевидно, что этотъ моральный прорывъ непріятельской арміи нужно было намъ вмѣстѣ съ нашими союзниками всемѣрно углублять. Нужно было дѣйствовать дипломатическими нотами и общесоюзическими заявленіями, такъ же, какъ Рупрехтъ Баварскій дѣйствовалъ своими прокламаціями, а Ленинъ — резолюціями. Военныя операціи только закрѣпили бы уже достигнутыя дипломатическимъ путемъ побѣды.

Впрочемъ, свою чисто-техническую, военную задачу революціонная Россія и безъ дипломатической, моральной помощи союзниковъ въ полной мѣрѣ выполнила. Сравнивая вѣтшине благополучное состояніе русскаго фронта въ зиму передъ паденіемъ монархіи съ быстрымъ паденіемъ боеспособности нашей арміи въ началѣ революціи, историки и мемуаристы (среди нашихъ бывшихъ союзниковъ) весьма часто приходятъ къ совершенно ложному выводу: Февральская революція, разрушивъ боеспособность арміи, рѣзко нарушила стратегическіе планы союзныхъ армій и затянула войну на цѣлый лишній годъ. Военные авторитеты, сосредоточивая естественно свое вниманіе на совершенно недопустимыхъ въ обычное время несовершенствахъ въ организаціи армій послѣ

Февральской революціи, до нынѣшняго дня пишутъ о безпорядкахъ въ арміи, объ эксцессахъ солдатъ противъ офицеровъ, о дезертирахъ, о «провалѣ безумно задуманнаго наступленія» и т. д. Военные специалисты естественно судятъ всѣ явленія со своей профессиональной точки зрѣнія и было бы нелѣпо ихъ за это осуждать. Самая жестокая критика состоянія русской арміи послѣ паденія монархіи совершенно справедлива. И все-таки это еще не все. ибо оцѣнка государственная, политическая и международно-стратегическая нашего фронта во время Февральской революціи должна быть совѣтъ другой.

Какая задача была поставлена нашей арміи въ боевую кампанію 1917 года? Должны ли мы были заниматься наступательными операціями для захвата Константинополя, Будапешта или Берлина? Ясно — нѣтъ. Боевые задачи, неразрѣшенные русской арміей за все время войны до революціи, не могли разрѣшаться теперь среди общаго революціоннаго развала въ странѣ. Врем. Правительство поставило себѣ стратегическую задачу болѣе скромную, но зато вполне соответствующую наличнымъ силамъ. Мы поставили себѣ цѣлю: возстановлявая на сколько возможно боеспособность арміи, удержать на нашемъ фронтѣ до конца кампаніи 17 года наибольшее количество непріятельскихъ войскъ.

Для чего? Во-первыхъ, для того, чтобы лишить ген. Людендорфа возможности свободно маневрировать на фронтѣ нашихъ союзниковъ и, во-вторыхъ, чтобы этимъ самымъ отсрочить рѣшительное столкновение военныхъ силъ двухъ коалицій до весны 1918 г. Только такая отсрочка давала возможность Союз. Штатамъ дѣйствительно вступить въ войну и оказать въ 1918 году на фронтѣ нашихъ союзниковъ рѣшительную помощь. О томъ, что наша стратегическая задача была правильно поставлена, видно изъ писаній все того же Гинденбурга:

«Бездѣйствіе, которое лично мнѣ навязывается спокойнымъ выжиданіемъ, въ виду начинающагося разложенія арміи, очень тяжело, — пишетъ фельдмаршалъ. — Если я не могу теперь, въ виду политическихъ причинъ, согласиться на наступленіе на восточномъ фронтѣ, то солдатское чутье толкаетъ меня къ наступленію на западъ... Существуетъ ли болѣе послѣдовательная мысль, чѣмъ: бросить войска съ востока на западъ и начать

тамъ наступленіе. Америка еще далека! Пусть она явится, когда силы Франціи будутъ сломлены. Тогда уже будетъ слушкомъ поздно... Но Антанта также сознаетъ угрожающую ей большую опасность и она работаетъ всеми средствами для того, чтобы предотвратить разруху русской арміи и такимъ образомъ помѣшать намъ значительно разгрузить нашъ восточный фронтъ. Россія должна выдержать хотя бы до того времени, откуда вновь сформированныя американскія арміи смогутъ вступить на территорию Франціи».

Преодолевая неимоверныя трудности, — только для этого, по настоянію самого военного командованія во главѣ съ генераломъ Алексѣевымъ, я въ началѣ мая сталъ военнымъ и морскимъ министромъ, — Временное Правительство въ полной мѣрѣ разрѣшило поставленную ему военной обстановкой стратегическую задачу. Планъ германскаго командованія нанести на англо-французскомъ фронтѣ рѣшительный ударъ, пользуясь разложениемъ русской арміи, не осуществился. Случилось даже нечто противоположное: лѣтомъ 1917 года на русскомъ фронтѣ было сосредоточено наибольшее количество германскихъ войскъ за все время войны. 19 сентября 17 года отъ русскаго Верховнаго Командованія было послано союзникамъ особое сообщеніе\*). Это официальное сообщеніе, посланное союзнымъ правительствамъ для воздѣйствія на общественное мнѣніе, которое всей официальной печатью нашихъ союзниковъ устраивалось противъ Врем. Правительства, не было опубликовано ни въ Парижѣ, ни въ Лондонѣ! Тогда, въ сентябрь-октябрь, по-

\*) Въ немъ между прочимъ говорилось: ... «Прошло болѣе 6-ти съ половиной мѣсцевъ со дня начала нашей революціи, а наша армія продолжаетъ такъ же удерживать силы противника, какъ и раньше. При чемъ за это время эти силы не только не уменьшились, но наоборотъ, увеличились... Въ день перехода нашихъ войскъ въ наступленіе въ Галиціи 18-го іюня, число дивизій противника, находившихся на русско-германскомъ фронтѣ, было такое же, какъ и 27 февраля... А въ самый разгаръ боевъ въ Восточной Галиціи и Буковинѣ силы противника увеличились на 9 съ половиной пѣхотныхъ дивизій... Увеличеніе это приходится на долю германцевъ, а число турокъ и австрійцевъ даже уменьшилось. Артиллерія противника за этотъ періодъ увеличилась приблизительно на 640 орудій разнаго калибра».

слѣ неудачи популярнаго у союзныхъ военныхъ миссій ген. Корнилова, поднявшаго знамя возстанія противъ Врем. Правительства, отношеніе къ Врем. Правительству въ руководящихъ кругахъ Антанты стало явно враждебнымъ.

Для меня до сихъ поръ не до конца понятны мотивы, которые толкнули нѣкоторыхъ изъ видныхъ штатскихъ и военныхъ, англійскихъ и французскихъ государственныхъ дѣятелей на активную поддержку движенія генераловъ противъ Врем. Правительства, которое въ это время выполняло на фронтѣ операциі чрезвычайной важности не только для самой Россіи, но и для союзниковъ. Впрочемъ, психологія такого, напримѣръ, человѣка, какъ генераль А. Ноксъ, мнѣ совершенно понятна. Какъ теперь въ палатѣ общины, такъ и тогда, въ Россіи, генераль Ноксъ былъ на правомъ флангѣ въ своихъ политическихъ симпатіяхъ. Россію онъ, по всѣмъ моимъ наблюденіямъ, искренно любилъ, но для него Россія, какъ и для его друзей въ военной и свѣтской средѣ Петербурга, не мыслилась внѣ монархіи. Армія, гдѣ командный составъ не въ силахъ былъ командовать безъ помощи кочиссаровъ военнаго министра, для него не была арміей. Правительство, которое наполовину состояло изъ социалістовъ и не проявляло «сильной власти» по образцу добраго стараго царскаго времени, не было для него правительствомъ. Жесточайшія испытанія, черезъ которыя во время революціи прошло русское офицерство, онъ пережилъ, какъ свои собственныя. Его сочувствіе и содѣйствіе, какъ и многихъ другихъ членовъ союзныхъ военныхъ миссій, заговору ген. Корнилова я вполне понималъ бы, если бы онъ выступалъ по собственной инициативѣ, просто какъ brave officer, связанный товариществомъ съ русскими офицерами. Но дѣйствовалъ ли генераль Ноксъ только по собственной инициативѣ? Командеръ Локеръ-Ламсонъ общалъ отрядъ своихъ танковъ въ помощь генералу Корнилову по собственному ли только почину?... Не сомнѣваюсь, что такія отвѣтственныя дѣйствія по своей собственной инициативѣ никакой членъ англійской военной миссіи не предпринялъ бы. Знаю я также, что въ англійскомъ посольствѣ въ Петербургѣ не было вовсе единодушія по отношенію къ Врем. Правительству. Бьюкененъ былъ совершенно лояленъ по отношенію къ Врем. Правительству и наше не-

выносимо трудное, трагическое положеніе понималъ. Около него были люди (вродъ, напр., Брюсъ Локкарта), которые прямо безуміемъ считали всякую промахъ Врем. Правительства авантюру. Но въ Лондонѣ, какъ и въ Парижѣ, побѣдили взгляды, отражавшіе настроенія русскихъ консервативныхъ и либеральныхъ круговъ, русскаго военнаго командованія. А всѣ эти группы откровенно стремились, послѣ благополучнаго разгрома Времени. Правительствомъ большевиковъ въ июль, къ сверженію этого правительства и къ установленію военной диктатуры. Письмо, которое въ августъ привезъ извѣстный авантюристъ, бывшій членъ I-ой Гос. Думы, «трудовикъ» Аладьинъ-генералу Корнилову изъ Лондона передъ самымъ началомъ мятежа, письмо отъ отвѣтственнаго государственнаго дѣятеля, вполне одобряющаго инициативу ген. Корнилова, сыграло рѣшающую, можетъ быть, роль въ его психологіи.

Несмотря на явный и стремительный провалъ генерала Корнилова, руководящіе англійскіе военные круги остались вѣрными до конца политикѣ вмѣшательства въ русскія военныя дѣла для поддержки тамъ организацій противъ русской демократіи, борющейся въ это время съ союзомъ Ленинъ-Людендорфъ. Врем. Правительство представлялось консервативнымъ и либеральнымъ умамъ Запада носителемъ всѣхъ самыхъ страшныхъ золъ революціи.

Революцію нужно обуздать, вогнать русскую анархію въ русло нормальнаго порядка, какой полагается въ различныхъ буржуазныхъ государствахъ. Большевиамъ самъ по себѣ — пустякъ! Онѣ живутъ только слабостью Врем. Правительства, гдѣ засѣло такъ много «полубольшевиковъ». Нужно возсоздать «сильную» власть, а тогда справиться съ развращающей темной, варварскія солдатскія толпы пропагандой Ленина не будетъ стоить большого труда. Также думалъ высшій командный составъ, штабы и офицерство, банкиры и промышленные верхи, однимъ словомъ, вся вчера еще властвующая и господствующая Россія. Было естественно, что такого рода сужденія легко находили откликъ въ дипломатической и правительственной средѣ нашихъ союзниковъ.

Раздраженіе же новой военно-международной политикой Врем. Правительства нашло теперь весьма солидный фундаментъ: сами «настоящіе патриоты» Россіи хо-

тять только одного — свержения Врем. Правительства и восстановления дѣйствительно національной сильной власти руками военнаго диктатора. Сдѣйствіе подобнымъ патріотамъ — прямой долгъ искреннихъ друзей Россіи! Сдѣйствовать побѣдъ русскихъ «патріотовъ» надъ «полубольшевиками» — развѣ тутъ есть хотя малѣйшее нарушение союзныхъ обязательствъ? — Конечно, нѣтъ!

Объ одномъ только не догадались ни генераль Ноксъ съ Нюлансомъ въ Россіи, ни въ министерскихъ кабинетахъ Лондона и Парижа. Не догадались, что захвативъ власть, «диктаторамъ» не будетъ уже времени заниматься «импералистической» войной; всѣ ея силы будутъ поглощены войной гражданской. Сами же эвкульские вдохновители и руководители ген. Корнилова считали продолженіе войны съ Германіей теперь, послѣ «разложенія революціонной арміи», прямымъ безуміемъ. Да и вообще къ осени 1917 года вожди либеральной и консервативной Россіи, такъ же, какъ и большевики, считали побѣду союзниковъ «невозможнымъ предположеніемъ», (какъ нѣсколько побже находясь уже у власти передъ Брестъ-Литовскомъ, выразился Троцкий).

Я обѣщаль быть въ этой книгѣ совершенно откровеннымъ и поэтому долженъ сказать, что до сихъ поръ воспоминаніе объ одной моей личной ошибкѣ, въ отношеніи къ союзникамъ, меня упорно мучить. Сдѣлалъ я эту ошибку какъ разъ въ одномъ эпизодѣ, связанномъ съ дѣломъ о генеральскомъ мятежѣ. О самомъ этомъ мятежѣ я говорить здѣсь не собираюсь.

Поставивъ свою ставку на такую слабую лошадь, союзники оказались очень плохими спортсменами. Однако этотъ опытъ ничему ихъ не научилъ. Когда игра была въ нѣсколько часовъ проиграна, отношеніе къ Врем. Правительству совершенно не измѣнилось. Какъ будто что-то нарочно въ Лондонѣ и Парижѣ торопился помочь Людендорфу-Ленину поскорѣе взорвать русское правительство, которое въ невѣроятной трудной внутренней обстановкѣ продолжало поддерживать «союзниковъ» на полѣ брани. И вотъ, какъ то въ началѣ сентября мѣсяца, вскорѣ послѣ ликвидаціи бунта генераловъ Терещенко сказалъ мнѣ, — достаточно хмуро, — что три союзныхъ посла — англійскій, французскій и итальянскій — хотять сдѣлать мнѣ коллективное устное представленіе. Было назначено время и свиданіе состоялось.



Передавалъ вербальную ноту трехъ державъ Бьюкененъ, какъ старшій. Только еще одинъ разъ, при сообщеніи объ отказѣ англійскаго правительства допустить во время войны въ Англію царя и его семью, я видѣлъ англійскаго посла такимъ взволнованнымъ. Онъ былъ въ двойномъ качествѣ дипломата и англійскаго джентльмена очень выдержаннымъ, дисциплинированнымъ человекомъ. Но когда тонкіе его пальцы начинали едва-едва дрожать, когда на щекахъ появлялся нѣжный, почти дѣвичій румянецъ, когда голосъ его начиналъ чуть-чуть срываться и въ глазахъ появлялся влажный блескъ — это означало, что сэръ Джорджъ взволнованъ до крайности. Рядомъ съ нимъ сидѣлъ новый французскій посолъ, неизвѣстно почему на эту должность назначенный, специалистъ во французскомъ сенатѣ по финансовымъ и земельнымъ вопросамъ, Нулансъ. Этотъ, наоборотъ, былъ совсѣмъ «въ формѣ», какъ говорятъ французы, и видимо былъ очень доволенъ тѣмъ, что союзники рѣшили наконецъ сдѣлать «нужный окрикъ» въ Петербургъ. Да, коллективная вербальная нота была совершенно откровенна: она грозила прекратить всякую военную помощь Россіи, если... если Врем. Правительство въ кратчайшій срокъ не приметъ рѣшительныхъ мѣръ (по Корниловской программѣ. — А. К.) для возобновленія порядка на фронтѣ и въ тылу. Разсуждая о событіяхъ въ Россіи осенью 1917 г., Фердинандъ Гренаръ, французскій дипломатъ, бывшій въ то время въ Россіи и хорошо ее знавшій, пишетъ теперь въ своей, недавно вышедшей, отличной книжкѣ о русской революціи: «Союзники Россіи были ослѣплены своимъ желаніемъ во что бы то ни стало продлить сотрудничество Россіи на поляхъ сраженій. Они совершенно не видѣли, что было возможно и невозможно въ тотъ моментъ. Такимъ образомъ они только содѣйствовали игрѣ Ленина, отрывая председателя Врем. Правительства (Керенскаго) отъ народа. Они совершенно не понимали, что стремясь къ тому, чтобы Россія продолжала войну, нужно было примириться съ неизбежностью внутреннихъ беспорядковъ и удовлетворяться неустойчивымъ состояніемъ переходнаго времени. Докучая Керенскому упорядоченными настояніями, почти требованіями возобновить нормальный порядокъ въ государствѣ, они совершенно не оцѣнивали тѣхъ условій, въ которыхъ онъ находился, и только еще

больше увеличивали беспорядокъ, съ которымъ онъ борся».

И дѣйствительно, мы предъявляли ультимативное требованіе возстановить порядокъ, взорванный только что бевуміемъ генерала Корнилова, и кто же этого требовалъ?!.. Слушая вздрагивающій, нервный голосъ англійскаго посла, я пережилъ въ душѣ цѣлую бурю. Вотъ сейчасъ взять эту ноту, опубликовать ее въ печати съ разъясненіемъ — кто, гдѣ и когда и какъ помогаль генералу Корнилову, и сразу наступитъ конецъ «союзу»! Придется еще и къ заданиямъ союзныхъ посольствъ до отъѣзда пословъ поставить хорошую охрану... Но я сдержался. Теперь я давно уже думаю, что я сдѣлалъ тогда непростительную ошибку. Я предложилъ посламъ признать сдѣланное ими только что коллективное заявленіе какъ бы не бывшимъ. Союзники не опубликовываютъ его за-границей; Врем. Правительство не сообщитъ о немъ никому въ Россіи. Мое предложеніе тутъ же у меня въ кабинетѣ послами было принято и они ушли едва ли въ очень хорошемъ настроеніи. Я убѣжденъ теперь, что такое разрѣшеніе вопроса объ ультиматумѣ союзниковъ Временному Правительству, оказавшему только что на фронтѣ огромную помощь Парижу, Лондону и Риму, было донъ-кихотствомъ.....

**А. Керенскій.**

## Итальянская Африка

II \*).

### МЕЧТА ИМПЕРАТОРА: ВЕЛИКАЯ ЛЕПТИСЬ.

По сравнению съ Киренаикой Триполитанія — страна порядка, мира и цивилизации. Какими способами удалось добиться этого ее губернаторамъ и прежде всего ген. Бадолою, при которомъ умиротвореніе Триполитаніи стало совершившимся фактомъ, объ этомъ говорить здѣсь не мѣсто. Это дѣло политиковъ и журналистовъ. Но фактъ налицо: Триполи — большой итальянскій провинціальный городъ, чистый и нарядный. У него имѣется превосходная набережная, обсаженная пальмами; изящный костель, нынѣ превращенный въ Музей, правительственные канцеляріи и, къ сожалѣнію, тюрьма, костель, который когда-то былъ резиденціей всѣхъ разбойниковъ, что сидѣли въ Триполи и оттуда грабили моря, начиная съ арабскихъ влaстителей Триполи и вплоть до знаменитой династіи Караманди, одинъ изъ отпрысковъ которой теперь хранитъ Триполитанскіе архивы въ залахъ бывшаго гарема своихъ предковъ; превосходныя недорогія и комфортабельныя гостиницы; недурные итальянскіе магазины; десятки кафе и т. д., и т. д.; словомъ, все, что полагается имѣть доброму итальянскому городу, подчищенному и подновленному фашизмомъ. Правда, за этимъ итальянскимъ фасадомъ, все еще пахнущимъ краской и имѣющимъ видъ новенькой игрушки, ширится на нѣсколько миль обычный африканскій оазисъ, съ арабскими домами, улками и жилищами, но арабы эти, на видъ по крайней мѣрѣ, не проявляютъ враждебности къ своимъ новымъ господамъ и какъ будто не жалѣютъ о томъ времени, когда на фелсгахъ брали на бордажъ европейскіе грузовики и продавали въ рабство бѣлый рабскій товаръ на главной площади Триполи.

Дѣло умиротворенія не ограничивается Триполи. Триполи не Бенгази — не фасадъ безъ зданія. Стоитъ выѣхать изъ сто-

---

\*) См. «Совр. Записки» кн. 52.

лицы за городъ по одной изъ новыхъ превосходныхъ дорогъ на одномъ изъ многочисленныхъ наемныхъ автомобилей, чтобы убѣдиться, что начинается новая жизнь и въ пескахъ Триполитаніи. На километры тянутся новыя плантаціи — виноградники, рои и оливковъ, миндалей, всякихъ фруктовыхъ деревьевъ и т. д., дюны обсаживаются австралийской акаціей, живучей и неприхотливой, всюду вертятся колеса артезианскихъ колодезь, зрѣеть низенькій, но жирный ячмень. Словомъ, впечатлѣніе такое, что при посредствѣ все еще довольно медленной иммиграціи итальянцевъ, главнымъ образомъ сицилійцевъ, и такъ называемыхъ концессій, т. е. сдачи большихъ участковъ земли отдѣльнымъ капиталистамъ и обществамъ на акціяхъ, дѣйствительно въ ближайшемъ будущемъ удастся превратить Триполитанію опять въ то, чѣмъ она когда то была, въ страну садовъ и полей, въ отрѣзанный моремъ кусокъ южной Сициліи. Когда тѣ тысячи деревьевъ и лозъ вырастутъ и будутъ производить не десятки, а тысячи тоннъ вина, оливкового масла, съѣжихъ и сушеныхъ фруктовъ и овощей, можетъ быть и настанетъ день, когда огромный Триполитанскій портъ, на который затрачены милліоны, дѣйствительно наполнится судами, которые повезутъ продукты Триполитаніи въ Италію и дальше. Хватитъ ли рынка для всѣхъ этихъ будущихъ благъ, это другой вопросъ. Ничѣмъ другимъ, кромѣ земледѣльческой страны, Триполитанія не будетъ. Торговля сюда не пойдетъ, какъ въ давнія времена, фабрики здѣсь не вырастутъ, но сады вырастутъ, оливковое масло, вино и фрукты будутъ, если будетъ миръ и спокойствіе, не крахнеть метрополія колоній, а съ нею и капиталисты, вложившіе милліоны въ пески Триполитаніи.

Одной изъ чѣлъ строителей новой колоніи является сдѣлать ее центромъ итальянскаго и международного туризма. Условія для этого создатели колоніи считаютъ благоприятными. Есть голубое море, имѣются пальмы и оазисы, есть куски пустыни, налицо кой-какая экзотика, кое-какія, хотя и позднія хлопья, суки и базары съ мѣстными коврами и типичными работами въ серебрѣ, которыя могутъ стать на время европейской модой, особенно широкіе плоскіе серебряные браслеты, которые броней покрываютъ руки и ноги мѣстныхъ женщинъ. Все это такъ, но все же все это въ очень ограниченномъ масштабѣ, въ миниатюрѣ, не подъ стать Тунису, Алжиру и особенно модному теперь Марокко. Не очень привлекателенъ и климатъ. Слишкомъ много вѣтра и специально пустынного гадли, итальянскаго сирокко, который отъ времени до времени дѣлаетъ Триполи душнымъ и насыщеннымъ пескомъ.

Какъ бы то ни было, идея налицо и ей мы, историки и археологи, обязаны тѣмъ, что Триполи имѣетъ теперь и свои руины, по сохранности и богатству деталей могущія соревновать съ городами французской Африки и Сириі. Три города когда-то жили въ нынѣшней Триполитаніи: Великая Лептисъ, Оза и Сабрава. Оза превратилась въ современное Триполи и не можетъ быть и не будетъ расколпана. Интереснѣйшій гетропиль времени М. Аврелія, съ хорошо сохранившимися скульптурами останется навсегда единственнымъ памятникомъ, говорящимъ о римскомъ Триполи. Но Лептисъ и Сабрава преемниковъ не имѣли. Они рано были брошены кварталъ за кварталомъ и постепенно морской вѣтеръ и морской песокъ нагромождали надъ ихъ зданіями высокія дюны, изъ которыхъ отъ времени до времени въ зависимости отъ капризовъ песка и вѣтра видѣлись многоцвѣтныя мраморныя колонны или куски каменныхъ кводровыхъ стѣнъ.

Туристамъ нужна пища духовная. Хорошая, хорошо сохранившаяся руина для нихъ лафа. Многіе ворчатъ и жалуются на руины, но безъ руинъ все-таки туристическаго мѣста не пріемлютъ. Приличіе требуетъ отъ добраго туриста въ Сириі посѣтить Дамаскъ и Пальмиру, въ Греціи и М. Азіи — Акрополь Аѣинъ, Олимпію, Дельфы съ одной стороны, Эфесъ, Милетъ, Пергамъ и Приену съ другой, во французской Африкѣ — Тимгадъ и Ламбезисъ. Зная это, правительство колоніи немедленно организовало въ Триполитаніи систематическія раскопки какъ въ Лептисъ, такъ и Сабрава, и не жалѣетъ денегъ на то, чтобы освободить руины отъ песка, поставить на ноги свалившіяся колонны и стѣны, обсадить руины деревьями и цвѣтами и дать въ распоряженіе туристамъ хорошіе печатные гиды и отличныя дешевыя открытки со снимками руинъ и статуй. Въ добавленіе къ руинамъ выросли и интересные музеи: въ Триполи, въ Сабрава, въ Лептисъ.

Привлекутъ ли эти руины и музеи, какъ думаютъ власть имущіе и деньги дающіе, тысячи туристовъ въ Триполи или нѣтъ, этого я предсказать не могу. Пути туристовъ неисповѣдимы. Но намъ, историкамъ, раскопки уже дали много и много дадутъ еще. Онѣ сняли завѣсу съ уголка античнаго міра, не игравшаго большой роли въ міровой исторіи, но оригинальнаго и своеобразнаго. Онѣ дополнили наше знаніе путей развитія берберо - финикійско - римско - арабской Африки, къ которой Триполитанія всегда принадлежала. И *last but not least* по игрѣ судьбы, потому что одинъ изъ городовъ Трехградія (Триполи) временно былъ «мечтой императора», онѣ награждаютъ

насть первостепенными памятниками архитектуры и скульптуры, частью — скульптура — превосходными копиями старых классических греческих статуй, частью — скульптура и архитектура — первостепенными образцами римского имперского искусства, особенно в одной, поздней формѣ его развитія.

Но объ этомъ ниже. Здѣсь достаточно поблагодарить судьбу и, дай Богъ, интуицію, а не «мечту» современныхъ колонизаторовъ Триполитаніи за то, что не забыли они въ своихъ усиліяхъ вернуть Триполитанію къ цивилизації славнаго прошлаго колоніи и дали средства компетентнымъ и полнымъ энтузіазма руководителямъ раскопокъ, необходимые на то, чтобы постепенно возвращать къ жизни одно зданіе за другимъ двухъ когда то цвѣтущихъ городовъ Финикійской торговой колонизации и Римской имперіи. Последній изъ нихъ, проф. Гвиди, настоящій артистъ, такъ изящно обставившій и такъ художественно распланировавшій прелестные музеи Триполи и Лептисъ, былъ моимъ Вергилиемъ въ лабиринтѣ руинъ Сабраоны и Лептисъ, частью имъ самимъ освобожденныхъ отъ песка и восстановленныхъ. Ему шлю изъ-за моря свой привѣтъ и искреннюю благодарность.

Исторія древней Триполитаніи, какъ она намъ известна сейчасъ, несложна и небогата событіями. Когда то всѣ три города африканскаго побережья, тянущагося между двумя сиртами, были основаны финикійцами. Всѣ они были торговыми станціями у хорошо защищенныхъ морскихъ бухтъ. Случилось это тогда, когда подъ давленіемъ своихъ европейскихъ конкурентовъ грековъ финикійцы принуждены были всецѣло предоставить грекамъ ихъ собственное море — Эгейское и искать постоянныхъ рынковъ на западъ, куда давно уже ходили ихъ корабли. И здѣсь однако они встрѣтились съ тѣми же соперниками-греками. Греки закрыли финикійцамъ южную, этрусски — среднюю и сѣверную Италію. Не привились финикійцы и въ Галліи. Но въ смѣломъ порывѣ захватили они крайній западъ и туда уже не пустили грековъ. Центромъ ихъ была средняя часть сѣвернаго побережья Африки съ Карфагеномъ, Утикой и Гадруметомъ. Отсюда они владѣли Испаніей, Корсикой, Сардиніей и частью Сициліи, отсюда снаряжали свои экспедиціи далеко на юго- и на сѣверо-западъ, за Геркулесовы столпы.

Но и Африканское побережье имъ цѣликомъ не принадлежало. На пути ихъ экспансіи здѣсь лежалъ Египетъ съ его сферой вліянія. Въ предѣлахъ вліянія Египта, въ Киренаикѣ рано обосковались греки, которыхъ финикійцы не въ силахъ

были вытѣснить изъ нихъ высокаго плато и гористаго побережья. Большой Сиртъ сдѣлался рано границей ливійско-греко-египетской и берберо-финикійской Африки. На западъ отъ него не удалось проникнуть грекамъ, на востокъ — финикійцамъ. Всецѣло финикійскими были побережья Мароккское, Алжирское, Тунисское и Триполитанское. Всѣ эти побережья устьяны были финикійскими поселеніями. Многие изъ нихъ развились въ большіе города. Наиболѣе крупнымъ, какъ всѣмъ извѣстно, былъ Карфагенъ. Постепенно Карфагену, какъ это знакомо всѣмъ изъ учебниковъ, удалось объединить всю западную Финикію въ одну имперію и удержать эту имперію въ своихъ рукахъ въ теченіе болѣе трехъ столѣтій, вплоть до конфликта съ гимомъ, кончившагося уничтоженіемъ, а затѣмъ и разрушеніемъ Карфагена.

Все это общезвѣстно. Но только въ рамкахъ этого общезвѣстнаго понятна исторія междусиртовскаго Трехградья. Когда здѣсь основались финикійцы, мы въ точности не знаемъ. Но совершенно ясно, почему они это сдѣлали и почему такъ упорно защищали они эти поселенія и отъ туземцевъ, и отъ грековъ. Здѣсь въ гаваняхъ Лептисъ, Оза и Сабраваы выходили къ морю рядъ большихъ дорогъ изъ центральной Африки, по которымъ караваны отъ оазиса къ оазису везли всѣ продукты чернаго континента, главнымъ образомъ бѣлоснѣжные клыки слонь, ярко-черное дерево тропиковъ, золото, черныхъ рабовъ и многое другое, что такъ цѣнили покупатели средиземноморскихъ рынковъ. Города Трехградья не были, конечно, монополистами континентально-африканской торговли. Часть ея шла въ Египетъ, часть въ Киренаику, часть въ Карфагенъ. Но караванная торговля имѣетъ свои законы и свои исключительные центры. Однимъ изъ такихъ центровъ всегда былъ Феццанъ, страна гарамантовъ. Естественными же гаванями Феццана являются бухты Триполитаніи. Это знали финикійцы и здѣсь растянули они свои торговые сѣти. Такъ возникли, такъ расцвѣли и этимъ существовали столѣтія Лептисъ, Оза и Сабраваа. Объ этомъ такъ ярко говоритъ гербъ Сабраваы и Лептиса, могучій слонъ. Его мы видимъ и на мозаикѣ у входа въ контору Сабраваы, на биржѣ Остіи, его мраморную статую (недавно найденную) кто то посвятилъ на главной улицѣ Лептисъ въ римское время, слоновьи клыки были обычнымъ даромъ богатымъ купцовъ Трехградья, какъ объ этомъ, напримѣръ, говоритъ курьезная метрическая латинская надпись, найденная въ Триполи, въ которой посвяtitель называетъ слона старымъ его латинскимъ именемъ Луконскій быкъ (*Luceo bos*) (не забудь

демь, что слоновъ римляне впервые увидѣли въ арміи Пирра на поляхъ Луконіи). Какъ то умудрялись жители центральной Африки и эмиссары купцовъ, торговавшихъ дикими звѣрями для амфитеатровъ Римской имперіи, переправлять сюда и рѣдкихъ звѣрей Африки: и жителей пустыни — страусовъ, львовъ и леопардовъ и, можетъ быть, жителей джунглей — слоновъ. О первомъ мы освѣдомлены черезъ изящную мозаику I в. по Р. Хр. изъ ранней римской виллы въ Злитснѣ, гдѣ изображены амфитеатральные игры, которыми жители Трехградья отпраздновали побѣду Рима надъ Фещаномъ, о второмъ длинная надпись на рынкѣ Лептисъ, гдѣ благодѣтель города восхваляется за подарокъ городу трехъ «кляккастыхъ звѣрей», болѣе чѣмъ вѣроятно, слоновъ.

За торговлей послѣдовало земледѣліе и садоводство. Территорія около гаваней была застыяна и засажена. И скоро изъ гаваней стали вывозить не только слоновую кость и черное дерево, но и оливковое масло. Города богатѣли и тогда, когда они стали подданными Карѳагена, они въ состояніи были платить богатую дань своей госпожѣ.

Но все, что я говорю о до-римскомъ финикійскомъ періодѣ въ жизни Трехградья, является либо гипотезой, либо выводомъ изъ краткихъ упоминаній литературнаго преданія. Руины объ этомъ періодѣ пока молчатъ. Археологи заняты верхнимъ слоемъ, римскимъ. Въ нижніе, финикійскіе, заступъ и черка пока еще не проникли. Только на рынкѣ Лептисъ одиноко высится финикійская колонна, чудомъ сохранившаяся, свидѣтельство о далекомъ финикійскомъ прошломъ города.

Не говорятъ намъ памятники и о болѣе позднихъ, все же до-римскихъ періодахъ въ жизни Триполитаніи: о времени, когда побѣжденный Римомъ Карѳагенъ принужденъ былъ уступить Трехградье своему сопернику и злѣйшему врагу нумидійцу Массиниссѣ, о годахъ подчиненія Нумидіи; о долгихъ годахъ смутнаго времени, когда на поляхъ Африки боролись честолюбивые кандидаты на владычество въ Римской имперіи и когда подъ защитой этой смуты мѣстные подданные и кліенты финикійцевъ набросились на своихъ бывшихъ господъ. Только тогда начинаютъ говорить руины, когда кончился этотъ до-римскій періодъ и города Триполитаніи подъ охраной римскихъ легионовъ вновь зажили мирной жизнью. Былъ ли однако этотъ коздне-финикійскій періодъ въ жизни Триполитаніи періодомъ упадка или нѣтъ, мы не знаемъ. А ргіогі для Нумидіи и для ранней Римской имперіи, которую мы обыкновенно зовемъ поздней республикой, побережье Триполитаніи было



еще болѣе цѣнно и важно, чѣмъ для Карфагена, конкуррентами въ торговлѣ котораго въ концѣ концовъ были и Лептисъ, и Оза и Сабрава. Не вѣроятно поэтому случайное свидѣтельство, говорящее намъ о томъ, что въ эпоху Юлія Цезаря Лептисъ въ состояніи была платить диктатору милліонную контрибуцію оливковымъ масломъ. Со времени Августа Лептисъ и ея сестры вступаютъ въ новый періодъ ихъ жизни, періодъ постоянной, хотя и медленной, романизации и превращенія въ одинъ изъ многихъ провинціальныхъ городовъ Рима. Тѣ два столѣтія, которыя протекли послѣ конца смуты I в. до Р. Хр. и до начала кризиса второй половины III-го вѣка, были и для Трехградья, какъ и для остальной Римской имперіи, временемъ жизни безъ событій, безъ исторіи. Жители городовъ торговали, собирали жатвы и продавали ихъ, богатѣли, строили себѣ роскошные дома и виллы, отдавали часть своихъ богатствъ на укрѣпленіе родного города, объ этомъ долго говорили въ засѣданіяхъ муниципальнаго сената и болтали въ баняхъ, на рынкахъ и площадяхъ города, веселились, какъ могли, устраивали игры въ амфитеатрахъ, спектакли въ театрахъ, конскія ристалища въ циркѣ, какъ всѣ богатые и уважающіе себя города Римской имперіи. Но исторія у нихъ не было и въ политической жизни Рима они участія не принимали. Даже случаи, когда они могли выразить свою лояльность императору, были рѣдки, какъ рѣдки были случаи жалобъ на правителей, которыхъ посылали власти вѣ провинціи: большинство ихъ были честные, умѣлые и благожелательные люди, которыхъ приходилось благодарить за все, что они сдѣлали, когда послѣ проконсульства въ Африкѣ возвращались они въ Римъ, чтобы въ сенатѣ помогать императорамъ управлять имперіей.

Обо всемъ этомъ краснорѣчиво и многословно разсказалъ намъ руины городовъ съ ихъ сотнями надписей, гдѣ однимъ и тѣмъ же стилемъ, почти въ однихъ и тѣхъ же выраженіяхъ слышимъ мы одно и то-же о благоустройствѣ и богатствѣ города, о той процвѣтучести, которой не предвидѣлось конца. Но конецъ наступилъ и для Триполитаніи, какъ и для остальной Римской имперіи. Разразилась гроза III в. по Р. Хр., смута, гражданская война, поборы и раззореніе, власть солдатъ, ихъ наслія и произволь, безконечная смѣна императоровъ. Триполитанію эта волна смуты только задѣла. Но и ея силы она подточила. Не помогло и восстановленіе внѣшняго порядка Діоклетіаномъ и Константіномъ. Силы Римской имперіи были уже не тѣ, что раньше. Какъ и всегда, этимъ воспользовались, въ странѣ колонизации, тѣ мѣстные жители, которые никогда не примири-

лись съ чуждыми имъ владыками. Началась серія мѣстныхъ войнъ, набѣговъ «повстанцевъ» и погромовъ. Къ этому присоединились бѣды извнѣ. Изъ Испаніи появились вандалы и аланы, захватившіе Африку. Ихъ вытѣснили старые господа, теперь жестокіе и требовательные, ромэи, византійцы, чтобы въ концѣ концовъ ступеваться передъ арабами, истинными, упорными врагами которыхъ оказались не пришельцы, византійцы, а тѣ, кто и византійцамъ въ Триполитаніи сдѣлалъ жизнь несладкой, мѣстные берберы. Съ ихъ покореніемъ арабами кончается исторія древней Триполитаніи и начинается новая страница ея, приведшая къ новой ея колонизаціи европейцами, колонизаціи, при разсвѣтной зарѣ которой мы присутствуемъ.

Я уже говорилъ, что къ этой картинѣ, набросанной, главнымъ образомъ, на основаніи литературныхъ свидѣтельствъ, раскопки городовъ Триполитаніи добавили немало для періода римской prosperity и послѣдовавшей за нимъ эпохи долгой агоніи. О римскомъ Трехградъи мы знаемъ повидимому много и это знаніе наше съ каждымъ днемъ растетъ и ширится. Мы рады этому. Но все же то, чего мы хотѣли бы, это знать больше о финикійскихъ Лептисѣ, Озѣ и Сабраѣѣ.

Мы знаемъ такъ мало о финикійскихъ городахъ, какъ объ азіатскихъ метрополяхъ, такъ и о ихъ западныхъ колоніяхъ. Тиръ и Сидонъ все еще загадки. Раскопки пока что только затронули верхній римскій слой этихъ царицъ финикійской торговли. Только одиночные случайно найденные памятники ведутъ насъ въ болѣе ранній періодъ, не раньше впрочемъ времени персидскаго владычества. Библосъ, этотъ древнѣйшій финикійскій городъ, первый въ исторіи портъ Средиземноморья, черезъ который уже со времени первыхъ династій Египта шель обменъ между Азіей и Египтомъ по морю, а не по сушѣ (черезъ Синай), извѣстенъ намъ лучше благодаря систематическимъ раскопкамъ сначала Французской Академіи, а нынѣ сирійскаго правительства. Но и тутъ извѣстна только одна страница изъ исторіи Библоса, раскрытая намъ древнимъ храмомъ его и нѣсколькими гробницами.

Еще больше дразнятъ нашу любознательность послѣдніе сенсаціонныя открытія въ Ras Shamra, финикійскомъ портѣ къ сѣв. отъ Lataquié (древ. Лаодикея, портъ Антіохія), лежащемъ прямо противъ Каира. Раскопки здѣсь — въ храмѣ на верху холма, и въ некрополѣ около порта, — которыя мнѣ удалось посѣтить этой весной, дали намъ много неожиданнаго. Въ храмѣ найдены архивы его: религиозные тексты, изъ которыхъ одинъ является финикійской поэмой о твореніи мира и

о борьбѣ боговъ, написанные клинописнымъ алфавитомъ на древне-финикійскомъ языкѣ, и рядъ дѣловыхъ документовъ на вавилонскомъ, митанійскомъ и другихъ языкахъ. Гробницы же подарили намъ рядъ интереснѣйшихъ памятниковъ микенскаго ремесла и этимъ пріоткрыли завѣсу надъ участіемъ финикійцевъ въ западной торговлѣ уже въ XII в. до Р. Хр., когда микенцы были господами какъ Эгейскаго, такъ и Западныхъ морей и очевидно сносились съ вавилонскимъ Востокомъ черезъ Финикию. Но и въ Ras Shamra мы только въ самомъ началѣ. Исторію города, исторію его роста и развитія его торговли съ Азіей, Африкой и Европой мы пока еще не имѣемъ.

Если все еще загадочны и таинственны финикійскія матери, то еще менѣе извѣстны ихъ западныя дочери. Карфагенъ, ихъ властитель, центръ финикійской имперіи Запада все еще хранитъ глубокое молчаніе. Гробницы, раскопанныя неутомимымъ Père Delattre, дали намъ кое-какое представленіе объ искусствѣ, погребальныхъ обрядахъ и культурѣ финикійскаго Карфагена. Но мало, и то малое, что мы имѣемъ, такъ неопредѣленно и туманно. Города же Карфагена мы не знаемъ. Не знаемъ даже римскаго города, только клочками доступнаго изслѣдованію и вскорѣ совершенно закрѣошагося для него, такъ какъ все больше и больше частей античнаго города застраивается виллами тунисскихъ богачей, а у правительства нѣтъ рѣшимости объявить всю территорію Карфагена заповѣдной, какъ это сдѣлали итальянцы для Кирены, Лептиса и Сабраома. Къ сожалѣнію, поэтому намъ приходится на финикійскомъ Карфагенѣ поставить крестъ. Не лучше обстоитъ дѣло и съ Утикой, и съ Гадруметомъ, и съ другими морскими финикійскими débouchés большихъ торговыхъ дорогъ, шедшихъ изъ Африки къ морю. Всѣ они — цвѣтушіе современные города и конечно никогда разслѣдованы не будутъ. Мало надеждъ и на Испанію, и Сицилію; хотя въ послѣдней одна незначительная финикійская торговая станція (Могія) была раскопана. Иначе въ Триполитаніи. Здѣсь препятствій къ тому, чтобы подъ римскими Лептисъ и Сабраою искать и найти финикійскія — нѣтъ никакихъ. Путь открытъ, надо только по нему пойти. Нельзя думать, что римское окончательно и безслѣдно задушило финикійское. Планъ старыхъ частей городовъ остался несомнѣнно тотъ же. Найдутся и фундаменты финикійскихъ зданій и надписи финикійскаго періода. Несомнѣнно найдутся и гробницы финикійскихъ поселенцевъ со всею ихъ утварью. Ихъ надо только систематически поискать. Тогда только начнемъ мы понимать, чѣмъ были тѣ сотни финикійскихъ караванныхъ горо-

доть, которые съ суши принимали грузы тысячей верблюдовъ, а на морѣ строили корабли, чтобы разбросать эти грузы по всему Средиземноморью и за его предѣлами. Тогда только познакомились мы и съ тѣмъ, что создала въ смыслѣ типа градостроительства, типа политической организаціи и типа культуры комбинація каравана и флота, верблюда и корабля.

Пока же удовольствуемся римской версіей этого финиійскаго созданія, той, которую постепенно открываютъ раскопки. И здѣсь передъ нами только начало; общая физіономія римскихъ Лептисъ и Сабраѳы пока еще неуловима. Но кое-что ясно и сейчасъ и объ этомъ позволимъ себѣ сказать два слова.

Общій планъ Сабраѳы для насъ яснѣе общаго плана Лептисъ. Здѣсь городъ вытянулся узкой полосой вдоль берега длинной и узкой гавани, которая всегда была тамъ, гдѣ находится и сейчасъ. Съ берега видны остатки портовыхъ сооружений; самъ берегъ несомнѣнно былъ набережной съ причалами, складами и магазинами. Сейчасъ же за ними ширятся большія площади города, только иначе планированныя и богаче обстроенныя, но не сдвинутыя съ мѣста римлянами. Ходъ главныхъ улицъ, къ сожалѣнію, все еще неясенъ, такъ какъ усилія изслѣдователей руинъ Сабраѳы до сихъ поръ направлены были исключительно на раскопку большихъ общественныхъ аданій римскаго времени, давшихъ богатую жатву архитектурныхъ деталей, скульптуръ и надписей.

Болѣе сложна, болѣе запутана, менѣе прозрачна въ ея главныхъ линіяхъ структура Лептисъ. Въ ея сложную архитектурную исторію еще болѣе сложное внесло то, что на короткій періодъ въ ея жизни Лептисъ сдѣлалась городомъ «мечты императора». Вотъ какъ это случилось. Я уже сказалъ о томъ, какъ Лептисъ въ I и II вв. по Р. Хр. сдѣлалась богатѣйшимъ и вѣтущимъ городомъ. Рядъ семей Лептиса сильно разбогатѣлъ, романизировался, забылъ свое финиійское происхождение и вошелъ въ составъ римской правящей и культурной аристократіи. Одной изъ такихъ семей была семья, римское имя которой было Септиміи, можетъ быть, переводъ пунического эквивалента этого имени, можетъ быть, взятое старое римское имя офиниіевшейся семьи римскихъ колонизаторовъ. Члены этой богатой полу-финиійской семьи частью перѣехали въ Италію и здѣсь приняли живое участіе въ столической сутолокѣ, частью остались дома. Тѣ, кто остались дома, главнымъ образомъ женщины, удержали старыя пуническія традиціи и въ домашнемъ обиходѣ все еще говорили на мѣстномъ пуническомъ діалектѣ.

Во второмъ вѣкѣ одинъ изъ членовъ семьи Септиміевъ, жившихъ въ Лептисъ, какъ многіе другіе его сограждане, покинулъ Лептисъ для Италіи и Рима и началъ обычную карьеру римскаго офицера и чиновника, приведшую его въ концѣ концовъ въ Сенатъ, къ командованію провинціями и римскими сильными провинціальными арміями. Въ смутахъ послѣ конца династіи Антониновъ, послѣ смерти Коммода, когда престолъ оказался вакантнымъ и доступенъ былъ любому счастливому и талантливому честолюбцу, Лептійскій Л. Септимій Северъ, командовавший въ то время одной изъ сильнѣйшихъ римскихъ армій (въ Панноніи на Дунаѣ), протянулъ руку къ императорскому вѣнцу и послѣ долгой и кровавой борьбы прочно усѣлся на престолъ, начавъ собою новую династію, династію Северовъ, прожившую, правда, недолго, менѣе 50 лѣтъ.

Римлянинъ по образованію и воспитанію, Септимій Северъ никогда не забывалъ своего восточнаго происхожденія. Фонъ его души и настоящія его симпатіи были восточными, какъ ни старался онъ позировать, какъ стопроцентный римлянинъ. Недаромъ женился онъ на знатной дамѣ царскаго восточнаго происхожденія, Юліи Домнѣ, недаромъ симпатіи и дары его шли главнымъ образомъ въ Африку и Сирію. Жестокій честолюбецъ, пролившій моря крови, Септимій Северъ несомнѣнно былъ романтикомъ и мечтателемъ. Мечталъ онъ о прочности своей династіи и о согласіи между своими сыновьями Каракаллой и Гетой, подъ эгидой ихъ восточной матери, мечталъ о завоеваніи Востока и о міровой имперіи, мечталъ, вѣроятно, и о многомъ другомъ.

Его мечтой былъ и его родной городъ. Онъ сохранилъ къ нему нѣжную любовь. И онъ хотѣлъ, чтобы его городъ, его родина были такъ же блестящи и грандіозны, какъ блестяща и грандіозна была карьера одного изъ его сыновъ, нынѣ влстителя міра. Лептисъ должна была стать второй столицей Африки, вторымъ Карфагеномъ, можетъ быть, должна была затмить Карфагенъ. И Лептисъ на деньги и по плану своего императора сталъ лихорадочно перестраиваться и украшаться. Она стала городомъ мечты императора. Когда и какъ Септимій Северъ создалъ планъ перестройки города или вѣрнѣе планъ созданія рядомъ со старой своей новой Лептисъ, мы не знаемъ. Онъ могъ окончателно набросать его въ 203 г., когда онъ, по всей вѣроятности, вмѣстѣ съ обоими сыновьями своими Каракаллой и Гетой посѣтилъ Лептисъ во время своего долгаго путешествія по Африкѣ. Но онъ могъ продиктовать свой планъ своимъ архитекторамъ и изъ Рима. Онъ достаточно хорошо

зналъ свой городъ, который избѣгалъ вдоль и поперекъ мальчигомъ и юношей. Но въ законченномъ видѣ своего города онъ не увидѣлъ. Это съ несомнѣнностью доказали раскопки нѣкоторыхъ изъ построенныхъ имъ зданій. Для него новая Лептисъ была и осталась городомъ его мечты.

Принадлежалъ ли къ общему плану Севера одинъ любопытнѣйшій памятникъ города, давно уже раскопанный итальянцами, или нѣтъ, мы не знаемъ. Самъ памятникъ однако настолько интересенъ для характеристики Севера и его отношенія къ Лептисъ, что стоитъ остановиться на немъ подробнѣе. Это — триумфальный тетропилъ, арка съ четырьмя пролетами, и посейчасъ еще стоящая въ развалинахъ при въѣздѣ или выѣздѣ въ городъ или изъ города со стороны суши, на ю.-зап. периферіи города. Другой соответственный тетропилъ, можетъ быть, выстроенъ былъ въ порту, при въѣздѣ въ городъ съ моря. Это, впрочемъ, простое предположеніе.

Въ тетропилѣ интересна и его архитектура, такъ напоминающая тетропилы Сирии, особенно монументальный тетропилъ Лаодикеи приморской, полностью сохранившійся, особенно же его скульптуры. Скульптуръ имѣется двѣ серіи: одна — монументальный флотъ или большія панно на четырехъ сторонахъ верхней части арки, другая — внутри арки. Расположеніе, очень напоминающее арку Траяна въ Беневентѣ и арку Септимія Севера въ Римѣ. О второй серіи я позволю себѣ сказать нѣсколько словъ позднѣе. Здѣсь два слова общаго характера о первой. Скульптуры арки еще не опубликованы и я не желаю предвосхищать результатовъ ихъ анализа, которые вскорѣ, надо надѣяться, будутъ даны предшественникомъ Guidi — Bostoccini.

Вышніе барельефы арки, какъ и всегда въ этомъ символическомъ, имперскомъ искусствѣ, ярко отражаютъ главные интересы и главныя заботы императора, даютъ болѣе или менѣе основныя линіи его политической программы и отражаютъ его политическія идеи. На двухъ сторонахъ арки изображенъ триумфъ императора, на двухъ другихъ — церемонія жертвоприношенія. Триумфъ построенъ по обычной схемѣ: императоръ на колесницѣ со своимъ соправителемъ Каракаллою и съ наслѣднымъ принцемъ Гетой; вокругъ императорской колесницы, спереди и сзади, его свита и армія, передъ нимъ символы покоренныхъ народовъ. Характерно однако, что изображенъ не римскій, а другой, лептійскій триумфъ императора. Объ этомъ опредѣленно говорятъ лептійскіе боги, изображенные на триумфальной колесницѣ: Геркулесъ и Вакхъ (*Liber*), одаряю-

ше «Судьбу» города Лептисъ, ея Тихе или Фортуну, семитическую Гадъ, такъ хорошо извѣстную намъ въ Сиріи, а также то, что на фонѣ триумфальной процессіи виднѣется маякъ: движется, такимъ образомъ, процессія изъ порта въ городъ, изъ того порта, несомнѣнно, который, какъ увидимъ ниже, созданъ былъ для Лептисъ Северомъ. Тотъ же мѣстный колоритъ характеризуетъ и другой триумфальный фризъ. Здѣсь процессія движется мимо колоннаго здания, по всей вѣроятности мимо новаго форума Севера, о которомъ ниже.

Еще интереснѣе однако сцены жертвоприношенія. Обѣ онѣ глубоко символичны. На одной мы видимъ Септимія Севера въ одеждѣ великаго понтифика, съ ларцемъ въ лѣвой рукѣ,жимающаго руку своего старшаго сына Каракаллы: *unctio dextrarum*. Сзади, въ гражданской, а не военной одеждѣ, т. е. въ тогѣ, стоитъ Гета, подъ покровомъ и защитой соединенныхъ правыхъ рукъ императоровъ. Надъ ними, какъ бы благославляя согласіе и единеніе императорскаго дома, «Судьба» Лептисъ, Гераклъ и Вакхъ, тѣ-же боги Лептисъ, что изображены и на колесницѣ. Налѣво — Юлія Домна, окруженная богами Рима, радуется этому миру и согласію въ семьѣ.

Въ другой, очень фрагментарной сценѣ жертвоприношенія, до сихъ поръ еще не возстановленной, жертва приносится, какъ кажется, не членами императорскаго дома, а обожественнымъ императору и императрицѣ, изображеннымъ съ чертами Юпитера и Юноны. Рядомъ съ Северомъ-Юпитеромъ Каракалла; подъ покровомъ Юноны-Юліи Домны, Эфебъ-Гета съ длинными волосами, въ туникѣ, а не въ тогѣ. Языкъ этихъ двухъ рельефовъ мнѣ ясенъ. Мы не знаемъ, когда выстроены были тетрапилы. Весьма вѣроятно не тогда, когда никто не ждалъ пріѣзда императора въ Лептисъ, а тогда, когда послѣ своей парвенской экспедиціи онъ навѣстилъ Лептисъ, т. е. въ 203 или 204 г. по Р. Хр., тогда же, когда выстроены были и двѣ знаменитыя арки Севера въ Римѣ. Тогда и былъ отпразднованъ въ Лептисѣ второй триумфъ императора. Осуществилась мечта честолюбиваго юноши: въ свой городъ онъ въѣзжалъ, какъ императоръ, владыка міра, и какъ триумфаторъ, покоритель вселенной, новый Діонисъ и новый Гераклъ. Въ этомъ торжествѣ объединилась вся семья: любимая жена его и его два сына.

О мечтахъ Севера, касающихся будущаго его семьи и его династіи, такъ ярко говорятъ рельефы жертвоприношенія, близко напоминающіе такіе же рельефы на аркѣ банкировъ и мѣняльщиковъ, и посейчасъ стоящей въ Римѣ около S. Giorgio à Velotto. На одномъ Гета—еще Эфебъ, тогда какъ Каракалла

уже юноша и Августъ. Надъ обоими — благословеніе ихъ обо-жественныхъ родителей. На другомъ — Гета уже въ тогѣ, уже юноша, подъ крѣпкой защитой согласія между его старшимъ братомъ и отцомъ, двумя правителями, двумя Августами. Последнюю сцену принято толковать, какъ сцену изображающую включеніе Геты въ число Августовъ, уравненіе его въ правахъ съ Каракаллой, что случилось въ 209 г. Но въ это время Северъ съ семьей былъ въ Британіи и врядъ ли ожидался его скорый пріѣздъ въ Лептисъ. Между тѣмъ между 202 и 203 годомъ Гета получилъ *toga virilis*, сдѣлался совершеннолѣтнимъ, мужемъ, а не мальчикомъ. Этотъ актъ и увѣковѣченъ на Лептійской аркѣ.

Но о большемъ говоритъ эта сцена, о болѣе важномъ. Не о фактѣ, а о мечтѣ. Мы хорошо знаемъ, что не было согласія въ семьѣ Севера. Только что на аренѣ цирка произошло столкновеніе двухъ принцевъ. Каракалла въ этомъ столкновеніи двухъ колесницъ, одной управляемой имъ, другой Гетой чуть не лишился жизни. Ни о чемъ такъ страстно не мечталъ Северъ, какъ о томъ, чтобы кончилась эта вражда и въ согласіи прожили его наследники. И объ этомъ говоритъ идиллическая сцена *junctio dextrarum*. Сквозь эту идиллію мы однако чувствуемъ ужасъ и страхъ Севера передъ будущимъ. Мечталъ онъ о *concordia principum*, но въ душѣ не вѣрилъ въ нее и старался отогнать страхъ. Правъ былъ его страхъ, а не официальный оптимизмъ и мечта. Какъ только ушелъ Северъ въ другой міръ, такъ не охранили Гету ни *junctio dextrarum*, ни защита матери: палъ онъ подъ ножомъ озвѣрѣвшаго Каракаллы, *in gremio matris*.

Вернемся однако къ Лептисъ. Если я правъ въ моемъ толкованіи рельефовъ тетропида, то въ нихъ уже ясенъ планъ императора, его мысли о новой Лептисъ. Портъ и форумъ, около нихъ группировалась новая Лептисъ.

Какъ и Сабрава, и Лептисъ всегда тянулась къ своему порту. Но портъ Лептисъ иной, чѣмъ портъ Сабрава. Его создала рѣка, ваді Лебда, какъ она зовется теперь, съ ея устьемъ, защищеннымъ отъ части вѣтровъ двумя скалистыми мысами. Около этого естественнаго порта вѣроятно расположился древнѣйшій городъ, финикійское поселеніе съ причалами, магазинами и складами, и, вѣроятно, по сосѣдству съ главной площадью и главнымъ рынкомъ. Отъ порта черезъ площадь и рынокъ шла вѣроятно главная улица города, дорога его торговли, по которой шли караваны съ товарами къ порту. Эта улица навсегда осталась главной улицей города. Эту улицу принято называ-



вать римскимъ именемъ *desumptus*, хтя планировка Лептисъ ничего общаго не имѣеть съ планировкой римскаго города-лагеря.

Въ римское время городъ росъ и украшался, но по старымъ главнымъ линіямъ. Вдоль главной улицы выросли одно новое зданіе за другимъ. Старыя укрѣпленія замѣнены были новыми, можетъ быть созданиемъ Августа, для защиты города отъ гармантовъ. Въ этихъ укрѣпленіяхъ открывались роскошныя ворота съ римскими именами. Перестроенъ былъ и главный рынокъ города, недавно раскопанный, многожды — первый разъ вѣроятно при Тиберіи. Обновленъ былъ вѣроятно и форумъ, но его мы еще пока не нашли. Надъ главной улицей сооруженъ былъ недалеко отъ ю.-з. востокъ изящный тетростолъ императоромъ Траяномъ. Роскошныя бани — такія типичныя для римскихъ идей о комфортѣ — выросли въ разныхъ частяхъ города. Наиболѣе богатая недалеко отъ центра на щедроты великаго строителя императора Адриана. Тогда же приблизительно вѣроятно созданы были и театръ, и циркъ, и амфитеатръ.

Такъ росъ городъ естественно и медленно, одинъ изъ многихъ богатыхъ римскихъ провинціальныхъ городовъ. Въ это развитіе Септимій внесъ новую ноту. Насколько глубока была его перестройка города, мы не знаемъ. Знаемъ только осуществленіе части его плана. Началъ онъ съ порта. Несомнѣнно, тотъ грандіозный портъ, что ширится теперь передъ посѣтителемъ и расширяеть безмѣрно устье рѣки — дѣло рукъ Септимія. Онъ былъ, конечно, слишкомъ великъ, и роскошенъ для города, портъ для будущаго, для мечты. Значительно болѣе великъ онъ, чѣмъ похожій на него портъ Траяна, портъ Рима около Остіи. Можетъ быть, такъ же великъ, какъ торговый портъ Карфагена. Эта величина, богатство его оборудованія, новенькій видъ его набережныхъ, какъ они теперь возстаютъ передъ нами, освобожденные отъ песка, все говоритъ за то, что портъ дѣло рукъ Севера, *portus novus Severianus*, какъ, можетъ быть, звался онъ. Но и это имя, и Северовское происхожденіе порта пока еще гипотеза. Точныхъ доказательствъ у насъ нѣтъ. Но вѣроятность велика и гипотеза становится еще болѣе привлекательной, если принять во вниманіе послѣднюю находку Guidi въ порту. Прямо противъ входа въ портъ, надъ его ю.-з. набережной Guidi открылъ руины могучаго храма, на высококомъ подіи, спускающемся какъ театръ къ водѣ. Эта лѣстница храма и ступени набережной были естественной трибуной, съ которой такъ удобно было обозрѣвать весь портъ и слать привѣтъ тѣмъ, кто входилъ въ него. Самъ

храмъ былъ первымъ зданіемъ, колонны и стѣны котораго встрѣчали своими горячими красками корабли, входившіе въ портъ. Времени постройки храма мы еще не знаемъ. Но знаемъ, кому онъ былъ посвященъ. Его богъ — былъ восточный хетскій Тешубъ, котораго римляне звали *Jupiter Dolichenus*, богъ маленькой деревни въ Сири. Своей міровой карьерой онъ обязанъ былъ сирійскимъ солдатамъ, такъ какъ богъ онъ былъ воинственный и носилъ форму римскаго легіонера. Одной изъ опоръ Севера были его сирійскіе солдаты. Если жена его была «матерью лагерей», то лагери имѣлись въ виду главнымъ образомъ восточные. Для нихъ, для этихъ восточныхъ солдатъ, заразившихъ своимъ религіознымъ энтузіазмомъ и западъ, и выросъ на берегу новаго порта храмъ новаго Юпитера, конкуррента стараго Капитолійскаго, одряхлѣвшаго на своемъ холмѣ на берегу Тибра.

Другого новаго Юпитера чтили и во второмъ огромномъ архитектурномъ комплексѣ, созданномъ Северомъ. Отъ порта по лѣвому берегу рѣки Северъ провелъ широкую колонную аллею или проспектъ, въ основныхъ линіяхъ вѣроятно его триумфальную дорогу. Направо отъ этой дороги, если ѣхать отъ порта, высятся величественныя руины окруженнаго высокой стѣной *Forum Novum Severianum*, новаго центра политической и религіозной жизни *Leptis*. Раскопка его еще не кончена, но и сейчасъ видны его главныя линіи, тѣ-же въ общемъ, что линіи знаменитаго форума Траяна въ Римѣ. Одну короткую сторону его (с.-в.) занимаетъ грандіозная базилика, чудо иллюзионистической архитектуры, мостъ отъ Рима къ Византіи. Двѣ монументальныя абсиды занимаютъ ея коротка стороны. Богато украшены онѣ пилястрами, нишами, статуями, колоннами. Грандіозныя ряды колоннъ дѣлятъ базилику на три нефа и могучій портикъ ведетъ въ нее на с.-в. ея длинной сторонѣ. Изъ базилики можно войти въ форумъ, хотя ведутъ въ него двери и на другихъ сторонахъ. Передъ ними широкая площадь, вродѣ *piazza* Венеціи, окруженная интересными полу-египтизирующими колоннами, можетъ быть, въ два этажъ. А въ глубинѣ, на высококомъ подіи монументальный храмъ. Северовское происхожденіе базилики, форума и храма засвидѣтельствовано надписями, хотя возможно, что базилика задумана была уже раньше. Одинъ взглялъ на планъ *Leptis* показываетъ, что новый форумъ неотдѣлимъ отъ новаго порта и задуманъ, какъ одно съ нимъ архитектурное цѣлое.

Но чей храмъ высился на форумѣ? Былъ ли это новый капитолій *Leptis*, получившей отъ Севера *ius Italicum*? Трудно

но думать, что Северъ кассировалъ старый Капитолій, который несомнѣнно существовалъ въ Лептись, такъ какъ Лептись уже задолго до Севера сдѣлалась римской колоніей. Такое кассированіе было бы оскорбленіемъ Великому Лучшему Юпитеру Рима. И тѣмъ не менѣ идея Капитолія напрашивается сама собой. Позволю себѣ предложить компромиссъ. Я уже говорилъ о скульптурахъ Северовскаго тетропила. Мы видѣли скульптуры внѣшнихъ его фасадовъ. Мы видѣли сцену жертвоприношенія обожествленнымъ императорамъ. Но украшенъ былъ тетропилъ скульптурами и внутри. Отъ нихъ дошли только фрагменты, но достаточные для реконструкціи. Какъ и на аркѣ Траяна въ Беневентѣ, внутри тетропила изображена была встрѣча императора городомъ. Магистраты приносятъ жертву богамъ. Передъ нами длинные ряды этихъ боговъ. Среди нихъ главное мѣсто занимаетъ, какъ и надлежитъ, Капитолійская триада: Юпитеръ, Юнона, Минерва. Головы Юпитера и Юноны сохранились. Это настоящіе портреты Септимія Севера и Юліи Домны, только слегка идеализованные. Вотъ они, боги новаго Северскаго Форума! Вотъ почему нѣтъ монументальнаго памятника Северу на его форумѣ! Его памятникомъ и его храмомъ, его, Севера-Юпитера, былъ храмъ его форума, новый Капитолій Лептись. Въ немъ онъ царилъ, какъ царилъ римскій Юпитеръ на старомъ форумѣ и солдатскій Юпитеръ Долихенъ надъ портомъ. Вокругъ новой триады толпились остальные боги, весь Пантеонъ Рима и Лептись. Завершеніе мечты Лептійскаго мальчика. Если не отъ чистильщика сапогъ или продавца газетъ къ президенту — мечта каждаго американская боя — то отъ ученика Лептійской реторической школы не только до императора, но и до бога. Новый Северовскій Юпитеръ на новомъ Северовскомъ форумѣ! Еще одна мечта, осуществленія которой императоръ не увидѣлъ. Но видимъ или гадаемъ о ней мы.

Но оставимъ гипотезы. Несомнѣнно, что Северъ создалъ рядомъ со старой или на мѣстѣ части старой свою новую Лептись уже тогда, когда начала дряхлѣть Римская имперія и поэтому дошла она до насъ такой новенькой, не подъ стать старой Лептись. Такая, какая она есть, она глубоко интересна. Не говорите—провинціальное искусство. Это невѣрно. Мы знаемъ по надписямъ, что форумъ построили греки, во всякомъ случаѣ люди съ греческими именами, не лептійцы. Откуда они появились въ Лептись, мы не знаемъ. Но стиль Северовскихъ скульптуръ Лептись тотъ же, что и стиль его скульптуръ въ Римѣ. Не многимъ разнится и Северовская лептійская архитек-

тура отъ Северовской римской, намъ хорошо знакомой по Септизонію, по триумфальнымъ аркамъ и т. д. Ясно, что мастера въ Римѣ и Лептисъ были тѣми же, и тѣ и другіе выходцы съ Востока. Изъ Сиріи или М. Азии? Кто знаетъ. Опредѣлить это дѣло пристального и серьезнаго изслѣдованія. Въ этомъ изслѣдованіи искусство Лептисъ сыграетъ, пожалуй, болѣе крупную роль, чѣмъ столичное искусство Рима.

Два слова объ этомъ искусствѣ. Для классическаго греческаго міра оно было новымъ, но оно давно уже подготавливалось на Востокѣ. Новыхъ формъ, новыхъ линий оно не ищетъ. Его главная цѣль — красочные и тѣневые эффекты. Свѣтъ и тѣнь, смѣна плановъ, какъ на сценѣ, игра богатыхъ цвѣтовъ разноцвѣтныхъ мраморовъ, живописные эффекты, кружево декоративныхъ рельефовъ, покрывающихъ пилястры, сплошь сработанныхъ не рѣзцомъ скульптора, а сверломъ или буромъ, все это такъ опредѣленно отличаетъ Северовское отъ болѣе ранняго въ Лептисъ, хотя и въ этомъ болѣе раннемъ новая мода уже намѣчается.

Таковы были судьбы города «мечты императора». Правда, въ его долгой жизни, его временное величіе было только эпизодомъ. Но для насъ этотъ эпизодъ цѣненъ и интересенъ. Не будь его, Лептисъ была бы конечно интересна и важна, но не болѣе, чѣмъ Сабрава или любой портовый финикійско-римскій городъ. Съ этимъ эпизодомъ въ ея исторіи Лептисъ стоитъ передъ нами, какъ единственное, исключительное явленіе.

Дастъ Богъ, удастся мнѣ еще разъ побывать въ Лептисъ, этакъ лѣтъ черезъ пять. Къ этому времени конечно многое, что теперь загадочно, будетъ ясно. Опровергнуть дальнѣйшее изслѣдованіе города мои гипотезы или подтвердить ихъ? Кто знаетъ!

**М. Ростовцевъ.**

## Христіанство и политика \*)

### 3. Христіанская политика, какъ политика христіанъ.

Размышленія надъ проблемами первороднаго грѣха и сущности подитической жизни привели насъ къ убѣжденію, что христіанской политики въ прямомъ и первичномъ смыслѣ этого слова быть не можетъ. Даже самыя элементарныя, по своему происхожденію еще ветхозавѣтныя заповѣди христіанства не могутъ быть такъ положены въ основу политической жизни, чтобы лежащій во злѣ міръ не сталъ отъ этого еще злѣе. Стрѣляющаго въ меня личнаго врага я имѣю полную возможность не только не убить, но даже и не передать въ руки правосудія, но покушающагося на моихъ глазахъ на убійство невиннаго человѣка я обязанъ передать государственной власти, а въ нѣкоторыхъ исключительныхъ случаяхъ, беря на свою душу тяжкій грѣхъ, даже и убить. Характернѣйшимъ примѣромъ такого внутренне осложненнаго положенія вещей является война. О томъ, что убійство на войнѣ остается запрещеннымъ заповѣдью убійствомъ и тѣмъ самымъ грѣхомъ, не можетъ быть двухъ мнѣній. Христіанство глубоко миролюбиво и опредѣленно антинационалистично. Тѣмъ не менѣе христіанское миролюбіе какъ по своимъ духовнымъ истокамъ, такъ и по своимъ волевымъ устремленіемъ очень далеко отъ выросшаго (не безъ вліянія сектантства) на демократически-соціалистической почвѣ пассивизма. Разница въ томъ, что мироощущеніе пассивизма оптимистично, а мироощущеніе христіанства — трагично. Пассивизмъ, въ частности и пассивизмъ Толстого, вѣрять въ то, что отказомъ отъ войны можетъ быть выкорчевано порождающее ее зло. Христіанству же ясно, что пока корни міра питаются зломъ, міръ не можетъ не болѣть войной, отъ которой никому и нигде вѣйти нельзя, не подмѣняя хотя-бы и безсознательно вопроса спасенія міра отъ зла вопросомъ изыятія себя изъ міра. Въ знаменитомъ спорѣ о войнѣ между Толстымъ и

\*) См. «Совр. Записки» Книга 53

Владимиромъ Соловьевымъ на сторонѣ Толстого была безспорно бѣлая острота и чуткость политической совѣсти, но на сторонѣ Соловьева вся полнота религіозно-философской и богословской правды. Убѣдительною для христіанскаго сознанія Толстой могъ бы сдѣлать свою пасифистскую проповѣдь лишь принявъ за исходъ подлинно-христіанскія позиціи Соловьева. Съ этихъ позицій какъ разъ ему, Толстому, при его (чуждомъ Соловьеву) инстинктивномъ и праведномъ отталкиваніи отъ христіанской государственности, поддерживаемой христіолюбивымъ воинствомъ, открылось бы, что современные европейцы не имѣютъ права на войну не только потому, что они христіане, но, главнымъ образомъ, потому, что они не христіане. И дѣйствительно, — становясь лишь на христіанской почвѣ зломъ, война на ней же, и только на ней, становится смысломъ, т. е. — грѣхомъ челоуѣчества. На почвѣ атеистической цивилизаціи она теряетъ этотъ свой глубокій религіозный смыслъ и всякую трагическую глубину; перестаетъ быть челоуѣческой войной и становится нечелоуѣческой бойней. Это значитъ, что нравственный пафосъ христіанства долженъ заключаться не въ безоговорочномъ отрицаніи войны, а въ требованіи, чтобы ея зло изживалось бы какъ грѣхъ, т. е. какъ трагическій смыслъ политической жизни. На почвѣ секуляризованнаго, атеистически-посюсторонняго сознанія такое осиливаніе войны невозможно, отчего для него въ теоріи и становится обязательнымъ тотъ безусловный, а тѣмъ самымъ и утопическій пасифизмъ, который на практикѣ оборачивается безконечными и безсмысленными, ничего по существу не разрѣшающими войнами.

Война только примѣръ. Все сказанное о ней распространено на всю сферу политической жизни. Передъ тѣмъ какъ пойти дальше по пути выясненія сущности христіанской политики, необходимо выяснитъ слѣдующее: за христіанскую политику часто выдаются внутреннія установки и образы дѣйствія съ христіанскою политикою связанные, но этого названія въ его точномъ смыслѣ все-же не заслуживающіе. Такъ, съ одной стороны, напримѣръ, недостигающая политической жизни вольная проповѣдь христіанства, а съ другой — его государственно-принудительное, т. е. языческое насажденіе. Въ отличіе отъ бездѣйственной (въ политическомъ смыслѣ) проповѣди и нехристіанскаго (по своимъ методамъ) политическаго насажденія вѣроисповѣдныхъ положеній и идей, подлинно христіанская политика зиждется и движется вообще не насажденіемъ и защитою христіанскаго вѣроученія (это дѣло не политики, а церкви и вольнаго пророческаго служенія), а живымъ сознаніемъ

емь грѣховности всей человѣческой жизни, всѣхъ человѣческихъ дѣлъ и объединенности всѣхъ людей круговою порукою грѣха. Только при такомъ положеніи въ основу христіанской политики не нормъ христіанской этики, а живого ощущенія грѣховности всѣхъ земныхъ дѣлъ, возможно, не впадая въ утопическій максимализмъ, серьезно защищать христіанство, какъ реальную основу и движущую силу политической жизни.

Ничего парадоксальнаго въ этомъ положеніи нѣтъ. Последнее зло всякаго зла не въ томъ, что оно существуетъ, а въ томъ, что оно какъ зло отрицается. Самый фактъ наличія зла въ мірѣ настолько тѣсно связанъ съ наличіемъ въ мірѣ добра, съ борьбою добра со зломъ, а тѣмъ самымъ и со всѣмъ религіознымъ смысломъ жизни, что простое погашеніе зла мыслимо развѣ только какъ завершеніе жизни земного человѣчества, но не какъ ея приобщеніе къ добру\*). Къ добру зло приобщается не своимъ уничтоженіемъ, а постиженіемъ и переживаніемъ его какъ нашей свободы и нашего грѣха. Правильное положеніе Карла Шмитта, что сфера политики не только лежитъ во злѣ, какъ вся человѣческая жизнь, но зломъ, т. е. враждою и войною только и держится, не только не погашаетъ потому идеи христіанской политики, но, наоборотъ, дѣлаетъ ее самоочевидной, ибо гдѣ-же и селиться христіанству, какъ не на территоріи зла, ибо что-же ему и дѣлать, какъ не превращать зло, не в добро, — это Божье дѣло, — но въ грѣхъ.

Вдумаемся въ положеніе вещей: Пилатовское омовеніе рукъ для христіанской совѣсти недопустимо. Никакой стороны, куда можно было бы отойти «подальше отъ грѣха», для христіанина также нѣтъ и быть не можетъ. Ни на какое преступленіе, совершающееся въ самомъ далекомъ углу жизни, «закрѣпить глаза» также невозможно, ибо виѣшнее закрытіе глазъ только усиливаетъ и обостряетъ внутреннее зрѣніе христіанской души. Что-же дѣлать? Не ясно-ли, что если уже зло неизбежно въ человѣческой жизни, то христіанину нужно не бѣжать тѣхъ мѣстъ и положеній, въ которыхъ оно свершается, а наоборотъ, стремиться къ нимъ. Конечно, не за тѣмъ, чтобы принять участіе въ свершеніи зла, а затѣмъ, чтобы взять неизбежное зло на свою христіанскую совѣсть, ощутить его какъ грѣхъ и какъ грѣхъ поставить его передъ совѣстью всего міра. Нельзя забывать, что для религіозной жизни человѣчества важно не только то, что въ ней творится, но также и то, кѣмъ и какъ. Неизбѣжное зло политической сферы мукою о немъ,

\*) См. книгу Н. А. Гердяева «О назначеніи человѣка».

скорбью, въ которой оно совершается и раскаяніемъ религиозно какъ бы нейтрализуется, разсудочнымъ-же утвержденіемъ и оправданіемъ возводится въ степень безконечности. Всѣ нормы христіанской политики сводятся такимъ образомъ къ заботѣ о томъ, чтобы по возможности все зло, которое дѣйствительно неизбежно въ политической сферѣ, творилось-бы христіанскими руками и бралось бы христіанами на свою отвѣтственность и совѣсть, т. е. превращалось бы изъ безчеловѣчнаго зла въ человѣческой грѣхъ.

Я знаю, положеніе это звучитъ весьма парадоксально и можетъ быть при желаніи истолковано какъ ханжеской призывъ къ тому, чтобы грѣша и каюсь, каюсь и грѣша, спокойно творить подъ видомъ христіанской политики рѣшительно все то же самое, что споконъ вѣковъ всюду творилось и творится помимо нея. Защититься отъ такого искаженія моей мысли мнѣ очень трудно, почти невозможно. Тутъ дѣло во внутреннемъ религиозно-нравственномъ слухѣ. Постараюсь пояснить свою мысль еше однимъ примѣромъ. Смертная казнь для христіанской совѣсти — безспорно самое ужасное и самое отвратительное, что человѣкъ можетъ свершить надъ человѣкомъ. И все же наиболѣе рѣзкая грань, отдѣляющая христіанскую политику отъ нехристіанской заключается не въ томъ, допускается ли она, или нѣтъ, а въ томъ, какъ она ощущается и переживается властью и обществомъ. Государство, въ которомъ произнесеніе смертнаго приговора давалось-бы власти только послѣ страшной нравственной борьбы, въ мучительномъ сознаніи своего нравственного соучастія въ томъ грѣхѣ, за который она казнить, — въ которомъ слова «приговоренъ къ высшей мѣрѣ наказанія черезъ повѣшаніе» дымывали бы въ каждомъ гражданинѣ при каждомъ глотательномъ движеніи физическую боль, лишая его хотя бы на самое короткое время ощущенія чистоты своей совѣсти, сна и смѣха, было-бы государствомъ грѣшнымъ, но все же христіанскимъ. Полный разрывъ съ христіанской политикой заключается не столько въ томъ, что государство убиваетъ беззащитнаго человѣка, сколько въ полной неспособности властей и населенія почувствовать великій грѣхъ этого убійства. Повторяю — ужасъ современной политической жизни съ христіанской точки зрѣнія заключается не въ томъ, что она пропитана зломъ, а въ томъ, что никто, вплоть до служителей церкви, не ощущаетъ этого зла, какъ грѣха. Большинство въ этомъ отношеніи только количественное, но не



качественное отличие. Еще недавно довелось мнѣ читать размышленіе, одного серьезнаго и даже глубокаго протестантскаго мыслителя, очень далекаго отъ ереси. «нѣмецкаго христіанства», что пониманіе между христіанами нѣмцами и христіанами другихъ національностей затруднено тѣмъ, что все происходящее сейчасъ въ Германіи всѣми нѣмцами безъ исключенія переживается какъ «нѣмецкая судьба», стоящими же внѣ этого процесса христіанскими мыслителями «какъ вина нѣмецкаго народа». Очень характерное, глубоко показательное и для судьбы христіанской политики весьма пагубное положеніе. Пагубное потому, что народная судьба, мыслимая въ отрывѣ отъ народной свободы и главное народной отвѣтственности за нее — для христіанскаго сознанія совершенно неприемлема. Такая судьба — не судьба, а дохристіанскій античный фатумъ, по своей слѣпой жестокости и абсолютной внѣчеловѣчности въ послѣднемъ счетѣ гораздо болѣе близкій экономическому детерминизму большевицкаго марксизма, чѣмъ христіанскому провидѣнію. Введеніемъ въ политику такого понятія народной судьбы христіанская жизнь разслагается на двѣ сферы: личную и общественную, христіанскую и внѣхристіанскую, чѣмъ въ корнѣ подрывается требованіе христіанской политики. При этомъ интересно и заслуживаетъ особаго вниманія то положеніе, что, согласно мнѣнію автора, нѣмецкая судьба скрыта отъ чужихъ глазъ и видна лишь нѣмцамъ. Мысль эта въ извѣстномъ смыслѣ вѣрна. Все происходящее сейчасъ съ Германіей и въ Германіи въ своей глубокой необходимости и неизбѣжности нѣмцамъ конечно понятнѣе, чѣмъ французамъ и англичанамъ, какъ и намъ, русскимъ, понятнѣе чѣмъ всѣмъ иностранцамъ неизбѣжность и необходимость всего происходящаго сейчасъ въ Россіи и съ Россіей. Невѣрна въ размышленіи протестантскаго богослова лишь мысль, будто народъ въ отвѣтъ лишь за случайное, что съ нимъ случается, а не за неизбежное. Какъ отдѣльный человѣкъ, такъ и народъ, такъ и всякое иное коллективное и соборное существо отвѣчаетъ прежде и глубже всего за то, что съ роковою неизбѣжностью происходитъ изъ его глубочайшей сущности. Понятіе неизбѣжности и отвѣтственности для христіанскаго сознанія и, главное, для христіанской совѣсти не исключаютъ другъ друга. Скорѣе наоборотъ, случайно со мной или съ моимъ народомъ случившееся, для меня и моего народа не характерное, могшее и не случиться, я себѣ и своему народу могу простить. Но роковое, неизбѣжное, неотвратимое, т. е. субстанціонально во мнѣ

существующее — непростительно. Оттого-то вся Россія и каждый русскій человѣкъ и отвѣчаютъ за большевиковъ, что Россія стала такой, что большевизмъ сталъ въ ней неизбеженъ. Непониманіе этой связи между неотвратимою необходимостью и полною отвѣтственностью ведетъ къ рѣшительному непониманію идеи христіанской судьбы народа, къ подмѣнѣ ея языческимъ фатумомъ, а тѣмъ самымъ къ уничтоженію религиозно-метафизической основы христіанской политики, которая невозможна внѣ неустаннаго претворенія неизбежнаго въ политикѣ зла въ запретный для политики грѣхъ.

Выдвинутое мною понятіе христіанской политики по своей структурѣ и по своему содержанію весьма отличается отъ того, что обыкновенно понимается подъ этимъ терминомъ. Думаю, что эту существеннѣйшую разницу я выражу наиболѣе кратко и точно, если въ заключеніе скажу, что очередная политическая задача заключается не въ томъ, чтобы стремиться къ христіанской политикѣ, въ смыслѣ осуществленія въ ней нормъ христіанской этики, что на практикѣ приводитъ или къ безотвѣтственности Толстовскаго утопизма или къ раздѣленію христіанства и политики, а въ томъ, чтобы требовать и отъ себя и отъ другихъ христіанскаго отношенія къ непросвѣтленной еще свѣтомъ христіанской истины политической сферѣ. То, что сейчасъ необходимо, это не «программа максимумъ» христіанской политики, а «программа минимумъ» честной и серьезной, вдумчивой и отвѣтственной, при встрѣчѣ со зломъ твердой, но при примѣненіи твердыхъ мѣръ нравственно затрудненной и скорбной политики христіанъ.

#### 4. Основныя предпосылки осуществленія христіанской политики, какъ политики христіанъ.

Въ первой главѣ этой работы и на основаніи нѣкоторыхъ историческихъ данныхъ пытался выдвинуть идею социальнаго христіанства, — точнѣе и шире — идею христіанства, какъ религиозной совѣсти общественно-политической жизни, какъ идею особо близкую православною Россіи. Ясно — и я отмѣчаю, — что нѣкоторыя византійско-аскетическія и цезаре-папистскія черты историческаго православія противорѣчатъ этому положенію, но зато другія, на мой взглядъ религиозно болѣе существенныя, для Россіи болѣе характерныя и, главное, болѣе жизнеспособныя, всецѣло поддерживаютъ его. Моя основная и отнюдь не слишкомъ оригинальная мысль сводилась къ тому, что

русской-православной почвѣ одинаково чужды какъ католическій соблазнъ превращенія церкви въ государство, такъ и протестантскій — освобожденія христіанской совѣсти отъ всякой отвѣтственности за грѣхъ государственной власти. Что такое толкованіе православной тенденціи не является произвольною выдумкою, доказываетъ самый бѣлый взглядъ на исторію Россіи и русской церкви. Католическая тенденція огосударствленія церкви не могла привиться на русской почвѣ потому, что она явно связана съ неунаслѣдованной Россіей идеей римски-государственного универсализма; противоположная же тенденція изытія христіанства изъ политической сферы — на томъ иномъ, но аналогичномъ основаніи, что она своими корнями уходитъ въ ту порожденную протестантизмомъ гуманистически-индивидуалистическую культуру, которая, захвативъ верхи русской интеллигенціи, осталась глубоко чуждой основному массиву народной и церковной Россіи.

Но если такъ, то не понятнo-ли, что на русской исторической почвѣ, въ глубинѣ православнаго сознанія уже давно начала намѣчаться подлежащая дальнѣйшему развитію двуденная задача безвластнаго влaствованія надъ государственной властью и внутренняго вовлеченія каждой отдѣльной личности въ общественную и политическую жизнь, т. е. задача такой постановки церкви въ центрѣ государственной жизни и народнаго творчества, при которой ея голосъ и государству и обществу и отдѣльной личности одинаково внятно звучалъ бы какъ предохраняющій и направляющій голосъ вселенско-христіанской совѣсти.

Я не могу возвращаться къ уже сказанному, не могу и подробнѣе развивать свою мысль. Отмѣчу лишь то, что, если подойти къ вопросу о христіанской политикѣ и о церкви какъ совѣсти государственной жизни не съ богословски-вероисповѣдальной, и не съ церковно-исторической, а съ культурно-философской и соціологической стороны, то соціально-политическая направленность русской религиозной мысли становится еще очевиднѣе. Съ первыxъ десятилѣтій 19-го столѣтія русская мысль отчетливо опредѣляется, какъ мысль культурно-историческая и соціально-политическая. Исповѣдуемая какъ первыми западниками, такъ и славянофилами община связуетъ въ русскомъ сознаніи православною соборность и социалистическій коллективизмъ. Достоевскій приходитъ къ православію черезъ социализмъ и ссылку. Толстой къ своему анархо-социализму — черезъ православіе и Евангеліе. Соловьевъ десять

лѣтъ своей недолгой творческой жизни отдаетъ публицистической борьбѣ, все время откладывая разработку богословскихъ и метафизическихъ задачъ ради «оправданія добра» въ общественно-политической жизни. Федоровъ пишетъ «Общее дѣло». Наибольше значительные богословскіе и религіозно-философскіе мыслители нашихъ дней — о. С. Булгаковъ, Бердяевъ, Франкъ, пришли къ своимъ православнымъ позиціямъ кружнымъ (марксистскимъ) путемъ и въ извѣстномъ смыслѣ остались вѣрны завѣтамъ своей юности, не погасили въ себѣ неустанной заботы о праведномъ социальномъ устроеніи чело-вѣчества.

Съ этою христіански-соціальною линіей русскаго сознанія пересѣкается другая, революціонно-атеистическая, на первый взглядъ ей только враждебно-противоположная, но при ближайшемъ разсмотрѣніи, какъ на то было уже не разъ указано, тѣсно и внутренне съ нею связанная. Среди историковъ русской общественности въ настоящее время врядъ ли еще возможны споры о томъ, что интенсивность, непрерывность и демоничность русскаго революціоннаго движенія ничѣмъ не объяснимы кромѣ какъ его подсознательной, хотя и извращенной религіозностью.

Нѣтъ словъ, въ исторіи русской религіозной мысли встрѣчаются люди очень далекіе, а отчасти даже и враждебные идеѣ социальнаго христіанства. Въ качествѣ примѣра достаточно назвать Константина Леонтьева. Но я не думаю, чтобы этотъ блестящій баринъ и утонченнѣйшій эстетъ, котораго Франкъ вѣрно назвалъ русскимъ Ницше и о которомъ Бердяевъ, при всей своей любви къ нему, жестоко обмолвился предательскимъ словомъ, что онъ былъ убѣжденнымъ православнымъ, но врядъ ли настоящимъ христіаниномъ, былъ-бы особенно типиченъ для Россіи. Основные черты леонтьевского образа быть можетъ легче укладываются въ рамки римско-католической, чѣмъ русско-православной культуры. Впрочемъ, все это не играетъ рѣшающей роли. Не надо, на модный ладъ, превеличивать значенія культурныхъ стилей. Если бы мое положеніе, что русская религіозно-историческая почва наиболѣе благоприятна для развитія социальнаго христіанства было-бы и невѣрно — Россіи все равно не оставалось бы ничего иного, какъ идти по пути его осуществленія. Вступленіе на этотъ путь требуется отъ Россіи не во имя вѣрности стилистическимъ особенностямъ православной духовности, а ради спасенія міра вселенскаго правдою христіанства.

Нѣтъ ничего легче, какъ скомпрометировать идею политики христіанъ преждевременнымъ выдвиганіемъ детально разработанной и отчетливо сформулированной программы христіанской политики. На слишкомъ конкретные и загаенно враждебные вопросы скептиковъ: — а какъ вы разрѣшите вопросы суда и насилія, обязательнаго преподаванія закона Божія невѣрующимъ дѣтямъ, взысканія церковнаго налога съ невѣрующихъ для поддержанія церквей, главное-же вопросъ, какъ разрѣшите вопросъ свободной проповѣди атеизма, матеріализма и всякаго иного богоборчества—правильнѣе всего не давать никакихъ опредѣленныхъ отвѣтовъ. Христіанство не отвлеченно-философское міросозерцаніе, а потому формою осуществленія христіанской политики не можетъ быть конкретизирующая положенія этого міросозерцанія и проводимая членами клерикальной партіи заранѣе заготовленная программа. Христіанство — живая вѣра, связывающая каждого человѣка съ Богомъ, ближнимъ и ближними не отвлеченно, но конкретно, т. е. во всегдашней, неповторимой, единственной, жизненной ситуациі, которая, какъ въ сферѣ частной, такъ и въ сферѣ общественно-политической жизни разрѣшила исключительно только на почвѣ ея интуитивнаго, духовно-творческаго удумыванья, не въ порядкѣ заранѣе нормированнаго примѣненія отвлеченно-возвышенныхъ христіанскихъ принциповъ ко всѣмъ положеніямъ жизни. Усиленно требуемые влагами христіанской политики «конкретные отвѣты» и «детальныя программы» для христіанской политики не возможны не потому, что политика эта не въ силахъ выйти за предѣлы общихъ мѣстъ и пожеланій, а потому, что конкретные отвѣты принципиально не обобщаемы, т. е. не высказываемы въ формѣ общихъ впрокъ заготовленныхъ положеній. Говоря не адекватнымъ проблемѣ, политическимъ языкомъ, можно сказать, что для христіанской политики, въ виду ея абсолютной конкретности, существенна и важна лишь проблема тактики, но безпредметна проблема программы. Въ этомъ безразличіи и даже во враждебности къ программности кроется главная цѣлительная сила христіанской политики, ея полная несовмѣстимость съ тѣмъ духомъ доктринаризма и утопізма, который губитъ современную общественно-политическую жизнь. Христіанская политика есть, такимъ образомъ, по существу и неизбѣжно политика прагматическая, гораздо болѣе близкая къ тому, что принято называть «реальной политикой», чѣмъ ко всякому идейно-принципіальному политиканству. Все ея отличіе отъ такъ называемой реальной политики заключается лишь въ томъ (это лишъ, правда, огром-

но), что она исходит из подлинной реальности религіознаго опыта и стремится къ подлинно-реальному, т. е. религіозному устройенію жизни, легко разгадывая призрачность всякой укорененной лишь въ здѣшнемъ мірѣ псевдореальности.

Изъ сказаннаго слѣдуетъ нѣкое глубочайшее «непредрѣшенство» всякой христіанской политики, которая такъ же мало можетъ быть разъ навсегда монархической какъ республиканской, капиталистической какъ социалистической, пасифической какъ воинствующей. Всѣ эти важнѣйшіе вопросы суть для нея вопросы не производнаго характера, которые она всегда будетъ рѣшать не отвлеченно, а конкретно, т. е. не въ порядкѣ безпредметной спекуляціи: — какой изъ перечисленныхъ принциповъ, какъ таковой, ближе христіанству, а въ порядкѣ конкретнаго испытанія вопроса, въ какой формѣ данный народъ въ данную эпоху своего развитія можетъ свою жизнь съ наибольшою вѣроятностью приблизить къ реальности христіанскаго бытія. Защищать монархію, идею по существу религіозную, въ условіяхъ, при которыхъ монархъ не можетъ не чувствовать себя авантюристомъ, а его подданные не могутъ не ощущать его самозванства, такъ же недопустимо, какъ защищать «священную собственность» въ условіяхъ либерально-капиталистической культуры, давно спустившей съ молотка идеи святости и личности, или идею стопроцентнаго социализма въ отрывѣ отъ начала духовнаго коллективизма, въ предѣлѣ — отъ начала соборности.

Къ чему, къ какому государственному, социальному и хозяйственному устройству должны быть сейчасъ устремлены воля и сознание православной Россіи, сказать, съ точки зрѣнія христіанства, нельзя. И нельзя прежде всего потому, что христіанство не «точка зрѣнія», а христіанская политика не идеология и не идеократія. Христіанская политика предполагаетъ, какъ уже было сказано, не «законченное христіанское міросозерцаніе», не «выработанную христіанскую программу» и не «организованную христіанскую партію», а наличіе въ политически вѣдущихъ и ведомыхъ людяхъ живой христіанской вѣры и воли, христіанскаго глаза и глазомѣра, христіанскаго слуха и проникновенія. Она требуетъ дара различія духовъ, дара прозорливаго постиженія смысла всякой исторической ситуаціи, дара христіанской твердости и христіанской гибкости, дара испытанія себя и другихъ свѣтомъ истины и, главное, — чувства ответственности за все происходящее въ

миръ. Нѣтъ ничего страшнѣе и безнадежнѣе христіанской политики, творимой языческими руками во славу христіанскихъ нормъ, законовъ и программъ, но нѣтъ и ничего проще и самоочевиднѣе руководимой христіанской совѣстью безпрограммой, но живой и конкретной политики христіанъ. Конечно, осуществленіе такой политики немислимо никакими государственно-педагогическими и агитационно-политическими средствами; осуществленіе ея возможно исключительно только какъ подлинно-религіозное, а тѣмъ самымъ и какъ внутренне-религіозное дѣло. Церковь не можетъ и не должна управлять государствомъ. Она должна быть радикально отдѣлена отъ него. Но она можетъ и должна воспитывать христіанъ, встревоженныхъ соціальною проблемою и жаждущихъ преображенія государственной и общественной жизни человѣчества. Никакая христіанская политика невозможна, пока въ глубинѣ церковнаго сознанія не возникнетъ лозунгъ: христіане — на политической фронтъ.

Противъ такого пониманія задачъ христіанскаго воспитанія возможны, конечно, очень серьезныя возраженія. Идея аполитичнаго, радикально-внегосударственнаго и даже внеобщественнаго, стоящаго какъ бы спиной ко всему мірскому, аскетически-церковнаго христіанства имѣетъ очень глубокіе, притомъ не только историческіе, но и религіозно-мистическіе корни и располагаетъ очень сильными аргументами. Не подлежитъ сомнѣнію, что какъ въ личной жизни человѣка, такъ и въ исторической жизни человѣчества счастливыя и благополучныя эпохи являются эпохами скорѣе удаляющимися душу отъ Бога, чѣмъ приближающимися ея къ Нему. Исторія христіанства неотдѣлима отъ исторіи человѣческаго страданія. Не даромъ послѣднимъ з е м н ы мъ словомъ христіанства является смерть, безъ внутренняго узрѣнія которой не только какъ конца жизни, но и какъ грѣшной сердцевины ея, не уяснило и первое и е с е н о е слово христіанства — вѣсть о Воскресеніи Христовомъ. Но если такъ, то не грозитъ ли христіанству какъ разъ со стороны устройства земной жизни весьма серьезная опасность? И прежде всего опасность притупленія того чувства, что міръ на всѣхъ земныхъ времена лежитъ во злѣ, что Царствіе Божіе — царствіе не отъ міра сего и что никакими заботами о будущемъ вѣчности на землѣ не осуществишь. Сильное развитіе соціально-политическихъ тенденцій въ нѣкоторыхъ теченіяхъ современнаго протестантизма, какъ напримѣръ, въ религіозномъ социализмѣ, убѣдительно полтверждаетъ реальность такихъ опасеній. Религіозный социализмъ является безусловно живымъ

примѣромъ того, что обостреніе социальной совѣсти христіанства приводитъ къ омеренію его религиозныхъ глубинъ. И дѣйствительно, зачѣмъ ужъ очень стараться объ улучшеніи государственно-общественной жизни, если долгъ христіанина передъ Богомъ и ближними можетъ быть полностью исполненъ въ всякой зависимости отъ господствующихъ въ странѣ государственныхъ и социально-экономическихъ формъ и принциповъ. Но и помимо такихъ соображеній, чисто по чувству, не ощущается ли христіанскій міръ и прежде всего православный храмъ какъ нѣчто внѣвременное и всякому историческому пространству запредѣльное. Не переступаемъ-ли мы его порога каждый разъ съ чувствомъ отрясенія праха міра отъ ногъ своихъ. Не полонъ-ли магометанскій обычай оставлять туфли у порога храма и для христіанъ глубокаго и символическаго значенія. Не этимъ-ли чувствомъ, что храмъ есть единственное мѣсто, гдѣ время не течетъ низомъ по руслу жизни, а куполомъ вѣчности (и времени больше не будетъ) высоко стынетъ надъ ея неподвижностью, объясняется тотъ несомнѣнный фактъ, что даже и наиболѣе современнымъ и передовымъ людямъ, поскольку въ нихъ живо ощущеніе духа и стили церкви, претитъ слишкомъ быстрое введеніе въ церковную архитектуру, церковную музыку и во весь бытовой обиходъ церкви новыхъ, по настоящему еще не обжитыхъ формъ. По сравненію съ быстрой развѣтливостью свѣтской живописи кажется споконъ вѣковъ стоящей на мѣстѣ. Также и уставное церковное пѣніе по всему своему духу враждебно эстрадно-концертному прогрессу. Это не значитъ, конечно, что «теургическое» искусство не знало никакихъ измѣненій и отрицаетъ ихъ и на будущее. Такое утвержденіе было бы исторически неоправдываемымъ преувеличеніемъ. Мы всѣ на глазъ различаемъ романскіе, готическіе и барочные соборы и хорошо знаемъ вліяніе разныхъ философскихъ системъ на богословіе. Но все это все же не снимаетъ правильности моей основной мысли, что міръ церковной духовности, церковной мысли и искусства является, — во всякомъ случаѣ для изживаемой нами эпохи, — самую древнюю часть культурнаго града человѣчества, какъ-бы интеллектуальной памяти, сопротивляющаюся натиску быстро-смѣняющихся другъ друга эпохъ. Поскольку же современная церковная культура удаляется отъ этого своего провиденціальнаго назначенія и съ поспѣшностью свѣтскаго прогресса начинаетъ строить церкви изъ стали, стекла и бетона, вводитъ въ проповѣдь современную философію и въ исповѣдь психоанализъ, она явно начинаетъ измѣнять своему духу и стилю. Можно бы-



ло-бы въ пользу уходящаго отъ жизни и культуры, живущаго древнимъ завѣтомъ, древнимъ уставомъ и древнимъ обычаемъ христіанства привести съ легкостью еще очень большое количество аргументовъ, но и сказаннаго, думается, довольно для уясненія тѣхъ чувствъ, навыковъ и настроеній, которымъ внутренне претитъ лозунгъ соціального христіанства, стремящагося не только къ тому, чтобы человѣкъ-человѣку былъ въ частной и личной жизни ближнимъ и братомъ, но и къ тому, чтобы вся общественно-политическая жизнь человѣчества была-бы пронизана свѣтомъ христіанской правды и совѣсти.

Правы-ли защитники аполитичнаго асоціального христіанства? Реально-ли вообще противопоставленіе бѣдныхъ молитвенниковъ-отшельниковъ — «раннимъ, румянымъ челоуѣколюбцамъ»?

Выдвигая идею соціального христіанства и лозунгъ: христіане — на политической фронтъ, я сознательно не стремился къ тому, чтобы доказать убѣжденнымъ сторонникамъ аполитичнаго христіанства правоту своей точки зрѣнія. Не пытался поэтому, что доказательству для религіозной сферы — не аргументы. Все-же въ заключеніе быть можетъ правильно, какъ бы взаимно невозможныхъ доказательствъ, хотя бы вкратцѣ высказать нѣсколько мыслей на тему о неизбѣжности устремленія христіанства къ соціально-политическимъ вопросамъ.

Начну съ внѣшняго, т. е. съ политики. Что въ сущности происходитъ сейчасъ въ мѣрѣ? Не думаю, что я вызову чье-либо насогласіе, если отвѣчу: происходитъ грандіозный переходъ: отъ эпохи безыдейной свободы мѣрѣ переходитъ къ эпохѣ насильнической идейности; идеаль гуманистическаго либерализма по всему фронту отступаетъ подъ натискомъ идеократій. Причемъ самое поверхностное изученіе общеевропейскаго положенія вскрываетъ очевидный фактъ, что степень злостности и насильничества идеократическихъ режимовъ прямо пропорціональна сложности и напряженности господствующихъ въ нихъ идеологическихъ системъ. Какой-же возможенъ выходъ изъ этой борьбы? На чемъ можетъ успокоиться мѣрѣ? Съ тѣми, что считаютъ, что міра успокаивать не надо и что искать выхода изъ его кровавыхъ ужасовъ не только тщетно и смѣшно, но и бездарно, ибо мѣрѣ челоуѣческой исторіи только и прекрасенъ своими темными страстями, великими бореніями и неизблемыми трагедіями; спорить невозможно: Споръ осмысленъ только постольку, поскольку онъ мыслится какъ отысканіе лучшихъ путей къ общепризнанной цѣли. Все, что можно сказать и предложить: обдумать

беззаботнымъ любителямъ будущей исторіи, это то, что, не желая вести борьбу со зломъ и не вѣря въ возможность побѣды добра, нельзя прикрывать свою исторіософію по существу религиознымъ терминомъ трагедіи. Крупные характеры, живописныя ситуации и обильные трупы еще не означаютъ трагедіи. Сущность трагедіи не въ бушеваніи событій, но въ обнаруживающемся въ этихъ буряхъ бытіи. Бушующій океанъ не трагиченъ, а въ крайнемъ случаѣ, по опредѣленію Канта, величествененъ. Но и величествененъ онъ не самъ по себѣ и не самъ для себя, а только для чловѣческаго сознанія, связующаго его силу съ безсиліемъ чловѣка и съ могуществомъ стоящей надъ чловѣкомъ судьбы. Всякая живописно-шекспировская исторіософія есть такимъ образомъ или простая безчувственная и безсовѣстная глупость, или ушербленная и непонимающая себя религиозная метафизика. Но повторяю, съ любителями героическихъ эпохъ и историческихъ трагедій, боящихся болѣе всего мѣшанскаго затишья исторіи, споръ о христіанской политикѣ невозможенъ. Мой вопросъ, какъ же выйти изъ того тупика, въ который попала европейская исторія, осмысленъ потому лишь для тѣхъ и лишь по отношенію къ тѣмъ, кто жаждетъ замиренія и устроенія міра. На словахъ этого жаждутъ всѣ. Большевики, національ-соціалисты, Муссолини, Рузвельтъ и ужъ конечно всѣ послѣдніе могикине либерально-демократической Европы. Мы привыкли этой жаждѣ не вѣрить. Но можетъ быть она все-же больше, чѣмъ одни лукавыя слова; наивной, веселой, біологически-животной жажды войны въ Европѣ, кажется, правда нѣтъ. Память о страшныхъ годахъ всеевропейской бойни еще жива. Матери и вдовы павшихъ на войнѣ еще живы. Воинскіе союзы, союзы раненыхъ и калѣкъ еще тяжело обременяютъ государственные бюджеты. Повсюду встрѣчаешь людей съ протезами. Даже въ націоналистической Германіи нѣту того психологически легковѣснаго милитаризма, который былъ характеренъ для нѣкоторыхъ довоенныхъ круговъ ея. Есть только неукротимый имперіализмъ оскорбленнаго исторіей національнаго самолюбія и жажда завоевать себѣ въ мірѣ то мѣсто, которое мирнымъ путемъ будетъ очень трудно добыть. Много такого-же самолюбія и въ другихъ странахъ. У побѣдителей не меньше, чѣмъ у побѣжденныхъ. Но въ общемъ и пѣломъ близящійся къ войнѣ міръ жаждетъ сейчасъ, конечно, не войны, а новаго и прочнаго устроенія, новой конструктивной идеи своего бытія. Выше и чисто политически это положеніе выражается въ томъ, что тема войны сейчасъ почти окон-

чательно сливается съ темою революціи. Въ наиболѣе убѣжденныхъ и воинственно настроенныхъ идеократіяхъ исчезаетъ солдатъ и замѣняется осолдоченнымъ революціонеромъ. Въ германской арміи по распоряженію военнаго министра уже вводится политграмота. Выростаетъ вопросъ, какова же можетъ быть конструктивная идея будущаго, на чемъ могутъ сойтись отмирающій либерализмъ 19-го вѣка и наступающая идеократія 20-го. Ставя такъ вопросъ и выдвигая въ качествѣ отвѣта идею христіанской политики, я не хотѣлъ бы быть обвиненнымъ ни въ приверженности къ отвлеченному конструктивизму ни въ чрезмѣрномъ оптимизмѣ. Оба обвиненія были бы глубоко несправедливы.

Въ моемъ представленіи, какъ я уже говорилъ выше, христіанство не есть идея среди другихъ идей (такое уравнилельно-философское пониманіе христіанства для христіанскаго сознанія недопустимо), а нѣкая абсолютная истина. Если я говорю, что безыдейное свободолобіе 19-го вѣка можетъ быть примирено съ насильнической идейностью двадцатаго исключительно только на почвѣ христіанства, то это ни въ коей мѣрѣ конечно не значитъ, что тезисъ либерализма и антитезисъ идеократіи примиримы лишь въ синтезѣ христіанской идеи. Такой гегельянскій маршъ исторіи подъ трехтактный барабанный бой діалектики для христіанской исторіософіи совершенно непріемлемъ, вѣрнѣе безпредметенъ. Христіанство не абсолютный духъ и примиреніе враждебныхъ силъ въ христіанствѣ ни въ какой мѣрѣ и степени не логическій синтезъ. Если я говорю, что враждующія въ наши дни начала «либерализма» и «идеократіи» (употребляю оба термина въ симптоматически расширенномъ и внутренне упрощенномъ смыслѣ) могутъ быть примирены только на почвѣ христіанской политики, то я хочу этимъ выразить ту мысль, что міръ можетъ «замириться» только въ томъ случаѣ, если защитники идей 19-го вѣка — защитники свободы, равенства, права, прогресса, разума осознаютъ свое пораженіе какъ послѣдствіе ими-же самими свершеннаго предательства той христіанской истины, изъ которой выросли всѣ ихъ отдѣльные вѣрованія и если защитники нарождающихся въ Европѣ идеократій поймутъ, что всѣ ихъ идеологическія построенія являются лишь односторонними преувеличеніями и искаженіями нѣкоторыхъ моментовъ цѣлостной истины христіанства. Великихъ надеждъ на такое углубленное самопознаніе міра, сейчасъ никто имѣть не можетъ. Давно, кажется, люди, въ особенности правители и вожди, такъ много не говорили другъ съ другомъ, какъ въ

последнее время, но все это разговоры глухих между собою. Никакого оптимизма въ моемъ положеніи, что внѣ христіанства никакой конструктивной идеи искать не стоитъ и найти нельзя, такимъ образомъ нѣтъ. Скорѣе наоборотъ: ясное сознание того, что никакой идеократическою выдумкой христіанской истины не замѣнишь, ведетъ на ближайшее время, по крайней мѣрѣ, къ скорбнымъ прогнозамъ: мѣръ европейской культуры очевидно виситъ надъ темною бездною и въ его клокочущемъ сердцѣ, несмотря на грандіозныя событія, зяетъ жуткая пустота. Но какъ бы ни были мрачны прогнозы, это не оправдываетъ опусканія рукъ. Надо дѣйствовать. И намъ, русскимъ, горячѣе и напряженнѣе, чѣмъ другимъ. Россія страшнѣе всѣхъ иныхъ странъ перегорѣла въ прахъ. И какъ то вѣрится, что изъ ея пепла поднимется фениксъ новой жизни. Дѣйствовать-же значитъ пробивать пути новой вѣры въ возможность христіанской политики. Какъ ни трудно загорѣться этой вѣрой въ настоящее время, нельзя все-же видѣть, что вчера, въ довоенную эпоху, загорѣться ею было еще труднѣе. Съ корнемъ вырванныя во всѣхъ захваченныхъ идеократическіи-фашистскими режими странами либерально-демократическія партіи и свободлюбивыя теченія не могутъ не видѣть и не признавать, что дѣло защиты свободы, поскольку оно вообще еще отстаивается; отстаивается исключительно только христіанскою церковью. Мы всѣ знаемъ, какъ страшно и какъ трудно положеніе православной церкви въ совѣтской Россіи, знаемъ и то, на какія она должна была пойти уступки, и все же она единственная сила прошлаго міра, не снесенная начисто большевиками. Единственная сила, которая не только удержалась, но и отбила лютой натискъ живоцерковной и красноцерковной ереси. Въ Германіи положеніе совершенно такое-же. Передъ стремительнымъ напоромъ національно-соціалистической идеологии сдалось все. Не сдалась окончательно только церковь. Католическая показательно поставила на индексъ главный трюкъ идеолога языческаго германизма Розенберга и устами кардинала Фаульхабера дала религіозную отповѣдь расистскому антисемитизму. Протестантская организовала въ противовѣсъ «нѣмецкимъ христіанамъ» «народную евангелическую церковь» и ведетъ борьбу противъ раскрещиванія протестантизма и уничтоженія свободы совѣсти. Въ виду такой выпавшей на долю христіанскихъ церквей общественно-политической роли, пониманіе христіанства, какъ аполитической силы, становится анахронизмомъ, чѣмъ то глубоко чуждымъ переживаемой эпохѣ. Эта чуждость еще увеличивается, если подумать, что

коммунизмъ ведетъ активную противохристіанскую политику; Германія подчеркиваетъ христіанскій характеръ своего націонализма и видитъ свою главную миссію въ борьбѣ противъ безбожнаго коммунизма; Австрія разбиваетъ радикальный австрійскій марксизмъ, устанавливаетъ заостренную противъ нѣмецкаго расизма «авторитарно-христіанскую» диктатуру Дольфуса. Италія, послѣ долгихъ лѣтъ размолвокъ, официально примиряется съ Ватиканомъ.

Нѣтъ сомнѣній, пульсъ подлинной христіанской жизни, пафосъ живой христіанской совѣсти слышны нынѣ только тамъ, гдѣ христіанство еле отбивается отъ идеократическаго, фашистскаго натиска. Что же касается торжествующаго христіанства нашихъ дней, то, къ сожалѣнію, иной разъ за нимъ врядъ ли можно признать бѣольшую религіозную правду, чѣмъ за современными безбожниками. Но дѣло не въ этомъ. Дѣло лишь въ томъ, что выдвинувъ съ совершенно неожиданной силой проблему идеократіи и связавъ ее съ идеей христіанства, 20-й вѣкъ съ такою новою силою поставилъ передъ лицомъ христіанства проблему христіанской политики, что никакое, ни монастырски-аскетическое, ни просвѣщенски-либеральное отдѣленіе христіанства отъ политики болѣе невозможно. Если отъ воинствующаго большевицкаго безбожья еще возможно спасеніе въ какихъ-то христіанскихъ катакомбахъ, то отъ авторитарно-христіанской диктатуры Дольфуса и разстрѣла рабочихъ въ Вѣнѣ ни въ какихъ катакомбахъ спасенія не найти.

Выдвигать при такомъ положеніи вещей противъ проповѣди политически активнаго христіанства мысль, что почва социальнаго переустройства и земнаго страданія для процвѣтанія христіанства благодарнѣе, чѣмъ порядокъ, сытость, и всѣческое иное прощвѣтаніе, явно не приходится. Этотъ аргументъ и стоящее за нимъ міросозерцаніе глубоки и вѣрны только въ томъ случаѣ, если исповѣдующій и защищающій ихъ имѣтъ въ виду себя, да и то только до тѣхъ поръ, пока рѣчь идетъ о покорномъ пріятіи посылаемыхъ страданій, а не о сознательномъ культѣ ихъ въ качествѣ ближайшаго пути къ религіозному самоуглубленію. Къ христіанству ведетъ вѣдь не только путь страданія. На протяженіи исторіи многіе къ нему приходили на путяхъ грѣха и покаянія. Но кто-же посмѣетъ рекомендовать грѣхъ, какъ путь къ уразумѣнію Христовой истины. Также нельзя не себѣ, а другимъ рекомендовать страданія въ качествѣ нѣкой силовой станціи для постиженія и организаци Христовой истины. О чемъ-же говорить — страданія ближняго, его сирость, его малость, его одиночество и его

темнота не могут рассматриваться как кому-то нужный материал по построению христианского уклада нашей жизни и ссылки на то, что бѣдному легче войти въ царство небесное, чѣмъ богатому, тутъ такъ же неумѣстны, какъ размышленія о томъ, что всякая политика живетъ и питается враждою. Было время, когда бѣднаго можно было сдѣлать богатымъ, подавивъ ему рубашку или шубу со своихъ плечъ, когда врага можно было превратить въ друга, обнявъ и посадивъ за свой столъ. Всѣ эти средства съ соответствующими поправками на время остаются, но всѣмъ глубоко взволнованнымъ тѣмъ, что происходитъ въ мѣрѣ, ясно, что ихъ уже мало, что страшной мировой безработицы подачкой съ барскаго стола уже не осилить, какъ и классовой, національной и расовой вражды никакими поцѣлуями не примирить. Современный европейскій мѣръ такая громадная организація, что справиться съ ея зломъ безъ того, чтобы организовать христианскія силы въ нѣкіе активные воинственные кадры сознательныхъ христианскихъ политиковъ, нынѣ уже больше нельзя. Нѣтъ спору, самымъ дѣйственнымъ средствомъ противъ зла всегда были и всегда останутся «посгъ и молитва». Если за преуспѣваніе христианской политики никто не будетъ молиться, у нея не будетъ успѣха. Но какъ это ни вѣрно, нельзя не сознавать, что «посгъ и молитва» какъ средство устроенія общественно-политической жизни мало кому подлѣ силу. Возвращаясь къ идеѣ христианской общественности и христианской политики, намъ надо начинать съ малыхъ дѣлъ. Такимъ малымъ дѣломъ, программою *minimum* мнѣ и представляется сформулированная мною христианская политика въ смыслѣ политики христианъ.

Заканчивая пока что на этомъ противоположеніи свои размышленія о христианствѣ и политикѣ, считаю необходимымъ подчеркнуть, что оно отнюдь не является моимъ послѣднимъ словомъ. Твердое и въ наше идеологически-идеократическое время въ первую очередь необходимое противоположеніе христианской политики политикѣ христианъ должно быть въ дальнѣйшемъ дополнено раскрытіемъ ихъ связи. Это я предполагаю сдѣлать въ слѣдующей статьѣ. Въ юридическихъ терминахъ проблему эту можно сформулировать какъ проблему внутренняго сотрудничества церкви и государства на почвѣ формальнаго отдѣленія церкви отъ государства. Въ такой постановкѣ вопроса таятся, внѣ всякаго сомнѣнія, очень оштыя опасности, причѣмъ не только для государства, но и для самой церкви. Но указаніе на эти опасности не возраженіе: всѣ пути, ведущіе къ истинѣ, излуть по краю бездны. **Ф. Степунъ.**

## Вѣрность Россіи

Какой-то французскій государственный дѣятель, — если не ошибаюсь, при Наполеонѣ III, — воскликнулъ однажды въ заключеніе программной рѣчи:

— Есть, господа, идеи вѣрныя и есть идеи ложныя... Я — за вѣрныя!

Это одно изъ самыхъ забавныхъ замѣчаній, какія можно себѣ представить, одно изъ самыхъ пустыхъ и бессмысленно-звонкихъ. Будто кто нибудь сознаетъ, что онъ за ложныя идеи? Будто не всякому кажется, что онъ за истину?

Надписавъ въ заголовкѣ «вѣрность Россіи», я усомнился, не попадаю ли въ положеніе того оратора. Не о чемъ говорить, на первый взглядъ: ну да, конечно, вѣрность... Всѣ за вѣрность. За измѣну — никто. Никто не скажетъ: я хочу Россію предать. Къ общему удовольствію и при взаимномъ демонстрированіи хорошихъ чувствъ бесѣда обрывается, едва успѣвъ возникнуть. Совѣсть спокойна, умъ — тоже.

Но убаюканы они только словами. Или, можетъ быть, точнѣе: не словами, а словомъ, именемъ... Подчеркиваю это потому, что разногласіе насчетъ сущности понятія «вѣрность» возможно лишь при желаніи запутать споръ, или при томъ настроеніи, о которомъ разсказано въ извѣстной баснѣ Хемницера о метафизикѣ, ямѣ и веревкѣ. Что есть веревка? Отчего не спросить также, что есть вѣрность? Можно, добавлю, придумать столько хитрыхъ и формально-неуязвимыхъ, попутныхъ вопросиковъ и возраженій, что всякій будетъ сбивать съ толку. Но споръ останется безсодержательнымъ и риторическимъ. Вѣрность: конечно, паспортъ и все такое въ этой «паспортной» плоскости — не при чемъ. Важно сознаніе, что очутившись за границей, русскій человѣкъ не только спасаетъ, оберегаетъ, духовно обогащаетъ или развлекаетъ себя, сколько несетъ тяжесть свободнаго, исторически-неизбѣжнаго выбора;

важно сознание, что во всѣхъ условіяхъ необходимъ «выходъ» въ міръ и участіе въ немъ; и самое, можетъ быть, важное, это чувствовать, что выходъ и участіе для насъ возможны только черезъ Россію. Вѣрность ей — это наше съ ней единство, наша съ ней нерадучность. Форму и видъ каждый найдетъ самъ.

Но Россія... Что такое Россія? О чемъ мы думаемъ, называя ее, вспоминая ее? Вопросъ настолько простъ, что почти никогда не приходитъ въ голову. А когда придетъ, надолго остается безъ разрѣшенія.

Государство? Да, и государство, конечно. Этотъ отвѣтъ слѣдуетъ упомянуть, потому что онъ первый, самый поверхностный: это скорлупа, которую надо снять. Да, кстати, наша государственная связь съ Россіей оборвалась уже давно, и по этой линіи намъ служить ей сейчасъ почти невозможно. Даже больше: это единственная линія, удаляющая насъ отъ родины. Хотя и на это удаленіе — даже и на это — нужно бы рѣшиться съ крайней осмотрительностью, поставивъ и ему предѣлы, ибо слишкомъ ужъ лицемѣренъ и удобенъ безболѣзненный разрывъ между отвлеченной преданностью и предательствомъ на дѣлѣ. «Мы не за эту Россію, мы за другую, за ту, которая встанетъ...» За какую? За всякую, лишь бы встала? Тутъ все — туманъ, самообольщеніе, игра въ прятки... Лучше ужъ договорить: «мы за самихъ себя; мы отрекаемся, мы уходимъ; эту, теперешнюю, мы ненавидимъ и желаемъ ей гибели; а другую... въ другую тоже взгляды сначала, подойдетъ ли она намъ». По крайней мѣрѣ, все ясно. Однако, по правиламъ честной игры, надо и противной сторонѣ предоставить право взглядѣться: подойдетъ ли мы ей? Результатъ можетъ получиться неожиданный.

Но государство обязываетъ, а не влечетъ. Съ нимъ у насъ счеты, не болѣе того: его права, наши обязанности, — и только. Чувство еще мало затронуто, — если не считать отдельныхъ случаевъ той упорной, романтически-рицарской привязанности, съ которой нѣкоторые старѣющіе, одинокіе русскіе люди вспоминаютъ теперь объ исчезнувшей имперіи (все идеализируя, все приподнимая надъ критикой, безответно, безнадежно, и даже въ прошломъ, правду сказать, безъ-взаимно: сплошное чудачество, не лишенное, конечно, благородства и стила, «allure»; но хоть это, — хоть стиль; о корыстныхъ же сожалѣніяхъ, съ жадной отомстить, «прописать», «показать всѣмъ этимъ...» — не стоитъ и говорить). Чувство уходитъ за «сколупу»: тамъ — культура, назначеніе, дѣло націй.

Споры, возникшіе сто лѣтъ тому назадъ, продолжаются и



понял. Ихъ разрѣшеніе было обманчиво, оно держалось лишь потому, что въ концѣ девятнадцатаго вѣка, при тогдашней «гиши да гладіи», могло держаться что угодно, а какъ подули первые вѣтры, такъ облачко и разсѣялось... Каждое построение сейчасъ будто и опровергается жизнью, и поддерживается ею. Неославянофильству и нео-западничеству — приволье: доля правды, въ нихъ заключенная, освобождена отъ всѣхъ наслоеній и можетъ быть снова положена въ основу историческихъ толкованій того, что съ Россіей случилось. И да, и нѣтъ. Или: ни да, ни нѣтъ... Но и это — все еще область мозговыхъ, головныхъ выкладокъ, не затрагивающихъ совѣсть. А между тѣмъ, кажется, въ нашихъ помыслахъ о Россіи именно совѣсть есть начало, источникъ, возбудитель. Каждый самъ себя судитъ: умъ — только адвокатъ или прокуроръ, но права рѣшенія и приговора у него нѣтъ.

Умъ долженъ найти слова, и опять возвращается къ вопросу: что такое Россія? Договаривая дальше — въ чемъ ея прелесть, въ чемъ ея влекущая сила, или, какъ выражался Гоголь, великій знатокъ этого дѣла, ея «сладость»? Надъ схемами, надъ славянофильствомъ и западничествомъ, надъ Петромъ и азіатчиной, — въ чемъ? Что сладость дѣйствительно есть, что она такая, какой другой не найти, единственная, «сладчайшая» — это мы чувствуемъ и знаемъ по истинѣ «всѣмъ существомъ своимъ», особенно теперь, погулявъ по заграницамъ, вдоволь надышавшись Европой, ея чуднымъ, — о, да! — ея чистымъ, легкимъ, но суховатымъ воздухомъ. Да вѣдь не только мы, а и они, сами европейцы, это порой чувствуютъ, — правда, съ меньшей непосредственностью, почти исключительно сквозь литературу или искусство, но все-таки чувствуютъ: множество цитатъ можно было бы привести въ доказательство этого. Только европейецъ едва ли скажетъ «сладость», — онъ выразится какънибудь иначе, съ удивленіемъ «констатируя фактъ», безъ нашего ощущенія и нашего узнаванія (впрочемъ, недавно мнѣ попалась у тончайше-проницательнаго, какъ бы насквозь свѣтлагого свѣтломъ Жака Ривьера, въ концѣ одной изъ статей о музыкѣ, такое обращеніе, или вѣрнѣе, такая «молитва» къ Россіи, что у русскаго она даже вызываетъ ислковость, будто: «да, да, пожалуй, можетъ быть... только объ этомъ не надо говорить»). Но во всякомъ случаѣ отпадаетъ объясненіе, по которому это просто — чувство родины. Объясненіе, приемлемое на первый взглядъ, ничего не объясняетъ, даже если подкрѣпить его соображеніемъ, что образъ родины теряемой, исчезающей — острѣе воспринимается, и естественно окутывается всяче-

скими дыжками.. Нѣтъ тутъ не просто — земля, страна, среда, вспоминаемая нами изъ «прекраснаго далека», тутъ что-то другое.

Увѣренность въ этомъ намъ льститъ. Она подталкиваетъ насъ къ самодовольству, къ самоупоенію, — а русскаго человѣка хлѣбомъ не корми, только позволь ему потолковать о томъ, какой онъ удивительный. Какъ уже было однажды замѣчено, мы вообще не прочь отнести къ типическимъ особенностямъ нашего національнаго характера лучшія человѣческія черты. Это поведось еще изстари, — а теперь отъ диллетантскаго фило-софствованія прошлаго вѣка докатилось до эмигрантски-обывательскаго судачества, и здѣсь распустилось такимъ нестерпимо-пышнымъ цвѣтомъ, какого никогда еще не было: будто бы мы и умѣе всѣхъ другихъ, и сердечнѣе, и шире, и порывистѣе, и безкорыстѣе, а ужъ о необыкновенныхъ нашихъ талантахъ и говорить нечего. Психологически тутъ все понятно. По-натерпѣвшисъ всякихъ униженій и разочарованій, сознание стремится отыграться хотя бы въ теоріи... Но убѣдительность отъ этого не увеличивается.

Умѣе другихъ... Проводить общія параллели такого рода — дѣло всегда рискованное, но если ужъ провести, то эта «умственная» параллель едва ли будетъ къ нашей выгодѣ. Внутренно, въ той почти еще безсловесной, сырой области, гдѣ мысль переплетается съ ощущеніями, — можетъ быть и да, кто знаетъ? Внешне, на словахъ — сомнительно. Особенно, по сравненію съ французами, будь то въ отвлеченныхъ спорахъ, въ литературныхъ сопоставленіяхъ или даже въ случайной, повседневной бесѣдѣ о случайныхъ вещахъ. Отчетливо-ясное впечатлѣніе, сразу: нашъ головной аппаратъ хуже устроенъ, онъ работаетъ съ болѣе частыми перебойми, отстаетъ въ точности и быстротѣ... Интересно было бы сравнить — въ отдельномъ изслѣдованіи, разумеется, — два языка, русскій и французскій. Въ такой работѣ было бы, вѣроятно, найдено объясненіе тому смутному, но постоянному чувству, что французская рѣчь, благодаря болѣе развитой, болѣе законченной синтаксической структурѣ своей, заставляетъ даже и русскаго человѣка мыслить чище, едва только онъ прибѣгаетъ къ ней. Безъ то иной инструментъ взять въ руки, тщательнѣе отщипанный, искуснѣе обточенный, — и сознание, привыкшее огрубѣть и лѣниться, сначала капризно-пренебрежительно, свысока присматривается на всѣ эти сухія, крѣпкія, блестяшія, на диво сработанные винтики и колесики, а потомъ невольнo увлекается ихъ гармонической, мельчайшей игрой... Но это особая тема, кото-

рая уволить въ сторону. Добрѣе, сердечнѣе? Послѣ революціонной практикой», осторожнѣе помолчать насчетъ нашего природнаго, врожденнаго мягкосердечья. Ну а живыя и щедрія души, будто отъ рожденія раненныя, готовы на жертву, вѣчно куда-то рвущіяся, вѣчно изнемогающія отъ боли, такія души есть всюду, и нелѣпо было бы считать ихъ нашей монополіей. Шире, отзывчивѣе? Несомнѣнно только то, что мы своей склонности ко всякимъ взлетамъ или паденіямъ охотнѣе потворствуемъ: въ насъ меньше дисциплины и выдержки, мы менѣе «общественны» — въ томъ смыслѣ, что съ непривычной для западнаго человѣка легкостью навязываемъ другъ другу наши личныя, внутреннія дѣла. Даже пресловутое «безпокойство», которымъ мы до сихъ поръ еще не прочь кичиться передъ Европой, будто это наше исключительное достоинствѣ, та безотчетная тревога, которую послѣ Толстого и Достоевскаго мы считаемъ своимъ наслѣдіемъ, — есть на дѣлѣ общая особенность эпохи, черта и результатъ культуры на глубокомъ духовномъ переломѣ. Оставимъ Толстого съ Достоевскимъ, людей слишкомъ вѣщихъ, чтобы съ ними намъ панибратствовать, и все индивидуально-ихнее безъ колебаній переводить на нашъ счетъ; поглядимъ лучше на то, что дѣлается вокругъ, — у насъ, въ нашей литературѣ и тамъ, въ литературѣ европейской. Пожалуй, у насъ то какъ разъ и царитъ безмятежность, разсудку вопреки, наперекоръ стихіямъ. По невѣжеству и неосвѣдленности нѣкоторые продолжаютъ толковать о французахъ, будто бы они всѣ, поголовно, были еще тѣ, старые знакомые, «изъ Бордо», салонные острословы, неисправимые вольтеріанцы. — и удивляются, сталкиваясь съ реальностью: съ мучительными усиліями сохранить образъ человѣческой послѣ исчезновенія понятія о Богѣ, съ борьбой за строй и достоинство жизни, и тутъ же — съ попытками все взорвать, чтобы камня на камень не осталось и можно было бы неудавшійся, обанкротившійся міръ замѣнить, хоть въ мечтахъ другимъ. Французики «изъ Бордо» переведись, или оттѣснены на второй планъ. И ужъ если вспомнить Достоевскаго и Толстого, то надо признать, что ихъ духовный опытъ постигнуть и оцененъ западомъ никакъ не менѣе остро, чѣмъ нами. Оттого то они и были мировыми явленіями, что это оказалось возможно.

И все-таки, съ убожествомъ своимъ, съ бахвальствомъ, съ претензіями и захоуствомъ Россія остается Россіей: тонъ ея, звукъ ея незабываемъ... И все-таки Западъ намъ не по вкусу. Какъ объяснить, почему? Нѣтъ почти ни одной области, гдѣ

послѣ безпристрастнаго размышленія наше предполагаемое превосходство не было бы поколеблено. Въ исторіи, въ многовѣковыхъ «высокихъ зрѣлищахъ» ея можетъ быть сильнѣе всего: Чаадаевъ правъ до сихъ поръ. Но воздухъ въ Россіи иной и почва иная. Чуть-чуть больше влаги. Впрочемъ, не стоитъ подбирать распливчатые образы и сравненія: всѣ слова тутъ все равно — мимо.

Есть въ русскомъ обликѣ одна, всѣмъ знакомая, черта, о которой промолчать нельзя. Это — стремленіе куда-то уйти, вѣчные споры въ странствіе, отрицаніе устройства и благополучія. Или, можетъ быть, не отрицаніе, а мягче, уступчивѣе: усмѣшка, «съ изгибомъ горечи у рта»... Если вообще культура складывается изъ «тяги къ землѣ и порываній въ небо», — по Гете, — или, иначе, изъ чувства жизни и ощущенія смерти, то можно сказать, что въ Россію попала какая-то лишняя еле вѣсомая, еле замѣтная частица «смерти», не предусмотрѣнная въ нормальномъ расчетѣ. Оттого какъ бы отравлена, и все то, на чемъ нѣтъ хотя бы только отблеска конца, ей скучно и постыло. Ее не интересуеетъ созиданіе, поскольку оно въ себѣ ограничено, ее удивляетъ, какъ можетъ она съ такой силой увлекать другихъ, и столько страстей возбуждать. Она нетерпѣлива, ее тянетъ къ «последнимъ вещамъ», сразу, безъ проволочки, которая для нея все равно «ни къ чему», какъ бы богаты содержаніемъ ни были. Она можетъ бить и строить домъ. Но въ домѣ этомъ для нея важны только окна и двери.

Ошибаемся ли мы, утверждая, что такова же и русская природа? Конечно, это возможно, и даже вѣроятно. «Объективныхъ данныхъ» такого рода въ нашемъ пейзажѣ, пожалуй, нѣтъ. Но не случайно же все-таки тютчевскія строки объ «этихъ бѣдныхъ селеньяхъ» были поняты сразу, съ полуслова: такой мы и теперь иногда вспоминаемъ Россію, чувствуя въ образѣ и характеристикѣ то созвучье, то согласие, которое не можетъ обмануть. Или вотъ Достоевскій бѣгло коснулся русской природы: нѣсколько словъ всего, о заходѣ солнца, въ началѣ «Бѣсовъ», въ бесѣдѣ сумасшедшей жены Ставрогина съ Шатовымъ... Но какой отзвукъ! Эти нѣсколько словъ до того глубоки, правдивы и какъ-то произительно-музыкальны, что «сочинить» ихъ, кажется, было нельзя: они найлены, они внушены реальностью и оттого-то упрямая, глухая, нѣмая стихія и откликается имъ въ отвѣтъ, какъ въ древнемъ сказаніи... Мимолетомъ: Россія вообще прекрасна только въ минорѣ. Русскій мажоръ большей частью невыносимъ, и переходъ отъ такихъ вы-

соть и очарованій къ такой грубости вызываетъ смятеніе и потерянность. Русскія утвержденія на всемъ протяженіи прошлаго вѣка вплоть до революціи ужасны въ торжествующей звѣроподобности своей. Отъ нихъ мутитъ и до сихъ поръ. Ужасенъ былъ русскій самоувѣренный и ограниченный націонализмъ. Ужасны всѣ попытки «положительнаго», «здороваго» творчества, все вообще, — кромѣ Пушкина.

Кстати, загадочная прелесть, непоколебимая «единственность» Пушкина, — по глубокому моему убѣжденію выходящая за предѣлы его чисто-литературнаго значенія, не вполнѣ объясняемая имъ во всякомъ случаѣ, — повидимому въ томъ, что только онъ показалъ Россіи, чѣмъ она могла бы стать... Показалъ — и исчезъ. Пушкинъ исправилъ русскій рецептъ, сбалансировалъ дозу жизни и дозу смерти, и далъ сразу результатъ, безъ черновика. Оттого у Пушкина ничему, въ сущности, нельзя научиться: ему можно только удивляться. У него человѣкъ уже не дубина, еще не развалина. У него міръ ничѣмъ еще не «подернутъ», у него «здѣсь» звучитъ такъ же полноправно, какъ «тамъ»; «теперь» — какъ «когда-нибудь»... Но всякое подражаніе ему бесплодно и сбивается сразу на «дубинность», по невозможности восстановить тотъ же внутренній механизмъ и неизбежному передергиванію. Зато размышленія о Пушкинѣ — дѣло вѣчное, и едва ли не каждый русскій писатель лепчетъ мечту сказать, хоть на старости лѣтъ, о немъ нѣчто свое, вытянутое, отвѣтственное: этимъ онъ опредѣляетъ себя, свою связь съ Россіей и свое творческое отношеніе къ ней.

Въ наши дни родилось стремленіе соединить и сблизить Пушкина съ православіемъ. Операция проходитъ почти безболѣзненно; поскольку надъ Пушкинымъ, по уклончивости его, удаются вообще всякія упражненія. Да, можетъ быть, и на самомъ дѣлѣ православіе, въ его бѣлой, бытовой, благостно-патриархальной, чуть-чуть просвиричьей окраскѣ Пушкину сродни, какъ вообще все крѣпко-русское. Но навѣрно ему чуждъ узкій, темный, испепеляющій лучъ христіанства, тотъ, который никакихъ сосѣдствъ и компромиссовъ въ пораженной имъ душѣ не допускаетъ... И вотъ возникаетъ вопросъ: не оттого ли Россія въ гѣхъ, иныхъ своихъ порывахъ такъ одностонно-духовна и какъ бы противожизненна, что этотъ безпощадный лучъ въ нашу культуру вошелъ прямѣе и свободнѣе, чѣмъ гдѣ-либо на западѣ? Это очень большая тема, которой опасно вскользь касаться. Но кое-что несомнѣнно: нельзя отрицать того, что въ исторіи Россіи православіе сыграло первостепен-

ную роль; нельзя не чувствовать, не понимать, не видѣть и то, что въ православіи непосильно-высокая, сияющая, страшная въ своей волѣ къ освобожденію сущность христіанства осталась, какъ была, почти ничѣмъ не прикрытой. Не въ аскетизмъ дѣло. Аскетизмъ былъ и въ Европѣ, при чемъ такой, какого намъ, пожалуй, и не снилось. Но католичество дало міру устон и организацию, оно «спасло міръ», принявъ Имя, которому этотъ міръ ужаснулся — и какъ бы тепершніе наши мыслители ни упрекали Достоевскаго въ схематизмъ и даже невѣжество въ отношеніи къ западной церкви, основную ея черту онъ постигъ вѣрно (на другомъ идейномъ полюсѣ, Ницше, слушающая когда-то вступленіе къ «Тангейзеру» — «самую католическую музыку въ мірѣ» — задумчиво сказала: «какъ хорошо! Камень за камнемъ, послѣ землетрясенія, послѣ Креста... все выше и выше, чтобы совсѣмъ все закрыть!»). Православіе не рѣшилось прикрывать, затушевывать, усложнять Евангеліе, оно не догадалось во время перенести тяжесть съ дѣла ученія на дѣло спасенія, оно само замерло, насторожась и вслушиваясь. Митрополиты и архіереи пытались иногда, предъ лицомъ «государственной необходимости», наскоро сочинять то же, что когда-то тамъ, въ Европѣ, съ содроганіемъ и страстью, въ великомъ, безпримѣрномъ вдохновеніи создали наслѣдники Рима. Но спорить было трудно. Книга уже всюду проникла. Единственное, что было еще возможно, это одѣть ее въ золото и драгоценные камни — символъ благоустройства, величія и порядка: будто она со вѣмъ этимъ во внутреннемъ согласіи. Но было поздно. По Тютчеву, «въ рабскомъ видѣ Царь Небесный» исходилъ всю Россію.

Не знаю, въ какой степени, въ какихъ предѣлахъ на вопросъ о связи христіанства съ духовнымъ обликомъ нашей страны слѣдуетъ отвѣтить именно такъ. Не рѣшаюсь утверждать эту связь во всей ея полнотѣ. Но думаю, что было бы во всякомъ случаѣ неправильно ограничивать тему разборомъ настроеній однихъ только религіозныхъ людей. Тема глубже и шире. Въ исторіи Россіи это есть прежде всего тема о русской интеллигенціи, съ ея классическими чертами вѣчнаго недопониманія, непосѣдливости, безкорыстія... Скажутъ, что интеллигенція въ огромномъ большинствѣ была атенстична, или по крайней мѣрѣ анти-церковна, и что ея особенности гораздо естественнѣе и логичнѣе объясняются социальнымъ ея происхожденіемъ, нежели проблематическими вліяніями православія. Да, конечно. Но позволю себѣ предложить вопросъ: увѣренъ ли возражающій, что въ средѣ, воспитанной католичествомъ, въ сре-

дѣ, прошедшей черезъ католичество, хотя бы на нѣсколько столѣтій ранѣе, такая интеллигенція могла народиться? Одно съ другимъ какъ-то плохо вяжется. И кстати, не потому ли теперь вчерашніе бомбометатели такъ легко переходятъ въ «лоно» русской церкви, что переходъ не такъ ужъ и далекъ? (особенно для молодежи: иногда, случается, смотришь — лицо, глаза, косы, движенія, голосъ, — ну конечно, двадцать лѣтъ тому назадъ эта дѣвочка была бы «эсеркой», а теперь она ставитъ свѣчи, кладетъ поклоны, и это для нея почти то же самое, — психологически, а не объективно, разумѣется). И тамъ, и здѣсь мораль жертвенна. И тамъ, и здѣсь постройка неустойчива, нарочито-недолговѣчна.. Интеллигенція любила Россію чуть-чуть отвлеченно, быть можетъ, но искренно и безъ измѣнъ. Однако она и расшатывала Россію, не задумываясь, что будетъ послѣ, — а если бы и знала, что будетъ, вѣроятно не стала бы иной: «*fais ce que dois, advienne que pourra*», по толстовскому любимому правилу (удивительная запись въ тюремномъ дневникѣ Шингарева, за нѣсколько дней до смерти: «мнѣ холодно, мнѣ страшно... а все-таки, даже и теперь, если бы можно было вернуться въ прошлое и мнѣ бы сказали: ну, что же, начнемъ революцію?, все-таки я бы отвѣтилъ: ну, что же, начнемъ» — цитирую по памяти, приблизительно). Интеллигенція принимала вызовъ. Когда полвѣка тому назадъ охотничьи лавочки съ инстинктивнымъ, самозабвеннымъ ожесточеніемъ избивали студентовъ подъ звуки національнаго гимна, это вѣроятно было что-то отдаленно похожее на римскія арены съ толпой, безотчетно жаждущей защиты и мщенія.

Но вотъ — все измѣнилось. До сихъ поръ рѣчь была о прошломъ, конечно, и лишь условно въ этихъ строкахъ глаголы спрягались иногда въ настоящемъ времени... «Не узнаю тебя, Россія», хочется сказать сейчасъ.

Не узнаю почти ни въ чемъ, хотя по склонности къ самообману повторяю сомнительно-прописныя слова, будто «человѣкъ переродиться не можетъ», «тысячелѣтній укладъ возьметъ свое», «природныя свойства души неискоренимы», и такъ далѣе, и такъ далѣе. Не узнаю прежде всего — въ цѣлкой жизненной силѣ, въ новыхъ стремленіяхъ, въ бодрости, въ самомъ «строительствѣ»; не узнаю — въ исчезновеніи музыки, въ дневномъ, прозаическомъ, дѣловомъ свѣтѣ, въ разсѣяніи былыхъ ожиданій и надеждъ; въ согласіи на товарищество, но безъ всякихъ жертвъ; въ расчетахъ на длительное обзаведеніе; въ безоговорочномъ принятіи труда, наконецъ, — какъ средства и какъ пѣли... Если бы не это, если бы не трудъ, можно было бы

подумать, что духовные потомки охотнорядцевъ довершаютъ подъ флагомъ коммунизма завѣтное дѣло отцовъ, изгоняють «заразу», прижигаютъ ее каленымъ желѣзомъ. Недаромъ же, для вящаго сходства съ аренами, они сочетали въ своей ненависти интеллигенцію и христіанство воедино, и принялись оба эти начала искоренять, какъ одинаково себѣ враждебныя: какъ что-то мѣшающее жить, напрасно смущающее, опасное, если его не добить. И они добиваютъ — усердно и методически. И можетъ быть — добьютъ. Образа народъ сжегъ, смутьяновъ побилъ, и принялся за дѣло: ну, тѣ торговали, икали, пѣли «Боже, царя храни», а эти социалистически соревнуются и распѣваютъ «Интернаціональ», — разница по существу не очень велика... Была бы не очень велика, если бы не трудъ.

Но отгбнокъ измѣняетъ всю окраску... О, конечно, эта новая Россія намъ «не нравится». Конечно, мы ищемъ доказательства, что это лишь навожденіе, официально-дживое марево, а на дѣлѣ она совсѣмъ иная, притаившаяся, испуганная, измученная, по-прежнему «святая». Но и сквозь доказательства — которыя доказываютъ только то, что исторія сплетается и расплетается клубкомъ, съ противорѣчьями, съ отступленіями и отбоями, а никакъ не по чьей-нибудь точной и тираннической диспозиціи, — пробивается правда. И вотъ, правда эта намъ не вполне по душѣ (даже если не касаться методовъ, — даже только въ заданіи, въ замыслѣ). Я выбираю умышленно слова уклончивыя, по инстинктивному опасенію сразу сказать больше, чѣмъ надо и можно въ такомъ дѣлѣ, — но хотѣлъ бы все-таки подчеркнуть отсутствіе въ выраженіи «нравиться» чего-либо безразлично-эстетическаго. Нѣтъ, не то. Но удивляетъ, во всякомъ случаѣ: какъ могло это измѣненіе произойти? После оставшагося въ сердцѣ отзвука «сладости», — это? Сравненіе слишкомъ невыгодно. Фабрика, баракъ, казарма... не считалась ли Россія?

Но нельзя довѣрять только ощущенію. Иногда является мысль: не получаютъ ли во всемъ томъ, что произошло у насъ въ послѣднія десятилѣтія, русское западничество новое обоснованіе, — въ томъ смыслѣ, что надъ всяческой дикостью, пугачевщиной и стенько-разиновщиной нашей революціи, не исполняется ли, не испытывается ли въ Россіи старая, западная безбрежная мечта о царствѣ труда? Кресту противостоитъ въ послѣднемъ счетѣ не золото: кресту противостоитъ трудъ, — такъ какъ именно трудъ заносчивъ, властолюбивъ и требователенъ, какъ никто въ мірѣ. Характерно же все-таки, что впервые за всю нашу исторію Ев-



ропа смотреть сейчас на Россію съ какимъ-то кровнымъ, острымъ, тревожно-настороженнымъ вниманіемъ, которое замѣтно всюду. Нелѣпо все сводить къ праздно-растлѣнному любопытству снобическихъ салоновъ: это есть, — но есть и другое. Европа, въ сущности, никогда до сихъ поръ къ Россіи внимательна не была, Европа только «вздыхала» надъ Россіей, какъ вздыхаютъ надъ простачкомъ, который хотя и поетъ какія-то чудныя пѣсни, но дѣломъ не занимается. И въ работѣ своей, второпяхъ, — Европа шла мимо. А сейчасъ она вглядывается и вслушивается, будто — въ общемъ, въ общемъ, въ общемъ — тамъ свершается именно ея дѣло, не безбожное, нѣтъ, а равнодушно-божное, начатое много вѣковъ тому назадъ, блеснувшее въ протестантствѣ, прозвучавшее въ Возрожденіи и новой философіи, выношенное всѣмъ мудрствованіемъ восемнадцатаго вѣка, залившее кровью парижскія площади, и — дальше, — докатившееся до Москвы: утвержденіе чело-вѣка, какъ хозяина. Европа, можно сказать, только объ этомъ и думала, колебалась и оглядываясь, а когда Россія съ чуть-чуть простецкой рѣшительностью — (кстати, Бисмаркъ: «соціализмъ можно было бы попробовать... надо было бы только найти страну, которую не жаль») — бросилась впередъ, она, разумѣется, «затаила дыханіе»: отчасти вѣдь это рѣшается и ея судьба.

Для другихъ, на другихъ, значить? Не совсѣмъ. Есть европейскія дѣла, которая по истинѣ можно назвать дѣломъ общимъ. Да кромѣ того, Россія вкладываетъ въ новую свою роль избытокъ силъ и, кажется, возвращается съ ней къ той «вольѣ къ жизни», которую раньше склонна была считать чѣмъ-то не совсѣмъ для себя подходящимъ и дозволеннымъ. Повторяю: по схемамъ въ исторіи ничего не совершается. Въ сплошномъ потокѣ существованія схемы, цифры, имена — это только топчайшія линіи, намѣчающія направленіе. Разумѣется, въ такомъ явленіи, какъ русская революція, есть — кромѣ основного устремленія — тысячи вѣтвей, корней, остановокъ, возвращеній, задержекъ, неожиданностей, срывовъ, отказовъ, — всѣхъ тѣхъ свойствъ вообще, безъ которыхъ не существуетъ бытія. Схематизировать надо, чтобы понять, — но понять можно только понимая, что схематизируешь. Въ частности, по вопросу, «для другихъ ли»? Россія, конечно, работаетъ для себя. Именно по сплетенію всѣхъ нитей оказалось возможнымъ, что на поверхности — надъ бездоннымъ океаномъ русскихъ, мѣстныхъ, безымянныхъ процессовъ, — ей досталась на разработку западная тема.

И вотъ, снова слова, съ котораго было начато: вѣрность. Положеніе трагично, чедовѣкъ безсознательно стремится къ тому, чтобы его сгладить, и уговариваетъ самъ себя, что «Россия — это мы», а отъ себя и нѣтъ возможности отречься, что «Россия сейчасъ нѣтъ, а есть только живнй вымыселъ о ней, и такъ далѣе, и такъ далѣе... Но въ глубинѣ души чедовѣкъ чувствуетъ, что нужно рѣшеніе. Никогда, вѣроятно, ощущеніе необходимости окончательно пристать къ одному изъ двухъ береговъ не было такъ сильно какъ теперь.

Думаю, что людямъ церковно-религіознымъ сдѣлать выборъ сравнительно легко, — хотя выборъ этотъ для нихъ ничуть не менѣе болѣзнененъ, чѣмъ для кого либо другого. Но у нихъ не можетъ быть колебаній. У нихъ есть цѣль, цѣнность, путь. Для нихъ дѣйствительно все въ мѣрѣ, рѣшительно все — «постолько постолько», даже и родина: иначе это скорѣе лирическое, національно-бытовое, слегка «фольклорное» умиленіе, нежели религіозность. Къ теперешнему коммунизму они не могутъ отнести иначе, какъ къ смертельному, послѣдному врагу: ибо для нихъ трудъ какъ бы лишень перспективъ, мѣръ построенъ, Хозяинъ есть. Для нихъ чедовѣческая гордость бессмысленна и безумна. Безуміе же всего центральная, можетъ быть, идея коммунизма — идея плана: въ глубинѣ и развитіи своемъ—прямой и логическій выводъ безбожія, идея творческой, «строительной» міровой инициативы, которую надо же кому-нибудь взять въ свои руки, если никакого архитектора нигдѣ нѣтъ.

Но не многимъ дана истинная вѣра. Трагедія съ ея убылью обостряется... У насъ часто упрекаютъ людей, которые ни на какую религіозность не претендуютъ, въ «соглашательствѣ» съ совѣтской Россіей. Тѣ оправдываются. Если рѣчь идетъ о средствахъ и методахъ, имъ оправдаться не трудно. Но если о цѣли... Положа руку на сердце, можетъ ли чедовѣкъ, никакихъ метафизическихъ обѣщаній не знающій, ничего въ этомъ смыслѣ не жаждущій, наполовину воспитанный Европой, помнящій ея уроки и ищущій ответственности за свое участіе въ жизни, не почувствовать хотя бы на мигъ какого-то своего родства съ далекими надеждами коммунизма? И значить ли на минуту не дрогнуть въ сторону «соглашательства» (пустое, митинговое и злое слово, въ девяти случаяхъ изъ десяти доказывающее лишь ограниченность того, кто его произноситъ). Тутъ совсѣмъ не о прозелитизмѣ или радости рѣчь. Тутъ только — сознаніе того, что отъ огромнаго, труднаго, страшнаго — и при всей безопасности, глубоко-людскаго — дѣла нельзя «отмахнуться», про-

сто такъ, въ спокойной и самоувѣренной слѣпотѣ, какъ отъ пустяка, или преходящей, случайной мерзости!

Тѣмъ болѣе, что за этимъ пустякомъ сейчасъ — Россія. «Не отрекайся, пока ты живъ», по слову поэта. Но въ новой Россіи намъ почти все чуждо: осталось имя, то, что мы имъ называли — разсѣялось. А разсѣявшееся мы продолжаемъ любить, какъ лучшее, что въ жизни видѣли. Надо ли упорствовать на необходимости его возвращенія, хотя и безъ яснаго представленія, куда и къ чему это все приведетъ? Надо ли слова о жертвенности довести до послѣдняго воплощенія и пожертвовать собой и всѣмъ своимъ, помня, кстати, что по «нашему» же, глубочайшему завѣту только тотъ и утверждаетъ себя, кто себя губить.

Я едва не написалъ въ заключеніе обычно-эффективную «подъ занавѣсъ» — фразу: Россія ждетъ отвѣта... Нѣтъ, неправда: она ничего не ждетъ. Не знаемъ, по крайней мѣрѣ, Россія — по Пушкину — «въ бореньяхъ силы напрягаетъ», ей не до того. Отвѣтъ нуженъ не столько для нея, сколько для насъ самихъ: чтобы намъ можно было жить.

Георгій Адамовичъ.

## Парламентъ, Совѣты, Корпорации

(Представительство индивидуальное-лицъ и Представительство групповое-интересов).

Къ идеѣ народнаго представительства на основаніи всеобщаго голосованія политическое сознаніе пришло не сразу даже въ странѣ, имѣвшей первенствующее вліяніе на политическое развитіе континентальной Европы.

Въ мукахъ и сомнѣніяхъ оформливалась идея національнаго представительства въ іюньскіе дни 1789 г., когда «представители общинъ» не знали какъ себя назвать. Не Грань обронуль — «Национальное Собраніе», названіе уже до того предлагавшееся. Сіеись ухватился за него.

Возьмите законодательные акты: статьи 3-ю, 6-ю, 12-ю Декларации правъ челоуька и гражданина. «Принципъ всякаго суверенитета покоится въ своемъ существѣ въ Націи. Ни одна корпорация, ни одинъ индивидъ не можетъ осуществлять власть, не исходящую отъ нея». «Законъ есть выраженіе всеобщей воли. Всѣ граждане имѣютъ право участвовать лично или чрезъ своихъ представителей въ его образованіи». Публичная власть, какъ гарантія правъ челоуька и гражданина «установлена лишь въ интересахъ всѣхъ, а не для частной пользы тѣхъ, кому она вѣрена».

Нельзя не привести въ этомъ контекстѣ и первыхъ трехъ статей титра III Конституціи 1791 г. «Суверенитетъ единъ и нераздѣленъ, неотчуждаемъ и непогашаемъ. Онъ принадлежитъ Націи; ни одна часть народа, ни одинъ индивидъ не можетъ себѣ присвоить его осуществленіе». — «Нація, отъ которой единственно проистекають всѣ власти, можетъ ихъ осуществлять только чрезъ делегацию. Французская конституція представительна: представители — законодательный корпусъ и король». — «Законодательная власть делегируется національному собранію, состоящему изъ временныхъ представителей, свободно избранныхъ народомъ для ея осуществленія Собраніемъ».

Эти отточенныя, ставія банальными, формулировки идеи

народнаго представительства вошли въ общій инвентарь демократической идеологіи. Въ нихъ заключена по существу и идея всеобщаго избирательнаго права, фактически великой революціей не осуществленнаго. Это было сдѣлано значительно познѣе, въ 1848 г., когда февральская революція примѣнила принципъ личности къ избирательному праву.

Въ набитой народомъ комнатѣ Ламартина въ объявилъ 24 февраля, что надо будетъ «попросить страну цѣликомъ, всѣхъ, кто, подъ названіемъ человѣка, является носителемъ правъ гражданина». Но точнаго представленія о томъ, какъ реализовать эту идею, не имѣлъ и «отецъ всеобщаго избирательнаго права» Ледрю-Ролланъ. 2-го марта временное правительство единодушно одобрило принципъ: «Избирательное право будетъ всеобщимъ и прямымъ, безъ какого бы то ни было ценза». Государственный совѣтникъ Корменанъ, которому правительство поручило составить проектъ декрета, взялся за дѣло, мало ему сочувствуя, но добросовѣстно сдѣлавъ всѣ слѣдовавшіе изъ него логическіе и юридическіе выводы. Право голосованія было предоставлено всѣмъ взрослымъ мужчинамъ, даже солдатамъ. Гравюра того времени, воспроизведенная на заглавномъ листѣ 6-го тома «Исторіи современной Франціи» Лависса, изображаетъ идиллическую аллегорію «Всеобщаго избирательнаго права 1848»: деревенскій пейзажъ; всходы и заводы; крестьяне и рабочіе явились опустить бюллетень избирателя въ урну; рядомъ изображеніе Франціи, опирающейся на Права человѣка: сзади древо Свободы, къ которому прислонился Ледрю-Ролланъ.

Несмотря на неудачу, постигшую февральскую революцію, декретъ 5 марта 1848 г. имѣлъ громадное, по признанію большинства историковъ и юристовъ, всемірно-историческое значеніе. Наряду съ принципами 1789 г. — права человѣка и, потому, народное представительство, принципъ 48 г. — права человѣка и, потому, всеобщее и равное, избирательное право при прямой и тайной подачѣ голосовъ, — сдѣлался какъ бы догматомъ новѣйшаго демократическаго сознанія. Воплощенія этихъ началъ въ жизнь мучительно добивалось въ теченіе нѣсколькихъ поколѣній большинство народовъ міра. И когда, въ итогъ мировой войны и вспыхнувшихъ тамъ и здѣсь въ связи съ войной революцій, удавалось отъ мечтаній перейти къ осуществленію, — всюду, вмѣстѣ съ принципами 89 г., получалъ признаніе и законодательное воплощеніе и принципъ 48 г.

Страны, вновь переходившія къ демократической культурѣ, брали изъ общаго арсенала демократической идеологіи то, что

имъ казалось наиболѣ цѣннымъ. Начиная — или возобновляя — демократическую традицію въ послѣвоенное время, страны — и конституціи — могли отрѣшиться отъ тѣхъ недостатковъ и пережитковъ прошлаго, которые тяжелымъ грузомъ традицій висѣли надъ политическимъ творчествомъ странъ старой культуры. Если во Франціи 89 г., въ духѣ рационализма 18 вѣка, нація представлялась простой «совокупностью» (*assemblage*) свободныхъ и равныхъ другъ другу индивидовъ-атомовъ; если въ Декларациі правъ далеко не случайно опущено было упоминаніе о правѣ союзовъ, а послѣдующій законъ Лепелетье и положительно воспрещалъ образованіе всякихъ корпорацій, профессиональныхъ и иныхъ; если историческое дѣленіе Франціи на провинціи не случайно замѣнено было механическимъ, въ духѣ вѣка, подраздѣленіемъ «единой и недѣлимой» на департаменты; если и по сей день добрая — или прекрасная — половина французскаго населенія ограничена въ своихъ гражданскихъ правахъ и исключена изъ избирательнаго корпуса и т. д. — всѣ эти изьяны или архаизмы были необязательны и легко устранимы при построеніи новаго политическаго уклада почти на дѣвственной почвѣ.

При выработкѣ конституцій новѣйшихъ по времени и болѣе совершенныхъ по формѣ учитывались, конечно, и отрицательныя стороны, которыя несло съ собою послѣдовательное осуществленіе демократическихъ началъ, — но всѣ эти соображенія блѣднѣли и отступали передъ несокрушимой, по своей самоочевидности, истинностью и справедливости, заключенными въ правѣ каждаго участвовать въ опредѣленіи судьбы своего народа путемъ выбора своего представителя въ органъ верховной власти, назначающей правительство и т. д.

Какъ явленіе соціологическаго порядка, можно установить: чѣмъ съ большей легкостью торжествовали принципы демократіи, тѣмъ, почти какъ правило, съ аналогичной легкостью отказывались отъ установленныхъ принциповъ. И, наоборотъ, — прочтѣе пустили корни демократическіе принципы тамъ, гдѣ они укрѣплялись медленно и постепенно, гдѣ унаслѣдованная отъ прошлаго традиція уступала и отступала передъ требованіями демократіи и вѣяніями времени лишь шагъ за шагомъ, съ боемъ не только на страницахъ книгъ и печати, но и въ стѣнахъ самаго парламента.

Развѣ не показательно, что Англія, въ которой и по сей день устояла демократія, повидимому, незыблемѣе, чѣмъ гдѣ-либо, именно Англія медленно другихъ странъ приближалась къ осуществленію у себя началъ всеобщаго избиратель-

наго права и осуществила его — въ актахъ 1918 и 1928 гг. — лишь совсѣмъ недавно, уже послѣ войны. Не менѣе показательно, что именно въ старой Викторианской Англіи, уже въ сороковыхъ и шестидесятихъ годахъ прошлаго столѣтія, высказаны были тѣ самыя общія разсужденія, которыя воспроизводятъ нынѣшніе противники такъ называемой формальной демократіи и всеобщаго избирательнаго права, по мнѣнію однихъ — доведеннаго до абсурда и потому требующаго поправки, а по мнѣнію другихъ — и неспособнаго вообще реально осуществить начала свободы и равенства.

Тянуть ли нынѣшніе новаторы влѣво или вправо, они чаще всего и не подозреваютъ, что у нихъ были предшественники, — тоже тянувшіе одки впередъ, другіе назадъ, и одинаково не принимавшіе всеобщаго избирательнаго права, какъ выраженія права личнаго и равнаго.

\*\*

На своей первой избирательной реформѣ 1832 г. Англія не могла остановиться. Реформа никого не удовлетворяла: и тѣхъ, кто стремился вернуть старое, и тѣхъ, кто стремился сдѣлать дальнѣйшіе шаги въ направленіи, проложенномъ реформой. Уже въ эпоху чартистскаго движенія нѣкоторые изъ его лѣвыхъ руководителей, Джемсъ Моррисонъ, Джемсъ Смитъ и др. высказывали увѣренность, что парламентъ настолько дискредитировалъ себя реформой, что онъ не въ силахъ возстановить утраченнаго довѣрія. Они предвѣщали, что на смѣну обреченной на смерть палаты общинъ придетъ Палата Трэдъ-Юнионъ.

Та же мысль угнѣздилась и въ головахъ правыхъ политиковъ, отстаивавшихъ цензовое начало противъ угрожающаго натиска всеобщей подачи голосовъ. Они были заинтересованы, конечно, въ сохраненіи своего культурнаго, политическаго и хозяйственнаго вліянія въ странѣ. Но аргументировали они при этомъ, какъ и ихъ противники, не только отъ своихъ интересовъ. Они аргументировали отъ интересовъ Англіи, отъ соображеній общаго порядка. Демократіи, которая представлялась имъ въ формѣ простой игры чиселъ и тираниі большинства, столпы и идеологи англійскаго консерватизма противопоставляли — «принципъ конституціоннаго совершенствованія» (the principle of constitutional perfection), по выраженію лорда Роберта Сесилия, впоследствии маркиза Салисбюри (письмо отъ 21 марта 1859 г.).

Этотъ «конституціонный принципъ», сводящійся къ искусственному созданію равновѣсія общественныхъ силъ въ парламентѣ, взаимнѣ случайностей избирательныхъ итоговъ, отчетливѣ всего былъ формулированъ Дизраэли въ его парламентской рѣчи въ февралѣ 1859 г. «Вамъ нужны въ палатѣ общинъ всѣ элементы, которые пользуются уваженіемъ и отвѣтственны за интересы страны. Вы должны имѣть тамъ знать и крупную территориальную собственность: вы должны имѣть промышленныя предпріятія лучшаго типа, вы должны имѣть солидную торговлю; вы должны имѣть профессиональныя способности во всѣхъ ихъ формахъ, вы должны однако имѣть и нѣчто большее — вы нуждаетесь въ совокупности людей, не слишкомъ близко связанныхъ ни съ земледѣліемъ, ни съ промышленностью, ни съ торговлей; не слишкомъ привыкнутыхъ профессиональной мыслью и профессиональными привычками; вы должны имѣть совокупность людей, представляющихъ широкое разнообразіе англійскаго характера; людей, которые будутъ судьями между этими крупными господствующими интересами, которые будутъ смягчать жестокость ихъ соперничества».

Ту же мысль Дизраэли — «парламентъ долженъ быть зеркаломъ ума и матеріальныхъ интересовъ Англій» — развивалъ впоследствии и другой видный консерваторъ сэръ Хьюбъ Кэрнсъ, говорившій: «Парламентъ долженъ быть зеркаломъ — представительствомъ каждаго класса — не соответственно числу голосовъ и не соответственно цифрамъ, но соответственно всему тому, что даетъ вѣсъ и значеніе въ мірѣ внѣ его, съ тѣмъ, чтобы разные классы общества могли быть услышаны, и ихъ взгляды могли быть правильно выражены въ палатѣ общинъ, безъ возможности, чтобы одинъ классъ подавлялъ численностью и приводилъ къ молчанію другіе классы королевства \*)».

Нетрудно прослѣдить идеологическіе корни этого «конституціоннаго» принципа. Они — феодальнаго, средневѣковаго, религіознаго происхожденія, — неотдѣлимы отъ убѣжденія, что одинъ праведникъ гораздо цѣннѣе и важнѣе тысячи отверженныхъ или грѣшниковъ. И предложеніе не подсчитывать голоса, а взвѣшивать, — неразрывно связано не съ эпохой конституціонализма, а съ эпохой королей «божьей милостью»

\*) См. блестящій очеркъ проф. Б. Э. Нольде «Представительство интересовъ» въ редактированномъ мною въ 1922 г. сборникѣ «Современныя Проблемы». Стр. 63-64.



и Христовыхъ намѣстниковъ, чьи индивидуальныя голоса на всѣхъ того времени перевѣшивали коллективный голосъ народа или пасты. И въ свѣтскихъ сословныхъ собраніяхъ рѣшающая роль оставалась за бѣльшей силой, а не за бѣльшимъ числомъ; верхъ одерживала *pars minor*, а не *pars major*.

Въ половинѣ 19-го вѣка въ Англіи уже поздно было отрицать значеніе парламента и его суверенитетъ. Но суверенитетъ этотъ пытались «организовать», ограничивая или точнѣе, капитуруя въ желательномъ для себя направленіи, тѣ силы, на которыя парламентъ опирается и которыя его питаютъ. Съ этой цѣлью количественному признаку была противопоставленъ признакъ качественный, опредѣляемый произвольнымъ усмотрѣніемъ сторонниковъ «конституціоннаго» принципа взаимнѣ демократическаго. Суверенитетъ избирательнаго корпуса не отрицался. Его предлагали только организовать по своему, на править по иному, не количественному руслу, забывая при этомъ одно, а именно, что суверенитетъ направленный уже не есть суверенитетъ вовсе, — какъ управляемое общественное мнѣніе перестаетъ уже быть мнѣніемъ общественнымъ, а дѣлается мнѣніемъ «казеннымъ».

\*\*

Мысли, развитыя англійскими консерваторами, были если не повторены, то на свой ладъ переработаны и въ другихъ странахъ, когда тамъ ставился тотъ же вопросъ о расширеніи избирательнаго права. Въ частности, раньше и полнѣе другихъ этотъ вопросъ получилъ свое освѣщеніе въ Бельгіи 80-хъ и 90-хъ годовъ, во время борьбы за демократизацію бельгійской избирательной системы, приведшей къ реформѣ 1893 г.

Въ парламентѣ и въ научныхъ и политическихъ кругахъ выдвинута была впервые идея организованнаго представительства интересовъ различныхъ хозяйственныхъ и профессиональныхъ группъ взаимнѣ случайнаго и хаотическаго представительства отдѣльныхъ лицъ. вмѣсто представительства отъ избирательнаго округа, или «нейтральнаго» и «механическаго» територіальнаго участка, отстаивалась необходимость организовать выборы отъ опредѣленныхъ «органическихъ» группъ или интересовъ, такихъ, какъ земледѣліе, промышленность, торговля, наука, другіе варьировали — отъ капитала, труда, искусства, или: отъ рабочихъ, собственниковъ, купцовъ, художниковъ, доводя иногда число группъ до 10, изъ коихъ каждая должна была вновь дѣлиться и подраздѣляться на подгруппы и

фракціи подгруппъ (см., напр., проект сенатора Эрокъ въ парламентскихъ Анналахъ 1-III-1893).

Въ дебатахъ и полемикѣ противъ всеобщаго избирательнаго права, поднятыхъ въ Бельгіи 50 лѣтъ тому назадъ, имѣется иногда буквально повтореніе не только прошлаго, въ частности, англійскаго прошлаго, — что было бы, въ концѣ концовъ, не такъ уже удивительно, — въ нихъ иногда буквально воспроизводятся тѣ же соображенія, которыя звучатъ сейчасъ. Что, напримѣръ, можетъ быть банальнѣе и въ то же время злободневнѣе книги, вышедшей въ 1884 г. и даже озаглавленной такъ, точно она написана вчера? Мы говоримъ о книгѣ Адольфа Прэнса: «Демократія и парламентарный режимъ. Этюдъ о корпоративномъ режимѣ и представительствѣ интересовъ».

Большой заслугой Прэнса необходимо признать откровенность, съ которой онъ ставитъ вопросъ о представительствѣ интересовъ. Его обѣтованіе — не въ будущемъ, а въ прошломъ. Отъ «современнаго идеала» онъ безъ колебаній зоветъ къ средневѣковому, къ 14-му, 12-му, даже 11-му и 10-му вѣку. «Несмотря на видимые недостатки, старое общество и прежнее представительство было по существу выше нашего. Такъ же, какъ было бы бессмысленно утверждать, что надо вернуться къ режиму кастъ, такъ же было бы бессмысленно думать, что общество можетъ быть понято чисто атомистически. Глубокой ошибкой Революціи было то, что она проглядѣла, что депутатъ, представляющій всѣхъ, не представляетъ больше никого».

Положительныя черты средневѣковья авторъ усматривалъ въ томъ, что всякій стремился оставаться въ своей средѣ, всякій былъ заинтересованъ въ сохраненіи социальнаго порядка, «міръ былъ суммою корпорацій, и каждая корпорація представляла общественную силу... которая требовала отъ своихъ членовъ жертвенности не въ отношеніи къ общественному благу (за исключеніемъ небольшой элиты мыслителей, остающемуся для всѣхъ австракціей), а по отношенію къ коллективному интересу, всѣмъ понятному и для всѣхъ видимому». — Явно прикрашивая, Прэнсъ отдавалъ предпочтеніе средневѣковымъ массамъ по сравненію съ массами нашего (своего) времени: первыя будто бы обладали особымъ понятіемъ права, несмотря на наличность всеобщаго закрѣпощенія въ городѣ и въ деревнѣ.

Если исходить изъ того, что «избиратель не равенъ избирателю», можно легко притти къ признанію, что выборы вообще вещь второстепенная, — существенно лишь представительство: «собраніе можетъ быть отлично представлено безъ того, что-

бы быть эманацией численнаго большинства избирателей»; «при прямых выборах можно имѣть уполномоченныхъ, ни въ какой мѣрѣ не представляющихъ мнѣнiе всѣхъ голосующихъ, а при представительствѣ коллективныхъ интересовъ можно получить представительный корпусъ, вѣрно представляющій мнѣнiе, несмотря на то, что немногие избиратели участвовали въ голосованiи».

Политическiе выводы легко было варьировать, направить ихъ не противъ однихъ классовъ и группъ, а противъ другихъ, — общiя соображенiя при этомъ оставались. Сюда должно быть отнесено прежде всего убѣжденiе, что всеобщее избирательное право не только «миражъ», но и вообще не нужно «для эмансипацiи трудящихся и защиты униженныхъ». Подлинный девизъ: «Все для народа», а не «все чрезъ народъ». Сюда относится и то, что противоестественно, неисторично и несправедливо и равенство въ избирательномъ правѣ. И вообще въ основѣ общества находятся не лица, не индивидуы, а «естественныя соединенiя».

Построенная такимъ образомъ схема стала искать и находить поддержку въ авторитетахъ прошлаго. Даже у Робеспьера, который защищалъ контроль со стороны народа, собравшагося въ секци! Даже у автора «Духа законовъ» (Гл. III, книга II)!.. \*) Мы не говоримъ о болѣе близкихъ къ нашему времени нѣмецкихъ ученыхъ—Аренсѣ, Молѣ, Блунчли, о французсахъ Сенъ-Симонѣ, Сисмонди и особенно Прудонѣ съ его пророчествомъ о томъ, что «мастерская заставитъ исчезнуть правительство», вдохновившимъ самого Маркса на утвержденiе, что сама «власть есть не что иное, какъ экономическая сила».

Было бы несправедливой односторонностью утверждать, что только противники принциповъ 89 года справа, потревоженные въ своихъ политическихъ и классовыхъ привилегiяхъ, выдвинули возраженiя противъ «атомизированнаго» всеобщаго избирательнаго права. «Представительство интересовъ» защищали и многие радикалы. Въ представительствѣ интересовъ въ Бельгiи 80-хъ годовъ видѣли преграду всемогуществу католической церкви и въ немъ же католики такъ называемаго социальнаго направленiя видѣли положительную силу для като-

\*) Защищая идею профессиональнаго представительства, недавно скончавшiйся Леонъ Дюги, какъ на источники этой идеи и этого права въ пореволюцiонное время, ссылался на Сиссеа и на Бенжамена Констана. — См. *Traité de Droit Constitutionnel*. Ed. 1921. Т. II. p. 603.

лицамъ. Теоретики социализма де Греефъ требовали представительства интересовъ «для организации великой неорганической силы верховенства числа».

Надо вообще сказать, что если однимъ пугало расширеніе избирательнаго права, другіе приходили въ отчаяніе отъ медленности темпа, съ которымъ шло возвышенное великой революціей освобожденіе человѣка и гражданина, особенно—освобожденіе немущаго пролетарія. Усумнились въ силу возвышенныхъ принципозъ командуемые. Но усумнились въ нихъ и командующіе. И тѣ, и другіе утратили былую вѣру въ то, что человѣка можно вразумить или облагородить одною силой убѣжденія. Чѣмъ дальше отъ 18 вѣка, тѣмъ дальше уходила и легенда Руссо о томъ, что «человѣкъ рождается благимъ, и только общество дѣлаетъ его дурнымъ». XIX-ый вѣкъ выдвинулъ другое положеніе: и человѣкъ, и нравы — только производное отъ учреждений. И къ нему нынѣшній вѣкъ — вѣкъ войны и жесточайшихъ гражданскихъ войнъ — прибавилъ: человѣкъ вовсе не только благое существо, какъ думалъ Руссо, но и злое и своекорыстное, не только царь природы, но и рабъ людскихъ страстей.

\*\*

Групповое представительство или представительство интересовъ повсе не является новымъ ни въ теоріи, ни на практикѣ. Самымъ яркимъ образомъ этого представительства можно считать порядокъ выборовъ по такъ называемымъ куріямъ, введенный въ габсбургской Австріи въ 1873 г., когда населеніе было разбито на 4 куріи, или разряда: крупное землевладѣніе, города, торговныя палаты и сельскія общины. Въ нѣкоторыхъ провинціяхъ бывлой Австріи къ первой куріи отнесены были не землевладѣльцы, а плательщики наиболѣе крупныхъ суммъ налоговъ; въ другихъ организованы были особые выборы отъ духовенства. Наконецъ, къ существующимъ куріямъ съ 1896 г. присоединена была еще пятая — курія всеобщаго голосованія. Австрійская система въ своей первобытности обнаружилла наглядно заключенный въ ней политическій смыслъ. Достаточно сравнить число избирателей, которые приходится въ среднемъ на депутата, избраннаго по 1-ой, 2-ой и проч. куріямъ: тогда какъ по первой куріи депутатъ въ началѣ XX-го вѣка приходился въ среднемъ на 64 избирателя, по второй онъ приходился уже на 4.100 избирателей, въ третьей — на 26, въ четвертой — на 12.300 и въ пятой на — 70.000.

Можно утверждать, что представительство интересов вообще было господствующей формой представительства въ предвоенной Европѣ 19-го вѣка. Въ мелкихъ нѣмецкихъ государствахъ въ Испаніи, Италіи, Румыніи, въ Положеніяхъ о выборахъ въ Государственную Думу 11 декабря 1905 г. и о переустройствѣ Государственнаго Совѣта 20 февраля 1906 г.—всюду до самаго XX-го вѣка встрѣчаемъ мы «представительство интересовъ», заранѣе забронированное избирательнымъ закономъ въ верхнюю, а иногда и въ нижнюю палату. И даже въ такихъ странахъ, какъ Бельгія, реформа 1893 г., въ качествѣ корректива къ всеобщему избирательному праву, ввела, такъ называемый, множественный вотумъ (vote multiple) съ однимъ дополнительнымъ голосомъ для отцовъ семействъ, достигшихъ 35 лѣтъ и уплачивающихъ извѣстный налогъ, какъ и для владѣльцевъ опредѣленной пѣнности имущества; и даже съ двумя дополнительными голосами для обладающихъ высшимъ образовательнымъ цензомъ.

Въ той же Бельгіи откровенное признаніе представительства интересовъ выражено было въ законѣ 11 апрѣля 1895 г. о мѣстныхъ выборахъ въ крупнѣйшія коммуны. Согласно ему прибавлялись такъ называемые «совѣтники Геллепута», избираемые наполовину патронами, наполовину рабочими. Чтобы быть избирателемъ, патронъ долженъ быть «завѣдующимъ производствомъ» (chef d'industrie). Званіемъ «завѣдующаго производствомъ» надѣляются только тѣ, кто преобразуютъ матеріалъ. Стекольщикъ, на примѣръ, — не избиратель: онъ не видоизмѣняетъ стекла, онъ его рѣжетъ. Но тотъ, кто покупаетъ планки и превращаетъ ихъ въ рамки, тотъ удовлетворяетъ требуемымъ условіямъ. Слесарь — избиратель, потому что онъ и кузнецъ. Мясникъ же имъ не является или, вѣрнѣе, пересталъ имъ быть. Первоначально его считали избирателемъ, но бельгійскій кассационный судъ призналъ, что мясникъ не преобразуетъ тушу, а только продаетъ ее. На томъ же основаніи и колбасникъ не-избиратель, тогда какъ рестораторъ-поварь таковымъ является...

На небольшомъ бельгійскомъ примѣрѣ наглядно проступаютъ дефекты группового представительства: наличность ценза, даже при нежеланіи его вводить, и полная произвольность этого ценза. Если образованность можно приравнивать къ отцовству, почему бы и въ самомъ дѣлѣ не уравнивать въ правахъ людей, а профессіи, иначе — почему не сложить пудовъ съ аршинами? Полная произвольность въ опредѣленіи группъ яв-

ляется такимъ же неизбывнымъ рокомъ представительства тѣ, кто не раздѣляютъ наивнаго уподобленія коллектива органическое представленіе объ обществѣ и группахъ. Даже тѣ, кто не раздѣляютъ наивнаго уподобленія коллектива организму, и тѣ, когда пишутъ въ защиту представительства интересовъ, всегда противопоставляютъ «неорганическое» избирательное право «органическому» представительству группъ, профессій, интересовъ.

Недостатки «демо-либерализма», «формальной» и «атомизированной» демократіи, не говоря уже о «буржуазномъ» парламентаризмѣ, развѣнчивали и разоблачали одинаково дружно — и правые, и лѣвые. Съ разными, правда, цѣлями, но и тѣ, и другіе стремились обезпечить за собой вмѣсто неопредѣленности избранія заранѣе предопредѣленный «отборъ» (или подборъ) послушной агентуры. Но, какъ правило, свои цѣли удавалось осуществлять гораздо легче ученикамъ Наполеона III и Бисмарка, нежели ученикамъ Прудона и Маркса.

Въ этомъ смыслѣ радикальный поворотъ произошелъ въ 1918-мъ году, когда вмѣстѣ съ режимомъ Совѣтовъ впервые въ исторіи представительство интересовъ или классовъ получило выраженіе въ избирательномъ законѣ въ результатѣ революціи и триумфа лѣва, а не справа. Правъ былъ въ этомъ смыслѣ Ллойдъ Джорджъ, когда еще въ 1923 г. замѣтилъ: «Въ наше время антидемократическое движеніе началось не въ Италіи, а въ Россіи. Первый великій фашистъ нашего времени — не Муссолини, а Ленинъ. Онъ былъ первымъ, кто замѣнилъ въ демократическомъ государствѣ режимъ избранія силой».

\*\*

Какъ извѣстно, Совѣты возникли, самое слово это было произнесено впервые, — осенью 1905 г. Въ разгаръ всеобщей забастовки выдвинутъ былъ планъ безпартийнаго объединенія рабочихъ въ «Общегородской Совѣтъ рабочихъ депутатовъ г. Петербурга». Каждые 500 рабочихъ имѣли право на выборы одного депутата, которые въ своей совокупности должны были составить мѣстный Совѣтъ. Совѣтъ рабочихъ депутатовъ въ условія Россіи XX-го вѣка долженъ былъ играть, примѣрно, ту же роль, какую нѣсколькими вѣками раньше играли наспѣхъ сколоченные совѣты крестьянскихъ депутатовъ во время кре-

стьянскихъ войнъ въ Германіи или совѣты солдатскихъ и офицерскихъ делегатовъ въ Англіи при Кромвелѣ.

Если противъ Совѣтовъ въ 1905 г. раздавались возраженія, то они шли отъ Ленина и его единомышленниковъ, опасавшихся, какъ бы безпартийное объединеніе рабочаго класса не выступило конкурентомъ и не вступило бы въ конфликтъ съ руководствомъ большевистской партіи. Исходя изъ своего взгляда на особыя свойства и заданія «профессиональныхъ революціонеровъ», Ленинъ и его послѣдователи отнеслись недовѣрчиво къ политической безпартийности Совѣта, избраннаго хотя бы и рабочими. Ленинъ жаловался на бездѣятельность Совѣта: «Здѣсь партийная организація затерта Совѣтомъ. А въ Совѣтѣ все въ разговорильню, въ рабочей парламентъ стараются препаритить»...

Совѣты всегда возникали не на высокой ступени политической организованности, а на болѣе низкой и примитивной; не отъ избытка силы, а отъ слабости движенія. И въ Россіи они возникли въ моментъ судорожной революціонной спѣшки, за отсутствіемъ другихъ болѣе совершенныхъ организацій: политическихъ партій, профессиональныхъ союзовъ, парламента на демократической основѣ. Исторически Совѣты предшествуютъ Демократіи, и эволюція идетъ отъ Совѣтовъ къ Демократіи, а не въ обратномъ направленіи.

И въ 17-мъ году Ленинъ и его партія не столь безоговорочно принимали совѣтскую систему. Пока Совѣты шли не за Ленинымъ, Ленинъ считалъ, что они «похожи на барановъ». Онъ видѣлъ въ Совѣтахъ «органы соглашенія съ буржуазіей». Лишь послѣ того, какъ измѣнился политическій составъ Совѣтовъ, и въ нихъ утвердилось большинство приверженцевъ Ленина, Ленинъ и его единомышленники признали, что Совѣты и только Совѣты подлинная и единственная форма будущаго. Вопросъ тогда — да и позднѣе — стоялъ чисто политически: какимъ путемъ пролетарская партія можетъ прити къ власти и ее удержать. Вопросъ о преимуществахъ Совѣтовъ, какъ особой формы представительства отъ «коллективовъ» — отъ фабрикъ, заводоу, желѣзно-дорожныхъ линій, пожарныхъ командъ, войсковыхъ частей, производственныхъ единицъ и т. д., въ процессъ борьбы за власть и не ставился!

Только въ декретѣ о роспускѣ Учредительнаго Собранія 20 января 1918 г. партія большевиковъ впервые констатировала формально, что «старый буржуазный парламентаризмъ пережилъ себя».

Идеологически и структурно, несмотря на всѣ различія въ цѣляхъ, построеніе совѣтской системы идентично построенію

всякой другой системы, прстроенной на цензѣ. Ленинъ не разъ и не два доказывалъ, что по отношенію къ враждебнымъ классамъ нарушеніе «чистой демократіи», т. е. равенства и свободы, является не только допустимымъ, но и единственно возможнымъ. «Ссылку на волю народа» онъ считалъ «достойной только самого тупого мелкаго буржуа». Здѣсь онъ текстуально повторяетъ просвѣщенныхъ монарховъ 18-17 столѣтій, называвшихъ себя «первыми слугами своего народа», но исходившихъ изъ «ограниченнаго разума» своихъ подданныхъ. «Совѣты, говорилъ Ленинъ, на 8-мъ съѣздѣ коммунистической партіи, будучи по своей программѣ органами управленія черезъ трудящихся, на самомъ дѣлѣ являются органами управленія для трудящихся».

Въ отвѣтъ на анкету о «Новѣйшей эволюціи представительнаго режима», представленнаго XXV-ой конференціи между-парламентскаго объединенія въ 1928 г., въ частности, извѣстнымъ профессоромъ Ласки, правильно отмѣчается, что, съ исторической точки зрѣнія, если идеаль политической свободы, идеаль XIX вѣка, былъ выдвинуть французской революціей, то экономическое равенство, «идеаль XX вѣка», приходится расцѣпывать въ перспективѣ большевицкой революціи. Болѣе чѣмъ позволительно скептическое отношеніе къ тому, что «идеаль XX вѣка» осуществленъ въ Россіи, хотя бы въ той малой мѣрѣ, въ какой удалось Франціи и ея революціи, осуществить свой «идеаль». Во всякомъ случаѣ необходимо помнить, что экономическій идеаль Совѣты стремятся осуществить не въ развитіе идеала политическаго, правъ человѣка и гражданина и само-освобожденія трудящихся, а въ прямое отрицаніе принциповъ, хотя и великой, но все-таки не пролетарской, а буржуазной революціи. Не случайно и первый актъ своего социалистическаго творчества они посвятили не индивидуальнымъ правамъ человѣка и гражданина «на свободную эксплуатацію людей, лишенныхъ орудій и средствъ производства», а провозглашенію коллективныхъ правъ «трудящагося и эксплуатируемаго народа».

\*\*

Какова бы ни была политическая реальность, но идеологически — или мифологически — Совѣты какъ бы слились съ социализмомъ. Они и сами считаютъ себя единственнымъ и полнымъ выраженіемъ социализма, и враги социализма поддерживаютъ ту же версію. Поскольку Совѣты стали своего рода



эманацией или воплощеніемъ социализма, все «совѣтское» стало необычайно популярнымъ въ лѣвыхъ кругахъ. Только этимъ обстоятельствомъ объяснимо, какъ и почему и веймарская конституція Германіи 1919 г. отдала свою дань «совѣтскому» принципу.

Какъ конституція, построенная на признаніи политическихъ и социальныхъ правъ челоуѣка и началъ демократіи, она, конечно, не могла вмѣстить въ себя диктаторіальныхъ началъ Совѣтовъ. Она включила въ себя, поэтому, только знаменитую 165 статью, предусматривавшую образованіе окружныхъ экономическихъ совѣтовъ и имперскаго, въ которомъ были бы представлены и Совѣты рабочихъ и вообще «всѣ значительныя профессиональныя группировки, въ мѣру ихъ социальнаго и экономическаго значенія».

Знающіе германскую исторію—и германскую психологію—знаютъ, конечно, что Райхсвиртшафтсратъ веймарской конституціи связанъ генетически не только съ совѣтскими образцами, но и съ германскимъ — съ бисмарковскимъ Фольксвиртшафтсратомъ. Но въ условіяхъ 1919 г. совѣтскій образецъ давилъ, однако, сильнѣе на воображеніе авторовъ веймарской конституціи, нежели малодѣятельный органъ бисмарковскаго творчества.

По смыслу веймарской конституціи Райхсвиртшафтсрату не надлежало быть органомъ законодательнымъ. Но и той подсобной роли, которая ему была отведена, Райхсвиртшафтсратъ не сыгралъ. Не будемъ сейчасъ разсматривать, что въ этой неудачѣ надлежитъ отнести на счетъ общихъ условій Германіи, и что на счетъ самаго института. Ограничимся только указаніемъ на тѣ трудности — и произволъ, которые объективно были неустраими при практическомъ формированіи, такъ называемаго, *Vorläufiger Reichswirtschaftsrat* 1920 г.

Совѣтъ долженъ былъ включить представительство всѣхъ экономическихъ и социальныхъ группъ и интересовъ. Каждый «интересъ», естественно, домогался признанія за нимъ положенія наиболѣе благоприятсвемаго. Первоначально предполагали составить Совѣтъ изъ 100 челоуѣкъ. Позднѣе увеличили его численность до 280 и окончательно остановились на 326. Въ итогъ всѣхъ одинаково произвольныхъ комбинацій «интересы» распредѣлились такъ: сельское хозяйство, вмѣстѣ съ лѣснымъ, было приравнено къ промышленности; то и другое, на началахъ паритета, получило по 68 мѣстъ; огородничество и рыболовство выдѣлили отдѣльно и отдали имъ 6 мѣстъ; торговля, банки и сахарныя предпріятія, выдѣленные изъ промыш-

ленности, получили почему-то 44; транспортъ — 34; потребительскія общества и (?) женскія организаціи — 30; чиновники и либеральныя профессіи — 16; наконецъ, прочія лица по прямому назначенію правительства — 24.

Какъ ни отрицали сторонники представительства интересы механики чиселъ, все-таки и они вынуждены были ею, въ концѣ концовъ, воспользоваться. Точно также и съ признакомъ мѣстности. Чтобы удовлетворить «интересы», связанные не только съ опредѣленнымъ объектомъ, но и съ опредѣленной территоріей, — внутри произведеннаго подраздѣленія интересовъ произвели еще второе дѣленіе, по горизонтали. Такъ, изъ 68 представителей промышленности 48 должны были представлять различныя отрасли, а 20 — различныя области. Изъ указанныхъ 48 — 21 должны были назначать предприниматели и 21 — рабочіе; остальные же 6 мѣстъ закрѣплены спеціально за двумя видами промышленности: за угольной — 4 мѣста, опять-таки на началахъ паритета распределяемыхъ между рабочими и патронами, и поташной — 2 мѣста...

Германская конституція не единственная, отдавшая дань современнымъ увлеченіямъ представительствомъ группъ и интересовъ и попавшая въ безысходный кругъ взаимныхъ тормозовъ, сдержекъ и противовѣсовъ. Сюда же можно отнести и новѣйшій порядокъ избранія бельгійскаго и греческаго сената. Въ Бельгіи избраннымъ на основаніи всеобщаго и прямого голосованія и провинціальными совѣтами сенаторамъ предоставлено право пополнить свой составъ 22 сочленами, взятыми изъ спеціально предусмотрѣнныхъ закономъ «компетентныхъ» группъ; законъ 15 окт. 1921 г. перечисляетъ 21 такую «категорію». Въ Греціи законъ 14-I-29, наряду съ большинствомъ сенаторовъ, избранныхъ на основѣ всеобщаго избирательнаго права, предусматриваетъ выборъ 18 сенаторовъ «профессиональными ассоціаціями». Ср. также ст. 68 польской конституціи, ст. 44 югославской, ст. 27 и 33 конституціи свободнаго государства Ирландіи и т. д. Но въ названныхъ случаяхъ представительство группъ и интересовъ является лишь уклоненіемъ отъ общаго стія конституціи, формально выдержанной въ послѣдовательномъ демократизмѣ и лишь въ деталяхъ отдавшихъ дань модѣ.

Особо надо упомянуть экзотическую — или поэтическую — конституцію «Итальянскаго королевства Карнаро», которую придумалъ Габріэль д'Анунціо для занятаго имъ Фумэ. О ней приходится упоминать особо, во-первыхъ, потому, что здѣсь представительство интересовъ по меньшей мѣрѣ было уравне-

но въ своемъ значеніи съ всеобщимъ избирательнымъ правомъ, во-вторыхъ, потому что здѣсь впервые представительство интересовъ приняло отчетливую форму корпоративнаго принципа; и, въ-третьихъ,—потому, что изъ этого поэтического источника, видимо, черпалъ свое идеологическое вдохновеніе и итальянскій Дуче, когда ему пришлось оформлять смыслъ своей октябрьской революціи и похода на Римъ. Ибо въ фашизмѣ, какъ и въ большевизмѣ, въ началѣ было Дѣло и лишь потомъ явилось Слово, по иному осмыслившее то, что въ процессѣ своего свершенія имѣло совсѣмъ другой смыслъ \*).

Связанная съ именемъ д'Анунціо, фіумская конституція въ части, касающейся корпораций, подсказана синдикализмомъ, въ частности, однимъ изъ лидеров итальянскаго синдикализма Альчестомъ де Амбрисъ. Послѣдній предвидѣлъ упрекъ, что корпорации являются возвращеніемъ къ закрѣпощенію замкнутыхъ корпораций среднихъ вѣковъ, защищавшихъ эгоистическіе интересы «корпорантовъ» противъ всѣхъ, кто къ нимъ не принадлежалъ. «Корпорация, какъ она опредѣлена въ конституціи, писалъ Де Амбрисъ, не приковываетъ человѣка на всю жизнь къ опредѣленной работѣ, но инкорпорируетъ его въ ту группу производителей, въ которую влекутъ его способности, его вкусы, его нужды и социальная необходимость. Работникъ сохраняетъ право свободно мѣнять занятіе, переходя изъ одной корпорации въ другую, если это ему выгодно или если этого требуютъ интересы производства и его способности позволяютъ ему это. И его переходъ будетъ узаконенъ такъ же, какъ узаконяется переходъ изъ одного города въ другой гражданина, желающаго переменить мѣстожителство».

Однако, и при свободѣ перехода изъ одной корпорации въ другую остается основное и неотмѣнимое ограниченіе — прикрѣпленіе каждаго къ корпорации. Какъ во время существованія крѣпостного права крѣпостной могъ сбѣжать отъ своего хозяина, но не могъ избѣжать крѣпостной неволи, такъ и всякая корпоративная система, если она хочетъ быть эффективной, вынуждена, при всѣхъ уступкахъ времени, закрѣпощать своихъ сочленовъ. И фіумская конституція такъ и поступаетъ: ст. XVIII, абзацъ третій, предусматриваетъ, что всѣ обязанности записываются въ одну изъ корпораций. Корпорации

---

\*) Первоначальный текстъ «Карнарской Хартии» — 113 рукописныхъ страничекъ отъ августа 1920 г. — демонстрируется сейчасъ на выставкѣ фашистской революціи въ Римѣ, наряду съ другими трофеями и достижениями.

являются «обязательными синдикатами граждан-производителей»; «при посредствѣ корпораций обязательно объединяются всѣ, кто исполняетъ определенную функцію въ производствѣ», «интересы класса будутъ охраняться самимъ классомъ» и т. д. — разъясняетъ «Национальный Комитетъ синдикальнаго дѣйствія» въ Фіума.

То, что «Карнарская Хартія «Свободы» провозгласила не безъ поэтического изящества и гумана, практическое свое воплощеніе получило — и получаетъ — въ прозѣ фашистскаго утвержденія въ Италиі, Венгріи, Австріи.

\*\*

Увлеченіе корпоративнымъ строительствомъ пришло у Муссолини не сразу послѣ сосредоточенія въ его рукахъ полноты власти. Оно пришло значительно позднѣе, когда политическій цѣль была полностью достигнута и сталъ вопросъ, какъ прочнѣе закрѣпить въ умахъ и душахъ достигнутые уже результаты. Только тогда надумана была формула: «фашистское государство — государство корпоративное или оно вовсе не существуетъ», хотя правильнѣе было бы какъ разъ обратное: корпоративное государство — обязательно фашистское или его вовсе нѣтъ!.. И тутъ, подходя къ замыслу Дуче, нельзя забывать, кѣмъ онъ былъ и во что вѣровалъ до того, какъ возглавилъ фашизмъ, а позднѣе итальянское государство.

Къ фашистскому сверх-этатизму Муссолини пришелъ отъ анархо-синдикализма, къ Макиавели—отъ Сореля и Ницше. Еще пребывая въ рядахъ социалистовъ, Муссолини находилъ, что «социализмъ это нѣчто жестокое, строгое, нѣчто сотканное изъ противорѣчій и насилія. Социализмъ — война, и горе мягкосердечнымъ въ этой войнѣ». То же увидѣлъ онъ позднѣе и въ фашизмѣ.

Уже возглавляя фашизмъ, всего за 2 года до того, какъ возглавить Италію, въ 1920 году Муссолини писалъ: «Долой государство во всѣхъ его воплощеніяхъ! Государство вчерашняго дня, сегодняшняго, завтрашняго. Государство буржуазное, государство социалистическое! Намъ, вѣрнымъ умирающему индивидуализму, останеся для печальнаго настоящаго и темнаго будущаго лишь абсурдная, быть можетъ, но зато утѣшительная религія Анархія». Пройдетъ два-три года, и онъ скажетъ какъ разъ обратное: «Все для государства, ничего проливъ государства, ничего внѣ государства»; «19-ый вѣкъ былъ исполненъ лозунгомъ «всѣ», этимъ боевымъ кличемъ

демократіи. Теперь настало время сказать «немногіе» и «избранные»; «въ Россіи и Италіи доказано, что можно править помимо и противъ всякой либеральной идеологіи... Міръ усталъ отъ свободы... Теперь свобода уже перестала быть той непорочной и строгой дѣвой, ради которой боролись и гибли поколѣнія второй половины прошлаго вѣка... Есть другія слова, вызывающія обаяніе и гораздо болѣе величественныя: порядокъ, іерархія, дисциплина»; «народъ (какъ и свобода) никогда не былъ опредѣленъ. Это единство совершенно абстрактное».

При всей амплитудѣ колебаній и прославленномъ «динамизмѣ» — отъ крайняго отрицанія государства до предѣльнаго его обожествленія, — не въ утвержденіи Корпораций было первоначальный паевосъ движенія и его цѣль. Это слово — и цѣль — пришли гораздо позже, какъ увѣнчаніе «римскаго порядка», въ такой же мѣрѣ, въ какой ту же идею корпоративной іерархіи нѣкоторые изъ идеологовъ германскаго порядка пробуютъ сейчасъ связать съ нѣмецкой романтикой и ея представленіемъ о героической роли крестьянства и мелкаго производителя (взамѣнъ «не-арійскихъ» идей о дифференціаціи классовъ и пролетаріатѣ, какъ классѣ восходящемъ).

— Нельзя сказать, что я противникъ массъ, сказалъ Муссолини интервьюировавшему его Эмилю Людвигу, — я только отрицаю за массой право самоуправляться... Мы, фашисты, какъ и большевики, стоимъ за коллективизмъ, который можетъ быть созданъ только за счетъ личной жизни. Мы не стремимся превратить людей въ цифры, однако, видимъ въ индивидахъ лишь функциональные органы государства... Чтобы руководить массой, необходимо ее вести на двухъ поводахъ — на энтузіазмѣ и на заинтересованности. Мистика и политика нераздѣлимы. вторая безъ первой суха, первая безъ второй — вѣтеръ безплодный...

Корпорации и стали мистикой фашизма въ такой же мѣрѣ, въ какой Совѣты сдѣлались — мистикой отрицающаго мистика большевизма.

Вдумайтесь въ слова Муссолини на юбилейномъ собраніи фашистской пятнадцатки 18-го марта: «Народъ это плоть государства. Государство это душа народа. Народъ это Государство, какъ Государство это Народъ. Когда Корпорация начнутъ свою жизнь, рабочій будетъ освобожденъ»... Или: фашистское государство это — «синтезъ одного и многихъ, верховенства и народа, права и долга», какъ корпоративное — «осуществле-

ніе идеи конкретной цѣлостности (*concreta totalità*) жизни и производства», какъ говорится въ манифестъ фашизированной конфедерации труда по случаю празднованія 21 апрѣля. — Это ли не «мистика»!..

Не будемъ излагать всего фашистскаго законодательства о корпорацияхъ, — тѣмъ болѣе, что многое только намѣчено. Упомянемъ лишь главнѣйшіе акты и положенія, постепенно даже въ сознаніи самихъ авторовъ приводившіе къ утвержденію того, что стало именоваться корпоративной идеей.

Италія была уже давно и всесторонне фашизирована, когда 3 апрѣля 1926 г. появился законъ о юридической дисциплинѣ въ коллективныхъ отношеніяхъ съ рабочими. Этотъ законъ запрещалъ стачку и локаутъ, т. е. отнималъ возможность экономической борьбы, какъ у предпринимателя, такъ и у рабочихъ. Онъ положилъ въ то же время начало законодательному признанію ассоціаций работодателей и рабочихъ и охранѣ экономическихъ и моральныхъ интересовъ той и другой ассоціи. Королевскій декретъ 1 іюля того же года опредѣлилъ правила примѣненія предыдущаго закона. И въ немъ рядомъ съ указаніемъ, что членами синдикальныхъ ассоціаций могутъ быть «лишь лица хорошаго моральнаго и политическаго, въ національномъ смыслѣ, поведенія», предусмотрѣно образованіе корпораций, въ результатѣ объединенія опредѣленныхъ категорій синдикальныхъ организаций: работодателей и рабочихъ физическаго и умственнаго труда. Образуемая по декрету министра корпораций, «корпорация не есть юридическая личность, но представляетъ собою органъ государственнаго управленія», — гласитъ ст. 43, предопредѣляющая принудительный характеръ корпоративнаго устройства.

Въ Хартіи Труда, одобренной и изданной Великимъ Фашистскимъ Совѣтомъ 21 апрѣля 1927 г., нѣтъ конкретныхъ указаній, какъ организуется корпоративное государство. Она состоитъ по преимуществу изъ декларативныхъ тезисовъ, вродѣ того, что «принимая во вниманіе, что интересы производства — интересы національные, — корпорации признаются органами государства» (VI). Болѣе содержательнъ законъ 17 мая 1928 г. № 1019 о реформѣ политическаго представительства.

Этотъ законъ проводитъ рѣзкое разграниченіе между отдельными стадіями выборной процедуры. За избирательнымъ корпусомъ онъ оставляетъ лишь заключительную стадію — «одобренія» списка депутатовъ. Отъ намѣченія же кандидатовъ избиратели устранены. Кандидатовъ могутъ «намѣчать» лишь

опредѣленно указанныя: въ специальномъ перечнѣ «юридическія лица»; въ опредѣленномъ числѣ каждое; окончательно же назначеніе списка кандидатовъ зависитъ отъ Великаго Фашистскаго Совѣта, который «свободенъ выбрать удобныхъ ему кандидатовъ изъ намѣченнаго списка и внѣ его; когда необходимо включить лицъ заслуженныхъ въ наукѣ, литературѣ, искусствѣ, политикѣ или военномъ дѣлѣ, которыя иначе остались бы внѣ списка кандидатовъ» (ст. 5). Перечень даетъ 13 категорій разныхъ «юридическихъ лицъ», или національных конфедераций, имѣющихъ право на каждые 100 кандидатовъ предлагать разное количество своихъ представителей.

Наконецъ, въ законѣ 9 декабря 1928 г., измѣненномъ закономъ 14 декабря 1929 г., объ организаціи и преимуществахъ національной фашистской партіи, въ статьѣ первой данъ ключъ ко всей системѣ: «Великій Фашистскій Совѣтъ — верховный органъ, который приводитъ въ связь и соподчиняетъ всю дѣятельность режима, вышедшаго изъ октябрьской революціи 1922»... При наличности такой статьи фальшью звучатъ утвержденія о гармонической «самодисциплинѣ заинтересованныхъ корпорацій» (рѣчь Дуче отъ 14 января с. г.). Такой статьѣ нѣтъ даже въ совѣтской конституціи, хотя въ реальности Совѣты, конечно, тоже держатся — стоятъ и падаютъ — вмѣстѣ съ существованіемъ единой и единственной партіи, монополизировавшей власть. Правда, съ 1930 г., въ порядкѣ фактическомъ, безъ измѣненія текста конституціи, стала складываться практика изданія совѣтскихъ законовъ за подписью не только «главы правительства» — Молотова, но и главы партіи — Сталина. Декреты стали официально именоваться «Постановленіями Совнаркома и ЦК ВКП». Вмѣсто былой и излюбленной формулы «рабоче-крестьянская власть» и «власть совѣтская» все чаще стала мелькать и въ прессѣ, и въ административныхъ актахъ новая формула — «Партія и правительство». Партія на первомъ мѣстѣ, правительство на второмъ\*). А первѣе партіи — ея Дуче или Генсекъ, воплощающій разумъ и антиципирующій волю и партіи, и правительства, и страны.

Сиднею Лоу принадлежитъ глубокое соціологическое наблюденіе: каждому политическому режиму соответствуетъ свой рычагъ, приводящій его въ движеніе. Когда-то роль рычага въ автократической Англійи выполнялъ «король въ совѣ-

\*) Cp. *Al. Rapoport: Das Zentralkomitee d. kommunist. Partei als Gesetzgebungsorgan d. Sowjetunion. — Zeitschrift für Ostrecht, — 1933. S. 248. u. ff.*

тѣ», — государственный механизмъ приводился въ движеніе путемъ взаимодействія чиновъ и сословныхъ учреждений. Познѣе роль «короля въ совѣтѣ» стала играть «король въ парламентѣ», который сталъ царствовать, но не управлять. Въ новѣйшее время управлять въ Англіи и въ другихъ странахъ демократической культуры стали политическія партіи. Ихъ свободная игра и соревнованіе стало рычагомъ, приводящимъ въ движеніе парламентскіе и парламентарные режимы. Продолжая наблюденіе Сиднея Лоу, надо сказать, что послѣдующей эволюціи—одни скажутъ: развитію, другіе: вырожденію демократіи въ диктатуру, — соответствуетъ вытѣсненіе соперничающихъ партій одной и единственной. Монополія вносится и въ область духовныхъ запросовъ, и въ область матеріальныхъ интересовъ. Ликвидируется не только свобода мысли или слова, но и свобода труда и синдикатовъ.

Только что изданный законъ 5 февраля с. г. предоставляетъ корпораціямъ право «устанавливать» ставки для экономическихъ благъ и услугъ, равно какъ и цѣны на продукты потребленія, предоставляемые публикѣ на льготныхъ условіяхъ» (ст. 10). Слѣдующая статья предусматриваетъ, что «нормы, договоры и ставки», регламентирующіе «всю экономическую дѣятельность» «становятся обязательными, когда они опубликованы въ декретѣ главы правительства». Все исходить и все приходиться къ одному пункту — къ центру центровъ, къ Дуче, къ Фюреру, къ Генсеку. И въ самомъ дѣлѣ, ничего кромѣ анархіи и хаоса не получилось бы, если бы Корпораціи или Совѣты стали бы само-управляться!

Диктатура можетъ принимать различныя формы и воплощаться разными «идеалами» или «мистикой», но Совѣты, какъ и Корпораціи, и Корпораціи, какъ Совѣты, могутъ существовать лишь при наличности диктатора. Именуется ли партія, установившая свою монополію, интернаціональной и коммунистической или національной и фашистской, по существу это приводящая деталь. Такою же деталью второго порядка является та внѣшняя оболочка, въ которую облекается анти-демократическое и анти-парламентское по своей цѣлевстремленности существо такого государства, будутъ ли такой оболочкой Совѣты или Корпораціи. Именно потому такъ легко «смыкаются», въ частности, русскіе легитимисты-монархисты, на сочетаніи фашистскихъ идей съ совѣтскими.

Это не значитъ, конечно, что между государствомъ совѣтскимъ и корпоративнымъ нѣтъ многихъ и весьма существенныхъ различій. Въ нихъ имѣются отдѣльныя положенія, въ которыхъ



сходство и различіе сосуществуетъ. Такъ Совѣты закрѣпляютъ въ конституціи и въ избирательномъ правѣ дѣленіе на классы и группы, неотмѣненное и въ «соціалистическомъ отечествѣ» и вполне соответствующее общему представленію правителей о классовомъ строеніи общества и перманентной классовой борьбѣ. И Корпорации тоже закрѣпляютъ и стабилизируютъ фактическія различія и противорѣчія интересовъ, личныхъ и групповыхъ, съ тою лишь разницей, что онѣ вмѣстѣ съ тѣмъ обличаютъ и возстаютъ противъ «атомистическаго» и марксистскаго представленія объ обществѣ, противопоставляя ему свое, «органическое», «цѣлостное» и «тоталитарное».

Корпоративное государство — какъ и совѣтское — не связано непременно съ какимъ нибудь однимъ «міросозерцаніемъ». И, рядомъ съ национально-итальянскимъ или националь-соціалистически-германскимъ образцомъ, австрійскій вариантъ пробуетъ опереть свое корпоративное государство на христіанскую идеологию, въ частности, на папскую энциклику отъ 15 мая 1931 г. «Квадрагезимо анно», въ которой Пій XI возвѣстилъ пришествіе новаго общественнаго порядка на мѣсто благословеннаго 40 лѣтъ тому назадъ Львомъ XIII въ энцикликѣ «Рэрумъ новарумъ».

«Христіанское, корпоративное и авторитарное» государство, пришедшее на смѣну австрійской республикѣ, — учрежденіе весьма сложное. Оно построено на рядѣ представительствъ различнаго удѣльнаго вѣса и компетенціи. Оно имѣетъ 4 Совѣта съ совѣтательными функциями: Совѣтъ Государственный, члены коего назначаются главой государства; Совѣтъ культуры, представляющей религіи, университеты, искусство, науку, литературу; Экономическій Совѣтъ отъ 7 корпораций, въ свою очередь, какъ въ Италіи, подраздѣленныхъ на секціи и отдѣлы (секція промышленности, напримѣръ, на 7 отдѣловъ); и Совѣтъ отъ провинцій. То, что замѣняетъ собою законодательный органъ, Федеральнй Сеймъ (Bundestag) составленъ изъ 20 представителей перваго Совѣта, 10 — втораго, 20 — третьяго и 9 — четвертаго. Право инициативы законодательной составляетъ монополію правительства: Сеймъ не можетъ вносить никакихъ поправокъ; онъ или принимаетъ правительственный законопроектъ такъ же послушно, какъ и въ СССР, или отвергаетъ. Бюджетъ же не можетъ быть отвергнутъ цѣлкомъ: здѣсь какъ разъ допустимы поправки.

Болѣе чѣмъ съ симпатіей относящійся къ Дольфусу французскій офиціозъ не могъ все же не признать, что въ новомъ корпоративномъ государствѣ Австріи «вся подлинная политич-

ческая дѣятельность будетъ исключена», «для какого-либо проявленія духа свободы не будетъ вовсе мѣста». И въ болѣе общей формѣ—«Корпоративизмъ для диктатуръ служитъ средствомъ лучшаго удушенія индивидуальныхъ свободъ и вынужденія къ болѣе послушному пріятію ихъ утери. Корпоративизмъ лишь вынуждаетъ диктатуру довести до крайности свой принципъ, которымъ является принципъ цѣлостнаго («totalitaire») государства» (Le Temps отъ 7-II и 27-III с. г.).

Пусть съ точки зрѣнія Пія XI «религіозный социализмъ, какъ и социализмъ христіанскій, — суть противорѣчія: никто не можетъ быть въ одно и то же время добрымъ католикомъ и истиннымъ социалистомъ!» Пусть и съ точки зрѣнія другого партнера, заключившаго съ Ватиканомъ конкордату, социализмъ въ его «національ-соціалистическомъ» пониманіи несогласуемъ ни съ иудействомъ, ни съ христіанствомъ, вышедшимъ изъ иудейства! Пусть Совѣты отрицаютъ фашизмъ, а фашизмъ — Совѣты! Рѣшающимъ является не цѣль, не знамя, не во имя чего отрицается политическая и социальная демократія. Рѣшающимъ является то, что она отрицается и замѣщается.

И корпоративную, и совѣтскую систему защищаютъ съ самыхъ различныхъ и противоположныхъ точекъ зрѣнія. Эти системы противопоставляютъ системѣ формальной демократіи, какъ пережившей свое время и «несозвучной эпохѣ». — Какъ будто совѣты и корпорации не насчитываютъ болѣе почтенной исторической давности!

Къ корпоративной и совѣтской системѣ призываютъ потому, что формальная демократія — система якобы только политическая, тогда какъ эпоха выдвигаетъ на первый планъ хозяйственныя нужды. — Какъ будто совѣты и корпорации не только въ своихъ воплощеніяхъ, но и по заданію и въ идеѣ не являются прежде всего и больше всего учрежденіями рѣзко политическими и партійными!

Преимущество совѣтскаго и корпоративнаго государства видятъ въ томъ, что, будучи политически авторитарнымъ («авторитарная демократія» новоградцевъ!), только оно способно отрѣшиться отъ анемичнаго нейтралитета либеральнаго хозяйствования и активно руководить «управляемымъ хозяйствомъ». И вмѣстѣ съ тѣмъ въ корпоративизмѣ, какъ и въ совѣтахъ, усматриваютъ не крайнюю форму этатизма, а, наоборотъ, защитную форму противъ него, — своеобразный видъ децентрализации и «хозяйственной демократіи».

Словомъ, тамъ и тутъ, въ совѣтахъ и корпорацияхъ, каждый

находить то, чего онъ ищетъ, воистину мистически надѣляя совѣты и корпорации взаимно исключющими качествами.

Въ предисловіи къ известной монографіи Поль-Бонкура «Экономическій федерализмъ». — Этюдь объ обязательномъ синдикатѣ» знаменитый Вальдекъ-Руссо справедливо замѣтилъ: «Можно понять другой методъ — правительствѣ, которое сочтетъ себя мудрѣе людей; это будетъ концепція тираніи, — при чемъ я употребляю это слово въ его научномъ смыслѣ. Эта концепція не предполагаетъ и не допускаетъ никакой уступки; въ примѣненіи къ труду, она нѣкогда нашла свое выраженіе въ корпорации. Она регулируетъ все: число корпораций, ремесленниковъ, подмастерій и учениковъ, производство, выдѣлку и форму выдѣлки. Но такое строеніе — все изъ одного куска, оно или держится, или, если въ немъ пробиваются бреши, рушится цѣликомъ. Тиранія становится безпомощной и безпорядочной. Мы избрали свободу. Окажемъ ей довѣріе. Не будемъ ей ставить другихъ границъ, кромѣ правопорядка, внѣ которыхъ нѣтъ истинной свободы».

Несовмѣстимость демократическаго принципа съ принципомъ совѣтскимъ или корпоративнымъ одинаково рѣшительно утверждали и Ленинъ, и Муссолини, и ихъ правовѣрные послѣдователи. Только въ самое послѣднее время Муссолини вдругъ попробовалъ выдать корпоративизмъ за «синтезъ» отвергаемыхъ имъ либерализма и социализма.

Можно, вмѣстѣ съ Дюги, полагать, что «индивидъ тѣмъ въ большей мѣрѣ человекъ, чѣмъ въ большей мѣрѣ онъ общителенъ, т. е. чѣмъ большаго числа общественныхъ группъ онъ является сочленомъ». Можно признать исторически необходимымъ образованіе «взаимоперекрещивающихся группъ», «охваченныхъ процессомъ самоорганизации», отмѣченное еще за много лѣтъ до войны знаменитымъ Еллинекомъ въ его замѣчательной работѣ «Конституціи, ихъ измѣненія и преобразованія». Нельзя, однако, смѣшивать этотъ положительный процессъ свободной самоорганизации и самоуправленія съ процессомъ принудительнаго закрѣпленія лица группѣ, отбрасываемымъ исторію вспять, къ среднимъ вѣкамъ. Нѣтъ ничего общаго между движеніемъ впередъ, прославленнымъ пореволюціоннымъ «динамизмомъ», и превращеніемъ Корпораций — или Совѣтовъ — въ органы не личной автономіи, на ряду съ органами автономіи мѣстной, а въ послушную и «стабильную» агентуру власти.

Можно выбрать то или другое, — нельзя сочетать одно съ другимъ. Правленіе, опирающееся на свободное обще-

ственное мнѣніе, и, потому, на всеобщее и равное избирательное право, и правленіе, исходящее изъ общественнаго мнѣнія у правяемаго, на малеръ фабрики или войсковой части, и потому отвергающее всеобщность и равенство въ правахъ, — совершенно различныя и въ существѣ своемъ противоположныя и непримиримыя образованія. Признаніе одного, требуетъ отверженія другого и обратно. Свободное общественное мнѣніе — цѣнность самодовлѣющая, хотя успѣхъ и торжество такого режима отнюдь не обезпечены. Демократія можетъ терпѣть жестокія неудачи и длительное пораженіе. Но она не можетъ торжествовать въ результатѣ чужой побѣды. На ея пути лежать трудности и препятствія, передъ которыми приходится пассивать. Но разрѣшить эти трудности она можетъ только своими методами, а не заимствованными, хотя бы на кратчайшій срокъ и со всѣми оговорками, у противниковъ. Демократія, какъ и демократическій социализмъ, могутъ очутиться не въ чести и не въ долѣ. Но только демагогія и пошлѣйшій оппортунизмъ усмотрять въ этомъ рѣшающее основаніе для осужденія.

\*\*

Въ теченіе тысячи лѣтъ христіаннѣйшіе монархи вели свои народы къ утвержденію правды божьей и привели... къ религіознымъ междуусобіямъ и войнамъ династическимъ, за наслѣдства, за экспансію, за сферы вліянія и т. д., и т. д., въ конечномъ счетѣ — къ тому хаосу и кошмару, изъ котораго человечество пытается выбраться. «Христіанству пришлось замарать себя въ пыли и грязи земной исторіи», констатировалъ ревнующій о Христѣ и свободѣ Н. А. Бердяевъ, одинъ изъ первыхъ не только діагностировавшій наступленіе «Новаго средневѣковья», но и мужественно призывавшій: «Безъ страха и унынія должны мы вступить изъ дня новой исторіи въ ночь средневѣковья. Пусть померкнетъ ложный и обманчивый свѣтъ»; «Исторія только въ томъ случаѣ имѣетъ положительный смыслъ, если она кончится» (см. «Смысл исторіи», стр. 245 и сл.).

Тысячелѣтнія неудачи, грязь и кровь не поколебали вѣртыхъ, кто и сейчасъ мечтаетъ о «новой теократіи», о «христіанизаціи» и даже «оцерковленіи» жизни подъ водительствомъ князей — можетъ быть, не только церкви. И почему-то именно эти круги съ особеннымъ удовлетвореніемъ въ неудачѣ, постигшей демократію, — даже во Франціи насчитывающую едва полтора ста лѣтъ не существованія, а провозглашенія, — въ

эмпирической неудачѣ демократіи усматриваютъ свидѣтельство внутренней и имманентной ея несостоятельности!

Если социализмъ въ наши дни оказался фактически возможнымъ лишь въ формѣ террористической диктатуры, это аргументъ не противъ социализма, а противъ диктатуры и, если угодно, противъ «нашихъ дней». Наблюдая полныя глубокаго драматизма событія нашихъ дней, стараясь отгадать, куда идетъ міръ, мы съ предѣльной убѣжденностью можемъ сказать, — каково бы ни было нынѣшнее торжество большевизма и фашизма, не имъ утолить даже физическую жажду человѣка и чело-вѣчества, не то что жажду духовную. Ибо демократія — политическая и социальная — не одна лишь техника для рѣшенія политическихъ и хозяйственныхъ вопросовъ, она и основа жизни, въ которой заложено опредѣленное цѣл-ностное отношеніе къ человѣку и чело-вѣчеству въ предѣлахъ его земной исторіи.

**М. В. Вишнякъ.**

## Отъ первой пятилѣтки ко второй

Съ 1933 г. СССР маршируетъ подъ знаменемъ «второго пятилѣтняго народно-хозяйственнаго плана». Въ чемъ его сущность? Является-ли онъ только простымъ продолженіемъ перваго плана или чемъ нибудь существенно отъ него отличается? Нельзя понять хорошо лицо второй пятилѣтки, не зная исторію ея подготовки и эволюціи. А эта эволюція далеко не лишена поучительности.

Первые абрисы второй пятилѣтки набросаны весною, въ угарѣ 1931 г., когда побѣда надъ крестьянствомъ, «повертываніе середняка на путь социализма», такъ вскружили голову, что наверху увѣровали, будто теперь нѣтъ никакихъ предѣловъ для дальнѣйшихъ держаній и феноменальныхъ достижений. То было время, когда всю страну вздыбили предъ лозунгомъ ДИП: въ кратчайшій срокъ догнать и перегнать самыя передовыя капиталистическія страны. Проектируемая на вторую пятилѣтку цифры, а въ это время вниманіе всецѣло захвачено только тяжелой индустріей, поражаютъ своей явной, очевидной утопичностью. Но въ нихъ вѣрили. Или хотѣли вѣрить. У всѣхъ наверху кружилась голова и всѣмъ, какъ пьянымъ, — «море было по колѣно». Это былъ своего рода коллективный психозъ. Сдѣлать рекордныя индустриальныя достиженія на базѣ коллективизации сельскаго хозяйства, установить какія-то умопомрачающія цифры производства, представлялось дѣломъ вполне возможнымъ. Вопросомъ только волевого напряжения, революціоннаго «бурнаго натиска». «Стоитъ только по настояще му захотѣть».

Въ эту эпоху, ссылки на объективнаго рода препятствія отменяются прочь, какъ капитулянтское ланикерство и мерзкая оппортунистическая боязнь. «Объективныя условія» упоминаются въ совѣтской прессѣ не иначе, какъ въ ироническихъ кавычкахъ и нестремленно въ сопровожденіи уничижительнаго прилагательнаго: «пресловутыя». А слово «осторожность» представляется тогда терминомъ изъ контръ-революціоннаго лексикона. «Мы шагаемъ эпохами. Каждые два-три года — эпоха.

Дерзайте! — осторожность — удѣлъ бездарности, трусовъ и немощныхъ стариковъ-филистеровъ».

Весь 1931 г. проходитъ подъ неустанный гулъ набата: «выше темпы!»! А чтобы перекрыть темпы, которые, по выраженію М. Шагиняня, и безъ того «кололи пятки», изобрѣтались «встрѣчные планы». И тогда развитіе проектируемаго производства въ представленіи разгоряченныхъ головъ какъ-бы стремглавъ несло по такъ называемой «восходящей кривой»: проценты прироста продукціи ежегодно возрастали, доходя до 100, т. е., писала «Правда», до удвоенія продукціи за одинъ только годъ. И никто не смѣлъ высмѣять эту сумасшедшую игру, полить холодной водой разгоряченные головы, такъ какъ приказъ «выше и выше темпы» — проводился «выше самымъ Сталинымъ».

«Насъ иногда спрашиваютъ, говорилъ онъ въ февралѣ 1931 года, нельзя-ли нѣсколько замедлить темпы, придержать движеніе. Нѣтъ, нельзя, товарищи. Нельзя снижать темпы! Наоборотъ, по мѣрѣ силъ и возможностей ихъ надо увеличивать. Нѣтъ такихъ крѣпостей, которыхъ большевики не могли-бы взять. Мы рѣшили рядъ труднѣйшихъ задачъ. Мы повернули середняка на путь социализма. Самое важное съ точки зрѣнія строительства мы уже сдѣлали. Намъ осталось немного: изучить технику, овладѣть наукой. И когда мы сдѣлаемъ это, тогда у насъ пойдутъ такіе темпы, о которыхъ сейчасъ мы не смѣемъ и мечтать. И мы это сдѣлаемъ, если захотимъ этого по настоящему» (рѣчь Сталина на всесоюзномъ совѣщаніи промышленности).

Какого рода проекты вырабатывались въ наповинной бурнымъ волонтаризмомъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, большимъ солипсизмомъ средѣ, видно хотя бы по такимъ иллюстраціямъ. Въ 1931 г. угля добывалось 56 милліоновъ тоннъ. Плановики Госплана, ни съ чѣмъ не считаясь, проектируютъ добычу угля на 1937 г. въ 450 милліоновъ тоннъ. Приростъ въ 5 лѣтъ на 800%! Черезъ недѣлю плановики Коммунистической Академіи, выступая со «встрѣчнымъ планомъ», повышаютъ добычу до 550-580 милл. тоннъ. Приростъ уже «выше 900%! СССР однимъ гигантскимъ прыжкомъ сразу обгоняетъ Германію, Англію и Америку. Еще болѣе замѣчательно планированіе чугуна. Съ пяти милліоновъ тоннъ производство чернаго металла должно было возрасти на протяженіи пяти лѣтъ на 1.100%, дойти до 60 милліоновъ тоннъ, побить почти на 40% цифру самой высокой плавки чугуна эпохи процвѣтанія въ Соед. Штатахъ».

Слѣдуетъ сказать, что къ концу 1931 г. кое-кого наверху

береть оторопь. Политбюро замѣчаетъ, что проекты Госплана явно страдаютъ маниакальной гигантоманіей. Госпланъ одергиваютъ. Ему приказываютъ сбавить темпы. Собирающаяся въ февралѣ 1932 г. 17-ая партійная конференція, посвященная заданиямъ второй пятилѣтки, выступаетъ уже съ значительно (противъ проектовъ 1931 г.) уменьшенными заданиями. И все-таки, они таковы, что попытка ихъ выполнения обречена бы населеніе на смерть отъ истощенія около строящихся заводо-гигантовъ. Но не успѣли еще замолкнуть восторженные аплодисменты, подъ которые принимался конференціей планъ второй пятилѣтки, какъ неожиданно и негаданно на сцену выльзала, казалось-бы, заушенная и задушенная «пресловутая объективная обстановка». На сцену появились голодные, измученныя массы. Имъ больше не втерпежь.

Въ это время бѣгство голодныхъ рабочихъ съ фабрикъ, заводо-въ, строекъ принимаетъ неописуемые размѣры. Ростъ производительности труда, несмотря на громадное примѣненіе машинъ, двигателей, механизмовъ, бѣшенно падаетъ. Приростъ производительности труда составлялъ въ 1928-29 году — 15,5 проц. Онъ уменьшается до 9,4 проц. въ 1929-30 г. Опускается до 6,6 проц. въ 1931 г. и сползаетъ до 1 проц. въ 1932 г. Да и эту цифру удастся получить лишь цѣною большой статистической ложкости. Трудящееся населеніе страны, какъ запаленная лошадь, — выдохлось. Сколько-бы его ни хлестали, оно дальше итти не можетъ. Энергій нѣтъ. Энтузіазмъ, если былъ, гаснетъ. Теперь онъ «не по лищѣ». Чтобы при такой падающей производительности труда продолжать строительство и политику высокихъ и ускоренныхъ темповъ, на фронтъ, для парирования зияющихъ повсюду «прорывовъ», правительство бросаетъ добавочно новые и новые милліоны людей. По пятилѣткѣ, въ народномъ хозяйствѣ въ 1932 году должно быть 14,7 милліоновъ рабочихъ и служащихъ. Ихъ, въ дѣйствительности, 22,3 милліона. Но ожидаемаго эффекта они не даютъ. Недостатокъ качества работы не покрывается количествомъ. А, кромѣ того, эти дополнительные милліоны нужно все-таки кормить, а кормить нечѣмъ.

Ища выхода изъ катастрофическаго положенія съ продовольствіемъ, правительство лепечетъ о разведеніи кроликовъ для рабочихъ столовыхъ, о разведеніи для нихъ же рыбы въ прудахъ и, что уже важнѣе, весной 1932 г. въ спѣшномъ порядкѣ приказываетъ открыть въ городахъ «колхозныя базары». Совѣтскій гражданинъ можетъ здѣсь съ изумленіемъ видѣть такую рѣдкостную экзотику какъ картофель, свекла и морковь.



Въ маѣ и іюнѣ репортеры много разъ ее фотографируютъ и изображеніе свеклы и моркови украшаетъ страницы центрального коммунистическаго органа «Правды». Но экзотики все-таки въ странѣ мало и ею нельзя накормить рабочихъ и тѣмъ поднять производительность труда. Тогда, въ октябрѣ 1932 г., все дѣло снабженія рабочихъ изъ рукъ кооперации передается въ Орскы, въ руки администраціи предпріятій и ей, «для усилена власти директора», вмѣняется въ обязанность лишать питанія не только «прихлебателей», но и прогульщиковъ, рабочихъ, не выполняющихъ предписанныя имъ нормы выработки. Правительство мечется. Весною 1932 года, желая остановить апокалиптическое истребленіе скота, ЦК приказываетъ прекратить націонализацию крестьянскихъ коровъ и барановъ и насильственный ихъ сгонъ на скотные дворы колхозовъ и совхозовъ. ЦК клянется, что онъ, якобы, никогда не декретировалъ отнятія коровъ и мелкаго скота. Если, какъ выразился Сталинъ, это «маленькое недоразумѣніе съ колхозниками» произошло, то вина падаетъ на мѣстныя власти, а отнюдь не на Кремль. Но такъ какъ подобнымъ запоздалымъ разъясненіемъ накормить голодныхъ крестьянъ нельзя и когда начинается поспѣвать хлѣбъ, они срѣзаютъ колосья и крадутъ снопы на своихъ «колхозныхъ» поляхъ, правительство вводитъ смертную казнь за покушеніе на священную колхозную собственность.

Правительство растеряно. Оно чувствуетъ, что повсюду, изъ-за каждаго уголка фабрики и колхоза, растетъ пассивное сопротивленіе. «Это сопротивленіе агитацией не возьмешь, пулей не проймешь, не уничтожишь напоромъ, ибо угроза росла и пучилась изъ десятковъ миллионныхъ людей, разбросанныхъ по обширной странѣ» (Панферовъ). Въ такой обстановкѣ лозунгъ «выше и выше темпы» становится уже смѣшнымъ. Онъ умираетъ естественной смертью, какъ игрушечный, резиновый, надутый воздухомъ, чѣртикъ, котораго нечаянно проткнули булавкой. Характеризуя растерянность, охватившую въ это время командующій слой, Зиновьевъ показалъ при допросѣ, что, по его наблюденію, «значительной частью партійцевъ овладѣла опасная неопредѣленная идея отступленія: надо куда-то отступить». Политбюро лучше чѣмъ кто-либо знало, что нужно отступать, но оно хотѣло это сдѣлать не въ паникѣ, а съ соблюденіемъ всѣхъ необходимыхъ аппаратовъ. Отступать нужно было, конечно, на правокоммунистическія позиціи, но, чтобы не колебать престижа Сталина, слѣдовало заставить правыхъ коммунистовъ еще разъ всенародно покаяться, тѣмъ показывая, что поворотъ генеральной линіи не имѣетъ ничего об-

шаго съ правымъ уклономъ. Лучшимъ прикрытіемъ для отступленія было-бы доказательство, что, въ строгомъ соотвѣтствіи съ обѣщаніями, пятилѣтній планъ выполненъ не въ пять, а даже въ четыре года и что поэтому то нынѣ и можно, на законномъ основаніи, уже сбавить темпы и передохнуть. Именно такой маневръ Сталинъ, и очень ловко, провель на пленумѣ ЦК ЦКК въ январѣ 1933 г.

Онъ довелъ до общаго свѣдѣнія, что къ концу четвертаго года пятилѣтки «намъ удалось выполнить программу промышленнаго производства на 93,7 проц.». Недовыполненіе на такой пустякъ, какъ 6,3 проц., объясняется тѣмъ, что «въ виду отказа сосѣднихъ странъ подписать съ нами пактъ о ненападѣ и въ виду осложненій на Д. Востокъ, намъ пришлось наскоро переключить рядъ заводовъ въ цѣляхъ усиленія обороны на производство современныхъ орудій обороны».

Въ какой-же степени Сталинъ правъ, что планъ выполненъ на 93,7%? Ни въ какой. Пятилѣтка не выполнена ни въ отношеніи себѣстоимости издѣлій (ростъ вмѣсто сниженія), ни въ отношеніи качества продукціи (колоссальное ухудшеніе вмѣсто улучшенія), ни въ смыслѣ техническихъ коэффициентовъ и производительности труда. Пятилѣтка не выполнена и въ количественномъ отношеніи. Достаточно взять заданія пятилѣтняго плана и сравнить съ тѣмъ, что достигнуто, не говорю за четыре года, а за пять съ третью лѣтъ, т. е. съ 1 октября 1928 года по 1 января 1934 г., чтобы убѣдиться, что планъ не выполненъ въ области производства чугуна, стали, проката, электроэнергіи, мѣди, цинка, олова, сельско-хозяйственнаго машиностроенія, цемента, сѣрной кислоты, суперфосфата, стекла, пиломатеріаловъ, хлопчатоумажныхъ и шерстяныхъ тканей, сахара, бумаги и т. д., — словомъ, по подавляющему количеству основныхъ элементовъ плана. Предвидѣнія такъ называемыхъ «вредителей», выработавшихъ планъ 1928 г. и установленные ими лимиты производства, оказались пророчески-вѣщими и точными, этимъ самымъ убѣдительно свидѣтельствуя, что при серьезномъ отношеніи къ дѣлу планированіе и плановое искусство является не фантастикой, а дѣятельностью вполне осуществимой. Только въ добычѣ нефти и торфа, и больше всего въ машиностроеніи (въ электротехникѣ, автомобильномъ, тракторномъ строеніи, станко-и авіо-строеніи) удалось перевыполнить пятилѣтку. Удѣльный вѣсъ машиностроенія за періодъ 1929--1933 годовъ въ общей массѣ промышленнаго производства поднялся съ 11% до 26%. Какъ и во всей обрабатывающей индустріи, въ машиностроеніи на каждыя

рабочаго приходится, разумѣется, валовой продукціи больше, чѣмъ въ отрасляхъ добывающихъ и первичной обработки. Вотъ эта масса машиностроенія «статистически» замаскировала общее громадное невыполненіе плана и создала иллюзію его выполненія. Иллюзіи способствовало и то обстоятельство, что въ валовую продукцію въ рядѣ случаевъ было впихнуто незавершенное производство. А кромѣ того нѣкоторыя отрасли (продукціи Наркомснаба) вмѣсто того, чтобы быть представленными въ цѣнахъ 1926-27 г., на самомъ дѣлѣ фигурируютъ въ повышенныхъ цѣнахъ 1930-1931 г. Стоитъ, однако, отъ цифри общей валовой продукціи, — гдѣ «всѣ кошки сѣры», перейти къ натуральнымъ показателямъ плановъ, какъ немедленно сказывается, какъ сильно невыполнена пятилѣтка.

Впрочемъ, совсѣмъ не здѣсь главнѣйшій недочетъ въ осуществленіи пятилѣтки. Неизмѣримо важнѣе то, что великолѣпный, глубокопродуманный планъ 1928 г., образецъ хозяйственнойнаго плана подлинно мірового значенія и интереса, былъ глубочайше извращенъ на практикѣ. Вотъ гдѣ бѣда. Выражаясь словами Спинозы, практическое выполненіе плана похоже на планъ, какъ «песь, лающее животное, похожъ на Пса — созвѣдіе». Взявъ для промышленности цифры, сообщенныя Сталинымъ относительно результатовъ достигнутыхъ к 1 января 1934 г., а для валовой продукціи сельскаго хозяйства цифру, сообщенную въ тезисахъ Политбюро и сравнимъ съ намѣтками пятилѣтки, мы найдемъ такую быющую въ глаза диспропорцію. За 5 съ третью лѣтъ тяжелая и производящая орудія производства индустрія перевыполнила пятилѣтку на 34%. Легкая промышленность, съ ея производствомъ продуктовъ питанія и предметовъ широкаго потребленія, невыполнила планъ на 30% (въ дѣйствительности, съ учетомъ качества, на много, много больше!). Что-же касается сельскаго хозяйства, оно, особенно въ области скотоводства, было такъ разложено, что планъ не былъ выполненъ на 50%. Можно-ли послѣ этого говорить, что пятилѣтка была выполнена на 93,7%? Не кажется-ли это невѣроятно лживымъ? Очень многое, конечно, выполнено, но это что-то, — какъ бы оно ни было велико, — имѣетъ мало общаго съ намѣченнымъ планомъ. Въдѣ если-бы былъ выполненъ превосходный планъ 1928 г., СССР, на ряду съ громаднымъ развитіемъ индустріи и сельскаго хозяйства, являла-бы картину явнаго увеличенія матеріальнаго благосостоянія народныхъ массъ, а, между тѣмъ, и особенно въ 1932 году, оно было просто отчаяннымъ. Но Сталинъ въ своей рѣчи и не задавался цѣлью объективно освѣтить положеніе дѣлъ.

Ссылка на выполненіе плана ему нужна была какъ шить для политическаго маневра отступленія. И вотъ какъ онъ проведъ этотъ маневръ. Въ теченіе предыдущихъ лѣтъ, говорилъ онъ на пленумѣ ЦК, партія дубасила страну или, какъ онъ выразился, «подхлестывала страну, ускоряя ея бѣгъ». Благодаря такому подхлестыванію СССР превратился въ «страну, могучую въ смыслѣ обороноспособности», развилъ металлургію, машиностроеніе, тракторо- и автомобиле-строеніе, химическую промышленность... «Можно-ли сказать, что во второй пятилѣткѣ придется проводить такую-же точно (какъ и въ первой пятилѣткѣ) политику ускоренныхъ темповъ? Нѣтъ, нельзя этого сказать. Въ результатѣ успѣшнаго проведенія пятилѣтки мы уже выполнили въ основномъ ея главную задачу — подведеніе базы современной техники подъ промышленность, транспортъ, сельское хозяйство. Стоитъ-ли послѣ этого подхлестывать и подгонять страну? Ясно, что нѣтъ въ этомъ теперъ необходимости». И признаніе большее: «если бы даже хотѣли, мы не могли-бы осуществить въ періодъ второй пятилѣтки, особенно въ первые два-три года, политику ускоренныхъ темповъ развитія»

Однимъ махомъ глава совѣтскаго государства зачеркнуть и всю фантастику Госплана, и резолюцію о второй пятилѣткѣ 17 конференціи, и глупѣйшую теорію «встрѣчныхъ» плановъ, и нелѣпую концепцію о ростѣ производства по «восходящей кривой». И не намъ жалѣть эти мертворожденные созданія психоза 1931 года. Въ соотвѣтствіи съ новымъ курсомъ, былъ снова пересмотрѣнъ планъ второй пятилѣтки, и когда въ новомъ видѣ онъ появился (30 декабря 1933 г.), въ видѣ тезисовъ, одобренныхъ Политбюро, онъ былъ уже совершенно непохожъ на своихъ сумасшедшихъ предшественниковъ. Цѣнно то, что движеніе на этомъ пути оздоровленія, повидимому, не остановилось. Въ январѣ 1934 г. на 17 съѣздѣ компартіи мы могли наблюдать въ нѣкоторомъ смыслѣ удивительную и совершенно необычную картину. Три наркома — Орджоникидзе, Любимовъ, Микоянъ, каждый для своего вѣдомства, выступали съ предложеніемъ придать заданиямъ Политбюро еще болѣе реалистическій характеръ, уменьшая «темпы». И по поводу ихъ выступленій председатель Совнаркома Молотовъ сдѣлалъ слѣдующее, не лишнее интереса, замѣчаніе: «смыслъ предложеній т.т. Орджоникидзе, Микояна, Любимова, которые были ими сдѣланы съ вѣдома и согласія членовъ Политбюро, заключается въ томъ, чтобы проявить усиленную осторожность въ заданияхъ второй пятилѣтки. Дѣло

идеть о томъ, чтобы, окончательно принимая программу пятилѣтки, мы считались и съ внутренней и съ внѣшней обстановкой».

Впервые за періодъ пятилѣтки и съ совершенно другимъ акцентомъ, чѣмъ прежде, произносится одиозное слово объ осторожности, да еще усиленной. Впервые открыто признается та элементарная истина, что хозяйственные планы должны составляться не просто въ согласіи съ «восходящей кривой», а при осторожномъ учетѣ «пресловутыхъ» объективныхъ условий «внутренней и внѣшней обстановки». И вотъ, если бы мы захотѣли подытожить пройденный за три года путь, пришлось-бы для этого дать три колонки цифръ. Въ первой — нужно помѣстить проекты весны 1931 г. Во второй — проекты 1932 г. и, въ частности, тезисы, одобренные 17 партійной конференціей. И, наконецъ, въ третьей — цифры въ февралѣ 1934 г., принятые 17-мъ партійнымъ съездомъ. Пользуясь ими, можно нарисовать такую «потухающую кривую» планирующей фантастики:

#### Намѣчаемое на 1937 годъ производство.

	Проект 1931 г.	Проект 1932 г.	Проект 1934 г.
Уголь (милл. тонн)	450-580	250	152
Электроэнергія (миллд. к.в.ч.)	св. 150	100	38
Чугун (милл. тонн)	60	22	16
Нефть (милл. тонн)	130-150	80-90	47
Медь (тыс. тонн)	847	540	155
Лесоматеріалы (милл. к. метр.)	—	90-100	43
Электрофикация ж. д. (килом.)	—	22-400	5.000

Можно, конечно, спорить, достаточно-ли серьезному анализу подверглись наметки 1934 г. (я у б ѣ ж д е н ь въ про т и в н о м ѣ), но нельзя не видѣть, что происшедшая эволюція громадна и она ведетъ отъ безшабашнаго волюнтаризма къ болѣе осторожному учету условий и обстоятельствъ, отъ невыносимо тягостнаго для населенія утопизма плановъ власти въ сторону нѣкоего, хотя еще далеко недостаточнаго, реализма въ постановкѣ заданий. Это промадный шагъ впередъ отъ Сталинскаго: «стоитъ только по настоящему захотѣть». Эволюціи сопутствуетъ явная оскомина вообще отъ гигантоманіи. Прекращается погоня за «гигантскимъ» (и бесплоднымъ) увеличеніемъ посѣвовъ, разукрупняются «гигантскіе» наркома-

ты, тресты, колхозы, совхозы, появляются намеки на чувство мѣры, смутное различіе возможнаго отъ невозможнаго. Люди освобождаются отъ психоза.

Значеніе происшедшаго поворота увеличивается параллельнымъ, одновременнымъ сдвигомъ и въ другой области. Два года назадъ, на страницахъ «Современныхъ Записокъ» (1932 г. кн. 49-ая), я далъ очеркъ безпощаднаго обирания населенія, на базѣ котораго въ СССР въ теченіе пятилѣтки выросли заводы-гиганты и тяжелая индустрія. Въ процессъ государственнаго «накопленія» за счетъ потребленія, у правящей коммунистической партіи сложилось презрительное отношеніе къ вопросамъ народнаго потребленія и въ этомъ отношеніи создалась особая теорія и психологія. Для строительства пирамид индустриализаціи, священныхъ заводовъ-гигантовъ, — населеніе было приглашено наложить на себя великую эпитимію, подавить удовлетвореніе элементарныхъ личныхъ потребностей, провести въ жизнь велѣнія строжайшаго аскетизма. «На эти жертвы, говорилъ Сталинъ, мы должны пойти открыто и сознательно». Въ колоколь аскетизма первымъ, какъ можно установить, ударилъ извѣстный экономистъ (нынѣ академикъ) Струмилинъ, выразившій въ своихъ «Очеркахъ Совѣтской Экономики» глубокую увѣренность, что «темпы капитализаціи въ СССР» «при сложившихся у насъ издавна навыкахъ потребителя скаго аскетизма можетъ превзойти всѣ извѣстные намъ міровые рекорды». Теорія потребительскаго аскетизма была въ дальнѣйшемъ развита въ такой массѣ документовъ, рѣчей, заявленій центральной и мѣстной власти, что я не имѣю никакой возможности ихъ всѣ цитировать.

Самую замѣчательную и до конца уже развернутую, аскетическую интерпретацію марксизма далъ (въ маѣ 1932 г.) бакинскій журналъ «Красный Нефтеперегонщикъ». Расхваливая теорію Маркса и Энгельса, онъ писалъ:

«Эта теорія много даетъ человѣку въ жизни. Она направляетъ его на вѣрный путь борьбы противъ всякихъ личныхъ потребностей человѣка и, такимъ образомъ, облегчаетъ не только личную жизнь, но и обеспечиваетъ благополучіе всему человечеству».

Такъ, на вѣнкахъ взрыхленной византизмомъ почвѣ, заморское ученіе марксизма приняло глубоко «отечественный» характеръ старой, престарой аскетической религіозной концепціи и въ такомъ видѣ оно много способствовало «марксистскому» накопленію, т. е. строительству социалистическихъ заводовъ-

гигантовъ за счетъ подавленія «всякихъ личныхъ потребностей».

Но, какъ мы сказали, въ 1932 г. народнымъ массамъ стало уже не въ моготу отъ государственнаго, «облегченія ихъ жизни». Сопротивленіе, хотя и пассивное, рабочихъ, крестьянъ, молодежи было такъ сильно, что предсѣдателю Комсомола Косареву въ июль 1932 г. на всесоюзной конференціи коммунистической молодежи, пришлось бить себя въ грудь и доказывать, что «мы совсѣмъ не противъ личнаго благополучія», мы «не противъ музыки, не противъ цвѣтовъ, не противъ моднаго костюма, мы не противъ шляпы, галстука. Мы не аскеты и аскетизма не проповѣдуемъ». Съ своей стороны «Правда», видя крушеніе теоріи великой эпитиміи, поворачивала руль «еще рѣзче, и наканунѣ 15-лѣтія октябрьской революціи, убѣждала (кого?), что «п о р а положить конецъ бюрократическому невниманію, барскому пренебреженію къ вопросамъ общественнаго питанія и н а к о н е ц ъ усвоить, что нѣтъ для коммунистовъ задачи болѣе почтенно, чѣмъ улучшеніе положенія рабочихъ» (№ 3-X 1932).

Весь Ренессансъ былъ-бы весьма сомнительнымъ и могъ бы попасть подъ индексъ ЦК, если-бы съ авторитетнымъ заявленіемъ на ту же тему не выступилъ бы «хозяинъ», самъ Іосифъ Виссаріановичъ Сталинъ. Въ 1933 году онъ призналъ, что, дѣйствительно, уже «п о р а положить предѣлъ политикѣ первоначальнаго капиталистическаго накопленія и «п о р а перестать подхлестывать страну, держа ее въ кандалахъ принудительнаго аскетизма. Въ февралѣ 1933 г. на съѣздѣ колхозниковъ-ударниковъ онъ, какъ недавно писала «Экономическая Жизнь», съ «геніальной простотой», впервые бросилъ лозунгъ о «з а ж и т о ч н о й жизни». «Соціализмъ, по его словамъ, дѣло хорошее. Счастливая социалистическая жизнь — дѣло бесспорно хорошее. Но все это дѣло будущаго». Ближайшая-же задача, послѣ того какъ установленъ колхозный строй, «состоитъ въ томъ, чтобы сдѣлать всѣхъ колхозниковъ зажиточными. Да, товарищи, з а ж и т о ч н ы м и». На 17-омъ съѣздѣ въ январѣ 1934 г. Сталинъ развиваетъ лозунгъ о «зажиточной жизни» еще болѣе широко. И подобно тому, какъ годомъ раньше, имъ однимъ махомъ была уничтожена концепція «наиболѣе ускоренныхъ темповъ», такъ нынѣ Сталинъ однимъ ударомъ, сплеча, рубить весь «съ позволенія сказать, социализмъ» эпохи первой пятилѣтки съ ея стерилизаціей личныхъ потребностей. Отрекаясь отъ всего этого, бичуя, въ концѣ концовъ самого себя, Постышева, Струмилина, всѣхъ «Крас-

ныхъ Нефтеперегонщиковъ» — а имя имъ легионъ! — Сталинъ говорилъ:

«Было-бы глупо думать, что социализмъ можетъ быть построенъ на базѣ нищеты и лишений, на базѣ сокращенія личныхъ потребностей и сниженія уровня жизни до уровня жизни бедноты, которая, къ тому же, сама не хочетъ больше оставаться беднотой и преть вверхъ къ зажиточной жизни. Кому нуженъ такой, съ позволенія сказать, социализмъ. Это былъ бы не социализмъ, а каррикатура на социализмъ. Социализмъ можетъ быть построенъ лишь на базѣ бурнаго роста производительныхъ силъ, на базѣ обилья продуктовъ и товаровъ, на базѣ зажиточной жизни трудящихся, на базѣ бурнаго роста культурности. Марксистскій социализмъ означаетъ не сокращеніе личныхъ потребностей, а всеобщее ихъ расширеніе и расцвѣтъ, не ограниченіе или отказъ отъ удовлетворенія этихъ потребностей, а всестороннее и полное удовлетвореніе всѣхъ потребностей культурно-развитыхъ людей».

По поводу цитированной, далеко неплохой формулы, кое-кто можетъ замѣтить, что она, въ сущности говоря, принадлежитъ къ азамъ социалистическихъ доктринъ всѣхъ толковъ, всѣхъ народовъ и временъ. Социализмъ стремился всегда улучшить, а не ухудшить жизненное положеніе трудящихся. Вѣрно, но вѣрно и то, что эта простѣйшая истина была забыта во время пятилѣтки. Памятливые люди могутъ даже напомнить, что въ словахъ Сталина будто-бы нѣтъ никакой новизны: Развѣ не онъ въ 1931 г. указывалъ, что «нашъ совѣтскій рабочій хочетъ жить съ покрытjemъ всѣхъ своихъ матеріальныхъ и культурныхъ потребностей и мы обязаны исполнить это его требованіе»? Да, вѣрно, Сталинъ эти слова произносилъ, но тогда его заявленіе было только лирической литературой, параднымъ «сотрясеніемъ воздуха», простой агиткой и ничѣмъ инымъ и быть не могло въ эпоху, когда принудительный аскетизмъ царилъ съ такой невѣроятной силою, что ни о какомъ «покрытіи» потребностей и рѣчи быть не могло. Не имѣло-бы равно никакой цѣны и нынѣшнее заявленіе Сталина, если-бы, одновременно съ замѣною принципа жертвъ лозунгомъ зажиточной жизни, изъ области строительства тяжелой индустрии не были (хотя и далеко не полно) изъяты безумные планы, попытка проведенія которыхъ априори исключала-бы какую-либо возможность хотя-бы немного улучшить матеріальное положеніе массъ. Нестерпимая внутренняя джизвость по-



становлений 17 партийной конференции в том и заключалась, что, демагогическая обобщая рост потребления в 2-3 раза в течение второй пятилетки, она в то же время в тяжелой индустрии (а, значит, и в связанных с нею капитальных работах) брала такие «алюры», такие задания, что обремененный ими народный доход ни в коем случае не мог бы дать места расширению народного потребления.

Короче говоря, Сталин своими новыми лозунгами, новыми установками официально, так сказать, с высот Спасской башни Кремля, провозгласил новую эру, указал правительству и коммунистической партии необходимость свернуть с пути первой пятилетки. В дальнейшем мы покажем, насколько серьезно, основательно и далеко они встали на новую дорогу.

Посмотрим теперь поближе, какие же общие задания ставить себе вторая пятилетка. Советская статистика считает (люди, следящие за нею, знают до чего плохо и путанно она иногда считает), что валовая продукция всей промышленности в неизменных ценах 1926-27 г. составляла в 1932 году — 43,3 миллиарда рублей, а валовая продукция сельского хозяйства в тех же ценах — составляла всего только 13,1 миллиардов рублей. Второй пятилетний план намбрень на протяжении 1932-1937 гг. больше чем удвоить промышленное производство (довести его до 92,7 млрд. руб.) и ровно вдвое увеличить производство сельско-хозяйственное (26,2 млрд. руб.). Так как читателю, далекому от знания советской экономики, эти сухие цифры мало что говорят, я постараюсь придать им более усвояемый вид. Приняв во внимание динамику численности населения (для 1937 г. я считаю его в 172 миллиона) и пересчитав продукцию с цен 1926-27 г. на золотые довоенные рубли (беру официальные индексы: для промышленности 196,8, для с.-хоз. — 156,6 см. «Конт. цифры на 1929-30 г.»), можно получить довольно ясно картину того, что произошло с 1913 г. и того, чего хочет достигнуть вторая пятилетка к концу 1937 года.

### Валовая продукция на душу населения.

	Промышленность	Сельское хоз.
1913 г.	60 зол. руб.	83 зол. руб.
1928 г.	64 —	70 —
1932 г.	133 —	50 —
1937 г.	273 —	98 —

Нельзя не остановиться на итогахъ 1932 г. Изъ нашихъ цифръ съ полной очевидностью проступаетъ, что волшебный ростъ промышленности (тяжелой, главнымъ образомъ!) совершался въ послѣдніе годы за счетъ разложенія сельскаго хозяйства, при жестокомъ уничтоженіи животноводства, продукція котораго нормально составляла не менѣ трети валовой продукціи сельскаго хозяйства. При ростѣ производства промышленности на душу населенія болѣе чѣмъ вдвое въ сравненіи съ 1913 г., сельское хозяйство давало на 40% меньше, чѣмъ до войны. «Мы всѣ, жаловался на 17-омъ съѣздѣ Ворошиловъ, маленько чувствуемъ послѣдствія упадка въ поголовьи скота: налицо и недостатокъ шерсти, и недостатокъ кожи, и недостатокъ мяса». Хорошо маленько! Ростъ промышленности, наоборотъ, нужно было-бы признать и сключительно б о л ь ш и м ъ, если только быть увѣреннымъ, что продукція промышленности исчислена по настоящему, безъ фокусовъ, если отрѣшиться отъ ея плохого качества и если исходнымъ пунктомъ сравненія брать только русскую промышленность 1913 года и 1928 г. Если-же взять производство промышленныхъ издѣлій въ другихъ странахъ, чары совѣтскихъ достижений нѣсколько тускнѣютъ. Промышленное производство въ 1932 г. составляло въ СССР на душу населенія всего только 66 долларовъ (1913 года). Между тѣмъ, уже довоенная Франція, ни сейчасъ, ни тогда никакими «темпами» не отличавшаяся, производила за періодъ 1908-1913 г., въ среднемъ, 163 доллара промышленныхъ издѣлій на душу своего населенія, а Сѣверо-Американскіе Штаты произволили въ 1919 г. на 322 доллара промышленныхъ издѣлій. Намѣченный на второе пятилѣтіе планъ промышленнаго производства во всемъ объемѣ не будетъ осуществлень, но будь это такъ, — СССР, по душевымъ показателямъ производства, все еще не догонитъ Францію, тѣмъ болѣе уже Америку. Не подлежитъ сомнѣнію, что такая великая страна, какъ СССР, не можетъ остаться на нынѣшнемъ уровнѣ производства, продолжающемъ быть, несмотря на напряженіе послѣднихъ лѣтъ, все-таки ничтожнымъ. Лозунгъ, брошенный Ленинымъ наканунѣ октябрьской революціи — «догнать капиталистическія страны» — несомнѣнно правильнъ. Вопросъ только, какою дорожкой бѣжать. СССР — такой огромный театръ разбуженныхъ революціей потребностей, такой ненасытный внутренней рынокъ, ея естественныя богатства такъ безграничны (совѣтская геологическая развѣдка ихъ еще болѣе выявила и подчеркнула), ея энергоресурсы (нефть, лѣса, уголь, бѣлый уголь, сланецъ), отъ которыхъ зависитъ

количество лошадиных сил и киловаттов в распоряжении экономики, — так грандиозны, что хозяйственному развитию страны по некапиталистическому пути нет предель. Но для полного хозяйственного расцвета СССР нужен целый комплекс политических и культурных условий, умное, а не судорожное и утопическое планирование хозяйства и, последнее по счету, но первейшее по важности условие, чтобы хозяйственное, технико-экономическое развитие страны шло рука об руку с безперебойным, непрестанно растущим материальным благосостоянием народных масс. Тогда свободно и легко можно воздвигать не один, а десять, сто и больше Днѣпростроев!

На протяжении истекших лет мы видели, что правители строили эти самые Днѣпрострои и Магнитогорски, кормя население, по выражению Гладкова (в романе «Энергия»), «синей болтушкой, смердящей трупом и выгребной ямой». Теперь правительство хочет продолжать стройку на новых началах: кормить как следует население. Это трудно. Для этого оно идет на постепенное уничтожение карточной системы распределения продуктов, рассчитанной на аскетическое сжигание потребностей. Первую брешь в этой системе пробили магазины Торгсиня, а потом базары и коммерческие магазины Наркомснаба (къ 1-1 1934 г. — 5.600 магазиновъ в 330 городахъ), гдѣ продукты питания продаются уже свободно, но, разумеется, по очень повышеннымъ цѣнамъ. «Самымъ кореннымъ улучшениемъ снабжения, говорилъ на 17-омъ съѣздѣ наркомъ снабжения Микоянъ, было бы раскрытие закрытыхъ распределителей и открытая продажа безъ карточекъ, безъ книжекъ, безъ бюрократизма, чтобы каждый рабочий, каждый служащий, каждый совѣтскій гражданинъ могъ прийти въ магазинъ и на совѣтскія деньги (а не на иностранную валюту, какъ теперь въ Торгсинѣ! Е. Ю.) купить, что ему нужно. Но пока мы этого во всемъ объеме сдѣлать не можемъ».

Полная отмена карточной системы, торговля по буржуазному образцу, мыслится лишь въ концѣ процесса постепеннаго приближения къ «обилью» на рынкѣ продуктовъ питания и предметовъ широкаго потребления. Въ этихъ цѣляхъ новая пятилѣтка предполагаетъ всемирно оживить сельское хозяйство и легкую индустрію. Становясь на точку зрѣнія, почитавшуюся послѣдніе годы оппортунистической и контръ-революціонной, люди Кремля теперь находятъ, что «темпы» развитія легкой индустріи должны опережать развертываніе тяжелой про-

мышленности. Планъ предвидитъ, что въ 1937 г. валовая продукция сельскаго хозяйства удвоится, а въ общей продукціи промышленности легкая индустрія займетъ почти 51%, въ 1933 году — что явствуетъ изъ цифръ Сталина, она занимала только 42%, а должна была занимать 58%, какъ на томъ настаивала прежняя «вредительская» пятилѣтка 1928 г. Въ итогъ чаемаго развитія сельскаго хозяйства пищевой и легкой индустріи, правительство обѣщаетъ ростъ реальной заработной платы въ два раза, «увеличеніе нормъ потребления по такимъ продуктамъ, какъ мясо, жиры, рыба, яйца, сахаръ, промышленныя товары въ 2½ раза» и сниженіе розничныхъ цѣнъ на 35%, въ противоположность эпохи первой пятилѣтки, когда, по словамъ Молотова, — «намъ не разъ приходилось идти на повышеніе цѣнъ».

Несмотря на желаніе вѣрить, что на этотъ разъ правительство серьезно принимается за улучшеніе жизни совѣтскаго населенія, приходится сказать, что выше перечисленныя обѣщанія носятъ снова признаки «агитки», той самой, которая развергивается Кремлемъ каждый разъ, когда въ очередныхъ «тезисахъ» нужно парадно подать вопросы народнаго потребления. Откуда, напримѣръ, можетъ взяться пониженіе розничныхъ цѣнъ на цѣлыхъ 35%? Финансовый планъ второй пятилѣтки, базируясь на высокомъ уровнѣ цѣнъ, на доходахъ отъ коммерческой торговли и налогѣ съ оборота, т. е. обложеніи предметовъ потребления, — а такимъ способомъ предполагается за пятилѣтку получить болѣе 200 миллиардовъ рублей! — исключаетъ возможность значительнаго пониженія цѣнъ. Чтобы снизить цѣны, необходимо снизить доходы финансоваго плана, а, въ такомъ случаѣ, нужно быть логичнымъ и не разсчитывать, что въ капитальное строительство можетъ быть вложено 133 миллиарда рублей.

Откуда, далѣе, можетъ быть въ 2½ раза увеличено потребление? Правда, отправнымъ пунктомъ разсчета берется жалкое «аскетическое потребление» 1932 г., но и эту «пищу св. Антонія» — нельзя увеличить въ 2½ раза, вслѣдствіе огромнаго оскудѣнія ресурсовъ сельскаго хозяйства. Сейчас, въ смыслѣ ресурсовъ, положеніе во много разъ хуже, чѣмъ въ 1928 г., до начала пятилѣтки. Въмѣсто 270 милліоновъ головъ лошадей, крупнаго и мелкаго скота, овецъ, насчитывавшихся въ 1929 г., имѣется, по даннымъ Сталина, всего только 115 милліоновъ головъ. Не трудно подчитать, что вслѣдствіе этой гибели скота, живая тяговая сила

въ сельскомъ хозяйствѣ, въ сравненіи съ 1928 г., уменьшилаъ на 50%, валовой сборъ шерсти уменьшился на 63%, кожи на 57%, молока на 42%, а нормальный (не основанный на хищническомъ истребленіи скота) выходъ мяса на 56%. Попробуйте-ка при этихъ условіяхъ производить больше обуви, шерстяныхъ издѣлій, увеличивать потребление мяса и молока въ 2½ раза!

Правительство разсчитываетъ, что можно быстро, вдвое увеличить ресурсы сельскаго хозяйства и, въ частности, животноводства, составляющаго 50 процентовъ товарной продукціи деревни. «Гладко писано въ бумагахъ, да забыли про овраги, а по нимъ ходить». Составленные Наркомземомъ планы и схемы воспроизводства и развитія стада столь мало обоснованы, что сама совѣтская пресса ихъ называетъ «очковтирательскими и потолочными». Не забудемъ, кромѣ того, что существующій законъ о постановкѣ въ порядкѣ налога скота въ натурѣ въ своей практикѣ таковъ, что неизбежно вызываетъ безпощадный убой молодняка, т. е. разрушаетъ основы возстановленія стада и препятствуетъ скорому увеличенію ресурсовъ сельскаго хозяйства.

Съ той-же необоснованностью въ разсчетахъ на скорость и возможность усиленія ресурсовъ мы встрѣчаемся и въ области полеводства. Ставя правильную цѣль — поднять крайне низкую урожайность нашихъ полей, правительство предполагаетъ увеличить въ теченіе 1933-37 гг. урожайность зерновыхъ хлѣбовъ на 41%, хлопка на 60%, сахарной свеклы на 66%. Есть-ли, вообще говоря, что-либо фантастическое и недостижимое въ такихъ задачахъ? Нѣтъ, ничего. Опытъ Франціи, Германіи, Бельгіи, Голландіи наглядно учитъ, какъ повышается урожайность и что для того нужно дѣлать. Тутъ нѣтъ никакого чуда: На нашихъ глазахъ, за короткій промежутокъ времени фашистская Италія блестяще выиграла «кампанію за хлѣбъ». За тысячи лѣтъ существованія государства на Аппенинскомъ полуостровѣ Италія, кажется, впервые можетъ прокормить себя своимъ хлѣбомъ, не прибѣгая къ импорту, непосильному для этой бѣднѣйшей и лишенной всякихъ естественныхъ богатствъ страны. Съ 1926 г. по 1933 г. сборъ пшеницы въ Италіи увеличился на 25%, а урожайность — на скверныхъ, чахлахъ итальянскихъ земляхъ достигла 16 центнеровъ съ гектара. Въ Совѣтскомъ же Союзѣ, за предыдущее пятилѣтіе, озимая пшеница давала около 8½ центнеровъ съ гектара, а яровая, составляющая двѣ трети всѣхъ посѣвовъ пшеницы, приносила урожай только въ 6 центнеровъ съ гектара. Имѣй СССР

на своихъ великолѣпныхъ, но истощенныхъ, черноземныхъ поляхъ, урожайность, не говорю Бельгіи и Голландіи, а хотя-бы Италиі, страна утопала-бы по горло въ хлѣбѣ. Однако, въ Москвѣ никто объ урожайности, достигнутой по пшеницѣ фашистской Италией, пока и не думаетъ. Какъ идеаль на 1937 г. проектируется достигнуть 8½ центнеровъ по яровой пшеницѣ, 12 центнеровъ по озимой и 10,3 центнера по всѣмъ зерновымъ хлѣбамъ.

Къ сожалѣнію, и эта умѣренная проектировка является въ совѣтской обстановкѣ не умѣренной и не имѣетъ шансовъ на то, чтобы быть реализованной въ теченіе ближайшихъ лѣтъ. Можно допустить, что судьба пошлетъ два-три года подрядъ блестящій урожай, но это будетъ случайностью, а не слѣдствіемъ солидной, серьезной организаціи и подготовки урожая. Повышеніе урожайности въ СССР встречаетъ множество препятствій со всѣхъ сторонъ. Нужны, на примѣръ сортовые сѣмена, а «сѣменное дѣло (находящееся въ рукахъ государства) по зерну и хлопку такъ запутано, что придется еще долго распутывать его» (изъ рѣчи Сталина). Нужно очень значительное количество искусственныхъ удобрений. Тѣмъ болѣе, когда истребленіе скота уменьшило количество навоза и тѣмъ лишило землю ежегоднаго вложенія, приблизительно, въ 7.000.000 тоннъ фосфора, азота и калия. А «въ области удобрений дѣлается очень мало» (изъ рѣчи Сталина) и въ сравненіи съ тѣмъ, что требуетъ земля, то количество искусственнаго удобрения (333 тыс. тоннъ), которое земледѣльце получаетъ въ нынѣшнемъ году отъ промышленности, — является буквально каплей въ морѣ. Для повышенія урожайности помимо всякой техники (сѣмянъ, удобрений, подготовки земли и т. д.) нужна наличность первѣйшей важности фактора — личной заинтересованности въ дѣлѣ десятковъ милліоновъ сельскихъ производителей. Кто рискнетъ сказать, что въ современномъ принудительномъ колхозѣ, обсаиваемомъ государствомъ и управляемомъ политотдѣлами — она вполнѣ находить благоприятную почву для своего развитія? А между тѣмъ, играя именно на этой заинтересованности, разжигая ее разными конкурсами и денежными преміями государства, фашистская Италиа выиграла баталію за хлѣбъ. «Подхлестываемые» личной заинтересованностью итальянскіе крестьяне приняли рьяное участіе въ затѣянной Муссолини кампаніи. И замѣчательно, что, въ рѣзкомъ противорѣчій съ господствующей въ СССР теоріей Сталина о полной непригодности мелкаго хозяйства къ хозяйственному прогрессу, именно мел-

кие хозяева в Италии показали последние годы наибольшие достижения. Просматривая результаты конкурсов, мы видим, что у крупных премированных земледельцев максимум урожайности в Бельгии 28 цент., Голландия 30 цент.), у средних около 66 центнеров, а у ряда мелких мелких земледельцев урожай добрался до феноменальной цифры в 71 центнер!

Я не имю здесь возможности развить с желаемой полнотой мою аргументацию. Уже из сказанного, впрочем, можно видеть, что ни состояние оскудевших ресурсов сельского хозяйства, ни реальные перспективы их увеличения не позволяют думать, что в течение второй пятилетки можно достигнуть общаемаго планомъ роста потребления в  $2\frac{1}{2}$  раза. В этомъ смыслѣ, составленный планъ, поскольку онъ базируется только на внутреннихъ ресурсахъ, есть вещь несерьезная. Не отрицаю, что, при твердомъ желаніи, въ предѣлахъ плана можно уже сейчасъ сдѣлать важные шаги по направленію къ цѣли. Шаги были-бы тѣмъ дѣйствительнѣе, если-бы соотвѣтственнымъ измѣненіемъ политики можно было-бы заставить «играть», зажечь потухающую въ кождоизъ личную заинтересованность сельско-хозяйственныхъ производителей, а, съ другой стороны, и въ тѣхъ-же цѣляхъ, окончательно освободить народное хозяйство отъ давленія непосильныхъ темповъ индустриализации, т. е. фактически завершить изображенный выше и начатый въ 1933 г. процессъ оздоровленія хозяйственного планированія. Все-таки и въ этомъ случаѣ, ростъ потребления въ ближайшіе годы не могъ-бы быть большимъ и не могъ-бы достигнуть тѣхъ цифръ, о которыхъ говорятъ наметки плана: кормящая база и база с.-х. сырья слишкомъ слабы и несолидны и валовая продукция сельского хозяйства не можетъ съ 13,1 миллиардовъ въ 1932 г. скакнуть къ 26,2 млрд. руб. въ 1937 г. Получается порочный кругъ, изъ котораго, какъ будто, нѣтъ выхода. Съ одной стороны, легкая и пищевая индустрія не могутъ мощно развиваться, вслѣдствіе слабости ресурсовъ сельскаго хозяйства. Съ другой стороны, сельское хозяйство подрѣзается въ своемъ развитіи слабостью легкой и пищевой индустрии. Крестьянство, не получая за отбираемое у него государствомъ сырье и продукты питанія эквивалента въ видѣ издѣлій легкой индустрии (ткани, обуви, одежды, сахара, чая, мыла и т. д.), лишается стимула личной заинтересованности. Есть только одинъ выходъ и одинъ способъ продрать порочный кругъ и быстро, въ ближайшіе же годы, оцуд-

тительно на много улучшить матеріальное положеніе совѣтскаго населенія. Это — широчайшій импортъ предметовъ потребления (хлопка, кожи, шерсти, тканей, обуви, одежды, сахара, консервовъ, чая, кофе и т. д.), импортъ скота для восстановления стада и импортъ значительныхъ количествъ искусственнаго удобрения, позволяющихъ произвести основательное удобреніе полей въ широкомъ масштабѣ. Такой импортъ, сразу ожививъ изсушенную принудительнымъ аскетизмомъ жизнь, вмѣстѣ съ тѣмъ, создалъ-бы реальную возможность накопленія и развитія ресурсовъ сельскаго хозяйства.

Разумность первой, «старой» пятилѣтки 1928 г. была и въ томъ, что, связывая осуществленіе плана съ подъемомъ матеріальнаго благосостоянія народныхъ массъ, она ясно видѣла и твердо говорила, что нельзя обойтись безъ значительнаго импорта потребительскихъ товаровъ. Когда же, въ эпоху 1929-1933 гг., было провозглашено, въ теоріи и на практикѣ, что социализмъ заключается въ борьбѣ «противъ всякихъ личныхъ потребностей человѣка» и состоитъ, главнымъ образомъ, въ усиленномъ производствѣ чугуна, стали и мѣди, импортъ потребительскихъ товаровъ, естественно, выпалъ изъ поля зрѣнія, будучи объявленнымъ «безплодной тратой валюты». Нынѣшнее заявленіе Сталина, что дальнѣйшее хозяйственное строительство не должно болѣе вестись «на базѣ сокращенія личныхъ потребностей» и «отказа удовлетворенія этихъ потребностей», казалось-бы, открываетъ дорогу къ тому, чтобы пересмотрѣть вопросъ о «безполезной тратѣ валюты» и импортъ потребительскихъ товаровъ сдѣлать самымъ существеннымъ пунктомъ совѣтской внѣшнеторговой политики. Поворота въ эту сторону мы пока не видимъ.

Не было намека на него и въ рѣчи, произнесенной Литвиновымъ на лондонской международной экономической конференціи. Указывая, что при долгосрочности кредитовъ СССР въ «ближайшее время» могъ-бы размѣстить за границей заказовъ примѣрно въ миллиардъ долларовъ, Литвиновъ говорилъ опять и, главнымъ образомъ, объ оборудованіи, о черныхъ и цвѣтныхъ металлахъ, о судахъ, а потребительскимъ товарамъ отвелъ самое незначительное мѣсто, всего только, 18,5% отъ общихъ мыслимыхъ заказовъ! Прорвать совѣтскій порочный кругъ и рѣзко улучшить потребление населенія СССР такимъ небольшимъ импортомъ конечно нельзя. А можно-ли надѣяться на большее? Вѣдь этотъ вопросъ тѣсно связанъ съ другимъ — о количествѣ и долгосрочности иностранныхъ кредитовъ. Смо-



жеть-ли СССР ихъ получить, гдѣ, какъ и на какихъ условіяхъ? Я убѣжденъ, что при нѣкоторыхъ условіяхъ и умной политикѣ совѣтскаго правительства кредиты, обеспечивающіе широкій импортъ потребительскихъ товаровъ для совѣтскаго населенія могутъ быть получены. Однако разсмотрѣніе этой проблемы, при анализѣ которой пришлось бы говорить о множествѣ вещей, о международномъ положеніи, кризисѣ и т. д., далеко выходитъ изъ предѣловъ данной статьи и является темой совершенно особой и самостоятельной.

**Е. Юрьевскій.**

# КУЛЬТУРА И ЖИЗНЬ

## Совѣтская молодежь

Основная черта совѣтской жизни — нужда. Сыты только члены правительства, геппеусты, коммунисты, армія. Все-же граждане, въ болѣе или менѣе катастрофической степени, живутъ въ атмосферѣ голода, обношенности, жилищной тѣсноты. Совѣтская молодежь, т. е. все молодое поколѣніе лѣтъ до 20-25-ти, не помнитъ и не знаетъ ничего иного. Мнѣ не забыть, какъ мой сынъ, мальчишка 13 лѣтъ, былъ прежде всего потрясенъ въ Финляндіи тѣмъ, что хлѣба можно купить сколько хочешь.

Первое, что дѣти научаются понимать, это вопросъ о хлѣбѣ. Но о «хлѣбѣ насущномъ» въ переносномъ смыслѣ, а о черномъ пайковомъ хлѣбѣ. Онъ кажется имъ и самымъ сытнымъ, и самымъ вкуснымъ; остальное все, вродѣ сахара и особенно масла, это уже проблематично. Совѣтскія дѣти изобрѣли свою игру въ «хлѣбъ и булку», въ которой воспроизводится, какъ выдаютъ въ кооперативныхъ булочныхъ черный и бѣлый хлѣбъ, какъ стлать отмѣтки на карточкахъ, какъ ссорятся за мѣсто въ «хвостѣ» за то, что обвѣсили, не додали. Но главное въ игрѣ, это установить, кто по какой категоріи по-

лучаетъ хлѣбъ и кому его не полагается совсѣмъ, какъ священникамъ, кулакамъ, буржуямъ и прочимъ лишенцамъ.

Сколько разъ доносились ко мнѣ со двора ихъ возбужденные голоса.

— Ты что пришла? Тебѣ хлѣба не полагается, твой папа попь.

— Нѣтъ, не попь, это неправда!

— Дура, это-же игра такая. Ну, пусть твой папа будетъ попь.

— Не хочу такъ играть.

— Чего-жь ты хочешь?

— Хочу, чтобъ мой папа былъ комиссаръ. Давайте мнѣ 1-ую категорію.

— Твой папа совсѣмъ не комиссаръ.

— Ты сама говоришь, что это игра такая.

Разъ въ мѣсяцъ, при выдачѣ новыхъ карточекъ, такіе-же споры, только озлобленными, хриплыми или визгливыми голосами, вырываются изъ «домового комитета». Донесетъ кто-нибудь, въ порывѣ безпричинной досады, что иннаидная старуха, которой полагается 2-ая категорія, получаетъ, кромѣ своей пенсіи въ 16 руб. въ мѣсяцъ, помощь отъ сы-

на или дочери, и ей дадут 3-ью, т. е. не 400 гр. хлеба в день, а 300 гр. Донесут, что у полунищего старика был когда-то домъ, лишают хлеба совсѣмъ.

На службахъ то же волненіе, потому что тѣмъ, кого выключаютъ въ особый списокъ, даютъ 1-ую категорию, а не вторую; 700 гр. хлеба, а не 400 гр.

Два-три дня разговоры только о карточкахъ, о категорияхъ, о «прикрѣпленіи», т. е. о томъ, въ какомъ кооперативѣ лучше зарегистрировать карточку, потому что получать продукты можно только изъ одной, определенной лавки. И ребята волнуются въ эти дни не меньше взрослыхъ: каждый разъ радуется, что «дали», «прикрѣпили», потому что они тоже знаютъ, что «справа» у совѣтскаго гражданина никакого нѣтъ — сегодня дали, завтра отняли.

Кто можетъ «дать» или «отнять», — тоже рано становится яснымъ. Стоитъ попасть кому-нибудь изъ ребятъ на клѣтскую площадку или въ «дѣтскій садъ», какъ ихъ выучиваютъ пѣть маршь «октябратъ».

«СССР — папаша наша,  
ИКП — маманя наша,  
Во — и болѣ ничего!»

т. е. не отецъ, не мать нужны и дороги, а государство и партія. И ребята, хоть и упрощенно, но рано начинаютъ понимать, что кусокъ хлеба дается не только трудомъ, но, прежде всего, расцѣпкой его со стороны тѣхъ, кто даетъ пайки.

А въ это время ихъ учатъ еще другому принципу, вложенному въ ту-же пѣсню.

«Мы поведемъ къ буржуа въ гости,

Перломаемъ ему кости,  
Во — и болѣ ничего!»

«Буржуя» виноваты, что на семнадцатый годъ революціи совѣтскіе ребята бѣгаютъ голодные, сверкая голыми пятками. Ребята учатъ злоститься, искать «врага» и, если у однихъ изъ нихъ хватаетъ юмора, чтобы пѣть на мотивъ марша Буденнаго:

«Курятину, гусятину буржуямъ  
отдадимъ,  
А конницу Буденнаго мы сами  
поѣдимъ»,

то у другихъ не можетъ не зародиться досады на этого «буржуя», непонятнаго, нереальнаго, а все-таки страшнаго.

Изъ этого нельзя, конечно, дѣлать вывода, что въ СССР семья совершенно разрушена, а дѣти думаютъ только о классовой борьбѣ. Есть семьи, которыхъ спасала общая нужда; есть дѣти, которыхъ нѣжныи и глубже любить «своихъ», чѣмъ въ прежнее, благополучное время, но надо видѣть, въ какихъ условіяхъ они живутъ и какого душевнаго напряженія это стоитъ.

Прежде всего, это это за «домъ», когда на человѣка полагается 9 кв. метровъ жилой площади въ Ленинградѣ и 6 кв. метровъ въ Москвѣ, когда не всякой семьѣ удается отстоять для себя цѣлую, непроходную комнату, когда всѣ безчисленные обитатели квартиры готовятъ на одной кухнѣ, а сквозь стѣны и двери между комнатами врываются чужія дрязги, огорченія, чужая скука? Что это за «домъ», когда въ единственной комнатѣ по одну сторону шкапа — дѣтская, а по дру-

гую — столовая и спальня, а за вторым шкапомъ — кабинетъ? Когда старшие ребята готовить уроки на томъ же столѣ, подь которымъ играетъ маленький, потому что ему некуда дѣться? Сколько усталости, лишнихъ ссоръ и огорчений родится въ этой тѣснотѣ.

Въ школу идутъ съ радостью. Тамъ тоже тѣсно, потому что въ классахъ набито по 45-50 ребятъ, но можно носиться по коридорамъ, скатываться по периламъ съ лѣстницъ, и въ общей толпѣ товарищей веселѣе жить, чѣмъ толочься на своемъ дворѣ. Бѣда только, что учиться трудно. Учебниковъ купить въ магазинѣ нельзя: они распределяются по школамъ, такъ же, какъ и тетради. Несмотря на то, что деньги за учебныя пособия вносятся весной, осенью школы никогда не могутъ ихъ получить въ нужномъ количествѣ: часто одна книга приходится на троихъ, иногда на пятерыхъ. Купить учебникъ у букиниста почти невозможно, такъ какъ программы, методы преподаванія, а соответственно этому, и пособия мѣняются почти каждый годъ и старыя изданія не годятся. Тетрадей не хватаетъ тоже: одну тетрадь приходится записывать двумя, тремя предметами, испуская страницы сверху до низу, безъ полей, между линейками. Пузырекъ съ чернилами надо принести свой, а перо брать, потому что его тоже трудно купить.

И въ то время, когда ничего не хватаетъ, когда старые, опытные педагоги быстро выбываютъ изъ строя, умирая отъ преждевременной старости и истощенія или отправляясь въ тюрьмы и въ ссыл-

ку, когда молодежь избѣгаетъ этой профессіи, потому что трудъ рабочаго оплачивается гораздо выше, а ремесло его гораздо выше, въ это время Наркомпросъ, не считаясь съ «объективными причинами», потому что это быдлобы «одпортунизмомъ», ставитъ все новыя требованія, которыя окончателно сбиваютъ съ толку школу. Какихъ только методовъ не было перепробовано за это время: и лабораторный, и комплексный, и Дальтонъ-планъ, который ребята особенно ненавидѣли. Одно обиліе ихъ и непрерывная смѣна вели къ тому, что ни къ одному изъ нихъ нельзя было приспособиться, ни отъ одного взять то, что было въ немъ хорошаго. Ребята каждое нововведеніе встречали во всемъ, за тѣмъ смирялись, зная, что противъ «предписаній изъ центра» ничего не подѣлаешь; педагоги проявляли всю свою изобрѣтательность и энергію, чтобы все-таки выучить чему можно, но эта политика «центра» не могла не расшатывать школы. Пятнадцать лѣтъ я наблюдала совѣтскую школу, сначала какъ педагогъ, потомъ, не выдержавъ вѣчной донки и гонки, черезъ сына и его товарищей, и я не могу сказать, что даже эти 15-ть лѣтъ. Совѣтская школа до сихъ поръ не шаркристиализовалась. Въ педагогическомъ смыслѣ это не школа. И стоитъ взять совѣтскія газеты, чтобы увидѣть, какъ все эти годы правительство само разводитъ свои школы за то, что онѣ не могутъ дать элементарно-грамотныхъ людей, которые годились бы во ВТУзы и ВУзы.

Вмѣстѣ съ тѣмъ правительство предъявляетъ все больше треб-

ваний къ «политическому воспитанію» и «углубленію классоваго самосознанія». Что кроется за этими общими лозунгами, можно представить себѣ только по мелкимъ, но конкретнымъ фактамъ ребячьей жизни.

Прежде всего надо сказать, что принимаются въ школу всѣ. Даже больше того: всѣ обязаны посылать дѣтей въ школу съ 7-ми или 8-ми лѣтняго возраста. Въ большихъ городахъ это соблюдается, но по мелкимъ провинціальнымъ городамъ и особенно по деревнямъ, не хватаетъ ни школъ, ни учителей, поэтому «стопроцентная ликвидация неграмотности» это все еще только лозунгъ, а не дѣйствительность. Злѣмъ, внутри школы проводится «классовое разслоеніе». Замѣчаніе изъ «Дневника Кости Рябцева», что не надо «шиться» съ дочкой «служителя культуры», т. е. священника или дьякона, остается въ силѣ до сихъ поръ. Въ совѣтской-же литературѣ о молодежи рекомендуется не довѣрять «интеллигентамъ», такъ какъ они разводятъ «мелко - буржуазную» и «либеральную» «гниль». Не могу сказать, что сами ребята охотно идутъ на это: чувство товарищества у нихъ развито не меньше, чѣмъ въ прежней школѣ, но, подъ покровительствомъ кое-кого изъ старшихъ комсомольцевъ, и, особенно, партійнаго, а иногда и гелеустскаго начальства (последній завѣдывающій школой, гдѣ учился мой сынъ служилъ одновременно и въ ГПУ), эта политика «классовой розни» бываетъ удобна для тѣхъ, кому своимъ умомъ трудно добиться успѣха.

Направленіе это поддерживает-

ся и «пионерской организацией», куда теперь вступаютъ почти всѣ поголовно, начиная съ 11-12 лѣтъ, и гдѣ формируется «активъ», для будущаго вступленія въ комсомоль. Стопроцентное вступленіе въ пионеры, предписанное за послѣдніе годы, несомнѣнно внутренне ослабило это движеніе, включивъ въ него слишкомъ много пассивныхъ элементовъ, но «торжественное обѣщаніе», которое они даютъ, вступая въ пионеры, въ которомъ они клянутся бороться съ «классовымъ врагомъ», на многихъ производитъ большое впечатлѣніе. Учесть его нелегко, но я знаю одинъ случай, исключительный, конечно, но все же показательный, къ чему можетъ привести это насажденіе «классовой борьбы» среди ребячьихъ душъ.

Это было въ 1930 г., осенью. Семью, о судьбѣ которой я хочу рассказать, я знала мелькомъ, но достаточно, чтобъ имѣть представленіе объ ихъ житѣ. Отецъ былъ служащимъ, мать мыкалась по хозяйству, мальчишка, лѣтъ 12-ти, ходилъ въ школу и только что вступилъ въ пионеры. Былъ еще и старшій сынъ, но онъ принималъ участіе въ «бѣломъ движеніи» и пропалъ безъ вѣсти въ періодъ гражданской войны. Младшій не могъ помнить старшаго, но слышалъ о немъ, потому что мать иногда шепотомъ, украдкой, а вспоминала о немъ. Однажды рано утромъ — стукъ въ дверь. Вернулся старшій. Измученный скитаніями, бездомной жизнью, онъ рѣшилъ повидать своихъ, надеясь, что про него забыли всѣ, кромѣ отца съ матерью. Когда всѣ были еще въ волненіи отъ встрѣчи и разспросовъ,

младший заторопился въ школу. Мать попыталась его уговорить остаться дома, но онъ ушелъ. Черезъ полчаса у нихъ въ комнатахъ были гепоусты съ ордеромъ на обыскъ и арестъ. Несчастный мальчишка — пионеръ вообразилъ, что онъ, дѣйствительно, открылъ «врага»!

Черезъ нѣкоторое время отецъ, арестованный за укрывательство «блага» и самъ «блѣдный» были разстрѣляны; мать — покончила съ собой. Мальчишку пришлось отдать въ прѣютъ для безпризорныхъ. Не знаю, что съ нимъ стало, но я не могу избавиться отъ чувства острой жалости, когда думаю о немъ. Кто виноватъ? Онъ, которому съ раняго дѣтства забивали голову «классовой борьбой», или тѣ, кто губить еще неокрѣпша ребячьи души?

Случай это исключительный, но не единственный. Развѣ нынче дѣтотъ такіе-же мальчишки и дѣвченки не выдавали бабъ и мужиковъ своихъ-же деревень, когда они «воровали колосья» для того, чтобы накормить такихъ-же голодныхъ ребятъ, какъ сами караульщики? А расплатой за такое «воровство» была смерть.

Помню, какъ то ѣхала я въ дачномъ поѣздѣ; противъ меня сидѣло двое школьниковъ лѣтъ 13-14-ти, физиономія у нихъ были славныя, веселыя и не глупыя. Оба читали газету, гдѣ была статья про «узниковъ Скотеборов», съ выкриками о «кровожадности империалистовъ» и прочемъ. «Не понимаю, чего они съ ними возятся такъ долго? сказалъ одинъ изъ мальчиковъ. — Если нужно разстрѣлять, такъ и стрѣляли-бы, чего scandalиться цѣлый годъ на весь мѣръ?»

Слова эти никого не удивили: въ совѣтскихъ газетахъ такъ часто приходится читать о разстрѣлахъ, что не одни мальчишки считаютъ теперь казнь довольною обыкновеннымъ дѣломъ — по видимому, такъ ужъ это нужно.

Въ школьной жизни есть еще много вопросовъ, за которыми дѣятельно слѣдятъ, и главный изъ нихъ — религіозный. Ребята должны выйти изъ школы не только безъ религіи, но и «активными безбожниками», готовыми вести антирелигіозную пропаганду. Собственно говоря, у огромнаго большинства изъ нихъ религіи нѣтъ. Дома, даже въ религіозныхъ семьяхъ, многие сознательно избѣгаютъ говорить объ этомъ съ дѣтьми, чтобы не осложнять имъ и безъ того трудной жизни. Церквей даже въ большихъ городахъ осталось очень мало, а въ деревняхъ, часто на сотни километровъ, нѣтъ больше ни одной, такъ какъ обѣднѣвшее, изголодавшееся населеніе не въ состояніи содержать ни храма, ни причта. Но религія жива. Есть люди, которые за церкви идутъ въ тюрьму и на каторгу. Поэтому антирелигіозная пропаганда и преслѣдованія ведутся своимъ чередомъ, включенные въ государственныя планы и поддерживаемые государственными субсидіями. Обработку ребятъ большевики считаютъ важнымъ дѣломъ, потому что изъ нихъ должны вырасти «свои», «стопроцентные».

Въ школѣ антирелигіозная пропаганда имѣетъ установленный ритуалъ: особенно активно она проводится передъ Рождествомъ и передъ Пасхой; заключается она въ устройствѣ общихъ собраний, на которыхъ читаются ан-

тирелигиозные доклады, показывается несколько физических опытов, вроде «неопалимой купины», которые почему-то считаются «проверяющими религию»; все это заканчивается приёмом «Комсомольского Рождества» с припевом:

«Долой, долой монахов,  
Долой, долой попов,  
Мы на небо залезём,  
Разгоним всех богов!»

Иногда школьный комсомольский актив ставит по этому случаю какую-нибудь невыносимо грубую сценку, которая заканчивается тем, что или «споны» дерутся, или «споновъ» бьют.

Ребята относятся ко всему этому равнодушно. Надоело из года в год смотреть и слушать одно и то же; скучно ломиться в открытую дверь, так как никакого открытого религиозного протеста нет и быть не может. Если у кого из молодежи есть религиозное чувство — оно загнано в подполье, а глумится над старыми людьми, которые собираются в редкие, уцелевшие еще церкви, противно и глупо. Поэтому на добычу «безбожникам» остаются, главным образом, школьники 10-12 лет. Среди них пытаются вскрыть религиозные предрассудки, а как именно, мне это хочется передать одним из рассказов моего сына.

Однажды перед Пасхой, — это было в 1930 г. — он вернулся из школы разстроенный и злой. Я едва могла добиться, чтобы он рассказал, в чем дело.

— Чего рассказывать? — ворчал он. Девочки — дуры. Больше ничего. Помолчать не могут.

Приехали на пережык «безбожники», погнали нас на собрание, пошамат даже не дали. Ну, всякую чепуху молоти, как всегда: что Пасха — ерунда, что богов никаких нет. А потом поперли по классам, «религиозного дурмана» искать. Сначала давай мальчишек выспрашивать, кто в церковь ходит, кто что про Бога думает. Ну, мы — ничего, чего с ними трепаться? Катились бы по своим делам, чего привязаться. Они тогда к дваченкам. Один и говорит Майк: — А ты навёрно яички любишь? — Она, дура, и ляпни: — Люблю, говорит. — И крашеная любишь? — Люблю. — Почему крашеная? — Они красивые. — И Пасху любишь? — Люблю. — Почему-же ты ее любишь? — Мамка куличь спекет. — И в церковь с мамкой пойдешь? — Тут только она сообразила и — ревет. Пришел «зав», давай распекать. «Зав» ушел, мы хотели дваченок вздуть, зачём зря болтают, а потом бросили, и так реву — вагон!

Я не говорю о нравственной стороне такого допроса, не говорю о том, какая редкая радость для советских ребят знать, что будут яйца и куличь, сколько изобретательности и жертв потребовалось от «мамки», чтобы добыть всё эти сокровища, я хочу отметить только результат такого метода в советской школе: он учит ребят молчать. Есть свое, личное — держи про себя. Агенты власти тебя не папа с мамой. Надо понимать, с кем имёшь дело.

Чём взросле становятся дети, тем тверже усваивают они такие уроки. Для нас, старших,

прошло то время, когда мы считали своим неотъемлемым правом свободно выражать наше личное мнение; для молодого поколения такого времени никогда не было и они лучше нас понимают грань дозволенного государством и того недозволенного, что, как излишнюю роскошь, можно хранить только для своего узкого, личного круга.

Они выходят из детства много раньше нас. Кончая «семилетку» в 15-16 лет, они чувствуют себя взрослыми. Во многом они такие и есть. Отец с матерью уже мало в чем могут им быть полезны; хорошо еще, если они не «средны», потому что если в школу принимают всех, то после нее ребята выкидываются в самую гущу борьбы за дальнейшее образование. Дети священников, бывших купцов, домовладельцев, кулаков, дети, унаследовавшие неудобная, громкая фамилия, или уже при новом режиме потерявшие своих отцов в тюрьмах и на каторге, все они — «чуждый элемент». Государство согласно их терпеть в рядах чернорабочей силы, но не желает «засорять» ими ряды своих новых специалистов. Вместе с тем ребята прекрасно понимают, что только их личная квалификация по специальности, в которой особенно нуждается государство, может заставить забыть неудобное прошлое их родителей. Ити в рабочие совхозы не сладко. Правда, рабочие получают паек по 1-ой категории и зарабатывают не хуже, а часто лучше служащих, но условия работы гораздо тяжелее и изнашивают человека так скоро, что

не успеешь оглянуться, как сдаешься калёкой. К знаменитому 8-ми часовому рабочему дню прибавляется столько обязательной, бесплатной «общественной нагрузки», что не всегда и в 10 часов раздѣлаешься с работой. Кроме того, если в Зап. Европе считается, что в СССР нет безработных, то граждане СССР по горькому опыту знают, что значит, когда «выводят излишки рабочей силы». Это значит быть выкинутым с завода вследствие сокращения или приостановки производства, получить 2-хнедельное «выходное пособие» и быть обязанным в течение 2-х недель найти себе работу или согласиться пойти на работу, хотя — и совершенно не по своей специальности. По истечении этого срока фактической безработный не только не получает пособия, но лишается хлебной карточки, пока не поступит на место. Но место это у себя в городе трудно найти, приходится соглашаться на предложения вербовщиков, ехать в Кузнецк, Магнитогорск, Донбасс, Апатиты, попадать там в заводные рабочие бараки, на общинары, питаться в столовках, которые иначе не называются, как «сикаловка», «рыгаловка», «тошиловка» и др. мена ценозурными именами, с тоски и изводной работы срывать с места, ехать на другую «стройку», надеясь, что там лучше, что там дадут обещанные вербовщиком валенки или сапоги, опять ничего не получить, кроме новышей и, окончательно оборванному, все еще продолжать куда-то перекатываться, пока где-нибудь не сложишься. Сколько этой «те-



кучей рабочей силы», почему она перетекает на сотни и тысячи километров, не находя себя пристаница, забывая желѣзные дороги, заваливая станціи измученными сѣрыми людьми съ холщевыми мѣшками или деревянными сундучками за спиной, — никому нѣтъ дѣла. Совѣтскому правительству недосугъ утруждать себя такими вещами, а иностранцы, фотографируя кодаками «живописныя группы» на вокзалахъ, регистрируютъ «кочевую склонность славянскаго народа». Но совѣтская молодежь знаетъ, какъ жутко попасть въ эту голь перекатную, знаетъ, какъ всякому, у кого неудобное социальное прошлое, легко быть выведенному въ эти «излишки» и потому каждый мальчишка и дѣвченка понимаютъ, что, кончивъ школу, надо, насколько возможно, обезопасить себя отъ этой судьбы.

Трудно описать борьбу, которая идетъ за то, чтобы поступить въ Вузъ. Въ прежнія времена все опредѣлялось конкурсомъ знаній, теперь главную роль играютъ партійныя рекомендаціи и социальное происхожденіе. Условия пріема все время мѣняются, съ каждымъ годомъ оставляя все меньше лазеекъ для лицъ не пролетарскаго происхожденія, поэтому многимъ приходится сначала поступать на производство, зарабатывать себя трехгодичный рабочий стажъ, а потомъ, растерявъ и забывавъ половину своихъ знаній, хлопотать о правѣ поступленія въ Вузъ. Другіе ловчатся иначе: не кончивъ школы, они поступаютъ на Рабфакъ и оттуда перекочевываютъ въ Вузъ. Третьи сидятъ на фабрикахъ, создаютъ себя репутацію активиста,

выжидая «командировки» въ Вузъ, такъ какъ часть мѣста представляется въ распоряженіе производственныхъ учреждений. При этомъ знанія и умственные способности играютъ послѣднюю роль, а главную — политическая и общественная благонадежность. Въ результатѣ въ Вузъ попадаютъ много людей неспособныхъ къ наукѣ, въ то время какъ способные остаются за бортомъ. Но и для болѣе способныхъ работа въ Вузѣ не простая вещь. Прежде всего, трудно попасть на ту специальность, къ которой есть склонность и вкусъ. Благодаря системѣ «командировокъ», на медицинскій часто попадаютъ тѣ, кто мечтаетъ о высшей математикѣ, на географическій — тотъ, кто добивается стать инженеромъ и т. д. Все первое полугодіе, когда еще разрешается «мѣняться», студенты взываютъ другъ къ другу, но переимѣнятся нелегко, — для этого требуется согласіе учрежденія, которое командировало студента. Не могу сказать, что изъ этого въ конечномъ счетѣ выходитъ, но любопытно отмѣтить ту особенность совѣтскаго режима, что индивидуальность считается чѣмъ-то вродѣ буржуазнаго предразсудка. Человѣкъ долженъ дѣлать то, что требуется отъ него государство, а вовсе не то, къ чему у него есть вкусъ и способность.

— Какая жажда знаній! — восклицаютъ иностранцы, которымъ покажутъ Московскій или Ленинградскій университетъ.

— Какіе загнанные, издерганные «ребята!» (такъ теперь называются студенты), думалось мнѣ, когда я изо дня въ день видѣла ихъ героическія усилія вы-

биться изъ неблагопріятныхъ условій, которыя для нихъ, и безъ того ослабленныхъ недоѣдаци-емъ и плохой школой, создавала совѣтская власть.

— Какая прекрасная молодежь! — удивляются иностранцы, когда имъ удается попасть въ студенческія общежитія, гдѣ въ комнатахъ набито столько коекъ, сколько только можно поставить, гдѣ гулъ отъ голосовъ стоитъ сверху до низу, гдѣ зимой стоитъ почти морозъ. — Живутъ въ такой тѣсотѣ, въ такихъ ужасныхъ условіяхъ и не ссорятся! — восторгаются иностранцы.

Помню я, какъ послѣ общинхъ собраній этой «прекрасной молодежи», когда имъ надо было рѣшить, кому уменьшить стипендію изъ-за того, что посрединѣ года вдругъ сократили кредиты, или къ кому въ комнату вселить новаго товарища, переведеннаго изъ провинціального университета, ко мнѣ приходилъ старикъ-служитель, лѣтъ 30 состоящій все въ той-же должности, и говорилъ мнѣ, отъ волненія переходя на «ты».

— Скажи ты мнѣ, откуда у нихъ злора такая? Молодые вѣдь! Ну загрызуть, ей-Богу, загрызуть другъ дружку.

Откуда злора? А какъ не быть злобѣ, когда имъ вспомнить нечего, кромѣ борьбы за кусокъ хлѣба, который дается только въ заслугу правовѣрнымъ! Кто щадитъ эту молодежь, когда посрединѣ учебнаго года ихъ срываютъ на двѣ-три недѣли, чтобы «бросить» на заводъ, гдѣ обчаружился «прорывъ»? Кто думаетъ о нихъ, когда ихъ, и «ребятъ» и «дѣвчатъ», въ потрепанныхъ пальтишкахъ и проношенной обу-

ви гонять разгружать баржу съ дровами? Въ отчетахъ и журнальныхъ статьяхъ объ этой общественной работѣ, стопроцентное участіе въ ней молодежи называется «энтузіазмомъ». «Всѣ какъ одинъ и одинъ какъ всѣ» шагаютъ они въ гавань или на заводъ, шагаютъ потому, что никто не смѣетъ отказаться, возвращаются измученные и простуженные, жмутся потомъ къ печкамъ, кашляютъ, едва тянутъ свою учебную ляжку.

Такой-же стопроцентный энтузіазмъ приходится имъ проявлять при участіи въ демонстраціяхъ. Если она назначена заранѣе, всѣ обязаны расписаться наканунѣ, на особыхъ, вывѣшенныхъ листахъ, что часть и мѣсто сбора имъ извѣстны. Если демонстрація назначена по экстренному поводу, то закрываются всѣ выходы изъ учрежденія кромѣ одного, у котораго дежурятъ члены мѣсткома и «смѣяться» мимо нихъ дѣло безнадежное.

Но главное несчастье студентовъ не въ этомъ. Истинное бѣдствіе — это марксизмъ. Въ марксизма и метода діалектическаго материализма не допускается ни одна мысль, никакая отрасль науки, искусства, литературы. Отъ постановокъ балета требуется «діалектичность», какъ отъ преподаванія англійскаго языка, отъ тематики, физики, исторіи, астрономіи и проч. Противъ марксизма не можетъ идти никто, если хочетъ сохранить за собой право учиться или учить. вмѣстѣ съ тѣмъ само понятіе совѣтскаго марксизма чрезвычайно растяжимо. Надо знать, въ сущности, не Маркса, а толкованіе, данное ему тѣмъ изъ совѣтскихъ свѣтилъ,

которое в настоящее время из-ходит в период признания. Услѣдить за этимъ трудно, потому что для простыхъ гражданъ остается всегда наполовину скрытымъ, почему, напр., Бухаринъ, который одно время считался обязательнымъ, какъ катехизисъ, затѣмъ почти попалъ подъ запретъ, но снова вынырнулъ. Почему Рыленовъ, высшій научный авторитетъ въ марксизмъ, вдругъ оказался обвиненнымъ въ меньшевизмъ, попалъ въ тюрьму и увлекъ туда за собой многихъ сотрудниковъ твердыни марксизма — «Института Маркса и Энгельса»? Никто никогда не могъ разобратся въ дебатахъ Деборина и Аксельродъ, обоюдно обвинявшихъ другъ друга въ илютизмъ, кретинизмъ и прочіихъ качествахъ, можетъ быть и действительно имъ свойственныхъ; мученье, однако, состояло въ томъ, что надо было знать, кто же будетъ признанъ авторитетомъ, такъ какъ иначе самому можно было впасть въ опасную ересь.

Надо было видѣть, какъ студенты, которые бѣгали ко мнѣ въ бібліотеку наспѣхъ спросить, кто жилъ раньше, Марксъ или Спиноза или какая разница между «рентой» и «коттеджемъ», потому что оба слова казались имъ одинаково непонятными, зубрили положенія Маркса, какъ священные формулы, и панически волновались, стремясь узнать, что въ послѣдній разъ о нихъ было сказано. Нельзя представить себѣ, какой ералашъ былъ у нихъ въ головахъ отъ этого ужаснаго Маркса, который сваливался на нихъ безъ всякой подготовки, какъ будто съ него начался міръ. И эти люди, безнадежно сбитые

съ толку, запомнившіе только слова, должны были слѣдить за тѣмъ, чтобы имя профессора не уклонялись отъ «четкой марксистской установки» и не вводили ихъ во искушеніе!

Увы, они не только слѣдили, но яростно преслѣдовали всякаго, кто, по ихъ мнѣнію, не былъ законченнымъ марксистомъ въ своей области. Стоило имъ только заподозрѣть кого-нибудь, что онъ ихъ учитъ не такъ, какъ полагається, они начинали «крыть» его на курсовыхъ и общихъ собраніяхъ, печатать противъ него статьи въ своей студенческой газетѣ или продергивать его въ «Стѣнной газетѣ» и быстро добивались того, что профессору приходилось уходить или его смѣшали, если за него не вступалось партийное начальство, которое, разъяснивъ его марксистскую благонадежность, приказывало прекратить травлю. Такъ въ 1931-32 г. въ Ленинградскомъ университетѣ выжидали проф. І. Кулишера, нынѣ покойнаго; но его буквально нечѣмъ было замѣнить и приказано было терпѣть. «Терпѣть» — когда онъ былъ единственнымъ знаткомъ исторіи экономическаго быта и книга его была единственнымъ пособиемъ! Молодымъ профессорамъ приходилось еще хуже. Особенно поразила меня судьба проф. Мебуса. Это былъ талантливый географъ, молодой ученый, можно сказать совѣтской форманціи, ему было всего лѣтъ 35. Весной 1931 г. онъ былъ прославленъ какъ основатель «марксистской географіи», всюду были приняты только его учебники, Госиздатъ печаталъ ихъ въ десяткахъ тысячъ экземпляровъ. Осенью того-же года студенты и

аспиранты учуяли въ немъ «кулонъ». Страхъ, что Мебусъ предастъ имъ еретическую науку, немедленно вызвалъ грубыя нападки, хотя студенты не могли не цѣнить его какъ искренняго и преданнаго наукѣ человѣка. Къ концу полугодія онъ не выдержалъ и, вернувшись домой послѣ одного изъ бурныхъ собраний, застрѣлился, оставивъ записку: «Нѣтъ смысла жить, когда нельзя прогрессировать».

Когда меня спрашиваютъ объ энтузіазмѣ въ наукѣ, передо мной встаетъ образъ этого молодого ученаго, жертвы марксизма. Можетъ быть, онъ - то именно и зналъ энтузіазмъ, печальное явленіе въ СССР, если онъ не официальный!

Какъ въ этой пуганицѣ и безтолковщинѣ, подъ вѣчной угрозой исключенія за «нечеткій марксизмъ» или «партийный уклонизмъ», студенты все-таки ухитряются учиться и становятся, хоть и скверными, но спецами, — представить себѣ немыслимо никому, кто не прошелъ совѣтской учебы. Я не говорю уже о томъ, что недостатку профессоръ еще острѣе, чѣмъ преподавателей въ школахъ, что учебники здѣсь представляютъ еще болшую роскошь, такъ какъ одинъ учебникъ на пять человѣкъ — это правило, а по нѣкоторымъ предметамъ приходилось 3-4 книги на группу въ 30 человѣкъ. Одно время студенты пробовали воровать книги, выданныя имъ изъ библіотеки, объявляя, что онѣ потеряны и предлагая уплатить цѣну книги, но «пріемъ» ихъ быстро былъ раскрытъ и противъ него пришлось принять мѣры вплоть до угрозы исключенія изъ

Буза. Два-три украденныхъ экземпляра все-таки удержались на рукахъ, а счастливые «воры» скрывали ихъ подъ шкафами въ университетѣ и приходили рано утромъ подзудрить. Въ общелѣтіе они боялись ихъ брать, чтобы товарищи, изъ зависти, не выдали.

Перемена методовъ преподаванія въ Бузахъ такъ же распространена, какъ въ школѣ. Въ тотъ годъ, когда я служила въ университетской библіотекѣ, т. е. въ 1931-32 г., была предѣлана одинъ изъ самыхъ печальныхъ опытовъ: рѣшено было ввести систему «пятерокъ». Курсы были разбиты на группы по 30 человѣкъ, тѣ, въ свою очередь, на подгруппы въ 5 человѣкъ. Профессоръ давалъ введеніе для группы, ставилъ вопросы и указывалъ учебный матеріалъ, точно отмѣчая страницы и то, что можно пропустить. Каждая «пятерка» затѣмъ занималась отдѣльно, а черезъ 10 или 15 дней славала «заданіе». Зачетъ ставился всей пятеркѣ и кто былъ послпособіе, долженъ былъ тянуть отстающихъ, иначе онъ рисковалъ провалиться со всей своей компаніей. Такая система должна была упорочить коллективное начало, но, на дѣлѣ, настояло парализовала инициативу и снизила общій уровень, что къ веснѣ ее едва достигали, при общемъ недовольствѣ и профессоровъ и студентовъ. Какой методъ былъ принятъ съ осени 1932 г., я уже не знаю.

Вспоминаешь весь этотъ досадный, пагубный безпорядокъ, эти вѣчные «опыты», которыми восхищаются иностранцы и которые производятся надъ живыми

человѣческимъ молодымъ матеріаломъ, въ то время какъ въ странѣ не только не хватаетъ специалистовъ, но появился еще новый разрядъ — «рещедвинцы», т. е. тѣ, кого такъ непрочно выучили грамотѣ, что они ее забыли, — и горечь беретъ. Зачѣмъ? Какъ смѣютъ столько лѣтъ коверкать и уродовать молодежь? Совѣтскіе «ребята» неразвиты, неподготовлены, мысли у нихъ ворочаются въ головѣ тяжело, какъ булыжники. Каменное, тяжкое должны они поднять, чтобъ выйти къ культурѣ, а въ это время совѣтская власть дѣлаетъ съ ними, что и со всей страной — ставить опыты! Молодежь, выросшая съ дѣтства на нуждѣ и сознаниіи безси-

лія передъ властью, платитъ за эти опыты своимъ здоровьемъ и счастьемъ. Мечтаютъ ли они о «свѣтломъ будущемъ»? Боюсь, что если ихъ спросить объ этомъ, они подумаютъ, что или ихъ принимаютъ за дураковъ, или готъ, кто спрашиваетъ, не въ своемъ умѣ. Они знаютъ на опытѣ всей своей жизни, что совѣтскій «соціализмъ» одинъ изъ самыхъ жестокихъ режимовъ. Они знаютъ, что «свобода, равенство и братство», это сказки, которыя придумали, говорятъ, чуть не полтора ста лѣтъ назадъ, — куда же это годится? А «въ общемъ и цѣломъ», надо пока спасти свою жизнь, если дохнуть не хочется.

Т. Чернавина.

## О а з и с ь

Изъ всѣхъ странъ, находящихся въ XIX в., на столбовой дорогѣ Европы какъ культурнаго міра, Франція и Англія сейчасъ — единственный, не сошедшія съ нея И повидному это — надотго. Какъ въ концѣ XVII — началѣ XVIII вв., Европа сосредоточилась въ нихъ. Только здѣсь личность не задавлена массой, только здѣсь она можетъ высказываться свободно И только здѣсь національная мысль — и въ этомъ отличіе Франціи и Англіи отъ странъ, не отказавшихся отъ свободы, но образующихъ европейскую «провинцію», — является вмѣстѣ — и все болѣе и болѣе — европейской, мировой, общечеловѣческой. Первенство принадлежитъ безусловно Франціи. Духовная работа здѣсь напряженнѣе, разностороннѣе, продуктив-

нѣе, нежели въ Англіи. Къ Франціи приходится — и долго еще придется обращаться для того, чтобы понять, чѣмъ дышетъ и живетъ Европа. Матеріаль громаднѣе, при первомъ подходѣ подавляетъ своей массой. Нашъ вѣкъ — время самоанализа, интроспекціи, самообнаженія, — и естественно, что строеніе культуры его, ея сущность, ея духовныя основы, опредѣляющіе ее «комплексъ» являются одной изъ темъ — едва ли не главной темой, — занимающихъ мысль. Ей посвящаются во Франціи, прямо или косвенно, едва ли не всѣ сколько-нибудь заслуживающія вниманія произведенія новѣйшей литературы. По счастью французы, съ ихъ спасительной боязнью впасть въ то, что они зовутъ непереводимымъ словомъ *soffise*,

въ умничающую, глубокомысленную, тяжеловѣсную, притязательную глупость, съ ихъ недовериемъ ко всеохватывающимъ системамъ, не видятъ необходимости въ томъ, чтобы выразить свое отношеніе къ культурѣ и ея проблемамъ непремѣнно въ формѣ громоздкихъ, растянутыхъ всемірно - историческихъ синтезовъ, которые такъ любятъ нѣмцы. Они предпочитаютъ старинную, восходящую къ XVI-XVII вв., въ послѣднее время — и это само по себѣ характерно для нынѣшней Франціи -- освѣженную форму «essai», «олытовъ», набросковъ, размышленій «по поводу». Первое, что можно и должно утверждать, отпавляясь отъ этой литературы, — это, что самый фактъ ея распространенности служитъ симптомомъ духовнаго кризиса. Это требуетъ поясненія. Культура есть творчество, — дѣланіе, просвѣтленное сознаниемъ. Поэтому каждый культурный періодъ имѣетъ свою философію культуры. Но одно — размышлять о высшихъ дѣляхъ, о назначеніи культуры вообще, о мѣстѣ культурнаго дѣятеля, человѣка, въ Природѣ, о его призваніи и о смыслѣ его жизни; другое — исследовать по способу, аналогичному фрейдовскому, данную свою культуру, заниматься ея психоанализомъ. Культура въ силу опредѣленія предполагаетъ какое-то — существенно человѣческое свойство; но это — не то же самое, что современная тревога, *inquiétude*, страхъ за культуру, ощущение какого-то органически ей присущаго не совершенства, а такъ сказ. неблагополучія, ея внутренней обреченности. Это именно, что служитъ источни-

комъ всякихъ психоаналитическихъ упражненій надъ нею. Это и есть нынѣшняя «болѣзнь вѣка», *mal de siècle*, *Weltschmerz*, что родитъ наше время съ періодомъ романтизма. Но, какъ тонко замѣтилъ одинъ изъ философовъ культуры\*), нынѣшняя *inquiétude* все же не то, что романтическая «болѣзнь вѣка» Романтической человѣкъ носился со своей болѣзнию, гордился ею, обидѣлся бы, если бы ему предложили излечиться отъ нея. Современный человѣкъ только этого и хочетъ. Его прототипомъ въ романтическую пору служитъ скорее Оберманъ, котораго лишь условно можно отнести къ романтикамъ, чѣмъ Рене или Чайльдъ - Гарольдъ. Свою болѣзнь онъ вовсе не склоненъ считать, какъ таковую, нормальнымъ состояніемъ чувствующей и мыслящей личности. Но современный человѣкъ слишкомъ честенъ передъ самимъ собою и слишкомъ умственно зрѣлъ, чтобы пытаться отдѣлаться отъ своей болѣзни по способу Кузъ: увѣрять себя, что онъ совершенно здоровъ и жить такъ, какъ если бы онъ былъ здоровымъ. Исключительная сложность задачи выяснитьъ сущность современной культуры состоитъ въ томъ, что преодоленіе ея кризиса протекаетъ на путяхъ использования тѣхъ самыхъ духовныхъ установокъ, которыя этотъ кризисъ обусловили, тѣхъ духовныхъ тенденцій, въ преобладаніи которыхъ онъ и состоитъ. — такъ что въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ чрезвычайно трудно сказать, съ чѣмъ собствен-

\*) André Berge, *L'Esprit de la littérature moderne*. 1930.

но мы имѣемъ дѣло — съ тѣмъ-ли, что мы зовемъ кризисомъ, или съ его преодолѣніемъ, съ выходомъ изъ него. Впрочемъ въ исторіи всегда бываетъ именно такъ, ибо жизнь течетъ сплошнымъ и непрерывнымъ потокомъ, — и лишь потому, что, сравнивая настоящее съ прошлымъ, мы въ сущности сравниваемъ то, что намъ непосредственно дано со схематичнаго нашего умерщвляющаго жизнью ткань исторіи, упрощающаго, упорядочивающаго сознанія, прошлое намъ кажется проще, понятнѣе, свободнѣе отъ противорѣчій, нежели настоящее. Мы какъ бы переходимъ отъ классической комедіи съ ея замкнутыми, окрашенными каждая своею одною тоною краской типами-масками, къ роману Стендаля или Тоистого.

Второе затрудненіе: хронологическіе опредѣлить это «настоящее». Возьмемъ ли мы, въ качествѣ условной вѣхи, войну? Это какъ будто само собою навязывается. Но война-ли породила столько кризисовъ? Кризисъ вѣности, кризисъ производства, кризисъ демократіи? Но слишкомъ извѣстно, что какъ разъ послѣдній кризисъ, котораго никакъ нельзя списать къ дѣйствию какой-нибудь меланхолической общественной силъ, послѣ войны только проявилъ себя рядомъ вырывовъ, въ скрытомъ же состояніи существовать — до войны; что уже тогда онъ былъ почувствованъ и осознанъ какъ духовная смерть демократіи тѣми, чье вліяніе въ неинтересно слышавается все больше во Франціи — позитивистомъ, ученикомъ Огюста Конта и роялистомъ, Ш. Моррасомъ, а также вѣрующимъ католикомъ, котораго его послѣ-

дователи считаютъ святымъ и социалистомъ, Шарлемъ Пэги. Распадъ духовныхъ связей, атрофія общаго, были условіями крайняго индивидуализма въ литературѣ, въ искусствѣ, скептицизма ради скептицизма А. Фрица, какъ и искусства ради искусства символизма и декадентства. И непосредственно передъ войною кризисъ вступаетъ въ новую стадию, достигаетъ высшей точки, являющейся вмѣстѣ началомъ его изживанія. Здѣсь можно указать точную дату — 1913 годъ, годъ выхода перваго тома «*A la recherche du temps perdu*». Есть какая-то связь между Флоберомъ и Прустомъ, ихъ судьбой, ихъ трагедіей. Другъ другі они взаимно дополняютъ и символически, осмысливаютъ. Оба аскеты, мученики искусства, — по каждый по своему. Флоберъ хотѣлъ быть «чистымъ» художникомъ слова; жизнь, изображаемая имъ, увѣрялъ онъ себя самого, была только матеріаломъ для музыкально звучащей «фразы». Въ этомъ онъ не успѣлъ, классикомъ прозы онъ не сталъ, его стиль расцвѣтается сейчасъ какъ сплошная ошибка, и если Mme Bovary и Education Sentimentale еще живутъ, то исключительно благодаря тому, что въ нихъ (репенсіи) воплощенія въ нихъ «реальная» жизнь. Напротивъ, Прустъ уже переросъ культъ «чистаго искусства». Его художническая эссеизма не была для него самоцѣлью. Искусство было для него органомъ познанія чловѣка и жизни. Онъ уже охваченъ современной тревогой о чловѣкѣ. Какое же было результатомъ? Здѣсь приходится считаться съ consensus omnium Мѣсто

Пруста въ ряду подлинно великих писателей закрученъ навъки, но именно и прежде всего какъ художника слова. Совершенно правъ А. Жидъ, говоря, что все написанное до Пруста кажется блѣднымъ, тусклымъ, невыразительнымъ, неточнымъ, ибо такого словеснаго мастерства до него, по крайней мѣрѣ среди романистовъ, не достигалъ никто. Но не менѣе единодушенъ и приговоръ о томъ, что являлось конечной цѣлью его творчества: полный провалъ, провалъ, на который самъ же Пруст, съ его теоріей «*intermittences du coeur*», «перерывомъ чувства», сознательно шелъ \*). Человѣка, въ его новой «Астрѣ», нѣтъ; онъ разложенъ на свои слагаемыя. Здѣсь, на этомъ доведеніи до крайнихъ предѣловъ одной изъ тенденцій антропологій и гносеологій Бергсона, съ его ученіемъ о роли памяти, и одной изъ сторонъ метода Фрейда, его теоріи вытѣсненія и сублимаціи, на этомъ безчеловѣчномъ гуманизмѣ сказывается дѣйствіе законовъ діалектики духа. Методъ Пруста не простая ошибка, которая можетъ быть скинута со счета; преодолѣть его не значитъ — вернуться назадъ; это значитъ — идти дальше. Ни Бергсона, ни Фрейда, учителей Пруста, опровергнуть невозможно. Но можно и должно творчески развить мысль каждого изъ нихъ. Великолепно формулируетъ Р. Фернандезъ въ тольчо что цитированной книгѣ, въ чемъ сила и слабость фрейдизма — и его формулировка вмѣстѣ съ тѣмъ

является ключемъ къ пониманію творческой трагедіи Пруста: «Фрейдовская концепція, въ сущности не что иное какъ мѣлологія излеченія, лишенная положительной цѣнности, связана съ общимъ положеніемъ, бывшимъ въ ходу четверть вѣка назадъ, о томъ, что человѣкъ долженъ быть объясняемъ его прошлымъ. Сейчасъ мы склонны скорѣе объяснять его будущимъ». И тамъ же — о необходимости, благодаря Фрейду, пересмотрѣть укоренившееся пониманіе нормальнаго человѣка: «Нормальность состоятъ не въ неизмѣнимомъ состояніи, но въ интенціи. Моральная цѣнность ученія Фрейда въ томъ, что изъ него вытекаетъ необходимость для всякаго средняго (согласно презумпціи Фрейда «нормальнаго») человѣка бороться съ собою, чтобы слѣдъ «нормальнымъ». Теорія творческой эволюціи служить обоснованіемъ возможности этого. Но здѣсь возникаетъ вопросъ: естъ ли «нормальность», то что же такое «нормальность»? Въ то время, когда намѣчается изслѣдуемый, такъ сказать, кризисъ кризиса, Бергсонъ еще не далъ своего отвѣта на этотъ вопросъ, еще не достигъ послѣдняго этапа на своемъ пути къ духовному просвѣтленію, выраженіемъ котораго явилось его «*Les deux sources de la morale et de la religion*». Его творческая эволюція, казалась, не могла идти никуда. Но французскія мысль новѣйшаго времени не могла ждать отвѣта учителя. Она предупредила его.

Въ этой связи существенно значение имѣеть, наряду съ преодолѣніемъ Пруста, преодоленіе еще одного учителя жизни —

\*) См. Ramon Fernandez, *Messages*, 1926.



А. Жида \*) — опять-таки тѣмъ же путемъ, продолженія его собственной мысли, творческаго угла, бленія его проблематики. Прусть и А. Жидъ — два аспекта новѣйшаго гуманизма въ его исходной стадіи. Имморалистическій морализмъ Жида — восполненіе безчеловѣчнаго гуманизма Пруста. Пруста мучала проблема, что есть человѣкъ. Жидъ — чѣмъ долженъ быть человѣкъ. Прусть отдѣляетъ «внутренняго» — подлиннаго — человѣка отъ «внѣшняго» Пруста мучала проблема, что есть дѣятель, познаваемый всецѣло лишь въ дѣйстви. Но онъ не указываетъ никакой иной цѣли для человѣка-дѣятеля кромѣ наслажденія дѣятельностью. Тѣмъ самымъ и онъ налагаетъ на себя оковы эготизма, солипсизма, въ сущности — упраздняетъ человѣка.

Однако, полавши, въ этическомъ планѣ, въ заколдованный кругъ. Жидъ обрѣтаетъ, въ планѣ эстетическомъ, выходъ изъ него. Говоря о языкѣ Пруста, Жидъ прибавляетъ: когда ему случается перечитывать Пруста, онъ въ теченіе нѣсколькихъ дней не въ силахъ писать; ему кажется, что иначе чѣмъ Прусть писать нельзя, и то, что другіе зовутъ «чистотою» его собственного стиля, представляется ему бѣдностью. Искренень ли онъ, утверждая это? Во всякомъ случаѣ намъ нельзя согласиться съ нимъ. Совершенство Пруста какъ писателя въ томъ, что у него форма нацѣло адекватна содержанію. Его стиль хорошъ тѣмъ, что онъ безусловно правдивъ, и поэтому

порочность его концепціи чело- вѣка и жизни отражена въ немъ. Его рѣчь изумляетъ богатствомъ и тожностью отгѣнкова, гибкостью, силою исходящихъ отъ нея внушеній — и вмѣстѣ съ тѣмъ подчасъ раздражаетъ, отталкиваетъ, какъ и его анализы душевныхъ движеній чело- вѣка безъ души, безликой, въ своей гипертрофій, личности. Выражающая содержание безсодержательнаго, эта рѣчь поэтому легко воспринимается какъ чистая форма, т. е. какъ манера, какъ сплошной пріемъ — и вотъ почему — и въ этомъ отношеніи Прусть, изъ всѣхъ классиковъ литературы, единственный — поддается пародіи: В. Сиринъ блистательно доказалъ это въ «Caméra Obscura». Его пародія «прустианецъ» несомнѣнно вмѣстѣ съ тѣмъ пародія и самого ихъ учителя. Напротивъ, совершенство Жида какъ стилиста въ томъ, что мы его стиля, его «манеры» не видимъ, не замѣчаемъ. «Большой художникъ, учитъ самъ Жидъ, заботится объ одномъ: стать банальнымъ... И, удивительная вещь, лишь такъ онъ осуществляетъ въ полной мѣрѣ свою индивидуальность (Incidence)»). И далѣе тамъ-же, онъ, всю свою жизнь, если только повѣрить ему на слово, боронившій за свою свободу противъ заложенныхъ въ

\*) Ср. принципъ, формулированный Radigue: «Всякій художникъ, чего-нибудь стоящій, въ силу необходимости самобытенъ; поэтому усиліе достигнуть банальности будетъ для него наилучшей выучкой». Цит. у Henri Massis, *Réflexions sur l'art du roman* (1927), 68.

\*) Ср. A. Berge, назв. книга. Ср. также Thierry Maulnier, *La Crise est dans l'homme*, 1932

немъ воспитаніемъ и семейной традиціей началъ религіознаго принужденія, словно переносить свою аргументацію на этическую почву: «...Между тѣмъ какъ тотъ, кто удаляется отъ человѣчества, оберегая свою самость, достигаетъ лишь того, что становится чужакомъ, уродомъ, ущербленнымъ человѣкомъ. Надо-ли ссылаться на евангельское изреченіе? — Да, ибо я думаю, что не искажаю его смысла: Кто желаетъ спасти свою жизнь (свою личную жизнь), погубитъ ее; кто же хочетъ погубить ее, спасетъ ее». Случай А. Жида можно было бы выразить въ терминахъ психоаналитики: сублимация, въ искусствѣ вытѣсненныхъ въ сферу подсознанія — на этотъ разъ не порочныхъ, но этически чистыхъ и высокихъ влеченій.

Но что такое «человѣчность», что такое «норма»? И почему только «нормальное» цѣнно? И въ чемъ его цѣнность? Если все «ненормальны», то гдѣ искага норма? Ясно, что надлежитъ или отказаться вовсе отъ самой идеи нормы — ибо въ планѣ эмпирическаго бытія ея понятіе есть, какъ оказывается, *contradictio in adjecto* — или вернуться къ признанію метафизическихъ основъ культуры, къ признанію Абсолюта, Бога. Для современной Франціи характерно то, что, двигаясь въ этомъ направленіи, ея мысль возвращается къ традиционной вѣрѣ, къ католицизму. Объ этомъ говорить все возрастающее вліяніе отошедшихъ въ вѣчность Шарля Пэги и Ривьера, настоящій культъ ихъ обоихъ, такъ же то, что самые одаренные, самые значительные представители современной мысли и современ-

наго художественнаго слова, Клодель, философъ и критикъ Дю Вов, романистъ Моріакъ — католики.

Говорить о полной и рѣшительной побѣдѣ католической идеи было бы, разумѣется, неосторожно. И среди духовной *élite* Франціи есть еще люди, сопротивляющіеся натиску католицизма, — зо имя охраны правъ Разума (Рамонъ Фернандезъ), Разума и вѣстѣ — исторической традиціи (Моррасъ). Этотъ послѣдній случай особенно показателенъ. Для Морраса — воллиная «душа» Франціи, ея геній, по существу «классическій», равнозначущи признанію примата Разума надъ чувствомъ или, что то-же, точнаго знанія, позитивистской концепціи надъ «мистической», коренящейся въ чувствѣ съ его обманамъ. Возвратъ къ католицизму — своего рода измѣна отечеству. Католичество, въ его глазахъ, скомпрометировало себя тѣмъ, что дало начало ненавистному романтизму, съ его безпочвенностью, распущенностью, безстыльностью, съ его приводящимъ въ конечномъ итогѣ къ разложенію личности индивидуализмомъ, — ко всему тому, что воплощено въ символическомъ образѣ Руссо. Здѣсь Моррасъ сходится съ католиками Маритэномъ и Моріакомъ\*), для которыхъ Руссо также является исходной точкою всего, что составляетъ предметъ ихъ ненависти. — съ тою лишь разницею, что, въ ихъ пониманіи, Руссо олицетворяетъ собою не, такъ сказать, необходимый, конечный

\*) См. J. Maritain, *Trois Réformateurs; Mauriac, Trois grands hommes devant Dieu.*

этапъ развитія католической Идеи, но ея извращеніе, подмѣну ея цѣнностей другими, Бога — Природою, любви-caritas — страсти, а въ силу этого — отрицаніе центрального пункта христіанства, ученія о грѣхопадѣніи и о виновности всѣхъ и каждого передъ всѣми и передъ Богомъ, слѣдовательно — и отрицаніе идеи искупленія.

Это новое пониманіе Руссо, несомнѣнно глубже, проникновеннѣе, согласнѣе съ дѣйствительностью, чѣмъ Моррасовское. Преодолѣніе Руссо, этого Андрэ Жида восемнадцатаго вѣка, понятнаго всесторонне, должно логически привести не къ окончательному освобожденію отъ христіанскихъ основъ мировоззрѣнія, но къ возврату къ нимъ. Существенно то, что онъ намѣчается и притомъ со все большей и большей опредѣленностью.

Это не можетъ не удивить того, кто свыкъ съ официозной, сложившейся за періодъ третьей Республики, исторической пуглятой, согласно которой Франція обрѣла самое себя, нашла свое собственное лицо только начиная съ 1789 г., такъ что, съ точки зрѣнія оцѣнивающей, осмысливающей исторіи, все предыдущее было какъ-бы подготовкой, или сплошной «опыткой», относителю къ плану до-исторического бытія.

На самомъ дѣлѣ нѣтъ въ Европѣ народа, который бы развивался столь органически, съ такой непрерывностью, какъ французскій, который бы такъ мало растерялъ на своемъ историческомъ пути и такъ много сохранилъ въ неприкосновенности. Здѣсь сказалось дѣйствіе на рѣд-

кость счастливой комбинаціи разнообразнѣйшихъ и зачастую другъ отъ друга независѣвшихъ, и въ этомъ смыслѣ случайныхъ, условий, въ конечномъ итогѣ содѣйствовавшихъ формированію того, что мы зовемъ народною душою. Попробую указать ихъ вкратцѣ.

Во - первыхъ, географическій факторъ, то-есть, съ одной стороны положеніе Франціи, съ другою — строеніе ея территоріи: 1) Франція находилась (говоримъ къ прошедшему времени, ибо реальное пространство величина перемѣнная) дальше, чѣмъ Италия, отъ Леванта и дальше, чѣмъ Испанія и Англія, отъ «объѣихъ Индій»; 2) области Франціи экономически восполняли одна другую. Въ итогѣ — сосредоточеніе Франціи въ своихъ границахъ, сотрудничество населенія отдѣльныхъ земель, «астаркія».

Во-вторыхъ, факторъ внутренню - политическаго порядка: непрерывное, въ теченіе восьми столѣтій царствованіе одной династіи, сросшейся съ Франціей, собравшей ее около себя, воплотившей ее въ себя.

Въ общемъ итогѣ — выработка, уже въ нач. XVI в., надъ мѣстными нарѣчійми, на основѣ сѣверно - французскихъ, общаго языка, не только «языка», придо-дого, литературнаго, какъ въ Италіи, но и еще раньше, дѣлового, канцелярскаго, проникающаго глубже въ народную толщу.

Далѣе — отношеніе къ вѣрѣ и Церкви. Національно - государственное бытіе Франціи было настолько прочно что Папство не могло представлять для нея никакой, ни реальной, ни воображаемой опасности — какъ для Германіи или для Англіи. Фран-

ция переболѣла кальвинизмомъ и выздоровѣла, укрѣпивъ свою цѣльность и свою автаркiю «вольностями галликавской Церкви», но остались католической.

Непрерывный, медленный, органически ростъ территориальнаго, хозяйственнаго, языковаго, правоваго единства Францiи, не возмущаемый никакими сколько-нибудь глубоко потрясавшими народную жизнь взрывами, выраженный особенно наглядно свой характеръ въ исторiи учреждений — ничто никогда не отмѣнялось, не упразднялось начисто; только, наряду съ устарѣвшими учреждениями, должностями, территориальными дѣлениями, въ случаѣ нужды создавались новыя, конкурировавшiя съ первыми; отсюда невѣроятная путаница наканунѣ Революцiи, — быть однимъ изъ важнѣйшихъ факторовъ, воздѣйствовавшихъ на формироваиe душевнаго склада «средняго» француза, съ его бережливостью, осторожностью, боязнью прогнать, просчитаться, съ его подозрительностью, недовѣрчивостью, привычкою дѣйствовать неспѣша и съ оглядкой, — со всѣми тѣми смелкобуржуазными свойствами, которыя были издавна предметомъ насмѣшекъ со стороны самаго-же французова, но благодаря которымъ Францiя вела и ведетъ и свое, такъ сказать, духовное хозяйство такъ благоразумно и такъ мудро, что въ моменты духовныхъ кризисовъ, у нея всегда оказывается достаточно ресурсовъ, чтобы перебиться и оправдаться.

Поразительны живучесть и устойчивость французской культуры: ни одного пустоваго мѣста въ ея исторiи, ни одного случая

полнаго упадка въ какой бы то ни было области — за исключенiемъ только поэзiи въ XVIII в. Слѣживъ однажды мировую, эта культура ни на одинъ мигъ не суживалась до степени провинциальной, не переставала создавать цѣнности, годныя для потребления не только на внутреннемъ рынкѣ. Но едва-ли не еще болѣе поразительна, въ этой устойчивости и въ этой живучести, другая сторона. Нѣтъ въ Европѣ другого народа, въ исторiи культуры котораго были бы съ такою полнотою представлены — и притомъ во всѣхъ областяхъ, за исключенiемъ, пожалуй, музыки — всѣ возможныя направленiя, мотивы, манеры, жанры, приемы; такъ что можно было бы написать исторiю эволюцiи не только литературныхъ жанровъ, какъ это дѣлалъ Брюнетьера, но эволюцiи каждой сферы творчества, ограничиваясь исключительно французскими матеріалами. И притомъ эволюцiя эта протекала съ такою правильностью, съ такою какъ-бы закономѣрностью, что становится понятнымъ убѣжденiе Брюнетьера — само по себѣ, разумѣется, ложное — въ ея имманентности. Казалось-бы, что именно это должно было способствовать во Францiи, болѣе чѣмъ гдѣ бы то ни было, укорененiю историзма, релятивизма, т. е. въ конечномъ счетѣ склонности видѣть въ каждомъ продуктѣ духовнаго творчества не болѣе какъ выраженiе той или иной формальной, значить, переходящей тенденцiи, — иными словами склонности къ тому, чтобы не видѣть ни въ чемъ за виѣшней и случайной оболочкою зерна, обладающаго въѣшней цѣнностью, къ раз-

нодушію ко всему, насчитывающему давность, относящемуся къ изжитому періоду развитія. Однако, нѣтъ: какъ разъ для Франціи характерно, что, наряду съ чрезвычайной быстротою, съ какою она изживаетъ однѣ культурныя цѣнности, съ какою, напримеръ, она отнесла «въ исторію» уже теперь и Пруста и отчасти даже А. Жюда, она вмѣстѣ съ тѣмъ какъ бы изымлетъ изъ исторіи, относитъ въ другой планъ, планъ вѣчной жизни, другія. Разумѣется, у cadaго народа есть свои «вѣчныя спутники», воплощенія его идеи, — Данте, Шекспиръ, Сервантесъ, Пушкинъ, Гете. Но есть особый оттѣнокъ въ отношеніи французовъ къ своимъ великимъ поэтамъ, мыслителямъ, художникамъ, по сравненію съ отношеніемъ итальянцевъ, англичанъ, испанцевъ, русскихъ, нѣмцевъ — къ своимъ. Я бы сказала, пользуясь терминами спиритизма, такъ: когда французъ вызываетъ духовъ своего прошлаго, они достигаютъ болѣе степеніи материализаціи: все въ нихъ тогда для него одинаково современно, жизненно, цѣнно — форма такъ же, какъ и содержаніе. Это отношеніе какъ-то проще, естественнѣе, интимнѣе, свободнѣе отъ элементовъ культа, почитанія, идолослуженія и связанныхъ съ ними нѣкотораго подлострастія, болани взглянуть на кумира какъ на обыкновенное существо и вмѣстѣ съ тѣмъ боязни быть оставленнымъ благодатью, утратить вѣру и быть вынужденнымъ признаться въ этомъ самому себѣ, — въ результатъ чего объекты культа стилизуются, пріобрѣтаютъ условный, искаженный обликъ. Это оттого, что воспріятіе куль-

турныхъ цѣнностей прошлаго и ихъ творцовъ отличаются во Франціи, неизмѣримо болѣе конкретностью, чѣмъ гдѣ бы то ни было. Именно потому воспринимаются они «въ исторіи», въ планѣ вѣчности, т. е. какъ живыя во всѣхъ отношеніяхъ величины, что французу гораздо легче осуществить условіе необходимое для цѣлостнаго воспріятія ихъ, — перемѣститься въ ихъ міръ, въ ихъ эпоху. Вѣкъ Людовика XIV для француза «современнѣе» нежели Елисаветинскій вѣкъ для англичанина или вѣкъ Медичи для итальянца. Французу не приходится, «въ поискахъ утраченнаго времени», дѣлать надъ собою тѣхъ усилій, какія вынужденъ дѣлать всякій другой, обращаясь къ исторіи своей родины: подобно герою Пруста, онъ по любому случайному поводу можетъ вдругъ очутиться въ этомъ прошломъ такъ, какъ если бы оно никогда не умирало.

Эти соображенія пришли мнѣ въ голову при чтеніи «Le Bal du comte d'Orgel» Раймонда Радига. Я не думаю, чтобы гдѣ нибудь кромѣ Франціи могла быть написана подобная книга: бьющее въ глаза сочетаніе мотива «Принцессы Клевской» г-жи Лафайетъ съ методомъ изслѣдованія душевныхъ движеній и манерою ихъ экспозиціи, взятыми у Мариво, — и вмѣстѣ съ тѣмъ изумительная свѣжесть, внутренняя оправданность каждой мелочи; ни тѣни академизма или архаизирования, стилизаціи. Совершенно очевидно, что для Радига авторы XVII-XVIII вв. такіе же современники, какимъ для cadaго молодого русскаго писателя нашихъ дней можетъ быть Буининъ.

Можно было бы привести немало еще примѣровъ живой, интимной связи новѣйшихъ французскихъ писателей съ Монтанемъ, Ларошфуко, Паскалемъ и другими классиками.

Не случайно называю я эти имена. Сильнѣе всего въ наше время обнаруживается тяготѣние возстановить именно классическую традицію, традицію «великаго вѣка». Иначе и быть не можетъ. Наше время есть время свершений, подведенія итоговъ, окончательнаго выясненія того, что въ колоссальномъ, необъятномъ, безконечно разнообразномъ наследствѣ, завѣданномъ намъ вѣками культурной работы европейскаго человѣчества, дѣйствительно живо, поскольку обладаетъ вѣчной цѣнностью, и что мертво время, когда каждый живущій сознательной жизнью человѣкъ смутно или отчетливо сознаетъ, какъ доля совѣсти, необходимость выбора изъ всей массы того, что ему досталось, какъ единственно возможнаго условія спасенія отъ духовной смерти, возрожденія, возстановленія культуры. У каждаго народа былъ свой великій вѣкъ, моментъ, когда культура его достигла предѣловъ того, до чего вообще можетъ она возвыситься. Такие моменты безспорны, не допускаютъ разногласія въ оцѣнкахъ — стоить только узнать ихъ. Франція пережила два такихъ момента. Въ области пластическихъ искусствъ это было позднее средневѣковье. Въ области мысли и слова — XVII-ый вѣкъ. Но легче увидѣть величье извѣстнаго культурнаго періода, нежели уяснить себѣ, въ чемъ это величье заключается. Здѣсь требуется умствен-

ное усиліе для того, чтобы отрѣшиться отъ привычныхъ, укоренившихся, восходящихъ иной разъ къ современникамъ, обыкновенно плохо разбирающимся въ смыслѣ ихъ собственной культуры, оцѣнокъ и точекъ зрѣнія. Правда, теперь уже никто не считаетъ, что XVII-ый вѣкъ это — Буало. Вѣрнѣе — искаженный, обѣдненный образъ Буало, какъ онъ рисовался критикамъ XVIII-го вѣка: соблюденіе цензуры, запретъ enjambements, три «единства» и т. п. Подлинный Буало — это духовный братъ Декарта, это — признаніе верховенства Разума, какъ регулирующей, упорядочивающей, моральной силы; это — исканіе просвѣтляющей разумъ и совѣсть, направляющей жизнь Истины: *Aimez donc la raison, que toujours vos écrits empruntent d'elle seule leur lustre et leur prix... Rien n'est beau que le vrai; le vrai seul est aimable.* И вмѣстѣ съ этимъ, и въ строгой связи съ этимъ, — признаніе примата долга надъ «страстями»: *...et que l'amour, souvent de remords combattu, paraisse une faiblesse - et non une vertu* — гениальная формулировка героическаго умонастроенія эпохи Корнеля. Величье великаго вѣка въ единствѣ его міровоззрѣнія; истинный смыслъ классицизма въ этическомъ обоснованіи эстетическаго принципа сообразованія съ «правилами» — въ отличіе отъ еще неполнѣ изжитаго разлада нашего времени между этикой и эстетикой. Это и является тѣмъ, что влечетъ современнаго человѣка, въ его поискахъ точки духовной опоры, къ классицизму.

Съ этой точки зрѣнія можно

но опредѣлить мѣсто переживаемого нынѣ культурнаго момента въ исторіи. Жизнь подчинена закону ритмики. Можно было бы, напримеръ, подойти къ историческому процессу съ точки зрѣнія обнаруживаемыхъ въ немъ чередованій въ отношеніи къ «страстямъ»; не выходя за предѣлы исторіи французской литературы, прослѣдить линію культурнаго развитія Франціи отъ Пѣсни о Роландѣ — къ куртуазнымъ романамъ, къ любовной лирике трубадуровъ, дагѣе — къ возведенію Любви въ верховный принципъ жизни въ неоплатонической поэзіи Плеяды; затѣмъ — къ трагедіи Корнеля и Расина, къ «Принцессѣ Клевской», къ литературѣ, построенной на конфликтѣ любви и долга (...et que l'Amour, souvent de remords combattu...); къ вырожденію любви въ «galanterie» (это намѣчается уже тогда, и Буало уже запрещаетъ писателямъ трагедій *reindre Caton galant et Brutus d'ameur*); дагѣе — къ новой перестройкѣ цѣнностей, къ новому идеалу человѣка, — отъ «героя», Сиды, Поліевкта, Горация, — къ Сень-Пре и къ кавалеру Де-Гриѣ, къ препознесенію любви уже не какъ органа познанія міра и Бога (какъ у платонистовъ Ренессанса), а какъ просто «естественнаго», свойственнаго людской природѣ и уже потому «благого» и «святого» влеченія къ раздѣлѣшему на этой основѣ романтизму; къ «натуралистической» реакціи, противопоставившей романтизму съ его концепціей «чистой личности», концепцію человѣка, какъ «производнаго» социальныхъ силъ и тѣмъ самымъ уже раздѣляющей его афективную

сторону; къ неоромантизму нынѣшняго времени, упирающемуся въ «симморализмъ», въ «ребилитацию плоти», и къ одновременной съ этимъ реакціи, къ психоаналитическому обнаженію извращеннаго характера той жироности, которую современные, освободившіяся отъ романтической лжи неоромантики выдаютъ за непремѣнный и существенный атрибутъ человѣчности; — къ безнадежности всевидящаго пессимизма М. Пруста. Съ формальной стороны, можно было бы представить эту линію, вычерчиваемую ритмикой духа, какъ чередованіе поэзіи и прозы, лирики и романа и, наконецъ, исчезновенія лирики и кризиса романа, — одной изъ центральныхъ проблемъ современной критики. Моріакъ\*) объясняетъ этотъ кризисъ тѣмъ, что романъ немислимъ иначе какъ на основѣ конфликта. Въ условіяхъ же нынѣшней психики для душевныхъ конфликтовъ нѣтъ мѣста. Съ одной стороны общество настолько атомизировано, что личность не связана со средой никакими нравственными узами и потому можетъ предаваться своимъ влеченіямъ какъ и сколько ей угодно. Съ другой стороны «искренность съ самимъ собою» и самоислѣдованіе до конца допели современнаго человѣка до того особаго рода нигилистическаго самоутвержденія, при которомъ нѣтъ почвы для внутренняго разлада. Романъ, въ такихъ условіяхъ, можетъ быть только пародіей подлиннаго романа.

Въ такомъ случаѣ мыслимо-ли

\*) Le Roman, 1923.

возрождение романа? И почему, в таких условиях, он сам пишет романы? Ответ в том, что современный человек без разлада на самом деле фикция, построение ума. Мориак ищет и находит новую основу душевного разлада, новую в том смысле, что досель она ускользала от внимания романистов: конфликта любви - эроса и любви - caritas, земного, плотского влечения и любви к людям к Богу\*). Таким образом — и в этом его понимание уроков классицизма — он развѣчивает «чувствительность». Но — в этом оригинальность его понимания — не за счет исключительно интеллекта. Интеллекту он отводит новую роль — доведение до конца самопознания: тогда открывается, что человеческая природа не исчерпывается одними лишь «страстями», в смысле плотских вожделѣній, и что нередко объектом «вытѣсненія» является в его душе не темное, животное, но свѣтлое, божественное начало. Задача психоанализа таким образом у него радикально переопределяется: уяснить вытѣсненное за порог сознания, вывести его на свѣтъ из потемков души не для того, чтобы освободиться от него, но для того, чтобы освободить себя посредством него. Тяжелым и мучительным методом осознания своего паденія, своего нравственного убожества, своей измѣны себя самому, достигает человек выхода на путь к духовному просвѣтленію. Для Мориака XVII-ый вѣкъ это не Бу-

\*) См. ego Souffrances et bonheur du chretien.

ло, не Декартъ, но, прежде всего, Паскаль и Боссюэ. И здѣсь он — в полном согласіи съ действительностью, как она является современным изслѣдованіемъ, установившимъ религиозныя основы культуры «великаго вѣка». Такъ возвратъ къ классической традиціи означаетъ для Мориака возвратъ къ Богу.

Всякая подлинная культура религиозна въ своихъ основахъ. Въ исторіи культуры каждаго «историческаго» — въ гегелевскомъ пониманіи этого слова — народа заключена вся проблематика культуры вообще, наличествуютъ всѣ моменты діалектики становящагося Духа. Различіе судьбы каждаго народа съ философско - исторической точки зрѣнія в томъ, каковы свойства его исторической памяти, т. е. въ его отношеніи къ своей традиціи, въ томъ выборѣ, который онъ дѣлаетъ въ ней, въ томъ какъ онъ понимаетъ, что въ ней случайно, преходяще, безразлично, и что является необходимымъ, вѣчнымъ или, по-человѣчески, «существующимъ», т. е. «разумнымъ», для того, чтобы тѣмъ самымъ обрѣсти силы для дальнѣйшаго творчества\*), не утрачивая своей индивидуальности. Здѣсь возможны — и всегда есть — величайшіе и опаснѣйшіе соблазны: нѣтъ ничего легче, какъ принять, въ традиціи, «случайное» за «существующее», «существенное», шелуху за ядро—Kern, и, напр., признать, что культъ Водана — Kerndeutsch, а ведя раз-

\*) Ce que (la génération qui nous succède) cherche dans la tradition et dans l'étude du passé, c'est un élan, чудесно говорить А. Жиль (Inciences, 24).



сужденіе отсюда, додуматься, что Вотанъ и есть истинный Богъ. Выше я старался показать, какимъ образомъ строеніе процесса культурнаго развитія Франціи поддержало въ ней ту интимную связь съ традиціей, при которой опасность подобныхъ соблазновъ умалется. Думается, что духовное движеніе, намѣчающееся сейчасъ во Франціи, свидѣтельствуеетъ о необходимости пересмотрѣть упрочнившееся въ послѣднее время пониманіе отношеній между культурой и цивилизаціей. Франція едва-ли не самая цивилизованная страна на европейскомъ материкѣ. Но ея цивилизація сплошь проникнута, насквозь про-

низана культурой, — такъ что понятно, почему французы, говоря вообще, не различаютъ этихъ понятій. Съ этой точки зрѣнія Франція — антиподъ Россіи, страны «чистой культуры»<sup>\*)</sup>. Но отъ этого симбіоза культура Франціи не вырождается, не утрачиваетъ жизненной силы, или, что то же, своей трагической основы, т. е. способности терзаться своими внутренними противорѣчіями и честно и мужественно искать изъ нихъ выхода.

П. Бицилли.

<sup>\*)</sup> См. мою статью «Трагедія русской культуры», «Совр. Зап.» кн. 53.

## Женское творчество в чешской литературѣ

### III.

Творчество двухъ писательницъ, которыми слѣдуетъ хронологически начать третью группу, своими корнями тѣсно связано съ предшествующими традиціями. Первая изъ нихъ — Анна Лаурманова (1855-1931 г.), извѣстная въ литературѣ подъ мужскимъ псевдонимомъ Феликсъ Тенеръ. Декадентское вліяніе, захватившее такъ сильно ея литературныхъ современницъ, сказалося лишь частично и временно на ея творествѣ. Потомокъ такого замѣчательнаго и выдающегося человѣка, ученаго и политика, какъ Ф. Палацкий, А. Лаурманова была крѣпко связана съ чешской патристическо-буржуазной средой, съ традиціей города, гдѣ она родилась и умерла, съ высшимъ финансовымъ и бюро-

кратическимъ обществомъ. Нѣтъ ничего удивительнаго, что А. Лаурманова въ своихъ произведеніяхъ обратилась къ извѣстной ей средѣ, къ салонамъ и ихъ элегантнымъ посѣтителямъ, тѣмъ болѣе, что это одновременно отвѣчало и тогдашней литературной модѣ, стремившейся къ всаческой, хотя бы и внѣшней утонченности. И однако, несмотря на подлинное знаніе среды, въ ея повѣстяхъ и романахъ ранняго періода много искусственнаго, сентиментальнаго и надуманнаго. Можно сказать съ увѣренностью, что такія ея книги, какъ «Рассказы» (1894 г.), «Ея младшій братъ» (1900 г.), «Въ сумракѣ» (1902 г.), «Господинъ поэтъ» (1910 г.), «На двухъ струнахъ» (1912 годъ), да и болѣе позднія, едва ли кого нибудь могутъ заинтересовать. Иное дѣло ро-

манъ «Дѣти» (1921 г.) или полумемуарное произведение «За крѣпостнымъ валомъ» (1924 г.).

Въ «Дѣтяхъ» разбирается та же извѣчная проблема двухъ смѣняющихся и при томъ враждебныхъ другъ другу поколѣній, что обезсмертилъ въ «Отцахъ и дѣтяхъ» Тургеневъ. Дѣйствие происходитъ въ девяностыхъ и девяностыхъ годахъ. Главной героиней является молодая дѣвушка, олицетворяющая зарождающийся типъ новой женщины. У А. Лаурмановой героиня не знаетъ компромиссовъ, но въ то же время остается хрупкой и нѣжной. Ея сила кроется въ простотѣ и чистотѣ ея души, она не отступаетъ трусливо передъ дѣйствительными опасностями жизни. Этимъ она выгодно отличается отъ своихъ литературныхъ предшественницъ, которыя часто изображались или слишкомъ сильными, чтобы мы могли имъ вѣрить, или слишкомъ принципиальными, чтобы могли насъ тронуть своими страданиями. Въ романѣ «Дѣти» А. Лаурманова отказалась отъ патетическихъ жестовъ, къ которымъ имѣла такую склонность въ молодости. «За крѣпостнымъ валомъ» представляетъ интересъ въ иномъ отношеніи, — по фактическому мемуарному матеріалу; полученному авторомъ отчасти изъ воспоминаній собственной семьи. Жизнь старой Праги, только что выходящей за предѣлы крѣпостныхъ валовъ, сжатой политическими условіями и предрасудками переходной эпохи, но въ то же время полной уходящей навсегда въ прошлое поэзіи, передана Лаурмановой мастерски. Вообще нужно отмѣтить, что мемуарные и описательные моменты,

встрѣчающіеся въ произведеніяхъ этой писательницы, отличаются особой живостью. Въ нихъ сказывается та традиція, которой будетъ суждено въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи стать снова исходнымъ пунктомъ новѣйшей чешской литературы.

Вторая изъ писательницъ этого періода тоже вошла въ литературу съ мужскимъ псевдонимомъ Иржи Суминъ (1864 г.), который такъ приросъ къ ней, что даже въ жизни мало уже кто помнитъ ея подлинное имя — Амалия Врбова. Декадентскія волны совѣмъ не коснулись И. Сумина, который, или, вѣрнѣе, которая начала печататься въ 1895 г., выступивъ сразу съ довольно обширнымъ романомъ «Изъ времени нашихъ дѣдовъ». Это первое произведение обладаетъ уже всеми достоинствами и недостатками большинства ея романовъ и повѣстей. Онъ написанъ въ старомъ реалистическомъ жанрѣ, однако безъ принципиальныхъ, главнымъ образомъ общественныхъ запросовъ, столь характерныхъ для чешской литературы начала прошлаго столѣтія. Ея литературное творчество отличается сгущенной яркостью деталей, тщательной разработкой психологій дѣйствующихъ лицъ, но зато страдаетъ отъ недостаточно крѣпкой и гармонической конструкции произведеній. Излюбленной средой, которую она изображаетъ, является крестьянство, главнымъ образомъ изъ Ганацкаго края. Въ лучшихъ своихъ вещахъ И. Суминъ приближается, пожалуй, ближе всего къ Т. Новаковой, но ей недостаетъ чисто живописнаго воображенія, такъ что вся красочность этнографи-

ческого элемента проходить для нея незамѣченной. Изъ дальнѣйшихъ ея вещей слѣдуетъ отмѣтить хотя бы «Забитый край» (1898 годъ), «Потомство» (1903 годъ), «Спасеніе» (1908 г.) — пожалуй, самая сильная ея вещь, затрагивающая религиозные запросы и стремленія; дальѣ, «Шаги судьбы» (1912 г.) и «Борьба съ ангеломъ» (1917 г.). Кроме того въ послѣднее время, переставъ писать для взрослыхъ, И. Сумникъ написала нѣсколько весьма удачныхъ книгъ для подрастающей молодежи.

Однако подлинно новый, вѣрнѣе новѣйшій періодъ чешской литературы открываютъ двѣ другія писательницы, обѣ родившіяся, по какой-то случайности, въ одномъ и томъ-же, 1873 году. Несмотря на то, что въ концѣ прошлаго года чешскими культурными кругами было отпраздновано шестидесятилѣтіе Анны Мариі Тильшовой и Болены Бенешовой, онѣ являются подлинными представительницами современной намъ литературы, отзывающейся на запросы текущей жизни. Эта ихъ душевная активность и значительность таланта выводятъ ихъ за предѣлы исключительно женской литературы; какъ въ самомъ началѣ, при возрожденіи чешской литературы, Б. Немцова шла въ ногу съ остальными писателями своего времени, такъ въ наши дни Тильшова и Бенешова могутъ быть поставлены смѣло рядомъ съ наиболѣе талантливыми своими коллегами по перу. Собственно говоря, въ 20-мъ столѣтіи не стояло бы уже вообще выдѣлять въ чешской литературѣ въ отдѣльную группу принципъ писательницъ. Женское раз-

витіе и женское равноправіе, особенно послѣ мировой войны, сдѣлали такіе шаги, что называемъ «женская литература» уже не покрывается все, что пишется женщинами. Въ нашу эпоху полъ творцовъ пересталъ играть какое либо значеніе; специфически «женская» литература, потерявшая то значеніе, которое она имѣла въ 19-мъ вѣкѣ, остается въ сторонѣ, удовлетворяя наряду съ детективными романами нехудожественному вкусу полукультурныхъ слоевъ общества.

Характеру чеховъ и ихъ творчеству болѣе всего свойственъ реализмъ, хотя бы и окрашенный какой-либо идеей гуманитарнаго или социальнаго порядка. Эта черта отличала еще первые шаги чешской прозы, когда самаго понятія реализма еще не существовало, и ею отмѣчено творчество даже писателей, которыхъ считаютъ романтиками. Но, по мѣткому выраженію проф. О. Фишера, Чехія — сейсмографъ міра; она съ необычайной чуткостью реагируетъ на всѣ духовныя движенія, стремясь примѣнить на родной почвѣ то новое, что зародилось въ Европѣ. Правда, послѣдствіемъ этого бывають иногда слишкомъ поспѣшныя и несовсѣмъ удачныя опыты. Такъ, эротика, которая занимала такое видное мѣсто въ декадентской литературѣ конца 19 и начала 20 вѣка, вовсе не является признакомъ жизненности и реальности. Становясь патологической, эта черта какъ бы изолируетъ личность отъ окружающей ее среды и общества. Между тѣмъ развивающаяся общественная жизнь создала для литературы много новыхъ мотив-

вовъ, начиная отъ неизвѣстныхъ раиѣ социальныхъ конфликтовъ до новыхъ моральныхъ проблемъ, затрагивающихъ и женщину, жизнь которой получила иное содержаніе, благодаря приобретенной ею извѣстной независимости.

Новая волна настроеній, въ которыхъ ясно выступали моральные и социальные требованія эпохи, начала сказываться въ чешской литературѣ еще задолго до войны и революцій. Естественнымъ послѣдствіемъ этого было возрожденіе реализма, а частично и натурализма. Какъ уже не разъ случалось, одно изъ передовыхъ мѣствъ въ новомъ направленіи заняла женщина, это была А. М. Тильшова. Первые ея двѣ книги: «Семнадцать разсказовъ» (1903 г.) и «На горахъ» (1905 г.) свидѣтельствуютъ о томъ, что молодая писательница въ это время еще недостаточно художественно самоопредѣлилась и плыветъ по теченію, хотя и чувствуетъ, что ея собственный путь лежитъ въ иномъ направленіи. Упомянутыя вещи написаны въ подчеркнутой импрессионистической манерѣ, причемъ женскія настроенія и капризы играютъ въ нихъ, особенно въ первомъ сборникѣ, весьма важную роль. Жизненные обстоятельства наряду съ неудовлетворенностью литературными достиженіями привели къ тому, что въ дальнѣйшемъ А. М. Тильшова не выступала литературно въ теченіе ряда лѣтъ. Это, конечно, не означало, что за эти годы она творчески была бездѣтельна. Большая повѣсть «Фани» (1915 г.) является результатомъ многолѣтняго труда и вѣхой, от-

мѣчающей радикальный переломъ во всемъ ея творествѣ.

А. М. Тильшова родилась въ Прагѣ, гдѣ и живетъ, если не считать довольно частыхъ поѣздокъ за границу, непрерывно до сихъ поръ. Дочь адвоката, жена профессора юриста, она, какъ и цѣлый рядъ ея предшественницъ, хорошо знаетъ пражскую жизнь и пражское, преимущественно патрицианское общество, которое, подобно дворянству у другихъ народовъ, начало прозябать въ ея время признаки упадка. Эта хорошо ей извѣстная среда естественно являлась основной темой ея произведеній при поворотѣ къ реализму. «Фани» была первымъ опытомъ на этомъ пути. Дальнѣйшими гораздо болѣе мастерскими по композиціи произведеніями въ той же манерѣ были романы «Старый родъ» (1916 г.) и «Сыновья» (1918 г.). Въ нихъ изображается трагедія семьи, неспособной держаться прежнихъ традицій, отравленной враждою однихъ членовъ семьи къ другимъ, трагедія одиночества личности, происходящая отъ неспособности къ общности чувствованій съ другими. Послѣ нѣсколькихъ крупныхъ произведеній писательница, какъ бы желая отдохнуть, издаетъ сборники разсказовъ: «Грѣшницы», въ томъ же 1918 г., потомъ «Городъ» (1921 годъ) и «Горе отъ любви» (1921 годъ), въ которыхъ изображаетъ типы женщинъ изъ простонародья.

Лишь черезъ два года вновь появляется крупный романъ А. М. Тильшовой «Искушеніе» (1923 г.), материалъ для котораго она носила въ душѣ почти двадцать лѣтъ. Еще въ ранней своей книгѣ

къ «На горахъ» писательница рисуетъ картинки простонародной жизни изъ края, называемаго Глиненско, гдѣ она жила еъ семьѣ художника Славичка. Душевная трагедія творческой личности и женщины, связанной съ нимъ только чувствомъ любви, постепенное освобожденіе отъ мукъ, словомъ, все, что она могла наблюдать дружескимъ, но зоркимъ глазомъ въ жизни близкой ей семьи, было давно Тильшовой черезъ почти два десятка лѣтъ въ «Искуплени». Въ этомъ не было никакой нескромности, потому что нѣсколько смертей отдѣляютъ книгу отъ прошлаго, къ тому же центръ тяжести романа не во внѣшней фабулѣ, а въ психологической правдѣ.

А. М. Тильшова писательница исключительно добросовѣстная и когда ея интересъ отъ среднихъ и высшихъ круговъ чешской буржуазіи перешелъ къ рабочему классу, она не задумалась послѣдиться чуть ли не на полгода въ угольномъ бассейнѣ на Остравъ. Книга «Угольные кучи» (1927 г.) была задумана какъ произведеніе социальное, противопологающее жизнь пролетаріата той мѣщанской или буржуазной средѣ, которая до сихъ поръ преимущественно изображалась въ произведеніяхъ Тильшовой. Живя въ семьѣ рудокопа, близко наблюдая приливы и отливы жизни въ занесенной угольной пылью Остравъ, писательница изучила бытовую обстановку и нашла фабулу, которую позднѣе оставалось лишь обработать. Въ этой книгѣ особенно ярко видны объективность и мастерское спокойствіе уже созрѣвшаго таланта писательницы.

Однако А. М. Тильшова не могла прикрѣпиться навсегда къ средѣ, съ которой ее сближали ея социалистическія убѣжденія, но которую она все-же наблюдала извнѣ. Въ послѣднемъ своемъ романѣ «Alma Mater» (1933 г.) она снова изображаетъ буржуазію и интеллигенцію, воплощенную на этотъ разъ въ университетскихъ кругахъ, такъ ей хорошо извѣстныхъ по родству и многолѣтнимъ наблюденіямъ. Нельзя сказать, чтобы, подводя художественные итоги своего жизненного опыта, она была мягка въ своихъ сужденіяхъ. Несмотря на личныя симпатіи, она ясно сознаетъ, что въ этой области многое неблагополучно.

Въ сторонѣ отъ основного русла творчества А. М. Тильшовой стоятъ двѣ книги, написанныя въ явно чуждомъ ей жанрѣ. Это «Индійскія сказки» (1918 г.) и «Гита Турая» (1931 г.). При всемъ нашемъ глубокомъ уваженіи къ таланту писательницы, мы должны признать, что объ эти вещи являются наименѣе удачными изъ всего того, что ею было до сихъ поръ написано. Особенно искусственнымъ является военный авантюрный романъ о прекрасной шпионкѣ Гитѣ Тураѣ, сильно напоминающей какъ внѣшностью, такъ и поведеніемъ пресловутую Мата-Хари, изъ-за которой уже испорчено столько бумаги.

Всею своей личностью, всѣмъ характеромъ своего творчества А. М. Тильшова была антиподомъ, наиболѣе, пожалуй, показательной писательницы предшествующаго періода чешской литературы, Р. Свободовой. Почти въ такомъ же соотношеніи со всея декадентской литературной

формацией находится и другая крупнейшая современная чешская писательница, Б. Бенешова. Однако исходный пункт ее творчества следует искать именно у Р. Свободовой. Но личность Б. Бенешовой оказалась слишком сильной и самостоятельной и послы первых двух-трех опытов в стихах и прозе, в которых все внимание сосредоточено на чисто индивидуальных переживаниях женской души, она решительно и надолго переходит к проблемам общечеловеческим.

Именно об этой монолитности дарования Б. Бенешовой говорить в начале своей работы о ней критик М. Рутте: «Существуют писатели, которые уже в самом начале своего творческого пути берут явкий свой основной тон, слышимый потом во всех их произведениях; обычно это какой-нибудь мучительный вопрос, от которого нет возможности освободиться, который вечно возвращается в различной форме и требует новых ответов и разрешений. Такой руководящий мотив, вечно тревожащий и бережущий вопрос мы находим в творчестве Б. Бенешовой; ее книги, все равно как бы они ни назывались, имеют один общий незаписанный подзаголовок, который лишь раз был высказан писательницей в названии книги рассказов, вышедшей в 1917 г.: все ее произведения являются прежде всего книгами о «Жестокой молодости».

В своих произведениях Б. Бенешова показывает, как несклонная к компромиссам мо-

лодость сталкивается с человеческой жестокостью и как из этого все же рождается прощение и любовь. Однако любовь Б. Бенешова понимает не как брожение крови, не как порыв забунтовавшейся чувственности, а как великое горение, в котором человек переплавляет свое и духовное и физическое естество. Она не может предстать себе любовь без великого страдания. Причин для таких мук в жизни всегда достаточно. Они кроются в двойственности каждой человеческой души, в той, по выражению Достоевского, борьбе Бога и сатаны, для которой полем битвы является человеческое сердце. Боль любви возникает и от заикнутости тех двух отдельных миров, какими являются человеческие существа, могущие вжиться друг в друга и слиться воедино лишь ценой жестоких страданий. Наконец, чисто внешние причины, социальная несправедливость, нищета и эгоизм, постоянно ставят преграды любви, которая стремится к отдаче себя в жертву другому.

Но с любовью естественно связано и стремление к счастью и в погоню за ним источник трагедии. Бенешова не допускает чисто эгоистического и индивидуального счастья, хотя бы уже потому, что, построенное на песке, оно непрочно и рассыпается при первом суровом дуновении жизни, являясь лишь новым источником страдания. Единственным выходом является переход от личного счастья к счастью сверхличному, от индивидуалистического восприятия жизни и судьбы к их метафизическому и зъ

значительной мѣрѣ религиозному оправданію. Подлинное счастье недостижимо до тѣхъ поръ, пока въ любви ищутъ удовлетворенія лишь личныхъ страстей и воплощенія своей индивидуальности. И только когда изъ понятія счастья исчезаетъ эгоистическій элементъ, человѣкъ находитъ покой сердца въ счастья другого и тѣмъ завершаетъ величайшую побѣду надъ собой и окружающимъ міромъ.

Бенешова начала писать очень рано, но суровыя требованія, предъявляемая ею къ самой себѣ, привели къ тому, что въ печати она выступила сравнительно поздно. Если не считать довольно посредственной съ формальной стороны книжечки стиховъ, которую она выпустила въ самомъ началѣ, первымъ ея произведеніемъ, увидѣвшимъ свѣтъ, является сборникъ разсказовъ «Несовершенныя побѣды» (1909 годъ); послѣ значительнаго перерыва появились снова книги разсказовъ «Мышки» (1916 г.) и «Жестокая молодость» (1917 г.) и лишь въ 1920 году она рѣшается выступить съ романомъ «Человѣкъ», произведеніемъ сложнымъ по конструкціи, съ цѣлой галлереей мужскихъ и женскихъ типовъ. Въ немъ изображена исторія моральнаго возрожденія человѣка, душевныя бури котораго началѣ не могла успокоить свѣтлая и возвышенная любовь женщины, но который вырвался изъ перочнаго круга благодаря зарожденію въ немъ чувства самопожертвованія.

Вполнѣ понятно, что такой чувствительный человѣкъ, какъ Б. Бенешова, долженъ былъ особенно остро

переживать событія войны и прошедшаго съ ними народнаго освобожденія. Почти всѣ четыре роковые года писательница прожила въ маленькомъ городкѣ на Моравѣ, гдѣ, несмотря на отдаленность фронта, война ощущалась быть можетъ еще острѣе, чѣмъ въ Прагѣ, ибо ничто огненна не отвлекало. Провинція, живущая вообще въ Чехословакии очень интенсивной духовной жизнью, реагировала весьма остро на такія событія, какъ, наприимѣръ, манифестъ Николая Николаевича къ славянскимъ народамъ. Трагическая судьба молодого рабочаго, осужденнаго на смертную казнь за найденный у него манифестъ, описана въ первомъ томѣ трилогіи, написанной Б. Бенешовой подъ впечатлѣніемъ военныхъ переживаній. Въ творествѣ Б. Бенешовой, въ послѣднихъ трехъ связанныхъ между собой романахъ: «Ударъ» (1926 г.), «Подземный пламень» (1929 г.) и «Трагическая радуга» (1933 г.) ярко выступает новая идея, которую можно назвать гуманитарно - освободительной. Въ чешской литературѣ нашихъ дней трудно найти другого писателя, столь органически соединяющаго лучшія традиціи прошлаго съ новыми исканіями и достиженіями, какъ формальными такъ и внутренними. Этими послѣдними произведеніями Бенешова создала въ чешской литературѣ новое направленіе, уходящее корнями глубоко въ то, что было создано лучшимъ въ чешскомъ языкѣ въ прошломъ.

«Ударъ», «Подземный пламень» и «Трагическая радуга» представляютъ изъ себя грандіозное положе, на которомъ увѣренной и

опытной рукой изображена эпоха, незадрого предшествующая войнѣ и заканчивающаяся какъ разъ передъ моментомъ освобожденія Чехословакіи. Въ такомъ финалѣ между прочимъ сказывается тонкій вкусъ писательницы, ибо слишкомъ много написано въ наши дни шумливыхъ романовъ, которые заканчиваются псевдо - патристическими сценами и ура - патристическими тирадами; въ чешской литературѣ историческій моментъ освобожденія былъ использованъ предѣльно, главнымъ образомъ писателями низшаго сорта. Отсутствие раскрашенной батальности происходитъ оттого, что дѣйствіе не касается самого фронта и ужасъ войны переживается только въ далекомъ тылу, куда доходятъ лишь вѣсти объ убитыхъ. Здѣсь идетъ жестокое преслѣдованіе чеховъ за русофильство, за попытки подготавливать освобожденіе и на этой почвѣ происходятъ тяжелыя семейныя драмы въ различныхъ слояхъ, начиная отъ низшихъ фабричныхъ круговъ и кончая обитателями замка. Основной задачей Б. Бенешовой было изобразить съ одной стороны жизнь народа во время войны, когда подъ вѣшне спокойной поверхностью уже бурлил и рвался наружу мощный подземный пламень, а съ другой, развивая дальше все ту же идею о «жестокости молодости», показать, что со старымъ, озлобленнымъ сердцемъ нельзя строить новую жизнь народа, что передъ величьемъ этого момента нужно смириться душой и лишь тогда придетъ какъ личное, такъ и всеобщее искупленіе.

Въ томъ же 1933 г. вышла кни-

га разсказовъ Б. Бенешовой «Кощунственное и очарованное», большинство которыхъ написано раньше и мало чѣмъ можетъ дополнить уже законченный обликъ писательницы. Въ другой своей работѣ, говоря о Б. Бенешовой, я писала, что своей вѣщностью и какой-то необычайной душевной прямоотой она напоминаетъ мнѣ лучшіе типы русскихъ самоотверженныхъ женщинъ, отчасти нигилистокъ, отчасти святыхъ. Безъ всякаго сожаленія со мной подобное же сужденіе о ней высказалъ и Рутте. Быть можетъ эти слова, равно какъ и то, что въ «Ударѣ» она такъ мастерски показала симпатіи чеховъ къ русскимъ, привлекутъ къ ней вниманіе русскихъ читателей.

Къ той же группѣ писательницъ можетъ быть причислена и уже младшая по возрасту Марія Майерова (1882 г.). Несмотря на свой яркій литературный темпераментъ, Майерова продолжаетъ идти по реалистическому пути, являющемся, за нѣкоторыми исключениями, основнымъ направленіемъ среди чешскихъ современныхъ прозаиковъ. Въ отличіе отъ большинства чешскихъ писательницъ, вышедшихъ изъ буржуазныхъ круговъ, М. Майерова, урожденная М. Бартошова, увидѣла свѣтъ въ семьѣ рабочаго; ея первая молодость протекала также не среди гувернантокъ и даже не на скамьѣ средней школы — очень рано ей пришлось работать въ типографіи социал-демократической партіи, гдѣ служилъ ея отецъ. Журналисты и политики обратили вниманіе на дѣвушку, помогли ей пополнить образованіе. То, чего она не могла вынести изъ школы, дала ей



путешествия и жизнь за-границей: Вѣна, Парижъ, Америка, Россія и Африка были классами, которые она постигала и каждый изъ которыхъ по своему накладывалъ отпечатокъ на ея произведенія. Какъ и слѣдовало ожидать, она очень скоро примкнула къ социал-демократамъ и социалистическая и революционная среда стала основнымъ фономъ части первыхъ ея произведений. При расколѣ партіи, происшедшемъ послѣ русской революции, темпераментъ, стремленіе къ скорѣйшему осуществленію человѣческаго счастья на землѣ, такъ же, какъ и нѣкоторыя личныя условія, способствовали тому, что она оказалась у коммунистовъ. Уже и ранѣ бывшая у нея симпатія къ русскому народу подъ влияніемъ революции превратилась въ настоящее увлеченіе. Русская художественно-революционная литература оказала влияніе на то, что М. Майерова писала за послѣдніе годы. Однако, несмотря на ея пролетарское происхожденіе и на «классовые» сюжеты ея произведений, ее нельзя причислить къ пролетарскимъ писателямъ, какъ ихъ называютъ сейчасъ въ Россіи; для этого Майерова имѣетъ какъ писательница достаточно значительныя личныя достиженія и опытъ. По аналогіи можно отнести М. Майероу въ ту же категорію писателей, что и Панайата Истрати, съ которымъ ее сближаетъ страстное устремленіе къ правдѣ, какъ основѣ будущаго счастья человѣческаго. Этимъ, впрочемъ, я не хочу поставить обонхъ писателей на одинъ и тотъ же художественный уровень, — дарованіе Панайата Ист-

рати крупнѣе, но не разнообразнѣе, чѣмъ М. Майеровой.

Въ первомъ своемъ романѣ «Дѣвственность» (1905 г.) М. Майерова въ безстрастныхъ реалистическихъ тонахъ описываетъ самые послѣдніе низы человѣческаго общества, гдѣ не только проституція, но и паразитизмъ и ней являются ремесломъ. Дѣйствіе происходитъ въ Прагѣ, писательница рисуетъ специфическій бытъ, существующій рядомъ съ нашей жизнью, и показываетъ, какъ крѣпкая женщина, вышедшая изъ народа, проходитъ чистой черезъ всю эту грязь. Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ перваго романа выходитъ въ свѣтъ сборникъ рассказовъ «Напрасная любовь» (1911 годъ), гдѣ главной темой является слишкомъ скоро погасающая любовь, построенная только на страсти, и горькое разочарованіе неизбежно послѣ нея наступающее. Къ этой книгѣ примыкаетъ какъ по стилю, такъ отчасти и по содержанию другой сборникъ рассказовъ, «Дочери земли» (1918 г.); въ немъ впечатлѣніе отъ свѣжаго литературнаго языка и художественныхъ образовъ простыхъ женщинъ, къ сожалѣнію, нарушается нѣсколько искусственной стилизаціей среды. Въ промежуткѣ между обонми сборниками М. Майерова написала главный романъ начала своей литературной дѣятельности, «Площадь республики» (1914 г.). Уже само названіе показываетъ, что воѣздка въ Парижъ произвела глубокое впечатлѣніе на молодую писательницу, которую въ этой столицѣ Европы интересовало нѣчто иное, чѣмъ обычно путешественницу. Международная колонія социалч-

ство и революционеров, съхавшихся сюда со всех концов мира, является той средой, которую изобразила в «Площади республики» М. Майерова. Чѣмъ-то неуловимымъ эта жанровая картина напоминаетъ подобныя же, написанныя русскими писателями реалистами еще въ 19-омъ столѣтіи.

Тѣмъ, чѣмъ «Площадь республики» была для первой половины литературной дѣятельности М. Майеровой, тѣмъ для второй является романъ «Плотина» (1932 годъ), написанный подъ влияніемъ русской современной литературы. Однако, отъ такихъ русскихъ современныхъ произведений, какъ романъ Пильняка «Волга впадаетъ въ Каспійское море», «Плотина» отличается нѣкоторымъ сознательнымъ утопизмомъ, условностью. Если въ совѣтской литературѣ вещи, которыя должны осуществиться въ будущемъ, часто описываются, какъ нѣчто реальное, у Майеровой все время чувствуется, что при современныхъ условіяхъ ея фабула полусказочна, несмотря на то, что герои очень жизненны.

Въ сторонѣ отъ основного направления творчества М. Майеровой стоитъ рядъ ея произведений по преимуществу описательнаго характера. Это прежде всего: «Впечатлѣнія отъ Америки» (1920 г.), потомъ «Изъ Словакии» (1921 г.) и, наконецъ, «Африканскіе этюды» (1933 г.), гдѣ наряду съ картинами природы и городской жизни, мы находимъ отдѣльные человѣчскіе портреты, разборъ социальныхъ проблемъ. Соединяющимъ оба эти направленія звеномъ является книга поэтическихъ этюдовъ,

носящая названіе «Съ луговъ и горъ» (1920 г.). Въ ней писательница показала себя съ чрезвычайно привлекательной стороны, какъ прекрасная стилистка и какъ чело-вѣкъ съ глубокими социальными и национальными запросами.

Для полноты обзора этой центральной группы писательницъ нашего времени необходимо упомянуть еще писательницу, правда, менѣе извѣстную, но именно по ея направленію показывающую, какъ глубоко укорененъ реализмъ въ чешской литературѣ. Это—Елена Малиржова (1877 г.). Малиржова писала и пишетъ по сихъ поръ много, но дисциплинированно и лишь скользя по поверхности большихъ проблемъ, ея затрагиваемыхъ. Ея романы производятъ впечатлѣніе импровизаций, играющихъ красками и звуками. Пока она придерживается темъ, которая по силѣ ея дарованію, изъ подъ ея пера выходятъ свѣжіе дѣвичскіе романы. Малиржова возвращается опять къ женскимъ темамъ; выбирая въ героини исключительныхъ дѣвушекъ и молодыхъ женщинъ, страстныхъ, порывистыхъ и жадныхъ до жизни; удары судьбы и ожоги сердца лишь временно ослабляютъ ихъ, онѣ готовы всегда снова броситься въ водоворотъ. Социальныя проблемы, занимающія въ послѣдніе годы писательницу, трактуются ею такъ же обще, какъ и женская психологія. Изъ ея книгъ самой интересной является, пожалуй, «Пепель» (1914 г.), отчасти автобиографическая, въ которой современники узнавали не только прототипы дѣйствующихъ лицъ, но и лишь немного измѣненные подлинныя факты. Изъ дальнѣйшаго

периода, связаннаго съ увлеченіемъ Малиржовой социальнымъ вопросомъ и политикой, можно упомянуть, пожалуй, «Щѣну крови» (1931 г.).

Мы подходимъ къ концу нашего критическаго обзора женщинъ писательницъ въ чешской литературѣ. Мы сознательно оставляемъ въ сторонѣ то «женское творчество», которое обычно приходится ставить въ кавычки, — при обзорѣ литературы приходится выкидывать за бортъ не меньшей балластъ, подъ видомъ литературы изготовляемый и писателями мужчинами. Новѣйшее время оказывается менѣе щедрымъ на даровитыхъ писательницъ. Въ значительной степени это и понятно. Еще во второй половинѣ 19-го столѣтія талантливая женщина, стремящаяся къ самостоятельности, имѣла весьма малый выборъ. Она могла сдѣлаться художницей, музыканшей или писательницей, но первыя двѣ области требовали длительной и специальной подготовки, а кромѣ того въ хорошемъ обществѣ на эти профессіи смотрѣли все же немного косо, ибо для ихъ осуществленія необходимо быть много внѣ дома. Такимъ образомъ оставалась лишь литература, куда и уходила вся наиболѣе даровитая и энергичная женская молодежь. Въ наши дни положеніе сильно измѣнилось, теоретически теперь почти всѣ профессіи открыты передъ женщиной, такъ что литературой теперь занимаются только тѣ, кто имѣетъ къ ней подлинное призваніе и непреодолимое влеченіе.

Среди наиболѣе младшихъ, но выработавшихъ уже свою литературную индивидуальность и ло-

бившихся положенія, назовемъ сначала Марію Пуйманову (1893 годъ), урожденную Геннерову. Эта писательница, выдвинутая опять-таки пражской буржуазіей — ея отецъ былъ извѣстнымъ университетскимъ профессоромъ — обладаетъ безспорнымъ и яркимъ талантомъ, вся сила котораго направлена на борьбу съ общественными условностями, такъ часто являющимися препятствіемъ въ личной жизни. Въ значительной мѣрѣ тутъ сказывается первоначальное влияніе Р. Свободовой, а позднѣе критика Шалды. Подобно многимъ молодымъ писателямъ М. Пуйманова начинаетъ книгой, основой для которой послужили дѣтскія воспоминанія, «Подъ крыльями» (1918 г.) — произведеніе, переполненное сентиментальными переживаниями; отъ нихъ позже, въ «Разсказахъ изъ городскихъ садовъ» (1920 г.) писательница понемногу отходитъ. Здѣсь уже ясно начинается выступать та обличительная тенденція, которой суждено развернуться во всей силѣ въ ея послѣдней книгѣ «Пациентка д-ра Гегла» (1932 г.). Въ ней на фонѣ жизни извѣстной части городскаго общества обрисована борьба двухъ поколѣній, и данъ апофеозъ современной молодой дѣвушки. Книга пронизана глубокимъ человеческимъ чувствомъ и талантъ М. Пуймановой послѣ довольно долгаго молчанія развернулся въ ней съ новой силой. Нужно однако признать, что «Пациентка» отражаетъ лишь сравнительно малый секторъ чешскаго общества и что сознательная шаржированность изображенія производитъ впечатлѣніе какъ разъ обратное тому, которое вхо-

дло въ намѣренія писательницы. Въ своихъ писаніяхъ Пуйманова весьма легко реагируетъ на окружающія событія, отчего ея произведенія отличаются большой современностью, но въ будущемъ могутъ легко устарѣть и утратить всякое значеніе, кромѣ историческаго. Особенно ясно это видно на небольшой брошюрѣ, заданной ею послѣ поѣздки въ Россію, откуда она вернулась упоенная всѣмъ видѣннымъ. Недостаточность критическаго чувства, контролирующаго чрезмѣрное влеченіе сердца, вредитъ въ общемъ сильному таланту М. Пуймановой.

Какъ будто въ противовѣсъ Пуймановой, выдвинулась въ чешской литературѣ такая серьезная и критически настроенная писательница, какъ Елена Дворжакова (1897 г.). По направленію ума и серьезности работы Е. Дворжакова является пріемницей А. М. Тильшовой, только среда, ея изображаемая, иная. Буржуазія со своими положительными и отрицательными качествами ее мало привлекаетъ; вся она своими симпатіями принадлежитъ низшимъ классамъ, особенно рабочимъ. Е. Дворжакова рисуетъ ихъ безъ сентиментальности и предвзятости, но все же съ большой симпатіей. Она показываетъ картину рабочей жизни, не идеализируя ее, но и не боясь упрековъ за строгое отношеніе къ классу, къ которому до нашихъ дней привыкли относиться или недоброжелательно, или, наоборотъ, съ извѣстной долей угодливости. Е. Дворжакова поступаетъ такъ именно потому, что вѣритъ въ здоровые корни и неиспорченное сердце народной массы, и предъявляетъ къ ней высокія требованія. Эта вѣра

сказывается уже въ книгѣ разсказовъ «Дѣтство» (1926 г.), но и еще больше въ «Любовницѣ Голема» (1926 г.). Глѣ простой женщины, любящей и самоотверженной, повторяется у нея и въ другой книгѣ «Мари изъ одиннацатаго номера» (1929 г.), а въ «Пепанѣ Егнѣ» (1933 г.) крѣпкая любовь двѣухи является единственнымъ свѣтлымъ лучомъ и спасеніемъ для юнаго преступника, проходящаго черезъ всѣ возможные стадіи паденія. Серьезная анталитатурная работа явно предшествовала этому роману, гдѣ описаны ночлежки и исправительные дома, притоны и больницы. Кромѣ перечисленныхъ книгъ Е. Дворжакова издала еще «Ворожбу» (1928 г.) и «Великое теченіе» (1931 г.), написанныя въ тѣхъ же настроеніяхъ и въ томъ же хорошемъ и продуманномъ реалистическомъ стилѣ. Въ нихъ залогъ того, что мы дождемся отъ писательницы еще не одну книгу, которой суждено занять не послѣднее мѣсто въ чешской литературѣ.

Этимъ именемъ мы и закончимъ нашъ очеркъ. Конечно, имѣются и болѣе молодыя писательницы, но сейчасъ еще трудно сказать навѣрняка, что изъ нихъ выйдетъ. Къ нимъ, на примѣръ, принадлежатъ Ольга Шейнифлугова (1904 годъ), писательница чрезвычайно плодовитая, пишущая стихи, прозу, пьесы, сама незаурядная театральная артистка, но какъ разъ это изобиліе способностей заставляетъ задуматься надъ тѣмъ, не было бы разумнѣе для Шейнифлуговой посвятить себя чему-нибудь одному.

Можно было бы, конечно, написать не одну страницу о писат-

тельницах эссенствахъ и критикахъ, какъ Павла Бузкова или Ева Юрчинова, но мы ограничимся лишь тѣми, кто работалъ въ области художественной литературы. Позволимъ себѣ закончить нашу работу тѣми словами, которыми критикъ Шальда началъ статью «Женщина въ поэзіи и литературѣ». Вотъ они: «Исторія цивилизаціи и культуры можетъ вамъ рассказать очень много объ участіи женщины въ различныхъ ремеслахъ и искусствахъ, отъ самыхъ основныхъ и простѣйшихъ до высочайшихъ и сложнѣйшихъ, отъ искусства приготовить пищу голодному, воздѣлать поле, оросить луга, привить дерево, отъ искусства сплести изъ лыка лапоть и ткать полотно, до искусства ухаживать и лѣчить больного, вышить для храма завѣсу или богослужебный платъ, нарисо-

вать картину, разгадать предназначеніе, сложить стихи или написать романъ. Лишь объ одномъ искусствѣ молчитъ исторія, о томъ, что выше и святѣ всѣхъ нами перечисленныхъ, которое не только ихъ довершаетъ, но является необходимымъ условіемъ ихъ существованія, объ искусствѣ, служащемъ основой и вънѣшнѣмъ, при томъ всецѣло принадлежащемъ женщинѣ, какъ ни какое другое: я думаю при этомъ объ искусствѣ любви».

Конечно, не о любви плотской, а о великой человѣческой любви, призванной освѣтить міръ, которую внушаютъ людямъ въ своихъ произведеніяхъ женщины писательницы отъ Б. Немцовой и кончая Е. Дворжаковой, говорятъ тутъ Шальда.

**Н. Мельникова-Папоушкова.**

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

---

Л. Гомолицкий. Домъ. Варшава (Безъ даты).

«Домъ» это стихи бездомнаго поэта, поэта эмигранта. Но авторъ беретъ свою тему шире. Домъ для него не родина, не Россія. Онъ тоскуетъ не о реальномъ скитаніи и изгнаніи, а о метафизической, «міровой» бездомности человѣка и о его вѣчномъ скитальчествѣ.

«Блуждая въ пустотѣ изгнанья,  
впадающей въ пустыню міровую,  
я ощутилъ великое томленье...

Для Л. Гомолицкаго

«бѣгства первый вынужденный шагъ  
на борту спасительный чужого корабля  
сталъ бѣгствомъ духа изъ всемірной стужи  
къ Безславному Блаженству очага,  
въ домашнее натопленное небо.

«Домъ» — это маленькое, уютное прибѣжище, въ которомъ человѣкъ на мгновеніе спасается отъ ледяныхъ пространствъ, отъ грознаго Бога, гдѣ «Адамъ, скиталецъ безпріютный — тѣло» причесая со своей «Евой» и съ маленькимъ домашнимъ божествомъ — ребенкомъ:

«Мы малаго у жизни просимъ, Ева!  
Безъ гнѣва жить и трепетать потомъ,  
когда нашъ домъ отъ крыши до порога  
наполнитъ Бога маленькаго крикъ»...

Свою тему, повидному, глубоко имъ прочувствованную, поэтъ варьируетъ почти во всѣхъ стихотвореніяхъ сборника: всюду въ нихъ два человѣка, съ ихъ любовью, земнымъ тѣлеснымъ тепломъ

«плечо къ плечу, бедро къ бедру, безъ сна...

грѣются у очага, гдѣ

«огонь, что былъ вчера еще крылатымъ,  
дрожитъ, шипя, надъ примусомъ пузатымъ»...

Все это выражено стихами вполне «грамотными», не чуждыми умблости, хотя и лишенными легкости. Изъ литературныхъ вліаній намъ слышались въ нихъ отзвуки нѣкоторыхъ (далеко не лучшихъ) бѣлыхъ стиховъ Волошина.

Заслуживаетъ быть отмѣченной одна особенность книжки Гомолицкаго: вся она написана отъ руки, красивой, четкой вязью, отъ руки же сдѣлана и обложка. Экземпляръ, присланный для отзыва въ «Современныя Записки», носить номеръ десятый. Рукописная книга въ наше время «техническихъ достиженій» говорить о бѣдности эмигрантскаго книжнаго рынка, но еще больше о любви поэта къ книгѣ и къ своему искусству. Она останется любопытнымъ памятникомъ русской литературы въ изгнаньи.

М. Цетлинъ.

#### Дневники Маріэтты Шагинянъ. 1917-1931.

Эти дневники — не «человѣчскій документъ» въ непосредственномъ смыслѣ слова, потому что они смонтированы соотвѣтственно требованіямъ совѣтской идеологіи. Это и не литературное явленіе, потому что въ нихъ слишкомъ много сырого матеріала, грузнымъ балластомъ лежащаго на скудныхъ личныхъ страничкахъ. Эти записи біографій рабочихъ и безпомощно-элементарныя свѣдѣнія о производствахъ не осмыслены ни личнымъ отношеніемъ автора, ни объективными выводами. Можно съ увѣренностью сказать, что читать ихъ не будутъ, а введены они для того, чтобы придать дневнику видимость «соціальную», общественную. Тѣмъ не менѣе, дневники эти представляютъ большой интересъ, какъ своеобразный «совѣтскій документъ». Если владѣть ключемъ къ тому, что М. Шагинянъ хотѣла звуализировать, якобы раскрывая свою жизнь, ея «Дневники» могутъ дать неожиданно яркую картину того, какъ принужденъ жить и работать правовѣрный совѣтскій писатель.

Среди нихъ М. Шагинянъ занимаетъ почетное мѣсто. Она единственная, на протяженіи всей революціи, ни разу не была заподозрена ни въ какомъ уклонѣ. И это объясняется не угодничествомъ, какъ склонно думать большинство совѣтскихъ читателей, не продажностью, въ чемъ ее считаютъ повинной всѣ, кто лично ее не знаетъ, а совсѣмъ иными причинами.

Первая изъ нихъ заключается въ томъ, что М. Шагинянъ — глухая. Она не слышитъ ни ругани въ трамваѣ, на улицахъ, въ лѣнкахъ, въ лавкахъ, ни воркотни, жалобъ, стонувъ, которыми полонъ городъ и деревня. Она можетъ спокойно писать свои восторженныя статьи, сидя на вокзалѣ, среди сутолоки, пьяныхъ скандаловъ, и когда городскіе шпанята въ десяти шагахъ отъ нея схватываются въ кровавую драку изъ-за украденнаго гривенника, она можетъ разсѣнно спросить:

— Что такое?

— Дерутся, — кричишь ей въ ухо.

— Смѣются? — переспрашиваетъ она. — Это хорошо. Смѣхъ — великая вещь.

Она слышитъ только то, что люди говорятъ ей и часто специально для нея. Если ей это не нравится, она слегка отклоняется и этого достаточно, чтобы перестать слышать. «Надо избѣгать общенія съ ничтожными людьми», заноситъ она въ свой дневникъ, а «ничтожнымъ» можетъ оказаться всякій, кто не подошелъ подъ ея совѣтскую мѣрку. Съ другой стороны, если умѣть поддѣйствовать на ея воображеніе, талантливое и темпераментное, она можетъ занестись въ любяія дебри фантазій.

«Дѣлайте изъ мухи слона и торгуйте костью слонячьей,

А не нравится, такъ дѣлайте иначе,

говорить не про нее именно, а вообще въ такихъ случаяхъ, Маяковский.

Къ счастливой глухотѣ М. Шагинянъ надо прибавить, что она очень близорука. Въ очкахъ, которыя не сходятъ съ ея носа во время работы, и которыя она на переносицѣ обкручиваетъ ваткой, чтобы не терли, она видитъ не дальше своего письменнаго стола. Снимая очки, она опускаетъ вѣки и ея живые глаза, ласковые и юмористически, смотрятъ съ такимъ-же разборомъ, какъ слушаютъ ея уши.

Наконечъ, третье свойство, и величайшее для совѣтской Россіи, это отказъ отъ памяти, который она въ себѣ воспитала.

На самомъ дѣлѣ М. Шагинянъ обладаетъ превосходной, точной памятью, но она не хочетъ помнить. 9-И 1928 г. она записываетъ: «Получила отъ Зои «Дневникъ» Блока и онъ сбился съ работы. Стала вспоминать свое прошлое, среду, откуда ушла. Вообще меня спасаетъ безпамятство, силъ страшно мало, я ими дорожу и инстинктивно хожу налегкѣ (безъ памяти). А когда припоминается, сразу на плечи многолѣтній грузъ».

Не слышать, не видѣть, не помнить, вотъ основы, на которыхъ можетъ держаться совѣтскій писатель; тогда ему нетрудно въ любой моментъ повфрить въ то, что нужно, принять безъ колебаній и уклоновъ каждый новый поворотъ въ генеральной линіи партіи.

Разъ въ жизни М. Шагинянъ не угадала правительственнаго настроенія. Одинъ изъ ея друзей немедленно прислалъ ей телеграмму: «Прекрати публицистику, статья вызвала кривотолки». Она впала въ отчаяніе, но другой партійный другъ нашелъ ей выходъ, сказавъ, чтобы она писала все, а онъ самъ будетъ доставлять печати то, что можно передать гласности. «Это окрылило меня», пишетъ она. **Окрылило** то, что она, въ своей публицистикѣ будетъ писать одно, а выйдетъ то, что найдутъ нужнымъ другіе? Да, именно такъ.

Вотъ ключъ, которымъ надо владѣть, чтобы читать дневники М. Шагинянъ. Все это очень просто, но несовѣтскому человѣку никакъ не догадаться.

Какіе-же этапы она прошла?

1920 г. «Началось настоящее совѣтское строительство» и, съ другой стороны, «эпоха моего тщетнаго стремленія найти себѣ дѣло по своей специальности». Да, въ то время мало кто изъ писателей



не искалъ себѣ «службишки». У М. Шагинянъ я встрѣтила тогда А. Бѣлаго. Голодный, обтрепанный, издрогшій, онъ былъ трагиченъ. Проводивъ его, Мариэтта, въ отчаяніи, вопила: «Боря погибнетъ!» Это было весьма вѣроятно, но, къ счастью, какая-то судьба спасла его тогда.

Сама она тоже не процвѣтала. «У меня огромная комната обшитая зеленоватымъ плюшемъ, съ чудесной «трехспальной» кроватью и центральнымъ отопленіемъ». Она забываетъ только, что отопленіе не дѣйствовало, температура падала ниже нуля, такъ что Мариэтта недѣлями не только не раздѣвалась, но не снимала своей драгой шубейки. И потомъ, сквозь выпадъ противъ интеллигенціи и восторга передъ властью и Ленинымъ, прорываются жуткія записи. 19-I 1921 г. «Дома нынче безъ обѣда». «Хотѣла работать, но отчаянный холодъ загналъ въ кровать». 3-II. Литературный вечеръ. «Публики мало. Холодно встрѣтили и холодно проводили... Было очень холодно, голосъ и руки у меня дрожали». 7-II она слегла. «Ночью проснулась въ жару и ознобъ: пища-же моя состояла изъ здѣшной бурды, сухарей, кнѣптку, и преодолѣть болѣзнь было не изъ чего». 18-IV она записываетъ про В. Чудовскаго: «онъ и его мать были въ прошломъ году больны тифомъ, лежали въ пустой квартирѣ, не было никого, кто-бы ухаживалъ за ними. Мать умерла, и ее мертвую обѣли крысы, а онъ самъ былъ въ это время безъ сознания и крысы обѣли руку и ему (онъ ее носить теперь на привязи). Вотъ вамъ couleur locale Петербурга 1920 г.»

Лѣтомъ было жить немного легче, но осень принесла двѣ страшныхъ утраты. 7-VIII М. Шагинянъ записываетъ только два слова: «Умеръ Блокъ». Она не хочетъ помнить, какъ съ ума сходила отъ горя, какъ металась, потрясая своими кулаченками, кому-то грозила и кричала: «Они умерили его! Умерили голодомъ!»

Блокъ умеръ не непосредственно отъ голода, а отъ совокупности многихъ совѣтскихъ условий, которыя окружали его, какъ и всякаго другого, но, кажется, можно было-бы понять и запомнить, какъ симптоматична была его смерть и кто это они, благодаря политикѣ которыхъ умирали тогда сотни тысячъ гражданъ.

Могла-бы запомнить Мариэтта и еще болѣе страшную смерть, которую она не рѣшилась даже помянуть — это разстрѣлъ Гумилева.

Когда она узнала объ этомъ, она заперлась въ своей комнатѣ и, такъ какъ ключъ остался въ замкѣ, то видѣть, въ какомъ она состояніи, было невозможно. Друзья были въ волненіи — не натворила-бы она чего съ собой, и то и дѣло подходили къ двери, прислушиваясь. Миѣ удалось вытолкнуть карандашемъ ключъ. Я была уверена, что она не услышитъ его паденія. Такъ это и было. Мы увидѣли, что Мариэтта сидитъ за столомъ и тихо плачетъ. Я осталась ждать у двери. Черезъ нѣкоторое время она стала ходить по комнатѣ. Я стукнула, когда она была близко къ двери. Она открыла, молча взяла меня за плечи и повела черезъ всю комнату къ стѣнѣ, гдѣ у нея висѣло «росписаніе». Она обожала составлять планы и рос-

писанія, въ которыхъ включались занятія марксизмомъ, текущей политикой и прочимъ. Она ихъ никогда не исполняла, даже «ударныя», но въ каждомъ новомъ періодѣ своей жизни всегда составляла ихъ заново. Росписаніе, аккуратно разграфленое и исписанное ея красивымъ, мелкимъ почеркомъ, было перечеркнуто карандашемъ и внизу стояло: «Писать стихи. Гумилевъ».

— Это онъ написалъ мнѣ: писать стихи. Это все, что теперь отъ него осталось — стихи. А я не могу больше писать стиховъ, — сказала она очень тихо и грустно.

Потомъ, совсѣмъ другимъ, не лирическимъ тономъ, она спросила и мнѣ ея словъ не забыть во-вѣкъ: «Кто имѣетъ право убитъ поэта?»

Какіе-же выводы сдѣлала М. Шагинянгъ изъ этого, казалось-бы, довольно знаменательнаго положенія поэтовъ и писателей? «Все больше возмущаюсь писателями, интеллигентцей, пишетъ она 25-IX 21 г. «Нн въ комъ не вижу праведнаго отношенія къ дѣйствительности: каждый отлыниваетъ отъ своего дѣла, а между тѣмъ винить государство въ невѣрномъ дѣланіи. Вѣрное или невѣрное, но они дѣлаютъ, а мы?»

Какъ? Кто-же отлынивалъ? Не писала-ли она сама, что всѣ ея попытки дѣлать свое дѣло, терпѣли неудачу? Не была-ли она сама потрясена гибелью двухъ наиболѣе талантливыхъ поэтовъ? Да, все это было, но на 1922 г. она рѣшила написать себѣ новое «ударное росписаніе» и забыть про все, что до него было.

Съ 1922 г. она берется за публицистическую работу и, несмотря на свою полную безпомощность въ техническихъ областяхъ, начинаетъ писать обо всемъ. Коньякъ и клопокъ, текстильное дѣло, уголь, марганецъ, геологія, химія, гидротехническія сооруженія—ей все равно. Какъ коммунисты, которыхъ партія командируетъ сегодня на спичечную фабрику, а завтра въ Невропатологическій Институтъ, потомъ на «Красный Треугольникъ», а оттуда въ Эрмитажъ, такъ и она, бросается отъ одного къ другому, ничего основательно не изучаетъ и только строчитъ фельетоны, статьи и кой-какія книжки на новый ладъ. Среди нихъ есть подражанія детективнымъ романамъ, какъ «Джимъ Долларъ», «Янки въ Петроградѣ» и др., потуги на философствованіе, какъ въ «Своей судьбѣ», покушеніе на производственный романъ, какъ «Гидроцентралъ». Съ данными настоящаго поэта и писателя, она становится посредственной журналисткой и исполнительницей «соціальныхъ заказовъ», которые правительство даетъ совѣтской литературѣ.

И если-бы только это!..

Считая, что она представляетъ собой «общественность», она вмешивается въ дѣла людей, занятыхъ дѣйствительнымъ строительствомъ и не задумываясь пишетъ то, что на обычномъ языкѣ называется доносомъ и, при томъ, неосновательнымъ. Эпизодъ, который съ ней разыгрывается на «Дзорогѣсѣ», волномъ сооруженіи на Кавказѣ, гдѣ она поселяется, необычайно показателенъ для той новой роли, которую писатель можетъ теперь играть въ СССР.

Весной, в половодье, сносить ряжь только-что построенного моста. Разобрать, кто в этом виноват, по ее рассказу невозможно, но любопытно то, что она прежде всего рьянеет «дѣйствовать». На нее произвела впечатлѣніе мысль, что ряжи «разозлили» рѣку, что в ней чуть не утонуть быкъ, у котораго «отъ испуга сдѣлалось расстройство желудка» и она полетѣла в Тифлисъ, в редакцію газеты и в Рабоче-Крестьянскую Инспекцію, вскрывать «вредительство».

13-IV 30 г. «Въ РКИ, свесла имъ свое знаменитое j'accuse — обвиненіе по тремъ пунктамъ».

14-IV. «Нынче появилась статья. Настроеніе все отчаяннѣе. Я знаю, что я не должна была принять на свою душу обвиненіе, потому что я слаба, добра и жалостлива и не могу докончить начатого. Я знаю, что сыграла роль спички, брошенной въ свѣтильный газъ. Если-бъ не было другихъ силъ, кромѣ правды, мнѣ стало-бы легче, такъ какъ вызванная мною тревога могла-бы кончиться тѣмъ, что меня выслушали-бы, внимательно все взвѣсили и до выхода въ прессу провѣрили-бы всѣ данныя, а сейчасъ вышло такъ, что мои слова немедленно были подхвачены, и стихійно завертѣлась машина, — и вдругъ всѣ бутылки оказались грандіозными. Вѣдь злой воли не было, а, наоборотъ, было желаніе сдѣлать все, какъ слѣдуетъ, было головотяпство, никчемничество, склока, антисовѣтская атмосфера».

Когда она вернулась на «участокъ», «врагъ» показался ей порядочнѣе другихъ, ее друзья и вдохновители «врушками» и «дурковатыми парнями». Чего не дослышала она до своего «знаменитаго j'accuse», чего не досмотрѣла, что, наоборотъ, вообразила сгоряча, представить себѣ трудно, а она постаралась «забыть». Въ дѣйствительности-же она чуть не подвела подъ разстрѣлъ инженера и, послѣ очень серьезныхъ неприятностей, онъ едва выбрался изъ этой исторіи. И послѣ всего этого, прочтя о «вредительствѣ» «Промпарти», она патетически взываетъ: «Чорта-ли мнѣ в этой азбучной идеологии классовой борьбы. Ты мнѣ покажи, какъ оно (вредительство) дѣлается». Ей нѣ голову не приходитъ, что она сама только что на практикѣ разыграла, какъ «дѣлается вредительство» и какой эффектъ можетъ имѣть «знаменитое j'accuse» совѣтскихъ писателей, признанныхъ партией.

«И жуть беретъ — полное отсутствіе критиковъ!» восклицаетъ она въ концѣ своей книги.

Маріэтта, милая, позвольте вамъ задать одинъ вопросъ. Почему, пока вы дѣлали блестящую совѣтскую карьеру, Есенинъ повѣсился, а Маяковский застрѣлился? Они «отлынивали отъ своего дѣла?» Да?

Т. Чернавина.

Б. Темиряевъ. Повесть о пустякахъ. Петропольсь. Берлинъ 1934 г.

Въ 1928-29 гг. въ «Современныхъ Запискахъ» были напечатаны два разсказа Б. Темиряева. («Домикъ на 5-ой Рождественской» и «Сны»). По содержанию, тону и словесной ткани они настолько отличались отъ произведеній эмигрантской литературы, что въ авторѣ заподозрили скрывающагося за псевдонимомъ талантливаго совѣтскаго писателя. Пять лѣтъ спустя вышла объемистая «Повесть о пустякахъ». Появленіе книги усилило ненужное любопытство къ личности автора, проникшее, къ сожалѣнію, и въ критику. Въ такой рекламѣ повесть Темиряева безусловно не нуждается. Она заслуживаетъ вниманія независимо отъ того, по какую сторону рубежа находится мѣстожительство автора.

Разсказы Темиряева и его послѣдняя книга посвящены Петербургу въ самую трагическую пору его короткой и блистательной исторіи. У автора проникновенное знаніе Петербурга и большая любовь къ нему, но любовь особенная — возвышенная и патетическая, она позволяетъ наслаждаться великолѣпиемъ смерти возлюбленной. Дворцы, набережныя, кованныя ограды, «истерзанныя, дырявыя ждали своего Пиранези». Изъ всѣхъ изображеній Петербурга революціонныхъ лѣтъ — а кто только не писалъ или не вспоминалъ о немъ и въ эмиграціи и въ Россіи — Темиряевъ больше всѣхъ заслужилъ сравненіе съ итальянскимъ поэтомъ развалинъ. Не только потому, что Темиряеву какъ и художнику Пиранези свойственно не разсказывать, а живописать. Литература знаетъ немало писателей съ гипертрофійю зрительныхъ воспріятій. Но Темиряевъ надѣленъ къ тому же чутьемъ красоты распада, захватывающимъ ощущеніемъ гибели, пафосомъ хаотической ломки. И въ разсказахъ и въ повѣсти разрушавшійся Петербургъ и его разрушители какъ-то эстетически оправданы, хотя и вѣсть отъ авторскаго упоенія легкимъ, чуть замѣтнымъ душомъ некрофилиі.

«Повесть о пустякахъ» не лишена такъ наз. социальныхъ моментовъ и экскурсовъ въ политику. Это сближаетъ ее съ произведеніями совѣтскихъ писателей. Самая же интерпретація темы для нынѣшней совѣтской литературы безнадежно устарѣла. Слишкомъ много искренности у автора, чтобы воспѣвать «строительство», ея хватило лишь на сочувствіе разрушенію. Самое удачное произведеніе Темиряева — «Домикъ на 5-ой Рождественской» изображаетъ эпоху до «энп'а». Конецъ второго разсказа «Сны» преисполненъ отвращенія къ начинающему уродливому ожирѣнію революціи. Художнику Николаю Хохлову изъ «Повѣсти о пустякахъ» нечего дѣлать въ Россіи неудавшихся пятилѣтокъ. Онъ перебирается на Монпарнаессъ. Герой повѣсти, въ отяченіе отъ автора, ничего таинственнаго не представляетъ даже для самаго любопытнаго и поверхностнаго читателя. Внуку дворянина и сынъ народовольца, незамѣтно перешедшаго въ председатели акціонернаго общества, Коля Хохловъ, какъ и множество его сверстниковъ, дышалъ до революціи разрѣженнымъ воздухомъ радикальныхъ идей въ искусствѣ и политикѣ. Его эстетически плѣняла про-

цессъ самой борьбы, но онъ очень смутно и безъ особаго интереса представлялъ себѣ ея цѣли. «Я разрушаю ненужный хламъ. Ломка. Пафосъ. Разъ — и на матрасъ». Міръ страшной дѣйствительности, какъ только онъ началъ отставаться и нарушать красоту вулканическаго взрыва, вызывалъ у людей типа Хохлова ужасъ и отвращеніе. Радикальный художникъ Хохловъ — сколько ихъ бродило въ бытомъ Петербургѣ, творившихъ въ разрушительный періодъ революціи и въ ней-же нашедшихъ свою гибель. Въ Россіи они вымерли или превратились въ смиренныхъ казенныхъ слепцовъ. Только еще кое-гдѣ на Западѣ они могутъ плѣнять выдохшимся пафосомъ разрушенія и радикализмомъ устарѣлыхъ и наивныхъ формъ.

А. Савельевъ.

*Antoine Martel. Michel Lomonosov et la langue littéraire russe.*  
(Bibliothèque de l'Institut français de Léningrad, t. XIII,  
Paris, 1933).

Трудъ безвременно скончавшагося въ 1931 г. французскаго слависта посвященъ проблемѣ эволюціи теорій русскихъ филологовъ — отъ Ломоносова до Пушкина включительно — въ связи съ эволюціей русскаго литературнаго языка. Мартель подвелъ итоги всему, что по этой части сдѣлано до сихъ поръ въ наукѣ и вмѣстѣ, двигаясь въ ея границахъ, пополнилъ нѣкоторые существенные пробѣлы, давши систематическій подсчетъ и классификацію славянизмовъ въ языкѣ самого основателя русской филологіи, прида, такимъ образомъ, къ выводу, что Ломоносовъ не слишкомъ связывалъ себя своей теоріей 3-хъ стилей; а также сдѣлавши обследованіе различныхъ филологическихъ взглядовъ за промежутокъ времени отъ Ломоносова до Карамзина и Шишкова, принадлежащихъ авторамъ, доселѣ мало или совсѣмъ не привлекавшимъ вниманія. Съ задачей, поставленной имъ себѣ, Мартель справился безупречно — и именно это заставляетъ окончательно убѣдиться въ правильности того, что онъ самъ ясно сознавалъ: «Работа о Ломоносовѣ и о русскомъ литературномъ языкѣ, говорилъ онъ, не можетъ быть выполнена какъ слѣдуетъ безъ систематическаго обследованія произведеній русской письменности XVII-го и XVIII-го вв.». Этого онъ не успѣлъ сдѣлать — и до сихъ поръ это не было сдѣлано никѣмъ. Въ силу какого-то непонятнаго недоразумѣнія, историки русск. яз. ограничивались и ограничиваются сравнительно скуднымъ «литературнымъ» матеріаломъ, игнорируя богатѣйшій матеріалъ, заключающійся въ русской «письменности», во множествѣ тогдашнихъ «журналовъ» (дневниковъ), записокъ, частныхъ писемъ, также — въ очень распространенной переводной литературѣ (изящной, научной, философской); — что, кстати сказать, непростительно не для однихъ филологовъ, но и для историковъ литературы, имѣя въ виду условность грани, отдѣ-

яющей «письменности» от «литературы» \*). Такое обследованіе помогло бы отдѣлаться от укоренившихся въ наукѣ предвзятыхъ точекъ зрѣнія и оцѣнокъ, касающихся какъ общей проблемы, взятой въ цѣломъ, такъ и отдѣльныхъ сторонъ ея. Я выдвину главные пункты, отправляясь отъ разбора книги Мартеля, такъ какъ, повторяю, она отражаетъ превосходно данное состояние науки.

Вѣрно, что собственно литература и ея проблемы, какъ и проблема литературнаго языка, были до пол. XVIII в. предметомъ интереса лишь очень немногихъ. Но совершенно невѣрно, что распространѣніе образованности съ пол. столѣтія «не содѣйствовало развитію русскаго языка, скорѣе обусловило проникновеніе французскаго» и порчу русскаго языка образованнаго общества, о чемъ говорятъ въ одинъ голосъ авторы комедій и сатирическихъ журналовъ. На самомъ дѣлѣ, съ половины столѣтія ведется интенсивная и сознательная работа надъ совершенствованіемъ языка; но эта работа ведется въ раздробъ, ошупью, въ одиночку многими образованными людьми, лишенными объединяющаго центра, не знающими другъ о другѣ, и все же движущимися въ одномъ направленіи — къ уточненію языка, къ обогащенію его словаря, къ очищенію его отъ варваризмовъ. Комедіи и сатирические журналы — источникъ неважный? «Французоманія» была благодарной темой, вымышленнымъ, болѣе чѣмъ реальнымъ, предметомъ насмѣшекъ. Во всякомъ случаѣ — фактъ, доселѣ не обратившій на себя должнаго вниманія — наряду съ копированіемъ иностранныхъ языковъ (не одного лишь французскаго), шло сознательное усвоеніе рациональныхъ основъ ихъ структуры. Это-то усвоеніе содѣйствовало собственному прогрессу русскаго языка. Въ вводной главѣ крупный промахъ: Ломоносовъ, — писалъ Антуанъ Мартель, — «оставилъ лишь бѣглый слѣдъ въ точной наукѣ», между тѣмъ какъ въ филологіи его влияние было весьма значительнымъ, — и во всякомъ случаѣ, трудно сказать, въ чемъ было истинное его призваніе. Нужно-ли пояснять, что это — сплошное недоразумѣніе?

П. Бицилли.

И. Малинскій. Комплексъ Эдита и судьба Михаила Бакунина. Бѣлградъ, 1934.

Въ книгѣ И. Малинина двѣ стороны. Во-первыхъ, это — попытка усмотрѣть и показать единство столь изобилующей противорѣчiami «судьбы» или, что въ данномъ случаѣ то-же, личности Бакунина во всѣхъ ея проявленіяхъ и на всемъ его жизненномъ пути. Это выполнено авторомъ тонко, проникновенно и нерѣдко очень убедительно. Замѣчательно хорошо показано, напр., какъ Бакунинъ оста-

\*). Замѣчательно, напр., что авторы новѣйшихъ обзоровъ исторіи русскаго языка обходятъ молчаніемъ такіе перлы русскаго художественнаго слова, какъ Житіе преп. Авакума и Заниски Н. Б. Долгоруковой (Сакулинъ, Милуковъ въ «Очеркахъ»).

вался вѣренъ себѣ, былъ вполне искрененъ въ тѣхъ случаяхъ, когда, казалось, онъ «измѣнялъ» себѣ и своимъ убѣжденіямъ, кривить душою (его «Исповѣдь», отношенія съ Муравьевымъ-Амурскимъ). Во-вторыхъ, это — попытка «свести» все содержаніе личности Бакунина къ таящейся въ сферѣ подсознательнаго изначальной общей основѣ. Эта попытка можетъ быть убѣдительно только для того, кто раздѣляетъ методологическія соображенія, заставляющія автора постулировать вѣру въ мнѣ, ибо въ опытѣ «комплексъ» намъ не даны. Рамки рецензіи не позволяютъ мнѣ распространяться насчетъ моихъ сомнѣній на этотъ счетъ. Ограничусь однимъ соображеніемъ. Бакунинское влеченіе къ учительству, къ проповѣдничеству, сочетанное съ нетерпимостью къ слушникамъ, максимализмъ его исканій, стихійная мощь его эгоцентризма, его «диалектичскій» душевный складъ, отразившійся на его жизни столько же, сколько на его мысли, — все это черты общія у него съ людьми, съ чьими именами связывается у насъ по преимуществу представленіе о его времени какъ культурномъ моментѣ — Рихарда Вагнера, Маркса, Ницше; времени титановъ, «сверхчеловѣковъ», «человѣкобоговъ», богоборцевъ, основателей новыхъ религій. Что-же — всѣ они были поражены одной и тою же душевною травмою? И если пораженность его — дѣйствительно, согласно теоріи Фрейда, болѣе или менѣе общечеловѣческое свойство, то все-же остается еще объяснить, почему въ опредѣленный историческій моментъ «вытѣсненіе» соответствующаго комплекса и его «сублимаціи» обусловили собою то, что вовсе не является общей чертою всѣхъ выдающихся людей всѣхъ временъ, — влеченіе къ «бунту». Подзаголовокъ книги кроетъ въ себѣ цѣлую новую проблему — психологіи титанической культуры середины XIX в. Желательно, чтобы авторъ книги, свидѣтельствующей о его даровитости какъ психолога, продолжилъ свою работу въ этомъ само собою намѣчающемся направленіи, — а это значитъ: отъ абстрактно-психологическаго изслѣдованія перешелъ бы къ конкретному. Напомнимъ, что Зомбартъ въ «Der Proletarische Sozialismus» тоже ставитъ бунтарство Бакунина въ связь съ его неладомъ съ родителями; но только отсюда онъ не пускается въ изслѣдованіе сферы подсознательнаго, а просто вводитъ Бакунина въ рядъ другихъ неудачниковъ, «деклассированныхъ», ущемленныхъ жизнью людей преобладаніе которыхъ въ серединѣ XIX в. было обусловлено соціальною структурою этого періода. Методологически цѣльно здѣсь общее положеніе: конкретная психологія должна быть одновременно и индивидуальной и соціальной.

П. Бицилли.

Д. Мережковский. Исусъ Неизвѣстный. Т. I и II. Бѣлградъ. Русская бібліотека. 367+XXVII стр., 312+XII стр.

Главное достоинство книги Мережковского въ абсолютной оригинальности его метода: это не «литература» (литература о Христѣ — невыносима), не догматическое богословіе (никому кромѣ богослововъ непонятное); это и не религіозно-философское разсужденіе:

— вѣтъ, это интуитивное постиженіе скрытаго смысла, разгадываніе таинственнаго «Символа» вѣтры, чтеніе метафизическаго шифра, разгадываніе евангельскихъ притчъ, каковыми въ концѣ концовъ являются всѣ слова и дѣянія Христа. «Имѣяи уши да слышите» — такъ оканчивается Христосъ свои поученія. Это обращеніе къ духовному слуху, который слышитъ потустороннее въ посюстороннемъ словѣ. Авторъ обладаетъ этимъ духовнымъ слухомъ и показываетъ читателю: слушай! развѣ ты этого не слышишь? Правда, у него не «абсолютный слухъ», есть какъ-будто и ошибки, не все абсолютно убедительно, но онъ заставляетъ вслушиваться, иногда даже заслушиваться, постоянно чувствуя потустороннее звучаніе. Очень рѣдко читатель отклоняется и не пріемлетъ, очень рѣдко авторъ събѣгаетъ на беллетристику и выдумываетъ. Въ этой книгѣ онъ совершенно передосъ свою собственную литературу и рѣдко возвращается къ своимъ пріемамъ и шаблонамъ. Порою онъ достигаетъ настоящаго величія, когда остается вѣрнѣ своему методу.

Вся книга есть въ сущности медитация надъ евангельскимъ текстомъ: что звучитъ въ этомъ словѣ? Что сокрыто въ этой грандіозной Притчѣ исторіи? Притчи, по слову автора, — это астрономическія параболы, уходящія въ безконечность. Жизнь Христа не рассказывается, она и не можетъ быть иначе рассказана, нежели это сдѣлано въ Евангеліяхъ. Но сопоставляются тексты, апокрифы и аграфы, и преданія отцевъ — они даются и показываются такъ оригинально, такъ по новому, что ощущаешь удивленіе заново, какъ-бы впервые читаешь знакомыя слова, иное слышишь за ними, многому изумляешься. Изумляетъ, конечно, само Евангеліе; но авторъ умѣетъ показать, что изумительно. Здѣсь лежитъ для насъ критерій цѣнности. Начало истинной философіи и мистики есть изумленіе. Потеря изумленія есть основное горе ума: неспособность выйти изъ себя, изъ «изъ ума», изъ привычнаго, извѣстнаго, установленнаго, изъ позитивизма. Существуетъ позитивизмъ церковный, позитивизмъ богословскій, какъ и позитивизмъ безбожный, натуралистическій. Тому и другому нашъ авторъ сознательно противопоставитъ. Онъ преодолеваетъ ихъ способностью изумленія, потустороннимъ слухомъ, чувствомъ парадоксальности и неслыханности того, что возвѣщаетъ Евангеліе.

Трудно дать почувствовать «неслыханность» тѣхъ словъ, которыя намъ прожужжали уши, и чѣмъ громче и чаще возглашаетъ дьяконъ, тѣмъ труднѣе услышать. «Горе наше въ томъ, что за двѣ тысячи лѣтъ мы такъ привыкли къ словамъ Его... что оглохли, ослѣпли къ нимъ окончательно... Но если-бы мы могли чуть-чуть отвыкнуть отъ нихъ... то мы удивились-бы, ужаснулись, поняли-бы вдругъ, что это самыя невозможныя для насъ... самыя нечеловѣческія изъ всѣхъ человѣческихъ словъ». «Снять съ Евангелія пыль вѣковъ — привычку; сдѣлать его новымъ, какъ-будто вчера написаннымъ», раскрыть «дерзкое Евангеліе, закованное въ пурпуръ, золото и драгоценныя камни» — вотъ методъ и задача книги, и авторъ здѣсь многого достигаетъ. Розановъ какъ-то сказалъ: несчастіе христіанства въ



томъ, что оно стало риторическимъ. И можно добавить, что самая убійственная риторика — это проповѣдь общезвѣстныхъ догмъ, или моральныхъ истинъ любви къ ближнему. Das ganz Andere, *Mysterium tremendum* (Рудольфъ Отто) — всегда присутствуетъ у Мережковскаго. Въ этомъ смыслѣ опредѣляющимъ является его замѣчательное заглавіе: «Исусъ Незвѣстный». Это значитъ Исусъ, котораго міръ не позналъ, не узналъ, не понялъ, не оцѣнилъ, не разгадалъ. Весь методъ книги, методъ интуитивнаго разгадыванія чудеснаго, методъ изумленія — могли-бы мы сказать — опредѣляется этимъ заглавіемъ. Оно направлено противъ всѣхъ тѣхъ, кто думаетъ: намъ-то Онъ хорошо извѣстенъ, противъ тѣхъ, кто взялъ ключъ разумѣнія — догматическаго, историческаго, критическаго.

Мережковскій совѣтъ не философъ и не богословъ, и главное не хочетъ этимъ быть, хотя онъ и образованъ и начитанъ философски и богословски. Онъ не хочетъ быть и «литераторомъ» въ этой книгѣ. Кѣмъ-же онъ хочетъ быть? Да просто ученикомъ Христа, и притомъ любимымъ ученикомъ, которому доверены особая тайна. Надо признать, что это право каждаго христіанина. Въ немъ нѣтъ никакого чрезмѣрнаго притязанія, наоборотъ, оно соответствуетъ общанію Христа: «Я явлюсь ему Самъ». Возможность и цѣнность глубоко-личной интуиціи любви у того, кто всю жизнь всматриваясь въ Ликъ Христа, никто не дерзнетъ отрицать, она подкрѣпляется словами Оригена: разнымъ людямъ являетъ себя Исусъ по разному — каждому является въ томъ образѣ, какого достоинъ каждый. Христомъ допущена и указана молитва уединенно-личная и, съ другой стороны, соборно-литургическая — точно такъ же допустимо постиженіе тайны Богочеловѣка посредствомъ личной интуиціи и посредствомъ соборной мысли и чувства. Но въ своей личной интуиціи Мережковскій никогда не остается изолированнымъ, самодостаточнымъ, напротивъ, онъ привлекаетъ богатый матеріалъ другихъ пророчій, ему близкихъ и родственныхъ. Этотъ матеріалъ, нужно признать, собранъ и сопоставленъ замѣчательно. Вниманіе читателя приковано и зачаровано.

Философы и богословы не должны обольщаться: никогда они не получаютъ того доступа къ сердцамъ, который открывается на этомъ пути. Они всегда въ сущности понятны (въ лучшемъ случаѣ!) только философамъ и богословамъ. Мережковскій же обращается ко всѣмъ, кто обладаетъ духовнымъ олукомъ, кто можетъ изумляться таинственному, кто способенъ переживать трагизмъ. По нашему времени и это не такая большая аудитория! Но вотъ что замѣчательно: философъ и богословъ, если только онъ не «книжникъ и фарисей», найдеть для себя въ этой книгѣ много цѣннаго. Правдивость и подлинность нѣкоторыхъ интуицій, идущихъ изъ сокровенной глубины сердца, не можетъ не поражать. Вотъ самый яркій примѣръ. Нужно дать постигнуть и пережить смыслъ главнаго и центрального символа христіанства, символа Царства Божія. Какъ это дѣлаетъ авторъ? Онъ показываетъ «первыя точки Царства Божія, которыя теплятся уже и сейчасъ, какъ первыя звѣзды въ ночи», эти точки видимы ино-

гда въ жизни, какъ отблески рая, какъ исполненіе надеждъ: «радость зѣчнаго свиданія любящихъ», возвращеніе потеряннаго рая, потерянной родины, избавленіе отъ постыдной тираніи челоѣкообразныхъ — «что уже всѣмъ людямъ понятное, простѣйшее начало Царства Божія». Три замѣчательныхъ страницы (II. 104-III) въ рядѣ образовъ сразу даютъ почувствовать, о чемъ идетъ рѣчь: тема Царства Божія сразу воспринимается «музыкальнымъ слухомъ сердца». Мы, философы, выражаемъ это по своему, примѣрно такъ: христианство есть религія абсолютно желаннаго, Царство Божіе есть исполненіе всѣхъ истонныхъ, «завѣтныхъ», существенныхъ, абсолютныхъ желаній челоѣка. Давъ адекватные образы, очевидныя «точки» абсолютно-желаннаго, авторъ показалъ звѣзды царствія во мракѣ ночи. (По странному закону творчества, каждое подлинное достиженіе сразу изобрачаетъ все неподлинное; такъ и здѣсь, стихотвореніе на стр. 111 сразу снижаетъ предыдущее: послѣ словъ Апокалипсиса, сентиментальныя «одувачники» недопустимы).

Очень хорошо истолкованіе чудесъ: чудо экстаза, превращающее воду въ вино; чудо любви и духа, насыщающее пятью хлѣбами (обратное чудо дѣвола — умаленіе хлѣбовъ! это чудо ненависти и материализма); чудо воскресенія, чудо возстанія противъ смерти, дающее прорывъ въ иной міръ. Интересна мысль понять чудеса такъ, чтобы они не превращались въ утилитарную магію, чтобы они не были похожи на то чудо, которое было отвергнуто, какъ искушеніе отъ дѣвола. Цѣнно указаніе на то, что Христосъ бѣжалъ отъ чудесъ и переживалъ муку чудесъ. Мы могли-бы истолковать ее, какъ отращаніе корыстнаго пользованія чудотворцемъ.

Заслуживаетъ быть отмѣченнымъ прекрасное, научно ориентированное и для всѣхъ убѣдительно опроверженіе всяческихъ сомнѣній въ исторической реальности Христа. Очень хороши образы апостоловъ, особенно Петра и Иуды. Вѣрна характеристика Евангелія отъ Юанна («полуисторія — полумистерія»). Невозможно передать всю массу интересныхъ цитатъ (напр., парадоксъ Вельгаузена: «Иисусъ не былъ христианиномъ, онъ былъ иудеемъ») и удачныхъ образовъ (напр., «чувствуютъ, что пахнетъ отъ Него міромъ нездѣшнымъ, какъ морозомъ отъ челоѣка, вошедшаго снаружи»). Слабѣе истолкованіе искушенія въ пустынѣ, послѣ Достоевскаго оно ничего не даетъ. И уже совершенно неприемлемъ для нашего слуха сочиненный авторомъ «Апокрифъ объ Искушеніи»: это чистѣйшая «литература», и притомъ такая, которая не можетъ стоять рядомъ съ Достоевскимъ и его «дописывать». Своимъ импрессионально-романтическимъ стилемъ она совершенно выпадаетъ изъ общаго строгаго библейскаго стиля книги. Мы не приписываемъ себѣ «абсолютнаго слуха», но для того, чтобы слышать фальшь, какъ извѣстно, и не надо обладать абсолютнымъ слухомъ. Авторъ самъ виноватъ въ томъ, что далъ намъ образцы подлинной гармоніи, и мы ими пользуемся, какъ камертономъ.

Недостаточной кажется намъ и медитация о «богооставленности», но это уже относится къ тайнѣ голгоѣвской трагедіи и составляетъ те-

му слѣдующаго тома. Автору предстоитъ еще великая задача достойнаго завершения своего труда. Кого Христосъ позоветъ, тотъ долженъ держатъ и идти до конца. Пожелаемъ ему превзойти все, имъ доселѣ достигнутое, и это не легко сдѣлать.

**Б. Вышеславцевъ.**

Прот. С. Булгаковъ. Агнецъ Божій. О Богочеловѣчествѣ. Ч. I. Стр. 468. Парижъ. УМСА-Press, 1933.

Новую книгу прот. С. Булгакова надо признать не только самымъ зрѣлымъ, но и самымъ выдающимся изъ всего того, что онъ писалъ въ послѣдніе годы. Основные идеи софіологіи получаютъ въ новой книгѣ такое законченное и ясное выраженіе, какого они не имѣли до сихъ поръ: софіологія выступаетъ здѣсь, какъ **система**. Отсюда не только богословская, но и философская цѣнность книги. Главное, что слѣдуетъ отмѣтить въ послѣднемъ отношеніи, есть опытъ построения метафизики въ свѣтѣ софіологіи. Для автора философская сторона имѣетъ побочное и вторичное значеніе, — вся діалектика идей опредѣляется въ книгѣ ея богословской темой, во это нисколько не ослабляетъ философской цѣнности развитыхъ въ книгѣ построеній.

Софіологія, поскольку въ ней идетъ дѣло о **мирѣ**, есть, конечно, платонизмъ: основной мотивъ софіологіи заключается въ признаніи идеальной основы міра. Но отъ классическаго платонизма софіологія, какъ она развивается въ философіи Як. Беме и Шеллинга, а затѣмъ особенно въ русской философіи (Влад. Соловьевъ, о. П. Флоренскій, Н. О. Лосскій, С. Л. Франкъ, о. С. Булгаковъ), отличается признаніемъ конкретнаго всеединства въ этой идеальной основѣ міра. Миръ, взятый въ своей глубинѣ, въ своей творческой основѣ, есть «Софія» — конкретная, живая сущность (для иныхъ даже «Существо»), положительное всеединство бытія, идеальное по своей независимости отъ пространства и времени, творческое по своей опредѣляющей жизни міра силѣ. Отъ обычнаго натурализма, усваивающаго «природѣ» свойства вѣчности, неисчерпаемости, законмѣрности, отъ этого смѣшенія эмпирическихъ опредѣлений бытія съ чисто метафизическими его свойствами софіологія чрезвычайно выгодно отличается яснымъ различіемъ (но не раздвиганіемъ) эмпирической и метафизической стороны въ мирѣ. За вѣнней оболочкой раздѣльныхъ явленій, за вѣтъ ихъ разнообразіемъ и множественностью живетъ и творчески дѣйствуетъ идеальная основа міра — его «субстанція», его «луна» — единая и цѣлостная. Софіологическая гипотеза важна не только для натурфилософіи и эстетики, она еще болѣе важна для гносеологіи, поскольку въ новѣйшей софіологіи тварная Софія есть прежде всего челоуѣчество въ его единствѣ.

О. С. Булгаковъ, строя свою богословскую систему, въ обсужденіе которой я здѣсь не вхожу, развиваетъ чрезвычайно интересную систему софіологической метафизики въ **духѣ монизма**. Тварная Софія, какъ идеальная основа міра, для него не отлична отъ Софіи Божественной. При такомъ построеніи, чрезвычайно выгодномъ бого-

словски, создаются однако почти непреодолимые философскія трудности (отъязвляющіяся во второмъ порядкѣ и на богословіи). Если единство міра (въ его сущности) и Абсолюта устраняетъ различія философскія трудности, то философскіе въ этомъ неестественномъ уравненіи одинъ изъ его членовъ неизбѣжно растворится въ другомъ. Или міръ природы тонетъ для насъ въ Абсолютѣ, оказываясь тѣмъ самымъ призрачнымъ въ своемъ эмпирическомъ бытіи, — или наоборотъ Абсолютъ растворяется въ мірѣ. Какъ можетъ быть равно столь различное? Правда, въ тончайшемъ узорѣ глубокихъ идей читатель все время ощущаетъ у о. С. Булгакова таинственную несводимость послѣднихъ опредѣленій бытія. Антиномизмъ этихъ послѣднихъ понятій является у о. С. Булгакова той схемой, при помощи которой онъ удерживаетъ въ своихъ построеніяхъ всю реальную проблематику бытія. Все это такъ, — въ этомъ направленіи философское мастерство о. С. Булгакова достигаетъ порой поразительной силы. Но антиномизмъ часто является здѣсь слишкомъ удобнымъ, чтобы быть истиннымъ. Въ частности гораздо правильнѣе утверждать реальную и всецѣлую отличность тварнаго бытія отъ Абсолюта и стоять затѣмъ передъ трудной проблемой ихъ связи, чѣмъ наоборотъ признавать существенное единство тварнаго бытія и Абсолюта и затѣмъ стоять передъ трудностью (невозможностью!) обосновать достаточную самобытность міра. Метафизика вообще должна всегда держаться индуктивной основы, отъ которой не должна она отрываться, существование же различіе бытія во времени и бытія въ вѣчности (лежащее въ основѣ платонизма) дано намъ въ опытѣ съ такой непрекращаемой, потрясающей силой, что его надо дѣлать исходнымъ. Иначе говоря, софіологическая метафизика непременно должна быть дуалистичной, — и каковы бы ни были дальнѣйшіе трудности, вытекающія изъ необходимости осмыслить связь Абсолюта и міра, они не могутъ ослабить основополагающаго значенія исходнаго дуализма. Грандіозная попытка построить систему софіологическаго монизма чрезвычайно интересна — тѣмъ, что вскрываетъ всю проблематику связи Абсолюта и міра, но и только.

Въ краткой рецензій невозможно обосновать это основное критическое замѣчаніе къ книгѣ о. С. Булгакова, — мы можемъ его лишь намѣтить. Тѣмъ съ большей силой хочу я подчеркнуть высокую философскую цѣнность всей книги, и особенно главъ первой и второй. Хотя книга, въ силу своей густоты, читается нелегко, но читатель, давшій себѣ трудъ внимательно вчитаться въ нее, найдетъ въ ней цѣлый міръ идей, образовъ, подчасъ поразительные анализы и интуиціи. Въ книгѣ не разъ чувствуются противорѣчія, напряженно движущія читателя къ послѣднимъ антиноміямъ мысли; но эти противорѣчія или несогласованности лишь рѣзче подчеркиваютъ основную проблематику бытія. Богословъ найдетъ безконечно много точекъ для согласія или спора съ авторомъ, — но не менѣе богата и возбуждательна книга и для философа. Яркость и сила, изящество и мѣткость рѣчи отличаютъ всю книгу, но не въ этомъ ея пафосъ, ея

цѣнность и значеніе: она ведетъ читателя на горныя вершины, откуда открывается видъ на самыя глубокия, самыя существенныя проблемы бытія.

**В. В. Зѣньковскій.**

*D. R. Buxton, Russian Mediaeval Architecture. University Press, Cambridge, 1934.*

*M. Alpatov - N. Brunov. Geschichte der altrussischen Kunst. Filser, Augsburg. 1932.*

Трудъ Д. Р. Бакстона — первая книга на англійскомъ языкѣ, посвященная древнерусской архитектурѣ; этого достаточно, чтобы ее привѣтствовать. Безъ сомнѣнія, также заслуживаетъ всяческой похвалы тщательное и любовное отношеніе автора къ своей задачѣ: дать сводку важнѣйшихъ свѣдѣній о допетровской русской архитектурѣ, а также о средневѣковомъ зодчествѣ Арменіи и Греціи. Правда, впрочемъ, и то, что одно уже совмѣщеніе двухъ этихъ темъ въ одной книгѣ свидѣтельствуетъ о нѣкоторой случайности ея возникновения. Авторъ, насколько можно судить по его работѣ, — не историкъ искусства, да онъ и не задавался цѣлью написать ученое изслѣдованіе. Его представляешь себѣ скорѣй, какъ просвѣщенного любителя, заинтересовавшагося мало извѣстнымъ, экзотическимъ сюжетомъ и почувствовавшаго искренно рѣдкостную прелесть нѣкоторыхъ памятниковъ русской старины. Зная русскій языкъ, онъ внимательно ознакомился съ важнѣйшей литературой предмета и во всѣхъ существенныхъ вопросахъ слѣдуетъ взглядамъ, изложеннымъ въ первыхъ двухъ томахъ Грабаря. Отдѣльныя замѣчанія свидѣтельствуютъ, однако, о впечатлѣніяхъ непосредственныхъ и личныхъ, и тутъ мы подходимъ къ самому лучшему, къ самому важному, что есть въ книгѣ (по крайней мѣрѣ для русскаго читателя): къ ея иллюстраціямъ. Дѣло въ томъ, что авторъ совершилъ по Россіи два большихъ путешествія (въ 1928 и въ 1932 году) и вывезъ оттуда 192 имъ самимъ снятыхъ фотографій, большаю частью превосходныхъ и прекрасно дополняющихъ имѣющіеся въ различныхъ изданіяхъ снимки древнерусской архитектуры. Путешествія, какъ видно изъ предисловія, были не изъ легкихъ; при вывозѣ фотографій тоже чинились немалыя препятствія. Кое-что при этомъ погибло; жаль также, что авторъ снималъ обыкновенно лишь то, что уже бывало снято (хотя нерѣдко и хуже, чѣмъ у него); досадно, что не побывалъ онъ въ Смоленскѣ, Полоцкѣ, Витебскѣ; однако и такъ книга его иллюстрирована великолепно, начиная съ таблицы противъ титульнаго листа, дающей восхитительный новый снимокъ знаменитой церкви Покрова на Нерчи — изъ-за рѣки, среди древесныхъ купъ, надъ поросшимъ травою берегомъ.

Совсѣмъ иной характеръ присуць книгѣ Алпатова и Брунова. Оба эти автора, особенно второй, принадлежатъ къ числу наиболѣе одаренныхъ русскихъ историковъ искусства младшаго поколѣнія и

уже успѣли зарекомендовать себя многочисленными специальными трудами. Иллюстрационная часть ихъ книги (выдѣленная въ отдѣльный томъ) тоже очень недурна, но центръ тяжести тутъ, разумѣется, въ самомъ текстѣ, сжатомъ, но не оставляющемъ безъ разсмотрѣнія ни одного важнаго вопроса и снабженномъ превосходными библиографическими примѣчаніями. Первая половина этого текста трактуетъ объ архитектурѣ и записана Н. Бруновымъ, вторая принадлежитъ М. Алпатову и посвящена живописи и скульптурѣ. Книга въ цѣломъ чрезвычайно интересна, содержитъ много новаго — какъ въ смыслѣ использованныхъ матеріаловъ, такъ и въ смыслѣ ихъ освѣщенія — и несомнѣнно представляетъ собой не только новѣйшее, но и лучшее изъ имѣющихся у насъ общихъ изложеній исторіи древне-русскаго искусства.

Главное достоинство книги (все еще довольно рѣдкое въ русской литературѣ по искусству) заключается въ самомъ направленіи интереса у обоихъ авторовъ. Ихъ вниманіе направлено не на околичности, не на какіе-нибудь внѣшніе по отношенію къ искусству факты, а на художественныя формы въ конкретной ихъ полнотѣ и на стилистическое развитіе, раскрывающееся въ нихъ и лишь послѣ обследованія своего самостоятельнаго бытія позволяющее широкія (и часто плодотворныя) культурно-историческія обобщенія. Здѣсь не мѣсто обсуждать методы и выводы книги. Скажемъ только, что особенно цѣнной кажется намъ архитектурная ея часть. Н. Бруновъ проявилъ въ ней большую самостоятельность и смѣлость мысли, большую тонкость въ ощущеніи и оцѣнкѣ архитектурныхъ формъ. Думаю, что о древне-русскомъ зодствѣ еще никогда никто не говорилъ съ такимъ не знаніемъ только, но и пониманіемъ предмета. Со многимъ, что онъ говоритъ можно и не согласиться, но каждая подробность, какъ и все построеніе въ цѣломъ, очень серьезны и очень по своему имъ продуманы. Склонность къ обобщенному историческому зрѣніюнисколько не вредитъ вниманію, съ которымъ онъ анализируетъ каждый памятникъ, опять-таки никогда не забывая при этомъ, что любая форма подучаетъ смыслъ только изъ отношенія своего къ цѣлому. Превосходенъ даваемый имъ разборъ кievской Св. Софійи, смоленскихъ и полоцкихъ храмовъ, московской архитектуры XVI вѣка и перерожденія ея формъ въ слѣдующее столѣтіе. Весьма многое вообще увидено и понято имъ впервые; всѣ его главы (включая и тѣ, гдѣ онъ излагаетъ обще-культурныя условія, въ которыхъ развивалась русская церковная архитектура) на рѣдкость свѣжи и богаты мыслью; всякій, кто интересуется русскимъ искусствомъ, найдетъ у него немало для себя вполне неожиданнаго и новаго. Главной же заслугой Брунова я считаю попытку найти въ развитіи древне-русской архитектуры единый стимулъ, единую тенденцію, заключающуюся въ подчеркиваніи органическаго роста, въ собираніи всѣхъ элементовъ зданія вокругъ вертикальнаго стержня и приводящую въ различныхъ формахъ — отъ кievскихъ, владимирскихъ, деревянныхъ сѣверныхъ до шатровыхъ и нарышкинскихъ черквей — къ чему то вродѣ русской готики. Быть можетъ попытка

эта и не воплотѣ удачна, но все же именно она дѣлаетъ появленіе этой превосходной работы настоящимъ событіемъ въ историческомъ изученіи русскаго искусства да, можетъ быть, и просто въ русской историографіи.

В. Вейдле.

*Inna Lubimenko. Les relations commerciales et politiques de l'Angleterre avec la Russie avant Pierre le Grand. Bibliothèque de l'École des Hautes Etudes. Paris, 1933. p. XX+307.*

Г-жа И. Любименко давно уже занимается исторіей торговыхъ и политическихъ сношеній Англии съ Московскимъ государствомъ. За время отъ 1912 г. ею напечатано по данному вопросу не менѣе 17 работъ, и настоящая книга, посланная ею въ рукописи изъ Петербурга въ Парижъ въ «Школу высшихъ наукъ» въ качествѣ дипломной работы, является, такимъ образомъ, результатомъ многолѣтнихъ научныхъ изысканій ея автора. Въ основѣ этого труда лежатъ не только исчерпывающее знакомство съ научной литературой вопроса и печатнымъ документальнымъ матеріаломъ, но и кропотливые поиски во многихъ русскихъ и еще болѣе многочисленныхъ англійскихъ архивныхъ хранилищахъ.

Съ большою полнотой рассказываетъ г-жа И. Любименко о всѣхъ перипетіяхъ англо-русскихъ сношеній, начиная съ неожиданнаго для русскихъ, и еще болѣе неожиданнаго для самихъ англичанъ, появленія въ 1553 г. въ устьѣ Сѣверной Двины перваго англійскаго корабля, отплывшаго подъ начальствомъ Ченслора изъ Англии въ поискахъ сѣверо-восточнаго пути къ Китаю и Индію, и кончая закатомъ англійской «Московской компаніи» во 2-ой половинѣ XVII в. Самая структура «Московской компаніи», хартия, дарованная ей англійскими королями, жалованная грамоты Московскихъ государей, характеръ и предметы англійской торговли въ Россіи, взаимоотношенія русскихъ и англичанъ, дипломатическія сношенія русскихъ и англійскихъ монарховъ другъ съ другомъ, ихъ личная переписка, первые промышленныя предпріятія англичанъ въ Россіи, ихъ роль въ созданіи арміи ипоземнаго строя и т. д., все это нашло у г-жи И. Любименко документальное и убѣдительно освѣщеніе.

При неизбежной сухости матеріала автору все же удалось во многихъ отношеніяхъ сдѣлать свою книгу интересной далеко не для однихъ только специалистовъ. Живыми встаютъ у нея типично-англійскія, суровыя фигуры такихъ людей, какъ Ченслоръ, Дженкинсонъ и Рандольфъ. Совершенно эпическое впечатлѣніе оставляетъ ея рассказъ о томъ, какъ упорно, не взирая ни на какія препятствія и вышнія опасности, англичане стремились проникнуть черезъ Московское государство, по Волгѣ и Каспійскому морю, въ Персію или

найти морской путь на востокъ вдоль Сибирскихъ береговъ. Много типичныхъ живыхъ черточекъ отмѣчаетъ г-жа И. Любименко и у московскихъ людей, входившихъ въ торговыя и политическія сношенія съ англичанами.

Конечно, основные факты, о которыхъ повѣствуетъ И. Любименко были хорошо извѣстны и до появленія настоящей книги. Но и помимо новыхъ, неизвѣстныхъ деталей автору удалось въ настоящей работѣ, какъ и въ предшествующихъ своихъ трудахъ, освѣтить отдѣльные сравнительно мало изслѣдованные вопросы и болѣе общаго характера. Хорошо извѣстны, напримѣръ, тѣ притязанія на русскую территорію, которыя по праву ли сильнаго или въ награду за дружественную интервенцію предъявляли въ эпоху «Смутнаго времени» поляки и шведы; но совпадающій съ ними по времени англійскій планъ расчлененія Россіи несомнѣнно мало знакомъ широкой публикѣ. Проектъ такого расчлененія, переданный черезъ посредство англійскаго посла Меррика, доносившаго, что многие русскіе сами жаждутъ, чтобы весь сѣверъ Россіи до Волги, весь бассейнъ Волги до Каспія отошли подъ власть Англій, серьезно обсуждался въ «Тайномъ Совѣтѣ» короля и встрѣтилъ полное сочувствіе у Якова I Стюарта, принявшаго даже первыя мѣры къ его осуществленію. Съ этимъ планомъ конкурировалъ другой, казавшійся нѣкоторымъ англичанамъ болѣе доступнымъ: собрать 6000 вооруженныхъ людей и, пользуясь русской разрухой, ограбить Соловецкій монастырь.

При всѣхъ несомнѣнныхъ достоинствахъ книга И. Любименко способна тѣмъ не менѣе вызвать и нѣкоторыя возраженія. Быть можетъ, это неизбежный результатъ многолѣтней спеціализаціи автора по одному историческому вопросу, но общій историческій фонъ тѣхъ событій и отношеній, о которыхъ она говоритъ въ своей книгѣ, освѣщенъ у нея слишкомъ слабо и случайно. Между тѣмъ шире обрисованная историческая перспектива позволила бы прежде всего объяснить кое-какія стороны англо-русскихъ отношеній болѣе глубокими причинами и вообще сдѣлала бы многое болѣе понятнымъ. Иначе, напримѣръ, неоднократныя указанія автора на «русскую некультурность» рискуютъ, въ особенности для французскаго читателя, утратить свой относительный, историческій, характеръ и превратиться въ нѣкую сущность «славянскій души». Жаль также, что авторъ мало затрагиваетъ тему о чисто культурной роли англичанъ въ Россіи, хотя русскіе источники позволяли ему сказать по этому вопросу гораздо больше, чѣмъ онъ это сдѣлалъ. Не только русскій крестьянинъ тѣхъ областей, по которымъ въ XVI и XVII вв. пролегла англійскіе, а затѣмъ и голландскіе, торговыя пути, былъ въ эту эпоху гораздо зажиточнѣе своихъ потомковъ 2-ой половины XIX в., но и жители тѣхъ городовъ, въ которыхъ были расположены главнѣйшія англійскія и голландскія торговыя факторіи, въ частности Ярославля, несомнѣнно испытали на себѣ силу непосредственнаго воздѣйствія иностранной культуры даже въ области искусства.



Но, конечно, эти замѣчанія ни въ какой мѣрѣ не колеблютъ той положительной оцѣнки, на которую имѣетъ неоспоримое право интересней и серьезней трудъ И. Любименко, являющийся въ русской историографіи первымъ обобщающимъ научнымъ произведеніемъ по исторіи англо-русскихъ сношеній XVI-XVII вв.

Д. М. Одинецъ.

**Проф. С. Н. Прокоповичъ.** Идея планированія и итоги пятилѣтки, съ предисловіемъ П. Н. Милюкова. Изд. РДО. Парижъ, 1934. Стр. 115.

*Otto Auhagen.* Die Bilanz des ersten Fünfjahrplanes der Sowjetwirtschaft. Osteuropa-Institut in Breslau. Heft 12. Verl. Priebsch's Buchhandlung Breslau. 1933. S. 75.

Пятилѣтка отходитъ въ исторію и начинаютъ появляться работы, имѣющія цѣлью резюмировать ея результаты. Небольшія книги о пятилѣткѣ двухъ весьма авторитетныхъ изслѣдователей русскаго хозяйства, проф. С. Н. Прокоповича и Отто Ауагена, заслуживаютъ вниманія въ первую очередь.

Работа проф. Прокоповича посвящена главнымъ образомъ задачѣ теоретическаго освѣщенія результатовъ пятилѣтки. Эта задача заслуживаетъ большаго вниманія. Но при всякой попыткѣ ея рѣшенія надо имѣть въ виду, что совѣтское хозяйство совершенно своеобразно: подобнаго ему не было и нѣтъ на свѣтѣ. Такимъ образомъ, попытка теоретическаго освѣщенія совѣтскаго хозяйства должна основываться на анализѣ совѣтской-же дѣйствительности. Вмѣсто этого проф. Прокоповичъ сталъ искать разгадки проблемъ совѣтскаго хозяйства при помощи теоретическихъ конструкций иностранныхъ ученыхъ, исходящихъ изъ хозяйства высоко развитого капитализма и совершенно не имѣющихъ въ виду совѣтскаго хозяйства. Этотъ путь не обѣщаетъ успѣха.

Если проф. Прокоповичъ все-же полагаетъ, что развитіе русскаго хозяйства подъ пятилѣтской будто-бы подтвердило извѣстныя теоретическія конструкции проф. Шмаленбаха, то съ этимъ трудно согласиться. «Главною и основною причиною невыполненія плана, читаемъ мы у проф. Прокоповича, является націонализация и подчиненіе режиму государственнаго монопольнаго хозяйства тысячъ фабрикъ, среднихъ и мелкихъ промышленныхъ предприятий, для этого режима совершенно непригодныхъ. Изъ теоріи Шмаленбаха слѣдуетъ, что созрѣвшими для монопольнаго режима нужно считать только тѣ промышленныя предприятия, въ которыхъ постоянныя издержки производства превосходятъ переменныя. Таковы нефтяныя промыслы, каменноугольное дѣло, черная металлургія, добыча электрической энергіи». Въ дѣйствительности, какъ разъ черная металлургія дала наибольшіе прорывы въ планѣ, которые въ связи съ недостаточной добычей угля немало содѣйствовали всеобщей дезорганизации народнаго хозяйства.

Теоретическія конструкции, относящіяся къ капиталистическому хозяйству, и исторія совѣтскаго хозяйства до пятилѣтки занимають большую часть книги проф. Прокоповича; собственно пятилѣткѣ въ ней посвящено лишь 40 страницъ, на которыхъ трудно охватить такую большую тему. Почтенный авторъ предисловія особенно рекомендуетъ вниманію читателей включенныя въ книгу таблицы. Однако, таблицы, построенныя на совѣтскомъ матеріалѣ, даже прошедшемъ черезъ внимательный контроль автора, все-же содержатъ въ себѣ еще много и ненадежнаго, и условнаго; специалистъ въ такихъ таблицахъ найдетъ, но средній читатель, пожалуй, можетъ на ихъ основаніи прийти къ ошибочнымъ заключеніямъ.

При освѣщеніи совѣтскаго хозяйства С. Н. Прокоповичъ не склоненъ провести рѣзкую черту между нимъ и хозяйствомъ капиталистическимъ; и это не можетъ не привести къ недоразумѣніямъ и къ ошибочнымъ выводамъ. Такъ, С. Н. Прокоповичъ пользуется выраженіемъ «товарный голодъ». Однако, ни въ старой Россіи, и ни въ одной капиталистической странѣ ни въ періоды величайшей prosperity, ни въ періоды глубочайшаго кризиса никакого «товарнаго голода» никогда не ощущалось. Очевидно, что «товарный голодъ» является совершенно специфической особенностью совѣтскаго плановаго хозяйства и безъ особыхъ оговорокъ пользоваться этимъ терминомъ нельзя.

Другой примѣръ. Въ табл. къ стр. 87 и на стр. 89 проф. Прокоповичъ пользуется общими (и притомъ поразительно низкими) индексами цѣнъ за годы пятилѣтки и дѣлаетъ на ихъ основаніи очень отвѣтственные выводы. Мы однако не представляемъ себѣ, какимъ образомъ вообще возможно вывести общій индексъ цѣнъ для хозяйства, въ которомъ имѣется по крайней мѣрѣ пять системъ цѣнъ: 1) цѣны, платимыя государствомъ крестьянамъ по принудительнымъ изыятіямъ, 2) цѣны нормальнаго фонда, 3) цѣны среднеповышеннаго фонда, 4) цѣны коммерческаго фонда, 5) базарныя цѣны и т. д.), различающіяся между собою часто въ 10-20 разъ. И кромѣ того, по отношенію къ этому распределительному, «спайковому» хозяйству индексы цѣнъ конечно не могутъ имѣть того значенія, которое они имѣютъ по отношенію къ рыночному хозяйству.

На стр. 93 и 94 проф. Прокоповичъ подходит къ вопросу о томъ, является-ли совѣтское хозяйство капиталистическимъ или социалистическимъ. Указывая, что большинство иностранныхъ авторовъ называютъ совѣтское хозяйство социалистическимъ, авторъ противъ этого возражаетъ на томъ основаніи, что совѣтскія хозяйственныя организаціи «не способны развивать производительность труда и снижать себѣстоимость производства». Мы не думаемъ, чтобы указанныя свойства можно было считать конститутивными въ понятіи социалистическаго хозяйства: капиталистическая организація хозяйства весьма благоприятна для развитія производительности труда. Считаесть-ли проф. Прокоповичъ совѣтское хозяйство капиталистическимъ, остается невыясненнымъ, но онъ очень часто обращается съ матеріала-

ми о совѣтскомъ хозяйствѣ такъ, какъ будто-бы оно было капиталистическимъ.

Въ общемъ книга С. Прокоповича мало подходитъ для широкаго круга читателей. Наоборотъ, для специалистовъ нѣкоторые расчеты и выкладки проф. Прокоповича о результатахъ пятилѣтки могутъ быть полезны.

Бывшій экономическій экспертъ Германіи въ Москвѣ, проф. **Отто Ауагенъ** не задается цѣлью освѣтить теоретически проблему совѣтскаго хозяйства. Его небольшая книга представляетъ собою попытку резюмировать результаты пятилѣтки въ области промышленности и сельскаго хозяйства. Совѣтскій статистическій матеріалъ подвергается критической переработкѣ; многолѣтнее непосредственное знакомство съ русской дѣйствительностью значительно облегчаетъ автору эту нелегкую задачу. Изложеніе весьма систематично и отчетливо. Текстъ дополненъ вынесенными въ приложение 21 таблицей; источникъ каждой цифры точно документированъ.

Въ своихъ выводахъ проф. Ауагенъ очень сдержанъ. Въ заключеніи книги мы читаемъ: «Въ общемъ, политика пятилѣтки ввергла я городъ и деревню въ большую нужду. Правда, въ области промышленности количественно достигнуто многое; точно также политика индустриализаціи несомнѣнно многое сдѣлала въ смыслѣ подготовки техническихъ цѣнныхъ рабочихъ кадровъ. Но затраты по созданію новой индустріи легли тяжкимъ бременемъ на населеніе. Новыя фабрики въ значительной части съ хозяйственной точки зрѣнія не обособиваны».

Въ книгѣ проф. Ауагена собранъ громадный, тщательно документированный матеріалъ. Надо пожелать ей самаго широкаго пространства.

Б. Бруцкусъ.

*Vladimir P. Timoshenko. World agriculture and the depression. Michigan Business Studies. Ann Arbor. 1933.*

Если книга Тимошенко, несмотря на нѣкоторую сухость изложенія, читается все-же съ большимъ интересомъ, то это потому, что она касается важныхъ структурныхъ измѣненій въ сельскомъ хозяйствѣ, явившихся чуть-ли не первопричиной мірового экономическаго кризиса. Новый трудъ нашего соотечественника, обладающаго безспорной эрудиціей въ области аграрной и торговой политики, вызванъ отчасти внутренней американской полемикой о значеніи «дежнежнаго фактора» при возникновеніи мірового аграрнаго кризиса въ 1929 и 1930 году. Авторъ считаетъ, что финансовыя затрудненія аграрныхъ странъ въ моментъ наступленія кризиса не могли быть основной причиной катастрофическаго паденія цѣнъ на мировомъ рынкѣ. Съ этимъ положеніемъ онъ связываетъ чрезвычайно важный выводъ, что пониженіе бремени долговъ сознательнымъ обезцѣненіемъ денегъ не можетъ привести къ преодоленію кризиса, вызваннаго от-

нодь не «депезнымъ факторомъ», а фатальнымъ разрывомъ между спросомъ и предложениемъ на рынкѣ с.-х. продуктовъ. Иными словами, Тимошенко какъ-бы становится въ оппозицію къ «эксперименту» Рузвельта, который предполагаетъ бороться съ перепроизводствомъ зерна и сырья главнымъ образомъ повышениемъ покупательной способности населения и уменьшениемъ задолженности фермеровъ мѣрами валютной и финансовой политики. Какъ-же объясняетъ авторъ возникновение мирового аграрнаго кризиса, приведшаго къ падению общаго уровня цѣвъ въ сферѣ с.-х. производства, почти на 60%?

Тимошенко указываетъ, что значительное падение цѣвъ на сырье и зерно стало замѣчаться еще въ периодъ хозяйственного подъема, задолго до финансовой катастрофы 1929 г., когда не могло быть и рѣчи объ отсутствіи свободныхъ капиталовъ въ аграрныхъ странахъ. Наоборотъ, какъ разъ изобиліе свободныхъ средствъ сдѣлало возможнымъ накопленіе ненужныхъ запасовъ и расширение площади посѣвовъ безъ достаточнаго учета продуктивности затратъ. Авторъ совершенно правъ, когда утверждаетъ, что финансовая катастрофа въ 1929 году была не причиной, а скорѣе слѣдствіемъ обезцѣленія с.-х. продуктовъ, перепроизведенныхъ съ помощью дорогого иностраннаго кредита. Одновременно обнаружилось значительное паденіе спроса на зерно и мясные продукты въ промышленныхъ странахъ Европы, вступившихъ на путь аграрнаго протекціонизма. Вплоть до 1929-го года разрывъ между спросомъ и предложениемъ на рынкѣ с.-х. продуктовъ маскировался притокомъ иностранныхъ капиталовъ въ аграрныя страны, накопивши большіе запасы непроданнаго зерна и сырья.

Положеніе рѣзко измѣнилось въ 1929 и 1930 году, когда внезапное и сильное паденіе экспорта пшеницы изъ Аргентины, Канады и Австраліи, урожай хлѣбовъ въ Европѣ и небывалое перепроизводство кофе въ Бразиліи вывели изъ искусственнаго равновѣсія хозяйство большинства задолженныхъ странъ. Банкротство крупнѣйшихъ производителей пшеницы и сырья, совпавшее съ большими финансовыми потрясеніями въ Америкѣ, имѣло своимъ слѣдствіемъ повсемѣстный кризисъ кредита, крушеніе золотого стандарта, значительное сжатіе свободныхъ капиталовъ, внезапное обнаруженіе ненужныхъ товарныхъ резервовъ и новое катастрофическое паденіе цѣвъ на с.-х. продукты. Послѣ этой катастрофы покупательная способность аграрныхъ странъ сильно понизилась и промышленныя страны лишились прежней возможности развивать свой экспортъ. Въ общемъ врядъ-ли можно сомнѣваться, что мировой аграрный кризисъ былъ вызванъ въ первую очередь возстановленіемъ зернового хозяйства въ промышленныхъ странахъ Европы, механизацией сельскаго хозяйства и перепроизводствомъ пшеницы и сырья съ помощью заемнаго капитала въ аграрныхъ странахъ.

Намъ думается, что главная заслуга Тимошенко заключается не въ попыткѣ намѣтить пути, ведущіе къ преодоленію кризиса; — ав-

торь, напр., вѣрить въ готовность промышленныхъ странъ отказаться отъ аграрнаго протекціонизма послѣдняго времени, — а въ основательномъ и кропотливомъ изслѣдованіи многочисленныхъ причинъ, вызвавшихъ катастрофическое паденіе цѣвъ на мировомъ рынкѣ с.-х. продуктовъ.

Б. С. Ижболдинъ.

**Отто Бауэръ.** Возстаніе австрійскихъ рабочихъ. Его причины и слѣдствія. — Переводъ и вводная статья Ф. Дана. Парижъ, 1934.

Признанный лидеръ не однихъ только австрійскихъ социалистовъ, но и всего лѣваго крыла въ международномъ социализмѣ и Второмъ Интернаціоналѣ написалъ очень интересную и поучительную брошюру. Вся она, по характеристикѣ ея переводчика на русскій языкъ, — «еще обильна пороховымъ дымомъ битвъ, возбужденіемъ боя, преклоненіемъ передъ героизмомъ борцовъ, горечью поражений, болью за погибшихъ и плѣнныхъ». Этой «горечи» и «боли» соотвѣтствуетъ, естественно, и минорно-элегическій тонъ, который такъ отличаетъ ее отъ «вводной статьи» Ф. Дана, написанной въ бравурномъ мажорѣ, съ участіемъ барабановъ и трубъ.

Среди поучительнаго матеріала, содержащагося въ послѣдней работѣ Бауэра, надлежитъ прежде всего отмѣтить впервые подчеркнутую имъ необыкновенную покладистость, или оппортунистичность австрійской социаль-демократіи.

Придавая насилью лишь «оборонительное» значеніе, для «защиты» уже существующихъ правъ и свободъ, а отнюдь не для завоеванія новыхъ, партія Бауэра всячески стремилась найти мирный выходъ изъ положенія. Она шла, дѣйствительно, на очень большія уступки: соглашалась, при извѣстныхъ условіяхъ, на предоставленіе правительству Дольфуса чрезвычайныхъ полномочій на два года; шла навстрѣчу даже идеѣ «корпоративнаго» переустройства Австріи. — «Лишь бы сдѣлать возможнымъ соглашеніе. Все было напрасно. Дольфусъ отклонялъ какіе бы то ни было переговоры».

Если социалисты въ Австріи «держали наготовѣ оружіе», то только на тотъ единственныи случай, что «фашисты или монархисты попытаются ниспровергнуть республику, отнять у нея всеобщее и равное избирательное право и право свободной пропаганды нашихъ идей, лишитъ рабочий классъ возможности бороться за преобразованіе общества мирными средствами демократіи».

Не мы, конечно, станемъ вѣнчать Бауэру въ вину эту его готовность всѣми мѣрами предупредить гражданскую войну и искать соглашенія на путяхъ мирнаго разрѣшенія конфликта. Наши недоумѣнія — и упреки — совѣсть иные: понимая необходимость соглашенія даже съ правительствомъ Дольфуса, соглашаясь на уступки у себя, въ Австріи, какъ могли «австро-марксисты» занимать столь доктринерски-непримиримую позицію въ Интернаціоналѣ? Какъ могъ Бауэръ совѣщать въ своемъ лицѣ и въ своей идеологіи революціон-

но-наступательную политику (вплоть до единого фронта с коммунистами) применительно к социалистамъ Франціи, Германіи и т. д. и проводить оборонительно-реформистскую въ Австріи?!

Мы ставимъ этотъ вопросъ не для запоздалаго лишь осужденія за прошлое, а потому, что съ пораженьемъ «австро-марксистовъ» въ Австріи ихъ роль и влияніе на судьбы международнаго и анти-большевицкаго социализма отнюдь, конечно, не кончается.

Въ отношенія къ прошлому Бауэръ и самъ отмѣчаетъ рядъ ошибокъ, допущенныхъ руководимой имъ партией. Тутъ и ошибки «лѣваго уклона», откинувшія христіанскихъ демократовъ въ лагерь хаймвера и обусловившія возможность ихъ коалиціоннаго наступленія на социаль-демократію. Тутъ и ошибка «праваго уклона», которую Бауэръ видитъ въ томъ, что «мы отшатнулись отъ перспективы боя и надѣялись найти мирный выходъ путемъ переговоровъ» — и тогда, когда «мы, можетъ быть, могли побѣдить».

Пораженіе, оказавшееся, видимо, неизбѣжнымъ въ февралѣ текущаго года, можетъ быть, не имѣло бы мѣста, думаетъ Бауэръ, если бы возстаніе произошло въ другое время и въ другой обстановкѣ; въ частности, — 11 мѣсяцевъ раньше, 15 марта прошлаго года, когда Дольфусъ ликвидировалъ дѣятельность австрійскаго парламента, и когда еще не было «свѣше трети рабочихъ выкинутыхъ изъ производства, и другихъ, дрожащихъ за свои мѣста».

Не будемъ изобличать Бауэра въ томъ, что его рабочая гипотеза кричаще противорѣчитъ общему построенію его брошюры: имъ же изложенной тактикѣ австрійскихъ социалистовъ, ихъ отношенію къ насилію и т. д. Отмѣтимъ только его собственный отвѣтъ на эту гипотезу, правда, риторическій: «Да можно ли было вообще предотвратить торжество контръ-революціи въ Австріи послѣ побѣды фашизма въ Австріи?.. Если бы мы выступили 15 марта 1933 г., не вѣдала ли бы тогда гражданская война коалицію между черными и коричневыми фашистами, тогда еще далеко не такъ перессорившимся, какъ теперь, и не сдѣлала ли бы она Гитлера владыкой Австріи?..»

Если гадать о томъ, что было бы, если бы случилось не то, что случилось, можно утверждать, что и нынѣшнее пораженіе было не столь фаталистически-неизбѣжно, и въ прошломъ году побѣда вовсе не была такъ обезпечена. Ибо, помимо объективныхъ причинъ, затруднявшихъ и способствующихъ пораженію — или побѣдѣ, — всегда оставался субъективный и до конца неучитываемый моментъ вѣчно измѣнчивой психологіи населенія, сочувствующихъ, нейтральныхъ, партизановъ. Партія Бауэра явно не угадала настроенія громаднаго большинства желѣзнодорожныхъ и другихъ рабочихъ Австріи, оставшихся безучастными къ ея призыву къ стачкѣ. Она не внесла необходимой поправки на несоотвѣтствіе между пассивно-голосующими за социаль-демократію (на послѣднихъ выборахъ 1932 г. — 41%) и активно — на животь и на смерть — исполняющими директивы партіи. Эту причину, сопутствующую всѣмъ политическимъ

удачамъ и неудачамъ массоваго движенія, Бауэръ почему-то не принялъ во вниманіе. Конечно, австрийская социаль-демократія не хотѣла гражданской войны; конечно, возстаніе было въ значительной части спроводировано. Все же, если ей и рабочему классу «остался лишь выборъ между позорной капитуляціей или отчаяннымъ сопротивленіемъ», въ какой-то мѣрѣ къ этому «причинно» и за это отвѣтственно и политическое руководство. И даже если не въ его силахъ было предотвратить эту альтернативу и уклониться отъ провокаціи, — оно причинно и отвѣтственно за произведенный выборъ. Между позоромъ капитуляціи и отчаяніемъ сопротивленія Бауэръ определенно выбралъ — и заднимъ числомъ оправдываетъ, а Данъ такъ просто прославляетъ, — отчаяніе!

И въ этомъ политическое остріе проблемы. Пораженіе потерпѣли одинаково и реформистская германская социаль-демократія, и революціонная австрийская. Чье пораженіе хуже? Можно быть разнаго мнѣнія по этому вопросу. Врядъ-ли только и въ пораженіи австро-марксистовъ можно усмотрѣть основаніе для побѣдоносности ихъ торжества надъ реформистами, какъ это дѣлаетъ органъ русскихъ «австро-марксистовъ» — «Соціал. Вѣстникъ». Можно героизму Коломана Валиша отдавать предпочтеніе передъ пассивнымъ мученичествомъ Іоганнеса Штеллинга. Но только искажая факты и извращая политическую перспективу, можно утверждать, что физически разгромленный гитлеровской диктатурой германскій реформизмъ нынѣ «морально добить» австрийскимъ возстаніемъ, что «примѣръ (какой примѣръ?..) австрийской социаль-демократіи ликвидируетъ (!) германскій реформизмъ окончательно» («С. В.» № 5/6).

По сравненію съ такимъ легкомысленнымъ и фракціоннымъ сужденіемъ, насколько же глубже и отвѣтственнѣе сужденіе самого Бауэра, когда онъ ставитъ вопросъ объ общихъ причинахъ неудачъ, постигшихъ современное социалистическое движеніе, безотносительно къ разнообразію конкретныхъ формъ этихъ неудачъ. — Венгерская социаль-демократія въ 1919 г. и итальянская до 1922 г. вели «лѣвую», коммунистическую политику, — и въ обѣихъ странахъ она закончилась катастрофой. Наоборотъ, германская социаль-демократія избрала очень «государственный», очень національный, очень «правый» путь, — и она тоже была разбита. Мы въ Австріи вытѣснили итд. среднимъ путемъ, между итальянско-венгерскою и германскою крайностями, — и тоже разбиты. Очевидно, причины поражений рабочаго класса лежатъ глубже, чѣмъ въ тактикѣ ихъ партій, глубже, чѣмъ въ отдѣльныхъ тактическихъ ошибкахъ.

Каждый по своему, конечно, отвѣтитъ на это размышленіе. Во всякомъ случаѣ торжество правыхъ диктаторовъ находится въ прямой связи — объясняется и въ значительной мѣрѣ оправдывается — съ террористической диктатурой большевиковъ. Нельзя, однако, отрицать и того, что и террористическая тактика Гитлерова и Дольфусова отпущается частью тѣмъ, кто стремится къ безлошадному уничтоженію строя, узаконяющаго нынѣшніе режимы въ Гер-

мани, Австріи, Італіи, Турціи и т. д. Если Муссолини съ Гитлеромъ многое позаимствовали у Ленина со Сталинымъ, то и почитателямъ послѣднихъ, если имъ суждено смѣнить Гитлера съ Дольфусомъ, будетъ что позаимствовать у этихъ послѣднихъ. Пагубность и зло-вредность содѣяннаго Дольфусомъ и его окруженіемъ явствуется уже изъ того, что и умѣренные круги рабочаго социалистическаго движенія откидываются на крайній лѣвый флангъ, — «реформистская фетишизація государственной демократіи», къ удовлетворенію «Сон. Въстаника», замѣщается все болѣе крикливыми призывами къ «единому фронту» съ коммунистами.

Событія въ Австріи озарили молниеноснымъ, убійственнымъ свѣтомъ хаосъ, въ который все неумолимѣе ввергается Европа. И въ самомъ дѣлѣ, если «свѣточами» для современнаго европейца могли стать Сталинъ и Гитлеръ, — для однихъ одинъ, для другихъ другой, а для третьихъ, есть и такіе, тотъ и другой — почему бы и крохотному Дольфусу не оказаться главной надеждой и опорой мира, порядка и христіанской культуры въ срединной Европѣ 1934 г.?!

М. В. Вишнякъ.

Out of the deep. Letters from Soviet Timber Camps. With an Introduction by High Walpole. Geoffrey Bles Publ. London, 1934.

Поистинѣ, вопль изъ глубины бездны, de profundis — эти нѣсколько десятковъ писемъ отъ сосланныхъ на совѣтскія лѣсозаготовки крестьянъ менонитовъ. Но менониты и въ этомъ аду были все же сравнительно въ лучшемъ положеніи, они не потеряли связи съ внѣшнимъ міромъ, получали кое-какую помощь изъ Европы и Америки. Совсе безгласно и уже безъ всякой надежды на спасеніе гибнеть на совѣтской каторгѣ огромная масса русскихъ крестьянъ, въ мученіяхъ несказуемыхъ. Публикуемья сейчасъ по англійски письма менонитовъ ставятъ передъ цивилизованнымъ міромъ всю проблему въ цѣломъ.

Сколько ихъ, этихъ несчастныхъ, посланныхъ большевиками на смертную муку въ лѣсныя дебри сѣвера? Во всякомъ случаѣ, милліоны. Страшныя цифры, взятая изъ совѣтскихъ источниковъ, приводитъ въ предисловіи редакторъ сборника, Н. Walpole. По даннымъ Нар. Комиссаріата Труда общее число сосланныхъ на принудительныя работы «раскулаченныхъ» крестьянъ въ 1930-1931 гг. достигало 4-5 милл. Другое официальное учрежденіе, словно въ изтѣвку именуемое Нар. Ком. «Здравоохраненія», кладнокровно регистрируетъ, что смертность среди ссыльныхъ на лѣсозаготовкахъ достигала въ это время 60-70% общаго ихъ числа!.. Иными словами, только за два года совѣтскому правительству удалось выморить на лѣсныхъ каторжныхъ работахъ около трехъ милліоновъ негодныхъ ему подданныхъ...



Цифра чудовищная, почти невѣроятная. Но прочтя показанія, живыхъ свидѣтелей (подлинность писемъ удостоверена извѣстнымъ профессоромъ В. Pares, редакторомъ Slavonic Review), приходится дивиться, что еще какая то часть ссыльныхъ могла все же жить въ этой обстановкѣ.

Письма менонитовъ просты и безхитростны, поражаютъ своимъ незлобьемъ. Каждое изъ нихъ описываетъ лишь то, что переживали данная семья. Но собранныя вмѣстѣ, они рисуютъ общую и повсюду одинаково ужасную картину совѣтской лѣсной каторги.

Физическое истребленіе миллионовъ «раскулаченныхъ» крестьянъ входитъ, надо полагать, въ какіе-то дьявольскіе планы большевиковъ: не исполненіе ли это лозунга ликвидація кулачества какъ класса? Во всякомъ случаѣ, сознательно поставивъ ссылаемыхъ въ условія, при которыхъ жизнь невозможна биологически, большевики не могли не предвидѣть послѣдствій. Заброшенные въ лѣсную глушь сѣвера, гдѣ зимніе холода доходятъ до 30-40°, полураздѣтые, съ обмороженными руками и ногами, истощенные голодомъ люди, въ томъ числѣ дѣти отъ 12-13 лѣтъ, женщины и старики до 60 лѣтъ, надрываются надъ явно непосильной для нихъ работой по 16 часовъ въ сутки, подъ жестокимъ понужденіемъ вооруженной стражи. Но главная роль въ уничтоженіи ссыльныхъ предоставленъ голоду. Пайекъ въ большинствѣ случаевъ — всего 300-400 гр. (менѣе 1 фунта!) хлѣба и горсть (30 гр.) какой-нибудь крупы на взрослого рабочаго въ день. И ничего больше, ни мяса, ни жировъ. Изъ этого же, и безъ того недостаточнаго пайка лѣсорубъ долженъ прокормить еще и неработоспособныхъ членовъ своей семьи, малыхъ дѣтей, больныхъ, стириковъ, на которыхъ пайковъ не полагается, ибо «кто не работаетъ, тотъ и не ѣстъ». Но работнику, обезсилѣвшему отъ недоѣданія и потому не выполнившему своего каторжнаго урока (3-4 куб. метра дерева въ день), въ наказаніе еще уменьшаютъ его голодный пайекъ... или заставляютъ доканчивать работу по ночамъ, бросаютъ на ночь въ холодный карцеръ и т. п.

Можно ли выжить при такихъ условіяхъ? Еще лѣтомъ голодные люди, подобно дикимъ животнымъ, питаются лѣсными травами и древесной корой. Зимой — просто гибнутъ массой, падая мертвыми во время работы; ихъ тутъ же, снявъ одежду, зарываютъ, даже не въ землю, а въ снѣгу. Сотнями тысячъ вымираютъ отъ голоду и непосильнаго рабаго труда, уцѣлѣвшихъ коситъ тифъ и цанга.

«Почему молчить міръ?» — изумляется одинъ болѣе интеллигентный ссыльный, наввно обращаясь съ мольбой о помощи, во имя Божіе, къ Лигѣ Націй, «къ братьямъ всѣхъ національностей». Да, почему молчать мировое общественное мнѣніе, почему, столь горячо возмущаясь фашистскимъ и гитлеровскимъ режимомъ, остается оно равнодушнымъ передъ лицомъ неслыханныхъ, ни съ чѣмъ въ исторіи несравнимыхъ злодѣяній совѣтской власти? Почему именно лѣвые общественные круги Европы и Америки, кичащіеся преданностью идеямъ свободы и справедливости, особенно слѣпы и глухи

къ страданіямъ русскаго народа и въ то же время такъ иногда постыдно заискиваютъ передъ его палачами? (Почему въ частности такъ наз. II Интернаціональ въ своемъ майскомъ манифестѣ, сурово клеймя жестокіе порядки въ Италіи, Германіи и Австріи, не находитъ ни слова для протеста противъ сверхъ-террористическаго режима большевиковъ (и особый вопросъ, какъ могутъ съ этимъ мириться для чего то представляющія Россію въ этомъ Интернаціоналѣ пресловутыя «заграничныя делегации» русскихъ социалистическихъ партій)?)

Очевидно, съ «мировою совѣстью» дѣло въ наше время обстоитъ далеко не благополучно... Тѣмъ выше приходится цѣнить благородный починъ отдѣльныхъ великодушныхъ людей, время отъ времени нарушающихъ образовавшійся вокругъ русской трагедіи широкій заговоръ молчанія.

В. Рудневъ.

W. Ch. Huntington. The homesick Million. Russia-out-of-Russia. The Stratford Comp. Publ. Boston. 1933.

У русской эмиграціи не такъ много подлинныхъ друзей на чужбинѣ и появленіе иностранной книги, посвященной «Зарубежной Россіи», должно быть отмѣчено съ чувствомъ особой признательности къ ея автору.

W. Ch. Huntington — бывший коммерческій атташе американскаго посольства въ Петроградѣ. Книга его является плодомъ обстоятельнаго положенія эмиграціи, произведеннаго авторомъ при содѣйствіи русскихъ организацій въ рядѣ странъ Европы и въ Америкѣ. Болѣе широкое поле наблюдений выгодно отличаетъ работу Хэнтингтона отъ близкихъ къ ней по характеру вышедшихъ три года тому назадъ книгъ французскихъ авторовъ, J. Delage и Ch. Ledré, посвященныхъ исключительно эмиграціи во Франціи. Авторъ описываетъ повседневный бытъ, занятія эмигрантской массы, господствующія въ ея средѣ политическія настроенія, ея культурныя достижения въ разныхъ областяхъ. Не избѣгаетъ онъ при этомъ понятной у иностраннаго наблюдателя нѣкоторой поверхностности. Слѣдуетъ однако отмѣтить и большую, по сравненію съ предыдущими авторами, независимость сужденій Хэнтингтона отъ одностороннихъ, правыхъ и лѣвыхъ, эмигрантскихъ настроеній. Авторъ съ доброжелательствомъ и симпатіей подчеркиваетъ мужество, съ которымъ русская эмиграція борется за существованіе и крѣпость духа, почерпываемую ею въ вѣрности оставленной родинѣ. Но онъ свободенъ отъ преувеличенныхъ оцѣнокъ ея значенія, которыя досадно читать, напр., у Delage, объявляющаго эмиграцію единственной «подлинной» Россіей — *la vraie Russie est en exil*. Благоразумно отказывается Хэнтингтонъ судить и о будущей роли эмиграціи въ Россіи: все зависитъ отъ того, какъ скоро ей придется возвратиться на родину и суждено ли ей это вообще.

Книга издана превосходно, цѣнность ея увеличивается благода-

ря прекраснымъ иллюстраціямъ. Она несомнѣнно явится полезнымъ для будущаго историка эмиграціи матеріаломъ, надъ собираніемъ и систематизаціей котораго не удосуживаются до сихъ поръ потрудиться сами эмигранты. Мало и фактическихъ погрѣшностей въ книгѣ, да и то мелкія, не нарушающія вѣрности общей картины, — право же, не важно, что Буинъ названъ Александромъ Ивановичемъ или Маклаковъ — Василіемъ Александровичемъ, и т. п.

Мы хотимъ остановиться здѣсь только на одной, но зато весьма важной, даже основной ошибкѣ книги, — въ которой, спѣшимъ оговориться, авторъ менѣе всего повиненъ, ибо въ этомъ онъ лишь повторяетъ распространенное среди самой эмиграціи заблужденіе, подкрѣпляемое къ тому же многочисленными «официальными» свидѣтельствами правительственныхъ учреждений и Верховнаго Комиссаріата Лиги Наций по дѣламъ бѣженцевъ. Это — вопросъ о численности русской эмиграціи, принимаемой Хэнтингтономъ въ миллионы душъ.

Можно было бы ограничиться лишь выраженіемъ сомнѣнія въ томъ, насколько точна эта цифра, ибо, какъ извѣстно, никакой спеціальной переписи русской эмиграціи, со всѣми гарантіями научной точности, никогда не производилось. Но легенда даже не объ одномъ, а о двухъ миллионѣхъ русской эмиграціи, культивируемая изъ ложнаго эмигрантскаго патріотизма, вовсе не настолько уже безвредна, чтобы ее игнорировать: обычно у эмигрантскихъ публицистовъ, особенно правыхъ, съ нею связываются и явно преувеличенные выводы о возможной политической роли эмиграціи. Легенда заслуживаетъ поэтому критическаго къ ней отношенія. Лишьшему эти строки приходилось, въ связи съ многолѣтней его работой въ крупной эмигрантской организаціи, Земгорѣ, пристально интересоваться общими проблемами эмиграціи и еще недавно, въ 1930 г., удалось проверить свои выводы во время спеціальной анкеты, произведенной имъ по порученію одной изъ комиссій при Верх. Ком. Лиги Наций. Мы не можемъ входить здѣсь въ подробности, отсылая интересующихся къ нашему докладу Верх. Комиссаріату\*) и здѣсь ограничимся лишь немотивированнымъ, но самымъ категорическимъ утвержденіемъ, что ни о двухъ и даже ни объ одномъ цѣломъ миллионѣ русскихъ эмигрантовъ въ Зап. Европѣ и рѣчи быть не можетъ, численность ихъ здѣсь никакъ не превышаетъ четырехсотъ тысячъ, а вѣрнѣе даже приближается всего лишь къ **тремъ** тысячамъ душъ...

Если это такъ, то падаетъ и обычное въ эмигрантской литературѣ, повторяемое и Хэнтингтономъ утвержденіе, будто бы современная русская эмиграція по своимъ размѣрамъ «не имѣетъ прецедентовъ въ исторіи». Это, конечно, невѣрно, если даже сравнивать только абсолютныя цифры, но особенно невѣрно, если принимать во вни-

\*) La situation des enfants des réfugiés russes et arméniens en 1930. Ed. Un. Int. de Sec. aux Enfants. Genève. 1931.

маніе процентное отношеніе числа эмигрировавшихъ къ общему населенію ихъ родины. Триста-четыреста тысячъ русскихъ эмигрантовъ представляютъ собою едва одну четвертую часть процента населенія Россіи, въ то время какъ, напр., французскихъ гугенотовъ, эмигрировавшихъ послѣ отмены Нантскаго эдикта въ 1685 г., насчитывалось 400-600 тыс., что составляло 2-3% по отношенію къ тогдашнему населенію Франціи. Французская эмиграція великой революціи XVIII в., насчитывавшая около 150 тыс., все же составляла 0,6% общей численности населенія Франціи того времени.

Излишнее значеніе, придаваемое такому чисто внѣшнему фактору, какъ численность, отвлекаютъ вниманіе отъ единственно важнаго критерія для оцѣнки историческаго значенія современной русской эмиграціи — степени ея творческой духовной напряженности и политической ея активности.

**В. Рудневъ.**

## СПИСОКЪ НОВЫХЪ КНИГЪ, ПОСТУПИВШИХЪ ДЛЯ ОТЗЫВА ВЪ РЕД. «СОВРЕМ. ЗАПИСОКЪ».

---

- Бюлл. Ред.-Педагогич. работы. № 1. 1934. Парижъ.  
Золотой Пятушокъ, № 1. 1934. Парижъ.  
Е. Кальбертсонъ. Контрактъ-Бриджъ. Таллинъ, 1934.  
С. Бѣлянинъ. Человѣкъ и судьба. Новеллы. Каунасъ, 1934.  
Русскій Пахарь, № 8-9. 1934. Харбинъ.  
Сергѣй Шаршунъ. Путь Правый. Романъ. Парижъ, 1934.  
Законъ и Судъ, № № 1 2 и 3, Рига, 1934.  
Записки Соц.-дем. № 23, Парижъ, 1934.  
Л. Червинская. Приближенія. Стих. Парижъ, 1934.  
П. Рогозинниковъ. Культурно-творческій обликъ И. С. Тургенева.  
Двинскъ, 1933.  
М. Юшкевичъ. Приключенія волшебнаго мальчика. Изд. Я. Поволоцкаго.  
Парижъ, 1933.  
Соц. Вѣстникъ. № № 4, 5-6, 7 и 8.  
Вѣсти. Союза русск. просв. Об-въ въ Эстоніи № 1-2, 1934.  
Проф. С. Н. Прокоповичъ. Идея планированія и итоги пятилѣтки. Изд.  
РДО. Парижъ, 1934.  
А. П. Медвѣжковъ. Клеймо. Романъ, Юрьевъ, 1934.  
Записки Русск. Научн. Инст. в Бѣлградѣ. Вып. 8. 1933.  
Б. Темиряевъ. Повѣсть о лустякахъ. Изд. Петрополисъ. 1934.  
Отто Бауэръ. Восстаніе австрійскихъ рабочихъ. Его причины и слѣд-  
ствія. Парижъ, 1934.  
Путь, № 42. Парижъ, 1934.  
Александръ Буровъ. Земля въ алмазахъ. Изд. «Парабола». 1934.  
Встрѣчи, № 4. Парижъ, 1934.  
Вѣра Буличъ. Маятникъ. Стихи. Гельсинфорсъ, 1934.  
В. Даватцъ. Правда о Струве. Бѣлградъ, 1934.  
*High Walpole*. Out of the deep. Letters from Soviet Timber Camps.

- Jana Lubtmenko.* Les relations commerciales et politiques de l'Angleterre avec la Russie avant Pierre le Grand. Ed. Champion, Paris, 1933.
- Keyserling.* La Révolution mondiale. Ed. Libr. Stock, Paris, 1934.
- Hippocrate,* N° N° 1 et 2, Paris, 1934.
- Baron E. Nolde.* L'Irak. Ed. Libr. Générale de Droit, Paris, 1934.
- CILLac,* N° 3-5, Bruxelles, 1934.
- Bull. Economique Russe,* N° 1. Paris, 1934.
- Minorité,* N° II et III. Genève, 1934.
- Orient. und Occident.* Heft 14 und 15. 1933-1934.
- Le Monde Slave,* N° 12, 1933, N° 1 1934, Paris.
- Prof. Marc Vichniac.* Le Statut International des Apatrides. Académie de Droit International, Paris, 1934.

# Из-во „Современныя Записки“

---

---

## ВЫШЛИ ВЪ СВѢТЪ:

- И. А. Бунинъ: Жизнь Арсеньева (Романъ).  
И. А. Бунинъ: Избранныя стихотворенія.  
И. А. Бунинъ: Божье древо.  
И. А. Бунинъ: Тѣнь птицы.  
Б. К. Зайцевъ: Анна (Романъ).  
М. А. Алдановъ: Ключъ (Романъ).  
М. А. Алдановъ: Десятая симфонія (Романъ).  
М. А. Осоргинъ: Повѣсть о сестрѣ.  
М. А. Осоргинъ: Чудо на озерѣ.  
Ф. А. Степунъ: Николай Переслѣгинъ.  
Георгій Песковъ: Памяти твоей (Разказы).  
Гал. Кузнецова: Утро (Разказы).  
Гал. Кузнецова: Прологъ.  
А. Ладинскій: Черное и голубое (Стихи).  
Т. И. Полнеръ: Толстой и его жена.  
В. Ф. Ходасевичъ: Державинъ (Худож. біографія).  
В. А. Маклаковъ: Левъ Толстой.  
Левъ Шестовъ: На вѣсахъ Іова.  
В. М. Зензиновъ: Безпризорныя дѣти.  
П. Н. Милюковъ: Очерки по ист. русск. культуры т. II ч. 1.  
П. Н. Милюковъ: Очерки по ист. русск. культуры т. II ч. 2.  
П. Н. Милюковъ: Очерки по ист. русск. культуры т. III.  
М. И. Ростовцевъ: О Ближнемъ Востокѣ.  
Б. Э. Нольде: Далекое и близкое.  
М. В. Вишнякъ: Два пути (Февраль и Октябрь).  
Ст. Ивановичъ: Красная армія.  
Сборникъ, посвящ. 175-лѣтію Московск. Университета.  
Н. Лосскій: Типы міровоззрѣній.  
Н. А. Бердяевъ: О назначеніи человѣка.

- Ф. И. Шаляпинъ:** Воспоминанія.  
**М. В. Вишнякъ:** Всероссийское Учредительное Собраніе.  
**М. О. Цетлинъ:** Декабристы.  
**В. В. Сиринъ:** Подвигъ (Романъ).  
**В. В. Сиринъ:** Камера обскура.  
**Л. Ф. Зуровъ:** Древній путь.
- 

### **ГОТОВЯТСЯ КЪ ПЕЧАТИ:**

- В. А. Маклаковъ:** Изъ прошлаго.  
**П. Н. Милуковъ:** Очерки по исторіи русск. культуры т. I.

Заказы принимаются въ конторѣ издательства.



основанный Н. Д. Авксентьевымъ, И. И. Бунаковымъ, М. В. Вишнякомъ,  
А. И. Гуковскимъ (+), В. В. Рудневимъ.

Въ вышедшихъ въ настоящее время книжкахъ «Современныхъ Записокъ» напечатаны беллетристическія произведенія: Леонида Андреева, М. Алданова, К. Бальмонта, И. Бунина, Андрея Бѣлаго, Б. Вышеславцева, Ал. Гафтера, Г. Гозданова, Г. Гребенщикова, Д. Мережковского, Б. Зайцева, Е. Замятина, П. Иванова, А. Куприна, А. Ладинскаго, I. Матусевича, С. Минцлова, Мих. Осоргина, Георгія Пескова, А. Ремизова, Н. Рощина, В. Сирина, Д. Скобцова, Ив. Соколова-Микитова, С. Соколь-Слободского, Ф. Степуна, Ильи Сургучева, Ю. Терапано, гр. А. Толстого, Софіи Федорченко, Ю. Фельзена, Е. Чриккова, Ив. Шмелева, С. Юшкевича, В. Яновскаго. — Стихотворенія: Г. Адамовича, Амари, К. Бальмонта, Н. Берберовой, И. Букина, Максимилиана Волошина, А. Герцкы, З. Гиппиусъ, И. Голенищева-Кутузова, А. Голвиной, Вячеслава Иванова, Г. Иванова, Н. Крадѣвскаго, Д. Кнута, Галины Кузнецовой, А. Ладинскаго, Н. Ландау, Сергѣя Маковского, Ю. Мандельштама, А. Несмѣлова, Н. Оцуна, В. Познера, Б. Пошлавскаго, В. Сирина, В. Смоленскаго, П. Соловьевой (Allegro), Ф. Сологуба, Ю. Софьева, Е. Тауберъ, Тэффи, В. Ходасевича, Марины Цвѣтаевой, А. Эйснера. — Дневники и воспоминанія: Е. Брешковской, О. Грузенберга, Ел. Джанумовой, К. Ельцевой, В. Зензинова, А. Керенскаго, В. Короленко, В. Макалова, кн. В. Оболенскаго, Т. Полнера, И. Рѣшина, Ал. Толстой, Льва Толстого, В. Ходасевича, М. Цвѣтаевой, Н. Шкляевой, М. Щербакова. — Статьи по вопросамъ литерат., искусства, философ., полит., эконом. и социальнымъ: С. Абрамова, Н. Авксентьева, М. Алданова, П. Апостола, А. Аргунова, А. Байкалова, К. Бальмонта, А. Бема, Н. Бердяева, П. Биццли, Е. Богданова, М. Брайкевича, В. Брейтвейта, Б. Бруцкуса, В. Булгакова, И. Бунакова, В. Вейдле, П. Виноградова, М. Вишняка, В. Довозова, кн. С. Волконскаго, Н. Ганца, М. Гершензона, С. Гессена, Б. Гейдинга, М. Гофмана, М. Гошиллера, К. Грюнвальда, А. Гуковскаго (А. Сѣверова), К. Гулькевича, Г. Гурвича, Ю. Данилова, Юрія Данилова, Ю. Делевскаго, И. Демидова, Діонео, Н. Долинскаго, С. Жаба, С. Загорскаго, С. Завадскаго, П. Зернова, В. Звѣнцовскаго, Ст. Ивановича (В. Талина), С. Иванова, Л. Карсакина, С. Карцевскаго, К. Качорскаго, А. Керенскаго, А. Кизеветтера, С. Кобякова, А. Койрапскаго, В. Короленко, С. Корфа, Ант. Крайняго, М. Кроля, А. Кулишера, Е. Кусковой, В. Ладыженскаго, М. Лазерсона, З. Ленскаго, А. Леонтьева, Г. Ловцкаго, Н. Лосскаго, С. Лурье, Г. Лунца, В. Макалова, А. Мандельштама, С. Мельгунова, С. Метельникова, П. Милюкова, Н. Минскаго, Б. Миркина-Гецевича, А. Михельсона, П. Муратова, В. Мякотина, Л. Неманова, С. Николаева, бар. Б. Нольде, А. Орлова, М. Осоргина, Н. Мельницкой-Папоушекъ, А. Петрищева, П. Пильскаго, С. Полякова-Литовцева, П. Прокофьева, Л. Пумпянскаго, А. Пѣсихонова, Ф. Родичева, М. Ростовцева, В. Руднева, С. Сазонова, Ю. Сазоновой, Д. Святополькъ-Мирскаго, М. Слонима, Б. Соколова, Д. Соколычева, С. Соловейчика, П. Сорокина, Ф. Степуна, Н. Тимашева, С. Тюрина, А. Ульяновъ, Г. Федотова, Г. Флоровскаго, Д. Чижевскаго, А. Чупрова, И. Хераскова, М. Цетлина, Б. Шацкаго, С. Шермана, Л. Шестова, Б. Шледера, Е. Юрьевскаго, Из. Якушева и др.

Цѣна отдѣльнаго номера 25 франковъ.

Адресъ Редакціи и Конторы:

6. Rue Daviel, PARIS (XIII<sup>e</sup>)

Téléphone : Gobelins 48-87